Борис Полевой

1

Борис Полевой

1

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ



БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕВЯТИ ТОМАХ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

БОРИС ПОЛЕВОЙ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

•

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

Москва
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1981

Р2
П50

Вступительная статья
В. ОЗЕРОВА

Комментарии
Н. ЖЕЛЕЗНОВОЙ

Оформление художника
А. РЕМЕННИКА

П $\frac{70302\text{-}291}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200



С ВЕРОЙ В НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА

Вся жизнь Бориса Полевого — непрестанные встречи с людьми разных возрастов, биографий, профессий. Соратники и единомышленники, они находят друг друга, сближаются как строители, солдаты, борцы за мир. Случается, между встречами пролегают десятилетия, принося очередные подтверждения стремительных и в то же время закономерных перемен.

В 50-х годах в городке строителей Иркутской ГЭС Борис Полевой встретился с начальником строительства Андреем Ефимовичем Бочкиным. Не успели разговориться, выяснилось: они близко знакомы с начала 20-х годов. Оба начинали в Твери, в комсомоле. Перед писателем стоял герой его давней газетной заметки «Лучший избач Тверского уезда, комсомолец Андрей Бочкин». О прошлом напоминал полукруглый шрам на голове — в агитпоездках по деревням избач не только распространял газеты, книги, но и пропагандировал огнетушители: один из них взорвался в руках Бочкина. С тех пор минул немалый срок. Рабкор стал писателем, избач — прославленным гидростроителем, одним из прототипов романа «На диком бреге».

Пройдет еще двадцать лет, и романист обнаружит «бочкинские» черты во время новой встречи, в другом месте, у членов бригады имени Бочкина, работающей на строительстве величайшей в мире Саяно-Шушенской ГЭС. Такая эстафета времени — за многими из тех, кого сводит судьба с Борисом Полевым на горячих точках коммунистического строительства.

Иначе и не могло быть. Борис Полевой вырос и сформировался как писатель в среде людей труда, делил и делит с ними их радости, беды и чаяния. Он досконально, во всей жизненной реальности, знает то, о чем пишет, не прерывает связи с прежними и новыми знакомыми — очень часто героями его книг. У него есть полное право сказать: «Всю литературную жизнь я прожил среди своих героев».

Борис Николаевич Полевой (Кампов) родился 17 марта 1908 года в Москве. Но он считает себя тверяком — по городу, где прошло его детство и юность. В Твери (ныне г. Калинин) работали его родители. Отец, юрист, был человеком передовым, образованным, обладал хорошим литературным вкусом. Мать, уже выйдя замуж, окончила Высшие медицинские курсы и поступила работать врачом в фабричную больницу. В Твери, еще школьником, будущий писатель подружился с рабочей молодежью, близко узнал ее быт, запросы, надежды. Они не только вместе гоняли футбольный мяч, но и думали о времени, о своих обязанностях, о своем призвании. Вначале у подростка неосознанно крепло, становилось неодолимым стремление понять, кто чем живет, поведать людям о самом значительном. Не зря он, еще мальчишкой, перечитал отцовскую библиотеку, где были собраны русские и иностранные классики. Не случайно жизненным образцом для себя избрал Горького, перед которым преклонялись отец и мать. Юношу неудержимо манила журналистика — профессия увлекательная и, как казалось ему, романтическая. Начал со школьной газеты, с сочинений, гордо названных фельетонами и подписанных громко «Б. Овод». Он горячо мечтал о печатном слове. Первый очерк — о посещении школы, где он учился, поэтом Спиридоном Дрожжиным — отнес в «Тверскую правду». Четырнадцатилетний автор наизусть заучил семь с половиной строк, в которые превратился его опус,— *печатных* строк! С тех пор его не оставляла жажда писать и печататься.

Учился в Промышленно-экономическом техникуме. Получил назначение на должность сменного мастера на каустическом заводе при ситценабивной фабрике. А все свободные часы проводил в редакции. Главную школу жизни прошел в «Тверской правде», в общении с журналистами-ветеранами, такими, как ее редактор, старый большевик А. И. Капустин, в молодежной «Смене», в группе рабкоров на текстильном комбинате «Пролетарка». Здесь получил свое литературное имя (Полевой — перевод латинского слова «кампус» на русский язык: «поле»). Здесь хорошо понял, сколько может увидеть и узнать журналист, смело проникая в гущу жизни, как дорого людям правдивое слово. В автобиографической книге «Самые памятные» (1979) высказано творческое кредо писателя: «В наших советских условиях именно работа в газете и для газеты дает возможность литератору держать руку на пульсе жизни, видеть нашу страну в ее поступательном движении, а движение это — в самых интересных проявлениях — позволяет знакомиться с самыми яркими современниками».

Для Бориса Полевого не упустить самое интересное — значит немедленно мчаться на место событий, во что бы то ни ста-

ло добывать интервью у непосредственного их участника, менять, если понадобится, профессию журналиста на избача, плотовщика, водолаза, помощника фокусника, выполнять самые неожиданные редакционные задания. Так, в годы нэпа он сумел пробраться в логово уголовников, загримировавшись под якобы приехавшего из Москвы «медвежатника». То, что он узнал, проведя двадцать дней в подвалах так называемого Куровского шалмана, доподлинно изложил в своей первой книге «Мемуары вшивого человека» (1927). В ней — и нравы шалмана, и зарисовки портретов его главарей, завсегдатаев, и сведения об их связях с нэпманскими кругами.

Коллеги из «Смены» послали «Мемуары...» Горькому в Сорренто. Оттуда вскоре пришел ответ: дружеская поддержка, наказ работать взыскательно, шлифовать язык.

«Так же, как токарь по дереву или металлу,— писал Горький,— литератор должен хорошо знать свой материал — язык, слово, иначе он будет не в силах «изобразить» свой опыт, свои чувства, мысли, не сумеет создать картин, характеров и т. п. Вы, молодежь, должны учиться владеть техникой литературной работы так же мастерски, как владели ею наши классики. Вам необходимо знать все, что знали они, и — знать лучше их... Возвращаясь к т. Полевому, я должен сказать, что он, несмотря на его промахи технические,— человек — по натуре его — даровитый, это ясно. Но — учиться надо, товарищ, учиться!»

Следуя совету Горького — углублять знание жизни, упорно овладевать мастерством, Борис Полевой вскоре целиком переходит на журналистскую работу. Его газетные репортажи проникнуты острым чувством времени. Они не только рассказывают о социалистическом соревновании, но помогают шире развертывать его, искать новые формы.

В 1929 году Борис Полевой в качестве очеркиста выступал на пленуме РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей) и был замечен Маяковским: «...товарищ из тверской организации говорит то, что я в другой обстановке никогда не узнаю...»

Первые прозаические опыты Полевого — «Мемуары вшивого человека» перенасыщены еще фактическими описаниями. Излишняя фактография отличает и следующее произведение начинающего писателя «Покорение «Сибири» (1931) — о подмастерье Викторе Кириллове, добровольно перешедшем вместе со своей бригадой на самый тяжелый, отстающий участок ситценабивной фабрики «Пролетарка», названный с давнишних времен «Сибирью».

Вначале Полевой написал о молодых энтузиастах очерк, но почувствовал, что жанровые рамки не дают охватить многослой-

ную действительность, хотелось, к тому же, проследить, чем это начинание завершится, и он взялся за произведение с большим количеством действующих лиц и сложными жизненными ситуациями. Но в «Покорении «Сибири» наметились лишь эскизы колоритных характеров.

Творческие горизонты начинающего писателя постепенно раздвигаются. Этому способствовало его обращение к героическому труду ударников первых пятилеток, счастливая возможность увидеть таких замечательных людей, как Михаил Иванович Калинин, челюскинцы, и написать о них.

На фабриках и заводах журналист встречал энтузиастов, о которых ему хотелось рассказать. В конце тридцатых годов Полевой задумал повесть «Горячий цех» (опубликована она была в 1939 году в журн. «Октябрь»). Здесь уже глубже раскрыты своеобразные характеры героев. В ней, как и в «Танкере «Дербенте» Ю. Крымова и других книгах тех лет, получила отображение животворная сила стахановского движения. Конечно же, повесть навеяна и личными ощущениями, и опытом вчерашнего сменного мастера, рабкора, считающего, что самым впечатляющим получается рассказ «не с чужих слов, а от первого лица». Однако требуются оговорки. Во-первых, чтобы досконально разобраться в увиденном, нужны, понимал Борис Полевой, не «кавалерийские налеты», а тщательное изучение заводских дел. Во-вторых, писать предстояло не только «от первого лица», а и с тщательным отбором фактов, из-за обилия которых раньше проигрывали некоторые его произведения. Основное — распутать «психологический узел». Узел сложный. Бывший беспризорник, человек прежде малозаметный на заводе, неуживчивый, внезапно для окружающих ставит рекорд по ковке вагонных осей. Этому есть свое объяснение — под влиянием того, что происходило вокруг, Сизов раскрылся в своих лучших качествах, буквально переродился. Творческое отношение к труду дало могучий импульс для самовыявления незаурядной личности.

Борису Полевому недостаточно фактических сообщений, содержавшихся в его же очерке об этой истории. Работая над повестью, он «стер адреса, заменил собственные имена, все это обобщил и обогатил за счет других наблюдений, сделанных в другое время и в других местах». Как отметил критик Б. Галанов, в отличие от протокольно-добросовестных «Мемуаров вшивого человека» автор «Горячего цеха» «становится хозяином материала». Его интересуют особенности развития характеров в производственной, общественной деятельности. Отныне он увлечен романтикой социалистического созидания. Правда, не всего удалось достигнуть в «Горячем цехе». Несмотря на проделанную работу,

книга перегружена необязательными эпизодами, технологическими деталями; психологический рисунок образов неровен. Но в целом повесть, поэтизирующая творческий труд, явилась заметным шагом вперед в становлении Бориса Полевого — художника.

Это становление произошло в годы Великой Отечественной войны. Встретил ее Борис Полевой в качестве военного корреспондента «Правды» по Калининскому фронту и оставался военкором с первого до последнего дня войны. Военный период, заявил он впоследствии, «сконцентрировал в сравнительно небольшом отрезке времени... такое обилие фактов, встреч, событий, личных эмоций и переживаний, что есть у писателя-солдата право говорить от имени поколения военкоров сорок первого года: «Жизнь навсегда снабдила нас нержавеющим запасом впечатлений».

Разумеется, Борис Полевой не ждал, пока впечатления отстоятся. Он писал прямо в номер газеты. Его репортажи, очерки, заметки читались с неослабным вниманием, потому что несли правду о тяжелых и героических днях. С любовью и гордостью говорится в них о доблестных, прекрасных душой советских патриотах. Широка и многообразна нарисованная галерея: герои оборонительных и наступательных боев, освободители Европы, рядовые солдаты, знаменитые полководцы, отважные партизаны, немцы-антифашисты, мужчины и женщины, юноши и старики. Сюжеты поразительные: русская Жанна д'Арк, Иван Сусанин наших дней...

В интенсивной и оперативной работе совершенствовался опыт Бориса Полевого, писателя с очень своеобразным талантом. Он повествует о лично увиденном. Полон особого, непреходящего интереса к реальным людям, вникает в их жизнь, хочет побольше узнать о их делах и мыслях. Не приписывает человеку того, чего он не совершал, не может совершить по своей натуре. Случалось, Борис Полевой с полемической заостренностью заявлял о приоритете в литературе книг документального характера.

Да, жизнь для писателя, по его заявлению, «отличный и неутомимый соавтор». И вместе с тем, как уже отмечалось, у него появляется, растет потребность обогащать конкретные наблюдения новыми, усилить момент обобщения. Борис Полевой не изменяет своей манере. Но, сохраняя фактическую основу изображенного, подчеркивает в героях общезначимое, тщательно отбирает и по-новому группирует факты, расставляет художественные акценты. В статье «Горизонты реальной фантазии» (журн. «Литературное обозрение», 1974, № 5) Борис Полевой писал о необходимости в искусстве некоего «увеличительного стекла» — оно «...позволяет максимально приблизить, до мельчайших деталей разглядеть каждый факт, разглядеть и осмыслить. Образно

говоря, такое увеличение (не преувеличение!) фактов, характеров, событий реальности и предоставляет писателю большие возможности для художественного обобщения, широкого осмысления — в масштабах времени — прожитого».

Военные годы, продемонстрировавшие величие человеческого духа советских патриотов, приобрели чрезвычайное значение для Бориса Полевого. Он сосредоточился на явлениях жизни, в которых получила кульминацию героическая сущность нашего жизнеустройства. Отображая их, предстояло укрупнять характеры, воспроизводить многообразие общественных отношений. В этой связи вспомним творческую историю «Повести о настоящем человеке» (1946).

Иногда полагают, что повесть — всего-навсего пересказ того, что писатель услышал на фронте от летчика Алексея Маресьева, лишившегося обеих ног и тем не менее вернувшегося в боевой строй. В такой трактовке сказалась и чрезмерная авторская скромность. Борис Полевой не уставал повторять: он лишь воспроизвел реальные факты, значительнее ничего «не выдумаешь».

Но разве речь об абстрактных «выдумках»? История создания «Повести...» подтверждает, что действительный случай обретает типизирующую силу, когда он озарен обобщающей мыслью. Она пришла при встречах совсем другого рода, чем с летчиком-истребителем. Воспроизведем страничку из названных выше репортажей «Самые памятные».

На Нюрнбергском процессе Борис Полевой услышал признания Германа Геринга: немецкие фашисты проиграли войну, потому что не знали русских — они всегда были и остаются загадкой для Запада. И подумал: кому, как не советским писателям, разгадать эту «загадку», поведать человечеству о массовом героизме нашего народа, его моральном величии. Вспомнился, потребовал воплощения полузабытый замысел.

«Я невольно,— пишет Борис Полевой,— снова и снова вспоминал о своей давней встрече в дни битвы на Курской дуге с безногим летчиком, образ которого крепко берегла память. Я пронес этот образ через всю войну... А вот теперь, когда прозвучали слова признания «второго наци», он, этот летчик, как бы вошел в этот торжественный и так надоевший всем нам за дни процесса судебный зал, как бы встал за моей спиной, и вопреки всему происходящему на суде я мог думать только о нем. Да, вот он и такие, как он, и составляли тот самый таинственный потенциал Советов, который остался загадкой для нацистов... И тут же на процессе, неведомо почему, ко мне пришло ощущение, что теперь вот и настала самая пора засесть за книгу о безногом летчике, с которым когда-то свела меня репортерская судьба. И не

только ощущение, но и уверенность, что теперь эта книга пойдет».

Повесть «пошла». Писалась она «наново» (корреспонденция 1943 года, предназначенная для газеты, не увидела тогда света — ее посчитали несвоевременной). Автору не было нужды заглядывать в тетрадки с надписью «Дневник боевых полетов третьей эскадрильи», сохранившиеся с фронтовых лет, и уточнять фактические детали — важнее было воссоздать образ в самых характерных чертах. Художественное выделение этих черт, а не одна фактическая достоверность, и сделало «Повесть о настоящем человеке» событием в советской литературе. Она переведена более чем на пятьдесят языков, по ее мотивам созданы пьеса, опера, кинофильм. Образ Мересьева встал рядом с образом Павла Корчагина; не утрачивая документальной первоосновы, он сделался для миллионов читателей символом мужества и героизма.

Да, свершенное Мересьевым прекрасно объясняет «загадочную» природу советского человека. Сбитый в воздушном бою, полуобмороженный, измученный, летчик восемнадцать суток пробирается к своим. Писатель показал не только *как*, но и *во имя чего* совершил Мересьев свой подвиг. Во имя Отчизны, народа. Не просто выжить, а стать опять нужным Родине — вдохновляющая цель. В упорном осуществлении ее и раскрываются идейные, нравственные качества «настоящего человека». Это крупный, цельный образ, он дан в непрерывном действии, без излишней детализации. Пожалуй, о переживаниях Мересьева говорится слишком кратко, но сказанному веришь, ибо все, что делает, о чем думает летчик, соответствует его волевой, целеустремленной натуре.

Эпопея Мересьева не кончается переходом через линию фронта, впереди самое трудное — преодолеть последствия ранений, научиться ходить на протезах, добиться разрешения летать.

Одиночке это не удалось бы. Писатель воспроизводит общественную атмосферу времени. С кем только не повстречался Мересьев. Это и жители «подземной деревни», и его спасители — мальчишки, которые нашли Алексея, дед Михайла, который привез его из леса. Это соседи по палате: лейтенант Кукушкин, танкист Гвоздев, летчик Стручков, снайпер Степан Иванович, комиссар Семен Воробьев. Любопытно отметить, что, за исключением Мересьева, Гвоздева и мальчишек, другие из названных персонажей — вымышленные. Между тем им в повести отведена весьма существенная роль, в особенности Воробьеву.

Семена Воробьева мы застаем в последние дни его жизни, в госпитале. Он ни на миг не поддается унынию, во все вмешива-

ется, стремясь постоянно влиять на окружающих, и «не делал для этого никаких усилий. Он просто жил, жил жадно и полнокровно, забывая или заставляя себя забывать о мучивших его недугах». Комиссар «умел найти ключик» ко всем раненым. Перепробовал разные средства, чтобы помочь Мересьеву преодолеть тревогу и подавленность. После нескольких неудач предпринял «обходной маневр». В палате появился иллюстрированный журнал времен первой мировой войны со статьей о летчике Карповиче — он потерял ногу, но продолжал летать.

Наверное, журнальная корреспонденция давних лет не могла бы иметь такого воздействия на Мересьева, если бы его биография комсомольца, коммуниста, кадрового военного не служила воспитанию мужества. Алексей Мересьев — сын советского общества, «еще в ранней юности привыкший осмысливать свою жизнь». Вся она, «все его волнения, радости, все его планы на будущее и весь его настоящий жизненный успех — все было связано с авиацией». Так неужели выбыть из общих дел, «оставаться бескрылой птицей»? Когда Воробьев напомнил ему о чувстве советского патриотизма, Мересьев нашел выход.

«— Прочел? — хитровато спросил Комиссар. (Алексей молчал, все еще бегая глазами по строчкам.) — Ну, что скажешь?

— Но у него не было только ступни.

— А ты же советский человек.

— Он летал на «фармане». Разве это самолет? Это этажерка. На нем чего не летать? Там такое управление, что ни ловкости, ни быстроты не надо.

— Но ты же советский человек! — настаивал Комиссар.

— Советский человек,— машинально повторил Алексей, все еще не отрывая глаз от заметки; потом бледное лицо его осветилось каким-то внутренним румянцем, и он обвел всех изумленно-радостным взглядом».

Постигая природу нашего общества, советская литература внимательно прослеживает духовные связи, соединяющие старшее и молодое поколения, идейных наставников и их последователей. Эту же творческую задачу решал Борис Полевой. Он изображает взаимные силы притяжения, влекущие друг к другу Воробьева и Мересьева. Летчик начинает все заинтересованнее приглядываться к Комиссару, старается понять, «откуда у него столько энергии, бодрости, жизнерадостности». Хочет всегда и во всем следовать ему. В день похорон Воробьева один из раненых сказал:

«— Настоящего человека хоронят... Большевика хоронят.

И Мересьев запомнил это: настоящего человека. Лучше, пожалуй, и не назовешь Комиссара. И очень захотелось Алексею стать

настоящим человеком, таким же, как тот, кого сейчас увезли в последний путь».

С гордостью за советского человека — борца и победителя — Борис Полевой вновь и вновь обращается к теме войны. Простые, обыкновенные люди, утверждает он своими произведениями, на поверку оказываются истинными героями. О подвигах пишет сдержанно, избегая риторических заявлений, красивых слов, но авторское присутствие придает лирическое звучание изображенным картинам. Публицистические отступления выявляют их масштабность, величие патриотической борьбы. Писатель сохраняет свою приверженность конкретным фактам, поднимаемым, как отмечалось выше, на степень художественного обобщения. С годами становятся заметнее две тенденции в творчестве Бориса Полевого. Он пристально исследует живые человеческие судьбы, посвящая каждой специальный очерк или рассказ, концентрируя действие вокруг данной личности. А наряду с произведениями малых форм все чаще обращается к многогеройной повести, роману, чтобы передать разворот событий.

Обе эти тенденции развивались не только параллельно, но и встречаясь друг с другом, пересекаясь. Очерковый жанр не единственно возможный для писателя. Разрабатывая сюжеты своих военных корреспонденций для книги «Мы — советские люди» (1948), он называет их былями, очерками-рассказами, рассказами. Хронологическая последовательность событий, взаимосвязь между персонажами укрепляют в убеждении: перед нами цикл рассказов, тяготеющих к большой эпической форме. В то же время происходит примечательная трансформация эпизодов, некогда описанных военным корреспондентом. Автор-повествователь не ограничивается скупыми сообщениями, которые приводились в газете. Он ищет дополнительные средства для характеристики всего образа действий и мышления персонажей.

Наглядный пример — рассказ «Сапер Николай Харитонов». В газетном репортаже кратко сообщалось о смелости Харитонова, извлекшего из-под танка неразорвавшуюся мину. В рассказе больше психологических деталей, авторских раздумий. Писатель стремится наглядно показать умный труд мастера своего дела, душевное напряжение, владевшее им в течение долгих четырнадцати часов, пока он обезвреживал смертоносный снаряд. Эти часы запомнятся читателям, как и чуткие, осторожные пальцы искусного сапера, и предельная его собранность, когда у человека перехватывает дыхание, перед глазами плывут круги, кусок хлеба не лезет в горло. «Все его силы, все его внимание были сосредоточены на этом проклятом красном блине...» Мы *видим*, как трудится сапер, *наблюдаем* воочию его душевное самочувствие.

Труженик войны, с честью выполняющий свои боевые обязанности и мечтающий о том, как будет работать в мирные дни,— основной герой рассказов Бориса Полевого и его романов.

Почти одновременно с рассказами, которые составили книгу «Мы — советские люди», публикуется роман «Золото» (1949). Он тоже вырос из истории, услышанной на фронте и включенной в военные дневники Бориса Полевого. Зимой 1942 года фронт перешли три партизана. Пятьсот километров несли они мешок с ценностями из оккупированной немцами Риги. Все уцелело, ни золотинки, ни камушка не пропало,— даже не удивляясь, комментировали бойцы. Еще тогда журналист пометил в своем дневнике: «чтобы написать об этом, нужны подробности, нужно переосмыслить вековое представление о силе богатства, роли золота».

Для такого переосмысления понадобились годы. «Джек-лондоновский» сюжет писатель сохранил, хотя кое-кому он казался невероятным. Но само название романа, увидевшего свет спустя семь лет, наталкивает на философские размышления. Золото извечно властвовало над людьми, пробуждая жажду обогащения, толкая на кровавые преступления. А машинистке Мусе Волковой и кассиру Митрофану Ильичу даже не пришла в голову мысль о личной наживе. Они думают об одном: как спасти от оккупантов драгоценности. Словно бы ничем и не выдающиеся люди, о Мусе говорили — «обыкновенная. Ничем не примечательная», о Митрофане Ильиче — «канцелярская промокашка», «арифмометр с бородкой». Но самые обыкновенные советские труженики свято следуют социалистическим нравственным нормам, рискуя жизнью, они сберегают народное достояние.

Замечательные люди! Золото душ человеческих — какая это безмерная, ни с чем не сопоставимая ценность! Надо добавить: всенародная ценность.

Борис Полевой — певец легендарного героизма народных масс. В романе не только «одиссея» двух путников. На фронтовых дорогах им встречаются колхозники — они ушли в лес и по-прежнему соблюдают артельный устав, партизаны — они организуют оборону железнодорожной станции; встречаются самоотверженная девушка-связистка и храбрый, добрый боец, которого полюбила Муся. Вот она, жизнь нашего народа, несмотря ни на что, идущая по своим светлым законам: «...ужас оккупации сплотил людей. Еще ревнивее соблюдали они советские законы, объявленные оккупантами аннулированными, и хранили прежние порядки в... до поры до времени... ушедших в подполье колхозах».

Роман «Золото», однако, не стал таким явлением в литературе, как «Повесть о настоящем человеке». По-видимому, писатель оказался слабее в воссоздании многоплановой картины действи-

тельности, нежели в рассказе о человеке в момент наивысшего взлета его способностей. Критика отмечала растянутость второй половины книги, автономность некоторых сцен — они не сливаются в единое художественное целое. Рационалистичной выглядит любовь Муси и Николая.

И все же было бы неправильно недооценивать значение этого романа в расширении художественного арсенала писателя. Растет его умение, показывая центральных персонажей, подробно выявлять их отношения и с друзьями, и с соперниками, и с противниками. А для этого — многими нитями связывать действующих лиц, прочнее сопрягать все планы повествования.

Работая в общем для советской литературы «ключе», Борис Полевой делает главными героями своих произведений славных сынов рабочего класса. В основном на одной биографии построена повесть «Вернулся» (1949) — о сталеваре, который тяжело переживал временную потерю квалификации и горячо рвался на родной завод. Зато роман-хроника «Глубокий тыл» (1958) тяготеет к многогранному отображению действительности. Причем автор берет не исключительные обстоятельства, а повседневные трудовые будни; действие развертывается в фабричных цехах, в семье, рабочем общежитии. Эти будни восстановления народного хозяйства насыщены непростыми нравственными конфликтами, проявляют красоту души одних, пустоту и никчемность других. Среди наиболее впечатляющих — образ энергичной и волевой женщины Анны Калининой. Она немало испытала за годы войны, пережила семейную драму, но остается жизнелюбивой, несгибаемой. О многом заставляет подумать и случившееся с Женей Мюллер. Девушка выполняла задание в тылу у немцев, подружилась с немцем-антифашистом, а после освобождения ей пришлось восстанавливать доверие к себе.

Этот мотив получит продолжение в «Докторе Вере» (1966) — первой из книг, о которой автор скажет, что она, «хотя и выросла из жизненного материала, не биографический очерк, не хроника совершившегося». Уже ее подзаголовок — «Повесть в ненаписанных письмах» — заявляет о необычной для автора форме. Это, в сущности, лирические монологи. Вера Трешникова в письмах к мужу (с ним она в вынужденной разлуке) рассказывает о том, как в тылу у немцев организовала подпольный госпиталь для советских воинов и руководит им. Вспоминает о прошлом, делится мыслями, тревогами. Писатель никогда раньше не вглядывался так внимательно в многообразные душевные порывы персонажей. К тому же, Вера размышляет не только о происходящем сегодня, о рискованных решениях, но и о будущем: поверят ли ей, оста-

вавшейся в городе при немцах? И впрямь, далеко не все поверили.

А жить без доверия к своим людям нельзя, и повесть звучит напоминанием и призывом к социалистическому гуманизму. Авторская точка зрения получила выражение в совете, принадлежащем мужу Веры: «думать о человеке хорошее, пока он не докажет, что он плох». Это тем обязательнее в условиях подполья, где приходится таиться даже от друзей. Хорошими людьми в конечном счете оказываются и человек с «сомнительным прошлым» — сын мельника Иван Аристархович, и чересчур развязный разведчик Мудрик, и свекор Веры — он находится в оккупированном городе якобы по корыстным соображениям, а на самом деле по заданию подпольщиков. Все, кто хочет бороться за Родину, как и в «Повести о настоящем человеке», тянутся к большевику — полковнику Сухохлебову,— «ему просто верят, и вера эта действует как живая вода». В общении с Сухохлебовым черпает свою уверенность и героиня повести.

Попутно заметим, что Борису Полевому, как правило, удаются женские образы. Причем его героиням по плечу самый трудный подвиг — долговременный, внешне неброский. В подвиге проявляются все богатства их души, красота чувств.

Вместе с тем появляется новое в творческой манере писателя — более обстоятельное, чем в прежних вещах, обличение врагов, а также людей дрогнувших, изменивших. Борис Полевой рассказал не только о закоренелом предателе — вице-бургомистре Верхневолжска, но и об артистке Ланской, по слабости и безволию совершившей роковой шаг. На фоне таких людей еще отчетливее стойкое мужество Веры и других патриотов.

К числу подлинных героинь Отечественной войны относится девушка-санинструктор Анюта из одноименной повести Бориса Полевого, опубликованной в 1976 году.

Сама раненная, девушка сумела вынести с поля боя тяжело раненного капитана Мечетного. Вдохнула в него надежду на излечение, убедила прославленного профессора решиться на почти безнадежную операцию. Невозможного добилась семнадцатилетняя девчушка, смущавшаяся от самого простого вопроса, растерянно повторявшая трогательное: «мамочки-тетечки». Добилась потому, что воплощает в себе удивительную способность «не теряться в обстоятельствах, которые нелегки и для бывалого человека». Читаешь о ней, и в памяти всплывают некрасовские декабристки, фадеевские подпольщицы Краснодона.

Мечетный волевым характером тоже напоминает своих литературных предшественников — Корчагина и Мересьева. Но повесть «Анюта» отнюдь не повторение уже известного. В ней яв-

ствен углубляющийся гуманистический дух нашей жизни. И палитра изобразительных средств автора становится богаче; он пользуется приемом ретроспекции, временны́х смещений, описывает психологическое состояние персонажей, их интеллектуальный, эмоциональный мир. Всем своим содержанием повесть взволнованно говорит: истинная любовь — бесценное человеческое достояние; надо беречь ее, беречь и сохранять лучшие нравственные качества советского человека.

О том, как эти качества, проверенные и закаленные войной, получают бурное развитие после нее,— произведения Бориса Полевого, посвященные мирным дням нашего общества. Своеобразным продолжением цикла «Мы — советские люди» явилась книга «Современники» (1952). Это вновь рассказы-репортажи, на этот раз навеянные поездками на фронты мирного строительства. Продолжая работать в газете, правдист Борис Полевой едет в одну командировку, вторую, третью... Он побывал на восстановлении Днепрогэса, на Цимлянском море, на Ангаре, на Волго-Доне. Всюду его по-прежнему привлекают сильные, активные характеры. Они вдохновляют на корреспонденции, очерки.

Они «выводят» и на темы, которые могут лечь в основу больших прозаических произведений.

«Новые темы давались не просто,— признавался Борис Полевой.— Так было и с романом «На диком бреге», который был задуман как книга о важнейших свершениях на трудовом фронте. Это был очень нелегкий роман, я задумал его сразу же после войны, в беленькой хатке бакенщика на Днепре, где жил тогда наш замечательный гидростроитель, инженер Ф. Г. Логинов, руководивший восстановлением взорванного Днепрогэса. Отличный он был человек. Широкий. Мыслящий. Знающий и любящий людей. И как он о них рассказывал!.. Я ездил с Днепра на Волгу, с Волги на Ангару, на Иртыш, на Енисей, а тема мне все не давалась. Были люди, образы, картины — не было темы».

Этим высказыванием писатель приоткрыл свою творческую лабораторию. Да, к «теме» он почти всегда шел от центрального образа, от эпизода, максимально проявляющего характеры и конфликты. Работники типа Логинова, Бочкина, близких им по характерам Барабанова, Наймушина, других гидростроителей и повели его в сердцевину новых производственных коллизий. Пригодились пробы пера, сделанные при работе над повестью «Вернулся», романом «Глубокий тыл». Но теперь Борис Полевой берет производственную тему в более широком ракурсе, раскрывая направление общественного развития. Перипетии строительства гигантской электростанции на берегах сибирской реки дали ему

материал для изображения общенародной борьбы за современный стиль жизни, за гуманистическое отношение к человеку.

«На диком бреге» (1962) — тот многоплановый роман, который и раньше привлекал Бориса Полевого и который не очень ему давался. Ныне дался, потому что, прослеживая разнообразные связи, соединяющие самых различных людей, он четко строит композицию произведения. Со стройкой неразрывно связаны инженеры, мастера, рабочие, окрестные колхозники, школьники, домохозяйки — все действующие лица книги. Эта связь умело воспроизведена в сюжетной конструкции романа. Любому есть где проявить себя. Происходит проверка и знаний, деловых навыков людей, и их моральных устремлений, личных интересов. Самозабвенный Олесь Поперечный добровольно переходит из передовой бригады в отстающую, он не может не восстать против дутых обязательств, выдвинутых Петиным. Духовно перестраивается в общем труде озорная Мурка Правобережная, ценою собственной жизни она спасает людей при аварии башенного крана. Возникающие в коллективе каждодневные коллизии заставляют самоопределиться инженера Надточиева, вчерашнего шофера, начальника автобазы Петровича, «Макароныча»-Бершадского, председателя колхоза Иннокентия Седых. Думая лишь об артельных интересах, Седых долго сопротивлялся затоплению колхозных угодий, но в конце концов согласился с этой необходимостью. Очень не простой для себя выбор делает жена главного инженера Дина: избалованная городская дамочка круто меняет привычную жизнь, возвращается к профессии врача, порывает с нелюбимым мужем.

Динамичность действия обусловлена острым, достигающим своей кульминации конфликтом. Он выписан во многих реалиях, во всем своем жизненном напряжении. На острие его начальник строительства Литвинов и главный инженер Петин.

Старый гидростроитель Литвинов сооружал, а затем и взрывал Днепрогэс. Всегда и неизменно работает с подлинным вдохновением. Что в основе такой работы? Для Литвинова нет сомнений: «энергия, инициатива, творчество». Практик, командир производства, он не ограничивается инженерными расчетами, а опирается на людей, верит им, пробуждает их инициативу. «Отличная информация хороша,— заявляет Литвинов.— Но разве она заменит когда-нибудь живые человеческие контакты?» Умение устанавливать контакты, воодушевить коллектив на выполнение поставленных задач делает Литвинова современным руководителем — и хозяйственником, и организатором, воспитателем масс. Даже когда он, сраженный инфарктом, лежит в постели, рабочие по-прежнему надеются на его советы и указания, верят ему, а не исполняющему обязанности начальника Петину.

Петин прямая противоположность Литвинову. Борис Полевой писал свою книгу в годы, когда литература возвысила голос против волюнтаристских методов работы, против карьеризма, равнодушия к людям. Ловкий конъюнктурщик и приспособленец, Петин оказался под огнем критики в романе «На диком бреге». Знания у него есть, деловитости не занимать. Но не интересами дела живет Петин, он озабочен лишь тем, как бы прославиться, «организовать» рекорды, «потопить» неугодных. Прикрываясь демагогическими речами, не брезгует нечистыми средствами, вплоть до клеветы и доносов; когда-то он чуть не погубил талантливого инженера Дюжева. Во время болезни Литвинова Петин решил «показать себя» и затеял основанный на приписках штурм — «бросок к коммунизму». Один из тех, кто хорошо знает Петина, метко заметил: «Все ясно. Выждал и пошел в гору... Этот на ходу у самой эпохи подметки срежет».

Нет, ныне Петину не удастся пойти в гору. Борис Полевой показал чужеродность очковтирателя в коллективе, поднявшемся против авантюристических планов.

Можно спорить, и об этом шли споры, не слишком ли облегченными оказались финальные сцены романа. Но в общем он передал напряжение послевоенных трудовых будней, содержание столкновений, в которых побеждают творческие, демократичные люди, побеждают гуманистические принципы нашего общества.

О победе высоких принципов — и произведения Бориса Полевого, посвященные предыдущим десятилетиям, к которым обратился писатель в 70-х годах. Они выросли из оперативных корреспонденций, дневниковых записей. Хранят память давних встреч. И вместе с тем перерастают в панораму исторических событий, объединенных и логически связанных с авторским повествованием. С дистанции лет по-новому группируются эпизоды, одни прописаны подробнее, другие вводятся впервые. Появляются экскурсы в прошлое. Подробнее даются размышления о сути происходящего. Углубляется социальный анализ общественного развития, писатель раздумывает об его истоках, ходе, перспективах. Не бесстрастный летописец, а современник, деятельно участвующий в жизни, в решении коренных ее проблем, встает со страниц таких книг, как «В большом наступлении» (1970), «Сокрушение «Тайфуна» (1971), «До Берлина — 896 километров» (1971), и других.

В книгах об Отечественной войне, как и всегда у Бориса Полевого, достоверно рассказывается о конкретных боевых операциях, встреченных людях, приметах фронтового быта. Теперь движение времени усилило потребность раскрыть всемирно-историческое значение освободительного похода Советской Армии, из-

бавившей Европу от гитлеризма. Большого значения исполнены многие очерки: показана забота об освобожденных узниках фашистских концлагерей, спасение бесценных сокровищ Дрезденской галереи, благородное чувство интернационализма, испытываемое советскими людьми среди словацких повстанцев, на улицах восставшей Праги. В книге нет высокопарных заявлений, сами за себя говорят мужество и отвага бойцов, их преданность идеям свободы и справедливости. Вот, например, корреспонденция «Передовая на Эйзенштрассе». Бои на улицах Берлина. Советский воин, погибая сам, вынес из огня и спас немецкую девочку. Кто же он?

«И ведь что самое дивное, что семья Лукьяновича в Минске погибла, весь его род,— рассказывал час спустя... капитан, когда мы снова сидели с ним в каморке истопника.— Это еще в первые дни войны было. Деревню, где его родня жила, сожгли... Вот это-то тут, по-моему, самое важное».

Столько испытать, и все равно сохранить благородную человечность,— это ли не высший измеритель морального величия гражданина социалистического общества!

Человечность — внутренний пафос всего творчества Бориса Полевого. Тот самый пафос, который движет сибирскими гидростроителями, освободителями Европы, борцами за мир во всем мире. С позиций убежденного гуманиста вглядывается писатель в лицо планеты.

Международная тема занимает почетное место в его творчестве. Она затронута во фронтовых корреспонденциях, получила широкое отражение в книгах: «Американские дневники» (1956), «За тридевять земель» (1958), «30 000 ли по Китаю» (1959), «Близко и далеко» (1960). Путешествуя по земному шару, писатель старается не упустить ничего интересного, он ко всему внимателен, неизменно доброжелателен. Умеет схватить самое существенное в собеседнике и несколькими штрихами метко обрисовать его. Не ограничивается свободными дневниковыми зарисовками, а остроумно комментирует увиденное, излагает собственные убеждения. Что-то приемлет, что-то оспаривает, против чего-то категорически возражает. Во всем видна высокая авторская позиция.

Высота нашей идеологии и морали — та точка отсчета, которой последовательно руководствуется писатель. В книге «В конце концов. Нюрнбергские дневники» (1968) содержатся обильные сведения о работе Международного военного трибунала. Борис Полевой воссоздал атмосферу процесса над германскими военными преступниками и вслед за судьями разоблачил античеловеческую, звериную систему гитлеризма, порождавшую чудовищные злодеяния.

Приводя свидетельства фашистских зверств, продемонстрированные на суде, автор рисует мрачные фигуры подлых и жестоких главарей рейха. Недавно они открыто излагали свои каннибальские планы, а теперь юлят и подличают на скамье подсудимых. Здесь вновь проявились сильные стороны художественной публицистики Бориса Полевого. В нюрнбергских дневниках эмоциональность повествования органически соединяется с аналитической мыслью. Борис Полевой считает необходимым раскрыть типичность этих каннибалов для гитлеровского режима и идеологии.

Когда выступал главный советский обвинитель Р. А. Руденко, невольно думалось, что на трибуне сам могучий и великий советский народ, которому одному оказалось под силу сломить хребет нацистскому зверю, сумевшему поработить всю Западную Европу. «Нацизм как бы лежал перед трибуналом, поверженный, распластанный, и советский обвинитель в своей спокойной, неторопливой речи анатомировал это многоголовое чудовище, показывая не только его клыки и когти, действие которых европейские народы испытали на себе, но его сокровенные ядовитые железы, его чудовищный желудок, уже готовившийся к тому, чтобы переварить все неарийские народы, показывал глубоко скрытые нервы, приводившие в движение весь этот чудовищный организм».

Небывалый еще прецедент осуждения виновников преступной войны, палачей народов, справедливо считает нужным подчеркнуть Борис Полевой, должен положить начало новому этапу международных отношений, ставшему реальностью благодаря Советскому Союзу как решающему фактору мира.

Не риторикой, а естественным продолжением всего сказанного автором книги звучат его рассуждения о спасителях мира, об обязанности сберечь и сохранить мир. В ходе процесса, «когда тайное стало явным, всемирно-исторические победы Красной Армии как бы выросли в своих масштабах», для всех честных и непредубежденных несомненно, что советский человек «духовно выше и чище людей иного мира». Рассчитываясь со страшным кошмаром фашизма, мир должен всегда помнить об опасности, которая однажды нависла над ним. «...неужели сейчас человечество, убедившись, к чему ведут в конечном счете мечты о захвате чужих земель, не одумается и не скажет войне «нет»?»

«Да» — миру, «нет» — войне — эти призывы, активизировавшие сильный отряд советских писателей — наших современников,— окрылили и общественную и творческую деятельность Бориса Полевого. Он участвовал почти во всех конгрессах и конференциях в защиту мира, избран членом Советского комитета

защиты мира и председателем Советского фонда мира, вице-президентом Европейского Общества Культуры, награжден золотой медалью Всемирного Совета Мира и золотой медалью Советского комитета защиты мира. Как публицист страстно откликается на главнейшие события международной жизни. В художественно-мемуарные произведения вводит привлекательные образы борцов за мир, прогрессивных деятелей культуры разных стран и народов.

Отличительная черта многих из этих произведений — их биографическая основа. Рисуя портреты лучших представителей своего времени, писатель олицетворяет в них ведущие общественные закономерности, и делает это без какого бы то ни было педалирования, на живых, глубоко личностных примерах. Естественность нарисованных сцен, колоритность человеческих образов, точные и лаконичные авторские рассуждения — все сливается воедино, придавая цельность немногословному повествованию. Вереницей проходят в книгах Бориса Полевого участники и творцы незабываемых событий, такие, как маршалы Г. К. Жуков, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, командиры социалистической индустрии, советские и зарубежные ученые, художники, активисты движения миролюбивых сил.

В книге «Силуэты» (1978) — портреты деятелей культуры. Впечатляюще изображены учителя и сверстники писателя: Горький и Фадеев, Федин и Тихонов, Симонов и Кармен, Сарьян и Мухина, Войнич и Фучик, Зегерс и Гильен, Сикейрос и Робсон... Портреты нередко перерастают в литературно-критические очерки. Запоминается, например, определение реалистического дара Мартироса Сарьяна: «...точность, лаконизм, никакого пустословия в красках. Не прорисовывать, скажем, морщинки или веточки на дереве. Освободить суть вещи, предмета от мешающих, рассеивающих внимание подробностей». Подобная творческая манера близка самому автору воспоминаний.

«Перекличку» убеждений и стремлений писателя и его героев нетрудно обнаружить в большинстве произведений Бориса Полевого. Почти одновременно с «Силуэтами» вышла книга «Биографические повести» (1977). В ней более развернутые, чем в новеллах из «Силуэтов», жизнеописания знатных людей страны — полководца И. С. Конева, гидростроителя А. Е. Бочкина, стахановки В. И. Гагановой, скульптора С. Д. Эрьзи. Автором руководит желание найти в человеке творческую жилку, показать его в наивысших дерзаниях. Как говорил Эрьзя, «рука держит резец, стало быть, живу, работаю. И буду работать, пока резец из руки не вывалится». И умер скульптор за работой; пришедшие в

мастерскую посетители обнаружили у его ног резец на длинном шланге.

Да, таковы увенчанные славой замечательные люди наших дней, и Борис Полевой пишет о них с восхищением, гордится дружбой с ними. Автобиографичность его произведений 70-х годов — особенная. Она передает включенность писателя в эпоху, восприятие себя органической ее частицей.

В этом отношении весьма показательна книга «Самые памятные». Подзаголовок «История моих репортажей» правомерно содержит не только слово «моих», но и слово «история». Речь здесь и о себе, и об истории государства, возвеличению и защите которого посвятил себя автор. История страны сформировала его таким, каким он стал. Отображая ее этапы, он лично участвовал в общенародных делах.

Перелистывая страницы прошлого, Борис Полевой рассказывает о том, чем в годы его юности жила страна: разлив социалистического соревнования, рекорды стахановцев, эпопея челюскинцев... Это — и темы для начинающего писателя, и образ его жизни. Фронты Отечественной войны, пройденные профессиональным уже литератором... Они укрепили в ощущении, что сам воздух современности «перенасыщен героизмом». Послевоенные встречи со строителями, бывшими солдатами, зарубежными побратимами... Они подводят к мыслям о призвании литератора, чей слух и зрение заостряет журналистика, знакомя с самыми типичными современниками, к выводу, которым завершается книга: «Я увидел, что смог, и описал, как сумел». Такое двуединство сына своего времени и деятельного созидателя нового общества определяет жанровую природу, сюжетное построение книги.

В отличие от других его мемуарных произведений, в этом Борис Полевой щедрее рассказывает свою биографию, воспроизводит мысли и переживания. Мы узнаем, например, что к осмыслению Нюрнбергского процесса его подготовили «уроки Димитрова» — содержательные беседы в Софии с главой свободного болгарского государства. Реконструирована история создания повести «Вернулся» — под влиянием Александра Фадеева, которому посвящены очень уважительные и теплые строки. Открытие в Москве памятника Горькому — повод для написания очерка «Сын Ниловны» — о встрече (еще одна встреча!) с пожилым уже Петром Заломовым — прообразом горьковского Павла Власова. Круг интересных для писателя людей все время расширяется — здесь встречи и знакомства со многими зарубежными сторонниками мира.

Свобода и «раскованность» изложения в «Самых памятных» не отменяет столь дорогой для Бориса Полевого документальной

точности. Автобиографическая канва репортажей совпадает с хронологией исторических событий. Из последних отбираются характернейшие для общенародной жизни. Автор выступает в потоке истории не один, а во взаимоотношениях с современниками.

Умом и сердцем Бориса Полевого неизменно владеют люди, на которых надо равняться, за кем необходимо следовать. Недаром «Биографические повести» он открыл яркой работой «Наш Ленин». Вехи жизни Ильича — это его дела, из которых он встает «как овеянный легендами сказочный богатырь», «неисчислимые и неиссякаемые идейные богатства, которые он оставил потомкам», привлекательные черты бессмертного ленинского облика. Главка за главкой воссоздают великий образ: «Вера в массы», «Бесстрашие, выдержка», «Внимательность к людям», «Простота», «Принципиальность и непримиримость», «Человек долга», «Человечнейший человек», «Любовь к искусству»... Документированная повесть о вожде завершается призывом-предвидением: «Жизнь Ленина навсегда останется примером для каждого коммуниста, для каждого революционера, для каждого, кто хочет, совершенствуя себя, приблизиться к идеалу человека коммунистической поры».

Приверженность этому идеалу озаряет все творчество Бориса Полевого. Неизбывная вера в настоящего человека вдохновила писателя на лучшие его произведения, вошедшие в золотой фонд советской литературы.

Виталий Озеров

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

ПОВЕСТЬ

Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии.

А. Пушкин

I

Открыв Женьке дверь, хозяйка, у которой он снимал комнату, предупредила, что его дожидается какой-то мужчина.

— Какой там еще мужчина? Пускаете ко мне кого ни попадя... И кто вас просит?! — пробурчал Женька, срывая с себя мокрый ватник.

Злая догадка осенила его: наверно, Нестерыч из цехового комитета приплелся, кому ж больше. Опять разведет бодягу...

Желая досадить чистоплотной женщине, он бросил пиджак и кепку под вешалку на пол и пинком открыл дверь в свою комнату. Незваный гость сидел у окна с гитарой в руках. На грохот двери он удивленно оглянулся и, увидев остолбеневшего Женьку, насмешливо кивнул ему, продолжая легонько пощипывать струны.

Женька сразу узнал этого человека, хотя до сих пор ему никогда не доводилось видеть его вблизи.

Широкое скуластое лицо — большой, резко очерченный рот с плотно сомкнутыми губами, узкие, широко расставленные глаза — хорошо знакомо по газетным фотографиям, по огромному панно, стоявшему у заводских ворот. Но на портретах и снимках лицо это выглядело суровым и замкнутым, а в жизни оказалось открытым, простым, даже обыденным. Узенькие внимательные глаза следили за Женькой с веселым любопытством. Жесткий вихор торчал над шишковатым лбом, придавая всей квадратной голове его какой-то задорный, мальчишеский вид. И особенно удивил Женьку небольшой рост гостя.

«Ага, с козыря пошли, прислали своего знаменитого... Сейчас он мне будет толковать о вреде табака и пользе молока,— подумал Женька, наливаясь злостью.— Пусть только начнет! Мы найдем, чем козыря покрыть».

Он молча, не здороваясь, прошел мимо гостя, уселся на койке и вызывающе спросил:

— Ну?

— Не везет мне в музыке, да и все тут! — густым, хрипловатым баском сказал гость.— Уж как я ее, эту музыку, люблю, сколько мотивов помню, а вот инструмент возьму — ерунда одна получается.

Он с сокрушением посмотрел на инструмент и принялся старательно нащипывать известный всем незадачливым гитаристам мотив «Бедное сердце, куда ты стремишься». Короткие русые брови упрямо сдвинулись, лоб пересекли две прямые вертикальные морщины, и на подвижном его лице отразилось неподдельное напряжение.

— Нет, не выходит.— Гость приглушил ладонью еще рокотавшие струны, придвинул табуретку к койке и вдруг сказал с добродушной доверчивостью: — Ты знаешь, когда я женился, приятель, с которым вместе на квартире стояли, мне сказал: «Если, говорит, Илька, хочешь с женой в ладу жить, продавай гитару и слово дай, что минимум год и песни не запоешь. Нарушишь слово — жена сбежит...» Ох, завидую я тем, у кого слух есть... Ты, говорят, хорошо играешь?

Сбитый с толку Женька наблюдал за ним, стремясь понять, зачем принесло «знаменитого». Лузгин тоже внимательно следил за Женькой. Губы его оставались плотно сомкнутыми, но в уголках широко расставленных глаз собрались пучки лучистых морщинок, а глаза, сделавшиеся совсем узенькими, смеялись.

Женька вырвал у гостя гитару, нахмурился и принялся играть, высунув от усердия кончик языка, отсчитывая такт ногой, покачиваясь всем корпусом.

— «Турецкий марш»! — Женька ухмыльнулся.

В бурном темпе мастерски он закончил последние музыкальные фразы, подбросил гитару, ловко поймал и небрежным жестом, но осторожно поставил в угол.

— Мне говорили, что ты когда-то хорошим кузнецом был,— сказал вдруг Лузгин, и где-то в голосе его Женьке почудилась насмешка.

— Был,— ответил Женька, чувствуя, что краснеет. Не имея сил сдержать эту предательскую краску, чувствуя, что лицо его начинает пылать, будто его опахивает жаром нагревательной печи, он вскочил и заорал: — Ну и ладно, и был! А сейчас вот с завода гонят. В шею! Понял? И кончен разговор! Шабаш!..

Лузгин будто и не заметил этой вспышки. Его серые глаза смотрели на Женьку все с той же доброжелательностью, но насмешка светилась в них уже откровенно.

«Чего он на меня уставился? — зло думал Женька, усаживаясь на койке так, чтобы гость не мог видеть его лица.— Чего ему надо, чего пристает?»

— Меня агитировать не требуется, с семнадцатого года сагитированный.

— А тебе сколько лет-то?

— Ну двадцать один.

— Стало быть, пятнадцатого года рождения? Та-ак... Плохо все-таки тебя, парень, в семнадцатом году агитировали.

Женька хотел сдержать улыбку и, к своей великой досаде, не смог: ведь вот привязался человек...

Лузгин равнодушно осведомился:

— За что увольняют-то?

— Да вот с мастером поругался. Ну как же, товарищ Лузгин, сам посуди. В работе я толк, кажется, смыслю, из фабзайцев с пятым разрядом в цех пришел, а он под руку жужжит и жужжит: не так, не этак,— точно хуже его дело знают. Что ж, мне все и терпеть? Ну, я ему вежливо: «Катитесь вы колбасой». А он на меня. Я ему: «Уйдите, говорю, от меня за-ради бога, старая вы жужелица». Он и разорался! А чего орать? Неверно, что ли? Только и жужжит над ухом: жу-жу-жу-жу, жу-жу-жу... Жужелица и есть. Гитара вон не обидится, если ее гитарой назовешь...

Подняв глаза на собеседника, Женька заметил, как изменилось его лицо: глаза стали шире и будто потемнели. Они смотрели теперь холодно и сурово, как на портрете, что висел в клубе.

— И часто это с тобой случается?

— Чего такое?

— А вот, спрашиваю, часто хулиганишь в цеху?

— Хулиганю? Я — хулиганю?! — Женька вскочил с койки, рванул ворот рубахи и, с трудом проглотив горячий ком слюны, закричал: — Зачем пришел? Чего тебе от меня надо? Ну?.. Ну?..

Лицо Лузгина точно замкнулось. Нельзя было по нему угадать, что думает или чувствует этот человек.

— Да, плохи, ох плохи твои дела, парень!.. А вот что скажешь, если я тебя в свою бригаду возьму? — не то раздумывая, не то предлагая, спросил Лузгин.— Ну да, в мою бригаду крючочником. Чего ты так уставился? У нас правого крючочника, Федорова Николая,— может, знаешь, такой большой, рябоватый,— так вот его парторгом горя-

чих цехов выбрали, с освобождением от работы. Вот мне и нужен крючочник.

Лузгин неторопливо взял гитару и снова принялся выщипывать из нее «Бедное сердце».

Женька стоял, как конь, остановленный на полном скаку. На смуглом лице его, покрытом жесткой, неопрятной щетиной, застыло растерянное выражение. Он тяжело дышал, и во взгляде его черных глаз с белками синеватого оттенка смешались злость и недоумение.

Лузгин взял нестройный аккорд и, бережно положив инструмент на койку, неторопливо поднялся.

— Ну, мне пора. Так как же, договорились? С начальником цеха дело твое постараюсь уладить, но уговор: работать чтобы без дураков. И это...— Лузгин показал рукой на пыльную толпу пустых бутылок, теснившихся на подоконнике,— это изредка и только по выходным. Помни... Марать бригаду не дам.

Предупредив, что завтра нужно выходить в утреннюю смену, Лузгин ушел, не дожидаясь ответа.

Знаменитый кузнец, должно быть, даже и мысли не допускал, что от его предложения можно отказаться. Заскрипели на дворе ступеньки крыльца. Хлопнуло кольцо калитки. За окном прочавкали по грязи шаги; прочавкали, стихли, а Женька все еще стоял посреди комнаты. Известность лузгинской бригады была слишком велика, чтобы сразу освоиться с таким неожиданным предложением.

Женька спохватился, что он даже не попрощался с Лузгиным, не успел его ни о чем спросить, не посоветовался даже, как быть, если завтра в табельной у него отберут номер и пошлют в контору за расчетом...

И еще что за люди в бригаде? Как они работают? Наверно, у них есть свои особые приемы, которых никто не знает и которые составляют их секрет. Ведь недаром же у бригады Лузгина такая слава. Женька не боялся, наоборот — он любил сложную работу. Но хватит ли у него умения и сил, чтобы работать с Лузгиным,— это еще вопрос. А главное, как встретят.

Это последнее почему-то особенно волновало Женьку. «Ну, ну, утро вечера мудренее»,— степенно успокаивал он себя, укладываясь спать и стараясь ни о чем не думать. Но мысли вновь обращались к недавнему гостю. Стоило закрыть глаза — и он отчетливо видел его кряжистую фигуру, неловко склонившуюся над гитарой, чувствовал его переменчивый взгляд, то добродушный, то насмешливый,

то холодный и твердый, но одинаково зоркий во всех своих выражениях. Женька чувствовал себя под взглядом Лузгина неловко, будто Лузгин заглядывал ему в душу, читал его мысли.

«Так вот он какой!» — раздумывал Женька, в который уже раз переворачивая жесткий блин своей тощей подушки.— Вроде обычный дядька, как все... встретишь во дворе в смену — среди других и не заметишь... И рост... совсем небольшого роста. Только вот глаза — до чего же цепкие, прямо репей! Хитрущий, должно быть! Проведет, выведет, наизнанку вывернет, а ты и не заметишь. И все-таки он на свои портреты похож... не всегда, но похож. Эх, как-то они меня примут... Скорей бы уже, что ли...»

Женька вздыхал, ворочался с боку на бок, натягивал на голову одеяло, считал до тысячи, вспоминал всех знакомых Иванов, восстанавливал в памяти по порядку номера молотов в старой кузнице. Но эти не раз испытанные средства самоусыпления не помогали. Сна не было. Коренастая фигура гостя маячила перед глазами, и все звучал в ушах его хрипловатый басок.

«Ведь вот же въелся в голову человек! И почему он ко мне пришел, непонятно!.. Неужели просто повезло? И ведь верно, повезло... На заводе заговорят теперь: «Сизов? Это какой же Сизов? Который с Лузгиным работает? А-а, тот самый, знаменитый Евгений Иванович Сизов? Как же, как же. Знаем». Ха! Здорово!.. А вдруг завтра у «знаменитого» Евгения Ивановича отберут в проходной номер и дадут от ворот поворот?.. И очень даже возможно. Ведь попутал же леший связаться с этой старой жужелицей... Скоро ль рассвет-то, что ли? Ночь-то как тянется...»

Женька вскочил с постели, когда за окнами еще стояла густая темень. Наскоро сполоснул под рукомойником лицо, торопливо натянул спецовку, в которой последнее время, не переодеваясь, уходил с завода, и, откусывая поочередно то хлеб, то колбасу, помчался по знакомой дороге.

Улицы поселка были еще тихи и пусты, лишь немногие рабочие, из тех, кто любил размяться перед сменой, неторопливо, гуляющим шагом, разговаривая между собой, двигались к заводу. Женька же всю дорогу почти бежал, не обращая внимания ни на острые порывы холодного ветра, ни на гребешки застывшей колеи, о которые он поминутно спотыкался, ни на подмерзшие лужи, звеневшие под но-

гой молодым ледком. Только когда в предрассветной мгле нечетко обозначились фонари у заводских ворот, он замедлил шаг. Сердце заныло тревожно, тоскливо: неужели сейчас потребуют к коменданту, отберут номер, зачитают приказ?

Он оглянулся и, убедившись, что близко никого нет, нырнул в дверь проходной, как ныряют в ледяную воду.

Молодой щеголеватый вахтер скучающе просмотрел пропуск и молча вернул. Рабочий номер звякнул в кружке горячих цехов. Женька вздохнул свободно и жадно. Пронесло!

До гудка оставался целый час. Испугавшись, что ранний приход на работу могут, чего доброго, расценить как заискивание перед знаменитой бригадой, Женька выскользнул из цеха и принялся бродить по заводскому двору.

Уже светало, но холодный утренний туман застилал все вокруг. Сквозь белесую, грязноватую мглу едва проступали смутные очертания ближайших корпусов, неясно, точно масляные пятна на бумаге, расплывались огни фонарей. Доносились удары пневматических зубил и дребезжание железа; тревожно свистели маневрирующие вслепую паровики; внезапно рыкали сирены электрокаров; сердито и упрямо звонил колокольчик трансбордера. Сотрясая землю, глухо ухал в кузнице десятитонный молот. Напряженно и мелодично пела электростанция. Со стороны деревообделочного цеха слышался визг и звон циркульных пил. С силой выбиваясь из трубы, зловеще свистел пар.

Все тонуло в тумане, но звуки эти, несшиеся со всех сторон, звуки, знакомые Женьке с дней фабзавуча, не менее выразительно, чем яркие дневные краски, рисовали огромный завод, переваривающий тонны железа, чугуна, стали, штабеля древесины, чтобы ежедневно выпускать длинные составы товарных и пассажирских вагонов для всей страны.

Под ногами, точно соль, сухо хрустел иней. Туман редел. Четче обозначались стены цехов, припудренные изморозью. На газонах, обрамлявших асфальтовые дорожки, стали видны жалкие, всклокоченные астры, убитые заморозком. У ворот, ведущих в новую кузницу, ветер трепал длинный кусок обоев, на котором было написано: «Опыт лузгинцев — всем кузнецам».

Женька вздрогнул, точно его кто ударил. Прежние мысли с новой силой овладели им. Кто из настоящих кузнецов

не мечтал работать в знаменитой бригаде? Уважение и почет окружают имя Лузгина. И все непонятней становилось, почему столь славный бригадир выбрал именно его, Женьку Сизова, стяжавшего в старой кузнице незавидную репутацию лодыря и трепача.

«Нет ли тут подвоха? Может, разыгрывают они меня? Пригласили и надсмеются... Да нет, какой тут розыгрыш! Стал бы Лузгин время тратить!»

Сизову хотелось прийти в знаменитую бригаду как равному к равным. Ведь он же не набивался. Сами пригласили. Раз пригласили — значит, понадобился. И тут же закрадывались сомнения: а что, как бригада не захочет принять? А вдруг он не выдержит испытания? Это последнее было бы самым страшным.

В цех Женька пришел продрогший, тихий. Утренняя смена уже собиралась. Люди были малознакомые. Лузгина среди них не видно. Бригадира, одетого в просторный синий комбинезон, он едва узнал.

— Явился? — весело сказал Лузгин, крепко тряхнув Женькину руку.— Переодеваться не будешь? Тогда пойдем в красный уголок, с моими знакомиться.

Идя за Лузгиным, Сизов старался принять спокойный, независимый вид.

В комнате оказались трое мужчин и женщина.

— Наш новый кадр — Евгений... как тебя по отцу-то?.. Евгений Иванович Сизов. Любите и жалуйте,— отрекомендовал бригадир.

Чувствуя на себе пристальные, изучающие взгляды, Женька неловко сунул руку сидевшему у двери сухонькому старичку. Маленькое, морщинистое личико старика густо заросло курчавым черным волосом. Редкая седина, пробивавшаяся в бороде и усах, сверкала, как изморозь на кусках угля. Старик поправил на тонком горбатом носу очки, метнул на Женьку быстрый взгляд черных глаз и, ничего не сказав, уткнулся опять в газету. Женьке он не понравился: «Ишь грач — и говорить не хочет. Ядовитый, должно быть, старикашка».

Худощавый мужчина в таком же, как и у Лузгина, комбинезоне, в ковровой тюбетейке на выбритой круглой голове, привстал из-за шашечной доски и деловито представился:

— Петр Жолобов.

Его партнера, громадного белокурого парня, улыбавшегося с наивным радушием, Женька знал. Это был Ваня

Овцын, «непроходимый бек» заводской футбольной команды, известный широким массам болельщиков города под прозвищем «Километр». Стиснув Женьке руку так, что на ней слиплись пальцы, Ваня сейчас же согнулся над доской и с огорчением уставился на две шашки, запертые противником в разных углах доски.

Высокая румяная девушка с откровенным любопытством смотрела на Женьку.

— Настя. Вы часом не из трубочистов будете? — сказала она глубоким грудным голосом, мягко выговаривая букву «р».

— Это как же понимать?

— А уж как поймется.

Женька не сразу догадался, что речь идет о его замасленной, коробившейся, как ржавая жесть, спецовке. Все были одеты опрятно. У бритоголового под расстегнутой блузой виднелась чистая матросская тельняшка. У девушки над грубым воротом рабочей куртки даже белел шитый гладью воротничок.

— Я вас на танцы не приглашаю...— ответил Женька, но тут же опустил взгляд.

Девушка смотрела на него насмешливо.

— Медведь весь век не умывается, так его все и боятся.

«Вот язва»,— подумал Женька, подбирая слова похлеще, чтобы как следует осадить чернобровую деваху. Но подходящий ответ так и не пришел в голову. Женька почувствовал облегчение, когда Лузгин отозвал его в сторону, усадил за стол и, развернув лист бумаги, стал объяснять, как организован в бригаде труд.

Ничего особенного, никаких секретов, которые нужно разгадывать, как видно, у него не было. Женька сразу успокоился и, успокоившись, стал слушать рассеянно и нетерпеливо, думая о людях, с которыми придется работать. Они тоже оказались обыкновенными — не силачи, не великаны, как невольно думалось, когда он раньше слушал и читал о лузгинцах. Люди эти Женьке определенно не понравились, за исключением разве Вани, добродушие которого было ему известно еще по клубу.

«Заелись славой, много о себе понимают,— думал он с неприязнью.— Да и бригадир хорош: толкует, как работать на крючке. Кому?! Кузнецу шестого разряда. Эка неви-

даль — крючок! За дурака он меня считает, что ли, или ученость свою показывает?»

— Ну как, понял? — внезапно прервав объяснения, спросил Лузгин.

— Больше половины,— ответил Женька вызывающе.

— Ну что ж, и на том спасибо...— Лузгин встал.— Пора, товарищи.

В цех Женька шагал уверенно.

II

Кузницу воображение рисует обычно в мрачных тонах: гарь, копоть, черные стены, низкие, тяжело нависшие потолки. Тускло мерцает багровое трепетное пламя горнов. Тени работающих мечутся по стенам в сизой, угарной, грохочущей полумгле.

Новая кузница вагоностроительного завода имени Орджоникидзе, где происходили описываемые события, была построена во второй пятилетке и только недавно стала работать на полную мощность. Она походила скорее на громадный выставочный павильон, где двумя рядами в строгом порядке выстроились тяжелые молоты, могучие прессы, высокопроизводительные ковочные автоматы новых типов. Мощные вентиляторы отсасывали испарения и гарь нагревательных печей, нагнетали свежий подогретый воздух. Ровные линии узкоколейки, цепи кранов и талей, свисающие с ажурных балок, пусковые устройства машин — все это, новенькое, блестело.

Молот, который сменившаяся бригада обтерла перед сдачей, лоснился, как холеная лошадь. Даже четырехугольные ржавые брусья-заготовки и только что откованные и еще не остывшие оси, над которыми, как над лугом в погожий день, зыбилось марево, лежали ровными рядами на специально устроенных металлических стеллажах.

«Да-а! Тут и дурак темпы покажет, это тебе не старая кузня»,— подумал Женька, как-то по-новому, уже как нечто свое, оглядывая цех, где ему отныне предстояло работать.

Между тем Лузгин принял смену у высокого носатого кузнеца. Они оба расписались в тетради сдачи, пожали друг другу руки. Люди стали по местам: чернявый старичок — у рукоятки управления, Петр Жолобов — у нагрева-

тельной печи, Ваня взялся за цепи крана, а чернобровая Настя, к удивлению Женьки, заняла место против него — она работала левым, главным, крючочником.

Женька обиженно посмотрел на бригадира.

Но раздумывать было некогда. Не произнеся ни слова, Лузгин повелительно кивнул.

Нагревальщик быстро распахнул раскаленную дверцу печи и, отворачиваясь от багрового, обжигающего жара, будто даже и не глядя, но очень ловко зацепил заготовку длинной металлической кочергой. Старик, девушка, а за ней и Женька схватили рукоять кочерги.

Бригадир опять кивнул.

Выхваченная дружным рывком раскаленная заготовка повисла на цепях крана. Описав в воздухе крутой полукруг, она покорно легла на наковальню и едва коснулась стальной плоскости, как старик уже обрушил на нее удары молота.

На пару с девушкой Женьке нужно было встречными, очень точными и согласованными движениями длинных металлических рычагов-крючков поднимать, поворачивать заготовку, двигать ее взад и вперед по наковальне. Нехитрое дело для кузнеца шестого разряда, умеющего, как говорится в горячих цехах, «чувствовать металл». Новым было только то, что огромный молот действовал непрерывно, как сердце, ни на мгновение не теряя ритма, не замедляя хода. Под его ударами четырехугольный стальной брус заготовки округлялся, выпрямлялся, выравнивался, принимая постепенно форму вагонной оси. Весь этот сложный процесс совершался как бы автоматически. Даже когда по кивку кузнеца заготовку поворачивали, Женька едва успевал разгибать спину.

Первые полчаса Сизов работал без особого напряжения. Потом появилась странная скованность, и он понял, что начинает отставать. Он прилагал все больше усилий, а скованность росла. Пот тяжелыми каплями падал со лба, по шее стекал за ворот, щипал глаза, и некогда было его вытирать.

Бригада по-прежнему работала слаженно. Никто не бегал, не суетился; больше того — никто, даже бригадир, не произносил ни слова.

Работа требовала от Женьки всех сил, всего внимания. Лишь изредка он, улучив момент, отрывался от заготовки и тогда ловил на себе внимательный, как бы изучающий взгляд красивых синих глаз. Его особенно поражало, что

высокий лоб девушки, перехваченный косынкой, сух, а на лице у нее нет и следов напряжения.

«Вот это да!.. Неужели я слабее бабы?» — удивлялся Женька, чувствуя, что устал уже не на шутку. Намокшая блуза липла к телу, правый рукав разорвался. Тяжелые лохмотья, пропитанные затвердевшим мазутом, при каждом взмахе шлепали по руке, мешали. Улучив минуту, Женька рывком отхватил полрукава и бросил на пол.

Девушка укоризненно покачала головой. И Сизову бросилось в глаза: пол кузницы так чист, что обрывок рукава безобразно чернеет на желтых матовых плитах.

Работа шла как бы сама собой. Лузгин, как казалось, ничем не выделялся среди остальных. Крепко вцепившись особыми клещами-державкой в заготовку, он ловко двигал и поворачивал ее. Не отрывая глаз от багровеющего металла, он кивал головой то медленно и плавно, то резко и отрывисто. И, словно подчиняясь этим едва заметным его движениям, удары молота становились то короткими и частыми, то тяжелыми — «с оттяжкой», то обрушивались упругой дробью, от которой пол под ногами начинал мелко дрожать. Кузнец и старик машинист Кухаров без слов понимали друг друга, со стороны казалось, будто ковка идет сама собой, без их участия.

«Вот откуда у Лузгина привычка кивать головой в разговоре,— сообразил Женька.— На кого это он сейчас похож? Особенно глаза. Очень смахивает на кого-то хорошо знакомого. Но на кого?»

— Зеваешь! — раздался низкий грудной девичий голос.

Женька вздрогнул: неужели и ей заметно, что он отстает? Ведь он не из слабых и, кажется, старается как следует. А она, вроде и не торопясь, опережает его, мужчину, кузнеца шестого разряда. И все, наверно, уже видят, что она приняла на себя часть его нагрузки. Ох, черт!

Сизов нажимает из последних сил. «Хоть бы обед скорее! Через десять минут звонок. Наконец-то! Нет, еще вытащили заготовку. Все мало! Жадюги! Хапалы! Чертовская работа...»

Когда раздался наконец сигнал, Сизов уже так обессилел, что крючок вывалился у него из рук, а сам он незаметно прислонился к станине молота. Противно дрожали колени, ломило поясницу, ныли плечи. Перед глазами, то наплывая, то отдаляясь, суетились разноцветные, тускло сверкающие круги. Хотелось, очень хотелось прижаться к

прохладному металлу разгоряченным лбом. В висках с шумом пульсировала кровь.

— Ну как? — спросил Лузгин, снимая рукавицы.

Женька молчал. Он не заметил, как бригадир и старик машинист быстро обменялись короткими понимающими взглядами и молча пошли из цеха. Когда кузница опустела, Женька присел у молота и несколько минут просидел с закрытыми глазами, с удовольствием ощущая всем телом блаженное состояние покоя. Потом медленно встал, с трудом нагнулся, поднял обрывок рукава, сунул его в карман и побрел из цеха, волоча тяжелые, точно одеревеневшие ноги.

В столовой по-домашнему пахло бараниной, жареным луком. Звенели ложки. Надсадно хрипел плохо настроенный репродуктор. Фабзайцы, сидевшие шумной стайкой, краснея от собственной смелости, отпускали шуточки по адресу подавальщиц. Бригада Лузгина обедала за общим столиком. Девушка оживленно что-то рассказывала. Покрывая шумы обеда, слышались глухие раскаты Ваниного смеха: хо-хо-хо...

— Сюда! Мы тебе заказали! — крикнул Ваня, доставая из-под стола табуретку.

Женька понуро сел, стал рассеянно крошить хлеб, не притрагиваясь к остывшему борщу.

— Что же вы? — спросил Петр Жолобов. Он уже пообедал и аккуратно вытирал губы бумажной салфеткой.

— Он стесняется,— отозвалась девушка.

— Ко всякой бутылке пробка!..— огрызнулся Женька, понимая, что глупо сердить эту девушку, незаметно помогавшую ему работать.

Есть не хотелось. Женька поднялся из-за стола, отошел к витрине со свежей газетой и сделал вид, что читает. Рядом, у буфета, Лузгин и высокий сутулый мужчина с круглым лицом, сильно попорченным оспой, не в прозодежде, а в черной сатиновой косоворотке и мешковатом костюме, о чем-то оживленно беседовали. Когда Женька приблизился, они сразу замолчали, и он понял, что говорили о нем и что рябой — это, наверно, и есть парторг Николай Федоров, которого Женька заменил в бригаде.

— Новому начальству почет и уважение! — поздоровался с ним рыжеватый прессовщик, работавший, как уже успел Женька заметить, в углу, на сдвоенных прессах — «Аяксах», и, обращаясь к Лузгину, добавил: — Апельсин-

чиками, Илья Афанасьевич, охота побаловаться? Что ж, тебе по заработку, ты у нас теперь король бубновый.

— Староват я для такого фрукта — ребятам вот да крестнику.

— Испании хочет помочь,— отозвался рябой.— Илья — человек сознательный... Сейчас все об Испании думают.

— Ну, как новый примак, приживается? — спросил прессовщик, принимая от буфетчицы стеклянную кружку с жидкостью ядовито-фиолетового цвета, именуемую морсом.

Карие глаза рябого хитро прищурились под тронутыми оспой коротенькими бровями.

— А как же...— сказал он очень громко, так что Женька, насторожившийся у витрины, отчетливо слышал каждое слово.— А как же! Илья его как раз вот сейчас так нахваливал, что мне даже обидно стало. Ей-богу, обидно...

От Женьки не ускользнуло удивление, с каким Лузгин глянул на парторга. А тот продолжал громко и весело:

— То так про меня говорил — «душа бригады», а не успела душа в партбюро отлететь, другого хвалит — талант! Известный тезис: с глаз долой — из сердца вон...

— Эх, Колька, разве тебя, черта, забудешь? Душой был, душой и остался,— отозвался Лузгин, обнимая Федорова, и какая-то особая теплота согрела его хрипловатый голос. И, тоже покосившись в сторону Женьки, сказал: — А примак верно ничего, с головой. Опытный. Только вот форсу много, это ему гадит... Заверните-ка хорошенько вот эти три вместе, а один — отдельно,— сказал он буфетчице, протягивая отобранные апельсины. Крепко стукнул Федорова по плечу, так что тот даже покачнулся.— Ну, душа, не забывай родной участок. А то переизберем как забюрократившегося.

Лузгин ушел, и Женька слышал, как прессовщик, со вкусом потягивая морс, сказал Николаю Федорову:

— Легка рука. У него и полено росток даст...

— Светлая голова,— отозвался парторг.

В цех Сизов вернулся все-таки успокоенным.

На участке никого не было, кроме старика машиниста, возившегося с ключом у молота. Он так низко склонял свое близорукое лицо, что сзади могло показаться, будто он стоит упираясь лбом в станину. Услышав шаги, машинист обернулся, из-под очков взглянул на Женьку и, снова принимаясь за дело, ворчливо заметил:

— Почему у тебя, парень, дело не клеится? Потому что больше о себе думаешь, чем о работе. Понятно? Как бы не отстать, да как бы люди не посчитали, что ты неумеха, да как бы кто тебе замечания какого не сделал... Самолюбие. Вот и волнуешься. А когда человек взволнованный — какая работа!

— Ну, ну, дядя! Ты внуков учи, а мы уже своими ногами по земле ходим,— ответил Женька.

Он больше всего боялся попасть в положение ученика.

Старик даже не повернул головы. Медленно достал он из кармана носовой платок и высморкался так громко, что эхо повторило звук в углах тихой сейчас кузницы.

После обеда работалось еще хуже.

Усталость все больше связывала тело. Руки сгибались с трудом. Мускулы точно затвердели. Каждое движение стало причинять тупую боль, и требовалось уже напряжение всей воли, чтобы, преодолевая эту боль, не выбиться из темпа, не отстать, не заслужить насмешливого или, что было бы еще хуже, сочувственного взгляда синих девичьих глаз.

Но Женька был упрям. Он скорее согласился бы сунуть руку между бойками, чем осрамить себя перед знаменитой бригадой. Закусив губу, он напрягал все силы и все-таки побеждал усталость.

Легкость, с которой работали остальные, злила и угнетала Сизова. Ему казалось, что товарищи посмеиваются над неумелостью новичка: дескать, отрыл бригадир сокровище! А чернобровая — эта уж наверняка думает: сел на мою шею, лодырь царя небесного. А еще болтал, что кузнец шестого разряда...

Молот бил неутомимо. Только раз стальная двухтонная баба замедлила свой упрямый бой, сделала несколько бессильных скачков и вдруг повисла над недокованной осью.

— Опять двадцать пять,— буркнул машинист и звучно плюнул себе под ноги.

«Сел» пар. Остановились молоты. В наступившей тишине громко раздавались раздраженные голоса.

К Лузгину подбежал рыжий прессовщик с «Аяксов».

— Что, черти, делают! — кричал он.— Мы в субботу с семеновской бригадой соцдоговор подписали работать по-твоему. А тут — на́ тебе! Нормы не вытянешь... Хоть бы ты, Илья Афанасьевич, поговорил с кем покрепче насчет этого проклятого пара. Тебя послушают.

Вокруг Лузгина собралась порядочная толпа. Она сердито шумела.

— Много они слушают кого. Вон и в газете писали...

— Ему что, механику, дьяволу,— ему зарплата идет... Первого и пятнадцатого — пожалуйте сполна. У него не сдельщина. А у нас из-за этих простоев и в ведомости расписываться-то не за что...

— Ты чего, Лузгин, молчишь? На трибуне — так первый...

Лузгин не отвечал. Голоса звучали все раздраженней.

— Илье — что! Ему хорошо. У него все одно не меньше трехсот процентов — и премиальные и прогрессивка, все сполна.

— Нет, а я что! Я пойду и скажу Апту: я так не согласный, я плюну и на «Первое мая» уйду.

— Как это «уйду», куда это «уйду»? Ты чего говоришь — соображаешь? — тоненьким голосом закричал Кухаров, набрасываясь, как ястреб, на тощего кузнеца.— Летун!

— А и уйду! Что ты мне сделаешь? Я здесь гвоздем не прибитый, имею право. Хватит из меня нервы тянуть... «По-лузгински, по-лузгински» — все уши прожужжали! А чуть нажмешь — стоп!.. На своем пару, что ли, работать? — отозвался тощий кузнец, пятясь, однако, от наскакивающего на него старика.

— Илья Афанасьевич, вон уж какой разговор идет,— толкнул Лузгина рыжий прессовщик.— Скажи давай...

Знаменитый кузнец сердито развел руками:

— А что скажешь? Толкуют — паропровод менять надо, миллионное дело... А кто даст менять, когда он новый? Ведь уж сколько об этом толковал... Язык обтрепал...

Выражение бессилия так не шло к лицу Лузгина, казалось, оно постарело лет на десять.

Женька сидел возле молота на прохладном полу. Он даже радовался простою. «Попить бы теперь...» До автомата с холодной газированной водой не больше пятнадцати шагов, но он продолжал сидеть, чтобы не нарушать блаженного покоя.

Но как только вздрогнули стрелки манометров и засипел пар, шум в цехе сразу стих. Все бросились на свои места. Работа пошла еще напряженнее. Наверстывали простой. Теперь Сизов то и дело смотрел на часы, висевшие невдалеке, в соседнем пролете. Никогда еще время не тянулось так медленно: стрелки как будто прилипли

к циферблату. Когда же наконец раздался звонок и начали смолкать молоты, у Женьки было одно желание: добраться до душа, окатиться ледяной водой, сесть. Он было побрел в душевую, но Настя окликнула его:

— А прибирать кто за тебя будет?

— Правильно, у нас такой порядок,— поддержал ее бригадир.

Домой Женька шел медленно, еле переставляя ноги, жадно вдыхая холодный, влажный воздух. За день мокрый снег покрыл землю. Пухлыми валиками лежал он на гигантских катушках полускатов, на штабелях заготовок, на электрокаре, груженном фасонным железом, который застрял в дверях обрезного цеха. Непривычная белизна, подчеркнутая темными красками заводского двора, резала глаза. Как всегда, когда выпадал обильный снег, кругом будто стихло, знакомые заводские шумы звучали смягченно и приглушенно.

Сизов попробовал осмыслить впечатления дня. Итоги были невеселые. В тяжелой голове назойливо и неотвязно, как пение комара, звенела все одна и та же мысль: «Почему им — хоть бы что, а я вымотался, как худая лошадь? Они поспевали без усилий, а я отставал... Уйду... уйду от них. Черти двужильные!»

— Ну как, упарился для начала? — вдруг раздался над ухом голос бригадира.

Женька вздрогнул. Лузгин шел не один. Рядом с ним, громко стуча по мокрому асфальту каблуками фетровых бот, шла женщина в модной шляпке «пирожком», в коротком пушистом жакете. Ее лицо тонуло в воротнике.

— Подумаешь! Раньше-то мы парились? — отозвался Женька.

Женщина засмеялась. По грудному смеху он узнал крючочницу. Они быстро обогнали Женьку, но он успел расслышать, как она насмешливо произнесла:

— Герой!

Лузгин о чем-то рассказывал Насте. Они быстро опережали других, возвращающихся со смены, свернули направо и пошли сквером. На чистом, девственном снегу дорожки отпечатались две пары следов: мужские и женские. Они были отчетливо видны в сгущающихся ранних сумерках...

Женька посмотрел на эти черные, уходящие в глубь аллеи следы и нехорошо усмехнулся: «Знаменитость! Апельсинчики деткам покупает... А ну вас к свиньям! Слышите! Завтра же уйду к чертям. Вам ордена нужны,

слава, ну и жильтесь, а мне ради чего килу наживать? Много ли холостому надо... Уйду!»

С кем бы поговорить, излить душу? Хотел по привычке завернуть к Пороцкому, он как раз проходил мимо его дома. Этот-то уж поймет, посочувствует. Но окна знакомой квартиры на втором этаже были темны, и Женька нехотя поплелся домой.

После свежести улицы спертый воздух замусоренной его комнаты ударил в нос липким, устоявшимся смрадом. Женька брезгливо посмотрел на носок, валявшийся на столе в соседстве с жестянкой из-под бычков, на застланную койку с тощей блинообразной подушкой, хранившей темный след жирных волос, на кучку сора у порога, на мохнатый слой пыли, уже одевший газету, которой Женька завесил свой новый костюм, и вдруг шагнул к окну, отомкнул шпингалеты, рванул раму.

Комья сухой замазки посыпались на пол. Окно распахнулось.

Как приятно было вдохнуть свежий, холодный воздух, потянуться так, что захрустели суставы! Быстро скинув сапоги, он рухнул на койку. Хорошо было лежать вот так, без движений, без дум, чувствуя, как ноют отдыхающие мускулы.

— ...Я думаю, откуда это ветром несет, а он никак окно растворил? Совсем с ума спятил парень. Мы топили, топили, а он выстуживает...— слышался за переборкой недовольный голос квартирохозяина.— Евгений, Евгений, ты знаешь, почем теперь дрова-то? Эй, слышь!.. Опять нажрался, алкоголик несчастный...

Сердито застучали в стену. Еще и еще. Потом бранились два голоса: мужской и женский, стучали чем-то тяжелым.

Но жилец ничего не слышал. Он спал каменным сном, тяжело всхрапывая и изредка дергая руками, точно и во сне стараясь повторить рабочие движения.

III

Однажды, возвращаясь вечером со смены, усталый и злой, Женька проходил мимо большого магазина «Гастроном», который был открыт недавно в новом заводском доме на проспекте Энтузиастов.

С тех пор как Сизов перешел в новую кузницу, он ни

разу не выпил. И действовал тут не наказ Лузгина. Он ничего не обещал бригадиру. Просто как-то все было не до этого. А тут сразу вдруг захотелось напиться, чтобы хоть на один вечер забыть о Лузгине, о бригаде, о своих стараниях, сомнениях, неудачах, о своей усталости, обо всем, что в последнее время не давало ему покоя.

«Но ведь завтра на заработку вставать [1],— размышлял он, нерешительно останавливаясь у магазина.— Да и в бригаде заметят... Этой чернобровой только на зуб попади!»

За зеркальным стеклом витрины искрилась пирамида бутылок, освещенная сзади светом неона. Разноцветные жидкости в них казались густыми, теплыми. У основания пирамиды лоснился жиром окорок, нежно розовела обрамленная фольгой семга, с овальных блюд тяжело свисали тучные гроздья сосисок.

— Ну и пусть! Наплевать! — вслух сказал он, толкая дверь и врываясь в магазин.

Он поглядел в лицо девушке, сидевшей в стеклянной клетке кассы, и громко крикнул, точно бросая ей вызов на дуэль:

— Половинку и двести граммов ветчины!

— Гляди-ка, Костенька,— Женька! — послышался за спиной знакомый тоненький голосок.

— Где, Валенька?.. Ба! Пропащая душа!

У прилавка кондитерских изделий, забирая какие-то маленькие сверточки и пакетики, стояли Валя и Костя Кузнецовы, известные заводской молодежи под прозвищем «Аяксы». Оба они работали монтерами в электроремонтном цехе и славились в поселке тем, что были всегда неразлучны. Вместе, сидя на одной парте, учились по вечерам в средней комсомольской школе, вместе играли на мандолинах в струнном оркестре клуба, вместе, идя на завод, по дороге заносили сына в ясли.

Невысокие, коренастые, с круглыми открытыми лицами, Аяксы даже внешне походили друг на друга. Только у Кости волосы были каштановые, прямые, как медная проволока, а у Вали — пепельного цвета, вьющиеся и легкие, как дым.

Улыбаясь, Аяксы двинулись навстречу Женьке.

— ...Куда это ты провалился? Нигде не видно... На, дер-

---

[1] Вставать на заработку — работать в утренней смене. *(Примеч. автора.)*

жись,— говорил Костя, протягивая Женьке локоть, так как руки у него были заняты покупками.

— Вот и хорошо, что встретились. Да, Костенька? У нас Константинычу сегодня два года исполнилось. Ребята собираются... Заходи! Бери гитару. Попоем, потанцуем. Баян будет,— пригласила Валя.

Костя шел за Женькой к прилавку и, размахивая свертками, спрашивал:

— Ты, говорят, у Лузгина работаешь? Врут, нет?.. Ну-у! Как же ты к нему попал?

— Как попал! Очень просто. Пригласили. Лузгин сам ко мне домой пришел. «Хочешь, говорит, товарищ Сизов, ко мне крючочником? Мне, говорит, очень хороший крючочник нужен». Я подумал, подумал... «Что ж, говорю, бригада, кажется, ничего, пожалуй, пойду».

— Неужели сам товарищ Лузгин? — удивилась Валя.

— Сам. А что тут такого?

Костя, с трудом удерживая кулечки, вываливающиеся у него из рук, допытывался:

— Ну и как? Расскажи, в чем там у них дело? А то все шумят: Лузгин, Лузгин! Пишут: триста да четыреста процентов нормы, а что за цифрой — неизвестно... Ты вот что, Женька: забирай чего тебе тут надо — и к нам. По дороге и потолкуем. Идет?

Сизов смущенно вертел в руках серенькие билетики чеков. В голосе супругов слышалось такое уважение к имени Лузгина, к его бригаде и даже к нему, Женьке, члену этой бригады, что так вот подойти и взять при них злополучную поллитровку казалось совершенно невозможным. Взгляд его, растерянно бродивший по полкам гастрономического отдела, вдруг с надеждой остановился на объемистой банке, наполненной какой-то бурой массой. На этикетке значилось непонятное слово: «Кетчуп». Банка стоила столько же, сколько и поллитровка.

— Двести граммов ветчины и банку кетчупа,— смело сказал Женька, протягивая продавцу чек.

— Кетчупа?.. Зачем тебе кетчуп? — удивилась Валя.

— Ем по утрам. Понятно? Мне один парень посоветовал. Очень, между прочим, вкусно,— соврал Женька, безуспешно стараясь засунуть банку в боковой карман.

— Это же соус, приправа.

— Ну и что ж! Очень питательно — витамины.

— Ты его на хлеб, что ли, мажешь? — осведомилась

Валя, подумывая, должно быть, не стоит ли применить Женькин опыт.

— Да ну вас, нашли тему! Ты про Лузгина рассказывай. Верно говорят, вам сам Апт помогает?

— «Помогает»! На лешего он нам нужен, этот ваш Апт! Лузгин любому инженеру фору даст.

— И еще говорят, будто заготовки вам самые лучшие отбирают, будто и на брачок ваш сквозь пальцы смотрят...

— Ну, парень, за такие разговоры... я...

— Нет, нет, я тоже думаю — вранье... Но как же это — четыреста процентов!..

На вечеринку к Аяксам Женька идти все-таки отказался. Но разговор о Лузгине был ему приятен. Он пошел проводить супругов и по дороге рассказывал о работе, секрет которой он сам никак не мог постичь. Впрочем, о своих неудачах он умалчивал, и как-то все выходило, что и он, Сизов, не последний винтик в механизме бригады. И как было горько, простившись с Аяксами, снова почувствовать унизительное ощущение собственного бессилия, неумелости!

«Нет, завтра все решу. С утра нажму, что есть мочи; выйдет — ладно, не выйдет — хватит! К лешему!»

Он сердито потряс в воздухе банкой с кетчупом, потом, размахнувшись, шмякнул ее о телеграфный столб.

Но ни завтрашний, ни послезавтрашний, ни последовавшие за ним дни не принесли желанной перемены. Женька по-прежнему чувствовал себя обузой бригады. Возвращаясь со смены разбитым, он назначал новый, «окончательный» срок. Снова давал себе слово догнать товарищей или проститься с ними. Срок проходил, и, когда наставала подходящая минута для переговоров с бригадиром об уходе, чувствовал, что у него не хватает духу: что-то уже привязывало его ко всем этим людям, которым он завидовал, которых он не понимал, порой даже ненавидел, но к которым его все больше тянуло.

Случай помог ему понять это. Как-то в выходной Сизов решил съездить в город на гастрольный спектакль заезжего иллюзиониста. Сильно мело. Автобусы едва двигались, с трудом пробираясь сквозь заносы. У остановки вытянулась длинная очередь. Времени было в обрез, и Женька решил схитрить. Заложив руки за спину, он, словно ожидая кого-то, стал неторопливо прохаживаться взад

и вперед под электрическими часами, а когда подошел автобус и очередь двинулась к входу, оп прыгнул к двери и первый схватился за поручни.

— Куда... Передние, чего смотрите? Вон его... Кондуктор, не пускайте вон того нахала в кепке! — загомонила на разные голоса раздраженная ожиданием очередь.

— А еще молодой человек, комсомолец, наверно,— сказала сутулая старушка, которой красноармеец помогал подняться на высокую подножку.

— Чего пристаете, я тут стоял...

— Гражданин, не лезьте! Я вас без очереди все равно не пущу,— спокойно сказал красноармеец, загораживая Женьке дорогу.

Женька молча оттолкнул красноармейца, вклинился плечом в массу людей, теснившуюся в дверях. Сильная рука вернула его обратно. Женька с ненавистью взглянул в широкое, курносое лицо красноармейца.

— Ты что хватаешь? Прими руку! — крикнул он, сжимая кулаки и с ненавистью смотря на него. И вдруг совсем рядом он услышал знакомый голос:

— А еще с Лузгиным работает!.. Неладно, неладно, товарищ Сизов! Тебе бы пример подавать...

Рядом стоял рыжий прессовщик. Светлые, без ресниц, глаза его смотрели осуждающе и даже с сожалением. Женька сразу стих, обмяк. Он не заметил даже, как последний из очереди скрылся в дверях, как тяжело тронулась переполненная машина.

Женька не поехал в город. Весь вечер просидел дома с гитарой, наигрывал жалостные мотивы, вздыхал и гадал: расскажет завтра прессовщик Лузгину или нет и если расскажет — прогонит его бригадир или оставит и чем все это кончится. Он плохо спал, проснулся с сознанием надвигающейся беды и с тяжелым сердцем пошел на завод.

Прессовщик, должно быть, никому ничего не рассказал. Тем не менее Женька весь день подозрительно вглядывался в лица товарищей, прислушивался к разговорам — не о нем ли? — и никак не мог сосредоточиться на работе.

Пар, как на зло, подавали хорошо, вынужденных передышек не было. В душевую после смены Женька поднимался совершенно разбитый.

— Ты, Сизов, все-таки не один в бригаде. Надо со всеми согласия искать, а то мы в лес, а ты по дрова. Вместо того чтобы на деле сосредоточиться, мне все время тебе

потрафлять приходится,— сказала Настя, шагая рядом с ним.

По тону Женька понял, что крючочница хочет помочь ему. Это-то особенно больно его и задело. Он с ненавистью посмотрел ей в глаза:

— Показывай свою ученость кому другому! А мы и без сопливых обойдемся...

Настя отпрянула. Темные брови ее сомкнулись над переносицей, глаза сощурились, из синих стали черными, ноздри короткого с горбинкой носа задрожали.

— Без сопливых? Ах, ты...— медленно проговорила она, должно быть подыскивая слово, которое в полной мере выразило бы ее негодование.

Женька съежился. От напускного нахальства не осталось и следа. Сейчас при всех этих людях она назовет его лодырем, неумехой, чужеспинником. Но неожиданно вмешался Кухаров, шедший сзади.

— Ты иди, иди себе, парень. У меня до Настасьи слово есть,— сказал он, подталкивая Сизова вперед.

Женька был рад, что легко отделался. В то же время он боялся, как бы рассерженная Настя не подговорила старика требовать изгнания его из бригады. Сделав вид, что завязывает расшнуровавшийся башмак, Женька остановился на лестничной площадке. И услышал отрывок разговора:

— А что мне нянчиться с этим сокровищем! Я ему, слава богу, не жена.

— Вот потому и будешь нянчиться. Все будем. Обязательно,— ответил спокойно Кухаров,— обязательно, Настенька. Раз человека к себе взяли — наш он, головой за него отвечаем. Как же иначе? Думаешь, я чугунный? Иной раз так бы его ключом по морде и треснул, а нельзя: человек — не железо, в горячем виде не куется. Дай ему поостыть, отойти, выбери подходящую минуту — тут его и наждачь. Тут с ним что хочешь делай... Я, Настасья, хоть с малолетства в горячих цехах копчусь, а ежели дело человека касается, стою за холодную обработку...

Пропустив вперед разговаривающих, Женька шел в толпе за ними. Ему казалось, что его маневр не замечен, и очень хотелось услышать, что ответит Настя.

Но старик неожиданно остановился и, нимало не удивившись, что Женька чуть было не наскочил на него, сказал:

— А тебе, парень, с таким характером в пустыне жить еще куда ни шло, а с людьми — плохо! И людям с тобой не сладко. А без людей, один, как проживешь?.. Подумай-ка об этом на досуге, подумай, пока не поздно...

Старик свернул в душевую, не дожидаясь ответа. Женька не решился идти за ним. И, может быть, по-настоящему почувствовал он в этот день, каким жгучим и тягостным бывает стыд.

IV

В новой кузнице шло производственное совещание. Обсуждался доклад Лузгина об использовании методов его бригады на всех агрегатах. Доклад был короткий. Большинству он понравился, но, как это всегда случается в крепких производственных коллективах, где много опытных коммунистов, в центре обсуждения оказался не столько сам доклад, сколько то, чем жила в те дни кузница, что у людей было на уме и на сердце. Заговорили о перебоях с подачей пара, и заговорили так, будто речь шла не о неполадках, а о болезни любимого человека, жизни и здоровью которого угрожает опасность.

Не случись сегодняшнего разговора по пути в душевую, Женька Сизов услышал и узнал бы много такого, что помогло бы ему постигнуть не только внешние приемы, но и то, что составляло суть работы лузгинской бригады. Но он был поглощен своей неудачей. Сидя на корточках у дальней стены битком набитого красного уголка, он снова и снова вспоминал сердитые фразы старого машиниста. Простые, будто бы невзначай, под горячую руку оброненные слова Кухарова представлялись Женьке теперь значительными, очень важными — быть может, даже решающими для всей его жизни. Пропустив мимо ушей все, о чем доложил Лузгин и что говорили выступавшие, он как бы пристально рассматривал слова старика, ощупывал их со всех сторон.

И, как бывает в минуты душевного волнения, откуда-то со дна памяти вдруг поднимались полузабытые картины, лица, разговоры. Когда и почему возникло то, что отделяет Женьку от людей, отталкивает от него друзей, что так мучает и мешает ему жить?

...О раннем детстве Женька помнит смутно и отрывочно. Высокая женщина. У нее мягкие, теплые губы и карие

глаза, оттененные темнотой. Особенно ярко вспоминается, как она стоит перед зеркалом. Черные волнистые волосы потрескивают под гребнем. В зеленоватом стекле знакомые черты расплываются, искажаются, становятся неузнаваемыми. Женьке страшно. Он вскрикивает и начинает плакать. Женщина укладывает волосы узлом и берет мальчика на руки. Она ласково утешает его, расчесывая ему жесткие кудряшки. От ее кофты исходит особый запах, какого нет больше ни у кого на свете. Мальчик безошибочно узнает по этому запаху ее вещи — подушку, на которой спит мать, полотенце, которым она вытирается, косынку, которую она повязывает, уходя в поле. Образ отца стерт временем. В памяти остались только веселые нотки басовитого голоса да колючие усы, горько пахнущие махоркой.

Потом возникает перед глазами дорога, мертвая лошадь у телеги, груженной домашним скарбом, мать сидит на придорожном камне со швейной машинкой на коленях и равнодушно смотрит пред собой. Зной. Скрипят возы. Песок хрустит на зубах, и все вокруг точно бы тает в горячих облаках пыли.

Женька не знает, что стало с отцом, умерла ли мать, или он потерял ее в потоке людей, двигавшихся с голодного Поволжья в 1921 году. Он не помнит, как сам спасся от голодной смерти и как попал вместе с другими ребятишками к красноармейцам. Все это словно из давно прочитанной и забытой книги. Зато последующее уже отчетливо запечатлелось в мозгу.

В комитете Помгола Женьку Сизова вместе с другим семилетним мальчонкой, Сеней Козловым, взял к себе на воспитание богатый уральский казак. В память врезались просторная хата, рубленная из бревен необъятной толщины, и целый косяк смуглых святых, строго смотрящих из старинных серебряных риз, и душный запах печеного хлеба, смешанный с ароматом лекарственных трав.

Казак определил ребят к коням. О, эти сытые хозяйские кони! Из-за них Женька до сих пор испытывает безотчетную неприязнь к лошадям. За малейшую оплошность по тощим спинам ребят гулял ременный чересседельник.

Зарывшись в пахучее сено, слушая сонное пофыркивание и ровные вздохи, доносившиеся из стойл, Женька мечтал:

— Знаешь, Коза, давай потихоньку оседлаем коней да двинем отсюда. А?

— Куда двинешь-то?..

— А хоть бы и в Москву, к Ленину. У него, говорят, к таким, как мы, сиротам, сердце открытое. Чай, определит куда-нибудь — в красноармейцы, на фабрику или еще на какое дело...

— Уйдешь от нашего черта! Он на первой версте догонит. Нагайкой запорет — не перекрестится,— отвечал рассудительный Сенька и, вздохнув, начинал насвистывать что-то свое, не похожее ни на какие известные песни, очень жалостное, отчего Женьке всегда вспоминалась мать и слезы навертывались на глаза.

Мастер был Сенька свистеть.

Однажды, убирая двор, ребята разгребли в углу старую навозную залежь. Сенька засадил вилы в доску. Стараясь выдернуть их, они подняли доску и на дне открывшейся ямы увидели что-то большое, укутанное в мешковину. Ночью ребята потихоньку вернулись к яме. В мешковине оказался станковый пулемет, густо смазанный липкой мазью. Пораженные находкой, они испугались, быстро зарыли яму и тщательно затоптали землю над досками.

Утром, когда Сенька засыпал Черкесу овес, злой конь, улучив момент, крепко куснул батрачонка за шею. Тот заревел от боли, а Женька схватил подвернувшуюся под руку скребницу, ударил коня в злую сытую морду. На замшевой теплой губе появилась небольшая, продолговатая ранка, выступила кровь.

Вечером хозяин зловещим шепотом спросил:

— Кто? Говорите, подлецы, кто коня спортил?

Ребята молчали. Он тихо двинулся к Сеньке:

— Ты?

Женька увидел, как натянулась кожа на огромном волосатом кулаке, увидел, как съежился и задрожал Сенька, и вдруг, рванувшись вперед, загородил его и, весь трепеща от страха и ненависти, закричал:

— Это я! Это я, я!

Удар крепкого, как камень, кулака отбросил его в угол двора. Он не чувствовал, как пинали его тяжелые сапоги, не видел, как с ревом выскочил на улицу Сенька и как подоспевшие соседи урезонили расходившегося казака.

Очнувшись, Женька почувствовал, что каждое движение причиняет боль, увидел над собой крупные октябрьские звезды и заплаканное лицо друга, перекрещенное багровым синяком. Сенька сказал, что, кабы не соседи да не пастух дядя Осип, не видать бы дружку белого света.

Ночью ребята отрыли пулемет, сорвали с него мешковину, выволокли на улицу и поставили у всех на виду на хозяйском крыльце. Рассовав по карманам ломти хлеба, припасенные Сенькой, пошли к реке.

Отвязали в камышах хозяйскую лодку и до рассвета двигались в густом тумане вниз по течению. А когда над пустыми полями загорелся холодный багровый восход, они пристали к противоположному берегу, оттолкнули лодку на стремнину, а сами пошли проселком.

Куда вела дорога — не знали...

Сначала питались подаянием, но подавали неохотно... Тогда Сенька предложил зарабатывать. Он умел щелкать соловьем и насвистывал любые песни. Женьку он выучил аккомпанировать себе на ложках. Жалостные мотивы старых уральских песен брали слушателей за сердце. Теперь, бывало, ребят приглашали в избу, кормили, а иногда пускали и на ночлег. Вскоре Сеньке удалось выменять у какого-то бродяжки на кусок сала глиняную свистульку, и дела ребят пошли совсем уж неплохо.

Жажда бродяжничества сорвала ребят с Урала. В пустом товарняке, на тормозных площадках, в угольных ящиках понесло их по стране. Так и носило год и два, как траву перекати-поле, но однажды, глубокой осенью, когда ледяной ветер со звоном гонял по окаменевшей земле скрюченные дубовые листья, их зазвал к себе в кузницу подвыпивший деревенский кузнец и потребовал «сполнить што-нибудь, чтоб за сердце щипнуло». Слушал, подперев голову волосатым кулаком. По лицу его текли хмельные слезы...

«Постой, на кого же это он был похож, этот деревенский кузнец? — подумал вдруг Женька, точно бы внезапно споткнувшись в своих воспоминаниях.— Ну да, очень он кого-то напоминает... Кого? Неужели Кухарова? Да что я! Вон он сидит в президиуме — старый грач, бороду поглаживает. Тот был жилистый, согнутый, что кочерга, и лицо точно кипятком обваренное, а этот — вон он, маленький, сухой... Грач и грач... И все-таки они похожи чем-то, черт их побери...»

Женька ясно представил первый вечер, проведенный в маленькой, закопченной, как жерло русской печи, сельской кузнице. Почувствовал горьковато аппетитный запах картошки, печенной в угольях горна, посыпанной крупной желтой солью, услышал сиплый и глухой с похмелья голос кузнеца:

— Вот что, страннички: на зиму и медведь в берлогу ложится, а у него, лешего, какая шуба-то, не чета вашей! Оставайтесь-ко вы у меня. На золоты палаты не заработаем, богачество не сулю, а сыты, бог даст, будем, и рукомеслу вас учить стану, людьми сделаю... Что попусту-то вшей кормить! И вам ладно, и мне вроде как позабавней.

Покосившаяся, вросшая в землю кузница стояла посреди поля, под старой развесистой березой, на перекрестке двух дорог, подставляя свои прокопченные стены всем четырем ветрам. И хозяин ее был такой же полуразрушенный, прокопченный, одинокий. Он понравился ребятам. Они остались.

Первые метели замели кузницу по самую крышу. Теперь, когда Женька вспомнил ту зиму, ему показалось, что они прожили ее в какой-то уютной, вырытой в снегу берлоге. Ребята привязались к кузнецу, полюбили его за незлобивый нрав, за странную речь, за преданность своему ремеслу. Каждый инструмент носил у него свое название: кувалда звалась «батька», наковальня — «мамка», молот — «братец», клещи — «женка», зубило — «теща». Такие же прозвища имели бородки, оправки, обжимки — словом, весь инвентарь; а черная метла, стоявшая в углу, звалась «урядником».

Работал кузнец весело: напевал, беседовал, а иногда и бранился с металлом.

— Вот мы тебя сейчас и загнем,— говорил он, укладывая клещами на наковальне раскаленный кусок кладбищенской решетки.— Уж ты не обессудь, сделай милость... вправо, вправо... Так, хорошо. Теперь мы тебя на бочок положим... Очненно распрекрасно...

Когда работа не клеилась, он сердился и ругал железную полосу:

— Вот упрямая! Не хочешь слушаться, когда добром просят. Ладно! Женька, дай-кось сюда «батьку», пусть он покрепче слова два скажет! Небось его послушаешься, согнешься! Богу служила, черту служила, а человеку служить неохота? Ишь ты! Заставим!

Мастерством он славился на всю волость. Кузница была завалена работой, но брал он не ту, что была прибыльней, а ту, что сложнее, интереснее, что требовала ума и сметки.

— У человека одно брюхо... Будем живы — будем сыты. С лишнего-то овса, говорят, и лошади глу-

пеют,— заявлял он, отказываясь от какого-нибудь «дурного» доходного заказа на оковку большой партии колес.

Зато с какой охотой он брался за изготовление сломавшейся детали к молотилке или веялке и как он был польщен, когда однажды уисполкомовский кучер привез к нему из города для ремонта какую-то поврежденную деталь единственного на весь уезд автомобиля. При свете «летучей мыши» он вместе с ребятами всю ночь провозился над ней.

— Большие деньги человеку — что лишняя вода редьке. Редька от нее в ствол идет,— поучал кузнец ребят, когда все усаживались обедать у слесарного верстака, стоявшего в углу кузницы.— Вон у меня братец Степка — мельник. У этого в дубовой башке только одно и тлеет — где деньгу побольше сшибить. А на что ему деньги? И сам не знает... Человек — он весь в умении. Вот! Без умения человек рядом со зверем стоял бы. Я умельца выше царя, выше бога ставлю.

Ах, как было интересно в этой маленькой кузнице под косматой березой! Сенька Коза вертит колесо мехов, а Женька следит за нагревом металла, подкидывает в горн уголья, а когда идет мелкая, сложная работа, подает кузнецу инструмент. Иногда, в виде особого расположения, кузнец допускает мальчика бить с ним на пару маленьким молотком. Вот радость-то!..

Однажды, убирая кузницу, Женька сложил инструмент на потухший горн. Ночью ветер, гулявший в пустом помещении, раздул незатухшие угли. У молотков пообгорели ручки. Все это открылось утром. Изъязвленное лицо кузнеца стало красным, клочковатые брови задрожали. Размахнувшись, он ударил Женьку кожаным фартуком по лицу.

Мальчик задохнулся от обиды и выбежал на улицу. Серая метель гнала на кузницу тучи сухого, шуршащего снега. Ветер жалобно скулил в корявых ветвях старой березы. Женька сел на круглый камень, где ошиновывали колеса, и заплакал. Раньше, сколько он себя помнил, побои будили в нем только дух противоречия, ярость или глухую злобу. А тут его ударил человек, которого он любил, который ласково говорил даже с железом. Женька плакал беззвучно и горько. Слезы не успокаивали и не несли облегчения. Хлопнула дверь кузницы. Проскрипели по снегу шаги. Сзади бережно накрыли паренька большой шубой. Он сбросил

шубу резким движением плеча и зарыдал шумно, захлебываясь и хлюпая носом.

— Ну будет, будет! — примирительно произнес у него за спиной голос кузнеца.— Экий ты, брат, будто ежик: чуть тронешь — пых, пых и иглы поднял... Ну поплачь, поплачь, я посижу, мне не к спеху.

Кузнец устроился рядом, загремел спичками. Женьку стал обволакивать махорочный дым. Опять хлопнула дверь. Опять шаги. Это Сенька.

— Видишь, дружок-то твой... плачет, лешонок.

— Заплачешь, коли тебе так по фотографии смажут.

— И на старуху бывает проруха.

— Проруха... За это и в милицию можно...

— Ну уж в милицию!.. Соплив старика учить. Меня, бывало, хозяин каждый божий день чем ни попадя лупил: фартук — так фартуком, а палка — так палкой... И ничего вот — умнее стал.— Кузнец был смущен.— Думаешь, мне инструмент жалко... Леший с ним, с рукоятками. Мне вот такое отношение к делу — серпом по горлу... Да будет тебе реветь-то, ну тебя совсем...

И еще вспомнилось Женьке, как в марте, когда дороги стали чернеть, кузнец запил и пропал где-то в деревне. Воспользовавшись его отсутствием, ребята раздули горн, достали из неприкосновенных запасов, хранимых в чулане, полоску стали и принялись ковать маленький серп. Пропыхтели они над ним почти два дня. Испортили несколько полосок стали, которые кузнец берег для «особо тонких» заказов. Спалили весь уголь, что оставался в куле. Но серпик получился хоть куда. Они отточили его на наждаке, вызубрили, приладили к нему рукоятку, отшлифовали ее стеклом, шкуркой.

Когда кузнец вернулся, опухший и угрюмый, Женька и Сенька, поглядев на пустой рогожный куль, благоразумно придвинулись к двери. Но старик на куль и не посмотрел. Он схватил лежавший на верстаке серп, долго вертел его в руках, клал на ладонь, пробовал жестким, заскорузлым пальцем, для чего-то прижал к щеке и вдруг улыбнулся, обнажив под изуродованными губами ряды крепких желтых зубов:

— Молодцы! Умельцами будете... Только вот гляньте-ко — в пяточке-то маленько и соврали. Чуток осадить надо бы... Женька, дай-ка мне, лешонок ты эдакий, «братца». Сейчас мы это поправим.

О потраченных материалах он даже и не помянул.

Это была самая короткая и самая памятная зима в Женькиной жизни. А когда на старой березе над кузницей, у больших и лохматых гнезд, уже хлопотали черные домовитые грачи, случилась беда. Возвращаясь из села сильно выпивши, кузнец провалился в полынью. Спустя дней пять труп выловили у мельничной плотины. На старом деревенском погосте под голыми березами вырос желтый холмик.

Даже теперь, много лет спустя, вспомнив об этом, Женька взволновался. О дальнейшем он не любил думать, но воспоминания были сильнее его, и он представил, как на другой день явился брат кузнеца — здоровенный, но тоже изуродованный волчанкой. Мельник по-хозяйски осмотрел кузницу, для чего-то взял молоток, взвесил его па руке, ударил по наковальне и, бросив в угол, спросил у ребят, молча наблюдавших за ним:

— Ну, шпана, много железа разворовали?

— По себе не суди,— строго сказал Коза. Он вытянулся за зиму и в обращении с людьми проявлял недетскую солидность.

Мельник продолжал молча осматривать кузнечное хозяйство, что-то подсчитывая про себя. Губы его шевелились. Вдруг он увидел маленький серпик, прибитый к стене на самом видном месте. Мельник снял серп, с недоумением осмотрел и, убедившись в полной хозяйственной бесполезности этой вещицы, стал рассеянно гнуть лезвие. Ребята со страхом следили, как в толстых пальцах ломалась вещь, которой они так гордились. Женька не выдержал.

— Дайте, пожалуйста! — попросил он голосом, полным слез.

С высоты своего роста мельник удивленно посмотрел на взволнованного мальчугана:

— Вот я те дам! Я те так дам, что забудешь, откуда ноги растут! Это нюхал? — И он поднес к Женькиному носу здоровенный кулак.

Но Женька упорно глядел на другую руку, в пальцах которой уже трещала рукоятка серпика.

— Отдай!

И вдруг Женька схватил эту большую, мускулистую руку, впился в нее зубами и сжимал зубы до тех пор, пока толстые, жесткие пальцы не разжались. Изуродованная вещица выпала на пол.

Мельник оторопел.

— Ах ты... каиново семя,— едва выговорил он и, сжав кулаки, двинулся на Женьку.

А тот, отскочив в угол кузницы, сжимал в руке маленький молоток, шептал побледневшими губами:

— Только подойди, только подойди, корявый черт... За-ради бога, не подходи! Убью!

Мельник с руганью выкинул в весеннюю грязь тощий мешок с мальчишескими пожитками и замкнул кузницу новым своим замком.

Снова потянулись проселочные, столбовые, железные дороги, замелькали деревни, полустанки, города. Ребята научились ругаться, усвоили настороженное, пренебрежительное отношение к людям, узнали вкус водки, постигли технику карманных и поездных краж. Словом, они постепенно стали теми маленькими, оборванными, вшивыми бродяжками, каких много в те дни кочевало по стране.

Впрочем, робкий, застенчивый Сенька был мало приспособлен к жизни в таком мирке. Лишь изредка, да и то в случае крайней нужды, отваживался он на мелкую карманную кражу и существовал главным образом от щедрот своего «кореша» — покровителя. Женька же быстро завоевал себе авторитет среди босоногой отчаянной братии. Он был смел, никогда не терялся, не прощал обид. Иногда на него нападали приступы слепой ярости. Если в эту минуту ему под руку попадал нож, полено или кирпич, он не задумываясь обращал их против врага, и даже взрослые в эту минуту отступали перед приступом его слепой и бесстрашной ярости.

Но как ни кидала, ни мяла ребят их бездомная жизнь, кузнеца они не забыли, а в Женькин словарь в качестве любимого ругательства навсегда вошло добродушное кузнецово слово — леший.

Пробродяжничали ребята до тех пор, пока однажды ночью их не разбудили тревожные милицейские свистки и суетливые огоньки карманных фонариков. Облава настигла друзей на окраине большого приволжского города, на известковом заводе, где беспризорники коротали зимние ночи, греясь у остывающих печей. Тихий Сенька сразу, без сопротивления, сдался очкастой девушке. Женька отбился и убежал, но, оставшись без друга, соскучился и, побродив несколько дней, сам явился в городской отдел народного образования и потребовал путевку — путевку в жизнь, как говаривали тогда...

Шум, крики, раздавшиеся в красном уголке, прервали воспоминания.

— Дать, дать, пускай говорит...

— Чего вы человеку рот затыкаете?..

У трибуны застенчиво переминался с ноги на ногу прессовщик с «Аяксов». Он растерянно посматривал то в весело бушевавший зал, то на председательствовавшего руководителя цехового комитета профсоюзов Нестерова.

— Так вы же сами регламент установили,— говорил тот, улыбаясь и стуча карандашом по графину.

— Продлить, он дело говорит...

— Правильно, правильно, поддай пару! — произнес голос Федорова. Цехпарторг сидел не за столом, а где-то в рядах, хотя его и выбирали в президиум.

Нестеров развел руками:

— Глас народа — глас божий; продолжай. Поконкретней только... Фактики, фактики выкладывай...

Махорочный дым пластался над головами, и ветер, порой врывавшийся в раскрытые фортки, был не в силах рассеять эту сизую ядовитую мглу. Лоб председателя покрылся потом. Прессовщик, которому, по требованию собрания, продлили время, то и дело вытирал лицо то ладонью, то рукавом. Собрание бурлило, кипело, но в этой духоте и тесноте Женька чувствовал себя одиноко. Он все думал: «Тяжелый характер!» Нет, там, в кузнице, под плакучей березой, он не мог пожаловаться на свой характер и не замечал, что кому-то становится в тягость... А дальше? И дальше будто все шло неплохо. Не гладко, конечно, текла детдомовская жизнь. Все было: и маленькие бунты весной, когда зеленели поля и подсыхали дороги, и побеги, и возвращения. Были даже два привода за кражи.

В детдоме ребята любили Женьку, и когда в дни первых полетов советских летчиков над Арктикой они отмечали на карте их путь, ребята прозвали Женьку Чухновским. С этим именем он так и прожил до выпуска из детдома, до того самого дня, когда к ним с соседнего вагоностроительного завода приехали старые рабочие, помочь воспитанникам выбрать профессию по душе.

Гости прибыли на специальном заводском автобусе. Это были люди пожилые. Смущаясь необычностью своей роли, они деловито осматривали детский дом, спрашивали о том и о другом, заговаривали с ребятами.

Ребята тоже были не в своей тарелке. Даже самые озорные в этот вечер притихли. Издали рассматривали они

гостей, их долгополые, попахивающие нафталином пиджаки, старомодные черные галстуки, каких давно уже никто не носил. Особое внимание привлекал приземистый старик с лысой головой, блестящей и круглой, как биллиардный шар, с тяжелыми желтыми прокуренными усами. Он ходил враскачку, переваливаясь на коротких ногах, и на жилете у него тускло посверкивала грузная серебряная цепочка от часов, перетянутая через весь живот. Женьке он напомнил какого-то купца из кинофильма. Но, несмотря на грузность комплекции, человек этот был на ногу быстр и в делах дотошен. Он шел с директоршей дома и все спрашивал, какие ремесла интересуют ребят и почему в детдоме не завели мастерских.

Потом гости и хозяева уселись в столовой за столики, которые по такому случаю были сдвинуты. В алюминиевых кружках дымился чай. На тарелках возвышались вороха кудрявого, хрусткого хвороста, этого любимого праздничного лакомства детдомовцев. Гости расстегнули сначала парадные пиджаки, а потом и тесноватые жилеты и, прихлебывая чай, принялись рассказывать о заводе, о диковинных станках, машинах и аппаратах, о сути и преимуществе своих профессий. Профессий оказалось много, и все они были самые интересные, самые лучшие.

Женька прислушивался к их рассказам и, вспоминая кузнеца, все твердил про себя его словечко, означавшее высшую степень похвалы: «Вот они, умельцы-то! Умельцы!»

Директорша детдома, которую ребята привыкли видеть всегда спокойной, стала заикаться от волнения, когда произносила свою прощальную речь. Родина заменила детям родителей. Как мудрая мать, воспитала она их. Она открыла для них все двери: учись, не жалей сил,— и любая профессия твоя.

— Так давайте скажем нашим гостям, кто по какой дороге желает идти, какую профессию хочет получить в фабзавуче при нашем заводе!

Ребята переглядывались и молчали. Много интересного рассказали все эти токари, слесари, монтеры, клепальщики, кузнецы. Только Женька Сизов ответил сразу и очень уверенно:

— В кузнецы! Я в кузнецы!

— Правильно, парень! — сказал грузный старик с цепочкой на жилете и, протянув через стол Женьке широкую, с короткими жесткими пальцами руку, серьезно от-

рекомендовался: — Бывший кузнец, Степан Зотов. Будемте знакомы, что ли, будущий кузнец...

Когда теперь, перебирая в памяти свою жизнь, Женька вспомнил инструктора кузнечного дела Степана Николаевича Зотова, у него опять появилось странное ощущение, что и этот человек, раскрывший ему секреты профессии и давший впервые познать радости мастерства, тоже кого-то очень ему напоминает.

Не видел он сейчас ни в старой, ни в новой кузницах, да и на всем заводе человека, который походил бы на Зотова. Зотов гордился, что когда-то, до революции, работал на одном заводе с Михаилом Ивановичем Калининым в Ленинграде, который он называл Питером. Одевался он тоже «по-питерски»: носил длиннополые пиджаки, в торжественных случаях надевал на шею галстук бантиком и неизменно ходил в старой, видавшей виды фетровой шляпе — несомненно, тоже сохранившейся с «питерских» времен. Голову он тщательно брил, вообще следил за своей внешностью; и не курил, а нюхал табак... Вопреки заводским обычаям, он ко всем, даже и к фабзайцам своей группы, обращался на «вы».

Но положительно он не походил ни на кого из заводских. Женька обвел взглядом всех, кто теснился сейчас в красном уголке, и даже улыбнулся, представив себе среди них человека с внешностью Степана Николаевича Зотова. Дело свое Степан Николаевич любил самозабвенно. И хотя давно уже шла ему персональная пенсия и врачи строжайше запрещали ему работать в кузнице, он устроился в ФЗУ инструктором кузнечного дела и ко времени, когда Женька попал в его группу, выпустил уже несколько поколений сорванцов, как он именовал своих питомцев.

Даже теперь, немало уже проработав, Женька с волнением вспоминал день, когда Степан Николаевич в начале обучения привел свою группу в заводскую кузницу. Экскурсия Женьку просто ошеломила: цех так же мало походил на закоптелую кузенку у перекрестка дорог, как лопата на экскаватор. Со страхом, почтением глядел он на печи, где белое бурлящее пламя нагревало огромные железные болванки, на прессы, одним нажимом выбивавшие из толстенных стальных пластин тяжелые детали, следил за быстрой и точной работой ковочных автоматов, кусавших металл с быстротой и легкостью белки, грызущей орехи. Но особенно долго простояли ребята у десятитонного молота, от его ударов гудел, вздрагивал пол и сотрясались

массивные стены. Стальная махина, казалось Женьке, жила своей собственной жизнью, и никак не хотелось верить, что так легко и почти незаметно управляет ею тщедушный белобрысый парень в кепке, надетой козырьком назад. Женьке очень хотелось дотронуться до рычага, на который тот нажимал, и он опасливо прикоснулся к нему. Белобрысый парень не заругался, а только отвел его руку локтем и улыбнулся Степану Николаевичу.

Инструктор стоял среди ребят торжественный, растроганный. И все твердил:

— Здорово, а? Хорошо? Нравится? То-то! Учитесь прилежнее, сорванцы! — И добавлял: — В гербе нашем советском что? Кузнечный наш инструмент — молот. А на двугривенном кто вместо царской рожи изображен? Кузнец. Понятно это вам?

Нет, и в школе ФЗУ характер не мешал Женьке Сизову. Он был понятлив и внимателен на уроках по горячей обработке металла, которые им давал начальник горячих цехов инженер Апт; а из лаборатории, где они со Степаном Николаевичем занимались практикой, его по вечерам просто приходилось выгонять. Он не уставал слушать его рассказы о прошлом и настоящем, всегда вертевшиеся вокруг любимого ремесла и заводских дел.

В выпускном классе Степан Николаевич даже доверял Женьке «натаскивать» младших ребят. Но из этого мало что получалось: порывистый, нетерпеливый, сам все схватывающий на лету, Женька не мог понять, что не всем дело дается так же легко, как ему. Он не слушал оправданий, высмеивал каждый промах, доводил незадачливого ученика до слез. И все же в школе его любили за смекалистость, за умение играть на гитаре. В общежитии у его койки всегда толпились ребята.

«Что это опять все зашумели и почему вдруг тишина? Ага, Лузгин на трибуне. Заключает, слава те господи! Столько наболтали». Знаменитый кузнец тоже почему-то говорит, что и все. Пар... Некомплектная подача заготовок... Мелка серийность заказов... Зевки ОТК... Ничего особенного. Обыкновенные вещи, и другие о том же толковали. Даже о своих методах, которым и посвящено совещание, ничего не говорит... Но почему его так слушают, почему смолк шум? Стало даже слышно, как на другом конце огромного цеха глухо бухает большой молот.

Кузнец говорит и, забываясь, чуть заметно кивает головой в такт ударам этого молота. И тут вдруг Женьке

приходит на ум, что, пожалуй, именно Лузгин и похож на Степана Николаевича. Не внешностью, не одеждой, не характером — нет, а чем-то особым, внутренним, чего нельзя заметить и что можно только почувствовать. И не только Лузгин, а и старик Кухаров, и тот сельский кузнец — все они чем-то схожи друг с другом. Должно быть, то особое, неуловимое, что роднит этих столь разных людей, и заставляет собрание, уставшее от сумбурных речей, от духоты и махорочного дыма, ловить простые слова о простых, но важных вещах.

Но стоило Лузгину кончить, как загремели скамьи и табуреты. Резолюцию голосовали уже на ходу, тесной толпой двигаясь к дверям. И хотя все устали, затронутые вопросы продолжали обсуждать по пути домой.

— Что же ты не выступил? — спросил Ваня Овцын, догоняя Женьку и беря его под руку.

— И без меня довольно наболтали.

— Ну, а я как?.. Правильно я Апта покрыл?

Ваня явно ожидал похвалы и поощрения.

— А ты разве выступал?—искренне удивился Женька.

Ваня несколько шагов прошел молча, потом выпустил руку спутника, не простившись, прибавил шагу и скрылся во тьме...

«Тяжелый характер! Тьфу! Откуда он взялся?» И опять принялся Женька продумывать свою жизнь.

Недаром Степан Николаевич вкладывал в своих питомцев не только все сокровища многолетнего опыта, но и душу свою. В цех питомцы его вошли уверенно. Квалификация далась Женьке легко. Ему определили пятый разряд. Через год он уже получил ударную книжку и работал по шестому, в то время как однокашники ходили еще по третьему и четвертому. О молодом кузнеце упоминала многотиражка, и однажды, когда он предложил ввести и ввел приемку и сдачу оборудования между сменами, его фотография попала даже в областную газету.

Но случилось странное: по мере того как Женька постигал кузнечное дело, интерес к работе стал в нем гаснуть. И наоборот, после записи в клубную музыкальную студию, росла тяга к музыке, которая давалась ему значительно труднее...

У Женьки обнаружилось незаурядное музыкальное дарование. По крайней мере, так утверждали преподаватель и товарищи. Он стал любимцем клубных концертов, получал премии на областных смотрах и даже был по-

слан на Всесоюзную олимпиаду художественной самодеятельности. Его выступление было замечено жюри и рецензентами, а директор клуба «Металлист» Константин Павлович Пороцкий, писавший в областную газету статью о заводской самодеятельности, назвал его даже «Паганини гитары» и как «гордость заводского коллектива» зачислил в «восходящие звезды».

Рекорд Алексея Стаханова, ответ Ильи Лузгина, отковавшего за смену сорок пять осей, что составило целых три нормы, отзвук, какой эти почины получили в цехах,— все это мало затронуло Евгения Сизова. В мечтах своих он был уже далек от того, что волновало и увлекало его товарищей. Работал кое-как, и браковщик, частенько отмечая меловыми крестиками запоротые им детали, не понимал, что же вдруг случилось со способным парнем.

Товарищи по цеху пробовали воздействовать и добрым словом, и окриком. Как бракодела его уже «прорабатывали» на собрании. Карикатурист изобразил его в стенновке «Горн» сидящим в обнимку с гитарой на груде запоротых деталей. Вместо подписи были приведены слова из старинного «жестокого» романса:

...Зачем ты, безумная, губишь
Того, кто увлекся тобой...

Говорили с ним и комсомольцы и профсоюзники — ничего не помогало. Женька работал день ото дня хуже, неряшливее. Не здесь, не в горячих цехах, а на залитой светом сцене видел он теперь свое будущее; не глухой грохот молотов, а шум аплодисментов, вкус которых он успел уже познать, чудился ему в мечтах. И казалось ему, что никто не хочет понять этого, ни в ком он не встречает сочувствия.

Ни в ком, кроме Пороцкого. Этот клубник, славившийся своими затеями и выдумками, казалось, один понимал Сизова, ценил и берег его талант. У него находил Женька отдых после всяких неприятностей на заводе.

— Что тебе до всех этих паршивых заметок? Они хотят процентом выработки все человеческие достоинства измерять. Деляги, жалкие деляги, без крыльев и размаха... Плюнь! Плюнь и пренебреги...

И Женька успокаивался. «Паганини гитары»! Когда-нибудь, когда он станет знаменитым музыкантом, он приедет на завод. Он даст концерт в цехе. Он сыграет так, что даже тугой на ухо Ваня Овцын заплачет... И им станет

стыдно, что все они не понимали и травили его за какие-то пустяки, за пару запоротых деталей, за то, что сбежал с собрания.

Путь домой лежал мимо дома, где жил Пороцкий. Два знакомых окна второго этажа были освещены. На занавесках маячили тени. Должно быть, у Пороцкого, как обычно, кто-нибудь из знакомых, забежавших «на огонек». Сколько раз в минуту неудач и душевного смятения Женька устремлялся на огни этих окон! А вот сегодня он прошел мимо. Единственное, что ему сейчас хотелось,— это поскорей добраться до дому, лечь на боковую и выспаться к завтрашней смене.

V

Но уснуть пораньше Женьке не удалось. Дома его ожидал гость. Он лежал на кровати, положив ноги на спинку, и выпускал изо рта плотные колечки дыма, с интересом следя, как они, ширясь, расплываясь, медленно поднимались к потолку. Судя по плевкам и окуркам около кровати, ждал он уже давно.

— А-а-а, молодой человек! — сказал гость, поднимаясь.— Долго, долго! Энтузиастом заделался? «Завод — наш дом, наш дом — завод!» Слыхали, слыхали!

— Тебе что, Егорка?

— Извиняюсь, Жорж.

— Ну Жорж так Жорж, леший с тобой! Чего пришел?

Не обращая внимания на гостя, Женька медленно стянул сапоги, снял спецовку, разделся. Оставшись в трусах, он стал ощупывать мускулы рук и плеч, нывшие от утомления.

— Хорошенькое дело: «чего пришел»? Разве так друзей встречают? Эх, Женька, Женька, совсем ты, я вижу, пропал для мыслящего человечества!

Пока Женька за стеной окатывался, вскрикивая и крякая от удовольствия, гость его, подойдя к зеркалу, старался придать своему лицу то грустно-задумчивое, то небрежно-презрительное, то зловещее, то ласковое выражение. Выходило плохо, так как толстая, простецкая физиономия его с жиденькими ниточками подбритых бровей и острыми клинышками «мексиканских» полубачков была мало приспособлена к выражению каких бы то ни было чувств.

Монтер электроремонтного цеха Егор Решетов был в поселке довольно известной личностью. Его можно было постоянно видеть за одним из столиков клубного кафе и почти на всех домашних вечеринках, где бы и по какому бы поводу они ни устраивались. Говорили, будто он знающий электрик. Но не работой гордился он перед товарищами. Мало кто из ребят мог оспорить у него первенство в западных танцах, и, уж конечно, никто не мог соперничать с ним в «тонком искусстве одеваться», как он любил говаривать. Плечи его пиджаков были всегда самые широкие, тулья шляпы — самая высокая, узел галстука, над которым он, по его собственному признанию, «немало работал», был необычайно велик и пышен, а крепкие, загнутые на концах ногти хотя и не всегда чисты, зато покрыты самым ярким из всех маникюрных лаков, так что казались окровавленными. Когда Женька, обтирая на ходу озябшее, порозовевшее от холода тело, влетел в комнату и, греясь, начал приседать и размахивать руками, Жорж сделал жалостливо-презрительную гримасу:

— Вольные движения!.. Откройте форточку, приготовьте коврик... Крас-сива!

— А что? Еще как здорово-то! После работы!

— «Расскажите вы ей, цветы мои!..» — фальшиво пропел Жорж.— Га! Лихо, видать, Лузгин на вашем брате ездит, если ледяной водой отливаться приходится.

Жорж поправил галстук, встал у зеркала, широко расставив ноги в клетчатых брюках, заправленных в хромовые сапожки. Голенища этих сапог были спущены до отказа и напоминали мехи гармоники.

— Женька, стервец, имеешь шанец отличиться! — произнес Жорж, косясь на зеркало.— Ты приглашен с гитарой на вечерушку к Симке Забелиной. Понятно? Девушка там одна будет! — Он прищелкнул языком.— Не девушка — картина, шедевр на полотне! Зойка — практикантка из энергетического института. У нас работает. Это, я тебе скажу, «та» девочка! Маленькая, крепенькая — боровичок! Ножки... Эх! У нас весь электроремонтный в нее втюрился. Серьезно. Уж на что Ванька Километр из вашей бригады, кажется, вот,— Жорж постучал костяшкой пальца по косяку,— и тот за ней приухлестывает. Пороцкий назвал homo novus — новый человек!

— Ну что Константин Павлович, как он? Давно у него не бывал.

— Что ему?.. Затевает в клубе какие-то новые штучки-мучки. Мир удивляет. Опять о нем в областной писали. Читал? Все о тебе спрашивает. Велел заходить. Впрочем, провались он к черту, пойдем на вечерушку! Выпить что будет в плепорции, и Зоя... Ах, девочка! Познакомлю. Мне для товарища ничего не жалко. Я такой! Но условие: во-первых, пойдешь с гитарой, во-вторых, ты меня знакомишь с Настькой Климко.

— С кем, с кем? С какой Климко?

Жорж подозрительно взглянул на Женьку:

— Климко? Здравствуйте! Не знаешь? Из вашей бригады. Тоже девушка на уровне... впрочем, она не девушка, а разводка, кажется. Так! Ну, нам это все равно. Даже лучше. Мы с тобой сначала к ней зайдем, будто за делом каким, а потом уговорим ее, и вместе, втроем, на вечерушку. А? Ты с Зоей, а я с Климко. Идет? Разделение труда. Рационализация. Поладили?

Женька почувствовал, как в нем нарастает глухое раздражение.

— Никуда я не пойду.

— Это невозможно. Друг, будь человеком! Я тебя вместе с гитарой Зое обещал. Понимаешь? Не порть мне биографию.

— Сказано: не пойду. Все. До свиданья...

Жорж тоже начал сердиться:

— Почему это вы не пойдете, молодой человек, хотел бы я знать? Лузгина боитесь? Да? Значит, Пороцкий правду говорит, что вы для Лузгина голыми руками каштаны из огня таскаете, а он вас чуть ли не по мордам. Эх, парень, примазался к чужой славе и от товарищей подальше? Мы из знаменитой бригады, нам кое с кем водиться нельзя...

Жорж носком сапога поддал валявшуюся на полу консервную банку и долго прыгал на одной ноге, с сожалением рассматривая белую царапину, оставшуюся от удара на лоснящемся хроме. И все же, переменив тон, он заискивающе взглянул на Женьку:

— Ну, не пойдешь — не надо. Переживем. Об одном прошу: познакомь с Климко.

В просьбе не было ничего особенного. Женька это хорошо понимал и не знал, почему она так его раздражает.

— Не станет она с тобой знакомиться.

— Со мной? — Жорж покосился на себя в зеркало, стараясь при этом выжать на свое лицо самую презри-

тельную мину.— Думаешь, если она с вашим Лузгиным путается, так на меня и смотреть не будет? Брось-ка ты, мальчик! Я баб на своем веку видел больше, чем ты картошки съел... Познакомь! Иду на спор: в две недели все будет кончено. Идет? Ну, спорим, что ли?.. Не хочешь? Или, может быть, уже сам на нее нацелился?..

— Уходи,— сквозь зубы сказал Женька, крепко вцепившись в металлическую спинку кровати, чтобы только чем-нибудь занять руки.

Жорж увидел, как побледнело Женькино лицо, и понял, что шутки плохи. Он схватил со стола шляпу и, опасливо обойдя Женьку, шмыгнул к выходу. Хотел что-то сказать, но только махнул шляпой и грохнул дверью так, что пустые бутылки на окне перезвякнули.

VI

Как-то в перерыв, когда бригада еще обедала, Лузгин, всегда раньше других управлявшийся с едой, рассеянно просматривал свежие газеты. Вдруг взгляд его стал сосредоточенным. Читая, он начал ритмично покачивать головой, потом отметил какую-то статью ногтем и протянул газету Кухарову:

— Видал-миндал? Золин-то!

Тут же, за обеденным столом, заметка была прочитана вслух. В ней сообщалось: «Вчера бригада кузнеца Кулебакского завода Семена Золина отковала за смену шестьдесят одну вагонную ось, побив всесоюзный рекорд, установленный перед Октябрьскими торжествами известной бригадой кузнеца-орденоносца Ильи Лузгина на вагоностроительном заводе имени Серго Орджоникидзе».

— Шестьдесят одна! Ай-яй-яй! — тихо, почти шепотом повторил Петр Жолобов, и его обычно бледное лицо покрылось пятнами.

— Как это можно? — усомнился Ваня.

— Что ж тебе, газета врать станет? — оборвала его Настя.

Но по тону Женька понял: и ей не верится, что кто-нибудь может ковать больше, чем куют они.

— Может, у них молот другой поставили? — осторожно предположила она.

Бригадир задумчиво складывал газету и тщательно приминал ногтем линии сгибов.

— Молот их я знаю. Такой же, как у нас. Одна марка, один год выпуска. Дело тут определенно не в молоте.

В это время курьер заводоуправления вручил Лузгину телеграмму: Семен Золин и его бригада извещали о своем новом достижении, вызывали продолжать соревнование.

После работы лузгинцы собрались в красном уголке. Кузнец без проволочек и вступлений прочел телеграмму и просто спросил:

— Так как же, ребята, принимаем вызов?..

Бригада молчала.

— Так как же?

— Иначе быть не может,— отозвался наконец Ваня.

— Нагнать нетрудно. Брак пойдет, вот что,— задумчиво сказал Петр.— Как у них с браком-то?

— Брака нет.

Лузгин ухмыльнулся. Глаза у него сощурились, глядели весело, даже озорно. Он был из тех людей, что даже любят идти навстречу трудностям. Должно быть, он уже угадал решение бригады и теперь любовался своими товарищами.

— Ну, а ты что скажешь, Кухарыч?

И по тому, как все уставились на молчаливого машиниста, Женька понял, что и кузнец и все остальные дорожат мнением старика. Тот множил и делил на бумажке какие-то цифры. Все терпеливо ждали.

— Вот я тут прикинул,— отозвался наконец Кухаров, поднося блокнот к самому носу.— У нас на ось сейчас сколько приходится? Семь минут с хвостиком. А у них сколько? Шесть минут сорок восемь секунд. Если ковать шестьдесят пять — понимаете, не шестьдесят одну, а шестьдесят пять осей,— нужно управляться за шесть минут двадцать четыре секунды.

Старик медленно снял очки, вложил их в кожаный очешник, звучно щелкнул крышкой:

— Так вот, ребятушки, коли вам нужно мое мнение,— можем. Только надо на чем-нибудь эту самую минуту наскрести. А на чем, давайте думать... Так я говорю, Яков Семеныч?

В дверях, прислонившись плечом к косяку, стоял начальник горячих цехов инженер Апт.

— Правильно, Алексей Никитич. Предела совершенства достичь никому не дано, но умные и энергичные люди всегда к этому стремятся.

Инженер неслышными шагами пересек комнату. Ак-

куратно подтянув в коленях тщательно выутюженные коверкотовые брюки, он удобно расположился в кресле напротив Лузгина, поддернул жестко накрахмаленные манжеты, будто приготовившись работать.

Апт был из породы тех людей, чей возраст почти невозможно определить. Его прямой, сухопарой фигуре мог бы позавидовать и юноша. Худое лицо туго обтянуто желтой кожей. Оно почти без морщин, только две глубокие складки огибают углы рта. Волосы гладко расчесаны на прямой пробор. Седые всклокоченные брови нависли над зеленоватыми глазами, как клочья серого мха.

Еще в годы фабзавуча инженер заинтересовал Женьку. Хотя он, Апт, работал на заводе чуть ли не со дня основания,— мало что знали о его жизни. Говорили, будто он сын крупного акционера нобелевской нефтяной компании и в юности будто ушел от отца. Окончив Высшее техническое училище, работал сначала простым кузнецом или прессовщиком. Так ли это было или нет, никто не знал, но кузнецы не раз наблюдали, как иногда инженер снимал пиджак, расстегивал запонки на своих накрахмаленных, безукоризненно чистых манжетах, засучивал рукава сорочки и становился к молоту или прессу, чтобы показать, как ковать неладившуюся деталь или как освоить новый сложный штамп.

Его считали сухарем, зазнайкой, относились к нему настороженно и между собой называли «рак-отшельник». На собрания он являлся, лишь когда присутствие его было абсолютно необходимо, выступал неохотно и только по техническим вопросам. Только в последние годы он стал изредка появляться в клубе на концертах вместе с женой, высокой и чопорной дамой.

Сидя за спиной Лузгина, Женька украдкой наблюдал за Аптом. Инженер неторопливо достал из кармана трубку с длинным прямым мундштуком и начал сосредоточенно чистить ее какой-то специальной ложечкой. Казалось, это занятие поглощает все его внимание.

Почистив трубку, он выколотил ее о край стола, не торопясь набил, погремел спичками.

— Разрешите закурить? — неожиданно спросил он Настю, которая в эту минуту вполголоса спорила с Петром о том, как лучше зазубривать крючки, чтобы уменьшить скольжение заготовки,— прямо или наискось.

— Что вы сказали, Яков Семенович?

— Прошу разрешения закурить.

— Ах, что вы, да курите себе на здоровьечко...

Совещание становилось все оживленнее. Спорящие чаще и чаще обращались к бригадиру, как к арбитру, а тот сидел, улыбаясь, ритмично покачивал головой, и в его широко расставленных глазах светилось любопытство.

— Тут Кухарыч верно подсчитал насчет минуты,— сказал он наконец.— Мое мнение: мы ее наскрести можем — и наскребем, должны. Да что там говорить, любой из нас крадет у себя уйму времени! Вот хотя бы наш уважаемый Ваня Овцын.

Крановщик тревожно заерзал, и стул застонал под ним.

— А что Ваня? Что я, хуже других?

— Этого никто не говорит... Крановщик ты правильный. Но тут Яков Семенович верно сказал: предела совершенства никто еще не достиг. Вот и ты, Иван. Погляди, сколько у тебя времени даром уходит. Когда ты заготовку на цепь принял, где ты стоишь? Справа? Справа. Теперь ты поднял ее, ведешь кран к молоту. Сподручно тебе так ее вести? Нет. Ты его обходишь и подаешься на левую сторону. Так? Двух-трех секунд нет. Теперь ты подвел кран к молоту, начинаешь отдавать цепь. Это тебе опять не с руки. Тогда ты, придерживая цепь, шлепаешь обратно. Еще пятка секунд как не бывало. Вот и выходит: не танцуй ты вальса вокруг заготовки — мы секунд десять и сэкономим.

Ваня сидел озадаченный:

— Иначе-то ведь как?

Лузгин метнул взгляд на крановщика:

— А ты попробуй, привыкни с левой руки работать.

— С левой? Скажешь... Что ж я, левша? Да и где тут наберешь десять секунд?

— И спорить попусту!..— оборвала его Настя.

— А ты чего в моем деле смыслишь?

Настя сорвалась с места, вышла на середину комнаты, сняла с руки браслетку с часами и бросила их Ване:

— Считай!

И она стала повторять в точности все движения, какие крановщик делает у молота. При этом лицо и ухватки ее вдруг стали похожими на Ванины.

Из-за облака дыма за Настей внимательно следили заблестевшие глаза инженера. Улыбка кривила его сухие, тонкие губы.

— Ну, сосчитал?

— Н-да, восемь секунд.

— То-то — восемь! От упряма дытына... Спорит...

— Так ведь с левой-то руки никто не работает.

— А по-нашему кто когда работал?

Лузгин между тем продолжал находить все новые и новые секунды, обнаруживая при этом поразительную наблюдательность.

— Не могу только понять, почему у Сизова не получается,— сказал он напоследок, и Женька, покраснев, опустил глаза.— Силой будто парень не обижен, а ловким его не назовешь. Рубашка от соли посерела, а результат — плешь. Может, ты, Настасья, скажешь? Это по твоей специальности.

Крючочница насмешливо поглядела на Женьку:

— Что ж, попробую. Только ведь этот хлопец у нас умнее всех, ему и советовать опасно — обругает... Ты к нему всей душой, а он к тебе всей спиной... Ну, дело не в том. По совести, я и сама, Илья Афанасьевич, никак не пойму, где у него заедает. Думается, спешит он, рано рвет крюк. Заготовка еще бабой прихвачена, а он рвет. Тут не секунда — сотая доля секунды, а сила зря уходит в пустой рывок... Ты старайся рвать, когда баба уже вверх пошла.— Настя взглянула на Женьку и, поправив руками косынку, добавила: — Ну, лайся, чего ж молчишь?

Сизов чувствовал себя чужим среди этих людей, споривших из-за секунд и долей секунды. Он понимал, что, хотя об этом никто не обронил ни слова, он является для всей бригады помехой.

В конце заговорил Апт. Привычным движением поправив свой безукоризненный, точно по линейке выведенный, пробор, он сказал, постукивая трубкой о стол:

— Мне нечего добавить, но у меня есть предложение — пусть оно будет моей скромной лептой в вашу копилку секунд. Во всех сменах печь обслуживают трое. У вас один человек. Я ничего не скажу плохого о товарище Жолобове. Он хороший нагревальщик. Но ведь печь — это не машина, на ней один трех заменить не может, как бы искусен он ни был. Я бы предложил пополнить бригаду и еще...

— Возражаю, товарищ начальник горячих цехов!

Женька никогда не видел нагревальщика таким взволнованным.

— Разрешите отклонить ваше предложение. Я справлялся, справляюсь и справлюсь. Я обещал обслуживать

печь один — понимаете, обещал! Так как же? Что же мне, от своего обещания пятиться?

— Послушайте, милый, кто же вас заставляет пятиться?.. Вы не так меня поняли. Здесь обсуждается вопрос о сокращении рабочего времени на ось. Я вношу свое предложение не как начальник комбината, а как инженер, очень — поверьте мне! — заинтересованный вашей работой. Чудак вы человек! Это нисколько не опорочит вас...

— Я отказываюсь,— упрямо заявил Петр.

— Да почему же? Ведь у нас в остальных сменах и, насколько мне известно, у кулебакцев,— везде у печей трое. Вам же будет легче, и потому...

— А потому, что мое слово... мое слово...

Петр хотел что-то сказать, но приступ жесточайшего сухого кашля помешал ему. Нагревальщик бессильно опустился на стул, положил голову на руки. Все тело его вздрагивало и корчилось от кашля. Тюбетейка слетела и покатилась по полу, бритая голова покраснела, покрылась испариной, жилы на шее вздулись.

— Ваня, спроворь водицы,— распорядился Лузгин и ласково взял нагревальщика за плечо: — Э-эх, парень!..

Когда Петр отдышался и, стуча зубами о край стакана, выпил глоток воды, он упрямо повторил:

— Нет, не отступаю...

Инженер пожал плечами.

Петр Жолобов сел за ответную телеграмму.

— Так сколько же писать осей? — спросил он, все еще тяжело дыша.

— Шестьдесят пять,— ответило ему сразу несколько голосов.

У Женьки поднялась глухая злость на этих самоуверенных людей, с такой легкостью взваливавших на себя новую обузу. «Черти ненасытные... Этак и подавиться можно». На совещании он не проронил ни слова и, когда оно кончилось, так же молча пошел к выходу.

В проходной его догнал Лузгин:

— Ну, как думаешь, вытянем или нет?.. Чего ты всегда молчишь?

— Нечего говорить, когда нечего говорить,— неохотно отозвался Сизов.

Бригадир с досадой посмотрел на крючочника:

— Вот смотрю я на тебя, и другой раз зло берет! Ершится... Словечками играет... И чего ты из себя выламываешь?.. Не дурак — знаю! Стараешься — вижу! А прихо-

дится Настасье тебя вывозить. И все отчего, подумай? Все характер твой! — Бригадир заговорил тише, как редко говорят кузнецы, привыкшие к грохоту и шуму: — Помнишь, парень, первый день, когда я тебе в красном уголке работу объяснял? Как ты меня слушал? Дескать, эка невидаль крюк? Какие тут могут быть разговоры, когда мне и так все насквозь известно. Ведь так рассуждал? А вышло что? Вот слежу за тобой. Ну, думаю, обломается, учиться станет, посоветуется. А он из сил выбивается, а молчит! Гордость, самомнение — вот, брат, где у тебя заело! А гордиться-то и нечем — работа твоя дрянь.

Бригадир испытующе посмотрел на Женьку. Тот молчал, подавленный, хмурый.

— Учиться, брат Сизов, никогда не грех. Сколько бы человек ни знал, ему всегда есть чему учиться. Все я да я. А «я», брат,— последняя буква в азбуке. Вот «мы» — это да! Это сила! Это... Постой-ка...

Лузгин вдруг умолк и внимательно посмотрел в сторону клуба, мимо которого они проходили. У парадного подъезда, окруженный детворой, паренек в лохматой заячьей ушанке, морщась от дыма, курил папиросу. Он молодецки сплевывал сквозь зубы и косился на прохожих. Ребята смотрели на него с завистью.

Женька ухмыльнулся, вспомнив свою первую папиросу, выкуренную еще в более раннем возрасте, но Лузгин нахмурился, подошел к мальчику и взял его за плечо. Тот от неожиданности уронил папиросу и попытался вырваться. Кузнец крепко держал его:

— Где живешь-то?

— Нигде... Пусти!

— А ну веди меня к себе домой! Давай, давай, живо!

Парнишка поднял сползшую на нос ушанку и вдруг притих:

— Вы Лузгин?

— Давай, парень, не волынь! Ведь все равно не выпущу. А возиться мне с тобой некогда — я с работы, мне есть хочется... Прощай, Сизов, я уж пойду этого курца до матери сведу...

И он повел вдоль аллеи покорно семенившего рядом с ним мальчугана.

Ребятишки оживленно обсуждали происшествие, то и дело повторяя фамилию знатного кузнеца. Видно было, что симпатии их уже не на стороне приятеля. Женьке же было досадно, что такой интересный разговор оборвался

из-за пустяков. «И чего нужно человеку? Какое ему дело до чужих ребят? Мало ему своих дел? Вот уж верно про таких говорят: «Ко всякой бочке затычка».

Сизов повернул было к дому, но из-за угла, с боковой улочки, ведущей к клубу, выскочил и покатился ему под ноги рыжий бульдог.

— Парадокс, назад! — раздался знакомый тенорок.— Назад, говорят тебе!

Показался высокий человек в короткой кожанке, в шоферской фуражке из хрома, уже побелевшего, облупившегося, какие носили когда-то в дни Октябрьской революции.

— Маэстро! — закричал он, радостно распахивая объятия и целуя Женьку.— Вот после этого и не верь в судьбу — только о тебе думал. Отлично, отлично... Я страшно по тебе соскучился!

Говоря, он продолжал несколько небрежно и как-то по-хозяйски держать Женькину руку. Полные губы его приветливо улыбались, а глаза, светлые, блекло-голубого цвета, смотрели при этом куда-то в сторону.

— Что ж ты меня забыл? Дурно, дурно зазнаваться, друзей забывать... Слышал, с Лузгиным работаешь,— порадовался за тебя. Как же, на пути в пантеон бессмертных... Впрочем, повторял и повторяю: кузница — это для тех, кто не обладает твоим слухом и твоим даром. Кузнецов много, музыкантов сотни, талантливых единицы... Парадокс, сюда! Глупейший пес. Прирожденный мизантроп страшен, как и все дураки... Маэстро ко мне, конечно?

Встреча с Пороцким обрадовала Женьку. За месяц работы с Лузгиным накопилось много нерешенных, даже как следует не понятых и не обдуманных вопросов. Очень хотелось с тем, кому веришь, кто умней и опытней, потолковать по душам. Теперь, шагая за Константином Павловичем, Женька рассеянно слушал его болтовню, выжидая удобный момент, чтобы заговорить о своем.

VII

У Пороцкого собралась обычная компания.

На продавленном диване, уткнувшись в книгу, сидел Игорь Николаевич — тучный, медлительный инженер с завода. Военная гимнастерка, которую он неизменно носил, выглядела на нем снятой с чужого плеча. На другом

конце дивана, подобрав под себя ноги, полулежала женщина с коротко постриженными волосами и красивым увядающим лицом. «Приходящая жена» Пороцкого, как называла она себя. Она по-мужски протянула Женьке холодную руку и тотчас же зябко завернулась в шерстяной платок.

— Куда вы запропали? Я страшно скучаю без вашей музыки,— сказала она, кивком головы откинув с белого лба нависающую на него каштановую прядь.

— Ему нельзя. Он после работы ледяной водой отливается, чтобы в себя прийти. До друзей ли тут! — обронил сидевший на окне Жорж и, покосившись на свое изображение в темном стекле, миролюбиво прибавил: — Ну-ну, пошутить уж нельзя! Видите, как забурел — и здороваться не хочет. Друзей не замечает.

В этой просторной квартире, в заводском доме, казалось, не было хозяина, и каждый из гостей делал что хотел. Раньше эта свобода особенно подкупала Женьку. Что там греха таить — ему льстило, что такой человек, как Пороцкий, называющий знаменитых писателей Мишка, Сашка, знакомый со всеми известными артистами, обращается с ним как с равным и явно к нему благоволит.

А теперь вот, снова очутившись здесь, Женька вдруг понял, что знает наперед все, что тут произойдет сегодня. Пороцкий будет безостановочно вышагивать на своих журавлиных ногах по комнате. Посыпая ковер пеплом от папирос, прислушиваясь к разговорам, он будет бросать острые реплики и тут же награждать себя сухим смешком. Игорь Николаевич, подражая жрецу, выполняющему ритуальный обряд, торжественно откроет бутылки, нарежет колбасу, наполнит стаканы и при этом обязательно назовет штопор «спутником активиста», водку — «слезой божьей матери», а опрокинув стакан в рот, скривится и, наверно, скажет: «Крепка, собака! Как только ее беспартийные пьют!» Женщина по-мужски, молча опрокинет в рот несколько рюмок, а потом, когда румянец пятнами пойдет по ее щекам, будет громко хохотать, хлопать всех по плечам, курить папиросу за папиросой и требовать, чтобы пели, и сама заведет резким, неуютным, но сильным голосом все одну и ту же песню с нелепым припевом: «Сергей поп, Сергей поп, Сергей валяный сапог...» Жорж подхватит невпопад и станет рассказывать, какой он неотразимый мужчина, как он безжалостно разбивает сердца самых неприступных поселковых красавиц.

А потом, когда водка будет выпита и все устанут от шума и нестройного пения, будут просить его, Женьку, играть на гитаре. Пороцкий положит на ладони костистых рук продолговатую, начисто обритую голову, в его глазах обозначится непонятная Женьке тоска, «приходящая жена» прижмется к его плечу и, наверно, заплачет; Игорь Николаевич будет сопеть и вздыхать, Парадокс — подвывать, а Жорж, косясь в зеркало, примерять на своей физиономии то скучающее, то меланхолически-грустное выражение или заснет где-нибудь на диване.

И Женька удивился, почему он бывал здесь с такой охотой и почему ему еще совсем недавно казалось, что только тут, у Пороцкого, и умеют по-настоящему ценить его игру.

А Игорь Николаевич уже тянул ему полную стопку:

— «Прошу,— сказал Собакевич».

Угловатая женщина резким движением опрокинула рюмку в рот и, сделав страдальческое лицо, вяло пожевала шоколадку...

Но в этот вечер все пошло по-другому. Выпив первую, Пороцкий сейчас же налил еще себе и Жоржу. Он пил, нервно потрескивая суставами пальцев, и заметно хмелел.

Раньше Женьке нравились эти сумбурные вечера, беседы в зыбкой атмосфере винных паров. Константин Павлович одинаково интересно умел рассуждать на любую тему, декламировал наизусть стихи, цитировал по памяти авторов, имена которых Женьке никогда не доводилось даже и слышать, восхищал своим всезнайством. Теперь Женька критически ловил каждое его слово.

— Друзья, он жалуется на одиночество! — кричал Пороцкий и кривил свои сочные, толстые губы.— Чудак! Ты этим гордись! Одиночество — вещь великая. Оно — удел всех, кто возвышается над уровнем толпы. И Юлий Цезарь, и Джордано Бруно, и Паганини, Ницше и Маркс — все они были одиноки... Он смотрит на меня наивным взглядом ребенка! Да, повторяю, и Маркс, и все великие люди. Одиночество — удел гения...

Радость, которую испытал Женька, встретив Пороцкого на улице, погасла. Уже расхотелось советоваться с ним, да он и слушает только себя и все говорит, говорит, говорит...

Боясь проспать утреннюю смену, Женька пил мало и сидел трезвый, молчаливый и мрачный.

Ты обойден наградой? Позабудь.
Дни вереницей мчатся? Позабудь.
Небрежен ветер: в вечной книге жизни
Мог и не той страницей шевельнуть! —

нараспев декламировал Пороцкий.— Что, хорошо, а? Мудрость веков: ты обойден наградой — позабудь. Слышите? И еще, слушайте, слушайте, вы:

Вина! Другого я и не прошу.
Любви! Другого я и не прошу.
— А небеса дадут тебе прощенье?
Не предлагают? — Я и не прошу.

Гениально, а? Какое спокойствие, какая глубина!.. Не предлагают — и не прошу, черт с вами...

Стихи Женьке не нравились. Но угловатая женщина и Игорь Николаевич, который от водки только краснел да становился неподвижнее, восхищались, и даже Жорж бубнил заплетающимся языком:

— В точку, в масть...

«А может, верно говорила чернобровая, что я с рывком тороплюсь. Пожалуй... То-то она ворочает заготовку, что тесто месит; а тут всеми кишками трясешь — и еле тянешь... Нешто попробовать попозже рывок делать».

— Маэстро, ну же!.. «Вина! Другого я и не прошу!» — шумел Пороцкий. Дрожащей рукой он протягивал стакан, расплескивая водку.

Женька выпил, точно выполняя скучную обязанность, и отвернулся к окну. На дворе под ярким фонарем три карапуза катали шар из тронутого оттепелью снега. Но как только шар начинал вырастать, он вдруг разваливался, и ребята, посуетившись над обломками, принимались за новый. «Даже и тут сноровка нужна».

— Маэстро, маэстро! — Пороцкий тряс Женьку за плечо.— Плюнь! Все чепуха и дрянь, дрянь и чепуха! Сыграй! Ну сыграй! — И он совал в руки Женьке гитару.

Сизов бережно положил инструмент и потянулся.

— Чувствую, ты мало выпил. Прими... прими нектар вдохновения!

Женька выпил еще, но вино почему-то не взбодрило, а, наоборот, отяжелило его. Только очертания комнаты потеряли четкость. И странное дело — его потянуло прочь из этой безалаберной квартиры, от этих шумных людей.

— Ну, я, пожалуй, пошел,— проговорил он сквозь сладкий зевок.

— Противно смотреть! Совсем человека Лузгин заездил,— сказал Жорж, с трудом сползая с подоконника. Он уже совсем огруз и выговаривал слова так, словно рот был набит кашей.

Игорь Николаевич строго взглянул на Жоржа:

— Ну, ну, будет...

Но парня уже было трудно остановить. Уставившись тяжелым взглядом в Женьку, он выжимал слово за словом:

— Отстань... Я ему выскажу... Чего отвернулся? Совестно, да?

— Проспись...

— А что? Кто мне правду запретит говорить? Ты, что ли? Я говорю и буду говорить! Дурак! Опутал вас всех Лузгин. Навербовал батраков и валит им на спины. А-а-а! А вы и рады: пожалуйста, дорогой товарищ Лузгин, валите на мою спинку еще, я допру... Эх, все вы такие, и Климко эта ваша... Не разговаривает! Тоже принцесса Турандот! Мне тьфу на эту вашу принцессу! Я таких, как она...

— Замолчи!

Жорж оттолкнул Игоря Николаевича и шагнул к Женьке. Тот в упор смотрел в его глаза и, чувствуя в горле знакомый холодок бешенства, тяжело дышал, из последних сил сдерживался, чтобы не ударить наотмашь в это потное, багровое лицо.

— Видели мы таких храбрых! — не унимался Жорж.— Рыцарь! Я вот и при всех скажу, что эта ваша Климко... Чего скалишься? Глотку мне не заткнешь...

— Я тебе ее перерву,— очень тихо сказал Женька и вдруг, подняв руку, крепко прищемил нос Жоржа между двух согнутых пальцев, рванул вправо, влево, вниз.

Жорж заревел от боли и вдруг повалился на пол.

Не прощаясь, Женька пошел к выходу.

Во дворе все еще возились мальчуганы, пытаясь скатать из снега шар. Женька стоял возле них пошатываясь, мучительно морща лоб:

— А вы, ребята, в разные стороны катайте... Туда, сюда...

Ему почему-то казалось важным, чтобы шар удался. Он хотел помочь ребятишкам, но его бросило в сторону, и он ухватился за чугунный столб фонаря.

И тут его стало рвать. Когда он наконец выпрямился, отер со лба холодный, клейкий пот и огляделся протрез-

вевшим взлядом, ребята стояли поодаль и с брезгливым любопытством смотрели на него. Евгений поднял глаза и сразу почувствовал, что краснеет. В одном из ярко освещенных окон он увидел силуэт Насти.

VIII

На следующий день он встретил девушку в дверях кузницы.

— А-а! Наше вам! — развязно бросил он ей и, подхватив под руки двух молоденьких работниц, проходивших мимо, вместе с ними прошел в цех.

Но, работая, он понемногу забыл о синих глазах, в которых ему утром померещилась жалость. Помня вчерашний совет, Женька старался теперь рвать крюк в тот короткий миг, когда стальная баба подскакивала вверх. Это давалось только сначала, когда молот бил медленно, «срубая» грани заготовки. Когда же заготовку круглили, «тянули» и Кухаров доводил удары чуть ли не до частоты барабанной дроби, уловить нужный момент никак не удавалось, рывки шли невпопад. Женька совсем отчаялся, перестал следить за молотом и снова старался лишь слепо подражать Насте.

— Смотри, смотри за работой... Это тебе не фонари подпирать! — безжалостно крикнула девушка.

После смены, когда бригада убирала рабочее место, Настя задумчиво сказала:

— Никак не пойму, почему у тебя не выходит...

— Головой, головой работать надо! Одними руками сейчас много не наработаешь, не те времена,— проворчал Кухаров, придирчиво оглядывая сквозь очки матово блестевший молот и выискивая, что бы еще можно было почистить или обтереть.

В этот день Женька часто ловил на себе пытливый взгляд Лузгина. Женька истолковал эти взгляды по-своему и все старался угадать, рассказала Настя бригадиру о вчерашнем или нет. В перерыв бригадир взялся за крюк и стал на все лады повторять рабочие движения крючочника. Лицо у него было внимательное, сосредоточенное, будто он решал и никак не мог одолеть трудную задачу.

Нет, надо самостоятельно постигать их секрет. Дома, в столе, среди давно прочитанных книг и позабытых нот, он отыскал старую тетрадь с записями уроков кузнечного дела, прослушанных им когда-то в фабзавуче.

Женька обрадовался находке. Как-то на одном из этих уроков Апт пошутил, что подводит здесь итог своей сорокалетней работы. И в самом деле, беседы старого инженера были так интересны и содержательны, что на них ходили практиканты и техническая молодежь, которая стажировалась на заводе.

Но в ту пору Женька учился с легкомыслием, свойственным многим способным ученикам: лишь бы сдать зачет. Записи оказались отрывочными, небрежными. Сейчас он ругал себя последними словами за то, что считал ворон на уроках Апта.

Попробовал пристроиться к одному из кружков, изучавших техминимум, но из этой затеи тоже ничего не вышло. В кружке, где главным образом занимались новички, толковали о давно известных вещах. Работа же с Лузгиным требовала глубокого знания техники.

Тогда Сизов решил сесть за книгу по горячей обработке металла, изданную для техников. Усидчиво, со все возрастающим интересом постигал он трудный, местами непонятный текст. Придя со смены и наспех закусив, он принимался за чтение и читал иногда за полночь. Книга усваивалась тяжело. Но это только разжигало его интерес. Иногда, наткнувшись на непонятное место, он шел в технический кабинет клуба за справкой к дежурному консультанту инженерно-технической секции.

Он сторонился прежних друзей. Но в клуб ходить уже не стеснялся и понемногу перенес свои занятия в читальный зал.

— В вуз готовится,— гадали ребята.

Он не оспаривал.

IX

Черные месяцы Женькиной жизни, когда он вдруг прослыл лодырем и выпивохой, понемногу забывались. Как участник знаменитой бригады он стал даже пользоваться известным уважением. На цеховых собраниях его иногда выбирали в президиум. Редактор «Горна» требовал от него заметок в свою газету, а однажды, по предложению Лузгина, ему поручили выступить от имени кузнецов на собрании рабочих сборки. Знакомые ребята и девушки стали называть его, не Женькой, а Евгением.

Но работал он по-прежнему хуже остальных своих то-

варищей, и незаслуженное уважение только угнетало и раздражало.

Люди в бригаде были поглощены «охотой за секундами», как говорил инженер Апт. Каждый день то у Лузгина, то у Кухарова, то у Жолобова рождались новые идеи. Некоторые из этих идей не выдерживали проверки, иные осуществлялись. Но «наскрести» минуту никак не удавалось. Выслушав новое предложение, Лузгин задумывался, долго ерошил волосы.

— Ладно, попробуем... А все-таки не то. Не то, товарищи, не то. Еще не то!

И долго стоял нахмуренный, молчаливый.

Однажды в бане Евгений, забравшись на верхнюю полку, с наслаждением «обхаживал» себя душистым веником. Снизу его окликнули. Сквозь клубы горячего пара он с трудом различил ладную фигуру Петра Жолобова. Крупные капли, как роса, покрывали распаренное, раскрасневшееся лицо и бритую голову нагревальщика.

— Простите, Сизов, я вам помешал, но, знаете, просто не терпится... Что, если сделать устье нашей печи чуть-чуть наклонным? Ну да, чтобы легче было вынимать заготовки.

— Чего, чего? — не понял Евгений, с трудом отрываясь от банных наслаждений.

— Вы простите меня, но мне очень хочется вам это сейчас показать,— настаивал Петр.

В это время кто-то плеснул воды на раскаленную каменку. Печь пыхнула жарким прозрачным паром. Задохнувшись, Евгений скатился со скользкого полка и присел на полу, где было похолоднее. Тело горело в благодатном жару. Кровь точно молоточками била в виски. Но Петр упрямо тянул Евгения к парильной печи. Хлопья мыла лезли ему в глаза. Он морщился, протирал их левой рукой, а правой чертил кусочком мыла по горячей стенке:

— Представьте — это нагревательная печь; если эту вот кромку опустить до сих пор, а здесь сделать что-нибудь вроде чугунного лотка? А? Я вот стал поддавать жару, и мне все это как-то сразу ясно представилось. Как думаете, секунд пять-шесть на ось возьмем на этом?..

Из бани возвращались вместе. Сдержанный Петр разговорился. Каждую минуту у него возникали новые варианты. То он собирался сделать наклонный желоб из отшлифованного чугуна, то выложить желоб огнеупорным кирпичом и только с внешней стороны прихватить для

крепости стальным угольником, то мечтал устроить у устья печи металлические катки. Каждый способ давал свои преимущества.

Но даже в увлечении Петр не терял рассудительности. Он хладнокровно взвешивал предложение, видел его недостатки и тут же упрямо искал новый, более совершенный путь.

— Нет, что ни говорите, мысль! Думается, Илья Афанасьевич одобрит. А как вы?

Евгений уже не раз высказывал свое мнение. Идея ему нравилась. Но Петр, должно быть, готов был толковать об этом бесконечно.

«Как их всех забрали эти проклятые секунды! Шальные какие-то стали... Пыльным мешком трахнуло!» — сердился Евгений, втайне завидуя нагревальщику.

Спутников обогнали три лыжницы в голубых фланелевых костюмах. Шли они неумело. Лыжи их громко хлопали, скользили, разъезжались на укатанном, отполированном шинами снегу.

— Эй, эй, красный берет! — крикнул вдруг страшным голосом Евгений.— Гляди, гляди...

Девушка в красном берете испуганно обернулась, потеряла равновесие и чуть было не упала.

— Чего?

— Пятки сзади.

Девушка остановилась, воткнула палки в снег, сняла рукавицы и, заправляя под берет заиндевевшую прядь, серьезно спросила у Петра:

— Что он ест, этот парень?

— Простите, что вы сказали? — переспросил Петр, с трудом отрываясь от своих дум.

— Спрашиваю, чем его кормят, что он такой умный?

Евгений остановился возле лыжницы:

— Скажи адрес — вечером к тебе ума занимать приду.

— Пожалуйста. Электроремонтный цех. Приходи. Мы турбину перебирали, так шарики от старых подшипников остались. Заходи — подсыплю, раз не хватает.

— Что ж себе не подсыпала?

— Мне довольно. Не жалуюсь.

Подруги засмеялись, а сама девушка, сохраняя на лице серьезное выражение, резко оттолкнулась палками. Но лыжи вдруг выскользнули из-под ног. Она неуклюже упала, а лыжи убежали вперед по дороге.

Петр бросился ее поднимать, Женька же подобрал оброненную палку с камышовым колесиком на конце и рассеянно чертил ею по снегу. Вдруг он стал с интересом рассматривать рукоять палки. Обмотанная плотными кольцами шнура, она очень удобно лежала в руке. Женька сделал несколько движений, подобных тем, какие он делал на производстве, и с удовольствием ощутил в руке вместо гладкой, скользкой от пота рукоятки крюка ровные шероховатые кольца шнура. А что, если шнуром обмотать рукоятки крюков? Ну да! Ведь легче работать станет! Ага!

Теперь он рассматривал лыжную палку, точно это был необычайный, неведомого назначения инструмент, рассматривал и улыбался.

— Он у вас от рождения такой, или на него временами находит? — донесся задорный голос лыжницы.

Девушка остановилась возле Сизова — очевидно, ожидая возобновления веселой пикировки. Евгений не отозвался. Он продолжал задумчиво фехтовать палкой в воздухе. Он был доволен.

Лыжница постучала пальцем себе по лбу и вопросительно посмотрела на Петра. Тот пожал плечами.

— Есть! И наша денежка не щербата! — торжествующе воскликнул Сизов, втыкая палку в снег, и, никому ничего не пояснив, пошел прочь.

Уже издали он крикнул Петру и лыжницам, удивленно смотревшим ему вслед:

— Пока! До скорого...

Отделавшись от Петра, Сизов долго с банным узелком под мышкой бродил по улицам. Конечно, это не изобретение и даже не рационализация, а все-таки неплохая, совсем неплохая мысль. И было приятно обдумывать ее и представлять себе, как облегчится работа, когда он обмотает шнуром рукоять своего крюка.

Он выпросил у Анны Федоровны моток белого шнура и утром, за час до гудка, был уже в кузнице. К великой досаде, Евгений увидел у молота Ваню, «Непроходимый бек», держа в руках цепи крана, делал движения, повороты, что-то отсчитывал про себя. Смотреть на это было так же смешно, как на человека, который в одиночку, без музыки, в пустой комнате учится танцам. Ваня был так поглощен своим занятием, что не заметил даже, как Сизов подошел к нему вплотную.

— Ты чего тут, Иван, колдуешь?

Крановщик вздрогнул. Потом бросил цепи и нехотя поздоровался:

— Привет. Чего тебя в такую рань принесло?

— А тебя? Тебе чего не спится?

Ваня улыбнулся наивной улыбкой, от которой его пухлое и мягкое лицо приобретало совсем детское выражение:

— И верно, не спится. Слушай, Женька, как думаешь, наскребем мы эту минуту? А? Я так думаю: наскребем. Раз Лузгин и Кухаров говорят — можно, значит, можно... Я вот сегодня точно перед каким финальным состязанием, ей-богу. В четыре проснулся и никак не засну. Ворочаюсь и все думаю... Вот не поверишь, а я эту самую минуту во сне вижу!

— Загибаешь, Ванечка! Разогни-ка, пока не остыло.

— Нет, серьезно, честное благородное слово.

— Как же она тебе снится: с ручками, с ножками, что ли?

Ваня задумался:

— Не знаю, не помню. Знаю вот — снится, а проснусь — и не помню. Бывает ведь...

— Видала, девушка, до чего мальчик доигрался? — Евгений подмигнул маленькой водительнице электрокара, которая остановилась со своей автоматической тележкой у штабеля готовых осей.

Девушка засмеялась.

— Берегись, курносая.

— А ну тебя!.. Ты как рыжий в цирке, с тобой серьезно говорить нельзя,— вспыхнул Ваня.

Но по доброте характера сердиться долго он не мог, опять подошел к Евгению. Некоторое время следил, как тот ловко укладывал кольца шнура на металлическом стержне, потом сказал:

— Не худо придумано.

Евгений, не отвечая, продолжал свое дело. Ваня постоял с минуту и опять заговорил:

— А я, ты думаешь, что? Я тренируюсь с левой руки работать. Ух, трудно! А ведь можно, можно! Илья Афанасьевич правильно сказал: большая экономия выйдет.

Так дружными усилиями удалось «наскрести» немало секунд. Теперь бригада ковала на три-четыре оси больше, чем раньше. Но до поразившего всех достижения кулебакинцев было далеко. Шли дни, и подобное достижение начинало казаться Сизову недосягаемым.

Впрочем, «погоня за секундами» дорого давалась не только Евгению. Уже не одному ему думалось, что производительность дошла до того предела, который с обычными приемами работы не переступишь. Простых физических усилий, сколько бы все ни старались, было мало. Это все сознавали. Требовалось что-то усовершенствовать, изобрести. И беда заключалась в том, что все казалось уже изобретенным, придуманным.

Каждый день бесплодных поисков лишь увеличивал общее чувство неудовлетворенности.

Ваня Овцын, всегда, и не без основания, гордившийся своим умением водить кран, вдруг разуверился в своих способностях, обмяк, приуныл. Настя нервничала, хотя и не подавала виду. Но однажды, в пылу работы, она сердито содрала свой неизменный белый воротничок и так рванула ворот, что пуговицы посыпались под ноги. Даже сдержанный Петр иной раз проявлял признаки раздражения.

Евгению же было особенно не по себе. Ну, обернул рукоятки шнуром — это, может быть, немножко облегчило работу его и Насти,— но что значил этот его маленький вклад по сравнению с вкладом других! А отставал он по-прежнему. На производственных совещаниях Евгений старался быть еще незаметнее и ничем не напоминать о себе.

Его долгое время не трогали. Но однажды, когда бригада собралась было уже расходиться, Настя жестом остановила всех и насмешливо сказала Евгению, рисовавшему обгоревшей спичкой узоры на полях газеты:

— Ты чего это у нас за пассажира вроде?

— Что значит «за пассажира»? — смущенно спросил тот, не решаясь поднять глаз, и рука его, державшая спичку, мелко задрожала.

— А то и значит! Мы бьемся, головы ломаем, а он — поглядите на него, пожалуйста: сидит, как пассажир у вагонного окошечка, и наблюдает. Ах, как все это интересно! Ах, какие они молодцы! А у самого ручки в брючках...

— Правильно! Хорошенько его...— поощрил Кухаров.

— Конечно, правильно. Не парень ты, Сизов, а недоразумение. Как третье в нашей столовке: не компот, не кисель, не клейстер. Не люблю таких... Пошли, что ли, Илья Афанасьевич?

И девушка вышла из красного уголка, сердито стуча каблуками фетровых бот. Лузгин пошел за ней.

«Ну и зла, леший!» — с каким-то даже восхищением подумал Евгений, глядя им вслед.

Но тут мысль его сделала скачок: «Неужели Жорка не врет и Настя живет с бригадиром? Похоже. Вот опять пошли вместе. И как ему не совестно?.. Женатый человек, о детках рассказывает... Да и она хороша... А ты, Евгений Иванович? Тебе какая забота? Не твоя боль, ты и не охай».

И тут Евгений понял, что Настя интересует его, что он, сам не отдавая себе отчета, все время следит за ней, ловит и обдумывает каждое ее слово, каждый жест, что, когда она появляется, он ощущает радостное волнение, а когда уходит, вокруг будто даже темней становится, точно солнце прячется за тучи. Он понял, что ему все время хочется хоть чем-нибудь отличиться перед ней.

В лихорадочной атмосфере «охоты за секундами» только Кухаров и Лузгин оставались внешне спокойными.

Старый машинист был у молота нетороплив и уравновешен, как всегда. Кузнец же — по крайней мере, так казалось Евгению — все эти дни находился даже в приподнятом настроении. Работая, он то напевал, то насвистывал. Серые глаза его поблескивали. То и дело слышались теперь его веселые выкрики:

— Петя, новую!

— Евгений, не вались на крюк!

Не отрывая пристального взгляда от раскаленной болванки, легко орудуя своей державкой, он напевал:

— Иван, нажми, нажми! Финиш близко!

Впрочем, иногда в глазах бригадира появлялось усталое, недоуменное выражение.

— Где же, черт побери, тут собака зарыта? Не верю, чтобы мы работали хуже Золина,— сказал как-то Лузгин.

Несколько мгновений он задумчиво рассматривал свою державку, а когда поднял глаза, в них светилось упорство.

— Не может быть! Мы эту собаку разроем! Факт!

— «Не может быть, сказал Суворов, чтоб Чертов мост не перейти»,— ласково пробормотал Кухаров.

После работы бригадир собирал пятиминутные совещания. И тут от него доставалось всем за малейший промах. Евгений выявил еще одну удивительную способность Лузгина: его умение и в такой горячке за каждым следить, примечать и запоминать всякий промах.

И Евгению все больше становилось очевидным, что кажущаяся легкость и неторопливость бригады, естественная слаженность движений каждого, которые так поразили его

в первые дни,— все это результат общего зрелого мастерства и постоянной организующей воли Лузгина, которая так высока и совершенна, что ее трудно заметить даже опытным глазом.

Особенно доставалось в эти дни от Лузгина Ване. «Непроходимый бек» ходил мрачный, небритый. Он работал то с каким-то отчаянным напряжением, то вяло и небрежно, огрызался на замечания и избегал всяких разговоров.

Как-то Лузгин остановил его у входных дверей:

— А на совещание?

— Некогда. У меня хоккейная тренировка.

Лузгин в упор посмотрел в лицо крановщику:

— Иван!

— Вам бы все учить! Все шибко умные...

— Иван!

— Девятнадцать лет Иван... Что вы меня, как кошку, носом в дерьмо тычете!.. Кто я вам, чтоб меня всякие там... тыкали носом?!

— Ты понимаешь, что говоришь, Иван? — Лузгин взял Ваню под руку.

— Хватит меня учить!.. Пусти!.. Ну, пусти! Какое ты имеешь право меня задерживать? Нечего мне, дураку, с вами, умными, делать.

Лицо Лузгина отвердело, линия большого рта стала прямой, на скулах и шее обозначились выпуклые мускулы.

— Завтра перейдешь в другую бригаду... Пошли, Сизов...

— Ну и перейду!.. Такого специалиста везде возьмут с радостью. А вы еще меня напроситесь!..

Лузгин твердой рукой уводил Сизова в красный уголок. Крановщик поглядел в спины уходящим, смолк, мгновенье поколебался и бросился вон из цеха.

Усевшись у стола, где остальные уже ждали, Лузгин долго молчал, тяжело дыша и вздрагивая всякий раз, когда у двери слышались шаги. Потом вздохнул, поднялся и при общем молчании принялся деловито разбирать работу за день.

О Ване Овцыне никто не спросил, никто не произнес даже его имени. Но когда дверь скрипнула и стала медленно открываться, все даже привскочили.

— Идет,— прошептала Настя.

Ваня медленно подошел к столу. Он был весь какой-то взъерошенный. Он хотел что-то сказать, но слова застряли в горле. Он стоял, опустив большие руки.

Настя погладила его по руке:

— Ну же, ну, Ванюшка!

И тут произошло то, чего Евгений никак не ожидал. Дюжий крановщик, «непроходимый бек» заводской футбольной команды, вдруг уткнулся лицом в Настино плечо. Петр деликатно отошел в сторону: Евгений, наоборот, с нескрываемым интересом наблюдал за этой сценой.

— Не могу я, не могу... Ну, понимаете,— с трудом выговаривал Ваня, ни на кого не глядя,— вчера ругали, сегодня ругают, завтра ругают... Что я — хуже других? Хуже вон его?

Он указал на Евгения, и тот отпрянул и сжался.

— Э-эх! — Лузгин с досадой махнул рукой.

— Вам вот хоть бы что, а я... а мне... Вам легко ругать, вам все легко... А я, может... А вы мне... вы меня...— Ваня с трудом проглотил слюну и шмыгнул носом.— Что я, нарочно? Ведь стараюсь... Ведь вы же все, ребята, видите...

— Холодным ветром на тебя не дуло, парень, вот что! — ответил Кухаров, и в острых, с кофейными белками глазах его засветились одновременно досада и жалость.— Вон Сизова жизнь из снега в огонь да из огня в снег покидала — этот слюни не распустит. Кто по гладкой-то дорожке привык ходить, о первый камешек и споткнется... Утрись, специалист!..

Ваня вздохнул и с надеждой посмотрел на Кухарова.

— Последний раз чтобы это было!.. Имей в виду,— строго сказал Лузгин и, отвернувшись в сторону, чуть улыбнулся уголками губ.

Все вздохнули с облегчением. Бригадир как ни в чем не бывало продолжал разбор работы.

X

Однажды между делом Лузгин спросил Евгения:

— А ты чего хмуришься, парень?

— Что ж радоваться? Сам видишь...

— Время-то как проводишь?.. Да не здесь, не в кузнице. Свободное время, говорю, как проводишь? Товарищи-то есть?

— Товарищи? — спросил Сизов и, подумав, с ноткой удивления ответил: — Н-нет. Нет сейчас у меня товарищей.

— Вот и плохо. Заводить надо. Кухарыч вон правильно говорит: одинокое дерево и малый ветер согнет.

Евгений ничего не ответил и тут же позабыл об этом разговоре. А вечером к нему неожиданно зашел Ваня. Крановщик поздоровался, оставил у двери коньки, хоккейную клюшку и, не снимая меховой телячьей куртки, уселся посреди комнаты.

Комната при его появлении стала будто теснее и меньше, а табуретка тяжело скрипнула под ним.

— Вот на каток шел, гляжу — ба, твое окно! Дай, думаю, заверну по пути,— пояснил Ваня, с любопытством осматривая жилище Евгения.

Разговор не клеился. Гость скучал, насвистывая какой-то монотонный фокстрот. Ритмично поскрипывала под ним табуретка. Хозяин молча сидел возле. Обоим было неловко.

— Давно я хочу тебя спросить... Что это за крестник за такой у Лузгина? — осведомился Сизов.

Этот вопрос с некоторых пор действительно очень занимал его. Крестником бригадир называл Настиного сынишку. Частенько он спрашивал ее о сыне, и когда та рассказала, что сын научился говорить какие-то новые слова, Лузгин купил в буфете плитку шоколада и вручил Насте:

— Это крестнику — премия за ударное изучение родной речи.

Теперь, когда Евгений понял, что синеглазая напарница интересует его уже не только как товарищ по работе, что ему скучно и тревожно, когда он ее не видит, что поэтому выходные дни с некоторых пор утратили для него всю свою прелесть, его все больше мучила неясность в отношениях Насти и Лузгина. Эти их совместные возвращения с работы, какие-то свои, особые, отдельные от всех дела, этот Настин сын! Похоже, что Жорж был прав. Теперь, воспользовавшись приходом нежданного гостя, Евгений решил все выведать у него.

Ваня точно бы сразу насторожился.

— Крестник? Андрейка, сынишка Настин,— с явной неохотой ответил он, отводя глаза в сторону.

— А почему крестник? Крестил он его, что ли?

Простодушного парня было легко поймать на слове. Лицо крановщика мгновенно побагровело, пухлые губы сердито оттопырились:

— Ты что, обалдел? «Крестил»! Скажешь! Лузгин старый член партии — не знаешь, что ли? Пойдет он тебе к попу... Крестник да крестник, и все. Откуда я знаю?..— Ваня вдруг заторопился.— Пока. Я пошел. Ребята на катке меня уж, наверно, наждачат вовсю...

На следующий день Сизов с особым вниманием приглядывался к Лузгину: неужто человек с таким открытым лицом, человек, имеющий, как говорили, хорошую жену, троих ребят, герой, окруженный всеобщим уважением, на глазах у всех завел шашни с работницей своей бригады? И люди знают и покрывают его?..

Работа в этот день с утра как-то особенно ладилась. Пар ни разу не садился. Молоты били безостановочно. Все ощущали душевный подъем. Даже Евгению было легче, чем обычно. Но мысли нет-нет да и возвращались ко вчерашнему разговору, и это отвлекало, портило настроение. «Неужели Лузгин на это способен? И Настя — какое хорошее у нее лицо, когда она вот так вся уходит в работу! Брови — точно крылья распахнутые. Ресницы — как лучи. А глаза — они даже не синие, а темно-синие, под цвет комбинезона. Губы плотно сомкнуты, а над верхней — маленькие бисеринки пота... точно роса на цветке. И какие яркие эти губы! Неужели они целуют Лузгина?»

Оглянувшись на бригадира, Евгений внезапно понял, кого он напоминает. Нет, не инструктора из ФЗУ и не деревенского кузнеца, как он думал раньше. В эту минуту Лузгин очень походил на заводского баяниста Мишу Павлова, когда тот, увлеченный игрой, начинал слегка покачиваться и приникал ухом к мехам своего инструмента. Ну да! Сдвинуты брови, в глазах напряженная мысль, самозабвенное выражение лица.

И Сизов понял: как в оркестре нужно знать свою партию, так и здесь нужно хорошо уразуметь свое дело, найти наиболее точные и выгодные приемы. И работать надо в едином ритме, как играет оркестр. Может, в этом и заключается секрет Лузгина, еще не вполне осознанный им самим?..

Вспомнился совет Кухарова: «Головой, головой работать надо! Одними руками сейчас многого не достигнешь!»

Евгений перестал подражать Насте и постарался следить за собой. Теперь внимание его было прочно приковано только к багровому, искрящемуся брусу металла, к движению крюка, к бригадиру, ритмично покачивающему головой.

Сизов заметил, что когда «срубают» углы и бригадир кивает отрывисто, ось поворачивается четырьмя рывками крюков.

«Четыре!.. Так и зарубим на носу — четыре»,— сказал себе Сизов и, глядя уже не на заготовку, а только на брига-

дира, сделал четыре рывка. Удалось! Ось повернулась легко. Крючочник радостно огляделся, точно его успех должен был всех поразить.

Потом Евгений сосчитал, за сколько ударов поворачивается ось при круглении.

— Раз, два, три... восемь! Запомним: восемь,— бормотал он, зорко следя за ходом обработки.

Вот на наковальне лежит уже середина. Бригадир кивает чаще, отрывистей.

— Двенадцать! Не забыть бы: четыре, восемь, двенадцать...

— Ты чего все сегодня бормочешь?..— поинтересовалась Настя, когда вынимали новую заготовку и она, улучив момент, вытирала лицо.

Евгений все еще был погружен в свои расчеты. Жадно схватившись за крюк, он нетерпеливо, глядя на бригадира, ожидал сигнала начинать.

— Четыре, так! Хорошо... Восемь... Замечательно... Двенадцать! Ура!

Евгений оглядел всех счастливыми глазами. Теперь, в начале ковки, он уже почти без труда ловил момент, когда баба подскакивает вверх. Ось поворачивалась легко. Но когда выковывали стан, то есть утонченную в середине часть оси, подсчитать никак не удавалось. Число ударов все время менялось, и закономерность было трудно установить. Но это уже не пугало Сизова. Правильный путь нащупан. Евгений нетерпеливо проверял свои силы на каждой новой оси.

В первой раз звонок, возвестивший обеденный перерыв, не обрадовал Евгения.

— Ну, сколько сегодня? — спросила Настя у Кухарова, который, по обыкновению, вел в уме счет откованным осям.

— Да все двадцать восемь за полдня.

— Вот незадача! — Крючочница в сердцах бросила рукавицы на пол.

Евгений улыбался во весь рот.

— А ты что как подсолнух?

— Мы знаем, что знаем,— важно ответил он.

Сизову вовсе не хотелось показывать, как обрадовал его первый успех. Он старался сохранить равнодушное лицо, даже раза два зевнул, ненатурально потягиваясь. Но радость против воли прорывалась. В столовке он подтрунивал над Ваней, шумел, возбужденно хохотал и не-

сказанно удивил всех обедавших, выстукав на ложках какой-то лихой мотив.

Выпив залпом кисель, Евгений побежал в цех. Он боялся потерять найденное и все повторял про себя: «Четыре, восемь, двенадцать, шестнадцать...»

После обеда ему стало ясно, что сил он тратит значительно меньше, чем раньше. Это еще не стало навыком. Стоило перестать следить за Лузгиным и считать удары, как он сбивался и опять чувствовал, что дергает прихваченную заготовку.

Нет, настоящего облегчения еще не наступило. Усталое тело ныло по-прежнему. Но Евгений шел домой напевая, заломив на затылок кепку. Весь вечер он играл на гитаре воинственные марши. Спал как мертвый. Вскочил чуть свет. Тянуло поскорей в цех проверить, не случайной ли была вчерашняя удача, не ошибся ли он, не привиделось ли все это в хорошем сне.

Через несколько дней упорных наблюдений он уже точно знал, сколько ударов требуется на каждой ступени ковки. Сизов открыл в работе лузгинской бригады удивительную закономерность. Количество ударов в любой операции повторялось с точностью. Именно эта точность и позволяла каждому правильно рассчитать свои движения и всем вместе с наименьшими усилиями достигать поражавшей всех производительности.

Но, к удивлению своему, он установил и другое: эта закономерность, должно быть, сложилась постепенно, в долгой совместной работе, и вряд ли даже и сам бригадир отчетливо сознавал ее.

Теперь Евгений действительно работал и руками и головой. Возвращаясь домой, он чувствовал не столько физическую, сколько умственную усталость, точно день провел не в кузнице, а в библиотеке, за трудной книгой.

Все это он осмыслил еще не очень четко. Но с каждым днем работать становилось все легче и легче. Рубашка во время работы бывала теперь сухой. Она не связывала движений, и само собой исчезло тяготившее Евгения чувство своей неполноценности.

— Вот ты и настоящий ударник,— сказал ему как-то Лузгин.

Евгений выпрямился и шутливо отрапортовал по-красноармейски:

— Служу трудовому народу, товарищ командир!..

— Вольно, товарищ боец!

Так приобрел Сизов то, что на заводе звали «повалом в работе» и что было началом настоящего мастерства.

Началом, но еще не мастерством.

XI

Теперь Евгений ходил на завод с легким сердцем. Появлялся в цехе пораньше, чтобы поболтать в раздевалке. Приятно было потолкаться среди людей. Работая, он испытывал бодрящую легкость движений, как будто все, с чем он соприкасался, теряло часть своего веса. А тело становилось крепким, гибким, как у циркача.

Нечто подобное он ощущал в клубной музыкальной студии, когда после долгого, утомительного разучивания начинал проигрывать какую-нибудь сложную мелодию. Так же гулко билось сердце, так же часто дышала грудь и теплый ком подступал к горлу.

«Красота! Вот бы поглядеть на себя со стороны!» — горделиво подумал Евгений в одну из таких минут и стал насвистывать бравурный мотив, вертевшийся у него в голове. Он свистел все громче, громче и наконец запел. Почувствовав на себе взгляд Насти, спохватился, смолк.

Но девушка одобрительно улыбалась.

— Ты чего напевал? — спросила она после звонка, когда они вместе прибирали у молота.

— А я почем знаю! — ответил он и, выпрямившись, сам себя удивленно спросил: — А верно, чего?

Неожиданно возникшая мелодия не удержалась в памяти.

Когда смена разошлась, а Евгений, вымывшись и переодевшись, спускался из душевой, его вдруг потянуло обратно в цех: захотелось посмотреть, как работает сменщик.

«Следить за товарищем — лучшая учеба. Со стороны-то всегда виднее»,— вспомнил он слова Кухарова.

У молота его ждал сюрприз. Там уже стоял Лузгин. Он держал на ладони часы и внимательно следил за ковкой. Его сменщик Семен Рогов, высокий, жилистый кузнец с длинным, носатым лицом, поглядывал то на Лузгина, то на Сизова и улыбался, показывая крепкие белые зубы.

— Ну, ребята, давай на полный! Не подводи! Вон у нас какой сегодня хронометраж.

Евгений встал рядом с Лузгиным. Оба следила за роговцами. Это были старые ударники, хорошая бригада, но до

лузгинской ей было далеко. Выработка роговцев редко поднималась выше тридцати пяти осей.

Работа не произвела особого впечатления. Смотреть было скучновато. Впрочем, сменщик Евгения орудовал крюком легко и точно. Рукава его блузы были закатаны до плеч, и под смуглой кожей небольших, но крепких рук переливались тугие мускулы.

— Вот оно где — гляди! — вскрикнул вдруг Лузгин, хватая Евгения за рукав и показывая на печь.

Ничего особенного не происходило. Пожилой нагревальщик и его помощники, шуруя длинными кочережками, двигали заготовки. Это называлось кантовкой. У Лузгина кантовку производил один Петр.

— Почти пятьдесят секунд на кантовку,— пояснил бригадир и снова притих.

Багровое пламя напряженно ревело. Его красные отсветы заливали все окружающее. Пот тек с лица нагревальщика и его помощников. Они сбивались с ног, перевертывая и двигая всю очередь раскаляющихся заготовок. И все же не успевали. Бригада вынуждена была дожидаться.

— А теперь вот видишь — пятьдесят пять секунд,— сказал Лузгин после очередной такой задержки.— Нашел! Нашел, брат! Вот где зарыта собака!

— Н-да! — многозначительно подтвердил Евгений, хотя еще не понимал ни в чем сущность находки, ни того, чему радуется его бригадир.

Простой при кантовке считался делом обыкновенным. Так было у всех, в том числе и в лузгинской бригаде. Только у Лузгина все помогали Петру, работавшему у печи в одиночку, и вынужденный простой не так бросался в глаза.

— Ну, наколдовал чего, Илья Афанасьевич? — спросил Семен Рогов в свободную минуту, потягиваясь и разминая натруженную поясницу.

— Да вроде наколдовал. Во время кантовки у нас с тобой почти минута горит.

Рогов потянулся так, что хрустнули суставы.

— А как иначе? Везде так. От царя Гороха ведется. Кантовка — дело длинное. А без нее как же?

— При царе Горохе, Семен, пятилеток не было. И нас с тобой не было.

— Ай уж надумал что?

— То-то вот, что нет. Знаю, где зарыта собака, а как раскопать — ума не приложу...

Понаблюдав около часа, Лузгин простился с Роговым и пошел к выходу. Евгений нагнал его. Молча пересекли заводской двор, вышли за ворота.

Был ясный морозный вечер. Утоптанный снег звенел под ногами. Густо заиндевелые лохматые деревья, причудливо серебрясь, возникали и исчезали в синеватой тьме. С катка, мимо которого лежал их путь, несся тягучий мотив какого-то вальса. Под фонарями плавно, бесшумно, как тени, плыли конькобежцы.

— Не катаешься? — спросил бригадир.

— Разучился.

— Зря!

Лузгин сказал это машинально, думая о чем-то своем. «Все над тем же голову ломает»,— догадался Евгений. Ему припомнились чертежи новых, усовершенствованных печей с движущимся подом, которые он видел в учебнике горячей обработки металла.

«Движущийся под! Вот бы здорово! И нагревальщику благодать, и никаких тебе простоев!.. Но, значит, старые печи побоку? Затрата на сотни тысяч... может, и на весь миллион! Какой дурак на это согласится? Вот заставить бы заготовки двигаться в печи — это бы да! И чтоб никакой кантовки».

Мысль заработала отчетливее. Память воспроизвела чертеж из книги: нагревательная печь в разрезе, очередь четырехгранных брусков, опаляемых жаром горящей нефти. Затем Евгений представил себе цех. Петр Жолобов в своей тельняшке, засовывая длинную кочергу то в один, то в другой люк и наваливаясь на нее всей тяжестью, по одному проталкивает бруски металла. Он тяжело дышит. Неблагодарная работа! Вот уж верно, как при царе Горохе. Вынули горячую заготовку. С другого конца положили новую, холодную, и снова Петр, обливаясь потом и задыхаясь от жары, напрягаясь, шурует своей кочергой.

— Зачем по одной, надо бы всю очередь сразу двинуть...

— Чего? Какую очередь? Ты о чем? — спросил Лузгин.

— Разве я что сказал? — рассеянно переспросил Евгений, а мысли были далеко. «Вот сделать бы рычаг — ну да, этакую кривую металлическую штангу, чтобы одним концом она упиралась в последнюю заготовку. Положил заготовку, нажал, и — будьте ласковы! — заготовки, толкая одна другую, как вагоны в составе поезда, двигаются к устью печи».

Ясно представился и нехитрый механизм, работающий ну хотя бы от нажима ноги.

Сразу вдруг взволновавшись, Евгений сбивчиво изложил свои соображения Лузгину. Тот остановился:

— Как, как? Ну-ка, расскажи еще. Да не торопись — не горит.

Евгений пустился рассказывать подробнее. Лузгин терпеливо слушал, покачивая головой:

— Это, знаешь, ничего придумано... Постой, а как у тебя штанга закреплена? К чему ты ее прикрепишь?

Они присели под фонарем и, вычертив на снегу схему печи, принялись обсуждать детали приспособления. Лузгин одобрил идею. Но в техническом решении нашел много нелепостей:

— Нет, милый мой, так не получится. Как же ты рычаг закрепишь, когда здесь ничего нет? К воздуху болт привертывать? Постой! А что, если вот тут приспособить кронштейн — и к нему, а?

— Сказал! К чему ты приспособишь? Это же кирпич — сразу всю печь и своротишь своим кронштейном.

— То-то вот — к чему!

— Погоди, погоди, Илья Афанасьевич, а если...

Стали спорить. Спор был горячий, сердитый, но в нем сырая идея приобретала отчетливые технические формы.

Конькобежцы, спешившие на каток, останавливались и прислушивались, тихонько подшучивая над спорщиками.

— Вот что, давай прекратим этот спектакль,— сказал Лузгин, заметив вокруг незнакомые улыбающиеся лица.— Завтра день отдыха, заходи ко мне. Позовем Кухарыча и втроем все обсудим. Идет? Адрес знаешь? — Лузгин достал записную книжку.— Завтра у нас что... двадцатое декабря? Так. Утром райсовет. С часу учитель... Вот что: приходи к трем.

Евгений посмотрел на книжечку и фыркнул:

— По календарю живешь?

— Обязательно,— серьезно ответил Лузгин.— И тебе советую. Память, брат Сизов, штука ненадежная, а я смерть не люблю опаздывать.

...В эту ночь Евгений долго не мог заснуть. Закрыв глаза, он видел мелькание двухтонной стальной бабы, искры, лениво мерцавшие на раскаленном бруске металла, освещенные багровым отсветом лица и в особенности лицо Насти с широко раскрытыми, лучистыми, насмешливыми глазами.

«Я тебе, Настенька, докажу, что и мы не обсевки в поле... Еще вопрос, кто будет пассажир-то... Может, я, а не кто другой, и разрою эту самую собаку».

Бессонница на этот раз почему-то не утомляла — хотелось думать о Насте, о товарищах, о работе.

XII

В назначенный час Евгений отправился к Лузгину. Он шел, насвистывая, широко распахнув пальто. Острый ветерок теребил курчавый вихор, выбивавшийся из-под заломленной на ухо кубанки.

День с утра выдался солнечный, морозный, хрусткий и такой ясный, что тень от дыма, валившего из трубы заводской котельной, ползла по снегу, еще больше подчеркивая его голубизну. Густой иней покрывал деревья, сверкал на тяжело провисших проводах и с тихим шелестом осыпался при малейшем движении холодного воздуха.

На тротуаре темнела продолговатая полоска льда, раскатанная и отшлифованная ногами школьников. Евгений разбежался, прокатился и чуть было не сшиб человека, от неожиданности уронившего портфель.

Это был председатель профсоюзного комитета горячих цехов Нестеров. Поднимая портфель, он ворчал:

— Маленький!.. Глядеть надо... И когда только успевают нализаться!

Евгений озорно оглядел тучную фигуру Нестерова:

— А что ж, нам, кузнецам, не по заработку, что ли? — и пошел дальше, притворно покачиваясь и загребая ногами снег.

Нестеров, или, как его все звали на заводе, Нестерыч, был профсоюзным работником. Только самые старые кузнецы еще помнили, что когда-то он работал на «Аяксах» и был неплохим прессовщиком. Молодежь об этом уже не знала. Она привыкла видеть Нестерыча в маленькой комнатке цехкомитета, стены которой были сплошь закрыты плакатами. Он стал в кузнице чем-то совершенно необходимым, но малозаметным, как вентиляция или медпункт. Шли годы, люди росли и выдвигались, уходили учиться и возвращались на завод техниками, инженерами или, что тоже случалось, провалившись на учебе или на общественной работе, возвращались к своим станкам. Нестеров попрежнему сидел в цехкомитете. Был он добросовестным,

пропадал на заводе целые дни, вечно куда-то торопился, всюду опаздывал и обладал, увы, нередко встречающимся умением во всякое, даже самое живое дело внести добропорядочную размеренность и скуку. Но цех трудно было представить без его суетливой фигуры с портфелем, и как-то выходило, что, крепко поругав его на перевыборах, все единодушно голосовали за него.

«Цехкомитет без Нестерыча — церковь без попа!» — добродушно смеялись кузнецы.

Евгений был сначала доволен, что изобразил пьяного, но потом спохватился, пожалел. А что, если Нестерыч станет гудеть где-нибудь на собрании, что люди из лузгинской бригады пьянствуют? А?

Но о неприятном думать не хотелось: уж очень веселый был денек. А впереди еще было обсуждение его, Евгения Сизова, мысли, которая казалась ему значительной и важной.

Лузгин жил на проспекте Энтузиастов — центральной магистрали нового заводского поселка. Идя по этому широкому, обсаженному молодыми вязами асфальтированному проспекту, можно было наглядно проследить, как совершенствовались в городе архитектурные вкусы.

Проспект начинался приземистыми, одноэтажными деревянными домиками, носившими, несмотря на свой невзрачный вид, звучное название — коттеджи. Эти домики были уже в возрасте — их обшитые вагонкой стены посерели, а вокруг успели вырасти раскидистые деревья.

За коттеджами тянулся квартал двухэтажных термолитовых зданий, отличавшихся друг от друга только раскраской наличников на окнах и дверях. По забытым теперь соображениям планировщику вздумалось расставить их так, что они выходили на проспект поочередно — то фасадом, то боком, так что казалось, будто дома эти танцуют какой-то однообразный, скучный танец.

Дальше громоздились шесть серых четырехэтажных каменных громад с голыми гладкими стенами, с тяжелыми бетонными террасами по углам. Они уныло смотрели на улицу ровными рядами окон, подавляя сухой прямолинейностью и массивностью своих очертаний.

За этими бетонными коробками возвышались четыре новых дома, построенных уже во второй пятилетке. Несмотря на большие размеры, они радовали глаз простотой и изяществом форм. Полуколонны на фасадах придавали им веселый, жизнерадостный вид. Нижние этажи, отве-

денные под магазины, сверкали стеклами широких витрин. Легкие терраски с литыми перилами, лепные барельефы над входами, широкие окна, тщательность отделки — все говорило о том; что эти дома строил богатый, умный хозяин, строил надолго, заботясь о том, чтобы удобно жилось в них людям.

Лузгин жил в самом начале проспекта, в одноэтажном домике, построенном еще на заре первой пятилетки. Скованные морозом, покрытые инеем деревья обступали домик со всех сторон. Обледенелые ветви казались стеклянными и, покачиваясь на ветру, тихо позванивали, стукаясь друг о друга.

Дверь Евгению открыла девочка лет четырнадцати.

— Вы ведь товарищ Сизов? — спросила она.— Лузгин просит вас немножечко обождать. У него сейчас преподаватель.

Пока Евгений снимал пальто в прихожей, девочка без стеснения рассматривала его широко расставленными серыми глазами. «Отцовские глаза»,— решил Сизов.

Просторная комната, куда ввела его девочка, была столовой. Евгений с интересом огляделся. Стол, пять стульев, буфет с посудой и старенький диван составляли всю ее обстановку. На стене — карта Испании. Черным, приколотым булавками шнуром обозначена на ней линия фронтов. Напротив, в линеечку,— фотографии в тонких рамках.

На диване у окна, по-домашнему, в одних шерстяных носках и жилетке, сидел Кухаров. Он внимательно следил за ленивыми рыбками, плавающими в аквариуме. Изредка стучал в стекло костяшкой пальца.

— Люблю воду,— сказал он, здороваясь с Евгением,— и природу люблю, даже вот в банке. Откуда бы, кажется? Всю жизнь, с мальчишек, на заводе среди железа.

Девочка уселась возле Кухарова и принялась зашивать его пиджак, распоровшийся на плече.

Из соседней комнаты глухо доносились голоса — два мужских и женский.

— Чему учится бригадир-то?

— Разному... В Промакадемию готовится,— сказал Кухаров, не отрывая взгляда от аквариума.— Люда! Ты б окунишку в другую банку отсадила. Это ж франкист, бандит. Он всех вьюнков покалечит.

От нечего делать Евгений принялся рассматривать фотографии, висевшие на стене, и перед ним как бы прошла жизнь Лузгина, запечатленная на этих кусочках картона.

Вот, вытаращив глаза, стоит коренастый усатый мужчина в русской рубашке и длиннополом пиджаке. Он положил тяжелую ладонь на плечо худенькой, печальной женщины, испуганно прижимающей к впалой груди букет бумажных цветов. Возле — дети, такие же кряжистые, широкоплечие, как отец: две девочки и головастый мальчуган. Неужели Лузгин? На другой, почти совсем выгоревшей рыжей фотографии — тот же мальчуган, уже в картузе и новой сатиновой рубахе. Из рукавов торчат не по росту длинные руки. Да, несомненно, он. Скуластое лицо с большим, плотно сомкнутым ртом уже оформилось, и даже упрямый вихор, как и теперь, торчит на макушке.

А вот Лузгин — подросток лет пятнадцати. В группе таких же, как он, пареньков сфотографировался у заводских ворот, над которыми выпуклыми буквами на решетке еще значится: «Русско-балтийское акционерное об-во». На всех — шинели. Солдатские папахи перетянуты наискось лентами. У одного на коленях — наган, у другого — раскрытая книга. В руке у Лузгина винтовка. Он юношески длинен и худ, мальчишка мальчишкой, но узкие глаза смотрят с фотографии серьезно, зрело. Это, как видно из подписи, заводской комсомольский отряд снялся перед отправкой на фронт.

А вот Лузгин с военными за столом. Шинель уже не коробится на нем, а плотно пригнана к широким плечам. Он острижен. От этого голова кажется круглой. Лицо худое, усталое, может быть, больное. Подпись под фотографией: «Бюро ячейки РКП(б) 143-го стрелкового полка».

И наконец, еще одна группа, уже знакомая Евгению по газетам. Руководители партии и правительства сфотографировались с делегатами на совещании стахановцев. Сизов долго с завистью рассматривает эту фотографию. Много бы он дал, чтобы вот так запросто сидеть и фотографироваться в Кремле! Но ведь Лузгин-то вон еще когда начинал!.. И опять Евгений рассматривает фотографию молодых красногвардейцев.

...Кухаров подшучивал над Людой, поминая успехи какого-то Лесика. Девочка не лезла за словом в карман и ловко отбивалась. Но вдруг короткие русые брови ее сдвинулись, на лице появилось упрямое отцовское выражение.

— И ничего вам не ясно! Вот четверть кончится — тогда посмотрим, кто будет впереди... И не шумите, Андрейку разбудите! Вот! — резко сказала она и вышла из комнаты.

— А? Какова дочка у Ильи Афанасьевича! Упорна — страсть! Лесик — приемыш нашего Апта. Они с Людой первые в классе, вот и тянутся друг перед другом. И уж она этого Лесика обставит, будьте покойны! Отец, вылитый отец...

Евгений не слушал. Он думал об Андрейке. «Вот тебе и на! Зачем здесь быть Настиному сыну? Или, может, у Лузгина свой так зовется?»

Спросить об этом у Кухарова прямо он почему-то не решился. Тут как раз в соседней комнате застучали стульями, дверь отворилась, и, пропустив перед собой старичка-педагога, вышел Лузгин, а за ним Настя.

Евгений остолбенел, и не столько от неожиданности ее появления, сколько оттого, что Настя здесь оказалась новой, совсем иной, чем та, какую он привык видеть в цехе. Каштановые волосы, которые она на работе плотно обвязывала косынкой, оказались обильными, пышными. Заплетенные в две косы, они тяжелым венцом лежали на голове. Темно-голубое шелковое платье простого спортивного покроя ловко подчеркивало стройность ее фигуры, изящный изгиб шеи, высокую грудь, тонкую талию. И руки, большие, сильные, с жесткими ладонями и огрубелыми пальцами, казались чужими.

Пораженный юной женственностью, спокойной, жизнерадостной красотой Насти, только здесь, сейчас, по-настоящему открывшейся перед ним, Евгений так и стоял, приоткрыв рот, уставясь на девушку восхищенным взглядом.

— Чего ты так смотришь? Может быть, все-таки хоть поздороваешься? — спросила она.— Кухарушка, что с ним?

— Это уж сами разбирайтесь,— отмахнулся старик.

— Обогнала меня сегодня Настасья,— сказал Лузгин, проводив учителя.— Память, что ли, у меня ослабела? Вот алгебра, геометрия, ленинизм — это идет легко, здесь жизнь подсказывает. А с физикой — хоть вой! Упругость газа обратно пропорциональна... Вот и пойми поди, чему она обратно пропорциональна, когда никто этого газа в глаза не видел и он не имеет ни запаха, ни вкуса, ни цвета!

— Ты тоже в Промакадемию? — спросил наконец Евгений у Насти.

— Ну, где мне!.. Я ведь и училась-то всего пять зим. Сейчас вот к Илье Афанасьевичу прилепилась — может, подгоню за десятилетку. А там посмотрим. На медицин-

ский думка есть. На врача... Как сын тут? Не скандалил без меня?

— А мы его и не слыхали,— сказал Кухаров.

— А ну, Настасья, тащи его сюда!.. Я тебе сейчас, Сизов, чудо природы покажу. Ох крестник! — подмигнул Лузгин.

Настя принесла толстого полуторагодовалого мальчугана. Он как следует не проснулся и, потирая кулачком сонные глазенки, сердито оглядывался кругом, соображая, зареветь ему или не стоит. Увидев Лузгина, он сказал:

— Дедя Илля, дедя Илля...

Крестный подхватил его у матери и стал подбрасывать, приговаривая:

— А вот мы на самолете летим!.. А вот мы на стратостате летим!.. А вот мы с парашютом прыгнули — бух!

Лузгин быстро опустил ребенка. Тот захлебывался от смеха. Мать со страхом следила за ним, протягивая к нему руки:

— Ну будет, будет! Уроните. Да не смейте же... Ну...

— Прилетели и сели,— сказал Лузгин, бросаясь на диван вместе с мальчуганом.— Ну как, Сизов, хороши мы, а? Вот рабочий-то класс будет — куда нам всем до него! Мишки, куклы — это все ему тьфу. Даже и не глядит. У меня Людка и сейчас с куклой не расстается, а этому хоть бы их и не было. Вот молоток, гвоздь, отвертка какая-нибудь — это да, это подавай нам...

— Раз всех нас так напугал,— поддержала Люда, перекусывая нитку и заглаживая ногтем свежий шов.— Папа с тетей Настей учатся, а он в детской на моей кровати спит. Вдруг как вскрикнет! Я к нему и тоже как закричу! Кровь! На подушке и на простыне — кровь. И он в крови... Оказывается, что же: играл со стамеской, а когда я его укладывала — не заметила, как он стамеску эту под подушку сунул. А потом, сонный, повернулся и напоролся... Всех перепугал — ужас!

— Эй, рабочий класс, ну его, крестного! Иди ко мне! — Кухаров манил малыша корявыми, согнутыми пальцами, на которых в трещинах кожи чернела глубоко въевшаяся, неотмываемая копоть.

— Как же, так мы к тебе и пошли! — говорил довольный Лузгин, прижимая к себе малыша.— Очень вы все нам нужны...

— Есть же вот мужчины, которые так детей любят,— сказала Настя и вздохнула.

Евгений отметил про себя этот вздох.

— Ты скажи, крестник: а как же нас не любить-то? Может, скажи, я вырасту, наркомом буду. А? Или полковником. Хочешь полковником быть? Войска водить будешь, буржуев лупить. Хочешь? А может, по партийной линии пойдешь или в ученые подашься?.. Хочешь быть ученым, ты, шарик-подшипник?

Будущий ученый сучил пухленькими ножонками и, оглядывая всех большими синими, как у матери, глазами, серьезно выкрикивал:

— Дедя Илля!.. Дедя Лоя!..

— Дедя Лоя — это я,— пояснил Кухаров, продолжая манить мальчика.— Ну, иди, иди к деду Лене! Иди, пострел, а то раззнакомимся, рассержусь...

— Я его как-то здесь оставила... Мы с Марией Алексеевной — с женой Ильи Афанасьевича — и Людой в баню ушли, а Илья Афанасьевич тут при ребятах остался. Вернулись — глядим: батюшки! Сидит наш бригадир на диване, у него на коленях мой Андрей, и он ему вслух книгу читает. А этот — что вы думаете? Слушает. Выпучил глазенки и сидит смирно-смирно, не шелохнется.

— Было,— подтвердил Лузгин, посмеиваясь.— У меня на следующий день политшкола, а они меня за няньку... Что будешь делать? Ну, мы вместе с крестником на пару и готовились... Так, крестник? Ну его, старого старика, иди давай ко мне...

Кухаров осторожно опустил мальчугана на пол. Тот побрел, цепляясь ручонками за сиденье дивана, порывисто, еще неуверенно переставляя ножки. Все с интересом наблюдали за ним.

— А я вот как крапива рос! — вздохнул вдруг старый машинист.

Из передней донеслись детские голоса.

— Прибыли... Люда, ступай распаковывай малышей,— распорядился Лузгин и обратился к вошедшей в комнату полной улыбающейся женщине: — Ну как, чем вас сегодня в цирке угостили? Эти,— он кивнул на ребят,— руки тебе не оборвали? Вот... познакомьтесь. Это моя жена, Маша, Марья Алексеевна. А это — Сизов Евгений.

— Я вас знаю. Мне Илья Афанасьевич про вас рассказывал,— улыбаясь, сказала Марья Алексеевна, протягивая пухлую мягкую руку.

Сизов невольно сравнил жену Лузгина с Настей. Невысокая, полная, с простым лицом, она улыбалась. Глаза-

вишни смотрели ласково, понимающе, порой чуть насмешливо. Марии Алексеевне нельзя было дать больше тридцати пяти, Настя же выглядела рядом с ней совсем молоденькой.

Лузгина накормила всех обедом, а потом, вместе с Настей и Людой убрав посуду, уселась в углу дивана штопать ребячьи чулки — все такая же спокойная, всех с интересом слушающая и почти не разговаривающая. Должно быть, благодаря ее молчаливому присутствию Евгений почувствовал себя здесь как дома.

Вообще Лузгины не занимались гостями. Люда притащила «Огонек» и предложила разгадать кроссворд. Взрослые сначала вяло поддались на эту затею, но потом понемногу втянулись, причем Лузгин проявлял себя при этом знатоком техники и политики; Кухаров и Люда соревновались, отвечая на вопросы из самых разных отраслей знания.

На одном слове вышла заминка. Требовалось угадать древнегреческих героев, имя которых стало символом дружбы. Слово это так и не нашли.

Когда нерешенный кроссворд был забыт и взрослые засели забивать «козла», Кухаров вдруг отложил кости и взял со стула журнал.

— Так, правильно... «Аяксы» — вот это слово! Пять букв, начинается на «а» и кончается на «ы».— И, раскрывая кости, пояснил.— Случайно угадал... Как? А вот как. У нас на заводе есть прессы-двояшки, «Аяксами» их называют. Я как-то Апта и спрашиваю: «Что это за «Аяксы» за такие, фирма, что ли?» Он мне и рассказал о двух древних греческих бойцах, которые друг без дружки жить не могли... Так, так, так... Мария Алексеевна, нет ли у тебя рукавиц? — неожиданно закончил Кухаров.

— Зачем вам рукавицы? — отозвалась хозяйка.

Она в соседней комнате слушала радиопередачу.

— Не мне, мужу твоему. Он мозоли набил, сдававши кости. Сухой козел, одним словом, кадровый, пахучий.

— А ну вас!.. Я думала, в самом деле надо... Там об Испании передают...

Мария Алексеевна опять скрылась, а через несколько минут снова появилась в дверях, взволнованная. Слезы стояли в ее больших черных глазах.

— Да бросьте вы своего дурацкого «козла»! Послушайте, какие страсти рассказывают.

Диктор, видимо, уже заканчивал сообщение:

— «...Герники больше нет. Дымящиеся развалины и горы трупов лежат там, где вчера стоял этот чудесный старинный городок — древняя столица страны басков...»

— Герника? — Лузгин бросил кости так, что они разлетелись по полу.— Что делают, что делают, прохвосты!..

Он подошел к карте и задумчиво уставился на север Пиренейского полуострова, туда, где черная лента шнурка, отмечавшего фронт, как петля, стягивалась вокруг Овьедо и Бильбао. Он долго стоял так, потом вздохнул и переколол булавку, отметив передвижку франкистских частей.

— Да-а! Герника...

Тряхнул головой, точно что-то отгоняя, и обернулся к Кухарову:

— Ну, может, пора и о деле потолковать?

Разложил на столе лист бумаги, быстро набросал схему печи и попытался изобразить приспособление, предложенное Евгением. Сделал он это так умело, что Сизов удивился:

— Здорово!

— Старая привычка. С гражданской войны. Так вот, бывало, на карте обстановочку накидаешь — все ясно станет. Думать легче. Как в картине «Чапаев»: «Где должен быть командир?» — «Впереди, на лихом коне». Ну, Кухарыч, ясна тебе эта петрушка? Тут Сизов все ладно придумал. Так? Только к чему вот этот кронштейн цеплять? Он предлагает поставить на болты, вот сюда... А эта чертовщина толчком работать должна. Этак не только кирпич — всю печь с божьей помощью своротить можно. Я думал-думал — не получается.— Лузгин почесал затылок.— А ты, Евгений?

— У меня тоже.

Старик, оседлав нос очками, которые разом придали ему сходство с филином, принялся елозить по чертежу бородой, что-то нашептывая про себя.

— Погодите, погодите, разберемся. У вас тут рычаг?.. Так. Рычаг работает обязательно рывком, верно? Оченно хорошо! Теперь подумаем, чем можно рычаг заменить. Ну, чем?

Он взял у Лузгина карандаш, быстро зачеркнул рычаг и вместо него неумело нарисовал нечто похожее на переплетный пресс, положенный набок.

— А если заменим винтом? Этак вот?

— Винтом? А что это даст?

— А вот что! Допустим, вот здесь вместо рычага винт.

Силы у винта больше? Больше. Работает без толчков? Без толчков. Управляться с ним легче? Легче.

— Это еще как сказать,— ревниво произнес Евгений, чувствуя, что предложение старика точнее и лучше, чем его собственное.

— А уж как ни говори — так оно и есть.

— К чему ты винт прикрепишь?

В передней снова и снова назойливо дребезжал звонок.

— Люда, ступай отопри,— распорядился Лузгин, не отрывая глаз от нового наброска. Он морщил лоб, тер его ладонью. В уголках широко расставленных глаз Евгений опять видел ту самую упрямую озороватинку, которая появлялась в них всякий раз, когда работа, как казалось, заходила в тупик и все падали духом.— А ведь верно: к чему твой винт присобачить, а, Кухарыч?

— Н-да, вот к чему?

Из передней стремительно вошел Федоров. Рябое лицо его багровело, исхлестанное ветром. На клочковатых вихрах и на бровях, точно молью, изъеденных оспой, сверкали искорки растаявшего инея. От парторга пахло морозом, снегом, обледеневшей улицей, свежестью ядреной зимы.

— Эх, погодка! — зябко крякнул он, потирая руки.— Душа обледенела... Марьюшка Лексевнушка, пошарь в буфете — не осталось ли чего на предмет отогревания озябшей души!

— Сами берите — знаете ведь, где стоит,— сказала Лузгина, улыбаясь с особой приветливостью.

И действительно, Федоров, похоже, был здесь как дома. Он достал из буфета графинчик, налил стопку, опрокинул, крякнул. Подумал, подмигнул малышу, выпил еще. Занюхал корочкой. Закрыл буфет.

Потом, повернувшись к Евгению и Насте, сказал:

— А вы, молодежь, чтобы этому у меня не учиться!.. Родимые пятна капитализма, пережиток проклятого прошлого.

Он говорил всегда так, что трудно было понять, в шутку или всерьез, и все улыбались, слушая его.

— Что, опоздал? Эх, Илька, погубили вы меня этим изобретением! Всюду теперь опаздываю.

— Начальство не опаздывает, оно задерживается,— в том же тоне отозвался Лузгин.— Бюрократы, они любят, чтобы их ждали.

— Это я — бюрократ?

— Ну, а кто же! Бывало, в обед кто первый у стола? Федоров. А вот выбрали секретарем — и к третьему блюду не поспел. Оторвался от масс.

— Илька, смотри! — задорно, засучивая рукава, сказал Федоров. Пегие глаза его озорно посверкивали.

— Что, на бюро вызовешь? Так я сам член райкома,— отозвался Лузгин, тоже воинственно расстегивая пиджак.

— А я вот без бюро сейчас покажу члену райкома, как надо уважать низовое партийное начальство!

— Давай налетай!..— задорно вскрикнул Лузгин.

Федоров молниеносным движением длинных жилистых рук схватил Лузгина под мышки, поднял и старался бросить на диван. Но не тут-то было. Сильным рывком кузнец разорвал объятия рук парторга. Двое дюжих, сильных мужчин возились, как мальчишки, крякая, мыча и пыхтя, стараясь повалить друг друга.

— Борьба гигантов,— сострил Евгений.

Никто не засмеялся. Все следили за борющимися, отодвигали в сторону мебель. Противники пыхтели, обливались потом. У Марии Алексеевны был удрученный вид — пепельница и чашка уже валялись на полу. Черепки хрустели под ногами. Люда с испугом жалась в углу. Братья ее, наоборот, шумно выражали восторг. Андрейка подпрыгивал на руках у Насти, визжал, хлопал в ладоши. Кухаров хмурился.

Глаза борющихся становились все более серьезными, на раскрасневшихся лицах появился уже настоящий азарт, и это, должно быть, не нравилось старику.

Наконец Лузгин стал одолевать. Он было совсем уж пригнул Федорова к дивану, но тот в какое-то неуловимое мгновение вывернулся, и, когда они оба обрушились на сиденье, Федоров оказался сверху:

— Ну что, жизнь или смерть?

— Пусти... ну тебя! С этаким верзилой разве справишься! — взмолился Лузгин.

— То-то! Я те покажу бюрократа! — Красный, потный, тяжело дыша, Федоров заправлял за пояс помявшуюся рубашку.— Будешь уважать цеховое партийное руководство...

— Да будет вам, полно! Точно двое мальчишек,— унимала их Лузгина.— Петухи. Любимую чашку разбили, сам мне ее на именины подарил,— и нате, черепков не соберешь...

Она перевела взгляд на парторга, безуспешно пытавшегося пригладить ладонью свои клочковатые и уже седеющие вихры, ее улыбка засветилась еще теплее.

— Пришел в гости хозяину бока ломать... Эх, Федорыч! Пойдем уж на кухню, накормлю я тебя... Ведь не обедал? Признавайся!

— Вот кто меня понимает! Золотое у тебя, Машура, сердце,— сказал Федоров, скрываясь в дверях.

— Здоров, черт! — с восхищением заметил Лузгин. Он уже отдышался, выпил воды и снова склонился над чертежом.— Федорыч! — вдруг крикнул он.— А ну-ко сюда! Вот мы тут все в тупик заехали...

— Да дай ты ему поесть, право. Сам покою не знаешь и другим не даешь,— запротестовала Мария Алексеевна.

Но Федоров уже появился в столовой с тарелкой и ложкой в руках. Хлебая щи, он смотрел через плечо Лузгина.

— Винт? — спросил он, продолжая рассеянно посылать в рот ложку за ложкой.

— Винт.

— Дело. А прикрепить не к чему?

— Не к чему.

Парторг отдал Марии Алексеевне пустую тарелку:

— Ежели каша, не забудь плесни на нее поварешечку щец.

Стремительно пробежался взад и вперед по комнате. Принял от Марии Алексеевны полную дымящуюся тарелку и взялся за кашу, не отрывая глаз от бумаги...

Должно быть, за годы совместной работы этот шумный человек завоевал здесь не только уважение, но и любовь. Все, в том числе и Лузгин, смотрели на него с надеждой, и все при этом почему-то ухмылялись, будто ждали, что Федоров обязательно скажет нечто смешное или выкинет какой-нибудь забавный номер. Настя тоже улыбалась. Она стояла рядом с парторгом, бок о бок, доверчиво опираясь подбородком о его плечо.

В Евгении разгоралась ревность. Он один испытывал сейчас неприязнь к этому человеку, который уже ушел из бригады, но которого по-прежнему продолжали любить и считали своим даже больше, чем его, Сизова. Он видел, что сейчас вот всем хочется, чтобы именно парторг решил мучивший всех вопрос...

— Си-ту-а-ция! — сказал наконец Федоров, и тонкие ноздри его шевельнулись, точно он принюхивался к чему-то.

Он подошел к карте Испании. Уверенной рукой переколол булавку и вдруг без всякого перехода заговорил о трагическом повороте военных событий на этом далеком полуострове. Все слушали, как будто это был не вчерашний рабочий, с которым все ежедневно встречались в цехе, а осведомленный человек, только что прибывший оттуда, из неведомого, но с некоторых пор дорогого всем города Герника.

И хотя неприязнь к Федорову еще тлела в душе Евгения, он вместе со всеми следил за толстым, кривоватым, с крепким загнутым ногтем пальцем парторга, свободно, по-хозяйски двигавшимся по карте Пиренейского полуострова.

Судьба Испании волновала всех. Сколько раз Евгений мысленно уносился в чужие горы! Он представлял себя то на огромной, залитой людьми площади, могучим оратором, увлекающим словом людей на бой, то рядовым Интернациональной бригады, сражающимся и гибнущим за свободу испанского народа, то разведчиком, проникающим в штаб мятежников и убивающим Франко... Он видел себя в числе наступающих, шел по улицам освобожденных городов, ловил букеты, которые ему бросали смуглые, черноглазые женщины...

Нет, не о такой Испании, не о такой войне рассказывал Федоров. Да и слова были у него будничные, будто говорил он не о народной трагедии, а о недостатках в работе цеха. Зато, может быть, впервые по-настоящему Евгений начинал понимать, что далекая Испания — она рядом, что в сражениях с баскскими шахтерами, быть может, репетируется нападение на Советский Союз...

— Стоп! Кажется, нашел,— неожиданно прервал себя Федоров. Двумя прыжками он подскочил к столу и добавил на чертеже несколько линий.— Глядите!

К всяческим неожиданностям, исходящим от Федорова, здесь уже все привыкли. Мария Алексеевна продолжала сидеть у карты, прижимая к себе детей. Настя задумчиво смотрела перед собой, покачивая задремавшего сынишку.

А у стола уже кипела работа.

— Хочешь вмазать в пол два кронштейна? — спрашивал Лузгин.

— Угу!

— И приставить к ним винтовой толкатель? На болтах?

— Совершенно верно.

Мгновенье Лузгин, Кухаров, Евгений молчали. Лузгин с надеждой, Кухаров задумчиво, Сизов придирчиво, но

все с одинаковым вниманием смотрели на чертеж. Потом Кухаров снял, положил на стол очки.

— Ах ты, чертушко долговязый! Дай я тебя поцелую,— сказал он Федорову, раскрывая объятия.— Ой, пусти, только не мни ты меня, бога ради!

И Евгений понял, что «собака разрыта».

Но кто же, кто раскопал ее?

XIII

Уже в прихожей, когда прощались, Лузгин, точно спохватившись, поздравил Евгения с успехом. Но разве теперь это был только его, Сизова, а не общий успех? Евгений никак не мог отделаться от мысли, что его перехитрили, обошли и, не дав ему додумать свое предложение, растворили его в этом коллективном обсуждении...

Андрейку будить не стали. Мария Алексеевна так, спящим, и завернула его в одеяльце, потом обвязала шерстяным платком и, передавая этот живой кокон Насте, наказывала:

— Не застуди смотри... К сонным-то к ним простуда так и льнет.— И Евгению: — А ты, парень, поддерживай ее. На улице скользко — шлепнется и ушибет малого.

Очутившись вдвоем с Настей под холодными ясными звездами, Евгений почувствовал странную неловкость. Сколько раз он мечтал вот так пройтись с ней один на один, слушая постукивание ее каблуков, чувствуя ее рядом... Помня об остром язычке Насти, он боялся даже проводить ее с работы. Сегодня же, оставшись наконец с ней наедине, он не знал, с чего начать, о чем вести разговор.

Не решаясь взять спутницу под руку, Евгений старался идти с ней в ногу и все сбивался. Так, молча, миновали они перекресток, где пути их расходились в разных направлениях. Настя не без лукавства взглянула на спутника:

— А я слышала, ты на Беговых живешь.— Заметив, что Евгений нахмурился, она примирительно добавила: — Погляди, как вызвездило! А у нас на Полтавщине звезды еще яснее. Крупные-крупные! В морозный день небо — как поле гречи в цвету. Хорошо у нас на Украине!

Вдруг Настя поскользнулась. Малыша она удержала, но тетради, книги, которые она несла под мышкой, полетели на дорогу. Евгений стал торопливо собирать их, но они выскальзывали из его рук.

— На-ко, подержи! — с досадой сказала молодая женщина, передавая ему Андрейку, и принялась сама собирать и связывать учебники.

Сизову никогда не доводилось носить маленьких. Боясь растревожить малыша, он так и держал его на вытянутых руках. Настя увидела и рассмеялась:

— То ж не охапка дров, кто же так держит?.. Стоит як статуй. Вот куда надо руку, а этой так... Вот теперь правильно...

И вышло так, что Андрейка остался у Евгения на руках. Настя шла рядом, поглядывая на спутника. Она не острила, не насмехалась, а была тиха, ласкова. Украинский выговор сильнее, чем обычно, звучал в ее речи. И хотя тащить чужого ребенка Сизову было неловко, он все же отказывался отдать его матери, чувствуя, что спящий малыш будто связывает его с Настей.

Не смея оглядываться по сторонам, чтобы не обидеть спутницу, Евгений думал: «Фу, леший! Точно от тещи из гостей идем».

Проспект Энтузиастов был ярко освещен. Как на грех, только что кончился киносеанс, и знакомые то и дело попадались навстречу. Они с любопытством оглядывали молодую пару. Кто-то за спиной отчетливо сказал:

— Ай да Сизов! Вот она, работа стахановская. Сын или дочка?

Евгений вспыхнул и, отворачиваясь от спутницы, пробормотал как можно равнодушней:

— Ну народ!.. Вот черти полосатые...

— Дай сюда! — резко сказала Настя.

Но он прижал ребенка к себе:

— Донесу, донесу... Чего ты?

Только у крыльца Евгений отдал Насте Андрейку. Она благодарно взглянула на Сизова и крепко, по-мужски пожала ему руку своей сильной шершавой рукой.

— Ну, бувайте здоровеньки, як кажуть у нас на Украине. Заходи как-нибудь, Сизов... Я ведь... одна живу.

Она еще раз пожала ему руку, и Евгений ушел, полный какой-то безотчетной радости.

И куда бы ни смотрел он в этот вечер — на искрящееся ли звездами синеватое небо, в даль, освещенную густой россыпью заводских огней, или на белесые космы заиндевевших тополей,— всюду видел он мягкий овал лица, короткий с горбинкой нос, синие глаза.

XIV

Тридцать первого декабря, вернувшись с завода, Сизов вместе со свежей газетой нашел у себя под дверью конверт. Он удивился, потому что ни с кем не переписывался. И вдруг подумал: «Может быть, от Насти?» Хотя Настю он только что видел на работе и посылать по почте письмо девушке не было никакого резона, Женька торопливо вскрыл конверт. В нем оказался всего только билет.

Уважаемый Евгений Иванович!

Клуб имени Кравченко
приглашает Вас на вечер-карнавал,
посвященный встрече Нового года.
Программа начнется ровно в десять часов.
Для Вас будет оставлено место № 6, в первом ряду партера.

Директор клуба Пороцкий.

Евгений знал о карнавале и уже обещал принять участие в самодеятельном концерте. Но билет обрадовал. На клубных вечерах первые ряды обычно отводились знатным людям завода. «Уважаемый Евгений Иванович»... Ишь ты, даже отчество не поленились узнать!

Он подошел к зеркалу.

— Евгений Иванович! — подмигнул он себе, чувствуя, как радость распирает грудь.

Сизов попросил у хозяйки утюг и долго гладил выходной костюм, гладил с такой тщательностью, точно от того, как он будет в этот вечер одет, зависела его судьба. «Надо бы маленько опоздать,— думал он, нажимая всей своей тяжестью на ручку утюга.— Медленно пройти по проходу, раскланиваясь со знакомыми, и у всех на глазах сесть в первом ряду. Ребята от зависти лопнут».

Но в первом отделении нужно было выступать. Евгений сдернул со стола скатерть, завернул в нее гитару и отправился в клуб. Он вошел через служебный вход и попал прямо на сцену.

Здесь царила знакомая праздничная суета.

Со всех сторон неслись обрывки мелодий, песен, звуки настраиваемых инструментов. Кто-то, подвывая, читал стихи. Все это сливалось в шум, который бодрил и волновал в предвкушении встречи со зрителем.

Евгений подошел к заветной дырочке в занавесе и, заглянув в нее, убедился, что почти все места заняты. Только первые ряды были еще пусты.

— Привет, привет!.. Ты выступаешь вторым, слышишь? — напомнил ему Пороцкий, стремительно проносясь мимо и оставляя за собой аромат одеколона.— Бог мой! — закричал он кому-то.— Что вы несете? Вы отдаете себе отчет? Я вам сказал русским языком — концертный рояль, а вы прете пианино... Рыжиков! Куда делся Рыжиков?

Первой выступала маленькая водительница электрокара из кузницы, та самая, что щеголяла на работе в мужском комбинезоне. В длинном черном платье, с шелковой розой у пояса, она походила на забавную куколку. Она пела арию Лизы из «Пиковой дамы», и небольшой, но свежий и чистый голосок прозвучал искренне и мило. Ей долго хлопали, требуя спеть уже знакомую заводской публике «Метелицу». Сияющая, сбегала девушка со сцены, вытирая ладошкой губы.

— Добрые сегодня,— бросила она в сторону зала, пронося свой шлейф мимо Евгения.

— А сейчас выступит член бригады Лузгина — Евгений Сизов! — донесся будто откуда-то издалека голос Пороцкого.— Сизов покажет свое искусство на более деликатном инструменте, чем паровой молот. На каком — вам нетрудно будет угадать... Прошу, товарищ Сизов!

Не помня себя от волнения, Евгений машинально шагнул из полумрака на ярко освещенную сцену и сразу, почти физически, ощутил пристальные взгляды сотен глаз. На правом крыле первого ряда мелькнули знакомые лица. Лузгин, в новом сером костюме, с орденом Ленина на лацкане пиджака, прижимая к губам ладонь раковинкой, что-то говорил, наклонившись к Марии Алексеевне. Ваня улыбался, кивал головой. Настя сидит прямая, напряженная, закусив нижнюю губу. Рядом с ней чернеет пустое место. «Мое! — догадывается Евгений и, чувствуя, как бьется сердце, успокаивает себя: — Спокойно, Евгений Иванович, спокойно!»

Стараясь держаться как можно непринужденнее, он уселся на стуле и сердито бросил в зал:

— Вторая венгерская рапсодия. Музыка Листа.

Он сразу успокоился. Свет сцены, лица слушателей, белеющие в темном провале зала, фигура Пороцкого, нервно похрустывающего суставами пальцев,— все это как бы сразу исчезло, утонуло в послушном рокоте струн, в бурном потоке знакомых чудесных звуков.

Теперь Евгению ни до кого нет дела. Он слышит только эти звуки, и кажется, что они, рокочущим валом обрушиваясь в зал, несут и рассказывают Насте то, о чем он, Евгений, не решается, да и кто знает, решится ли когда-нибудь сказать.

В исполнении Сизова не было настоящего, зрелого мастерства. Но в страстную листовскую мелодию он вносил так много бесшабашной, мальчишеской удали и того, чем полна была его душа, что, несмотря на несовершенство техники, он расшевелил зал.

Кончив, он резким движением головы откинул со лба волосы и, подражая кому-то, картинно раскланялся. Сквозь плеск аплодисментов из темноты амфитеатра знакомый голос потребовал:

— «Марш Риего»!

— «Калитку»! «Калитку»! — кричал Ваня Овцын в сложенные рупором ладоши.

— «Марш Риего»!

Пороцкий протестующе шипел за кулисой и показывал на часы. Евгений колебался.

— «Марш Риего»! — продолжал настаивать кто-то.

И Евгений вдруг угадал в этом «кто-то» Федорова. Он сел и, когда водворилась тишина, сыграл суровый и мужественный марш республиканской Испании.

На этот раз аплодировали уже стоя. Только Настя продолжала сидеть, опустив голову, смущенно улыбаясь.

Евгений еле дождался перерыва. Выскочив из-за сцены, он замешался в толпе.

— Испанским-то маршем ты всех за сердце взял,— сказал ему Лузгин, направляясь вместе с женой к выходу.

— Илье даже гражданская война вспомнилась,— подсказала Мария Алексеевна.

— Ну, война не война, а случай один. Помню, январь, морозище страшный. Сиверко так и палит. Наша рота выступала из местечка Дубцы. У тебя пальцы из сапог торчат, а тут надо уходить от тепла, от ночлега... Ну, ясно, какое настроение... Вдруг, понимаешь, три еврея — старые, оборванные, тощие. Ветром их шатает. Один со скрипкой, другой с барабаном, третий с какой-то черной дудочкой. Идут и играют нам походный марш! Понимаешь? Мороз сорок градусов, плевок на лету мерзнет, бороденки у них заиндевели, а они играют... И не поверишь — будто теплее на улице стало! Серьезно! Так до околицы они нас и проводили с музыкой... А ведь — старики, седые, хлип-

кие... Пятнадцать лет вот прошло, а у меня и сейчас этот их марш в ушах.

— Музыка! — многозначительно сказал Кухаров.— Я вот примечал: раз человек к музыке способен, у него всякое дело в руках горит. Или вот взять, к примеру: не ладится в артели работа, а запоют «Дубинушку» — пошло и пошло.

Настя нашла руку Евгения и, тихонько пожав ее, шепнула:

— Ох и завидую я тебе сегодня, Женька!

Евгений взял было Настю за руку, но она высвободилась.

Ваня шел впереди. Его круглая голова с золотистым бобриком плыла над толпой, как спелая дыня.

— «На карнавале вы мне шептали...» — тихонько напевал он в ухо невысокой, хорошо сложенной девушке со значком ГТО на фланелевой спортивной блузке.

Девушка не слушала и, оглядываясь, с бесцеремонностью рассматривала лузгинцев.

После антракта Евгений сидел уже в зале. Все выступления были ему знакомы, и он потихоньку наблюдал за соседями. Кухаров слушал и смотрел, сосредоточенно нахмурившись, будто дело какое делал. Лицо Лузгина все время менялось. Он задумчиво слушал, как «хор старичков» пел русские народные песни, с восхищением следил за тем, как четыре «гладиатора» из транспортного цеха проделывают сложные силовые номера, улыбался краснощекому инженеру Кравченко, выступавшему как «мастер художественного свиста». А когда на сцену выскочили заводские плясуны, в глазах Лузгина зажглись веселые искры. Он даже стал притопывать и поводить плечом, подмигивая жене.

Настя переживала все очень бурно. Она вся устремлялась к сцене. То и дело толкала Евгения и Ваню:

— Смотрите, смотрите! Вот здорово! — И жаловалась: — Ну что вы сидите как статуи! Каменные вы какие-то...

Стрелки украшенных цветами часов, укрепленных над сценой, подползали к двенадцати. Высыпала вся пестрая группа участников сегодняшнего концерта. Инженер Кравченко поздравил всех с Новым годом. Между прочим он сказал:

— А нашему уважаемому Илье Афанасьевичу Лузгину и его товарищам желаю от имени участников художественной самодеятельности в новом году поразить нас новыми

рекордами! Желаю вам всем, товарищи, работать, как работают Илья Афанасьевич и его друзья!

Зал наполнился гулом аплодисментов, напоминающих стук неистового, порывистого ливня о железную крышу. И в этот ликующий шум радио неторопливо уронило первые удары кремлевских курантов.

Над сценой загорелась рубиновым светом надпись:

«С Новым ударным годом, товарищи!»

С балконов брызнул пестрый, порхающий дождь конфетти. Разноцветная вермишель серпантиновых лент повисла на гирляндах хвои.

Из-за занавеса вышел очень оживленный Пороцкий:

— А сейчас, товарищи, бал-маскарад! Пусть каждый будет сегодня молод, как Новый год, весел и счастлив, как наша жизнь, неутомим в танцах и пляске, как наши замечательные передовики на работе!

«Нет, он все-таки ничего парень»,— подумал Евгений и обернулся к Насте, чтобы спросить, останется ли она на маскарад. Но толпа куда-то отнесла молодую женщину. Она исчезла. Энергичные массовики с шутками, смехом приглашали гостей в комнаты, где выдавались маскарадные костюмы и маски.

Евгений дал себя увести. Ему выдали костюм тореадора. Он покорно переоделся и даже не посмотрел в зеркало. «Неужели она все-таки ушла? Ушла, даже не попрощавшись»,— думал он, пробираясь в пестрой толпе.

Кругом шумели, хохотали, пищали, и он безуспешно старался угадать Настю среди танцующих, мелькающих масок: «Неужели ушла? И, может быть, ушла с кем-нибудь?»

У самого уха прозвучал голос Пороцкого:

— Ого! Вот ты какой! Едва узнал. Эффектно, эффектно! Тореадор! Не хватает Кармен. Впрочем, был бы тореадор, а Кармен найдется. Ко мне зайдем? У меня сидит интереснейший человек. Из Москвы. Он тебя сегодня слышал. Прямо в восторге!

«Нет, что там ни говори, Пороцкий — молодец!» — опять подумал Сизов, обрадованно следуя за ним.

В кабинете директора клуба на просторном письменном столе громоздились стопки грязных тарелок, стаканы с недопитым вином. В углу стояли корзины с пивом, блюда, прикрытые газетой. По полу разбросаны скомканные салфетки, огрызки яблок, апельсинная кожура, пробки. На диване, вздрагивая, спал Жорж.

Глубоко уйдя в кожаное кресло, в ленивой позе полулежал Игорь Николаевич. Он медленно, обстоятельно жевал бутерброд с паюсной икрой: посмотрит на него, точно выбирая, где повкуснее, деловито откусит и жует, пошевеливая своими тяжелыми моржовыми усами. Мимо него, меряя комнату по диагонали, широкими вкрадчивыми шагами ходил неизвестный Евгению хорошо одетый начинающий полнеть брюнет.

— Володя, рекомендую — здешняя знаменитость Евгений Сизов. Кузнец. Ты его слышал. Я уж сказал, что ты в восторге от его гитары,— обратился к нему Пороцкий и, хлопнув Евгения по плечу, устало бросился на диван.

— Ах, кузнец-тогеадог! Очень огигинально, очень! — заговорил брюнет воркующим баритоном, чуть грассируя.— Сгышал вашу иггу — изумген! Таантгиво, очень таантгиво!

Он протянул Евгению руку. Она оказалась такой эластичной, такой мягкой, словно в ней не было костей.

— Владимир Платоныч делает погоду в искусстве. Его похвала — это уже репутация,— пояснил Пороцкий, зевая.

Он, видимо, устал, лицо осунулось, посерело. Неровный, пятнистый румянец выступил на щеках и лбу, и Евгений догадался, что он, должно быть, много выпил.

Вдруг Пороцкий обратился к московскому гостю:

— Кабы ты знал, Володька, как мне все это надоело! Этот паршивый клуб... какие-то глупые вечера, пошлые маскарады... И эта вечная необходимость улыбаться, улыбаться, улыбаться... «Смейся, паяц, над разбитой любовью...»

Он вздохнул, посмотрел на свет несколько порожних бутылок. В одной обнаружил коньяк, налил стопку. Залпом выпил. Взял апельсин, старательно разрезал шкурку на секторы и осторожно ободрал. Апельсин стал похож на раскрывшуюся коробочку хлопка. Пороцкий опять потянулся к бутылке.

— Может, достаточно? — спросил брюнет.

Он продолжал ходить по комнате с упорством маятника, изредка бросая на Евгения короткий изучающий взгляд, от которого тому становилось не по себе.

— Я хочу знать, будет этому конец или нет? И когда именно, когда? Я больше не могу... понимаете вы, не могу... улыбаться! — Пороцкий кулаком раздавил апельсин. Брезгливо сморщившись, он скинул его на пол и упал на диван.— Вам хорошо! Раскаявшиеся грешники, допущенные в лакейскую рая... В лакейской, но в Москве! Москва!..

Ах, Москва... А Константина Пороцкого вы оставляете корпеть в этой дыре... Нет, хватит, не хочу!.. Я говорю, я кричу — слышите вы: хватит!..

Евгению показалось, что брюнет слегка побледнел. Он остановился посреди комнаты и чуть заметно кивнул Пороцкому в сторону Сизова.

— Ерунда... Это enfant terrible[1] здешних мест,— пренебрежительно махнул рукой директор клуба. Он сдавил голову обеими руками.— И вот еще год прошел, целый год... А я все тут! Клубник! Два притопа, три прихлопа... Ненавижу, все ненавижу, всех ненавижу!

Игорь Николаевич склонился над ним так, что совсем загородил его своей широкой спиной.

— Скорее, скорее надо... пан или пропал... Нельзя гнить заживо, черт вас всех подери! — доносились выкрики Пороцкого. Его, должно быть, била истерика.

Владимир Платонович мягко взял Евгения под руку и, увлекая его за собой, снова начал шагать по комнате:

— Извините, тюгемная пгивычка. Тги года Шлиссельбугга, моодой чеаэк. Ничего с собой не могу подеать. Сидя только ем. Так вот, уважаемый тогеадог из кузнецов. Вам нужно учиться. Да-да, сегьезно учиться музыке. Вам Погоцкий пгавильно говоил, все остальное для чеаэка с вашим дагованием — чепуха! У Константина Павовича изумительное чутье на таанты... Сейчас у него негвы. Чудесный чеаэк, гогит на габоте. Ценнейшая гичность: всегда и везде умеет найти жемчужное зегно... да-с, именно жемчужное зегно. И потому вам, как чеаэку...

Евгений невежливо оттолкнул мягкую руку брюнета.

— Наш завод не навозная куча, чтобы искать в ней жемчужные зерна! — обидчиво сказал он.

Теплое чувство к Пороцкому, вспыхнувшее там, в зале, уже погасло. Вспомнилось вдруг: «Паганини гитары!» И он, дурак, радовался этим словам, а сам не знал даже толком, кто такой был Паганини. «Паганини гитары!»

Евгений брезгливо смотрел на пустые бутылки, стопки грязных тарелок, недопитые стаканы, остатки еды на блюдах. «Должно быть, заводское начальство угощал». И все — тяжело храпевший пьяный Жорж, не вполне понятные и неизвестно к кому обращенные, но полные бессильной злобы слова Пороцкого, этот незнакомец, грассирующий, как князь на сцене, неведомо зачем притащив-

---

[1] Сорванец *(фр.)*.

шийся па завод,— все это стало противно, и от всего этого вдруг пахнуло чем-то неясным, но угрожающим, даже зловещим.

Сизов как-то весь сразу ощетинился.

— Наш завод не навозная куча, слышите, вы?! — крикнул он в лицо тому, кого Пороцкий называл Владимиром Платоновичем.

— Душа моя, газве можно понимать все так буквально,— примиряюще ответил тот, проглатывая в последнем слове букву «в».— Куда вы?.. Постойте, мне хочется потолковать с вами о музыке.

Но Евгений уже захлопнул за собой дверь...

Насти нигде не было. Одинокий «тореадор» грустно таскал по залам и коридорам свою украшенную лентами гитару и огрызался, когда какая-нибудь маска заговаривала с ним. А вокруг смеялись, пели, танцевали, водили хороводы, объяснялись в любви шутя и всерьез.

— Ага, гражданин, скучаете? — строго сказал кто-то в самое ухо Евгению. Возле стоял милиционер в маске. Он злорадно пищал измененным голосом Вали Кузнецовой: — Скучаете? Мрачны? Да? Следуйте за мной! Давайте не оказывать сопротивления! Давайте не будем!

Крохотный милиционер тащил Евгения в маленькую комнату, где в обычное время сидела сторожиха, а теперь, как свидетельствовала надпись, помещалось «Бюро приводов».

За столом сидел другой представитель власти. В комнате теснились и иные маски.

— Товарищ старший милиционер, вот гражданин тореадор скучает,— доложила Валя, и по тону ее чувствовалось, что вся эта незамысловатая игра доставляет ей удовольствие.

— Скучает? Это серьезно,— заявил старший милиционер.

По голосу Евгений безошибочно узнал в нем Костю. «И здесь вместе! Вот уж действительно Аяксы — не-разлей-вода!»

— Для первого раза вы, гражданин тореадор, приговариваетесь, стоя на одной ноге, петь петухом. Все. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Прошу!

— Давайте не будем сопротивляться! — пищала Валя.

И веселые милиционеры и скучающие участники вечера, выловленные ими и теперь ожидавшие в «Бюро приводов» своей участи, стали свидетелями того, как печальный

«тореадор» с гитарой пел петухом. Потом какого-то «мага» заставили декламировать. Он долго отговаривался и наконец, конфузясь и запинаясь, пробормотал детский стишок. Парень в одежде стрельца что-то спел ужасным голосом, а какой-то «поп», оказавшийся в лоск пьяным, пытался рассказать рискованный анекдот, но был вовремя остановлен, разоблачен и общими силами выдворен с вечера.

Из «Бюро приводов» Евгений вышел повеселевшим.

— Что, бисов сын, будешь нос вешать? — насмешливо сказал ему тонкий украинский хлопчик в вышитой рубахе и широченных шароварах, перехваченных красным кушаком.

Евгений скорее почувствовал, чем узнал в нем Настю. Он схватил ее за руку.

— А я думал, ты ушла,— сказал он, не имея сил сдержать или хотя бы скрыть радость.

— А чего бы тебе думать? Разве тебе не все равно, здесь я или нет? — лукаво осведомился хлопчик, независимо сбивая на затылок свою папаху из серых смушек.— Ну, пошли танцевать?

— Не умею.

— Вот так раз! Новое дело! А что ж ты будешь тут делать, товарищ горе-тореадор?

Вместе они пересекли зал, где кружились пары. Вышли в «зимний сад». Собранные со всего клуба пальмы и фикусы стояли в длинном коридоре. Между ними были расставлены зеленые скамеечки. Шум и музыка едва долетали сюда.

— Как здесь прохладно, тихо,— сказала Настя, снимая маску и обмахиваясь ею.

И опять она была какая-то новая, другая, опять незнакомая. Как ей идет мужской костюм! Какая она в нем складная, стройная! Вышитый ворот оттеняет матовую белизну нежной шеи. Серые смушки шапки, заломленной на затылок, подчеркивают высоту чистого лба... И ходит Настя — точно на коньках скользит: бесшумно, плавно...

— Ну хоть расскажи чего-нибудь, что ли? А то с тобой как раз в «Бюро приводов» угодишь. Сядем?

Когда усаживались на скамейку, что-то наверху щелкнуло. Оказалось, над ними зажегся небольшой полумесяц с хитрым человеческим профилем.

— Фу, леший! Напугал даже,— буркнул Евгений.

— Смотри, смотри, как славно!.. Молодец этот Пороцкий! Какой карнавал! И гляди, можно сказать, персональ-

ная луна! Ведь это придумать надо! Ты ведь в дружках с Порошким, познакомь меня с ним...

Евгения вдруг взорвало:

— Да пошел он ко всем чертям, этот обмылок!..

Настя вскочила:

— Да ты что, парень, белены объелся? Ты что лаешься?.. Прощай! И не иди за мной, слышишь? Не смей...

Стройная фигурка хлопчика скрылась за пальмами.

Минут десять Евгений сидел один, вяло перебирая струны. Потом поднялся и, чувствуя, что так хорошо начавшийся, так много суливший ему вечер вконец испорчен, побрел из «зимнего сада».

Луна погасла, как только он поднялся со скамейки.

В конце «аллеи» на крайней скамье сидели двое: плечистое существо в боярском полукафтане, клоунском колпаке и средневековых ботфортах и девушка в костюме узбечки.

Над ними тоже горела, хитро ухмыляясь, «персональная луна».

— «На карнавале вы мне шептали...» — напевал помесь боярина с клоуном.

— Ваня, меняй пластинку!—строго потребовала узбечка, беззастенчиво глядя на проходившего мимо тореадора.

Евгений усмехнулся и, наигрывая «Понапрасну, Ваня, ходишь, понапрасну ножки бьешь», вошел в зал.

— Эй, цыган, сыграй на гитаре!

— Это не цыган, а тореадор. Не видишь?

— Ну, все равно, тореадор. Какого черта он гитару носит, а играть не хочет?..— шумели вокруг.

— Он не умеет...

Маленькая девушка в костюме цыганки взяла Евгения за руку и таинственно зашептала:

— Я сейчас расскажу твою судьбу. У тебя на сердце червонная дама. Ты имеешь к ней интерес. Она любит бубнового короля. Понимаешь? Бубнового короля. Зато тебя любит...— Цыганочка засмеялась, и задорные огоньки сверкнули в щелках полумаски.

— Знаешь что, поди-ка ты...— сердито начал было Евгений, но, узнав маленькую электрокарщицу, что пела сегодня арию Лизы, грустно добавил: — Не надо, Наташа, и так тошно...

— Пошли, ну пошли танцевать! Не хочешь со мной? Да? Эх ты... Ну, так уж и быть, скажу, где твоя червонная дама... Они там, в малой аудитории, песни кричат...

В малой аудитории клуба, где обычно происходили технические конференции и работали секции, на большом диване тесно сидели Настя, инженер Кравченко, вихрастый и суетливый секретарь заводского комсомольского комитета Забруда и еще какие-то незнакомые Евгению люди.

Все они вполголоса пели; пели задумчиво, несколько небрежно, но складно выводя слова:

Дывлюсь я на нэбо
Тай думку гадаю...

Высоким голосом заводил инженер, и все неторопливо, согласно поддерживали его:

Чому я нэ сокил,
Чому нэ литаю...

Евгений уже переоделся. Со скучающим видом рассматривал он в шкафу корешки книг, делая вид, что весь поглощен этим, что не слушает песни, не косится на пригожего хлопчика, сидящего между инженером и комсомольским секретарем. Но и не глядя на Настю, он чувствовал ее присутствие, и в массе причудливо сплетающихся голосов слышал ее сочное контральто, только его и слушал и даже не замечал, что выглядит, наверно, нелепо, так как книги, которые он так старательно разглядывал, были техническими справочниками на немецком и английском языках.

Потом, когда хор распался и Настя простилась со всеми, он бросился вниз, в вестибюль, и занял очередь у вешалки.

Девушки долго не было. Стоявшие в очереди ребята подшучивали над Евгением. Он упрямо отмалчивался.

Когда же Настя наконец показалась на лестнице, он так обрадовался, что на всю раздевалку крикнул ей, чтобы она скорее передала ему свой номерок. Под насмешливыми взглядами очереди Настя опустила глаза, однако номерок передала.

На улице болтали о пустяках. Совсем не заметили, как подошли к подъезду Настиного дома. Она вдруг предложила:

— Может, зайдешь? Ночью гостей не приглашают, да ведь ночь-то сегодня особая, новогодняя!

У Евгения сердце забилось так гулко, что он всерьез испугался, как бы это не услышала Настя.

— А как, ничего? — спросил он тихо, изменившимся голосом.

Настя пожала плечами. Они стали медленно подниматься по лестнице. Из всех дверей просачивались праздничные шумы — пение, звяканье тарелок и ножей, нестройные голоса, опять пение, визг патефона, топот и шарканье ног, треньканье балалайки, хохот и снова пение. Казалось, что поют и шумят не люди, а сам этот молодой, еще пахнущий сырой известкой дом хватил как следует ради праздника и производит всю эту бестолочь веселых звуков.

В квартире, где жила Настя, нестройный хор пел песню о Ваньке-ключнике.

В дверях одной из комнат, выходившей в прихожую, появился старик в жилетке, надетой поверх русской рубашки. Длинный выпущенный подол ее белел из-под расстегнутого жилета.

— Ты, Настасья Ниловна?.. А мы думаем, кто там скребется! С Новым годом, с новым, как говорится, счастьем! И вас тоже... молодой человек,— простите, не знаю вашего названия.

Настя улыбнулась:

— С Новым годом, Федор Федотович!

Они расцеловались.

— Как сын, не мешал вашему празднику?

— Скажешь! Мы его и не слыхали. Весь вечер спит. Извиняюсь, я малость выпивши, но это в порядке вещей — Новый год! Прошу к нам — выпить, закусить, как говорится, чем бывший бог послал... Пожалуйте. Сделайте такое одолжение!

Старик вытер рукавом лысину, обрамленную седыми всклокоченными волосами, качнулся и удержался, схватившись за косяк.

— Заходите, чего же? Чем богаты, тем, как говорится, и рады.

— Нет уж, Федор Федотыч, мы потом. Нам с товарищем поговорить надо,— мягко сказала Настя.

— А-а, поговорить... ну, ну, говорите... Понятно...

Настя открыла дверь своей комнаты и, пропуская Евгения, пояснила:

— Сосед мой — мастер рессорного участка. Доброта неописуемая! Батя парторга нашего, Николая Федорова.

Небольшая Настина комната поразила Евгения чистотой и каким-то особым порядком. Для всех вещей, наполнявших ее,— и для раздвижного столика, и для узкой кровати, покрытой пикейным одеялом, и для комода с зеркалом и фотографиями в рамках из ракушек, и для детской

кроватки, отгороженной ширмой,— были выбраны самые удобные места. В углу, на тумбочке, стоял радиоприемник, как раз той новой системы, на покупку какого Евгений сейчас копил деньги.

Перед уходом Настя, видимо, занималась. На столе лежали раскрытая книжка и тетрадь, в которой виднелся геометрический чертеж.

Настя спрятала книгу и тетрадь в ящик комода, поправила перед зеркалом косы.

— Ну, садись, гость полуночный,— сказала она и, покрыв стол скатертью, принялась проворно расставлять посуду. На ходу одернула вышитую накидку на подушке, переставила на комоде рамку, передвинула стул.

Ясно было: она любит свое уютное жилье, гордится им, и это понравилось Евгению.

Потом Настя принесла от соседей спящего сына, осторожно уложила в кроватку, укутала, положила пухлые ручонки поверх одеяла и присела к столу.

— Вина нет... А чаю — пей сколько хочешь.

Она держала себя просто, точно Сизов был у нее уже не раз. Порой он ловил на себе ее не то испытующий, не то недоумевающий взгляд, и ему начинало казаться, что она позвала его к себе ночью вовсе не для того, чтобы поить чаем, и теперь смеется над его недогадливостью и робостью.

В дверь тихонько постучали. Показалась улыбающаяся физиономия Федора Федотовича. В одной руке у него была бутылка пшеничной водки, в другой — тарелка с едой.

— Извиняюсь, соседка!.. Гора, как говорится, не пошла к Магомету, так Магомет плюнул и пришел к горе. Ну что это за напиток в Новый год — чай! Срам! Стыд! Сделайте милость, не обидьте старика. Выпьем за все хорошее... Извиняюсь, Настасья Ниловна, это я не вам... Ваши установки мне хорошо известны. Я к вашему м... м... товарищу. Прошу, молодой человек!

Старик нетвердой рукой налил стопку и подал Евгению.

— Чай — это бабий... извиняюсь, Настасья Ниловна... женский напиток. Прошу, молодой человек, выпейте! Сие, как говорили раньше, и монаси приемлют.

Настя не без иронии следила за колебаниями Сизова.

— Не стану, папаша, не просите! Не стану.

— Ну, одну-единственную... Кровно обижаете старика! Настасья Ниловна, скажи ему, что в такую ночь обижать стариков грех, преступление, караемое по закону.

— Да выпей, Евгений, чего ломаешься?.. Эх, и я уж с вами, была не была...

Она сама налила себе на донышко чашки:

— Ну, всего наикращчего!

Евгений залпом осушил стопку. Настя выпила, поперхнулась, замахала рукой.

Старый мастер крякнул:

— Во! Это по-нашему. Пей, как говорится, да дело разумей! Еще одну? А?.. Ну, не настаиваю. Мне ваша... емкость неизвестна. Извиняюсь за беспокойство и прочее такое. Теперь разговаривайте, мешать не буду...

За стеной нестройно и разноголосо тянули:

...Ах, зачем рано цветешь,
Осыпаешься...

Водка ударила Евгению в голову. Точно уже во сне, слышал он издалека:

Ты куда же, милый мой,
Собираешься?!

Стало легко, весело. Евгений развалился на стуле, расстегнул воротничок, распустил галстук. Он даже попробовал присоединиться к хору, но Настя укоризненно покачала головой, показав в сторону спящего малыша. Она раскраснелась и с усмешкой наблюдала за гостем.

Теперь Евгений уже не сомневался, что Настя посмеивается над его недогадливостью. Вспомнились слова Жоржа. В этой чистой комнатке о них не хотелось думать. Но ведь человек не волен в своих воспоминаниях.

«А что, в самом деле, богу на нее молиться, что ли?» — подбадривал себя Евгений. Он глянул в большие синие улыбающиеся глаза, тяжело опустил взгляд на яркие, полные, чуть приоткрытые губы.

В это время в дверь снова постучали.

— Настасья Ниловна, извиняюсь, это опять я,— раздался голос старого мастера.— Мои гости очень просят вас, Настасья Ниловна...

Евгений вопросительно посмотрел на Настю. Она приложила палец к губам. Несколько мгновений просидели они, заговорщически поглядывая друг на друга и зажимая ладонью рты, чтобы не расхохотаться. Напряженная тишина сближала их. Они слышали, как сосед потоптался за дверями, как он говорил сам с собой, слышали его нетвердые удаляющиеся шаги. Все стихло. Только новая нескладная песня доносилась из-за стены.

Евгений еще раз взглянул на девушку, сидевшую рядом, и вдруг нагнулся, обнял ее, привлек к себе и потянулся губами к ее губам.

Настя не отстранилась, нет, но ее полный разочарования и какого-то даже сожаления взгляд сразу отрезвил Евгения.

Если бы она обругала, грубо оттолкнула или даже ударила — это не дошло бы до хмельного сознания с такой силой, как этот ее взгляд.

Будто подняли рядом заслонку нагревательной печи и горячий воздух разом опахнул лицо, уши, шею, даже руки — так покраснел Евгений.

Настя отошла к детской кроватке.

— Ну ладно! Сама виновата... А ты, Евгений, никогда при мне не пей. Слышишь? — сказала она, опять возвращаясь к столу. И, придвинув чашку чая, добавила: — Пей вот... бабий напиток! Он как раз по тебе...

Простились все-таки дружески. Возвращаясь домой, Евгений думал о том, как хороша эта хрусткая морозная ночь и вообще какая, черт подери, это замечательная штука — жизнь!

XV

Утром над городом разыгралась метель. Тучи снега носились по улице, скреблись в стекла. В комнате стояли тревожные сумерки, Евгений не мог даже рассмотреть за окном молоденькие березы. Он только слышал, как жалобно стонали они, сгибаясь в завьюженном палисаднике.

Умывшись и наскоро перекусив, Евгений сел было за музыкальные упражнения, но тоскливо скулившая вьюга отвлекала, не давала сосредоточиться. Он стал рассеянно подбирать какие-то однообразные, тягучие мелодии, потом отложил гитару, улегся на койке и стал раздумывать над событиями последних дней.

Удачно начался для Сизова этот год. Теперь, когда он работал не хуже других да еще помог «раскопать собаку», с ним стали считаться. Лузгин иногда даже советовался. Порой Евгений ловил на себе пристальный взгляд Кухарова. А главное — Настя! Она обращалась с ним теперь подружески, и, как порой казалось Сизову, в ее отношении было даже нечто большее, чем дружба. Но новогодний урок запомнился крепко. И хотя Евгения с каждым днем

все больше и больше тянуло к Насте, он уже не предпринимал никаких попыток, подобных той, которая чуть было не закончилась ссорой.

Хорошо вот в этакий вьюжный день быть в тепле, слушать стрельбу сухих дров в печке, чувствовать, что ты не один на земле, что у тебя есть друзья, и думать об этой гордой женщине, вспоминать ее голос, жесты, слова, лицо.

Вдруг Евгений вспомнил, что сегодня механики обещали закончить толкательные приспособления для печи. Наконец-то можно увидеть в натуре то, что, мелькнув в мозгу, заставило взволнованно забиться сердце! Он быстро оделся.

Метель поработала изрядно. Дороги и тротуары занесло. Приходилось то и дело перелезать через косые островерхие сугробы и шагать прямо по мягкому снегу, скрипевшему под ногой упруго, точно картофельная мука.

Евгений любил такие метельные дни, когда вороха холодной снежной пыли неслись под ноги, кололи лицо, а ветер, забираясь под одежду, мешал идти и все старался, неожиданно налетев, сбить с ног.

Чтобы сократить путь, он пошел через сквер. Как видно, всего лишь один человек отважился до него пройти сегодня здесь по направлению к заводу. Евгений старался попадать в его следы и, наклоняясь вперед, испытывал озорное волнение от борьбы с ветром. Следы свернули вдруг на боковую аллею. На скамье ссутулившись сидел человек, засунув руки в рукава. Его мохнатую меховую куртку, поля и тулью надвинутой на глаза шляпы покрывал толстый слой снега.

«Что за леший? Пьяный, что ли? — удивился Евгений.— Этак отправится к богу в рай и адреса не оставит». А настроение у него было такое, что не хотелось, чтобы на земле был хоть один несчастный. Он подошел к сидевшему.

Человек медленно поднял голову. Хлопья снега посыпались со шляпы, с плеч.

— Жорж! — вскрикнул Евгений.

Несмотря на морозный ветер, лицо Жоржа было бледно.

— Замерзнешь, балда! Что ты тут делаешь?

— Сижу.

Голос у Жоржа хриплый. Он, кажется, даже не удивился появлению Евгения.

— Ты в какой смене? — спросил Евгений.

— В какой смене? Что ты сказал? В какой смене? А разве не все равно?.. Ну, в дневной.

И, глядя Женьке в лицо испуганными, тоскующими глазами, хрипло зашептал:

— Разве не все равно, в какой смене работает Жорж — а-а, какой там, к черту, Жорж — Егорка Решетов! Разве кому-нибудь есть дело до того, что он думает, чувствует, переживает, до того, жив он или сдох?! Ветер... снег, и я один тут, и никому до меня нет дела. Зачем пришел? Уходи! Все равно ничем не поможешь. И всех к черту, к черту!! Ты меня не успокаивай! — истерично кричал Жорж, хотя Евгений стоял возле него молча.— Я тебе не верю. Слышишь ты, лузгинский прихвостень! Я никому не верю. Никому! Я и себе теперь не верю... Один на всем белом свете, и некому мне помочь, и всякий норовит толкнуть — вали скорее! Надоел!..

Евгений знал, что в такие минуты лучше пьяного человека не трогать. И действительно, Жорж понемногу стих. Он как бы пришел в себя, медленно стащил с головы шляпу, сбил с нее снег, шляпой же отряхнул куртку, брюки и снова нахлобучил ее на голову полями вниз, так что стал вдруг похож на унылый гриб.

Теперь он казался даже трезвым, но тоскливое выражение не сходило с его широкого, помятого лица. Он давно не брился и от этого казался старше, простодушней.

— Не ходить бы тебе на завод, Жорка...

— Мне? — испугался Жорж и испытующе взглянул на Евгения.— Да я выпивши больше пятерых трезвых стою! — И безнадежно махнул рукой: — Не все равно — сегодня, завтра... Взяли бычка на веревочку... Не страшна мертвому могила!

Что-то странное происходило с Решетовым.

— С чего это ты? С Зоей, что ли, разладилось?

— Пытаешь? В калошах в душу лезешь... ударник! Не выйдет! Не выйдет, слышишь, ты! Никому не бывать в душе у Жоржа Решетова! — заорал он, отшатываясь от Евгения, но сразу обмяк.— Зоя! Не девушка — картина, шедевр на полотне! Черт бесхвостый эта ваша Зоя! Верно Пороцкий говорит, что нынешние девки на любовь плюют. Любовь! Им бицепсы, им рекорды подавай! Им не человек, им носитель славы нужен! Герой!.. У-у, пропади вы все пропадом, герои, знаменитости. Мыльные пузыри! Ненавижу, ненавижу вас! Слышишь?

— Значит, отшила?

Евгений ничего не понимал.

— Смеешься? Ты надо мной смеешься? Зойка с этим вашим стосильным двигателем, с Ванькой Километром. Как же, «непроходимый бек», хоккейный капитан! В знаменитой бригаде работает!.. Что ж, расчет: центнер чистого веса и денег тысячи. Любовь!.. Что ей любовь?

— Слушай, ты...— угрожающе сказал Евгений. Его теперь кровно обижало, если задевали кого-нибудь из лузгинской бригады.

— А что ты мне сделаешь? Побьешь? Ну-ка! Вам, ударникам, разве можно драться? Вы же показательные. Вам дашь по морде, а вы перевоспитываете: дескать, вы, товарищ, такой-сякой, несознательно поступили, ошиблись, осознайте и перестройтесь.

— Стану я руки марать! — И Евгений задумчиво прибавил: — Вот ведь, бывает, вроде и знаешь человека, а оказывается, ты с ним вовсе и не знаком. Что трепач ты — знал, вдовий бог — и это знал. Но что такая ты тля — даже в голову не приходило!.. Нет, бить я тебя не стану.

— Тля? Я тля?! Это говоришь ты, который со мною из одного стакана лакал, другом-приятелем считался? — Жоржа трясло.— Правильно Пороцкий говорит: дешевы нынче люди. Иуда — тот за Христа хоть тридцать сребреников... Тридцать! В твердой валюте... А вам одного слова «ударник» хватит. За него готов товарища, душу и тело продать!

— И Пороцкий твой тля. Крыса, тьфу!

Евгений плюнул себе под ноги.

— Крыса? — Евгению показалось, что Жорж боязливо оглянулся, хотя во всем сквере, среди сугробов и бушевавшей метели, они были одни.— Крыса? Ошибаешься. Это мы с тобой крысы... что там крысы — мыши, мышата! А он кот! У него лапа мягкая, он мурлычет ласково, а как когти тебе в спину запустит — и все, не вырвешься, не уйдешь... Крыса! Не знаешь ты его. Никто его не знает...— Жорж вдруг смолк и опять боязливо оглядел пустой, заметенный парк, а потом, болезненно ухмыляясь, устало сказал: — Смеешься? Не смейся, Женька, не смейся... Гляди, как бы твоя очередь не пришла, как бы и над тобой не смеялись... изобретатель кислых щей...— Вдруг, точно спохватившись, он совсем трезво сказал: — Ну, идти так идти! Чего рассусоливать! Пора.

Пошли, и до самых ворот оба не проронили ни слова.

Перед тем как войти в проходную, Жорж тщательно

отряхнул с себя снег, поправил шляпу, высморкался в руку, обтер пальцы носовым платком и, бодро пройдя мимо вахтера, бросил свой номер в кружку электроремонтного цеха.

Они молча разошлись в разные стороны.

«Вот шпана! В ответственный цех и в этаком виде работать пополз! Выставят как миленького! И правильно сделают, псих паршивый!» — думал Евгений, и досада мешалась в нем с чувством жалости и какой-то тревоги. Почему, говоря о Пороцком, Жорж так озирался, чем тот испугал эту непутевую башку? На что он намекал, говоря о повадках безобидного клубника?

XVI

Но, войдя в цех, Евгений сразу позабыл и Жоржа, и Пороцкого, и все, что его взволновало. Возле печи, на досках, уже лежали детали толкательного приспособления. Они блестели и еще хранили рубчатые следы напильника. Евгений стал разглядывать их с волнением, с каким отец бросает первый взгляд на своего первенца. Было радостно и немного странно сознавать, что идея всех этих массивных и сложных приспособлений родилась в его голове.

Улыбаясь, погладил полированную поверхность винтового толкателя.

— Ишь, точно ручку милой гладит! — сказал кто-то сзади.

Сизов смущенно оглянулся. У штабеля с готовыми осями возились два контролера инспекции НКПС. Они принимали оси, выкованные лузгинской бригадой.

Один из них, старик, подошел к Евгению, снял фуражку и, обтирая платком лоб, спросил:

— Вы не из лузгинской бригады часом? А-а-а! Здорово работаете! Хоть без проверки принимай. Уж сколько я у Лузгина за три года осей принял, а ни одной бракованной.

— Будьте покойны! На наше клеймо жалоб нет.

Контролеры ушли. Евгений взял метчик, лежавший у молота, и долго смотрел на сбитые по краям стальные буквы: «З. О. б. Л.». Это значило: «Завод Орджоникидзе бригада Лузгина».

Работалось в этот день хорошо. Пар подавали без перебоев. До обеда было выковано двадцать восемь осей.

— Может, и без этих игрушек Семена-то Золина догоним,— довольно сказал Лузгин, показывая на толкатели, у которых уже возились монтажники.

Во второй половине дня нажали еще. Ось за осью с грохотом падали на вагонетки. «В самом деле, может, догоним и так. А печь переделаем, так уважаемый товарищ Золин только нас и видел...» — мечтал Евгений.

И вдруг цех погрузился во тьму.

Все лампы сразу погасли, в стекла потолочных рам стали видны крупные звезды. Тусклое пламя нагревательных печей выхватывало из тьмы встревоженные лица. Черные тени людей метались по цеху, переламываясь на потолке.

Молот остановили. Меж бойками багровела остывающая заготовка. Искры, вспыхивая и угасая, точно прыгали по ней. Мрачно гудели в тишине форсунки. Отовсюду слышались тревожные восклицания.

Вдруг в далеком конце кузницы раздался крик:

— Горим!

И снова еще громче, еще тревожней:

— Пожар!.. Горим!..

Евгений инстинктивно бросился к выходу, но чья-то рука крепко схватила его за плечо и почти швырнула на пол.

— Стоять! — услышал он голос бригадира.

Мимо, спотыкаясь во тьме, бежали люди. Гулко раздавался топот ног. Кто-то пронесся совсем рядом, тяжело, хрипло дыша, споткнулся о кочергу, упал и закричал неистовым голосом. Натыкаясь на него, чертыхаясь и матерясь, падали другие.

— Пожар! — кричал тот же визгливый голос уже в другом конце цеха.

— Петр, заткни эту паршивую глотку! — коротко распорядился Лузгин.— Настасья, на телефон! Ищи Федорова — он дома, наверно... Ваня, к выходным дверям. Откроешь обе половины, а то они там друг друга передавят. Быстро!.. Алексей Никитич, выключай нефть, гаси все печи.

— А мне? — спросил Евгений.

— Беги в душевую, стирай подштанники... Храбрец!

Лузгин вскочил на железную скамеечку, на которой отдыхал в минуты простоя, и, сложив руки рупором, что есть мочи закричал, покрывая своим голосом рев форсунок, гудение пламени и крики бегущих:

— Спокойно, товарищи!.. Свет выключен на пять минут... Спокойно!.. Ничего не произошло. Переключают ток.

Евгения поразило: «Откуда он знает — переключают... на пять минут?.. И как он насчет меня-то!..»

— Ты еще здесь? — окликнул Лузгин.— Ступай к дверям, останавливай народ.

Евгений втесался в толпу.

— Куда? — орал он.— Куда лезете? Вам же по-человечески говорят: свет выключен на пять минут. Переключают ток... Кузнецы, кузнецы, одумайтесь! Чтоб вас... не напирай — людей задавите!

Но никто не слушал. Людей нес тот слепой порыв, который давеча сорвал и Евгения. Его бросило в самую гущу стесненной, спрессовавшейся толпы. Задние напирали. Передние, сдавленные и зажатые со всех сторон, не могли ни поднять руки, ни оказать сопротивление.

Ване, должно быть, все-таки удалось открыть вторую половину двери. Толпа вывалилась, выдавилась на улицу, увлекая за собой Евгения, и сразу же рассыпалась, заполняя двор. Здесь, под холодными крупными звездами, все пришли в себя. Всем стало неловко. Кузнецы топтались у распахнутых дверей и, стараясь не смотреть друг на друга, вполголоса переговаривались.

Кто-то сказал:

— Глядите, на всем заводе света-то нет.

На синеватом фоне звездного неба четко вырисовывались черные прямоугольники ослепших корпусов, высокое здание котельной, гребень труб электростанции. Было тягостно тихо. Лишь где-то за новым токарным цехом гудела автомобильная сирена.

Из-за угла брызнул ослепительный сноп лучей. Евгений зажмурился. Стекла цехов холодно засверкали, освещенные снаружи зыбким, неверным светом.

Непрерывно гудя, автомобиль стремительно промчался мимо, обдав толпившихся струей холодного воздуха.

— К электростанции. Стало быть, авария.

— Вот тебе и на пять минут!

Тоскливо, тревожно было на сердце Евгения. Вспомнилось осеннее утро, когда он в первый раз пришел работать в лузгинскую бригаду. Тогда в тумане также не видно было завода. Но каждый цех гремел, шумел, кричал всеми своими голосами, все жило вокруг привычной жизнью. Теперь завод был тих, мертв.

Люди потянулись к месту происшествия,

Возле электростанции толпились рабочие.

— Говорят, сгорели моторы — электростанция выбыла надолго.

— А в литейной, говорят, все три вагранки закозлило...

— Нет, спасли...

У входа стояли две кареты «скорой помощи» и несколько легковых машин.

Директор завода о чем-то настойчиво расспрашивал Костю Кузнецова. На плечи Кости кто-то набросил шинель с малиновыми петлицами и значками НКВД на рукавах. Шапки на нем не было. Резкий порывистый ветер шевелил его прямые рыжие волосы. Он весь дрожал и стучал зубами.

— Ну, успокойтесь! Кругом люди,— ровным голосом убеждал директор.— Итак, вы спустились в предохранительную со старшим монтером и слесарем Кузьминым. Ну дальше, дальше... Да будет, вы же мужчина! Нельзя так распускаться...

Костя икал. Страшно было слышать, как стучат его зубы.

— Я спустился... спустился по лестнице... У меня развязался ботинок... Шнурок на ботинке...— Костя провел рукой по лицу, точно снимая с него паутину, и замолчал.

Валя стояла тут же, не спуская с мужа встревоженных, заплаканных глаз.

— Костик, Костик, ну же... Не волнуйся, я с тобой. Это же нужно. Это же важно. Ну, у тебя развязался шнурок, а дальше? Ну нельзя так, милый!

— Завязываю шнурок. Вдруг там, куда пошел монтер, что-то шпокнуло, зашипело. И запахло паленым... Я — туда и вижу: Кузьмин в углу, спецовка на нем дымится. Между шинами какая-то железина... Кто-то бросил железину. И пламя... шипит... А на полу, где шины, под самыми шинами...

В дверях электростанции появились санитары в халатах. Осторожно ступая, они несли носилки, на которых лежал кто-то, покрытый простыней. Санитары поставили носилки возле кареты. Резкий порыв ветра сорвал простыню. Костя дико вскрикнул и прижался к комбинезону жены. Евгений остолбенел, скованный ужасом.

На носилках лежал Егор Решетов. В свете автомобильных фар тускло поблескивали голенища начищенных сапог. То, что было лицом, представляло бурую, обугленную лепешку. Только правая щека и часть лба матово белели.

Изгибалась жиденькая ниточка подбритой брови. Висок пересекал острый клинышек «мексиканского» полубачка.

— Господи Иисусе, что же это такое делается, куда только директор глядит...

— Тут не директора, тут НКВД надо.

— Да вон они лазят, а что толку — человек-то уже мертвый.

Евгений стоял оглушенный. Только когда подключили ток городского кольца и осветились окна цехов, Сизов очнулся, направился в кузницу. Бригада была в сборе, ждала, пока нагреются остывшие заготовки. Кухаров сердито спросил Евгения:

— Нагляделся?

— Вот, говорят, бабы любопытные. Неверно, пожалуй, говорят, а, Сизов? — заметила Настя.

Евгений только отмахнулся.

Работать как следует в этот день никто уже не мог. Не то было в голове.

Перед глазами Евгения неотвязно маячило опаленное лицо Жоржа. «Вот она, водочка да закусочка!» — думал он. Ему казалось теперь, что Жорж был не такой уж плохой парень и что он, Сизов, в чем-то виноват перед ним. Но в чем — он не понимал. Конечно, не надо было пускать его сегодня на работу пьяного, нужно было убедить, удержать силой, наконец, просто обратить на него внимание вахтера или позвонить комсомольцам электроремонтного цеха. И Жорж был бы жив. Ничего этого Евгений не сделал и был виноват. Но он смутно чувствовал и еще какую-то неизмеримо большую вину перед погибшим, и вина эта была как-то связана с именем Пороцкого, о котором с такой злостью и страхом говорил Жорж в свои последние часы. Евгений понимал, что надо было разговорить парня, заставить его высказать все, что его тяготило, и, возможно, помочь советом, делом, как в свое время Лузгин помог ему, Евгению.

Но какое отношение мог иметь клубник к заводу, к аварии и столь нелепой гибели монтера Решетова? И что произошло на электростанции: ошибка пьяного человека, проявление злой его воли или самоубийство?

Над всем этим ломал голову не один Евгений. На заводе везде — на рабочих местах, в красных уголках, в столовых и курилках — только и говорили о происшествии на электростанции. Ругали инженеров, охрану труда, ругали новые, увеличенные по почину передовых ударников

нормы, ругали новаторов и даже Лузгина. И из уст в уста, шурша, переходило зловещее слово — «вредительство». Оно произносилось шепотом и без адреса.

Но Евгения ошеломил самый факт: был человек, и нет человека, и этого никак уже нельзя изменить.

XVII

Не зря Лузгин верил в победу.

Установка винтовых толкателей на нагревательной печи позволила сразу поднять производительность. Через несколько дней рекорд кулебакских кузнецов был превзойден. Лузгинцы ковали теперь без особого напряжения шестьдесят — шестьдесят пять осей в смену. В механическом цехе уже изготовляли толкатели для других молотов. На «Красные Кулебаки» послали телеграмму. По настоянию бригадира, в нее вписали новый показатель соревнования: семьдесят осей. Через день Лузгин в столовке прочел ответ: «Поздравляем. Рады. Условия приняты. Золин».

Успех кузнецов завода имени Орджоникидзе снова прогремел по стране. Печать дала пространные сообщения, замелькали портреты бригадира, а в одной большой газете даже посвятили ему очерк под заглавием: «Рост». Снова курьер заводоуправления приносил Лузгину письма. Незнакомые люди поздравляли кузнеца и бригаду, желали новых побед, рассказывали, как старым друзьям, о своих делах, предлагали вступить в переписку.

Хорошие это были письма! Незнакомый уральский кузнец советовал попробовать его способ нагрева металла. Учитель из Казани просил разрешения во время весенних каникул приехать на завод. Он хотел лично познакомиться с Лузгиным, чтобы потом рассказать о нем своим ученикам. «Пьем твое здоровье»,— телеграфировала Лузгину из Сочи группа отдыхавших там донецких сталеваров. Пионерский отряд одной из школ Восточного Казахстана в коллективном письме извещал, что на отрядном сборе был зачитан очерк «Рост». Ребята обещали отлично учиться и вырасти такими, как Лузгин. К письму был приложен рисунок. На нем изображался кузнец в кожаном фартуке с огромной кувалдой в руках. У кузнеца были узкие, раскосые казахские глаза, а подпись гласила: «И. Лузгин».

Лузгин читал эти письма вслух в обеденные перерывы, потом складывал и убирал в карман. Но одно он сердито скомкал и бросил под стол. Кухаров поднял его, расправил и, пробежав, сказал:

— Зря бросил. Очень даже интересное письмо.

И, почти прижимая лист к носу, с трудом разбирая неровный почерк, прочел:

— «Гражданин Лузгин И. А.!

Я хочу просить Вас ответить через заводскую газету, как выдержали свой рекорд над немцами, а также и американцами, потому что я сильно сомневаюсь, что у вас все чисто. Имею к Вам просьбу дать чистосердечный ответ, в какую смену вы ставили свой рекорд, в ночную или дневную, кто и какую вам оказывал помощь, а также кто из посторонних лиц смотрел за вами во время работы, чтобы не было с вашей стороны подлога и жульства...»

Настя вырвала у него письмо и посмотрела на подпись.

— «Один из многих». Вот скотина! «Жульство»! Подумать только...

Кухаров взял у нее бумажку и так же спокойно продолжал:

— «Гражданин Лузгин И. А.!

Напишите, может быть, Вы гнали и гоните оси для счету, а потом кто-нибудь будет за Вас их править и доделывать? А также напишите, сколько Вы при этом даете браку и как вам этот брак записывают: в выработку или как всем, и как за брак с вас спросили и как с других спрашивают.

Потом напишите, для чего понадобилось Вам ставить рекорд — не для того ли, чтобы Вам еще повесили орден, а потом чтобы всем вашим кузнецам нормы были увеличены.

Опишите все подробно и по чистой совести, если хватит смелости, а также если есть что писать.

К сему

Один из многих».

— «Один из многих»,— повторил Кухаров.— Ну, это ты врешь, что один из многих... А ответить ему все-таки надо. Так, что ли, Илья?..

Лузгин сказал задумчиво:

— Пожалуй.

XVIII

На завод теперь часто наезжали передовики производства, техники, инженеры из других городов. Они изучали приемы работы лузгинской бригады.

— Не пущу, батенька! Как хотите, не пущу. Цех не демонстрационный зал. Вот после гудка — пожалуйста! Знакомьтесь, сколько вашей душе угодно. А сейчас не пущу! — сердился Апт, отбивая атаки запоздавших журналистов. И хитрил: — Товарищи, дайте вы Лузгину работать! Ведь из-за ваших визитов у него выработка вниз пошла. Это же прямой подрыв его авторитета!

Но журналисты и иные гости проявляли чудеса предприимчивости и проникали-таки в цех.

Евгений все эти дни был замкнут и неразговорчив. Ему казалось, что его оттерли, обошли. Ведь это же он, в конце концов, дал идею толкателя. А писали и говорили о Лузгине, помещали его портреты. Сизова вспоминали только в числе других членов бригады.

Правда, в специальном приказе по кузнечному комбинату Апт отметил ценную инициативу крючочника Сизова премированием его велосипедом и крупной денежной суммой. Заводская многотиражка поместила статью Петра Жолобова, подробно рассказавшего о значении толкателя, и напечатала на первой странице портрет Евгения. Но разве это все могло сравняться со славой бригадира?

Теперь Евгений и Настя частенько вместе возвращались с завода, иной раз ходили в кино, на концерты, ездили в город на спектакли драматического театра.

Однажды по дороге он разоткровенничался и рассказал ей о своей обиде. Настя сразу замкнулась и отодвинулась от него.

— Не пойму я,— медленно сказала она.— Не пойму, дурак ты или сволочь?

Евгений вздрогнул, точно его ударили по лицу. Они продолжали путь молча. Простились холодно, и билеты на концерт знаменитого певца-земляка, которые Евгений с трудом выпросил у Нестерыча, оказались ненужными.

Слова крючочницы глубоко задели Сизова.

«Э-э-эх, нашел перед кем душу выворачивать!» — ругал он себя. В то же время где-то в глубине сознания зрело убеждение, что Настя, может быть, и права, хотя в этом и очень не хотелось признаваться. Разве Лузгин когда-нибудь загораживал собой своих друзей? Известность его

была лишь достойной оценкой его инициативы и его дела. Разве он не возился с Евгением, не помогал ему, не выдвигал его?

Да если говорить положа руку на сердце, Евгению принадлежала лишь мысль о толкателях, а конструкция явилась плодом коллективного творчества, и творчества, организованного именно Лузгиным.

Настя после этого разговора стала избегать Сизова. Не раз Евгений ловил на себе ее изучающий и как бы взвешивающий взгляд. Как-то он собрался с духом, догнал Настю и, не глядя ей в глаза, сказал:

— Сморозил я тебе тогда, Настасья, про Лузгина! Чепуха это.

— Слово не воробей, вылетит — не поймаешь,— ответила она и ускорила шаг.

— Говорить не хочешь? Ну и леший с тобой! Ломается! — с горечью выкрикнул Евгений, растерянно остановившись посреди заводского двора.

Несколько дней спустя он чуть было не поссорился и с бригадиром. Дело вышло так. В конце смены Федоров привел в кузницу незнакомого Евгению человека. Увидев его, Лузгин просиял, оторвался от работы, чего с ним никогда не случалось, и, сбросив рукавицы, обнял незнакомца:

— Семен Федорович, какими судьбами!

Они трижды поцеловались.

Все еще держа Лузгина за плечи, глядя на него, незнакомец сказал:

— Учиться к тебе приехал, Илья Афанасьевич!.. После твоей телеграммы, как только время вырвал, шапку в охапку — и сюда!

— Да что ты, Семен Федорович, тебе ли у меня учиться! Ты сам любого научишь. А гостю рад. Ты прости — металл стынет. Погоди до шабаша — обо всем наговоримся.

Евгений с удивлением наблюдал эту сцену.

Неожиданный посетитель не походил ни на журналиста, ни на рабочего, ни на инженера из тех, что нет-нет да и наезжали из дальних городов. Уже пожилой, он казался медлительным, неповоротливым. Лицо у него было грубое, красное, толстый нос испещрен сизыми жилками, над маловыразительными глазами возвышался высокий лоб с крутыми выпуклыми надбровьями.

— Семен Золин с «Красных Кулебак»,— шепнул Ваня, и Евгений с еще большим интересом принялся разглядывать приезжего.

После звонка бригадир подозвал Евгения и, легонько толкнув его к Золину, сказал:

— Вот, Семен Федорович, это и есть изобретатель... Ты, Сизов, покажи товарищу Золину нашу печь.

Золин был известен не меньше Лузгина. Они начали соревноваться еще осенью 1935 года. Удача попеременно улыбалась то тому, то другому, и, как бы подталкивая друг друга, они оба поднялись на высоту, о которой и сами не могли мечтать на Всесоюзном совещании стахановцев, где они познакомились и подписали свой первый социалистический договор.

Последний рывок вперед дорого дался Лузгину. Евгению казалось просто нелепым, невозможным вручать кулебакцам свое новое оружие.

— Да что тут пояснять, глядите,— буркнул он, подводя гостя к печи.

Лузгин, стоявший рядом, нахмурился и принялся сам объяснять устройство и работу толкателя. Но, так как в печи бушевало пламя и жар слепил глаза, показать механизм не удалось.

Бригадир отозвал Сизова в сторону:

— Сходи к Апту, попроси кальку с чертежом и принеси сюда.

— Чертеж... ему?

— Конечно. Чертеж лучше всяких объяснений.

— Да что ты, угорел, Илья Афанасьевич? Ведь они по чертежу в два счета печи по-нашему переделают.

— Правильно, по чертежу легче. Так ты Апта поторопи. Скажи, что я прошу. Золину ночью ехать обратно.— Лузгин сердито глядел на Евгения.— Ну, действуй!

Евгений все еще недоумевал. И вдруг, косясь на гостя, горячо зашептал бригадиру:

— Не пойду, слышишь?! Не пойду!

Глаза Лузгина округлились, потемнели. В них было теперь столько холодной, упрямой воли, что Евгений был принужден отвести взгляд.

— Нет, пойдешь, товарищ Сизов! — громко сказал он.

— Так ведь они же нас обштопают,— уже неуверенно возразил Евгений и посмотрел на стоящего рядом Петра, ища у него сочувствия и поддержки.

Нагревальщик предложил:

— Давайте, Илья Афанасьевич, я схожу.

— Нет, пусть он.

— Ну и ладно, и черт с вами... Жильтесь, коли охо-

та,— бубнил Евгений, медленно направляясь к начальнику цеха.

Он отчетливо услышал, как за спиной его Лузгин сказал с досадой:

— Мужицкая кровь! Все бы только себе да себе! Никак, Семен Федорович, из него мужика не выжмем.

Лишь через несколько дней, встретив Евгения в коридоре клуба, Лузгин остановил его:

— И совестно же мне, брат, за тебя перед Золиным было! Ну ладно. Кто старое помянет — тому глаз вон.

XIX

Успех окрылил бригаду.

Всем стало ясно, что мощность молота далеко еще не исчерпана. И Лузгин упрямо искал новых возможностей.

Он забирался в техническую библиотеку клуба и подолгу копался в журналах, рассматривая чертежи и фото новых молотов и ковочных приспособлений, измерял, прикидывал, о чем-то советовался и спорил с Аптом. В то же время он всячески старался распространить свои приемы. С помощью Жолобова написал в многотиражке статью «Ответ одному из немногих», прочел в клубе доклад о своих методах, организовал для кузнецов в воскресенье час показа приемов работы.

«Чего ему нужно? Чего? — недоумевал Евгений.— Разве не лучше, не почетней идти, оставив остальных далеко позади себя? Славы, что ли, ему не хватает? В газетах о нем мало пишут?»

Нет, газеты, похоже, не очень интересовали бригадира. Как он бранился, читая очерк «Рост», автор которого пространно расписывал его «серые, круглые, соколиные, светящиеся каким-то необычайным огнем, суровые и вместе с тем добрые, почти детские глаза», «тяжелый энергичный подбородок, подбородок, говорящий о мужестве, силе и неукротимой воле».

— Ну как, «соколиные глаза», идет работа? — шутил, заходя на участок, Федоров.

— Соколов они никогда не видали,— сердился Лузгин,— вот и пишут!

— Но, но, но, Илька, перед кем душой кривишь! Что ж, ты для расчетной книжки, что ли, все кузнечное дело переворачиваешь? Эх ты, «человек с мужественным под-

бородком»! Знали бы вы, ребята, как я по делу своему скучаю! Утром гудок — вскочу да в коридор, где спецовка висит. А жена: «Куда, вон твой костюм на стуле. Вчера выгладила...» А ну, Женька, дай-ко за тебя крюком помашу...

И, сбросив пиджак, парторг вставал к молоту на место Евгения и работал, пока тот не отбирал крюк.

— Когда только вы меня переизберете! — говорил он Лузгину, поблескивая веселыми глазами.

— Ничего, послужи партии,— ответил тот.— Партии служить — великое дело.

— Да служу, служу, а от кузницы вот отвыкаю. Квалификация уходит.

— Ты не Нестерыч. Портфель отберем — сразу нас догонишь,— успокаивал парторга Кухаров. Старик ко всем относился покровительственно, всех поучал, и все, как заметил уже давно Евгений, эти его поучения принимали и признавали за ним право на снисходительный тон.

Как-то в обед на участок зашел рыжий прессовщик. Смущенно покашливая и улыбаясь, он похвастался:

— Поздравь, Илья Афанасьевич, вчера по-твоему работнул! Двести процентиков! Больше бы дал, кабы проклятый пар не садился каждую минуту.

— Чудак человек! Проценты! На этот счет Кухаров у нас как-то здорово сказал. Человек, говорит, как дерево: покуда растет, потуда и прям, и крепок, и никакая плесень его не возьмет; а как расти перестанет, сейчас и дупло, и гниль, и ветки к земле.

Евгению, слышавшему этот разговор, понравилось сравнение. Он даже постарался запомнить его, чтобы употребить при случае. Он видел: стоять на месте — значило теперь отставать.

Он возвращался с работы, раздумывая об этом. Незаметно подошел к дому и вздрогнул, когда из-за палисадника навстречу выскочил Парадокс. Он не залаял, а, остановившись около Евгения и смотря на него вытаращенными базедическими глазами, завилял обрубком хвоста. Значит, где-то здесь Пороцкий. Встречаться и говорить с ним не хотелось, но и отступать было поздно. Своей журавлиной походкой клубник уже шагал навстречу. Улыбаясь, он протягивал руку, держа в другой продолговатый, обвязанный бечевкой сверток:

— Привет, маэстро! Наконец-то! Меня твоя хозяйка только что выставила. Напрасно я метал к ее ногам цве-

ты красноречия. Почтенная матрона надменно отвергла мои искания, захлопнув дверь перед самым носом.

Константин Павлович, по обыкновению, паясничал. Но в голосе его слышалось новое, непривычное. Не было в нем прежней самоуверенности и снисходительности.

Евгений, желая окончить разговор тут же, остановился, не заходя в дом. После гибели Жоржа он не видел Пороцкого, и слова погибшего не шли у него из головы.

— Что молчишь? Или Лузгин велел старых друзей в шею гнать? А? Дескать, людям знаменитой бригады не к лицу знакомство с алкоголиками? У них, дескать, знакомые должны быть одобренные свыше, трезвенники, не пьющие ничего, кроме молока?

Евгений удивлялся: как это он не замечал раньше, сколько деланного, наигранного в этом человеке? Клубник был ему теперь неприятен, каждое слово раздражало.

— Так что же? Выходит: очень прошу вас от моего дома? Так, что ли?

— Чего вам надо?

— Вам?.. Уже и «вам»?

— Ладно, заходите.

Домохозяйка Анна Федоровна знала, что посещения Пороцкого никогда добром не кончаются. Она проводила жильца и гостя осуждающим взглядом.

Пороцкий был действительно чем-то расстроен или встревожен. Он шагал по комнате широко и бесшумно, потом уселся у стола и, думая о чем-то своем, стал часто подрыгивать ногой. Стол от этого покачивался, и раздражающе нудно дребезжала на нем чертежная линейка.

— Оставьте,— мрачно сказал Евгений.

— Психопатом стал? Быстро. Другие дольше держатся! — выкрикнул было Пороцкий, но тут же спохватился и расплылся в добродушной улыбке: — А кто говорил тебе, что твои калоши счастья стоят не в кузнице, а на эстраде, на сцене, залитой огнями софитов?

Он опять задумался и лишь изредка бросал на Евгения испытующий взгляд, словно желая и не решаясь начать важный разговор. Что-то произошло в эти дни с клубником. Он опустился, постарел, лицо осунулось, синеватые мешки нависли под глазами. Уголки губ подергивал нервный тик. Казалось, что Константин Павлович все время невесело усмехается.

— Я бы не стал тебя беспокоить, но у меня просьба, маленькая просьба,— вкрадчиво начал он.— Тут вышло

одно... ну... досадное недоразумение. Для выяснения мне придется ненадолго выехать... Уехать в Москву... Видишь, какое дело... А тут без меня может приехать Владимир Платонович... Помнишь, я познакомил вас в Новый год? Он еще так восторгался твоей игрой... Я тебя прошу передать ему этот сверток... тут книги, всякая ерунда... Я ему оставил твой адрес... И все... Да, и все... А то как-то неудобно: придет человек за книгами, а... Передашь?

— Что ж, передам,— ответил Евгений и добавил: — Передам, пожалуй.

Пороцкий внимательно следил за ним, все еще не отдавая свертка. В холодном и вместе с тем беспокойном взгляде его костистого лица действительно было что-то хищное, кошачье. Сизову опять вспомнился Жорж Решетов, последний разговор в сквере в метель, тоска и предостережение, прозвучавшее в словах покойного монтера: «Когти! Какие у него когти! Пусть попробует!»

Чтобы нарушить тягостное молчание, Сизов сказал:

— Жорж-то, а... Жалко...

— Таков конец всех психопатов...

Досада и пренебрежение, с которыми это было сказано, взорвали Евгения:

— Психопат! А ты кто? Ты во сто раз хуже... Обмылок!

Пороцкий побледнел, верхняя губа у него задергалась часто-часто. Казалось, в нем происходит какая-то мучительная борьба. И он не сдержался, с ненавистью затряс перед носом Евгения крепкими костлявыми кулаками:

— «Обмылок»! И тебя я считал человеком! Тебя я любил... тебе прочил будущее! У Лузгина на запятках примостился — и рад бесконечно. Свершение мечты! Рационализатор! И к этому... к этому типу я хотел обратиться в тяжелую минуту... Все вы одинаковы... Ах, как все противно, мелко, пошло... Черепами таких идиотов Лузгины и мостят себе дорогу к славе...

— Прощай... те,— тихо сказал Евгений, двигаясь на Пороцкого, тесня его к двери.

— Гонишь?..

— Прощайте...— угрожающе повторил Евгений.

Пороцкий отступил к порогу:

— Ну, ну, будет... С тобой и пошутить нельзя. Порох! Я готов принести извинения. Погорячился.

Сизов сделал еще шаг, но рыжий бульдог, рыча и скаля свои страшные клыки, встал между ними. Пороцкий

выскользнул за дверь. Уже оттуда, из прихожей, послышался его взволнованный голос:

— Парадокс, сюда!

Парадокс хмуро глянул на Евгения, потом неторопливо повернулся, открыл лапой дверь и выскочил в коридор.

«Смелая скотина, не в хозяина!.. А с тем что?.. Проворовался? Накрыли?» — подумал Евгений.

XX

Оставшись один, он сразу обмяк, ослабел, почувствовал себя усталым и одиноким. Попробовал читать — не читалось. Поговорить было не с кем. «В клуб схожу»,— решил Евгений и стал лениво переодеваться.

Кто-то легонько постучал в дверь.

— Можно к вам? — спросил детский голос.

— Давай, давай! — обрадовался Евгений.

Вошел Виктор — сынишка Анны Федоровны, аккуратный, рассудительный паренек лет двенадцати. Он унаследовал от матери любовь к порядку. Даже пионерский галстук был у него тщательно выглажен. Раньше, когда Евгений возвращался под хмельком, то частенько ловил на себе осуждающий взгляд Виктора. Мальчик всеми доступными средствами выказывал беспутному жильцу свое пренебрежение. Но с тех пор, как Сизов стал работать у Лузгина, Виктор круто изменил к нему свое отношение.

— Вы, может, спали? — вежливо осведомился он.

— Какое спал... Скучаю, Витька, вот что!

— Скучно?

— Ну да. Не понимаешь, что ли?

Виктор был польщен. Жилец говорил с ним, как со взрослым.

— Скучно, так пошли на каток! Сегодня оркестр. Фейерверк.

— На каток?

— Ну что вам стоит, пойдемте! Хоть на полчасика. Ладно?

— Я и кататься-то разучился. Да и коньки загнал.

— Напрокат возьмем. Там теперь какие хотите: норвежки, гаги, трехполозки даже есть. Ну пожалуйста!

Пока Виктор добывал коньки, Сизов сидел в теплушке среди веселой сутолоки.

Когда вышли на лед, Евгений понял, что ездить он раз-

учился: ноги разъезжались, противно дрожали колени; чтобы сохранить равновесие, приходилось балансировать руками.

С трудом сделав несколько кругов, он устал и уселся на скамейку, жадно вдыхая чистый морозный воздух. Люди плавно скользили по гладкому, тускло мерцающему льду. От непривычного мелькания разноцветных фигур начинало казаться, что конькобежцы стоят, а скамейка, на которой сидит Евгений, бесшумно движется им навстречу, и звезды сверкают, как снежные искры.

Сколько знакомых! Точно весь завод встал в эту зиму на коньки. Может, и Настя тут — она как-то говорила, что иногда катается. Он стал вглядываться в двигавшихся мимо него людей.

Вот на беговой дорожке показался Ваня. В черном трико он выглядел подтянутым и стройным. Ваня пронесся мимо, и сталь норвежек прошипела, точно заряженная электричеством.

Об руку с мальчуганом едет Апт. Старомодный шерстяной шлем с помпончиком обтягивает голову инженера. Ноги в гетрах до смешного тощи. Но катается он ничего, и мальчик едва поспевает за ним. Должно быть, это и есть Лесик, о котором говорила Люда Лузгина.

По-мальчишески размахивая руками, бежит маленькая электрокарщица Наташа. Складная фигурка в красном фланелевом костюме скользит по льду, как резиновый мячик. За ней по пятам, как тени, неотступно движутся два высоких парня в темном трико.

В одном Евгений узнает секретаря общезаводского комсомольского комитета Забруду, в другом — фельетониста заводской многотиражки, подписывавшего свои произведения, в память о прежней профессии, звучным псевдонимом: «Як. Литейный».

Проезжая мимо Сизова, Наташа резко затормозила. Ее спутники, не ожидавшие такого маневра, налетели друг на друга и вместе упали на лед.

— От неповоротливая колокольня! — сердился Забруда, трогая ушибленное колено.

— Ни в каких случаях не рекомендуется терять голову, товарищ комсомольский секретарь,— язвит Як. Литейный, и оба вновь устремляются за электрокарщицей, красный костюм которой мелькает уже на другом конце катка.

А Насти, должно быть, нет.

Скрестив руки, осторожно движутся по внутреннему

кругу супруги Кузнецовы. Завидев Евгения, Аяксы выходят из круга и подъезжают к нему. Усевшись рядом, раскрасневшиеся, свежие, заиндевевшие, они забросали его вопросами:

— Здорово тебя на Новый год Валька разыграла? Тореадор пел петухом. Умора! Ты куда опять пропал?

— Что тебе за твое предложение дали?.. Две тысячи?.. Велосипед? А мы с Костей тоже велосипеды решили купить. Вместе кататься будем. Идет?

— Говорят, вы обязались семьдесят осей ковать?

Маленький Виктор сделал около скамейки круг, два, три, лихо вычертив на льду восьмерку, проехался «пистолетом», пронесся «ласточкой». Евгений увлекся беседой и не замечал его.

Аяксы дружно уговаривали Евгения снова серьезно заняться музыкой.

— Вот Мишка Павлов пишет из Москвы. Учится на подготовительном отделении консерватории... Ну что ж, что на подготовительном. У них все равно знаменитые профессора преподают. Доволен — спасу нет! И что ты думаешь — будет пианистом! А у тебя способности хуже Мишкиных, что ли?

— Он в каждом письме все о тебе спрашивает. «Что ж, пишет, Сизов-то все пьет?»

Валя спохватилась и прикусила язычок.

— Нет, с этим кончено,— улыбаясь ответил Евгений.

Последние месяцы ему как-то не хотелось и думать о музыке. С ней были связаны неприятные воспоминания: вздорные мечты, дружба с Пороцким, выступления на домашних вечеринках за плату и угощение, водка, игра в любовь с девушками, имена которых забывались на следующий же день,— словом, все, от чего он теперь так старался очиститься...

Но в самом деле, какое вся эта накипь имела отношение к музыке?

Прощаясь с Аяксами, он обещал завтра же пойти в клуб и поговорить с преподавателем.

XXI

Странный сон видел Евгений.

Снилось ему, будто они с Настей едут на электрокаре через поле зрелой пшеницы. Дорога узка. Тучные колосья,

наклоняясь под собственной тяжестью, хлещут их по ногам. Евгений старается вести кар прямо, не мять пшеницы, но кар кидает из стороны в сторону.

Настя торопит, тревожно поглядывая вдаль, где за желтыми переливающимися волнами видны контуры каких-то зданий. Что это за здания — Евгений не знает, но нужно добраться до них как можно скорей.

Вдруг Настя оборачивается. Ее лицо искажено ужасом.

— Смотри! — кричит она.

Над полем возникает Жорж Решетов, какой-то нереальный, точно нарисованный углем на полотне, которое колеблется. Он преграждает дорогу и, широко расставив руки, кричит:

— Вы думаете, меня убило током? Ошибаетесь! Никаким током не убьешь Егорку Решетова! В ателье мод мне сшили новое лицо, и вам от меня не скрыться.

— Не подпускай, не подпускай его! — молит Настя.

Ужас охватывает Евгения. Едва шевеля губами, он говорит:

— Беги! Беги одна!

Но она не бежит. Она прижимается к нему и шепчет, глядя в глаза:

— Не брошу тебя... не брошу...

Страх проходит, Евгений привлекает к себе Настю... Но небо разрывает молния, раздается треск, все смешивается, несется вниз...

Евгений открыл глаза и долго лежал без движения, боясь шевельнуться. Потом, осторожно оглянувшись, он увидел на полу будильник, валяющийся среди осколков стекла.

Все утро Евгений находился под впечатлением сна.

«Нет, надо наконец поговорить с Настей. Нельзя же, чтобы из-за одного кривого слова все ломалось. Ну, болтнул сгоряча, ну, глупость сморозил. Так что? Эх, Евгений Иванович, Евгений Иванович, невеселые, скажем прямо, у вас дела!»

Снаряжаясь на работу, он тщательней, чем обычно, расчесал у зеркала жесткие кудри, критически потер ладонью подбородок и ругнул себя за то, что вчера поленился зайти в парикмахерскую. Перед самым уходом вдруг обнаружил, что воротник рубахи грязноват. Начал переодеваться. Из-за этого пришлось бежать на завод галопом. В цех он влетел за несколько секунд до звонка, когда все были в сборе.

В этот день Евгению не везло: не удалось перекинуться с Настей даже и словом. В перерыв ее зачем-то вызвал Федоров. А после работы Лузгин взял Сизова под руку и повел к Апту. Здесь с полчаса обсуждали, как устраивать толкатели к печам на других участках. Евгений был рассеян, то и дело поглядывал на часы, в беседе почти не принимал участия, на вопросы отвечал невпопад.

— Не рано ли, молодой человек, приобретать профессорскую рассеянность? — спросил инженер, выведенный наконец из себя каким-то нелепым ответом Евгения.

Вырвавшись наконец от Апта, Сизов бросился к детским яслям. Расчет был таков: здесь он «случайно» встретит Настю, когда та зайдет взять сынишку.

К яслям Евгений прибежал все-таки рано. Он прошелся вдоль здания и от скуки заглянул в одно из окон. Незнакомый, странный мир открывался ему за полотняными занавесками, расшитыми изображениями забавных зверушек. Виднелся угол комнаты, маленькая, но сделанная прочно и всерьез мебель. За столиком сидел большеглазый, головастый мальчуган. Он старательно откручивал ногу кукле. Два карапуза, стоя возле, с интересом следили за операцией. Евгений поднялся на цыпочки, прильнул к стеклу. Но девушка в белом халате подошла к окну и бесцеремонно задернула занавеску.

Ждать пришлось долго. Замерзли ноги. Холод пробирался под пальто. Подбородок начал дрожать. Насти все не было. Чтобы не попадаться знакомым на глаза, Евгений отошел к афишной доске. От нечего делать он принялся читать объявления: «Завтра в большом зале клуба будет утренник, посвященный столетней годовщине со дня смерти Пушкина», «Отделу кадров срочно требуются сорок токарей, двадцать литейщиков, пять автогенщиков, а также столяры и неограниченное количество чернорабочих», «В малом зале клуба, на научно-технической конференции инженеров, профессор Кириллов читает лекцию о применении новых методов электросварки в машиностроении», «Вечером на заводском катке встретятся хоккейные команды общества «Дзержинец» и «Буревестник», «В цеховых комитетах идет предварительная запись на концерт Давида Ойстраха», «Инженер Крюков желает обменять вполне благоустроенную квартиру, с ванной, с газом, на две хорошие комнаты в разных районах».

«Разводишься, брат Крюков? — иронически сказал Сизов, дочитав объявление.— Спрашивается, для чего же ты,

инженер, женился? Шляпа ты, шляпа!» Евгений устало посмотрел вдоль опустевшей улицы и вдруг проворно нырнул за афишную доску.

По дороге спешили супруги Кузнецовы. Они скрылись за дверями яслей. Через некоторое время они появились уже втроем — с сыном. Как ни странно, Аяксы ссорились.

— Я тебе говорю, что так его обязательно простудишь! Такой мороз, а у него лицо открыто! Сейчас же завяжи шарфом! Слышишь?!

— Костенька, ну отстань! Ты же ничего не понимаешь. Ты никудышный отец и молчи, молчи, молчи... Ребенок должен закаляться. Кому нужны неженки...

Евгений проводил Аяксов завистливым взглядом. «Этим вот не понадобятся две комнаты в разных районах... Но где же Настя? Куда она девалась?»

Каждая женская фигура, возникавшая в вечерней мгле, заставляла сердце тревожно биться. Чем дольше длилось ожидание, тем сильнее хотелось ему увидеть Настю. Хотя бы только увидеть! Посмотреть издали и, не сказав ей ни слова, уйти. Или, может быть, не попадаясь ей на глаза, в молчаливом отдалении проводить ее с сыном до дома...

Когда зажглись огни, Евгений решил, что Настя, вероятно, оставила Андрейку в яслях на ночь. Он направился к ее дому. В знакомом окне четвертого этажа было темно. Куда же она могла деться? Не случилось ли что с ней? Или, может быть, гуляет с кем-нибудь?.. Гуляет? С кем?

Евгений заглянул в заводской профсоюзный комитет, пробежал по ярко освещенным залам универмага, по коридорам заводского клуба. Насти нигде не было.

Отчаявшись, он зашел в клубную библиотеку, взял последний номер «Кузнечного дела» и грустно побрел в читальню. Но, едва переступив порог, замер, чувствуя, как горячая кровь бросилась в лицо: в дальнем углу, у окна, занавешенного тяжелой портьерой, в кресле сидела Настя. На ней было то самое голубое платье, в котором Евгений видел ее во сне. На коленях лежала раскрытая книга. Она не читала. Она смотрела перед собой и чему-то улыбалась.

Евгений тихо подошел к ней. Уселся в соседнее кресло и с притворным равнодушием спросил:

— О чем думаем?

Настя вздрогнула. Глаза вспыхнули удивленно, радостно. Книга соскользнула с колен, с глухим стуком упала на толстый ковер. Но молодая женщина умела владеть собой:

— О чем? Так, вообще. Много будешь знать — скоро состаришься.

В читальне можно было говорить только шепотом. Чтобы не тревожить читающих, им приходилось наклоняться друг к другу. Как и во сне, Евгений чувствовал на лице теплое дыхание Насти. Ее волосы щекотали ему лоб, щеки. Евгений слышал — именно слышал,— как напряженно, отчетливо бьется его сердце.

Чтобы отвлечься, успокоиться, он поднял с ковра и стал листать книгу, которую уронила Настя.

— «Госпожа Бовари»,— прочел он заглавие.— Не лень тебе время тратить?

— Тратить? Ты, парень, здоров?

Настя вырвала книгу.

— Факт. Ну скажи, какое тебе дело до этой госпожи? Пусть барышенки из расчетной конторы насчет разных госпожей читают. Ты, слава богу, ведь...

— Слушай, ты что, разыгрываешь меня или серьезно?

Сидевший рядом худенький чернявый человек иронически прислушался к их разговору. Потом он недовольно сказал:

— Товарищи! Вы в читальне.

— Нет, ты серьезно? — приглушенным шепотом настаивала Настя. Ее лицо, еще минуту назад такое ласковое, домашнее, стало холодным, чужим. Она едва сдерживала гнев.— Какое мне дело до судьбы Эммы Бовари? А разве я не должна знать, как люди раньше жили? Вот читаешь о ней, об этой Эмме,— думаешь: какая это хорошая была бы женщина, живи она с нами, сейчас!.. Тебе сколько лет?

— Ну двадцать один.

— А мне двадцать два... Что мы с тобой о прежней жизни знаем? Вот скажи, а что ты думал, когда читал «Госпожу Бовари»?

— Ничего я не думал. Экое дело... Далась тебе эта госпожа!

Настя подозрительно посмотрела на Евгения:

— А как тебе Шарль нравится?

— И Шарль барахло.

— А кавалер де Грие? — угрожающе спросила крючочница.

— И кавалер твой то же самое.

— Ты, Сизов, трепло! Трепло и... как это... и невежда. Кавалер де Грие — это из «Манон Леско». А ты «Госпожу Бовари» даже не читал. Ну признавайся: не читал? Да?

Читавшие давно уже оторвались от книг, опустили газеты. Кто с досадой, кто с интересом, кто с насмешкой, следили они за спором. Евгений понимал, что смеются именно над ним.

— Ну, не читал — и читать не буду. Что ты пристала, как репей к собачьему хвосту?

Настя холодно посмотрела на него, поднялась и ушла.

XXII

На следующий день на Пушкинском утреннике Евгений сидел один. Пустой стул справа напоминал о вчерашней ссоре. Он недосмотрел программы. Скучая, погонял в одиночку шары в биллиардной, посмотрел картинки в журналах, а потом зашел в клубный буфет закусить перед работой. Тощий буфетчик от нечего делать разгадывал ребусы в детском журнале. В углу, за столиком, заставленным пивными кружками, мастер Федор Федотович Федоров неторопливо, со вкусом сосал пиво.

— Милости прошу к нашему, как говорится, шалашу! — приветствовал он Евгения.

Сизов подсел к его столику. Мастер оказался яростным «болельщиком» заводской команды. Он с горечью и досадой рассказал, как вчера на катке «никчемушная, пустяковая» хоккейная команда «Буревестника» с большим счетом победила заводских хоккеистов, всю зиму державших первенство города.

— И Ванька Овцын играл? — спросил Евгений, оживляясь.

— Километр? Ну как же! Он, как говорится, в сердцах даже клюшку сломал. Как дернет об лед — она в щепки...

Евгений вскочил было, чтобы найти и как следует «разыграть» Ваню, но Федор Федотович помянул о Насте, и Сизов остался. Ему было приятно хотя бы слышать ее имя.

— Что же к нам не заглядываешь? Ай у вас распаялось с Настасьей-то Ниловной? — спросил мастер, поднимая новую кружку и просматривая ее на свет.

Он сдул с пива пену, понюхал его, посолил краешек кружки и, вытерев ладонью рот, стал медленно пить, смакуя каждый глоток. Выпив половину, он отставил кружку и развалился на стуле, довольно отдуваясь.

— Знатно!.. Так, стало быть, распаялось?.. Вот она ка-

кая, жиличка-то наша, Настасья Ниловна... Кремень! У нее первое дело прынцип, и второе прынцип, и третье дело опять же прынцип... Королевна-девка!

Мастер бросил в рот несколько горошин, моченных в соленой воде, погладил лысину, опушенную венчиком мягких седых волос, торчащих в разные стороны.

— Вот бывают такие. Прынцип — и никаких гвоздей... Она ради прынципа отца-мать не пожалела. Вот. Вы, может, молодой человек, полагаете, что я выпил? Спаси бог! Вот я вас спрошу: почему она здесь, у нас на заводе, а не у себя, как говорится, в сельской местности, то есть в колхозе «Червонный шлях»? Вот догадайтесь... Колхоз их, говорят, богатеющий и весьма в своих краях знаменитый...

Федор Федотович опять принялся за пиво. Евгений с нетерпением следил, как медленно убывает в кружке густая янтарная влага и как перекатывается кадык мастера.

— Из-за прынципа — вот из-за чего! — сказал наконец Федор Федотович, отдуваясь и ставя кружку на стол.— Это, я вижу, для вас животрепещущий вопрос. Да? Хорошо, поясню. Произошло это потому, что ее папаша и мамаша, весьма почтенные колхозники, один-единственный раз поперечили ей в женском вопросе. А у Настасьи Ниловны — прынцип. Она на дыбки. «Ах, у вас такие мнения? Я сама себе голова. До свидания». Платьишки в узелок, мыльницу в карман — да в город... Вот она какая, наша жиличка, Настасья Ниловна! Вот она какая баба, или, вернее говоря, женщина...

— А Андрейка-то у нее от кого?

Федор Федотович не ответил. Он молча рассматривал узоры на тяжелой кружке.

— Сын-то у нее чей?

— А это, молодой человек, у ней и спроси, раз тебе это, я вижу, интересно. Я, брат, всю жизнь не любил тех, кто в чужой горшок нос сует...

И как Евгений ни хитрил, в какие далекие обходы ни пускался, так и не удалось ему ничего больше выведать о Настином сыне.

В конце концов старик даже рассердился:

— Чего ты вокруг меня петляешь, как дипломат?.. Чудные вы все какие-то. Я как на твоем месте сделал? Я занял у приятеля на денек сапоги со скрипом, нову сатинову рубаху надел, в карманы конфет-пряников напихал и явился к своей Нюшке. Вот, мол, Анна Ивановна, весь как есть тут. Гляди. Хошь мою руку и сердце — вот они,

бери навек... И что, плохо, что ль, вышло? Скоро золотую свадьбу справлять будем, шестеро детей. Старший — полковник, при орденах. Второй с Лузгиным до тебя работал, теперь у вас партийная власть. Большой человек!

— Это Федоров?

— Ну да. Знаешь его? Ну то-то. Здешнего заводского корня человек. А дочь Ленка — эта докторицей в нашей амбулатории. И остальные все при деле... Вот как надо-то, молодой человек! Любишь — так чего в прятки-то играть? А то и петляют, петляют друг возле друга, как зайцы какие... А сын-то, парторг который, он тебя знает, он из-за тебя Илье Афанасьеву, Лузгину-то вашему, полдюжину пива проиграл.

— Пива? — удивился Евгений.

Старый мастер явно смутился. Он постучал по столу и сказал буфетчику:

— Давай подсчитай мои убытки... Заболтался с тобой, молодой человек, Нюша-то моя, наверно, заждалась с обедом... Ох, она на этот счет строга! Дисциплину любит. Пей, а закусывать домой являйся.

— Нет, погоди, погоди... Как проиграл? На спор, что ли?

Вконец смущенный старик заторопился к выходу:

— Ну что пристает! Ну, сболтнул я лишнего. Я человек в возрасте, имею на это право. Ты лучше о Настасье, о Настасье думай, а то уведут из-под носа, и разводи после руками...

Евгений долго сидел у стола, размазывая пальцем по стеклу пивную лужицу. Жениться на Насте! Разве это возможно?

Он уже отдавал себе отчет, что любит эту гордую, своенравную женщину, любит по-настоящему, первый раз в жизни. Чувство это было для него новым и нисколько не походило на те мелкие, случайные радости и волнения, которые доводилось испытывать во время своих прежних увлечений поселковыми девушками, знакомыми по домашним вечеринкам, по клубу и катку. Новое чувство было тревожным, требовательным.

Где бы ни бывал теперь Евгений, оно, это чувство, все время жило в нем. Оно не покидало его даже во сне, и образ Насти — образ, обобщенный в каких-то мимолетных подробностях,— в быстром взгляде синих глаз, суровых и ласковых одновременно, в звучании ее низкого голоса, в легком прикосновении ее большой, сильной, с загрубевшей

ладонью и шершавыми пальцами руки, в подвижности лица, на котором покой и ласку мгновенно могли сменить непреклонность и гнев,— все это жило в нем теперь день и ночь.

И где бы что бы он теперь ни делал, независимо от того, была Настя рядом или нет, ему хотелось сделать так, чтобы это ей нравилось, чтобы вызвать ее ободряющую улыбку.

При всем этом Евгений ни разу не подумал о женитьбе. Это не приходило даже в голову, и то, о чем старый мастер сказал так просто, так естественно, потрясло его настолько, что, покидая буфет, он даже забыл на столике томики Флобера и аббата Прево, взятые в библиотеке.

В самом деле, неужели он может жениться на Насте?

XXIII

В один из следующих дней работа бригады Лузгина особенно ладилась.

До обеда отковали тридцать три оси и, радостно переживая удачу, веселой гурьбой двинулись в столовую. По пути подшучивали над Ваней, над его провалом на хоккейном поле в состязании с «Буревестником», над его интересом к электроремонтному цеху, появившимся с тех пор, как там обосновалась коварная практикантка Зоя.

Когда подавали второе, в столовую вошел Федоров. Парторг был чем-то расстроен и даже не скрывал этого. Он поднял волосатую руку и, ожидая, пока установится тишина, стоял, закусив нижнюю губу, нахмурив свои тронутые оспой брови.

— Товарищи! Ребята! — сказал он, и в голосе его было что-то такое, что сразу водворило тишину в огромной шумной столовой.— Большое несчастье! Получено правительственное сообщение: сегодня в пять часов умер наш народный комиссар Григорий Константинович Орджоникидзе. Товарищ Серго.

Кто-то уронил на пол ложку, и этот звук заставил всех вздрогнуть. Люди начали вставать. Те, кто был в кепках, обнажили головы:

— Как же так? — прошептал Лузгин.

— Умер! — сдавленным голосом сказал Кухаров и пошел из столовой.

Все потянулись за ним в цех молча, встали по местам.

Когда первая заготовка легла на наковальню, Евгений сразу же почувствовал, что привычный ритм нарушен. Заготовки застревали в печи дольше, чем полагалось. Откованную ось долго не могли положить на вагонетку. Бригадир хмурился, искал метчик, который лежал тут же под рукой. Даже когда Ваня ухитрился уронить заготовку, он ничего не сказал и только покачал головой.

Смену закончили кое-как.

Митинг собрался у новосборочного корпуса, на площади, освещенной косыми лучами прожектора. Молчаливая, необыкновенно тихая толпа окружила грузовик-трибуну. Было холодно. Резкий, порывистый ветер срывал дым с заводской трубы, смешивал его с колючим снегом, бросал в пасмурные лица и точно солил шапки, плечи, платки сухими кристалликами.

Секретарь парткома, прочитав правительственное сообщение, предоставил слово Илье Афанасьевичу Лузгину. Кузнец влез в кузов, стащил с головы ушанку, подошел к микрофону, поставленному на крыше кабины, и тихо, будто беседуя с кем один на один, сказал:

— Вот тут читали траурное сообщение... А я, товарищи, вот не могу... ну не могу, и все... представить. Товарищ Серго — и умер!.. И в голове никак не уложишь...

Лузгин насупился. С минуту постоял, комкая в руках ушанку. Сотни людей молчали вместе с ним.

Тишина была такая, что было слышно, как вдалеке на высокой ноте звенит электростанция, погромыхивает на какой-то крыше оторванный лист железа, как шуршит гонимый ветром сухой снег.

Кузнец хотел еще что-то сказать, но только махнул рукой и тяжело спрыгнул с грузовика.

Ораторы сменяли один другого, а Лузгин все стоял возле машины с шапкой в руках. Снегом запорошило его белокурую голову.

Кухаров тихонько взял ушанку из его рук, отряхнул и надел ему на голову.

Но на следующее утро Лузгин пришел на работу спокойный, собранный, как всегда. Только лицо было бледнее обычного.

— Вот что, товарищи,— сказал он.— Я не видел человека, который понимал бы настоящую работу лучше, чем товарищ Серго. Так давайте почтим его память. Начали. Петр!

После смены парторг Федоров отнес в заводскую мно-

готиражку рапорт. Новая кузница в этот день дала необыкновенно высокую выработку. Бригада Лузгина, как всегда, была на первом месте. Она отковала на четыре оси больше, чем обычно.

Лузгинцы работали в утренней смене и к часу уже разошлись по домам. Остался только Сизов. Он уже несколько дней носился с мыслью о новом способе зубрения крюков. Применявшаяся раньше горизонтальная насечка казалась ему теперь неудобной: заготовки скользили. Ее заменили косой насечкой — скольжение уменьшилось, но заготовку стало сбивать в сторону. Евгению пришла в голову мысль вызубрить крюк крестообразно.

Когда в цехе остались только уборщики, смывавшие с помощью шлангов гарь и грязь с плитчатых полов, Евгений нагрел крюки, взял зубило, молоток и принялся за дело. К выходу дневной смены крюки были готовы. Он объяснил сменщику, в чем дело, и стал следить за его работой. В случае неудачи ему серьезно могло попасть за такую самовольную рационализацию, но сменщик весело кивал головой и, когда десятая ось упала на вагонетку, крикнул:

— На ять! Вот удружил! Упор верный, в сторону не ведет. Теперь куда способнее. Спасибо!

— Я думаю! Чай, понимаем в редьке вкус,— снисходительно сказал Сизов.

Он направился домой удовлетворенный. У самых ворот его догнал председатель цехового комитета.

— Погоди, ты мне нужен! — кричал Нестерыч.— Фу! Вот и ладно, что повстречал. К нам на сегодняшний день прибыли эти... как их... киношники. Желают снять для кино вашу бригаду в целом, в процессе работы. Так вот цеховой комитет поручает тебе, товарищ Сизов, немедленно собрать людей и возлагает на тебя ответственность за своевременную стопроцентную явку...

Евгений не заставил себя просить. Он бросился к Лузгину. Воображение уже рисовало приятнейшую картину... Вот гаснет свет. На экране он, Сизов, работает, движется, говорит. Кто-то из соседей заметил его в зале. Слышится шепот: «Где? Который? Неужели этот самый?» Все смотрят то на него, живого Сизова, то на экран, на его изображение. Здорово, что там ни говори! Лихо!

У Лузгина долго не открывали. Евгений жал кнопку звонка еще и еще. За дверью глухо бубнило радио. «Никого! Неужели съемки сорвутся?»

Евгений начал стучать в дверь кулаком. Только тогда послышались шаги.

Наконец-то!

Открыла Люда.

— Илью Афана...— возбужденно начал Евгений, но девочка прервала его:

— Ш-ш!.. Чего кричите? С Красной площади похороны передают... Ну, входите, что ли. Тихо только.

В пальто, калошах и шапке Евгений на цыпочках прошел в угловую комнату, где он еще не бывал. На этажерке с книгами стоял радиоприемник. Вокруг него собралась вся семья.

Лузгин сидел верхом на стуле, положив подбородок на спинку. Он едва кивнул Евгению, продолжая смотреть прямо перед собой. Евгений забыл, зачем пришел. Он замер у двери, слушая глуховатый голос диктора.

И он представил во мгле косо летящего снега Красную площадь, Спасскую башню, Мавзолей, сизые ели, фигуры руководителей партии, правительства.

— Шапку снимите, шапку! — сердито шепнула Люда. Евгений вздрогнул, с трудом проглотил теплый комок слюны, стащил с головы шапку, смял, сунул в карман.

Он отчетливо слышал, как громко рыдает женщина. Неужели это оттуда, с Красной площади? Он вытер глаза и увидел, что на кровати, уткнувшись в подушку, плачет Мария Алексеевна. Игорь и Вовка со страхом смотрели на плачущую мать.

Но особенно поразило Евгения лицо Лузгина. Оно точно окаменело. Глаза упрямо, неотрывно смотрят в одну точку.

Евгений наклонился, шепнул нерешительно:

— Там кинооператоры приехали, Илья Афанасьевич! Нас снимать хотят. Нестерыч говорит — для какой-то картины, что ли... Торопятся...

Лузгин не ответил. После долгого молчания поднял на Евгения непонимающий, усталый взгляд:

— Какие операторы?

Он встал, заходил по комнате, слушая грохот салюта и траурную, похоронную музыку. Потом выключил приемник, обернулся к Евгению:

— Вот был человек! Ты понимаешь, Сизов, не успели мы тогда сорок осей отковать, через пару часов за мной из заводоуправления бегут: телеграмма наркома. Оси еще не остыли, а он поздравляет, вызывает в Москву, к себе.

Мускулы на лице бригадира дрогнули. Лузгин резко отвернулся к окну, забарабанил по стеклу пальцами. Евгений переступил с ноги на ногу. Скрипнула половица, Лузгин резко обернулся и вдруг накинулся на него:

— Ну, чего тебе? Чего ты стоишь? Какие там киношники? К чему?

XXIV

Чем больше Сизов узнавал Лузгина, тем крепче привязывался к нему. И все же семя, брошенное Пороцким, неожиданно дало ростки. Нет-нет да и приходили на ум слова о том, что Лузгины шагают к славе по черепам дураков. Евгений вспоминал эти слова с гневом: «Ведь вот, хорь вонючий, выдумает же!» Но все же, когда у него родилась мысль о новом серьезном усовершенствовании, он решил пока молчать, обдумать все в одиночку, чтобы потом самому, на какой-нибудь заводской конференции, выступить и внести свое предложение в присутствии сотен людей. Пусть знают его не только как члена знаменитой лузгинской бригады, но и как изобретателя, который и сам по себе не лыком шит.

Он придумал установить возле молотов маленькие электрические лебедки, с помощью которых можно было бы вытаскивать заготовку из печи без всяких хлопот, простым включением мотора, за одну-две секунды. Лебедка, трос и несложное приспособление, придуманное Евгением, давало экономию, по его прикидке, около сорока секунд на ось.

Порой цифра эта казалась и самому Евгению непомерно большой. Это подняло бы выработку бригады на семь-восемь осей. Он несколько раз проверил свои расчеты, по примеру Лузгина наблюдая с часами в руках работу сменщиков. Да, выходило около сорока.

У Евгения захватило дух. Вот когда Настя узнает, какова ему настоящая цена! Это дело ей определенно понравится.

Не желая ни с кем делить славы изобретателя, он сам до мелочей обдумал конструкцию приспособления. Произвел измерения, попытался даже сделать эскиз чертежа.

Теперь, когда все было готово, он вдруг стал ощущать тягостную тревогу. Ведь утаивая (ну да, утаивая, иначе как назовешь!) свое приспособление, он ежедневно

крадет у бригады, у завода, у государства семь-восемь осей.

Случая выступить где-нибудь перед большой аудиторией все не представлялось. Шли первые, самые напряженные месяцы года. Завод осваивал расширенную программу. Вся массовая работа сосредоточивалась в цехах, на участках, в бригадах.

Евгений уже начинал тяготиться своим изобретением. «Но ведь придумал не дядя, а я сам? Разве я не хозяин своей выдумке? Хочу — сдам, хочу — погожу, хочу — вовсе заброшу. Да уж если на то пошло, мог же я в конце концов до него и не додуматься!» — оправдывался он перед самим собой.

Но тут же другой голос насмешливо спрашивал: «Аплодисментов захотелось? А из-за этого бригада семь осей недодает в смену. А в год? А по всему заводу?»

Но о затее своей он все-таки молчал. Шли дни, недели, а эскиз все еще лежал в книге Флобера «Госпожа Бовари», которую Евгений собирался и все никак не мог начать читать.

Между тем с «Красных Кулебак» пришла телеграмма: «Переделали печь вашему примеру. Куем шестьдесят шесть — шестьдесят восемь. Приветствуем. Золин».

«Не послушали умного совета, научили на свою голову, вот теперь и разводите руками!» — злорадствовал Евгений, когда Лузгин прочел бригаде эту телеграмму.

К удивлению Сизова, все приняли сообщение довольно спокойно, даже весело. Без споров решили принять вызов. Петр вырвал из блокнота листок бумаги, очинил карандаш и уселся писать ответ.

— Ну, диктуйте!

Лузгин задумчиво тер лоб большой ладонью:

— Пиши: «Горячо поздравляем победой. Точка. Гордимся. Точка. Выдвигаем новый показатель...» Ну, какой показатель выдвигаем, говорите? — Весело оглядел бригаду. Серые глаза озоровато щурились.— Ну, чего стесняетесь? — И вдруг крикнул совсем по-мальчишески: — Предлагаю семьдесят пять! Ну? Возражения есть?

Оттого ли, что люди переживали радость успеха, или потому, что вера в неисчерпаемость своих сил стала уже чертой их характера, цифра эта никого не поразила. Ваня даже захлопал в ладоши.

Когда расходились, Евгений слышал, как осторожно Петр спросил бригадира:

— А не перехватили мы, под горячую-то руку?

— Перехватили?

— Ну да. Может быть, мы нашу технику уже исчерпали?

Лузгин даже свистнул:

— «Исчерпали»! Да где же тут исчерпали, когда мы ее еле-еле доим? Вон Сизов в мозгах поскребет — глядишь, осей на пять и наскребет, да Кухарыч, да ты, да я... Апт вон верно говорил: предела совершенству нет, а стремиться к нему надо.

«Точно мои мысли читает!» — восхищенно подумал Евгений. Он был польщен и уже подумывал: «Стоит, пожалуй, сейчас рассказать о своем предложении»,— но помешал приход Федорова.

— Илья, зайди ко мне. Директор просил позвонить, тобой наркомат интересуется.

— Что такое?

— А уж не знаю, там скажут.

Парторг ухмылялся. Лузгин заторопился. Евгению пришлось отложить разговор на завтра.

У входа в душевую Евгения догнала рассыльная. Его требовал к себе начальник кузнечного комбината.

— Это зачем же такое? — подозрительно спросил он.

Старый Апт имел обыкновение разговаривать с рабочими в цехе; к себе вызывал разве только для неприятных объяснений. В голову пришла нелепая мысль: «Может, ему стало известно, что я таю свое изобретение? Чепуха! Ну как он мог узнать?»

И все же он шел к Апту с тяжелым сердцем.

Инженер весело пожал ему руку:

— Привет! Присаживайтесь!

У стола уже сидел Лузгин. Хитро ухмыляясь, он осторожно поглаживал своей большой рукой массивное пресс-папье, искусно сделанное в виде маленькой наковальни. Глубоко втиснувшись в кресло, сидел с сердитым выражением на лице Нестеров. Федоров, присев на подоконник, смотрел во двор.

— Хорошая работа,— сказал Лузгин, ставя пресс-папье на место.

— Моя работа,— гордо пояснил инженер и обратился к Евгению: — Так вот, молодой человек, Илья Афанасьевич уезжает в наркомат на заседание совета... Еще не слышали? Потом завод посылает его на юг, посмотреть, как там работают новые ковочные машины. Ну-с, короче

говоря, Илья Афанасьевич рекомендует вас в качестве своего заместителя на время отъезда. Я лично не возражаю. Товарищ Федоров поддерживает. У профкомитета, правда, есть сомнения. Но все зависит от вас. Что вы на это скажете?

Инженер испытующе поглядел на крючочника.

— Меня?

— Вас. Справитесь?

Счастье само лезло в руки. «А если не справлюсь, провалю дело, тогда как?» Но за последний месяц Евгений научился у Лузгина упрямо верить в свои силы.

— А если брак?

— Брака не должно быть. Само собой разумеется.

— За все без скидок спросим,— сказал Федоров жестко, и Евгению почему-то подумалось, что парторг совсем не похож на своего добродушного отца.

Радостно билось сердце — этакое доверие! И сомнение возникло: «А вдруг провалюсь?» И еще подумалось почему-то: что скажет Настя, как она к этому отнесется?

— Ладно,— согласился Евгений.

— А ты бы подумал, парень! Илья-то Афанасьевич — вон он где, его весь Союз видит. Слетишь с такой высоты — и нам бока помнешь,— сказал Нестеров.

— Ладно,— повторил Евгений уже спокойней.— Берусь!

— Вот и славно! Люблю смелых,— сказал инженер.— «Решительность — мать победы»,— говорили древние. Ну, желаю удачи! Можете рассчитывать на самую широкую помощь с моей стороны.

Нестеров сокрушенно качал головой. Федоров сидел на подоконнике, болтал ногами и, посмеиваясь, говорил:

— Соломку все, соломку, Нестерыч, стелешь! Как бы не упасть.

Сизов возвращался с работы вместе с бригадиром.

На дворе была оттепель. Углы железных брусьев чернели из-под осевшего бурого снега. Под ногами весело, по-весеннему, звенел мокрый асфальт. Солнце уже село за приземистое здание сборочного цеха. Последние лучи, багрово сверкая в стеклах крыш, окрашивали в медно-красный цвет всю панораму широко раскинувшегося громадного завода.

Лузгин, то и дело оглядываясь, испытующе смотрел на Евгения:

— Ну, дело прошлое, согласие дал, пятиться поздно. Скажи начистоту: трусишь?

— Маленько трушу. Видишь, какое дело... За себя ручаюсь, а вот как бригада?

— Бригада? — Лузгин нахмурился.

— Да нет, не понял ты меня, Илья Афанасьевич! Как они меня примут — вот что! Вот все говорят — характер у меня тяжелый. Трудно я с людьми лажу, я для них вроде как волос в супе...

— Что верно, то верно. Ну, не кисни. Мы с Федоровым с людьми потолкуем. Кухаров поможет. Он ведь у нас вроде парторга. А с людьми, парень, жить учись. Это, брат, большое искусство. Не научишься — не только что бригадира, а и ударника хорошего из тебя не получится. И еще помни, Сизов: на человека шаблона нет. Двух людей одинаковых не только на заводе, а и во всем городе вряд ли сыщешь. Каждый человек на свой манер. К каждому по-особому подходить надо.— Лузгин оживился. Чувствовалось, что заговорил он о самом заветном.— Вот возьмем Кухарова. Поглядишь на него — так себе, старый ворчун. А он, брат, нас с тобой обоих за пояс заткнет. И даже Федорова. Старый большевик. Прислушивайся. Он худа не посоветует. Тоже вот Петр Жолобов — крепкий парень.

— Он сам себя и то на «вы» называет! — фыркнул Евгений.

— Ну что ж. На флоте служил. Вежливый. И правильно. К людям всегда уважительно обращаться надо. А выдержка у него какова! Видел ты когда, чтобы он, скажем, обозлился или нос повесил? Этот из оглобель не вывернет, У него на каждый день план. Все до минутки рассчитано: со стольких до стольких-то. И воля: читает он, скажем, книжку на самом интересном месте, и хвать — время на беллетристику вышло. Он книжку в сторону и берется за газеты. Уж если ты ему что-нибудь скажешь да хорошенько растолкуешь — будь покоен: кровь из носу, а сделает... Своего, может быть, не придумает, а уж исполнителя лучше и не сыскать.— Лузгин увлекся. Он стал кивать головой. Хрипловатый голос его звучал необыкновенно тепло.— А Настя! Что у вас там с ней, я не знаю, а только на работе попусту не вздорьте. Слышишь, Сизов? Настя — талант. Чего захочет — все сделает. Но гордая. И вспыльчивая. Под горячую руку дров наломать может — после и не соберешь. А вот с Ваней Овцыным не легко. Это учти. Он даром что верзила и футболист, а ковырни его — крас-

ная девка. К нему особый подход надо. Криком, руганью с ним, хоть расшибись, ничего не поделаешь. Он — как плохая печь: быстро накаляется и быстро стынет. Есть ведь такие люди. Если удачи — работает как зверь, землю роет! Чуть где заело — сейчас и вянет. Ты смешком его подбодри, похвали вовремя, поощри, приласкай...

Меткость этих характеристик очень понравилась Евгению.

— Ну, а я, Илья Афанасьевич, как я?

Бригадир повернулся к Сизову, весело разглядывая его, потом серые глаза его стали совсем узенькими.

— Ты? Ты, брат, штучка с ручкой! С тобой держи ухо востро.

— Вот и оставил бы Петра-то бригадиром. Он спокойный. Он вон спину в бане и то с расчетом трет: четыре раза мочалкой вдоль спины да восемь поперек, четыре вдоль да восемь поперек.

Лузгин раскатисто расхохотался:

— Спину! Вот чудило!..

Льстил ли Лузгину вызов к наркому, соблазняла ли его интересная командировка или, может быть, что-нибудь еще радовало его, только сегодня он был весел и необычно словоохотлив. Вспомнив вдруг беседу с отцом парторга, Евгений спросил:

— А как это, Илья Афанасьевич, Федоров у вас пиво выиграл?

— Пиво? — Лузгин явно смутился.— Кто тебе сказал? Вот ерунда...

— Знаю. Сказали. Полдюжины пива.

Лузгин улыбнулся.

— Ладно! Скажу потом, не сейчас. Приеду и скажу... Еще и не выиграл ведь. А тебе вот совет: ежели где заест — ступай к Федорову... Любую беду развеет... он такой...— И, опять улыбнувшись каким-то своим мыслям, Лузгин добавил: — Ах, рябой болтун, ну погоди...

Путь лежал мимо школы. Уроки кончились. Ребята в одиночку, парами, стайками шумно возвращались домой, размахивая портфелями, связками книг. Поравнявшись, школьники с беззастенчивым любопытством заглядывали в лицо бригадиру:

— Здравствуйте, товарищ Лузгин!

— Здравствуйте, Илья Афанасьевич! — слышалось со всех сторон.

«Вот она, известность!» — думал Сизов, и ему было

приятно, что он запросто разговаривает с таким человеком и особенно что не кто иной, а он будет замещать столь знаменитого кузнеца.

Незаметно дошли до здания райкома.

— Ну, мне сюда,— сказал Лузгин.— Так смотри, Сизов, береги бригаду. Дело своей жизни тебе доверяю.

Уже подходя к дому, Евгений вдруг вспомнил, что так и не рассказал Лузгину о своем изобретении. Эта мысль ошеломила его. Ведь получалось, будто он умышленно все скрывал, чтобы воспользоваться им, став бригадиром. Что подумает о нем Илья Афанасьевич? Да и не только он, а и Кухаров, и Апт, и бригада, а главное — Настя. Ведь она всегда так правдива и строга.

Если рассказать Лузгину хотя бы в последнюю минуту, на совести все будет легче. Евгений забежал домой, схватил свой чертеж и бегом бросился в новый поселок. Пути было километра три с половиной. Чтобы сократить его, Евгений бежал напрямки, через пустырь, мимо дровяных складов. Дважды перелезал через какие-то заборы, поскользнулся, шлепнулся в мокрый снег, побежал дальше.

— Дома хозяин? — спросил он, еле переводя дыхание, когда Мария Алексеевна открыла ему дверь.

— Уехал. Только что. Да вы заходите...— Вид у Сизова был такой, что женщина встревожилась.— Что-нибудь случилось? Да говорите же... Ну?

— Ничего не случилось. То есть случилось. Просто я скотина. И все. Есть вопросы?

Лузгиной стало жалко несуразного парня, о котором ей так часто рассказывал в последнее время муж.

— Ну, будет, будет вам! А я ничем не могу помочь? Ну, все равно, входите, чего же в дверях стоять?

Евгений вошел в столовую, сел на диван и стал рассеянно вертеть попавшего под руку плюшевого медведя.

Мария Алексеевна уселась напротив с неизменным своим рукодельем, взглянула на него испытующе:

— Так, значит, вы вместо Ильи Афанасьевича теперь?

В самих манерах этой медлительной, полной женщины было что-то успокаивающее. Стеснительный Сизов почувствовал себя легче. Понемногу завязалась беседа. Впрочем, говорил Евгений, а Мария Алексеевна лишь изредка вставляла слово-два. Как-то незаметно и сам собой разговор перекинулся на Настю.

Мария Алексеевна, перекусывая нитку, лукаво поглядела на него:

— А ведь хороша! Правда?

Евгений вздохнул.

— И человек какой! Вот бы вам такую хозяюшку... А медведя-то уж не треплите. Голову оторвете — реву не оберешься...

Евгений рассеянно посмотрел на плюшевого мишку, отложил его, но сейчас же схватил опять. Мария Алексеевна принялась хвалить Настю, ее ум, сметливость, золотые руки, ее сынишку.

— Да ведь вы, кажись, его уже видали? Что, плох у нас с Ильей Афанасьевичем крестник?

— А почему крестник? — спросил Евгений, нервно теребя медведя.

Мария Алексеевна отложила рукоделье.

— Крестник? Да так мы его прозвали. Тут целая история. Настя ведь не замужем. Ну, в общем, полюбила одного, забеременела, а он вроде не таким оказался, каким она его считала. Обидел ее. Она ему — от ворот поворот: не пойду замуж! Родители уговаривать: как же, мол, так; ничего, дочка, стерпится — слюбится. Поднажали на нее, а она от них уехала. Поступила на наш завод, послали к Илье Афанасьевичу в бригаду ученицей. Ну, сначала-то ничего, а потом затосковала; сами понимаете, легко ли молодой женщине в таком положении, в чужом городе, да и без мужа. Решила: сделаю аборт. Пробовали отговорить: куда там! И слышать не хочет. Да и в самом деле, глядите: родных поблизости никого, жить негде, в углу ютится, заработок ерундовый — много ли ученица получает... и ребенок. Ну, стала я к ней захаживать, к себе ее зазвала. На пару с Ильей кое-как ее и уломали. Комнату выхлопотали. Родила мальчика. Теперь вот души в нем не чает. Ну и нам он вроде не чужой. Вот крестником и зовем — крестник и крестник. По-старому... Эх, лапу медведю вы все-таки оторвали... Придется пришить, пока Вовка не увидел.

Мария Алексеевна улыбнулась гостю. И Сизов, неожиданно для себя, откровенно рассказал ей всю историю со своим приспособлением. Лузгина ничего не ответила и только покачала головой.

Вечер Евгений провел в клубе.

Вот уже месяц, как он снова взялся за музыку. За долгий перерыв пальцы потеряли прежнюю гибкость, но теперь Евгений занимался упорно, изо дня в день, в определенные часы, по установленному им для себя расписанию. Он привыкал к усидчивым, кропотливым занятиям.

XXV

Всю ночь капель упорно барабанила по подоконнику.

К утру небо очистилось от облаков. Солнце поднялось из-за корпуса электростанции и засверкало, заискрилось в стеклах окон, в бурых лужицах, на дорогах, в шустрых, звонких ручейках. Стволы и ветви деревьев в сквере были влажны, лоснились, как лакированные. Грязноватый, слежавшийся снег был исклеван тяжелыми каплями.

Сизов скинул ногой со скамейки обледеневшую снежную подушку, присел, вдохнул всей грудью прохладную влажность весны и с удовольствием потянулся. Он встал чуть свет и вот уже с час бродил по пустынным дорожкам сквера, стараясь успокоиться. Он волновался, как и тогда, в промозглое осеннее утро, перед первым выходом на работу в лузгинскую бригаду. Только теперь волнение было иным — радостным, а тревога не тягостной и не тоскливой, а лишь бодрила и возбуждала, как и эти чуть уловимые запахи еще далекой, но приближающейся весны.

Евгений прислонился спиной к дереву, погладил рукой прохладную кору и, зажмурив глаза, подставил лицо солнечным лучам. Он мог стоять вот так, не шелохнувшись, часами. Эта привычка осталась от беспризорного детства, которое теперь казалось ему самому давно прочитанной, уже забывающейся книгой.

Вот так, греясь на солнышке на скамье какого-то привокзального парка, маленький голодный мальчишка с усталыми глазами мечтал о лихой славе неуловимого громилы, о дерзких налетах, опасностях, легко дающихся деньгах.

Через два — нет, теперь уже, пожалуй, через час — этот парнишка примет прославленную бригаду лучших кузнецов страны. Его имя будут упоминать в газетах. Его портрет, может быть, повесят в клубе над парадной лестницей, рядом с портретом самого Лузгина. И синие глаза, лучшие на свете, такие насмешливые, сердитые и такие честные и дорогие, будут смотреть на него с уважением.

Эх, повидать бы сейчас покойного сельского кузнеца или инструктора школы фабзавуча, Степана Николаевича Зотова! Вот бы, поди, порадовались они за своего нелегкого питомца...

— Сидит один и улыбается. Интересно!

Евгений даже задохнулся от неожиданности: шагах в десяти от него стояла Настя. Короткий весенний жакет

ловко облегал ее складную фигуру. Она была с непокрытой головой. В руке держала красный берет и ветку вербы.

Именно Настю хотелось Евгению видеть в это ясное весеннее утро, именно ее безотчетно искал, бродя по скверу, именно она, как радостное видение, маячила перед ним, когда он думал о том, что предстоит ему сегодня в цехе.

Но, как всегда в присутствии Насти, он почувствовал себя связанным. Неловко подал ей руку и не нашел ничего лучшего, как спросить:

— Как тебя сюда занесло? Ведь ты же в другой стороне живешь?

— Сына в ясли носила... Смотри, какая прелесть,— сказала Настя, поглаживая пальцем пушистую шубку вербовой почки.— Ну, рад?

— Рад,— признался он, задерживая ее большую, прохладную руку.—Утро-то какое! Вот хожу и думаю... О тебе думаю. Понимаешь?.. Ну, словом, не мастер я толковать. Рад — и все.

Настя смутилась, переломила ветку, бросила ее на дорожку, стала затаптывать в жухлый, ноздреватый снег.

— Вот тоже... Разве я об этом? Я говорю: рад ли, что Илья Афанасьевич тебя вместо себя оставляет?

Тут, в свою очередь, смутился Евгений:

— Постой, а откуда ты знаешь? Ведь разговор был вечером, когда все разошлись?

— Здравствуйте пожалуйста! Что ж, думаешь, бригадира назначат и с бригадой не посоветуются? Замечательно!

Выходит, его уже признали бригадиром и все сомнения, связанные с этим, напрасны? Как хорошо все-таки жить на свете!

Евгений вдруг вскочил, поднял Настю за локти и быстро закружил.

— Пусти! От дурной,— ласково и настойчиво требовала Настя.

Евгений бережно усадил ее на скамейку.

Вдруг его потянуло в цех. Он думал о том, как в первый раз возьмет в руки лузгинскую державку, как нащупает ритм, как будет контролировать точность ковки.

Лузгин работал так, что измерители и шаблоны обычно без употребления стояли в углу. Но Евгению придется обмерять каждую ось. Беспокоил и новый крючочник. Он работал когда-то у Рогова и считался ловким парнем. Но

одно дело работать с Роговым, другое — в лузгинской бригаде. С крючочником нужно будет подробно потолковать.

— Пожалуй, пошли, пора,— сказал Евгений, озабоченно вставая.

Настя взглянула на часы:

— Рано еще, куда ты?

Она тоже сидела зажмурившись.

— Нет, надо идти; понимаешь, ведь первый раз...

Евгений топтался в нерешительности. В парке было так хорошо. Там, где ледяная корка, покрывавшая снег, слегка закоптела — солнце заметно уже источило ее, снег походил на пчелиные соты. Возле тумбы скамейки чернело кольцо влажной земли, и какой-то крохотный зеленый жучок, разбуженный теплом, тихо копошился на прошлогодних травках, будто решая — покидать ему зимнюю норку или еще рано. Две неяркие коричневые, очень симпатичные веснушки появились на Настиной переносице. Пахло мокрой древесной корой, талым снегом и чем-то неуловимо весенним, от чего, как от хмеля, кружит голову и слегка бьет в виски.

— Знаешь, давай еще посидим!

— Нет, зачем же!..— встрепенулась Настя и встала.

— Ведь успеем... Так хорошо!

— Нет, надо идти, а то без тебя кузница под землю провалится. Вон, гляди, труба уже шатается.— Голос у девушки был насмешливый.

— Ну, идти так идти,— решительно сказал Евгений.

Все-таки его беспокоило: как-то его встретят.

Тревога оказалась напрасной. Новый крючочник Сережа Костин, быстрый, смышленый парень, несомненно, понимал толк в кузнечном деле. Когда Евгений стал рассказывать ему, как нужно поворачивать ось, по-лисьему продолговатое лицо новичка выражало такое внимание, что Сизов, вспомнив свою первую беседу с Лузгиным в красном уголке, решил: «Этот освоит в два счета!» И ему стало досадно, что он сам волнуется больше Костина.

Бригада встретила Евгения весело. «Непроходимый бек» Ваня шутливо доложил, что команда вышла на поле в полном составе и в хорошей форме. Петр обнял смущенного Евгения за плечи и сказал:

— Не волнуйтесь — не подведем!

Опять отчетливо вспомнился Сизову совет Кухарова: «Головой, головой, парень, работай!» Ожидая заготовки, он начал повторять про себя счет поворотов оси на разных

стадиях ковки: четыре... восемь... двенадцать... шестнадцать... Руки у него дрожали.

— Готово,— тихо сказал Петр, и Евгений вздрогнул, будто рядом разорвался снаряд.

— Взяли! — скомандовал он, подражая Лузгину даже интонацией голоса.

Звучно билось сердце, колени подгибались.

Но заготовка, как обычно, быстро совершила свой путь к наковальне. Евгений едва успел схватить ее державкой, как Кухаров уже обрушил на нее тяжелые удары.

— Раз, два, три, четыре,— сосчитал Евгений.

Прежде чем он успел нажать державку, чтобы принять ось на себя, крючочники уже тянули ее вдоль бойков. Молот, казалось, сам собой участил удары.

— Два, четыре, восемь...

Когда ковалась еще первая ось, Евгений убедился, как прав был Лузгин. Теперь, связанный со всеми, он понял, каким совершенным организмом была бригада, где каждый стремился до дна исчерпывать свои способности.

Только новичок Костин заметно выбивался из общего ритма. Но он старался изо всех сил и с откровенной благодарностью улыбался Насте, принимавшей часть его нагрузки. «Этот освоит в два счета! — повторил про себя Сизов, чувствуя даже зависть к веселому, общительному парню.— С его характером все легко!» Выбив клеймо, Евгений приложил к оси шаблон и удивился — до чего точно она была откована.

— Можешь не мерить,— ухмыльнулся Кухаров.

В перерыв Евгений понес начальнику комбината чертеж своего приспособления. Апта он встретил на пороге кабинета, в пальто, в шляпе. Инженер, видимо, собрался обедать.

— А-а-а, новоиспеченный бригадир! Что скажете?

Евгений протянул чертеж. Рассматривая его, инженер вернулся в кабинет и присел на стол. Мохнатые, похожие на клочья мха брови поднялись. Апт быстро перевел глаза с чертежа на автора. Во взгляде было любопытство:

— Ваш?

— Мой.

Апт позвонил.

— Отнесите инженеру Львову,— сказал он, протягивая чертеж пожилой секретарше,— скажите от моего имени, чтобы сегодня же оформил и произвел все расчеты. Вечером доложите.

Инженер сдвинул шляпу на затылок и сразу стал похож на завсегдатая стадионов и ипподромов. Удивительно умел меняться этот пожилой человек с осанкой вельможи и руками рабочего.

— Послушайте, Сизов, вы ведь учились у меня в фабзавуче. С рыженьким таким за одним столиком сидели. Так? Или нет, путаю, вы как раз сидели один. Но это все равно. Вы, так сказать, мой ученик, и мне приятно. Словом, делаете успехи! Хорошо, даже отлично! Если механик не задержит, через декаду, много — две пустим ваше приспособление в ход.

Инженер задумался, погрустнел и уже в дверях добавил:

— Я в ваши годы такой же был смелый, сообразительный. Только не ценили в наше время молодую смелость.

Евгений был бы счастлив, если бы не мысль о том, что он так долго скрывал свое предложение. Выслушав его рассказ, Мария Алексеевна вчера отмолчалась. В этом молчании он чувствовал осуждение. А что подумает, что скажет бригада?

В этот день бригада отковала сорок шесть осей. На следующий день — сорок девять, потом опять сорок шесть. Правда, все эти дни пар подавали плохо, но перебои бывали и при Лузгине, а выработка при нем никогда не падала так низко.

Каждый день, приняв утром смену, Евгений говорил:

— Ну, ребята, хватит! Нажмем что есть духу! А?

— Да вот нажимаем — не получается...

— Ничего, должно получиться! Ну, договорились?

И с утра нажимали. Но к полудню темп начинал падать. Перебои с паром окончательно портили дело.

Помня спокойствие и уверенность Лузгина, Евгений старался не подавать виду, что неудачи огорчают его. Но шила в мешке не утаишь.

В душевой кузнецы подшучивали:

— Что, ребята, без мотора не тянет?

— Известно, без хозяина — дом сирота.

XXVI

Во второй декаде бригадирства Сизова кузнецов созвали в красный уголок. В президиум избрали Федорова, Нестерыча и, по предложению парторга, Евгения.

Федоров рассказал, что заводу поручен важный заказ на большегрузные железнодорожные платформы особого типа, необходимые для нужд обороны. Срочность заказа требует, чтобы все десять тысяч рабочих завода напрягли силы. В особенности кузнецы.

— А вот к землякам-осевичкам у меня особое слово,— сказал парторг, обращаясь прямо к Евгению.— Вот они помнят,— он кивнул в зал на Кухарова и Рогова, сидевших в первом ряду,— все тут помнят, как мы когда-то не только свой завод досыта осями кормили, а и соседям помогали. Помните, ребята?

По своему обыкновению, парторг строил свою речь в форме беседы с аудиторией.

— Помним, как же! Всегда так было...

Евгений сидел, уперев взгляд в старенькую кумачовую скатерть, покрывавшую стол президиума, сидел и думал: и зачем его сюда выбрали, зачем посадили у всех на глазах?

— А теперь, товарищи осевики, ступайте-ка на пути к новосборочному корпусу. Посмотрите, сколько там вагонов на деревянных ногах стоит. Чай, видали, каждый день мимо ходите. А почему? Нет осей. А почему не хватает теперь осей? Ну-ко, осевики, ответьте!

У Федорова был удивительный дар любой, самый сложный вопрос сводить к делам простым, понятным, касающимся каждого. Евгений видел, как заерзали, зашевелились осевики, как они стали перешептываться, спорить...

— Неужели на другие заводы идти с поклоном? Дескать, помогите, пожалуйста, осями — важнейшее задание партии и правительства своими силами выполнить не умеем. Так, что ли? Ну, осевики, чего молчите? Как, Сизов? Чего скажешь, Кухарыч?

Федоров остановился, ожидая ответа.

— Я вот сам работал у Лузгина и скажу: не так, не можем мы до этого завод довести. Сами должны со всем справиться, и точка! — заключил Федоров.

Кузнецы привыкли к шуму. Привыкли говорить громко и немногословно. Все выступавшие считали, что заказ нужно выполнить, и обязательно своими силами. Нестерыч слушал, удобно развалившись на стуле. Он одобрительно кивал головой, поддакивал, бросал реплики.

— Вот преньица! — подмигнул он Федорову.— Ничего собраньице отгрохали, а? На уровне собраньице. Активность так и прет из всех щелей.

Нестеров был доволен, а Федоров, наоборот, озабочен. Он делал в записной книжке какие-то пометки, задавал выступающим вопросы.

Нестерыч вытащил из кармана перочинный ножик, снял с него кожаный чехольчик и начал старательно чинить карандаш. Очинил его, попробовал, как пишет. Еще поточил графит, опять попробовал писать. Это занятие целиком поглотило его внимание. Лишь изредка, когда выступающий повышал голос, он поднимал глаза, ловил конец фразы и одобрительно кивал головой:

— Правильно! Совершенно верно. Вот она, рабочая инициативка! На высоком уровне...

Когда все выговорились, внимание ослабло. В рядах послышался шумок. Кое-где поднялись и зашелестели развернутые газеты. Вдруг слова попросил Кухаров.

— Вчера в ледоход довелось мне подъемкой рыбу ловить, вон здесь, за мостом,— начал он, и все лица, снова оживившись, повернулись в его сторону.

Нестерыч с удивлением оглянулся кругом, не понимая, почему это вдруг настала такая тишина, и невпопад спросил:

— Много поймал?

— Погоди! — отмахнулся старик.— Так вот, товарищи, ловлю я рыбу и вижу: что-то плывет. Что именно, не разгляжу, но плывет недалеко от берега. Потом присмотрелся, гляжу: батюшки мои, здоровенная щука! И плывет, заметьте, брюхом кверху. Ну, думаю, льдом ушибло ее, снулая. Только я так себе сказал, хвать — она повернулась и нырь в воду, а потом, гляжу, опять всплывает между льдинами кверху брюхом. Так раз шесть — то повернется, то плывет как следует. Что, думаю, за оказия за такая?

— Ну-ну, и что? — торопили из зала, не понимая, к чему клонит старик.

— Погодите... Глядел я, глядел на эту самую щуку, и понял я, товарищи: оглушило ее — должно быть, хребтину ей лед повредил. Здоровенная рыбища, а плыть не может: хвостом виль-виль — да и на спину!.. Я это к чему? В нашем кузнечном деле становой хребет — пар. Есть пар — живем; нет — кверху брюхом. Гробит нас этот пар, вот что! На языках мозоли скоро будут, а что толку!

Одобрительный гул прошел по рядам.

— Так вот я и предлагаю в отделе цехового механика покопать. Там всегда один разговор: паропровод плох, де-

пег нет, того нет, другого нет. А может быть, не в паропроводе и не в деньгах дело? Может быть, там кто-нибудь этакий, вредный, сидит да исподтишка нарочно всей кузнице нервы дергает, и плывем мы через это кверху брюхом.

— Ай да дядя Алексей! Ишь куда свою рыбину вывел! Вот тебе и щука с руку! — одобрительно крикнул с места новый крючочник Костин.

— Не мешай, Серега...

Собрание хохотало.

— Придумал — щука...

— Член партии — и так выступает! Ай-яй-яй! — укоризненно покачал головой Нестерыч, складывая ножичек в кожаный футляр и засовывая его в карман.

— А чего «ай-яй-яй»? Правильно! Проверить надо — и все. Хватит над людьми издеваться! — шумело собрание.

— В протокол это записать, в решение...

— Товарищи, товарищи, спокойно! — взывал Нестерыч.— Это же производственное совещание — надо о себе говорить. Я очень уважаю товарища Кухарова, но должен про него сказать: нашел топор под лавкой. Про пар говорено-переговорено, чего же...

— А когда у тебя вот здесь чирей,— крикнул Костин, вскакивая на скамью и хлопая себя по мягкому месту,— когда ты из-за того сидеть не можешь, ты о нем день и ночь думаешь! Так и пар.

Собрание опять захохотало. Федоров сидел, покусывая губы. Лицо у него было серьезно, но глаза смеялись.

Кузнецы решили выполнять оборонный заказ своими силами, не прося помощи других заводов, но настояли, чтобы было записано и предложение Кухарова. Нестерыч пытался возражать против этого, как он выразился, «демобилизующего момента». Но его не слушали. Поднялся шум. Предложение было принято единогласно.

— Эх ты, сказочник! Ведь как собраньице шло, как народ мобилизнулся! А ты нашел о чем напоследок говорить! Весь эффект смазал, настроение людям сбил. Теперь у них есть объективная причина — паропровод этот проклятый! — сетовал Нестерыч, когда они с Кухаровым выходили из красного уголка.

Старик сердито оглядел грузную фигуру председателя цехового комитета:

— Толстеешь ты, Нестерыч, от сидячей жизни, вот что!

— Ты это к чему?

— А все к тому ж самому... Лишне толстеть в твои годы неподходяще. Глаза жиром заплывают. Видеть перестают. Эх ты, воротило-пятило!

— Как, как ты сказал? — переспросил Федоров, беря обоих под руки. Он уже не сдерживал смеха.

— Демагог ты — вот что! — ответил Нестерыч, отстраняясь от Федорова.— По дешевке авторитет покупаешь.

— «Воротило-пятило»! Вот утрафил старик! Нашел же такое слово...

Возвращаясь с собрания и проходя мимо новосборочного корпуса, Евгений обратил внимание на две бесконечные очереди готовых, блестевших свежей краской вагонов, вытянувшихся вдоль путей. Вместо колес вагоны стояли на деревянных козлах. Сколько раз он проходил мимо, но, свыкнувшись, раньше как-то и не замечал их. А стояли они, должно быть, уже давно, так как рядом успели вырасти штабеля досок и круглого леса.

— Пятьдесят три,— сосчитал кузнец и вздохнул, будто он один был виноват в том, что все эти вагоны стоят на «деревянных ногах».

XXVII

Скверно, тревожно было в этот вечер у Евгения на душе. А тут еще, как назло, пришел квартирохозяин, которого он терпеть не мог.

— Читал, читал, поздравляю! В гору идешь, парень! — заявил он, прочно усаживаясь за столом и раскладывая вокруг себя проводнички, шнур, смолу, фарфоровые изоляторы, из которых мастерил какое-то очередное домашнее усовершенствование.— Вместо Лузгина, значит? Что ж, высоко встал — отовсюду видно... Только я всегда так говорю себе: «Стой, Сергеевич, посередке. Наверху-то оно, конечно, лестно, но ежели загремишь оттуда — костей не соберешь...»

Евгений неприязненно покосился на пышущую завидным здоровьем фигуру квартирохозяина и остановил взгляд на связке ключей, торчавших у него из жилетного кармана. Квартирохозяин всегда все запирал. «А что, может быть, он и прав. Посередке-то оно и верно легче»,— вздохнул кузнец.

— Оно, понятно, заманчиво... Почет почетом, да и заработок, я так понимаю, директорский,— неторопливо продолжал незваный посетитель, принимаясь за свои проволочки.— Сколько ты сейчас огребаешь? Тысячу или поболе? Лузгин-то, говорят, и полторы зашибал... Богатый человек!

В медленных, равнодушных словах слышалась неприкрытая зависть. Когда квартирохозяин заговорил о деньгах, это почему-то оскорбило Евгения: разве Лузгин ради заработка старался? Разве он, Евгений, тогда, в кабинете Апта, обрадовался заработку бригадира? Разве ребята из бригады ходят сейчас сердитые, недовольные только потому, что им меньше записывают в расчетную книжку?

Сизов усмехнулся:

— Заработок, заработок! Эх, Сергеевич! А все — «я человек пожилой, я человек бывалый, я жизнь знаю!» Заработок! Ни черта ты не знаешь и не понимаешь, кроме своего дома да Аннушки! Заработок!

Сергеевич смотрел на жильца с ленивым любопытством:

— Вот я не понимаю — так поясни, сделай милость: из-за чего вы жилитесь? Я вот знаю: обточил сегодня сорок пять стаканов, за каждый по расценкам — четвертак. Вот я и заработал одиннадцать рублей двадцать пять копеек. Мне все ясно. А ты зачем стараешься, возвышенный человек? Ну-ка, растолкуй.

— А чего толковать? Из-за работы... И все.

— Ой ли!

— Не такой вот! — Евгений показал на проволочки, которые вертели искусные руки квартирохозяина.— Это разве работа? А другой, которая... которую...

— Ну, ну...

Евгений пощелкал пальцами и замолк, не находя подходящего слова. Квартирохозяин смотрел на него с насмешливой снисходительностью:

— Ну, ну...

— Отстань!.. Вот прилип!

— Во, во, ругаться ты мастер! Нет, ты давай толком...

Евгений ничего не ответил. Не раздеваясь, он улегся на койке, закрыл глаза и, стараясь не вслушиваться в ровный, медлительный голос, притворно захрапел.

XXVIII

В один из мартовских вечеров, когда в тишине не густых еще сумерек звонко и весело раздавались шаги прохожих и тяжелые ледяные сосульки, срываясь с крыш, с глухим треском разбиваются о тротуары, Сизов возвращался с занятий по музыке.

Легкий морозец прихватил лужи тонким иглистым ледком. Чистый воздух насыщен бражным запахом талого снега. Легко и привольно дышится в такие вот весенние вечера, и сердце замирает от смутных воспоминаний о чем-то хорошем, от ожидания чего-то нового, неизведанного, что впереди.

Сизов шел, рассеянно насвистывая, стараясь ломать хрупкий ледок, который с тихим треском оседал под ногой.

Последние дни были полны лихорадочных поисков.

Каждое утро, настроив себя на бодрый лад, он шел на завод с надеждой, что сегодня бригада начнет наконец работать по-настоящему. В цехе эта уверенность исчезала. Евгений нервничал, каждый промах приводил его в бешенство, ему начинало казаться, что товарищи по бригаде издеваются над ним. Он подслушивал их разговоры, ревниво перехватывал каждый взгляд. При этом старался сохранить хотя бы внешнее спокойствие и не показывать, как его огорчают неудачи.

День проходил в бесплодных усилиях, в борьбе с самим собой. Кузнец уходил из цеха с опущенной головой, раздраженный, недовольный.

До недавних пор не только красный уголок, но и стены новой кузницы, простенки между окнами, колонны и даже консольные балки пестрели от плакатов, лозунгов, диаграмм. К ним так привыкли, что никто их не читал, разве уж если в минуту простоя, чтобы убить время. На днях всю эту пестроту бумаги и выгоревшего, запыленного кумача убрали. Теперь посреди цеха висело одно-единственное кумачевое полотнище. Лозунг на нем часто менялся. Он отражал то, чем жил цех. Так как плакат был один, его прочитывали и запоминали. Уже второй день на этом единственном плакате значилось:

«Кузнецы! Работайте по-лузгински». Каждый раз, проходя мимо, Евгений опускал глаза. Ему становилось стыдно. В этих написанных клеевой краской по кумачу словах он слышал не только призыв, но и укор. По вечерам он не находил себе места.

Но дважды в шестидневку, когда Евгений занимался музыкой, он возвращался домой иным человеком. Музыка успокаивала. Неудачи уже не так угнетали, все уже не казалось таким безнадежным. «Ну и пусть не выходит! — рассуждал он.— Лузгин, чай, тоже не в один день Лузгиным стал. Что я, фокусник из цирка: айн, цвай, драй, и пожалуйте из-под шляпы семьдесят осей! Но в чем же, в чем дело?..»

Задумавшись, Евгений угодил ногой в глубокую лужу. Он чертыхнулся и даже не вылил воду из калоши. При каждом шаге ботинок издавал сосущие, чмокающие звуки.

«О чем я?.. Да, в чем же дело? Хорошо, обсудим. Вот и Кухаров говорит, что кузнец я тонкий. Старый грач: помрет — не соврет. Стало быть, причина не во мне. А в ком? В бригаде? Хорошо, но ведь люди те же и на тех же местах. Новый крючочник? Он прямо землю роет — способный, леший! Стало быть, не во мне, и не в бригаде, и не в Сережке дело. Так в чем?.. Экий сегодня закатище!»

— Евгений, милый! Как хорошо, что тебя встретила! Я совсем голову потеряла...

Сизов удивленно оглянулся. Рядом стояла Настя... Ну да, Настя. Но что произошло с этой гордой женщиной, всегда такой подтянутой и собранной?

Жакет небрежно наброшен. Теплый платок сполз с головы на спину, прическа сбита, спуталась, заплаканные глаза смотрят рассеянно, тоскливо.

— Андрейка... Андрейка... Не знаю, что с ним...

— Какой Андрейка? — не сообразил Евгений.— Ах да!

— Мокрый, как мышка... Глазенки жалобные-жалобные, весь в жару. Я с ног сбилась...

Испуг и волнение Насти передались Евгению.

— Ну, а доктор? Что доктор?

— В том-то и беда — нет доктора. Все уехали в город на медицинскую конференцию. Дежурный у роженицы... Тяжелые роды. Посоветовали достать какого-то стрептоциду. Побежала вот в нашу аптеку — нет стрептоциду. Не знаю, что делать... Евгений, родненький, ну что? Скажи, посоветуй...

Настя прислонилась щекой к дереву, точно ища у него покровительства и защиты. Евгений тихонько погладил Настину руку. Вдруг он сорвался с места:

— Сейчас! Ступай домой, звони Лузгиной — она баба опытная... Орудуйте там пока, а я мигом... Все будет... Стой... Захвати гитару...

Евгений бросился по улице, повторяя, чтобы не забыть, трудное название лекарства.

Нужно было добраться до города, проникнуть на конференцию, найти детского врача, уговорить его ехать, доставить в поселок. Как все это сделать, он даже не думал. Это и не пугало его. Пугало другое: вдруг он опоздает, вдруг умрет этот маленький толстый парнишка?

Недалеко от катка Евгений обогнал команду заводских хоккеистов. С клюшками, с чемоданчиками, они чинно шагали, сопровождаемые стайкой мальчишек, благоговейно глядевших на своих любимцев. Среди них возвышался Ваня.

— Ванька, деньги есть? — крикнул Евгений, хватая «непроходимого бека» за руку.

— Ты откуда сорвался? Какие деньги?

— Дуй быстро в город, в аптеку. Купи стреп-тоци-ду. Слышишь, запомни — стрептоцид. Банку, склянку, коробку, тюбик — все равно.

Ваня рассердился:

— Ты с ума спятил? У нас последняя тренировка. Завтра играем реваншный с «Буревестником». И потом, с какой стати я понесусь?.. Это что за мода? Что я тебе, посыльный... Тоже...

— Километр! Ваня! Чего застрял, давай скорее! — кричали хоккеисты уже издали.

— Иду!

Ваня двинулся было за ними, но Евгений ухватил его за рукав:

— У Насти ребенок умирает. Понял? Я за врачом. А ты за лекарством — и скорее, малец почти готов...

— Ребенок? Настин? Какое лекарство?

— Стрептоцид.

Ваня сунул кому-то из своей мальчишеской свиты коньки, клюшку и, помахав издали рукой удаляющимся хоккеистам, упругим, размашистым шагом опытного бегуна двинулся по шоссе. Сизов потянулся за ним, но отстал.

Он то пускался бежать, то, задохнувшись, переходил на шаг. Передохнув, опять бежал, тяжело дыша и обливаясь потом. Перед ним все время маячили глаза, полные слез, и другие, детские, быть может, уже закрытые. И он, несмотря на усиливающуюся одышку, на колотье в боку, продолжал бежать, зная, твердо зная, что врача он найдет, убедит, привезет. Только бы поскорей добежать до Дома санитарного просвещения!

Вдруг шоссе осветилось автомобильными фарами. Свет ударил Евгению в глаза, ослепил. Машина шла навстречу на большой скорости. Не раздумывая, Сизов остановился посреди дороги и, растопырив руки, решительно преградил путь.

Из машины выскочил рассерженный пассажир. Это был директор завода — болезненный, хмурый человек, которого в цехах не любили и боялись, хотя никто не помнил, чтобы он хоть раз кого-нибудь «разнес» или даже хотя бы просто повысил голос в разговоре.

Евгений, тяжело дыша, обливаясь потом, старался объяснить, в чем дело. Директор открыл дверцу и втолкнул его в машину.

— Назад, в город, к Дому санитарного просвещения. Быстро!

Мотор мягко зарокотал. Навстречу, возникая из тьмы двумя непрерывными шеренгами, понеслись фонари и тополя.

Директор вдруг с досадой стукнул себя кулаком по коленке:

— Из ума вон! Назад! В поселок. Проспект Энтузиастов, сорок восемь...

И вот уже машина неслась обратно. В обратном порядке мелькали за стеклами тополя и фонари. Должно быть, шофер, тоже не оставшийся безучастным, нарушал все нормы скорости. Машина неистово гудела. Прохожие испуганно жались к обочинам шоссе; бесновались, танцуя в оглоблях, ослепленные лошади. Глаза лошадей светились, как рубины, отражая зыбкий свет фар.

Машина обогнула клуб, проскочила мимо стадиона, пронеслась по широкому знакомому проспекту и, скрипнув тормозами, застыла у крайнего подъезда нового дома, Дома инженеров, где жил руководящий персонал завода.

Директор выскочил первым. Тяжело перешагивая через две ступеньки, он поднялся на второй этаж и нетерпеливо крутнул кнопку звонка с выразительной надписью: «Прошу повернуть». Сизов топтался за его спиной. Он не понимал, зачем они сюда приехали, но поддался уверенной напористости спутника. Он видел, что этот сухой, холодный человек, так же как и он, сам взволнован судьбой умирающего малыша.

Заливисто, тонко залаяла за дверью собака. Послышались шаркающие шаги. Дверь открылась, и перед директором и кузнецом предстал... Апт, Апт, в ночных туфлях,

с очками в руке. Он был в полосатой пижаме, поверх которой был повязан фартук.

— Мартын Михайлович, какими судьбами!.. А это кто с вами? Кажется, товарищ Сизов? Да входите, входите, чего же вы?

Инженер хотел было снять фартук, но только стряхнул с него блестящие кудри металлических стружек.

— Джек, на место! — крикнул он тонконогому фокстерьеру, мускулистое тельце которого вздрагивало от заливистого лая.— Милости просим, проходите!

Инженер пропустил гостей в просторную комнату — по-видимому, служившую ему кабинетом. Одну из стен этой комнаты с окном, выходившим на улицу, сплошь занимали полки с книгами. На остальных стенах, в одинаковых дубовых рамах, висели портреты Ленина, Менделеева и Ломоносова.

У окна — письменный стол. Напротив, справа от двери — небольшой верстачок с тисками и токарный станочек. Инженер, должно быть, как раз работал, когда нагрянули незваные гости. Моторчик еще гудел. В патроне вертелась стальная плашка, по которой уже прошелся резец.

Инженер выключил моторчик.

— Гигант дореконструктивного периода. Вот на старости лет играю в игрушки.— Он подвинул к столу кресла: — Садитесь, товарищи!

— Некогда. Мы, собственно, не к вам. Мы к супруге вашей... Да-да! Как к врачу! Тут вот у товарища большое несчастье...

Седая, но прямая и стройная инженерша бесшумно появилась в дверях. Пожала руку директору и вопросительно посмотрела на Сизова.

— Анна Леонидовна,— отрекомендовалась она Сизову и уже просто добавила: — Так что же у вас стряслось?

И снова Евгений повторил свой рассказ, для убедительности добавив новые подробности, хриплое дыхание, конвульсивные судороги у ребенка, отчаяние матери.

— Так что же вы стоите? Идемте! — заторопила Анна Леонидовна.

— А между прочим, ваше приспособление, товарищ Сизов, после выходного будет готово,— сообщил в передней Апт, снимая с вешалки шубу жены.— Думается, пойдет. Я в него верю.

Анна Леонидовна появилась уже в белом халате. Не

оглядываясь на мужа, она сунула руки в рукава шубы. Застегиваясь на ходу, на лестнице сказала:

— Ведь я давно не практикую.

— Ремесло плеч не тянет,— ответил директор, едва поспевая за ней.

— Как вы сказали?

— Ремесло, говорю, плеч не тянет. Так один старый мудрец из лузгинской бригады говорит,— пояснил директор.— Мы было уже до города доехали, и вдруг я вспомнил: ба, ведь Анна Леонидовна-то у нас детский врач!

Когда они поднимались на четвертый этаж, к Насте, Евгений пал духом. Он остановился на площадке, не решаясь постучать. Ему думалось: а что, если опоздали...

— Ну, что же вы? — нетерпеливо сказал директор.

Входная дверь оказалась незапертой. Пройдя коридорчик, Евгений нерешительно приоткрыл дверь в Настину комнату и отпрянул назад, радуясь и негодуя. Над детской кроваткой, тщательно, как всегда, одетая и причесанная, склонилась Настя. Она постилала простынку. Мария Алексеевна Лузгина держала на руках виновника волнений. Толстый, розовый, в чистой рубашонке, на которой еще не смялись наведенные утюгом складки, он сосал целлулоидный шар и сердито поглядывал на вошедших.

— Это умирающий? — спросила Анна Леонидовна, сбрасывая шубу на руки остолбеневшего Сизова и оглядывая комнату.

Настя растерянно поглядела на Евгения, на директора, на врача. Она покраснела так, что слезы выступили на глазах. Директор первым все понял.

— Ну, знаете, товарищ Сизов! — сказал он таким голосом, что всем ясно стало, что мысленно он произносит совсем другие, куда более энергичные слова. Он сердито направился к двери, но, вспомнив, что ему еще нужно отвезти врача, махнул рукой и уселся на стул.

Все неловко молчали. На помощь пришла Мария Алексеевна. Улыбаясь, она с добродушным юмором принялась рассказывать о панике, поднятой молодой матерью, испуганной первой болезнью сына-здоровяка.

— Вспомните-ка, товарищи, своих первых ребят,— сказала она, ласково поглядывая на директора.

— Правильно, правильно,— поддержала Анна Леонидовна.— У вас, Мартын Михайлович, детей нет — вам не понять, что означает этакое вот существо... Позвольте, я его подержу.

Она взяла Андрейку у Лузгиной, стала его пестать:

— Агу-гу, гугу, гугу, потерял мужик дугу!.. Ух, какие мы здоровые, толстые, румяные!.. А вы, молодой человек, положите шубу, что вы ее держите. Это по отношению ко мне даже невежливо,— обратилась она к Евгению, все еще топтавшемуся у двери с шубой в руках, и потом улыбнулась Андрейке: — Смешной у тебя папа, правда?

Настя вспыхнула. Наступило неловкое молчание. Директор поднялся:

— Простите, мне некогда. Через пятнадцать минут я за вами, Анна Леонидовна, пришлю машину.

Хмурый, все еще сердитый, он отвесил общий поклон и пошел уже было к выходу, как вдруг на лестнице загрохотали шаги. С шумом распахнулась входная дверь. Что-то тяжелое, загремев, упало в передней. В комнату ворвался Ваня. В одной руке он держал свою спортивную каскетку с длинным козырьком, в другой — лекарство. Волосы у Вани были мокрые, лицо красное, влажное.

— Стрептоцид! — выпалил он, тяжело дыша.

— Где достал?

— В городе! Пять километров туда, пять обратно за пятьдесят семь минут сорок пять секунд! Минус минуту на покупку, минус — подъем по лестнице.

— Бегом в город, в аптеку? — удивилась Анна Леонидовна, принимая от «непроходимого бека» лекарство.

— Именно. За пятьдесят шесть минут пятнадцать секунд. Ни одной больше!..— Он неумело сделал Андрейке козу и спохватился: — Я еще на тренировку поспею! Пока!

Через мгновение он уже грохотал по лестнице. По сухому, желчному лицу директора прошла тень улыбки.

— Дружно живете! — сказал он и обернулся к Евгению: — Вам бы, товарищ Сизов, попробовать фантастический роман написать. У вас прекрасное воображение... И вы можете увлекать... да, именно увлекать! — сказал он уходя.

Андрейка уснул. Женщины сели за стол, и между ними завязалась одна из тех бесед о детях, которые так дороги матерям и непонятны большинству мужчин.

Евгений взял с дивана гитару, стянул с нее чехол и принялся тихонько импровизировать, вспоминая все происшествия этого вечера. Понемногу он так увлекся, что не заметил, как женщины прервали разговор. Только когда Андрейка сонно вздохнул в кроватке, Евгений поднял глаза и, увидев, что его слушают, смутился.

— Играйте, играйте, разве мы вам мешаем? — сказала Анна Леопидовна.

— Не станет,— ласково улыбнулась Настя. Теребя бахрому скатерти, она вдруг спросила ее: — Как вы думаете, мог бы получиться из меня доктор?

— То есть как это — получиться? Учиться же надо!

— Нет, настоящий, хороший... Я вот с детства любила лечить... Нет, не улыбайтесь, я серьезно. Помню, совсем девчонкой была, когда бык нашей овце бок пропорол. Уж как я за этой овцой ходила!.. И выходила! Дни и ночи сейчас вот над учебниками корплю — готовлюсь. Очень хочется учиться! А иной раз мне кажется — все это блажь. Никакого врача из меня не выйдет...

Анна Леонидовна ласково погладила Настю по голове:

— Будете, милая, обязательно будете! Если очень хотеть — всего добиться можно. Не то что в наше время. Да и то добивались... Ну, прощайте, голубушка! И не волнуйтесь по пустякам. Вашему богатырю еще с девяноста девятью болезнями силами мериться придется...

— И я пошел,— сказал Евгений.

— Разве вы не...— начала было Анна Леонидовна и вдруг застенчиво смолкла, лишь вопросительно взглянув на Настю и Евгения.

Тот торопливо одевался.

Спускаясь по лестнице, Анна Леонидовна спросила Евгения:

— А этот громадный, что за лекарством бегал, тоже из вашей бригады?

— Тоже.

XXIX

Инженер Апт сдержал слово.

Перед выходным днем, в обеденный перерыв, на участок тяжелых молотов пришел долговязый, костлявый техник и с ним низенький, коренастый бригадир слесарей-монтажников из ремонтно-механического цеха — веселый человек, которого весь завод, даже старые, седые кадровики, звали дядей Петей. Развернули рулетку, принялись обмерять участок.

— Чего это они? — спросила Настя.

Евгений ответил как можно равнодушней:

— Не знаю.

Кузница опустела. Только Кухаров и Евгений остались в цехе. Машинист ничего не спрашивал и только нет-нет да и посматривал насмешливо на Евгения. Сизову было неловко. Он никому в бригаде не говорил о своем предложении, а вот теперь ему стало ясно, что старик, а может быть, и остальные давно уже все знают. «Вот старый грач. И ведь никогда ни о чем не спросит!»

Техник что-то ворчал, делая пометки на затрепанном плане, а дядя Петя, быстро перебирая руками стальную тесьму рулетки, вполголоса напевал:

...Когда будешь большая,
Отдадут тебя замуж
В деревню чужую,
В деревню глухую...

Он выпрямился и подмигнул Сизову:

— Машинку твою завтра ставим. Слышишь, хозяин? Получишь премию — с тебя причитается. Меньше трех полмитриев не моги и думать.

Евгений опять оглянулся на Кухарова. Тот спокойно грел руки над остывающими осями.

— Песню-то сам сложил?

— Зачем? Старая...

...Мужики там все злые,
Топорами секутся,
И по будням там дож,
И по праздникам тож.

Кухаров, присев на скамейку, слушал:

— Хорошо поешь!

Дядя Петя выпрямился, улыбнулся:

— Как умею.

— Хорошая песня!

— Я думаю! С малолетства в голове сидит. Мать сестренке все пела.

И, делая цветным мелком пометки на полу, он запел, уже не приглушая голоса:

И дож будет литься,
И свекруха браниться,
И родные все злиться,
Спи... Спи...

Эхо, уже поселившееся в притихших просторах кузницы, повторяло последние слова.

— За выходной-то установите, солист? — раздраженно перебил его техник, рассовывая по карманам рулетку, метр, чертежи.

— Установим, работа не ахти какая,— ответил дядя Петя и, поглядев вслед уходящему технику, подмигнул: — Забегали! Жареный петух в маковку клюнул — так забегали. Тут, брат Сизов, из-за твоей машинки третьего дня такое сражение разыгралось... «Было дело под Полтавой, дело славное, друзья». Как же... Апт вызвал цехового механика: «Почему машинка Сизова до сих пор не готова?» А тот знай ус поглаживает. «Установим, говорит, когда время будет. Есть серьезные дела, а с чепухой успеется». Апт так и взвился: «Как так — с чепухой? Что значит «успеется»? Вам, члену партии, не стыдно так говорить?!» Да то, да се. А механик усмехнулся: «Странно, говорит, чего это беспартийные спецы вдруг о партии печься стали... странно, говорит, и маленько подозрительно».

— Так и сказал? Ну, ну и что?

— Да что — поругались. Да еще как! Я тут с чертежами стоял, так они и обо мне позабыли. Апт кричит: «Я вам приказываю: в выходной день закончить установку!» А тот: «Я, говорит, должен буду тогда доложить парткому, что вы срываете план капитального ремонта». Апт взбесился: «Хоть черту, хоть дьяволу докладывайте, а мой приказ чтобы выполнить!» А механик ему: «Если вы, инженер, партийную организацию дьяволом зовете, тогда нам говорить не о чем... Я, говорит, прошу вас, дядя Петя, запомнить эти слова инженера Апта. Разговор, говорит, мы будем оканчивать в другом месте. Мы, говорит, слава богу, не на нобелевских заводах, наши права советская власть защищает...»

— А ты?

— Что я... Я запомнил.

— Только-то? Ну и на том спасибо,— сказал Кухаров, приходя вдруг в необыкновенное возбуждение.

— А мне, Кухарыч, сдается вот что: Апт, может, вгорячах что и криво ляпнул, а только прав он. Ей-ей! Этот усатый черт, механик, сам напросился. Ладит: «Не верю в эти сизовские игрушки». Не веришь — и не верь. А какое ты имеешь право дело срывать? Я Апта и до семнадцатого года тут видел. Почтенный человек. Чего ему Нобелем-то тыкать.

— Когда Колумб открыл Америку, попы хотели его осудить, потому что раз в Писании о такой земле ничего не сказано, стало быть, ее и быть не может,— задумчиво сказал Кухаров.— Что я этим хочу сказать? Что Сизов Америку открыл? Нет, не это. Хочется мне сказать, что

есть у нас вот такие паршивые попы, которые жить хотят по Ветхому завету: раз о чем-нибудь в книгах нет — значит, и быть того не может. Тоже воротилы-пятилы!

Толстые щеки дяди Пети запрыгали, затряслись от смеха:

— «Попы»... «Воротилы-пятилы»... Скажешь...

— Только вот еще неизвестно, какому богу эти попы кадят,— задумчиво произнес Кухаров и вдруг накинулся на дядю Петю: — И ты хорош: «запомнил»! До седых волос дожил, а на уме только песни. Он, видишь, «запомнил»! А как ты, рабочий человек, мог там молча стоять? Имеешь ты такое право?..

XXX

Новое приспособление Сизова заинтересовало бригаду. После дня отдыха, не сговариваясь, все собрались в кузнице задолго до смены. Ясное весеннее утро врывалось в цех сквозь стекла потолочных рам, пронизывая его наискось снопами золотисто-розовых лучей. От этого просторное помещение как бы еще раздавалось вширь, а громоздкие молоты словно теряли свой вес и уменьшались в размерах.

В цехе, как и всегда, до начала работы, стояла какая-то необыкновенная, торжественная тишина.

Слесари заканчивали монтаж. Наконец последняя гайка была закреплена. Дядя Петя, в перепачканной маслом блузе, усталый, довольный, еще раз осмотрел приспособление, щелкнул клещами, потрогал трос, погладил ручку пускового механизма и, вытирая с лица пот, обратился к Сизову:

— Ну, отец, принимай дитё!

Евгений ревниво посмотрел на товарищей и с удовольствием убедился, что все они заинтересованы, все с нетерпением ждут.

До звонка оставалось десять минут.

— Обновим, что ли? — неуверенно спросил Евгений, поглядывая на Кухарова.

Старик утвердительно кивнул.

Сизов для чего-то засучил рукава, сам зацепил заготовку клещами, подошел к моторчику, взялся за пуск. Рука дрожала. Пуск легко скрипнул и подался, но мотор еще не был включен. Легкий нажим — и механизм придет в

движение. Евгений даже зажмурился от волнения. Нечто подобное он испытывал несколько лет назад, в тире, когда нажимал спусковой крючок, чтобы сделать первый в своей жизни выстрел из боевой винтовки.

Все кругом застыли в напряженных позах, точно в самом деле сейчас должно было произойти что-то необычайное.

Евгений нажал еще. Моторчик зажужжал. Трос натянулся, и заготовка выскочила из печи, точно зуб, вырванный опытной рукой дантиста. Она выскочила так быстро, что никто не успел и заметить даже, как это произошло.

— Н-да,— процедил Кухаров, снимая очки.

— Ведь вот, кажется, простое дело, а в голову не пришло,— сказал Петр Жолобов.— Досадно! Сколько лет в нагревальщиках отработал и не мог додуматься!

— Со стороны-то всегда виднее.

Евгений вопросительно посмотрел на Настю. Она ничего не сказала. Она стояла в сторонке, опустив голову, и на лице ее было то же выражение, какое видел Сизов в новогоднюю ночь, когда все аплодировали ему за марш Риего. Это выражение не удивило, а обрадовало его. Он понял, как близко к сердцу принимает Настя его успех.

Между тем стрелка часов приближалась к восьми. Дядя Петя засуетился:

— А ну, хозяин, вставай насупротив! — Серьезно прикрыл руку полой пиджака, взял трос и с мрачно-торжественным видом передал его Евгению, точно это был повод лошади, проданной по старому цыганскому обычаю: — Владей, Фадей, моей Маланьей! Так три полмитрия за тобой...

Он хотел добавить что-то еще, но не успел. Раздался звонок. Все пошли по местам. Еле дождавшись, пока Петр зацепит заготовку клещами, Евгений нажал пуск...

Работали в этот день согласно, споро. Евгений заметил, что ось ковали за семь минут с небольшим. Если дело пойдет так дальше, к концу смены можно выковать шестьдесят.

— Давай, давай! — торопил он Ваню, дорожа каждым мгновением.

— Есть, капитан! — весело отвечал тот.

«Ага, наконец-то забрало, леший вас всех возьми! Наконец-то в меня поверили!.. Только бы не сдать!» — торжествовал Евгений, чувствуя, что темп уже приближается к лузгинскому.

И вдруг, когда действительно работа всех захватила, молот сделал несколько неполновесных ударов, и баба повисла над недокованной осью.

Сел пар.

— У, проклятые! — прошептал Кухаров.

Глаза Насти заволокли густые, точно глицериновые, слезы.

Металл, охлаждаясь, медленно синел, покрываясь окалиной.

Чей-то сердитый бас издали прогремел на всю кузницу:

— Поганой метлой механика за такую работу!

«Механик, опять механик!» Евгений вдруг почувствовал непреодолимую ненависть к этому человеку, которого он никогда не видел. Ни слова не говоря, он быстро пошел к выходу.

— Куда? — тревожно спросил Кухаров, глазами показывая Петру на удаляющегося бригадира.

Петр бросился за Сизовым и догнал его. Не сказав друг другу ни слова, они миновали цех, поднялись по лестнице на второй этаж и, пройдя отдел цехового механика, добрались до его кабинета. Седенький, аккуратный старичок закусывал, подсчитывая что-то в большой книге.

— Где механик? — хрипло спросил Евгений.

Старичок спокойно посмотрел на него и молча указал бутербродом на дверь.

Евгений толкнул дверь ногой и остановился в недоумении: за столом сидел грузный, лысеющий, румяный человек в военной гимнастерке, человек с пушистыми моржовыми усами — тот самый Игорь Николаевич, с которым он столько раз встречался у Пороцкого.

Евгений знал: Игорь Николаевич работает на заводе, на каком-то важном посту, но он никак не ожидал встретить его именно здесь.

— А-а-а, Женька!.. Знаменитому кузнецу почет и уважение! Прошу, товарищи, прошу! — ласково сказал Игорь Николаевич, поднимаясь и протягивая пухлую руку.— Что скажете хорошенького?

— Вы механик?

— Я. А ты не знал?.. Что ж стоите? Садитесь, товарищи. В ногах, как говорится, правды нет. Насчет пара небось? Ох, беда с этим паром! Вот он где у меня! — Он похлопал себя по крепкому загривку.— Плохо. Паропровод вредители какие-то строили — решето! Бьемся, бьемся — и ни черта. Тут залатали — там свищет. Только у нас и

дела, что латать этот проклятый паропровод. Из-за этого весь план ремонта запустили.

Механик предложил посетителям папиросы, сам закурил и принялся сетовать на негодные флянцы, на осыпающуюся термоизоляцию. Этот человек, которого Евгений знал молчаливым, был сегодня непривычно многословен.

Его болтливость показалась Евгению странной. Вспомнилось вдруг, как Кухаров на производственном совещании требовал как следует «покопать» в отделе цехового механика, вспомнил новогоднюю истерику Пороцкого, последний разговор с Жоржем в парке, спор с Аптом, о котором рассказывал недавно дядя Петя. Все это как-то само собой пригналось одно к другому. «А что, если?..» Он поднял глаза на сытое лицо Игоря Николаевича, и точно кто мокрой тряпкой провел по спине кузнеца. Мурашки пошли по коже. «А что, если и Пороцкий, и этот картавый москвич, и покойный Жорка...» Евгению вдруг стало жутко, будто он вошел в клетку, где сидит, затаясь, хищник.

С опаской и любопытством разглядывал он благодушное лицо Игоря Николаевича. А тот все говорил, говорил, и кончики его пышных усов шевелились.

— Так и латаете? — переспросил Евгений, думая о своем.

— Так и латаем... Что будешь делать? Из одних дыр, как говорится, штанов не сошьешь. Я и в прошлом, и в позапрошлом, и в этом году сметы на паропровод составлял. И сумма-то, при масштабах завода, плевая — миллиона полтора. Но дирекции нашей какое дело до кузнецов! Им план подавай, а с паром выкручивайтесь сами как знаете. И Апт — что ему? Он спит и видит, как бы нобелевские порядки на заводе установить. Что ему рабочие, что ему ваша трудовая слава... Вот тут и выкручивайся механик как хочешь...

— Выкручиваетесь?

Должно быть, пристальный взгляд Евгения все-таки раздражил и обеспокоил Игоря Николаевича. Он выпрямился, подтянулся.

— И ведь, главное, что обидно,— продолжал он уже нервозно,— план с нас спрашивают, ударные заказы дают, рабочих мобилизуют, выполнение норм от них требуют, а когда денег на паропровод попросишь — выкручивайтесь как знаете.

— Выкручиваетесь?

Механик в упор смотрел на Евгения. Несколько се-

кунд оба напряженно глядели друг другу в глаза, словно стараясь прочесть сокровенные мысли.

Случайно мелькнувшее подозрение крепло у Евгения. Игорь Николаевич не выдержал и отвернулся. Это почему-то взбесило Сизова. Он проглотил слюну, шагнул к механику и, еле сдерживаясь, сказал:

— Чтобы был пар! Понятно? — и постучал костяшками пальцев о стол.

Это было произнесено так, что Петр, вплотную придвинувшись к Евгению, крепко сжал ему локоть.

От болтливой общительности Игоря Николаевича вмиг ничего не осталось. Он вскочил и сразу стал менее внушительным: у него было длинное туловище и короткие ноги.

— Что это — угроза? — спросил он, сердито одергивая гимнастерку.— Прошу здесь тона не повышать! Вы не в пивном павильоне, гражданин Сизов!

У Евгения зарябило в глазах. Трудно сказать, что сделал бы он в следующую минуту, но Петр взял его за плечи.

— Пошли, бригадир! — сказал он властно.

В дверях Евгений оглянулся.

Игорь Николаевич спокойно закуривал папиросу, с холодным презрением поглядывая на уходящих.

«А может, все это чепуха? Может, зря схватились?» — подумал Евгений и вдруг заметил, что рука механика, державшая спичку, мелко-мелко дрожит.

XXXI

Когда вернулись в цех, был уже перерыв. Толпа кузнецов шумела и переговаривалась на участке лузгинской бригады. Все с интересом рассматривали новое приспособление. Сияющий Ваня важно пояснял тоном заправского экскурсовода:

— Заготовка зацепляется этими клещами. Понятно, товарищи? Потом вот так: «Раз!» — нажимаем пуск,— и двенадцать ноль в нашу пользу!

— Варят у вас головы, ничего не скажешь,— заявил сутулый стриженый кузнец, не замечая подошедшего изобретателя.— Клоун этот Лузгин. Полгода назад такого трепача, как Сизов, на обе кузницы поискать было. А он вон какого человека из него сделал! Башка!

— Не слыхали, на других-то молотах эти штуки ставить будут?

— Надо требовать, какого черта! Что мы, хуже людей?

— А-а-а, изобретатель! Его бранят, а он подслушивает! — обрадовался сутулый кузнец, заметив Евгения.— Вот тут ребята интересуются, будут ли твои чертовины на других молотах ставить? Не слыхал? Чего нос-то повесил? От удачи угорел, что ли?

Случайная догадка все больше овладевала Евгением. Чем больше он думал, тем тверже становилась уверенность, что аварии не случайны, что недаром горячие цехи особенно лихорадит, когда идут срочные оборонные заказы, и что каким-то образом все это может быть связано с клубником.

Что, в сущности, знал Сизов о Константине Павловиче Пороцком, славившемся на всю область своими клубными затеями? Кто он, этот человек? Кто его друзья, собутыльники? Раньше Евгений как-то не думал над этим. Какое ему было до этого дело!

Знакомство с человеком, который был на «ты» с знаменитыми артистами, называл полуименем известнейших писателей, льстило ему. Пороцкий любил и, должно быть, действительно знал музыку. От щедрых похвал его приятно кружилась голова. Потом Евгений понял, что залез не в свои сани, и расстался с компанией Константина Павловича без труда, без сожаления.

Новое, что открылось ему в лузгинской бригаде,— мастерство, доведенное до степени искусства, трудности освоения, кухаровская мудрость и синие глаза Насти — все это захватило его без остатка, и он забыл о странной компании, как всегда человек инстинктивно старается поскорей позабыть о том, что вспоминать тягостно или стыдно.

Только раз вспомнились туманные речи Жоржа о коте и мышах и безотчетная жуть, которой на него повеяло от всего этого загадочного происшествия на электростанции. Но, захваченный новым, радостным, необыкновенным, что с трудом, с болью и борьбой входило в его жизнь, Евгений с легкостью юности забыл и о гибели монтера, и о своих неясных догадках.

Теперь, после разговора в кабинете цехового механика, все это вновь всплыло в памяти и как бы по-новому проявилось. Вспомнилось беспробудное пьянство Пороцкого в дни процесса троцкистского центра. Вспомнилось насмешливое пренебрежение его ко всему, что происходило

вокруг, его плохо скрытая ненависть к Лузгину, его манера говорить об одном и том же разным людям по-разному.

Вспомнилась майская демонстрация. Пороцкий был распорядителем колонны вагонщиков. Он бегал взад и вперед с большим алым бантом на груди, шумел, командовал, шутил, пел то с токарями, то с кузнецами, то с деревообделочниками. Перед трибуной сам отсчитывал шаг, кричал «ура» громче всех. А вернувшись домой, вышучивал свой «первомайский энтузиазм». И этот новогодний разговор, авария, и этот сверток, который Пороцкий в день аварии пытался отдать Евгению для передачи тому, картавому из Москвы... Ну да, вероятно, он боялся, что знакомство его с погибшим слишком известно, что может навести на след? А возможно, ждал ареста, обыска? Неужели и гибель Жоржа — не случайность?

От этой мысли Евгению становилось страшно. Но что делать? Что?

Пойти в партком рассказать? Но что расскажешь? Догадки? Подозрения? Высмеют, а то еще, чего доброго, привлекут к ответу за клевету. А если поверят, сейчас же вспомнят, что Евгений сам терся в этой компании. Пусть ничего не знал, пусть они таили от него свои дела и замыслы — но все же бывал... На мельнице был и не запылился? Кто поверит?

До звонка Евгений так ничего и не решил.

— Пятьдесят шесть осей — слышишь, бригадир? — довольно сказал Кухаров, снимая рукавицы.

До Евгения даже и эта радость не дошла. «Посоветоваться, что ли, со старым грачом? Он ведь, кажется, член райкома. Пожалуй, самое лучшее»,— решил Сизов. Но старик уже куда-то исчез из раздевалки. И тут вдруг вспомнился лузгинский наказ — в случае чего иди к Федорову: «Любую беду руками разведет». Ладно, будь что будет!»

...Торопясь, сбиваясь, злясь на себя и от этого путаясь еще больше, Сизов рассказал парторгу об утренней перепалке с цеховым механиком. Федоров терпеливо слушал, чертя узоры на полях газеты. Ясно было, что история эта ему уже известна, что он уже принял какие-то свои меры и не одобряет поведение Евгения. Когда же тот обозвал Игоря Николаевича вредителем, парторг вдруг стал серьезен:

— Стоп, парень!.. Это слово — страшное. Его произносить подумав надо. Крепко подумав...

И все же Евгению показалось, что Федоров и этому слову не удивился. Парторг достал из железного ящика учетные карточки. Вытащил из них одну, положил на стол и, глядя на нее, задумался.

— Он, механик, членом партии был, когда мать тебе нос подолом утирала... Говори, если есть факты, но помни, это очень худо — клеветать на человека.

Но когда Евгений рассказал о Пороцком, о собиравшейся у него компании, парторг встал, плотно прикрыл дверь, уселся на столе против Евгения. Тонкие ноздри его тронутого оспой носа нервно заходили.

— Ну, ну! — заторопил он.

Евгений сразу почему-то успокоился и продолжал, стараясь ничего не забыть. Он больше не думал о себе, о своих компрометирующих знакомствах. Федорову легко было говорить правду, какой бы эта правда ни была.

— Ну, а еще кого ты у Пороцкого встречал?

Евгений назвал Жоржа, «приходящую жену», двух-трех человек, постоянно толкавшихся на квартире заведующего клубом, приезжего грассирующего брюнета...

— Больше никого? Вспомни-ка, брат, вспомни.

— Мишка Павлов раз был. Со мной приходил.

— Это какой Павлов? Токарь? Которого мы в консерваторию послали? Баянист? — удивленно спросил Федоров.— Ну, а он что?

— Ничего. Посидел с час и ушел. «Ну их, говорит, обмылки какие-то!»

— Обмылки? — Лицо Федорова на мгновение осветилось озорным весельем, но тотчас же снова стало озабоченным, жестким, каким Евгений его еще никогда не видел.— Именно обмылки, это точно... Вот что, Сизов: за информацию спасибо. Только уговор: язык за зубами... Пороцкий уже...— Он сделал из пальцев решетку.— Он из неразоружившихся троцкистов, махровый! Помнишь аварию на электростанции зимой? Их дело. Сволота проклятая! Они тут на одну иностранную державу работали. Чужую валюту у него нашли...— Парторг вдруг спохватился, резко оборвал себя: — Ну ладно, чего толковать... А этот... Ведь под носом сидел! Ах, шляпа я распоследняя! Вот тебе и пар! Ну, бывай здоров! И помалкивай!

Так вот кто Константин Павлович Пороцкий!

И вновь возникло перед глазами обгорелое лицо. Погиб

ли Жорж случайно, выполняя задание, или, может быть, умышленно убил себя током, не имея сил вырваться из мягких лап?

«Может быть, если бы не Лузгин, быть бы и мне в кошачьих когтях?» — подумал Евгений со страхом.

— Нет, никогда, ни за что! — гневно сказал он вслух.— Пил — да. Лодырничал — да. Хулиганил — да. Но чтобы с ними, с этими... обмылками? Да лучше голову под молот положить!

Прохожие с удивлением оглядывались на возбужденного парня, что шел не разбирая дороги, натыкался на людей и разговаривал сам с собой.

XXXII

На следующий день с утра в кузнице работала техническая комиссия. Возглавил ее инженер Кравченко — «мастер художественного свиста» и любитель украинского пения. В цехе этот полный, румяный человек оказался очень подвижным. Никому не доверяя, он с легкостью пожарника забирался под самую крышку; проворно действуя ключами, сам проверял каждую скрепку, каждый флянец паропровода.

Члены комиссии — Апт и главный механик завода, грузный старик, страдавший одышкой,— едва поспевали за ним.

Комиссия работала два дня. То, что ей удалось обнаружить, целиком подтвердило подозрение Кухарова, требовавшего еще на совещании осевиков «покопать» в отделе цехового механика. Паропровод — этот двигательный нерв горячих цехов — оказался в таком состоянии, что комиссия даже поразилась, как до сих пор не произошло катастрофы. Требовалась большая работа, чтобы привести все в порядок. При этом необходимо было закончить основной ремонт за выходной день, так как каждый час простоя горячих цехов грозил срывом правительственного заказа.

Все ремонтные бригады были брошены на восстановление паропровода. Им на помощь добровольно пошли слесари механического и инструментального цехов, сварщики, клепальщики — словом, все, кто мог хоть чем-нибудь быть полезен. Вызвались было и Евгений с Ваней, но их отправили домой: кузнецы не требовались. Лишние люди только мешали.

Сотни людей целые сутки не вылезали из кузницы. Чтобы вовремя поспеть, ремонтники отказались даже от перерыва на обед и ужин... Совет жен специалистов организовал распределение горячей пищи по рабочим местам. Слесари наскоро пили из кружки густой теплый бульон, набивали рот котлетой и дожевывали ее уже за работой. Между работающими то там, то здесь мелькала подвижная фигура инженера Кравченко. Везде, где он появлялся, слышались взрывы смеха, шутки.

Когда после выходного кузнецы пришли на работу, Евгения поразил необычайный беспорядок. Цех походил на поле битвы. Пол залит мазутом, всюду валялись масленые тряпки, гипс, волокна асбеста, детали и куски труб. Под крышей у паропровода еще возились усталые люди с покрасневшими от бессонницы глазами.

Возле штабеля готовых осей, положив голову на ладонь и открыв рот, спал долговязый костлявый техник. Невдалеке от него неунывающий дядя Петя руководил укладкой на электрокар огромного вентиля.

— «На заре ты его не буди»,— пропел монтажник, показывая на спящего, и серьезно добавил: — Этот человек двое суток глаз не сомкнул. Всем досталось. Не скучали.

Белки глаз и зубы ослепительно сверкали на густо выпачканном маслом лице дяди Пети; за эти сутки он заметно осунулся, но усталым не выглядел. Он осмотрелся кругом и, сделав из пальцев решетку, таинственно сообщил:

— И механик уже готов: ты меня видишь, я тебя нет. Говорят, паропровод-то... И еще говорят, будто...

— Ешь пирог с грибами да держи язык за зубами! — оборвал Кухаров словоохотливого монтажника.— Стары мы с тобой, дядя Петя, чтобы сплетни плести.

— Да какие ж это сплетни, Алексей Никитич!

По цехам бушевали гневные митинги. Все чувствовали облегчение, точно у каждого в отдельности и у всего завода в целом вырвали гнилой, запущенный зуб, который все время болел, всех мучил, мешал жить. Вот почему гнев людей на митингах сразу обретал весьма реальное выражение и новые ударные обязательства стекались со всех участков в толстый портфель Нестерыча.

Выступил на митинге и Евгений. Он увлекся и в конце речи заявил, что в ответ бригада даст восемьдесят осей в смену. Уже сходя с трибуны, понял, что погорячился.

К удивлению его, Кухаров, которого он боялся больше других, только с любопытством взглянул на молодого бригадира.

— Не дав слово — крепись, дав — держись! К чему говорю? А к тому, что наша бригада еще ни разу на ветер слов не бросала...

Сидевший рядом с машинистом инженер Кравченко недоверчиво покосился на Кухарова:

— Неужели, Алексей Никитич, серьезно?.. Восемьдесят в смену?

— Неужели ты серьезно хочешь за месяц починить весь паропровод? — спросил Кухаров.

Инженер обнял старика:

— А ты все такой же, дядя Алексей!

— Врешь, Петро, я моложе стал, куда моложе...

Когда после митинга Евгений пошел было домой, Кухаров взял его за плечи и повернул к двери парткома:

— Зайди-ка, бригадир, надо у Федорова все уточнить.

Кроме парторга, Евгения ждали, оказывается, директор завода, Нестерыч и Апт. Кузнец смущенно поздоровался и сел на краешек стула у самой двери.

Парторг испытующе посмотрел на него:

— Насчет восьмидесяти осей всерьез или сгоряча брякнул?

Евгений молчал, чувствуя, как жар заливает лицо, уши, грудь, как сразу вспотели ладони...

Неожиданно Кухаров пришел ему на помощь:

— У нас сказано — сделано. Какие могут быть прения?

— Ну, коли так — в добрый час. Эта твоя инициатива насчет восьмидесяти осей нам во как нужна! — сказал Федоров, показав рукой на горло.— Нужно встряхнуть людей, поднять завод. Понимаешь? Уверенность в людях укрепить. Взбодрить.

— Мы прикрепляем к вам Якова Семеновича. Я попросил его оказывать вам всяческое содействие, а если понадобится, то и помощь... да, и помощь,— сказал директор.

Евгений уже оправился от смущения. То, что Кухаров поддержал, его успокоило. Ему уже казалось, что выступил он обдуманно.

— Не надо мне никакой помощи,— сказал он директору.— Сам обещал, сам и выполню.

— Ну, как знаете, дело ваше.

Сизов пошел к выходу, но Федоров догнал его и удержал:

— Ты помни, Сизов: теперь у тебя в руках наша честь. Честь завода. Завтра твое обязательство публикуем.

XXXIII

Инженера Кравченко назначили цеховым механиком. Целыми днями он не вылезал из кузницы.

Как-то новый механик зашел на участок тяжелых молотов и, поздоровавшись с бригадой, обратился к Кухарову:

— Ну, как жизнь, дядя Алексей? Руки не подаю — грязная. А у вас вон как, прямо хирургическая чистота... На пар жалуетесь?

Евгений подметил, что толстый Кравченко разговаривает с Кухаровым тем тоном, каким молодые люди говорят со старшими, на глазах которых выросли.

— Да как сказать, Петро... жалуемся. Но поменьше, заметно поменьше.

— То-то — поменьше! Вы бы знали, что этот мерзавец наделал!.. Живого места нет. Здесь, на виду, еще ничего, а в туннеле что делается!.. Ну ладно. День-два потерпите — наладим!.. А что Оля? Пишет что-нибудь? — неожиданно спросил инженер у старика.

Сизову показалось, что этот плотный весельчак вдруг погрустнел.

— Пишет... Сына ждет.

Инженер смущенно пробормотал:

— Почему же обязательно сына?

В кузнице сквозь приглушенный рев форсунок долго еще слышался его грустный свист.

— Я этого Павлуху-то Кравченко вó каким знал! — пояснил Кухаров.— Молотобойца моего, Миколы Кравченко, сын. Самого-то Миколу Махно расстрелял, а Миколаевич-то — вон какой он вырос! Это в честь его отца и клуб наш называется: имени Кравченко.

Несмотря на то что подача пара заметно пошла на улучшение, выработка бригады никак не могла подняться выше пятидесяти девяти осей. Правда, и это было немало: норма перевыполнялась почти вчетверо. Но знаменитая бригада испытывала неудовлетворенность: движение вперед прекратилось, и люди расходились, недовольные собой и друг другом.

Между тем как только новое приспособление, за которым в цехе так и укрепилось название «сизовка», было введено, сменная бригада Рогова, всегда отстававшая от лузгинской, почти догнала ее.

— Нажимай, нажимай, Сизов, а то на пятки наступать будем! — сказал как-то Рогов, не предполагая, как больно задевает он самолюбие сменщика.

Евгений нахмурился и ничего не ответил.

После разговора в парткоме кузнец особенно тяжело переживал свои неудачи. Не дал слово — крепись, дал слово — держись. Хоть бы Илья Афанасьевич скорей возвращался!

От Лузгина не было никаких вестей. Только однажды в газетах мелькнула заметка о его встрече с молодыми ударниками одного из южных заводов.

«Разъезжает, и горя мало!» — неприязненно подумал Сизов, как будто именно Лузгин был виноват во всех его неудачах.

Скверно, очень скверно было у Евгения на душе. А тут, в довершение всего, еще и гриппом заболел. Сизов уже тяготился своим бригадирством и думал только о том, как бы дождаться возвращения Лузгина. Но сейчас, когда представилась возможность «сесть на бюллетень» и хоть на время сдать бригаду другому, он решительно заявил врачу:

— Мне болеть нельзя. Вы дайте мне такие порошки, чтобы работать можно было. А сидмя сидеть — некогда.

Впрочем, и таблетки, выписанные ему, он принимать не стал. Решил лечиться испытанным, универсальным средством, с помощью которого люди испокон века исцелялись от всех недугов. Купил водки, насыпал в бутылку две горсти соли, крепко взболтал и залпом пил стопку за стопкой отвратительную смесь.

Алкоголь ударил в голову. Евгений тяжело охмелел. Опять вспомнились обиды и неудачи. Стало жаль себя, захотелось кому-нибудь рассказать обо всем, что накопилось на душе. Так захотелось, что он и в самом деле напялил ватник, нахлобучил кепку и, придерживаясь за косяки, за стены, выполз на крыльцо. Куда идти? Кому он, знатный человек завода, бригадир знаменитой бригады, мог показаться в таком виде? Кто выслушает, а главное, кто может понять его?

Настя? К Насте—выпивши? Нет. Это нельзя. Кухаров? Этот — подходящий старик. С таким можно толковать. Но

старый грач слишком уж суров и требователен к себе и другим. Понять-то он, пожалуй, и поймет, а простить — навряд ли. К Петру податься? Он твердый. Но душа у него сухая, да и живет-то он где-то у черта на рогах, и адреса нет. Как найдешь?

Весенний ветер обдувал его разгоряченный лоб. Хмель понемногу выветривался. Евгений тоскливо оглядел пустынную улицу, вернулся домой, запер дверь на задвижку, допил поллитровку и, усевшись с гитарой перед зеркалом, стал допрашивать свое отражение:

— Что, худо, Евгений Иванович? Надо хуже, да нельзя! Из тебя, милок, бригадир — как из огурца молоток. Верно, брат, верно! Что нам с тобой душой кривить — свои люди. Восемьдесят осей обещал. Восемьдесят! Тянул тебя леший за язык! То-то вот оно и есть. А люди поверили. В газетах напечатали. Ждут. Ох, худо, брат, худо!..

В зеркале он видел смуглое худощавое лицо. От жара оно было неестественно красным. Глаза влажно поблескивали из-под опухших век. На висках выступила испарина. Прядки черных волос липли ко лбу.

— И рожа-то у тебя, брат, вылиняла. Худо, ох, худо...

На следующий день он принимал смену всклокоченный, с мутными, заплывшими глазами и помятым лицом. Все тело ломило. Ноги подгибались. Он чувствовал себя разбитым. Державка дважды вываливалась у него из рук.

Вечером Кухаров, подсчитав выработку, сообщил: всего сорок восемь осей.

Когда возвращались домой, Настя задержала Евгения:

— Давай отстанем, нужно потолковать.

Евгений благодарно посмотрел на молодую женщину: наконец-то нашелся человек, который понял, как ему сейчас нехорошо, как ему нужно сочувствие! И этот человек — Настя.

Но Настя взяла его за рукав и сурово, тоном, не допускающим возражений, потребовала:

— Ну-ка, дыхни!

Евгений оторопел. Он стоял подавленный, уставившись на кончики ее новых калош, сверкавших на солнце. Это отраженное сверкание резало ему воспаленные глаза.

— Эх ты! — укоризненно сказала она и пошла прочь.

Он тоскливо посмотрел ей вслед. Хотелось окликнуть, догнать ее, рассказать о болезни, об одиночестве, о неудачах. Она рассержена, но, может быть, все-таки поймет, должна понять! Если оглянется — он догонит ее, расска-

жет, все расскажет... Но Настя, не оглянувшись, скрылась за поворотом.

В Евгении поднялась глухая злость против всех этих самоуверенных и, как ему казалось теперь, холодных людей, которые умели ценить только хорошую работу и не желали знать, что у человека на душе; дружили с ним, как ему казалось теперь, только в радости, а в горе так поворачивались спиной.

«Ах, так! Леший с вами! Подумаешь! Только и свету в окне, что ваша бригада?.. Как же!»

Он завернул в магазин, купил водки и пошел домой, демонстративно неся в руке незавернутую бутылку. Ему было на все наплевать. Мечтал напиться, забыться, уснуть. А там будь что будет!

Дома хозяйка подала ему объемистый конверт. Адрес был написан незнакомым почерком, большими, четко выведенными буквами. На штемпеле значилось: «Днепропетровск». Стоя посреди комнаты и держа под мышкой бутылку, Сизов прочел письмо Лузгина. Тот извинялся, что из-за занятости и частых переездов столько времени молчал. Скупо писал он о своих впечатлениях и очень подробно рассказывал об опыте украинского кузнеца Голубенко, работу которого ему пришлось наблюдать. К письму была даже приложена схема, набросанная карандашом в голубенковской бригаде.

«...Очень советую тебе, Сизов, попробовать голубенковский способ. Думается, понравится, увидишь, какая польза,— писал Лузгин.— И еще прошу тебя вот что. Сходи к заместителю директора Корытному и напомни ему насчет комнаты Жолобову Петру. У Петра туберкулез, а живет он в сыром сарае. С Корытным я говорил, и он обещал комнату в новом доме. Так ты ему напомни и проследи, чтоб не какую-нибудь завалящую дали, а на солнечной стороне. Если Корытный упрется — ступай к Федорову. Петр — он для себя в январе снегу не попросит...

...И еще, Сизов, есть у меня мысль вот какая. Сейчас, на каком заводе ни побываешь, везде — где детали, где инструмент хромируют, то есть это значит — покрывают хромом. Вот и думается, почему бы у нас не хромировать шейки осей: и от волосовин спасение, и прочнее в ходу ось. Что ты на это скажешь? Здесь я с кем ни поговорю — от всех только одобрение. Расскажи об этом обязательно Кухарову. Пускай старик пообмозгует, он это понимает...»

Дальше Лузгин снова писал о Голубенко, опять о хро-

мировании и в заключение наказывал передать всем привет. О возвращении — ни слова. Евгений еще раз перечитал письмо, и ему как-то легче стало, точно через эти вот строчки большая и сильная рука Лузгина издали поддержала его в тяжелую минуту.

Он сложил письмо и задумался. Потом потряс бутылку, последил, как замутнела от пузырьков прозрачная зеленоватая жидкость, и поставил на окно. В этот вечер Евгений, напившись по совету хозяйки отвара малины с медом, накинув на плечи меховую куртку, с карандашом в руках изучал метод Голубенко. Он не очень понравился Сизову, но раз Лузгин советовал, нужно было попробовать.

XXXIV

Лекарство ли помогло, малина ли с медом, или, может быть, болезнь пришла к своему естественному концу, но на следующий день Евгений проснулся со свежей головой, чувствуя слабость и зверский аппетит.

Смену он принял уверенно и в перерыв познакомил бригаду с приемами Голубенко. Решили попробовать, и ничего не получилось. Стройность работы нарушилась, и Евгений, не найдя в себе настойчивости и воли наладить дело, махнул рукой на новый способ...

А Лузгин все не ехал и не ехал. Евгений снова замкнулся. Теперь он уже ясно видел, что товарищи именно его считают виновником общих неудач. Постоянное напряжение вконец измучило его и еще больше отдалило от людей. Окончив смену, он стремился скорее уйти из цеха. Даже в отношениях с Настей не было прежней теплоты. Он избегал оставаться с ней наедине и только дома, с гитарой, мечтал о ней, как о чем-то далеком, недоступном, почти сказочном...

— Вот что, бригадир: выходит — потрепались мы насчет восьмидесяти осей-то? А? К лицу нам? — сказал ему как-то Кухаров.

Это было после звонка, когда приводили в порядок рабочее место. Весь этот день дело как-то особенно не клеилось. Много раз падал пар, из-за этого были даже испорчены две заготовки. В первый раз заветное клеймо «Б. Л.» стояло на «запоротых» осях.

— А чего не к лицу? Кто виноват: я, что ли? — вызывающе ответил Евгений старику.

— А кто же?

— Учить — вы все мастера, а вот за собой смотреть — вас нету! Кто сегодня оси засек? — отрезал Евгений.— Ну кто? Ты засек. А тебе к лицу?

Он тут же спохватился, сознавая всю несправедливость такого обвинения. Но было поздно. Старик достал из кармана носовой платок, долго развертывал его дрожащими руками и все никак не мог развернуть, потом шумно высморкался, сунул платок мимо кармана. Он включил пар и, ни слова не говоря, стал раскачивать бабу молота.

Все в недоумении застыли. Никто не понимал, что хочет сделать оскорбленный машинист. Сизову казалось: сейчас произойдет что-то страшное, непоправимое. Он хотел броситься к старику — и не мог двинуться с места. Мучаясь, точно в тяжелом сне, он с ужасом следил, как движется баба. Двухтонный стальной монолит подпрыгивал, как резиновый мячик, все выше и выше.

Настя бросилась к Кухарову:

— Дядя Алексей, что ты?

Старик отстранил ее.

— Я засекаю! — горько сказал он.

Продолжая раскачивать бабу молота, машинист вдруг вынул из кармана пузатые часы с серебряными крышками.

— Кухаров засекает,— повторил он и, положив часы на наковальню, поспешно отдернул руку.

Баба взлетела вверх, к самому цилиндру, и стремительно упала вниз. Настя вскрикнула. Все зажмурились.

Но удара не последовало. Обратным движением рукоятки Кухаров прервал падение бабы, и она застыла где-то над самыми часами, даже, кажется, чуть прижав их.

Старик выключил пар, взял часы. Они тикали. Даже стекло было цело, свидетельствуя о непостижимой точности удара и изумительном мастерстве машиниста.

— Вот это да! — вырвалось у Петра.

— Кухарушка, милый! — Настя обняла старика и поцеловала куда-то в бороду.— Ты не слушай его — он на себя, он на весь мир зол!

Ваня, присев на корточки, бешено хлопал в ладоши, как хлопают заядлые болельщики любимому вратарю, принявшему «мертвый» мяч.

Кухаров сердито отвернулся и покраснел. Вспышка прошла. Он, должно быть, стыдился своей выходки.

— Чему обрадовался? Любо дураку, что сума на боку! — накинулся он на Ваню. Потом обычным ворчливым тоном сказал: — Пошли в красный уголок.

И когда члены бригады, тихие, задумчивые, расселись вокруг стола, Кухаров начал с того, что как старый коммунист он первый отвечает за плохую работу последних дней. Нечего валить друг на друга, нечего искать оправданий где-то на стороне.

— Никто нам гайки не подкручивает, вот мы и разболтались.

Машинист говорил об общей вялости, появившейся с отъездом Лузгина, о том, что люди, не поверив новому бригадиру, потеряли веру в себя. Говорил ворчливо, несвязно, но, слушая его, Сизов понимал, как ловко старик умел нащупать то, что действительно мешает всем.

— Вот возьмите Сизова. Как о кузнеце о нем худого не скажешь. Кует дай бог! А в чем его недостаток? Организатор аховый. Так кто же виноват? Не Сизов, нет. Он работает как может. Мы виноваты — вот кто! Выходит, нам няня нужна, а сами мы еще самостоятельно ходить не можем. Какие же мы тогда передовики? А во-вторых, вот что я хочу сказать...

Кухаров посадил на свой тонкий нос очки, затем достал из бокового кармана пухлую записную книжку.

— Сизовка,— высчитал он,— экономит почти пятьдесят секунд на ось. Это доказано. Значит, работая, как прежде, при Илье Афанасьевиче, мы сможем свободно дать восемьдесят... Восемьдесят! Понятно? — повторил машинист, точно забивая гвозди.— Стало быть, Сизов наш тогда, на собрании, не наобум лазаря сказал. Показатель реальный.

Все внимательно слушали. Знали — Кухаров зря слова не бросит. Лица стали задумчивые.

— Новый гол в ворота кулебакцев! — торжественно провозгласил Ваня.

— Смотри не заколоти в свои ворота! Это у вас, футболистов, бывает,— усмехнулся машинист.

— Погодите,— сказала вдруг Настя, вставая.— Я с Кухаровым целиком согласна. Только он все-таки мало сказал о бригадире нашем, о Сизове... Ты, товарищ Сизов, губы не кусай, сердиться тут нечего. Не обидно было бы, кабы был ты каким-нибудь неумехой. А ведь ты мастер, настоящий мастер — да-да! Иной раз, когда все гладко, разойдется, работает — не отличить от самого Ильи Афанасьевича. А чуть пар сядет или что — сейчас и выдохся.

Ты что, кузнец или цветок мимоза, который, говорят, от ветра и то вянет?

И все сразу заговорили, зашумели, каждый спешил предложить свое.

— Стой, стой, стой! — поднял руку Кухаров.— Помните, раньше у нас все стены от плакатов шелушились. А кто их читал? Никто. Почему? А потому, что глаза разбегались. А теперь вон Федоров один плакат на весь цех вешает. И все его читают. Читают и запоминают, потому на нем самое главное. Вот и мы давайте попусту время не жечь. Что для нас сейчас главное? Меж собой да с бригадиром спеться. Вот давайте над этим и думать.

Но хотя в слове своем Кухаров хвалил Евгения, призывал всех ему помогать, сам он ни разу на него не посмотрел. А когда, расходясь, прощались, все заметили, что старый машинист не подал бригадиру руки.

XXXV

Возвращался домой Евгений вместе с Петром. Шли оба повеселевшие, друг к другу и ко всем доброжелательные, какими всегда бывают люди, когда после долгих сомнений и колебаний примут наконец решение.

После того как в кабинете механика Петр, столь твердо вмешавшись в разговор, спас Евгения от необдуманной выходки, они сблизились. Охотно возвращались вместе с работы, и Евгений проникался все большим уважением к спокойному парню, сохранившему после Красного Флота не только тельняшку и бушлат, но и беззаветную любовь к механизмам, внутреннюю подтянутость и особую, чисто краснофлотскую вежливость.

Помогло их сближению и еще одно обстоятельство. После письма Лузгина Евгений, со свойственной ему горячностью, даже не зайдя за поддержкой к Федорову, бросился было в контору громить «бюрократов» из жилуправления. Но даже пошуметь как следует не пришлось. Ему показали решение о вселении Петра в одну из комнат в новом доме. Весь неистраченный заряд энергии пошел на то, чтобы комната эта была побольше и выходила на солнечную сторону.

Бывший корабельный старшина обладал как раз теми качествами, каких не хватало Евгению. И наоборот. Они как бы дополняли один другого.

И вот теперь они неторопливо шли в потоке смены, выливавшемся из заводских ворот и растекавшемся по улицам и переулкам поселка.

— Зря вы сегодня старика обидели! Силен старик! Таких беречь да беречь надо,— говорил Петр.— Вот иной раз задумаюсь: на кого хотелось бы походить? Всех переберу, и выходит — хочу походить на Кухарова... Нет, серьезно, я не преувеличиваю. Это он с виду такой невзрачный, а приглядишься — интересный, умный. Только замкнут, его не сразу поймешь...

И Петр пустился рассказывать о старом машинисте, «сердце бригады», как он его ласково называл.

Кухаров пришел в город мальчишкой с отцом-плотником, когда компания бельгийских акционеров еще только начинала строить этот завод. На моховом болотце, на невеселой земле, едва поднимались из котлованов фундаменты первых корпусов. Отца придавила сорвавшаяся с лесов балка. Сироту пригрела плотничья артель. Мальчик работал в ней до конца стройки. Потом, когда завод пустили, он прошел в его цехах суровый путь — от чернорабочего до кузнеца. Вся жизнь Кухарова была связана с заводом. Здесь встретил он и Октябрьскую революцию.

В гражданскую войну молодежь ушла воевать, не стало сырья и топлива. Завод поставили на консервацию. Завод замер, и только Кухаров с несколькими такими же кадровиками, не получая ни от кого заработной платы, перебиваясь кое-как распродажей домашних вещичек, продолжали по-прежнему аккуратно ходить на работу. Они добровольно по очереди несли караульную службу, обтирали керосином станки, механизмы, смазывали маслом ходовые части, спасая их от ржавчины и разрушения.

Потом с фронтов начали прибывать потрепанные в боях бронепоезда. Рабочие-добровольцы, как звали они себя, раздобыли через губком немного денег, пустили на свой страх и риск один котел и под руководством инженера Апта, перебивавшегося в те дни изготовлением зажигалок, но тоже не покидавшего завода, наладили кое-как ремонт подвижного состава для фронта.

В те дни сыпняк свалил жену Кухарова. Стала редеть некогда большая и шумная семья кузнеца. Старший сын, Прокофий, не вернулся с фронта. Семена еще в ФЗУ заинтересовала сложная наука о погоде. Теперь он жил далеко, на ледяном острове, в Северном море. Младший, Юрка, был призван в армию, увлекся там артиллерийским

делом и остался военным. Только дочь Оля жила у отца. Училась в родном городе, осталась работать в заводоуправлении, дружила с молодым инженером Павлом Кравченко. Старик поощрял эту дружбу и уже мечтал, как будет нянчить внука — потомка двух коренных заводских фамилий. Но случай расстроил его планы. На курорте Оля увлеклась каким-то танкистом, там же расписалась с ним и, даже не появляясь дома, уехала с мужем на Дальний Восток.

Оставшись один, старик уступил свою просторную квартиру в доме знатных людей завода своему другу — многосемейному слесарю. Себе оставил маленькую комнатку и с тех пор целые дни проводил на заводе, возвращаясь домой только на ночь.

— Скучает старик. Понимаете? — рассказывал Петр, будто сын об отце.— Вот сейчас он молчаливый, хмурый, а как летом ребята да внуки к нему в отпуск съедутся — не узнаете! Помолодеет. Песни поет. А умница какой... И дело как знает! Апт ведь ни одного решения по кузнице не примет без того, чтобы с нашим стариком дела не провентилировать.— На бледном, суховатом лице Петра появился румянец.— Нет, зря вы его сегодня... С ним нельзя так.

— Да, коряво, что и говорить. Все характер проклятый! А ведь это он мне помог про характер-то понять.

— А он всем помогает. Вот и то, чтобы вместо бумажной лапши в цехе один-единственный плакат висел, на котором бы был самый важный призыв,— это его выдумка. Он ее Федорову подсказал. Парторг-то тоже старика слушает.— Петр взял Евгения за руку.— Знаете что? Вы вечером не заняты? Давайте зайдем к старику. Он будет рад, головой ручаюсь!

Сизов согласился.

XXXVI

Машинист встретился им в подъезде своего дома, на лестнице, с удочками, ведерком и горшком распаренного овса, болтавшимся на веревочке.

Увидев Евгения, Кухаров не удивился:

— Вот что, ребята! Живу я сейчас тесно, угощать мне вас нечем. Пойдемте-ка со мной на реку. Дам я вам по уде — авось втроем-то кошке на ужин и наловим.

Кухаров повел их к реке кратчайшим путем, мимо лесных складов, мимо эшелонов новых, сверкавших краской вагонов, стоявших на заводских путях в ожидании обкатки.

Большая река, огибавшая территорию завода с юга, за складами круто сворачивала вправо и терялась в зарослях ивняка. Этот район в половодье затопляло. Густо разросшийся кустарник еще хранил на себе налет серого ила. На ветках, покрытых блестящей листвой висели серые пучки высохших водорослей. Пробивая жесткую, потрескавшуюся корку сухого ила, буйно поднималась молодая, яркая зелень. Только гусиные лапки мать-и-мачехи выделялись на ней своей скромной матовой окраской.

Запоздалые пчелы, торопливо впиваясь в желтые чашечки лютиков, брали последние взятки. Они озабоченно гудели в душистой тишине кустарника.

— Ишь, солнце село, а они трудятся! Тоже ударники,— улыбнулся Петр.

— Где же ты видел, чтобы ударники сверх рабочего времени прихватывали? Эх, Петя! Уж коли на то пошло, пчелы сверхурочно зарабатывают, пока ихний Нестерыч зевает...— пошутил старик.

Сквозь густые, нежно зеленеющие ветки низко стоявшее солнце казалось неправдоподобно огромным. Косые лучи золотили воду, сверкали в окнах сборочного корпуса, возвышавшегося вдали, освещали густой дым, валивший из заводской трубы.

Рыбаки невольно залюбовались огненно-багровыми тяжелыми клубами, нависшими над ярко-зеленой землей.

— Красиво? — ехидно сказал Кухарыч, разматывая леску.— И куда только кочегары смотрят! Сколько топлива, черти чумазые, по ветру пускают! Раз этакий красивый дым — стало быть, в котельной настоящего хозяина нет.

От реки, еще не сбросившей полых вод, от молодой листвы и нежной, мягкой травки веяло хмельными весенними запахами. Хорошо было вот так, закинув удочку, смотреть на реку и чувствовать на лице ласковые волны влажного тепла, которое отдавала остывающая земля.

Клев был хороший. Кухаров и Жолобов выхватывали из воды крутобоких трепещущих голавлей. У Евгения не брало. Он рассеянно смотрел на тонкий паутинный след, который оставляла леска на гладкой поверхности воды, и с радостью ощущал, как весенний ветер будто развевает все, что в последние дни так тяготило и мучило.

Евгений сидел неподвижно, ни о чем не думая.

— Ну как, выучил червя плавать? — окликнул его Кухаров.— Ничего, брат Сизов, вечерок так половить да фунтиков пять прикупить — вот она, уха, и будет!

То ли этот погожий и мягкий вечер, то ли соседство молодых ребят, быть может напоминавших Кухарову сыновей, действовали на старика — он шутил и даже смеялся тоненьким, каким-то кашляющим, но очень задорным смехом.

— Рыбка-то рыбакам, а не вам, чудакам! — приговаривал он, бросая голавля в ведро.— Она не клюет, не клюет, перестанет, а потом опять не клюет. Так, что ли, Евгений?

Поверхность реки отливала теперь синевой хромированной стали. Вместе с сырой прохладой из прибрежных кустов тихо плыли мягкие сумерки. Старик воткнул удилище в глинистый берег и задумчиво глядел на темневшую воду.

За поворотом, под защитой мыса, на котором расположились рыбаки, было тихое место. На поверхности заводи крутились щепки, мусор, грязная, бурая пена. Воды отталкивались от мыса и, как бы избегая затишка, неслись к противоположному берегу. В заводи наперебой надсадно орали лягушки.

— Видите,— сказал Кухаров, показывая мусор на тихой поверхности заводи,— пока вода вперед бежит, она и чиста — ни водоросль, ни тина ее не затянут. Такая вода сильна: горы воротит, камень ломает. Но только остановись она в такой вот заводи, глядишь — и начала мутнеть да тухнуть, и тина ее одолела, и ряска от солнца закрыла.

Старик насадил на крючок червя, поплевал на него, похлопал по нему, положив меж ладоней, и снова закинул удочку.

— Что ж, по-твоему, и недовольным быть нельзя? — спросил Евгений. Ему нравилось, когда машинист начинал философствовать, и хотелось вызвать его на разговор.

— Недовольный! — Кухаров подмигнул Петру.— Недовольство — оно, как железо, тоже разных марок бывает. Вот, к примеру, скажем, у тебя нет квартиры. Живешь ты, скажем, в углу. Вокруг тебя жизнь кипит, заводы строят, клубы, всякие там родильные дома, а у тебя и своей комнаты нет. Ну вот как у Петра. Он этим, понятное дело, недоволен. Кому нравится? Но глядит он кругом и понимает, что все это для него строят, чтоб лучше, удобнее ему жилось. Такой вот, как Петр, живет себе в своем углу и ждет, пока ему квартиру отстроят... Ну вот... А другому наплевать, что у него за стеной. Он этого знать не хочет, у него голова об одном болит: ему сейчас тесно и неудобно, он только об этом и думает. И свет ему не мил, и солнце его не греет, и руки у него опускаются. И помаленьку-по-

маленьку из этого самого у него может такое вырасти — ох-хо-хо! Так-то вот... Ну, ребятки, хватит, что ли, на сегодня? Нужно ж сколько-нибудь и на развод оставить.

— До чего хорошо, Алексей Никитич, умеете вы говорить! — сказал Петр, обнимая Кухарова.

Старик сконфузился, что-то пробормотал сердито и стал вытаскивать рыбу из ведра и бросать на траву. Жирные голавли, разевая рты, судорожно двигая жабрами, тяжело подпрыгивали.

— Четырнадцать штук! Кило три, а? Или больше?.. Ну, сматывайте удочки, пошли.

Петр вздохнул:

— Хорошо!.. Так бы и не уходил отсюда.

— Чего же сидеть без толку? Теперь до солнышка ни одна порядочная рыба не клюнет, разве какая сиклюшка, да и то сдуру... Пошли. Да и тебе, Петр, сырость-то не больно нужна.

Над рекой потянулись прозрачные клочья тумана, над заводом зажигались огни, и синие вспышки электросварки походили на молнии далекой грозы. Рыбаки собрали снасть и потихоньку продирались сквозь кусты.

Со стороны завода слышались звуки пневматической клепки. Они смешивались с отчаянным кваканьем лягушек, доносившимся из заводи. В кустах несколько раз неуверенно щелкнул соловей... щелкнул, замолк, прислушиваясь к собственному пению, дал короткую трель. Снова смолк.

— Настраивается,— сказал Евгений. Он чувствовал, как большая беспричинная радость охватывает его. Ничто не казалось ему непреодолимым, ничто не пугало, верилось, что много еще хорошего ждет его впереди.

Шли молча. Каждый думал о своем. Хорошо думалось в посеребренных луной сумерках, густо настоянных запахами влажной весенней земли.

В последние дни, дни недовольства собой, Евгений избегал даже думать о Насте. А вот теперь думалось только о ней, и в думах его было нечто новое, непривычное. То, что гордая, своенравная Настя может когда-нибудь стать его женой, уже не казалось ему странным. И было удивительно приятно размышлять об этом, строить планы совместной жизни. Только бы согласилась! И еще смущало Евгения, как ей открыться, как облечь в слова все, что так волнует его сейчас. Как сказать ей о своей любви, чтобы в ответ синие глаза не прищурились с презрительным пре-

небрежением или, что казалось еще более страшным, чтобы в них не зажглись колючие насмешливые огоньки.

Начинать, как советовал добродушный папаша парторга Федорова? Или упасть перед ней на колени, как Евгений Онегин перед Татьяной в финале оперы? Подождать, когда в подходящих обстоятельствах все вырвется само собой, как у толстовского героя Оленина в «Казаках»? Нет, все это никуда не годилось. Настя не походила ни на одну из девушек, каких Евгений знал в жизни и в литературе. Настя была Настя, Настя Климко. Второй такой не было на свете, и трудно, чертовски трудно, должно быть, будет открыть ей свое сердце...

— Так как же, ребята, завтра нажмем? — это спрашивал Кухаров. Оказывается, они стояли уже у подъезда его дома.

— Да надо, Алексей Никитич, как же иначе,— сказал Петр.

Евгения вдруг охватила такая бурная радость, что он обнял старика и Петра:

— Нажмем и выжмем! Выжмем, и никаких гвоздей!

Он шел домой, ощущая во всем теле приятную истому, какую после длительных прогулок обычно испытывают люди, редко бывающие на свежем воздухе. «Душевный человек,— думал он о Кухарове.— А ведь поглядеть, так пустяковый старичишка. А смотри-ка, какой в нем магнит, как он всех за собой тянет...»

Восемьдесят осей! Живо представилось, что достижения Лузгина превзойдены. Газетчики наперебой требуют у него, Евгения Сизова, беседы, фотографы упрашивают сняться, инженеры и техники едут с других заводов за сотни, за тысячи верст изучать его опыт. Он идет по поселку, и девушки провожают его любопытными взглядами. Слышится за спиной: «Сизов? Это который? Вон тот — высокий, красивый, да?» А главное, чернобровая — вот когда она увидит, что он действительно стоит ее внимания!

XXXVII

Незаметно Евгений добрался до дому. Бросилось в глаза что-то новое в его неуютном холостом жилье. Он даже не сразу понял, что именно. Ну да, куда-то исчезли чайник и сковородка с остатками яичницы, которую он утром не доел. Стол покрыт чистым листом бумаги. Книги сло-

жены двумя ровными стопками. Между ними чернильница. Карандаши и ручки торчат из чайного стакана. Со всего стерта пыль. На полу ни соринки. Кровать застлана. Подушка в свежей наволочке пышно взбита и кокетливо поставлена на уголок.

Кто же все это сделал?

Легкий запах знакомых духов еще стоит в воздухе. Его, казалось, встречали все эти предметы знакомой обстановки, которые вдруг обрели в комнате свои настоящие места и будто бы даже от этого помолодели, похорошели...

Евгений недоуменно оглядывался.

— Тут без вас тетенька приходила. Ждала, ждала и ушла,— пояснил Виктор, появившись в дверях и многозначительно ухмыляясь самым ехидным образом.

— Какая тетенька?

— Высокая такая, красивая, с длинной косой. Она тут прибралась и записку оставила. Вот записка.

На узенькой полоске, оторванной от газеты, незнакомым, мелким, но четким почерком было написано: «Не дождалась. Обязательно нужно видеть. Очень прошу — зайди ко мне, как вернешься, и стыдно не иметь в доме бумаги. С приветом. *А. Климко*».

«А. Климко!.. Настя! Настенька, Настюша! Что же с тобой стряслось?» — гадал Евгений, почти бегом направляясь к Настиному дому. Влетел на четвертый этаж и едва успел перевести дух, как дверь сама открылась.

Держась за ручку, застенчиво опустив глаза, перед ним стояла Настя.

— Спасибо... Думала, не придешь... Входи, входи...

В облике Насти было что-то новое, непривычное. Она выглядела совсем девочкой.

В знакомой комнате было все по-старому. Только дверь на балкон открыта. Ветер шевелит тюлевую занавеску. Букетик ландышей наполняет комнату тревожным запахом поздней весны. На столе раскрытый учебник русского языка.

— Что с тобой? Что случилось? — спросил Евгений, все еще тяжело дыша.

Настя продолжала застенчиво улыбаться. Волосы ее не были уложены. Свешивались толстой длинной косой. Это-то и делало хозяйку комнаты совсем юной. Ветер, залетая в комнату, шевелил на висках пышные завитки.

— Так что с тобой стряслось?

— Со мной ничего.

— А с кем?

Настя ласково посмотрела на Евгения:

— С тобой... Посмотри, как красиво!

Она вышла на балкон — Евгений стал рядом. За деревьями старого парка отсюда, с высоты четвертого этажа, открывалась широкая панорама огромного завода. Она была обозначена во мраке ночи пунктиром зыбко вздрагивающих огней. Не угасая, полыхали над ней голубые зарницы электросварки, а сзади колебалось, то разгораясь, то затухая, оранжевое зарево: в литейном выдавали чугун.

Где-то далеко, в глубине темных аллей, не очень умелый гармонист наигрывал знакомую песенку. Песенка была немудрящая, короткий мотив повторялся снова и снова, но, смягченный расстоянием, он звучал в тишине свежего вечера торжественно и волнующе. Евгению казалось, что он не слышал ничего лучше этого простенького мотива, преображенного весенней ночью.

— Эх, жаль, гитары нет! Сыграл бы я тебе, Настенька. Сбегать за гитарой?

— Не надо.— Настя обернулась к нему, и лицо ее было серьезно.— Совесть тебя мучает?

— Меня? Почему?

— Здравствуйте! А кто сегодня Кухарушку обидел?

— Так ведь обошлось. Мы уж к нему с Петром заходили. Рыбу вместе ловили. Только вернулись с реки.

— Ах, вот тебя куда занесло? А я все думала, где он застрял, уж не дивчину ли завел себе какую? — В голосе Насти прорвалась такая искренняя радость, что Евгений подумал: «Вот когда надо сказать ей все!» Но она сейчас же отвернулась и обыкновенным голосом добавила: — Я ведь за этим к тебе и шла... Очень мы все на тебя рассердились: так обидеть старика! Ну, раз обошлось, и говорить не о чем. Можешь отправляться домой.

На Евгения точно ледяным ветром пахнуло. Он молча повернулся к двери...

— Да постой!.. Какой обидчивый! Ну почему ты такой обидчивый? Скажи! — голос Насти опять потеплел.

— Обижали много.

— Чудной ты! Первого такого встречаю. Иногда ты мне кажешься хорошим... нет, не только хорошим, а большим, сильным. Ты мне таким очень нравишься... Видишь, чего я тебе, дура, говорю...

Настя смолкла, и, хотя лица ее не было видно, Евгений чувствовал ее смятенность.

— Настя, а ты, ты, ты...— От волнения Евгений растерял все слова.

— Погоди, дай мне кончить,— точно пересиливая себя, сказала она.— А иногда вот ты маленький, недобрый — глядеть на тебя неохота... Тут зимой за мной один хлюст все увязывался... Забыла, как звали, липкий такой. Да он потом спьяну погиб в аварии на электростанции... Так он мне про тебя такое сказал... и, понимаешь, тогда я ему верила. Это я тебе откровенно скажу — верила. И сейчас вот сомневаюсь.

— А что? — спросил Евгений упавшим голосом.

— Да вот будто бы ты ему насчет меня и Ильи Афанасьевича гадости всякие болтал. А потом...— На лице Насти отразилась борьба. Она повернулась к Евгению и строго посмотрела ему в глаза: — Он сказал, будто вы с ним спорили, кто скорее со мной...

Евгений стукнул кулаком по перилам балкона так, что руке стало больно:

— Его б за такие слова... Эх, нет в живых!

— Не спорили? Нет? Женя, милый, нет? Правда? Я так и знала. Я ему тогда пощечину влепила.

— Ну-у! Вот молодец-то! Поцеловал бы я тебя, да боюсь...

Настя подняла лицо. Несколько мгновений выжидательно смотрела на Евгения большими потемневшими глазами. Потом отвернулась и сказала задумчиво:

— А иногда ты мне кажешься одиноким, слабеньким, беззащитным. Хочется погладить тебя по голове, песню тебе спеть, как вон Андрейке...

Евгений с готовностью наклонил свою курчавую голову:

— Валяй, погладь! За чем дело стало?..

Теперь они были совсем рядом. Настя медленно подняла свои бо́льшие руки и стала перебирать жесткие кудри Евгения. Он тихонько привлек Настю к себе; она покорно подалась к нему и доверчиво прижалась к его груди. Совсем близко увидел он ее серьезное, побледневшее лицо с влажными, приоткрытыми губами. Но в углах ее губ Евгению почудились горькие складки.

— Настенька, что ты? Ну что? — шепотом спросил он, почти касаясь губами ее лица и ощущая на щеке теплое дыхание.

Настя, будто разбуженная его словами, сразу выпря-

милась и отошла. Эта внезапная перемена настроения, настороженность, почти враждебность, на мгновение мелькнувшая в ее глазах, обидела Евгения: «Силу взяла, забавляется. Что я ей, кукла, что ли?»

Она тихо подошла к нему:

— Рассердился? Ну не надо... Не надо... милый!

Евгений не отвечал.

— Ну брось, чего ты? Ну, хочешь, скажу, почему я такая... Неужели сам не понимаешь? Эх ты, чудачок... Если ты бы хоть раз так больно, как я, обжегся на молоке, ты бы долго дул на воду, прежде чем выпить... А я не хочу... слышишь, не хочу больше обжигаться! — Эти последние слова она выкрикнула почти сердито, но тут же, со свойственным ей умением мгновенно меняться, стала опять тихой, ласковой.— Не серчай! Уж такая я есть. Мы оба такие. Два сапога пара.

— Пара? — задумчиво переспросил Евгений. И вдруг, просияв, закричал: — Пара, да? Ну, отвечай, отвечай, ты не обмолвилась? Пара? Хочешь, будем парой? Совсем. Навсегда.

Настя отошла в другой конец комнаты, куда не достигал свет лампы. Лицо ее было в тени, но Евгению казалось, будто он видит, как там, в сумерках полутьмы, сияют ее глаза.

— А ты хорошо подумал? — тихо, почти шепотом спросила она.

— Дуешь на воду? — грустно сказал Евгений.— Ну, дуй себе, дуй. Подожду. Все равно меня не остудишь.

Настя издали кивнула. Больше они не сказали об этом ни слова. Провожая его, она даже пошутила:

— Ну, вот, сегодня мы даже и не поссорились. Хороший признак. Ведь да?..

Конечно, и Евгений Онегин, и толстовский Оленин, и старый мастер Федор Федотович, собирающийся праздновать золотую свадьбу, пример и опыт которых в трудную минуту Евгений звал себе на помощь, объяснялись в любви не так. Но Сизов был доволен. Больше — он был счастлив.

XXXVIII

...Наконец раздался звонок.

Евгений Сизов еще раз поглядел на товарищей. Они стояли на местах несколько напряженно, но явно стара-

лись выглядеть как можно спокойней. Только Петр нетерпеливо посматривал на печь. Настя, чуть заметно улыбаясь, поглядывала на Евгения. Даже не оборачиваясь к ней, он все время чувствовал на себе ее ободряющий взгляд.

Встретившись сегодня, они поздоровались как обычно. О вчерашнем не было сказано ни слова. И все же Евгений понял, что вчерашний разговор не забыт и что, хотя ничего нового, в сущности, не произошло, они стали друг другу ближе, даже, может быть, родней. Да, и родней.

Евгений был в том состоянии, когда чувствуешь себя способным горы ворочать. Он обвел товарищей сияющим взглядом.

— Не беспокойся, не подведем,— ответил Ваня. Он не умел угадывать мысли и истолковал этот взгляд как вопрос.

— Да уж как договорились,— сказал Кухаров, хитро переводя глаза с Евгения на Настю и обратно.

«Неужели она ему сказала?» — подумал Евгений, и такое предположение не было ему неприятно. Сегодня хотелось, чтобы весь свет знал, как он счастлив.

«Должно пойти... пойдет»,— решил он и стал вместе с нагревальщиком нетерпеливо следить, как заготовка, раскаляясь в печи, из багровой становилась медово-желтой, набирала необходимые тысячу пятьсот градусов.

— Ну, скоро?

— Еще чуточку... Готово!

Не успела заготовка лечь на бойки, как Кухаров обрушил на нее удары молота. Четырехугольный брус стал округляться, вытягиваться, суживаться к центру. Крепко вцепившись в него державкой, Евгений в первый раз по-настоящему ощутил, что все его движения связаны, слиты с движениями машиниста и крючочников. Пять человек как бы становились одним существом. И кусок раскаленного металла, покорно подчиняясь воле этого существа, то быстро, то медленно полз по наковальне, поворачивался, двигался назад и вперед и снова полз, постепенно превращаясь в точную во всех измерениях ось.

Евгений приложил к центру оси метчик. Последний резкий удар молота оставил на ней клеймо «Б. Л.».

— За пять минут! — сообщил Кухаров.

Евгений обвел всех торжествующим взглядом: за пять минут! Но радоваться было некогда. Новая заготовка уже лежала на наковальне.

Да, день начался удачно!

Ось за осью с грохотом падали на вагонетки. Их увозили, буро-синие, пышущие жаром, укладывали в штабель, покрывали листами железа. Здесь оси «отходили». Над ними колебалось прозрачное марево, как над влажным полем в солнечный день.

Работали молча. Нужны ли теперь слова? Общее напряжение все нарастало. Но вместо усталости Евгений ощущал во всем теле радостную дрожь, какую однажды уже чувствовал, овладевая мастерством крючочника: «Началось! Теперь держись, Илья Афанасьевич! Покажем темпы».

Резкий звонок, возвещавший перерыв, заставил Евгения вздрогнуть и недоуменно взглянуть на часы: «Неужели обед? Так скоро?» Да, перерыв, Петр не вынул новой заготовки. Машинист снял очки, закрыл пар и пошел к осям подсчитывать выработку.

— Идем обедать, чего стоишь?

Настя взяла Евгения под руку, и он покорно пошел, еще переживая трудовое возбуждение.

— Знаете, сколько работнули? — спросил Кухаров, догоняя их.— Тридцать семь! — Старик хитро поглядывал па бригадира.

— Постой... сколько-сколько?

— Тридцать семь.

— Тридцать семь? — Евгению казалось, что он ослышался. Как же так? Ведь он даже не устал...

— Ну, сегодня ты нам и дал ходу! — смеялась Настя за обедом, обильно перча украинский борщ себе и Евгению. Она смотрела на него с нескрываемой лаской, все это замечали. Обоим было приятно и немного неловко.— Нет, товарищи, интересно! Вот он говорит — не устал! Я тоже нисколечко... ну нисколечко не устала! Точно и не работала вовсе.

— Рановато уставать,— ответил Кухаров, стуча костью о стол и стараясь выбить из нее мозг.— Половина дня впереди.

Нет, никогда и в голову прийти не могло, что у этого хмуроватого старика глаза могут быть такими хитрыми и насмешливыми.

— Ты что, ему сказала про вчерашнее? — шепотом спросил Евгений у Насти.

— А что такое вчера случилось? — спросила молодая женщина.

Они поглядели друг на друга и засмеялись.

— Смех без причины — признак дурачины,— изрек Ваня, но, почувствовав, что сострил невпопад, поспешил переменить тему: — На футболе вот тоже. Если наш перевес, сколько ни гоняешь — тебе все нипочем. В конце тайма — свеженький, точно сейчас на свет родился.

— А ты помнишь, как родился?

— Как ему не помнить... Это не так давно и было. Ваня у нас сосунок.

— Ну, ну, ты полегче, взрослая! Ребята, заметили? Настя у нас сегодня что-то очень весела — к погоде, что ли?..

XXXIX

Между тем весть об успехе Сизова уже разнеслась по заводу. В угол, где обедала бригада, стали собираться кузнецы, прессовщики, рессорщики. Они деликатно стояли поодаль, переговаривались и с любопытством поглядывали в сторону Сизова. Рыжий прессовщик, тот самый, что всегда интересовался знаменитой бригадой, подошел к Кухарову:

— Говорят, на новый рекорд идете, Алексей Никитич?

— Цыплят по осени считают.

— Тридцать семь до обеда! — объявил Ваня.— Вот сами и считайте.

Шепот удивления прошел по толпе. Какой-то низенький парень в спортивной рубахе, с маленьким насмешливым личиком, вежливо осведомился:

— А в глазах у вас, Ванечка, не двоится?

Но сегодня Ваню трудно сбить с толку. Он самодовольно оглядел внимательные лица.

— Можете не сомневаться! У нас без обману. Не в церкви... Двенадцать ноль в нашу пользу!

— Пошел, поехал! — Кухаров досадливо махнул рукой.— Ох, длинен у тебя, Иван, язык! Тебе бы его маленько стесать.

Когда вернулись в кузницу, на участке тяжелых молотов тоже было необычайно людно. Апт что-то рассказывал высокому молодому человеку в демисезонном пальто, перехваченном поясом с большой пряжкой. Прижимая локтем кепку, он держал в руках записную книжку и бисерным по-

черком делал заметки. Возле незнакомца стоял заводской фельетонист Як. Литейный. Он тоже держал раскрытую записную книжку, но ничего в нее не писал, а только почтительно заглядывал в блокнот своего приезжего коллеги.

— Вот они идут. Вон тот высокий, с чубом,— это Сизов,— сказал Апт.

Незнакомец поднял матово-бледное лицо. Узкие карие глаза его были один больше другого. И меньший глаз с приспущенным веком смотрел так зорко и беззастенчиво, что Евгению стало не по себе.

— Из областной,— шепнул ему Як. Литейный и назвал фамилию очеркиста, известного тем, что он не раз, как говорится, «поднимал» почины новаторов.— Хочет о тебе очерк дать. Подвальный. Чуешь, что это такое?

Евгений отмахнулся. Присутствие посторонних сегодня было ему неприятно. Поодаль, в группе молодых кузнецов, весело болтала маленькая водительница электрокара Наташа. Слышался ее звонкий голосок и дружный смех собеседников. Заложив руки за спину, вместе с Федоровым по цеху расхаживал директор завода. Увидев Сизова, шагнул навстречу, тряхнул ему руку костлявой, холодной, но сильной рукой:

— Здравствуйте, товарищ Сизов! Ну как, с тех пор младенцы больше не умирают?

На сухом, желтом лице директора играло что-то вроде улыбки.

— Это какие же младенцы? — поинтересовался Федоров.

— Вот спроси его,— серьезно пояснил директор.— Тебе товарищ Сизов на досуге может много интересного поведать из жизни умирающих младенцев. Увлекательно, между прочим, рассказывает... Завидный дар фантаста. Ну, а работа как?

— Работа что! Идет!

Пока Евгений здоровался с Аптом, Литейным, знакомился с бледным очеркистом, его обступили кузнецы. Раньше такое внимание польстило бы его самолюбию. Теперь Евгений с беспокойством, даже с неприязнью глядел на незваных гостей. «И чего, спрашивается, их принесло? Сам же Апт говорил: цех не демонстрационный зал. Так какого же он лешего тут цирк устроил?» Но вспомнилось письмо «одного из многих», полученное Лузгиным и опубликованное в многотиражке вместе с ответом бригадира, и понял: так, наверное, нужно.

— Мне хотелось бы поговорить с вами. Всего несколько слов,— сказал приезжий очеркист. Он был застенчив, и это понравилось Евгению.

— После работы, после, после,— сказал он, повертываясь спиной к собравшимся, и стал смотреть в жерло печи... Когда заготовка сделалась медово-желтой, нетерпеливо крикнул Петру: — Давай!

И сразу позабыл обо всех, кто широким полукольцом окружал теперь молот. Пламя печи освещало лица. Но Евгений не видел их. Сосредоточившись, он не видел и своих товарищей, а только чувствовал их. Он сознавал, что Кухаров работает лучше, чем он сам, что именно он сегодня диктует темп. Только по-настоящему овладев мастерством кузнеца, Евгений смог оценить высокое мастерство машиниста.

Настя — она улыбается. На лбу выступили бисеринки пота. Она сорвала косынку. Прическа распалась, толстая коса мечется за спиной, мешает работать. Она то и дело отбрасывает ее резким движением головы. Молодец! Наверно, и ей сегодня так же весело и хорошо, как Евгению. И новичок молодец! В нем еще чувствуется некоторая связанность, но работает он легко и даже находит время подмигивать, строить рожи.

Евгений чувствует теперь связь с каждым из своих товарищей, и от этого ему весело.

Инженер Апт, чтобы лучше видеть кузнеца, забрался на железную скамеечку. Он застыл с хронометром в руках. Галстук съехал набок, ровный, точно по линейке вычерченный пробор на голове сбился, волосы рассыпались.

— Четыре минуты пятьдесят секунд! — говорит он шепотом приезжему очеркисту.

— Сколько? — тоже шепотом спрашивает, наклоняясь к нему, директор.

— Четыре минуты пятьдесят секунд... Неслыханно!

— Сколько? Сколько, вы сказали? — подскакивает к нему Як. Литейный и, не дожидаясь ответа, отбегает к молоту.

— Ух, здорово! — говорит приезжий. Атмосфера общего восхищения захватила и его. Пятна неровного, размытого румянца проступили на бледных его щеках. Но страница, на которой раскрыта его записная книжка, девственно чиста.— Сколько, сколько теперь? — нетерпеливо теребит он инженера.

— Да замолчите вы, ради бога! — огрызается всегда вежливый Апт и снова приподнимается на цыпочки.

— Тише! Тише же, товарищи, какого черта...— стонет дядя Петя.

Очеркист пытливо осматривает присутствующих. По счастливой случайности он стал свидетелем одного из трудовых подвигов, о которых ему столько раз приходилось писать со слов, по рассказам. Он чувствует, что обязан написать об этом как-то по-новому, как никогда еще не писал. Но пока он воспринимает только внешнюю обстановку. Ему еще непонятна сущность мастерства, поднимающего работу кузнеца на уровень подлинного искусства, он чувствует себя лишь зрителем. Это его удручает. Известный человек, он сейчас завидует своему скромному заводскому коллеге, который самозабвенно исписывает свой блокнот, то и дело перевертывая страницы.

Сердце Сизова готово пробить грудную клетку. В голове опять, как тогда, в зимнее утро, возник знакомый мотив. Мелодия удивительно совпадает с ритмом кузнечной работы. Евгений начинает тихонько напевать. Вдруг вспыхнул магний. Белое плáмя ударило в глаза так неожиданно, что кузнец вздрогнул. Он сбился с ритма, вышла заминка.

Кто-то свирепо накинулся на фотографа.

— Я вас вышвырну! — звучит голос директора.— К черту, не мешать!..

— Катись отсюда! Слышишь, катись сейчас же! — это кричит Федоров.— Выброшу, как щенка!

Евгению приятно, что парторг здесь, что он видит его сейчас, в счастливую минуту его жизни.

— Ваня, зеваешь! Внимание, ребята, внимание! — командует Евгений, стараясь восстановить контакт с бригадой, нарушенный магниевой вспышкой.— Так, чаще, чаще. Так!

Все опять входит в норму. Сколько же до звонка? Три минуты и несколько секунд. Петр остановился в замешательстве, взглядом спрашивая бригадира: доставать ли новую заготовку?

Начать и не доковать — значило испортить металл. Ковать после звонка — нечестно. Бригада, воспитанная Лузгиным, ни за что на это не пойдет. Сковать ось в три минуты... Этого никогда еще не бывало с тех пор, как была выкована первая ось для самого первого вагона. Сизов обменялся с Кухаровым быстрым взглядом. Старик утвердительно кивнул.

— Давай! — решительно скомандовал Евгений.

— Видел? — восторженно кричит дядя Петя.

Ах, как ковали эту последнюю ось! Десятки глаз жадно следили за каждым движением. Общее волнение захватило приезжего очеркиста. Теперь он уже здесь не гость, не чужой. Пусть он не знает кузнечного дела, пусть ему еще не вполне ясна суть мастерства, но главное он понял: вот он — труд-творчество, труд-вдохновение, труд-поэзия, черт возьми!

Согнувшись в три погибели, ломая карандаши, он записывает, стараясь не упустить ни одного движения бригадира, ни одного штриха, характеризующего эту удивительную работу. Может быть, завтра он напишет свой лучший очерк... может быть, трехколонник!

— Осталось сорок пять секунд,— шепотом говорит Апт.

В голове Евгения мелькает мысль: мало.

— Сорок секунд! — объявляет он, ощущая прилив озорной радости, и вдруг гикает на весь цех: — И-эх... взяли!

— Не поспеть... Ох, не поспеть! — стонет дядя Петя.

Румяное лицо его морщится, точно он хочет заплакать.

— Молчи!

— Тише вы!.. Чего гудите под руку?

Но Евгению ничто уже не может помешать. Он не слышит ничего, кроме тупых, глуховатых ударов, не видит ничего, кроме бурого, тускло мерцающего металла, не чувствует ничего, кроме рукоятки державки, обмотанной шнурком. В голове одна мысль: поспеть.

Молот бьет с небывалой частотой, движения работающих настолько быстры, что за ними не уследить. Евгений перестает их различать. Он уже не чувствует себя вне этого единого мощного движения, или, вернее, потока согласованных движений, он слился с ними, и в этом слиянии со всеми товарищами он черпает новый запас сил.

Теплые волны теснят грудь, разливаются по всему телу. Радость подкатывается к горлу. «Поспеем, поспеем, поспеем!» — упрямо повторяет Евгений в такт ударам.

Молот ударил по метчику и остановился.

— Все!

Евгений вздохнул, выпрямился, вытер ладонью лоб, лицо, шею. Раздается звонок. Он не слышит его. Он напрягает зрение, оглядывается, как человек, попавший сразу из темноты на свет.

«Сколько народу! Батюшки!»

Цех, пронзенный насквозь желтым лучом солнечного

света, взлохмаченная голова Апта, восторженные лица, среди которых возбужденное лицо приезжего очеркиста,— все это бесшумно, плавно движется по кругу.

Сердце бьется редко, гулко. Каждый удар отдается в висках.

Пот бежит по щекам за ворот, крупными каплями падает на пол, солонит губы.

Сизова обступили. Жмут руки. Кто-то сильно хлопает по плечу. Чьи-то губы прикоснулись к щеке. Пахнуло медовым запахом трубочного табака: Апт.

Кольцо поздравляющих сомкнулось вокруг бригады. Только Кухарову удалось улизнуть. Он возится у штабеля, подсчитывая оси.

— Сколько? — крикнул ему Евгений через головы поздравляющих.

— Пересчитываю вот... Восемьдесят две,— сдавленным голосом отвечает старик издали. Он, должно быть, старается незаметно пробраться к выходу.

Но уйти ему не удается. Навстречу из соседнего цеха бегут прессовщики и рессорщики. Они подхватывают Кухарова на руки. Старик грозит кулаками, отчаянно ругается высоким, визгливым голосом. Где уж тут!

Сизов чувствует, что и его ноги оторвались от пола. Десятки сильных рук подняли его, и, подброшенный дружным толчком, он полетел к потолку, беспомощно суча ногами, перевертываясь в воздухе с ощущением полного бессилия.

— Ура-а-а! Ура-а-а! — кричат качающие.

— Выше! — гремит голос Федорова.— Так его... Взяли!

Стянутая паутиной железных балок стеклянная крыша качается, вертится перед глазами. Взлетая, Евгений замечает, что невдалеке болтаются длинные ноги Петра; мелькает золотистая макушка Вани; пронзительно хохоча, барахтается Костя, взлетела над толпой в красном свитере Настя... И ее качают!..

Долго не расходилась веселая толпа. Но как только приветствия стихли, Евгений вспомнил, что молот остался неубранным, и, пообещав Литейному и очеркисту специально побеседовать с ними, взял тряпку и присоединился к бригаде, уже начавшей уборку.

— Правильно, дело прежде всего,— одобрил директор и направился к выходу, подавая пример другим.

— Эх, молодость наша не вовремя прошла! — задумчиво говорил Апт Федорову.

— Давайте начинайте другую... В чем дело?! — ответил парторг.

Они шли мимо кабинета начальника горячих цехов.

— Зайдите,— приглашает Апт.— Покурим, помолчим, подумаем. Есть о чем нам с вами сегодня подумать.

Так же молча проходят они в кабинет Апта, усаживаются в кресла. Закуривают. Лучи солнца, пронзая наискось облака дыма, висят в воздухе, как пучки блестящей латунной проволоки,— висят до того ощутимые, что кажется — их можно взять рукой, пощупать, согнуть.

— Сколько мы еще ошибок делаем,— говорит наконец Федоров, следя за струйкой дыма, тянущейся от его цигарки; он не курит папирос.— Вот Сизов. Давно ли был первейшим лодырем? Помню, осенью, я только дела парткома принял, слушали мы доклад Нестерыча. Так этот почтенный Нестерыч так его расписал, что прямо не человек Сизов, а бацилла. «Сизовым, говорит, не место в нашей рабочей среде». Лузгин тут сидел и, помню, молчал все. Я даже думал — устал с работы-то, дремлет. И вдруг: «Нет плохих детей, есть няньки плохие». Нестерыч: «Как так?» А Лузгин: «Любого парня воспитать можно».— «И Сизова?» — «И Сизова».— Федоров докурил, послюнил цигарку и прокуренным пальцем придавил огонь в пепельнице.— Меня задор взял: «Возьмешься?» — «Возьмусь».— «Идем на спор?» — «Идем». И поспорили... Вот вы усмехаетесь, вам смешно, а мне Лузгину пиво выставлять придется. Полдюжины.

Апт удивленно взглянул на Федорова, неужели он всерьез жалеет какое-то проигранное пиво? У Федорова ведь всегда трудно понять, в шутку он говорит или всерьез. Так и не поняв, инженер большим пальцем примял табак в трубке, сделал глубокую затяжку, неторопливо выпустил дым.

— Нет, мне усмехаться не приходится. Вот эта самая рука...— он поднял свою длинную узкую руку, оправленную в жесткий, туго накрахмаленный манжет,— эта рука приказ об увольнении Сизова подписывала... Век живи, век учись.

— Да-да, дураком помирать неохота.

Парторг встал, пошел к двери.

— Знаете, товарищ Федоров, если бы вернуть молодость, какую бы жизнь сейчас прожить можно было!..

Федоров остановился в дверях:

— А по мне, человеку столько лет, сколько он чувствует. Молодые-то тоже стариками бывают. И частенько бывают, товарищ Апт! Сплошь и рядом... к сожалению.

XL

Между тем на участке тяжелых молотов заканчивалась уборка рабочего места. Кухаров еще раз придирчиво осмотрел все. Убедился, что все в порядке, снял очки.

Перебрасываясь шутками, бригада двинулась к выходу. Евгений торопливо делал записи в тетради приемки и сдачи оборудования. Он сломал карандаш и лишь большим напряжением воли заставил себя не нарушать заведенного порядка и довести запись до конца. Сменщик Рогов, расписавшись в приеме, завел было разговор о сегодняшнем. Сизов отмахнулся: некогда.

Своих он успел догнать, когда те уже огибали корпус новосборочного цеха. Они шли раскрасневшиеся, возбужденные, будто под хмельком. Настя взяла Евгения под руку, и сделала это так просто, естественно, что Евгений даже не удивился. Остальные, шумно обсуждая итоги дня, ускорили шаг и обогнали их.

— Хорошо, а? Здорово я сегодня нажал? А ты говоришь! С таким бригадиром — как за каменной стеной.

Евгений сказал это полушутя.

— То есть как это ты нажал? — спросила Настя, упирая на «ты» и испытующе глядя на него.

— Здравствуйте пожалуйста, а кто же? Кто у вас бригадир? Может быть, Пушкин Александр Сергеевич?

— Ну, знаешь...— Настя отняла у Евгения свою руку.— Что-то у тебя, уважаемый товарищ бригадир, не очень шло, пока мы все — слышишь ты! — мы все, вся бригада за дело не взялись.— Настя ускорила шаг. Обернувшись, насмешливо бросила через плечо: — Он нажал! А?..

Молодая женщина быстро удалялась. Каблучки ее независимо отстукивали по сухому асфальту. Евгению казалось, что он слышит этот их стук, различает его в топоте сотен ног. Настя догнала своих. Кухаров встретил ее насмешливым взглядом:

— Ну что? Никак опять поругались? Что больно скоро?

— «Недолго музыка играла, недолго тешились они»,—

фальшиво пропел Ваня.— Настюш, а ведь я, наверно, состарюсь, прежде чем у вас на свадьбе плясать придется...

— Чего не поделили? — участливо спросил Петр.

— Ну его! — Настя оглянулась на догнавшего их Сизова и добавила: — Совсем заякался парень. Все «я, я, я»!..

Сизов шел опустив глаза.

— Критика нужна нам, как воздух,— вот и дыши, парень, полной грудью,— пробурчал Кухаров.— Не нравится, а дыши. Полезно.

Все засмеялись. Невольно улыбнулась и сама жертва критики.

XLI

С тех пор как дороги просохли, Евгений ездил на завод на своем новом велосипеде. Он норовил выбраться из дому пораньше, чтобы перед работой побыть на воздухе, размяться.

В этом году велосипед стал входить в заводской обиход. С первых же теплых, сухих дней длинные вереницы машин начали выстраиваться у забора на заводском дворе. Их стало так много, что дирекции пришлось невдалеке от проходной, в глубине сквера, построить специальный велосипедный гараж.

Дойдя до дорожки, поворачивающей к гаражу, Евгений распрощался с друзьями. Настя задержала его руку и, не стесняясь товарищей, сказала:

— А все-таки ты молодец! Слышишь?

Большие синие глаза ее смотрели на Женьку с нескрываемой лаской. Ваня было подмигнул Петру, но Кухаров сердито толкнул его в бок, и на широком детском лице «непроходимого бека» отразилось старательно подчеркнутое равнодушие.

— Осторожнее езди, шальной, не посшибай на радостях телеграфные столбы,— напутствовала Настя Евгения.

Крючочница, должно быть, добавила еще что-то, так как остальные засмеялись, а Ваня громко ответил:

— Ну уж это мы, Настенька, тебе поручим его беречь. Федоров вон говорит, что комсомольские нагрузки надо выбирать человеку по сердцу...

Парторг был легок на помине. Размашистым шагом он шел наперерез Евгению.

— Слушай, парень, зазнаваться-то вроде бы еще и не с чего,— сказал он.— Ты что газетчикам обещал? Ждут ведь. Нехорошо.

Только тут вспомнил Сизов о слове, данном журналистам. Странное дело: раньше, завидуя славе Лузгина, он столько мечтал, что когда-нибудь и о нем будут писать в газетах. И вот сбылось. Его ждут. Но теперь это его вроде бы даже и не радует. Ему уже думается, что куда было бы лучше, если бы все обошлось тихо, без шума.

— Может, не стоит, а? Что я им буду говорить? Кому это надо? Зачем?

— Для народа, брат, для людей. То, что вы сегодня сделали, не вам, Сизов, принадлежит. Это народное достояние. Идем, идем! — настаивал парторг и, обняв Евгения за плечи, повел с собой.

Журналистов они нашли в комнате партбюро за шахматной доской. Как только Евгений появился, оба встали, словно он важное лицо. Даже Як. Литейный — давнишний знакомый Сизова — держится с ним сегодня подчеркнуто официально. И Евгений вдруг начинает понимать, что действительно то, что сегодня произошло на участке тяжелых молотов, ему уже не принадлежит, что его трудовой успех означает значительно больше, чем небывалая для горячих цехов выработка, и что сегодня начался какой-то новый этап его жизни.

— Сначала, Евгений Иванович, коротенько о себе. Немножко биографии. Какие-нибудь интересные штрихи, детали. Канву мне товарищ Литейный уже дал...— говорит приезжий очеркист, и его карие глаза беззастенчиво рассматривают лицо кузнеца. И тут же, еще не дождавшись ответа, он делает какие-то пометки в блокноте.

Евгений беспокоится. Что ему наговорил Як. Литейный? Что он там пишет?

Ему хочется предупредить гостя, чтобы он не наплел чего-нибудь вроде того, над чем потешалась бригада, читая в центральной газете злополучный очерк «Рост». Вчера Евгений, несомненно, поострил бы и «о соколиных глазах», и о «мужественном подбородке». Сегодня он уже не может позволить себе такого удовольствия. Он только просит:

— Не обо мне — о бригаде пишите. О людях. Я без них — без рук и без головы. Вот у нас есть один старикан, Кухаров. О нем не только в газету — о нем книжку написать можно. Право. Вот вчера...

И Евгений начинает рассказывать о вчерашнем дне, о Кухарове, о Насте, о Петре, о Ване. Приезжий уже не задает вопросы. Бисерные строчки одна за другой ложатся в блокнот. Евгений удивляется: с таким же старанием записывает и Литейный, который все и всех на заводе знает. Зачем ему это?

Федоров сидит поодаль, улыбается. Иногда его правая, будто тронутая молью бровь чуть заметно приподнимается, и тогда живые рыжеватые глаза приобретают прехитрое выражение. Вряд ли он даже слушает это первое в жизни Евгения Сизова интервью. Он улыбается каким-то своим, попутным, мыслям, и мысли эти ему определенно приятны.

Беседа идет гладко. Только один вопрос ставит Евгения в тупик:

— Что заставило вас стать на путь новаторства?

Вопрос вроде бы простой. Но что на него ответить? Евгений молчит, наморщив лоб. Парторг ждет ответа. Глаз журналиста, тот, что поуже, смеется, в то время как другой, нормальный, серьезен, смотрит выжидательно. Или, может быть, это только кажется из-за приспущенного века? Нет, Евгений не ответит на этот очень важный для него вопрос шаблонной, примелькавшейся фразой. Над этим надо подумать, подождать, пока не утрясется вся эта сутолока мыслей в его голове.

— Не знаю. Еще не знаю,— сознается он.

Журналисты благодарят, засовывают блокноты в карманы, сохраняя прежнее вежливое выражение на лицах. Як. Литейный незаметно толкает Евгения в бок и шепчет:

— Молодец... Я, брат, не думал...

Пока Евгений ищет кепку, он слышит, как парторг спрашивает приезжего:

— Ну как, есть материал? На очерк хватит?..

— Может быть, даже на книжку... Я еще книг не писал, но, мне думается, это стоит книжки. Да, именно книжки.

XLII

Смена уже схлынула, заводской двор опустел, лишь кое-где мелькает темная, торопливо двигающаяся фигура.

Евгений шел один, улыбаясь. Он насвистывал веселый, удивительно знакомый мотив, снова возникший в его го-

лове. Кузнец постарался вспомнить, откуда он взялся, где, когда он его слыхал,— и не смог. А мотив ему нравился. Он звенел в голове, а мелодия все больше и больше усложнялась.

Навстречу от велосипедного гаража медленно катили Аяксы: они и здесь были неразлучны. Комсомольцы подшучивали: Костя купил велосипед, подвесил его под потолок и не обновил до тех пор, пока не скопили денег на второй, для Вали.

— Привет, Евгений! Поздравляем! Ну и отвалил! — сказал Костя, притормаживая.

— Слышали, слышали! — защебетала Валя и вдруг вспомнила: — Да ведь тебя тут Лузгин ищет!.. Нашел? Виделись?

— Как — ищет? Он же...

— Да вот вернулся. Тебя разыскивает. Нас спрашивал — не видели ли.

Радость Евгения сразу померкла. Лузгину, наверно, уже все рассказали. Как он это принял? И потом история с «сизовкой»... Выходит, что, воспользовавшись доверием Лузгина, Евгений исподтишка украл у него славу. Он поставил себя на его место и почувствовал, как обидно, как горько должно быть сейчас знаменитому кузнецу.

«Эх, только бы сегодня не встретиться... Там уляжется, обветрит, но сегодня... Ох, нехорошо!» — думал Евгений, боязливо озираясь по сторонам.

Очередь у гаража подходила к концу. По дорожкам разъезжались последние велосипедисты, напоминая разбегающихся муравьев. Наконец Евгений получил свою машину и готов был уже вскочить на нее, как вдруг за спиной раздался знакомый хрипловатый басок. Евгений втянул голову в плечи, точно ожидая, что сейчас вот его ударят.

— ...А я его ищу по всему заводу! Всех спрашиваю, куда мирового кузнеца дели. Спасибо, Настасья встретилась, сказала. Я к Федорову, а того уж и след простыл.

Новое пальто-реглан, какого Евгений еще не видел на Лузгине, делало его плечи еще более широкими. Вместо кепки на голове сдвинутая на затылок фетровая шляпа. Узкие глаза сияли.

— Слышал, слышал,— обштопал меня! Ловко! Ну, поздравляю, Женя! Вот и уезжай тут...

Женя! Никто никогда не звал так Сизова, даже Настя. Бросив велосипед, Евгений обеими руками сжал руку Лузгина:

— Илья Афанасьевич!

Они пошли рядом. Сизов с несвойственной ему доверчивостью рассказал бригадиру о своих переживаниях в последние дни. Лузгин слушал. В серых глазах светилось столько дружелюбия, что Евгению даже стыдно стало за свои недавние опасения.

— А я, Илья Афанасьевич, прятаться хотел от тебя,— признался он.— Совестно было.

Лузгин понял без пояснений:

— Чудак парень! Разве в этом дело? Ну, отковал ты восемьдесят две. Хорошо. А если, глядя на тебя, сто, а то и тысячи кузнецов откуют... ну, на круг хоть по пятьдесят... Отлично. Понял? Я, конечно, с тобой потягаюсь. Всегда вперед идти надо. А не догоню — эка беда, если ты, мой ученик, пойдешь за головного! Неважно, кто впереди. Важно двигаться... Не стоять на месте.

Евгений осмелел. Он понял, что сегодня имеет право на откровенный разговор со знаменитым кузнецом.

— А тебе, Илья Афанасьевич, разве не интересно, когда тебя хвалят, в газетах о тебе пишут?

Лузгин задумался.

Пошли молча. В молодой, клейкой листве берез слышались густые басы майских жуков. Бригадир вдруг сорвал с головы шляпу, подпрыгнул, махнул ею и, запустив в шляпу руку, удовлетворенно сказал:

— Есть!

Большой шершавый жук, зажатый двумя толстыми пальцами, беспомощно двигал сильными жесткими ножками.

— Знаешь, что тут мой Вовка удумал? — разглядывая жука, сказал Лузгин.— Приезжаю домой, гляжу — что такое? На моем столе по сукну мелом какие-то линии начерчены и коробки из-под спичек — одна на другой. И Вовка возле. Спрашиваю: как, мол, это все понимать? А он, чертенок: «Это, говорит, батя, иродром, а там, говорит, самолетики живут. Вот гляди». Открывает коробку — выползает здоровенный жучище. «Это, говорит, самолетик, сейчас он полетит». А «самолет» одурел от радости, что на свет его выпустили, и ни с места. Потом очухался, расправил крылья... Аэродром! Это в четыре-то года! Эх и ребята у нас, Женька, растут!..

Лузгин помолчал и задумчиво добавил, разглядывая жука:

— Самец — усы венчиком... А мы в детстве думали, что

жуки — это грешные души, бог их за грехи воронам на клев осудил,— а они вон, оказывается, самолеты! — Он бросил жука на дорожку и раздавил ногой.— Вредная, между прочим, тварь. Большой от них ущерб насаждениям.

Евгению показалось, что Лузгин отвлекает внимание, чтобы не отвечать на вопрос. Но тот сам вернулся к прежней теме:

— Да, так вот не ответил я... Как тебе сказать? Когда позапрошлой осенью мы, в ответ Стаханову, вместо пятнадцати осей в первый раз сорок пять отгрохали, мы, говоря по чистой совести, и не думали, что так все повернется. А как «Правда» на первой странице портрет мой напечатала, я и вовсе от радости очумел. Помню, положил газету в карман. Как останусь один, выну, разверну — вот ты какой, мол, есть, товарищ Лузгин! Ну, а потом... Я ведь теперь понимаю... Тут искра — а там пожар. Вот когда я на Урале да на Украине поглядел, как кузнецы куют по-моему,— это радость. Смотришь и видишь: не зря ты, Илья, живешь на белом свете. А ведь это газеты искру туда перекинули...

Рассказывая, Лузгин сосредоточенно смотрел перед собой. Должно быть, то, о чем они сейчас толковали, было еще не совсем ясно и ему самому.

— А что заставило вас тогда... в первый раз?..— повторил Евгений вопрос, заданный сегодня ему самому.

— Что? — В глазах Лузгина сверкнула мальчишеская озороватость. Он засмеялся.

— Вы чему смеетесь?

— Да вот ты спросил — мне и вспомнился один чудак. Англичанин. В позапрошлом году, в ноябре или декабре, что ли, к нам на завод приезжал. Профработник, по-нашему. Шишка! Высоченный такой верзила, сухой, аккуратный, вроде нашего Апта. Ну ладно. Познакомили нас. Апт переводит. Он и ну меня выспрашивать: сколько я зарабатываю, где живу, да какая семья у меня, да где у меня ребята учатся. То, се. Дотошный такой, все записывает. А у меня работа стоит. Я ему вежливенько так: «Вы, говорю, мистер, ко мне бы после работы, а?» Он обрадовался. «Можно, спрашивает, на квартиру?» — «Милости просим, заезжайте». Я думаю, это он так. Возвращаюсь домой — у подъезда машина. Он уже тут с Машей беседует. И вижу — сидит моя Мария Алексеевна красная, сердитая. «Надоел, говорит, порченый какой-то: спрашивает, можем ли мы костюм купить, ходим ли в театр, есть ли радио. Будто мы

дикари какие». Ну, так и вышел у меня с ним, с англичанином, этот самый разговор. Спросил он, что заставило меня дать рекордную выработку. А я, признаться, и не думал — черт его знает, что заставило. «Жизнь, говорю, вот что». И ведь как он, подлец, понял! Дескать, жить мне было не на что, вот я и пошел на рекорд, чтобы с голоду не умереть. Понимаешь? Ну хорошо. Стал я ему политграмоту читать, о соревновании, о том, что труд у нас — доблесть, геройство. Простые вещи. У меня вон Людка в десять раз больше знает. А он слушал, слушал, да под конец опять за свое. Закивал головой: понимаю, дескать, понимаю. Значит, героем захотели стать, орден получить, выдвинуться? Я чуть не завыл от злости: как ему, такому, разъяснишь? «Скажите,— говорю Апту,— этому уважаемому мистеру, что, хоть вы нас и переводите, все равно нам друг дружку не понять, потому по-разному у нас мозги поставлены».

Лузгин подмигнул Евгению: ловко, мол, я его?

— Ну, и что англичанин?

— Ничего, что ему! И это записал. Вежливый, между прочим, народ англичане. Ну, вот уехал он, и стал я думать: что же, в самом деле? Думал, думал и надумал одно.

— Ну?

— Да все то же. Жизнь, брат Евгений, жизнь, вот это самое. То, что я ему сразу сказал...

Дорога привела к знакомому домику на проспекте Энтузиастов. В палисаднике цвела молодая черемуха. Целые сугробы горько пахнущего цвета переваливались через палисадник на улицу, служа великим соблазном мальчишкам и влюбленным.

— Зайдем? С аэродромщиком моим познакомлю. Иль ты его уже знаешь? Вином угощу. Я, брат, полдюжины бутылок такого привез — закачаешься! Вот и размочим твой рекорд! А?

Сизову очень хотелось зайти. Но от прежнего Женьки у него осталась привычка переживать радости и горести в одиночестве. Сегодня, когда избыток их теснил грудь, тянуло побыть одному.

— Ну, ладно, попозже заедешь,— понимающе сказал Лузгин и уже с крыльца добавил: — Вечером буду ждать. И наши все будут... Настя обещала прийти. Слышишь? — многозначительно сказал Лузгин.— Разрешаю тебе для такого дела черемухи наломать... Вон она у меня как рас-

цвела. Прутишки ведь сажал, а теперь вон какая красавица! С каждым годом щедрей цветет...

Евгений вскочил на велосипед. Легкая машина плавно понесла его по ровной дороге. Свернул на шоссе и погнал к лесу. Машина шла бесшумно, казалось, будто она стоит на месте, а навстречу ей несутся деревья, освещенные вечерней зарей. Лес дышал запахом юной хвои, сырой, разогретой за день землей. Сизов наклонился к самому рулю. Ноги делали пружинистые, ритмичные движения. В ушах его вдруг снова зазвучал знакомый мотив. Он был так отчетлив, что его можно было легко подобрать на гитаре, записать.

«Эва!.. Вспомнил, откуда он. Сам же и напел его тогда в кузнице, когда первый раз дело пошло».

Мелодия хорошо сочеталась с ритмом кузнечной работы. Вот почему, выйдя из цеха, Евгений раньше никак не мог восстановить ее, она будто сразу таяла в памяти. А ведь хороший мотив. И свой. Евгений чуть не захлебнулся от радости.

— Э-эх! — крикнул он от избытка озорных сил, наполнявших его, бивших через край.

«Эх...» — троекратно отозвалось эхо из влажной душистой полутьмы, пахнущей мокрой травой, молодыми листьями, сдобренной горечью цветущих черемух.

Широкий, ровный путь развертывался перед Евгением в багровых лучах заката. Весенний ветер летел навстречу, теребил волосы, рвал рубашку. Евгений улыбался ему. Смелые люди любят встречный ветер.

1938—1939

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Звезды еще сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало светлеть. Деревья понемногу выступали из тьмы. Вдруг по вершинам их прошелся сильный, свежий ветер. Лес сразу ожил, зашумел полнозвучно и звонко. Свистящим шепотом перекликнулись между собой столетние сосны, и сухой иней с мягким шелестом полился с потревоженных ветвей.

Ветер стих внезапно, как и налетел. Деревья снова застыли в холодном оцепенении. Сразу стали слышны все предутренние лесные звуки: жадная грызня волков на соседней поляне, осторожное тявканье лисиц и первые, еще неуверенные удары проснувшегося дятла, раздававшиеся в тишине леса так музыкально, будто долбил он не древесный ствол, а полое тело скрипки.

Снова порывисто шумнул ветер в тяжелой хвое сосновых вершин. Последние звезды тихо погасли в посветлевшем небе. Само небо уплотнилось и сузилось. Лес, окончательно стряхнувший с себя остатки ночного мрака, вставал во всем своем зеленом величии. По тому, как, побагровев, засветились курчавые головы сосен и острые шпили елей, угадывалось, что поднялось солнце и что занявшийся день обещает быть ясным, морозным, ядреным.

Стало совсем светло. Волки ушли в лесные чащобы переваривать ночную добычу, убралась с поляны лисица, оставив на снегу кружевной, хитро запутанный след. Старый лес зашумел ровно, неумолчно. Только птичья возня, стук дятла, веселое цвиканье стрелявших меж ветвей желтеньких синиц да жадный сухой кряк соек разнообразили этот тягучий, тревожный и грустный, мягкими волнами перекатывающийся шум.

Сорока, чистившая на ветке ольховника черный острый клюв, вдруг повернула голову набок, прислушалась, присела, готовая сорваться и улететь. Тревожно хрустели сучья. Кто-то большой, сильный шел сквозь лес, не разбирая дороги. Затрещали кусты, заметались вершины маленьких сосенок, заскрипел, оседая, наст. Сорока вскрикнула

и, распустив хвост, похожий на оперение стрелы, по прямой полетела прочь.

Из припудренной утренним инеем хвои высунулась длинная бурая морда, увенчанная тяжелыми ветвистыми рогами. Испуганные глаза осмотрели огромную поляну. Розовые замшевые ноздри, извергавшие горячий парок встревоженного дыхания, судорожно задвигались.

Старый лось застыл в сосняке, как изваяние. Лишь клочковатая шкура нервно передергивалась на спине. Настороженные уши ловили каждый звук, и слух его был так остер, что слышал зверь, как короед точит древесину сосны. Но даже и эти чуткие уши не слышали в лесу ничего, кроме птичьей трескотни, стука дятла и ровного звона сосновых вершин.

Слух успокаивал, но обоняние предупреждало об опасности. К свежему аромату талого снега примешивались острые, тяжелые и опасные запахи, чуждые этому дремучему лесу. Черные печальные глаза зверя увидели на ослепительной чешуе наста темные фигуры. Не шевелясь, он весь напружился, готовый сделать прыжок в чащу. Но люди не двигались. Они лежали в снегу густо, местами друг на друге. Их было очень много, но ни один из них не двигался и не нарушал девственной тишины. Возле возвышались вросшие в сугробы какие-то чудовища. Они-то и источали острые и тревожные запахи.

Испуганно кося глазом, стоял на опушке лось, не понимая, что же случилось со всем этим стадом тихих, неподвижных и совсем не опасных с виду людей.

Внимание его привлек звук, послышавшийся сверху. Зверь вздрогнул, кожа на спине его передернулась, задние ноги еще больше поджались.

Однако звук был тоже не страшный: будто несколько майских жуков, басовито гудя, кружили в листве зацветающей березы. И к гуденью их примешивался порой частый, короткий треск, похожий на вечерний скрип дергача на болоте.

А вот и сами эти жуки. Сверкая крыльями, танцуют они в голубом морозном воздухе. Снова и снова скрипнул в вышине дергач. Один из жуков, не складывая крыльев, метнулся вниз. Остальные опять затанцевали в небесной лазури. Зверь распустил напряженные мускулы, вышел на поляну, лизнул наст, кося глазом на небо. И вдруг еще один жук отвалил от танцевавшего в воздухе роя и, оставляя за собой большой, пышный хвост, понесся прямо к по-

ляне. Он рос так быстро, что лось едва успел сделать прыжок в кусты,— что-то громадное, более страшное, чем внезапный порыв осенней бури, ударило по вершинам сосен и брякнулось о землю так, что весь лес загудел, застонал. Эхо понеслось над деревьями, опережая лося, рванувшегося во весь дух в чащу.

Увязло в гуще зеленой хвои эхо. Сверкая и искрясь, осыпался иней с древесных вершин, сбитых падением самолета. Тишина, тягучая и властная, овладела лесом. И в ней отчетливо послышалось, как простонал человек и как тяжело захрустел наст под ногами медведя, которого необычный гул и треск выгнали из леса на полянку.

Медведь был велик, стар и космат. Неопрятная шерсть бурыми клочьями торчала на его впалых боках, сосульками свисала с тощего, поджарого зада. В этих краях с осени бушевала война. Она проникла даже сюда, в заповедную глушь, куда раньше, и то не часто, заходили только лесники да охотники. Грохот близкого боя еще осенью поднял медведя из берлоги, нарушив его зимнюю спячку, и вот теперь, голодный и злой, бродил он по лесу, не зная покоя.

Медведь остановился на опушке, там, где только что стоял лось. Понюхал его свежие, вкусно пахнущие следы, тяжело и жадно задышал, двигая впалыми боками, прислушался. Лось ушел, зато рядом раздавался звук, производимый каким-то живым и, вероятно, слабым существом. Шерсть поднялась на загривке зверя. Он вытянул морду. И снова этот жалобный звук чуть слышно донесся с опушки.

Медленно, осторожно ступая мягкими лапами, под которыми с хрустом проваливался сухой и крепкий наст, зверь направился к неподвижной, вбитой в снег человеческой фигуре...

2

Летчик Алексей Мересьев попал в двойные клещи. Это было самое скверное, что могло случиться в воздушном бою. Его, расстрелявшего все боеприпасы, фактически безоружного, обступили четыре немецких самолета и, не давая ему ни вывернуться, ни уклониться с курса, повели на свой аэродром...

А получилось все это так. Звено истребителей под

командой лейтенанта Мересьева вылетело сопровождать «илы», отправлявшиеся на штурмовку вражеского аэродрома. Смелая вылазка прошла удачно. Штурмовики, эти «летающие танки», как звали их в пехоте, скользя чуть ли не по верхушкам сосен, подкрались прямо к летному полю, на котором рядами стояли большие транспортные «юнкерсы». Неожиданно вынырнув из-за зубцов сизой лесной гряды, они понеслись над тяжелыми тушами «ломовиков», поливая их из пушек и пулеметов свинцом и сталью, забрасывая хвостатыми снарядами. Мересьев, охранявший со своей четверкой воздух над местом атаки, хорошо видел сверху, как заметались по аэродрому темные фигурки людей, как стали грузно расползаться по накатанному снегу транспортники, как штурмовики делали новые и новые заходы и как пришедшие в себя экипажи «юнкерсов» начали под огнем выруливать на старт и поднимать машины в воздух.

Вот тут-то Алексей и совершил промах. Вместо того чтобы строго стеречь воздух над районом штурмовки, он, как говорят летчики, соблазнился легкой дичью. Бросив машину в пике, он камнем ринулся на только что оторвавшийся от земли тяжелый и медлительный «ломовик», с удовольствием огрел несколькими длинными очередями его четырехугольное пестрое, сделанное из гофрированного дюраля тело. Уверенный в себе, он даже не смотрел, как враг ткнется в землю. На другой стороне аэродрома сорвался в воздух еще один «юнкерс». Алексей погнался за ним. Атаковал — и неудачно. Его огневые трассы скользнули поверх медленно набиравшей высоту машины. Он круто развернулся, атаковал еще раз, снова промазал, опять настиг свою жертву и свалил ее где-то уже в стороне над лесом, яростно всадив в широкое сигарообразное туловище несколько длинных очередей из всего бортового оружия. Уложив «юнкерс» и дав два победных круга у места, где над зеленым всклокоченным морем бесконечного леса поднялся черный столб, Алексей повернул было самолет обратно к немецкому аэродрому.

Но долететь туда уже не пришлось. Он увидел, как три истребителя его звена ведут бой с девятью «мессерами», вызванными, вероятно, командованием немецкого аэродрома для отражения налета штурмовиков. Смело бросаясь на немцев, ровно втрое превосходивших их по числу, летчики стремились отвлечь врага от штурмовиков. Ведя бой, они оттягивали противника все дальше и дальше в сто-

рону, как это делает тетерка, притворяясь подраненной и отвлекая охотников от своих птенцов.

Алексею стало стыдно, что он увлекся легкой добычей, стыдно до того, что он почувствовал, как запылали под шлемом щеки. Он выбрал себе противника и, стиснув зубы, бросился в бой. Целью его был «мессер», несколько отбившийся от других и, очевидно, тоже высмотревший себе добычу. Выжимая всю скорость из своего «ишачка», Алексей бросился на врага с фланга. Он атаковал немца по всем правилам. Серое тело вражеской машины было отчетливо видно в паутинном крестике прицела, когда он нажимал гашетку. Но тот спокойно скользнул мимо. Промаха быть не могло. Цель была близка и виднелась на редкость отчетливо. «Боеприпасы!» — догадался Алексей, чувствуя, что спина сразу покрылась холодным потом. Нажал для проверки гашетки и не почувствовал того дрожащего гула, какой всем телом ощущает летчик, пуская в дело оружие своей машины. Зарядные коробки были пусты: гоняясь за «ломовиками», он расстрелял весь боекомплект.

Но враг-то не знал об этом! Алексей решил безоружным втесаться в кутерьму боя, с тем чтобы хоть численно улучшить соотношение сил. Он ошибся. На истребителе, который он так неудачно атаковал, сидел опытный и наблюдательный летчик. Немец заметил, что машина безоружна, и отдал приказ своим коллегам. Четыре «мессершмитта», выйдя из боя, обложили Алексея с боков, зажали сверху и снизу и, диктуя ему путь пулевыми трассами, отчетливо видными в голубом и прозрачном воздухе, взяли его в двойные клещи.

Несколько дней назад Алексей слышал, что сюда, в район Старой Руссы, перелетела с запада знаменитая немецкая авиадивизия «Рихтгофен». Она была укомплектована лучшими асами фашистской империи и находилась под покровительством самого Геринга. Алексей понял, что попал в когти этих воздушных волков и что они, очевидно, хотят привести его на свой аэродром, заставить сесть и взять в плен живым. Такие случаи бывали. Алексей сам видел, как однажды звено истребителей под командой его приятеля Героя Советского Союза Андрея Дегтяренко привело и посадило на свой аэродром немца-разведчика.

Длинное зеленовато-бледное лицо пленного немца, его шатающийся шаг мгновенно возникли в памяти Алексея. «Плен? Никогда! Не выйдет этот номер!» — решил он.

Но вывернуться не удавалось. Немцы преграждали ему

путь пулеметными очередями, как только он делал малейшую попытку отклониться с диктуемого ими курса. И опять мелькнуло перед ним лицо пленного летчика с искаженными чертами, с дрожащей челюстью. Был в этом лице какой-то унизительный животный страх.

Мересьев крепко сжал зубы, дал полный газ и, поставив машину вертикально, попытался нырнуть под верхнего немца, прижимавшего его к земле. Ему удалось вырваться из-под конвоя. Но немец успел вовремя нажать гашетку. Мотор сбился с ритма и заработал частыми рывками. Весь самолет задрожал в смертельной лихорадке.

Подбили! Алексей успел свернуть в белую муть облака, сбить со следа погоню. Но что же дальше? Летчик ощущал дрожь подраненной машины всем своим существом, как будто это была не агония изувеченного мотора, а лихорадка, колотившая его собственное тело.

Во что ранен мотор? Сколько может самолет продержаться в воздухе? Не взорвутся ли баки? Чувствуя себя сидящим на динамитной шашке, к которой по шнуру запала уже бежит пламя, он положил самолет на обратный курс, к линии фронта, к своим, чтобы в случае чего хотя бы быть похороненным родными руками.

Развязка наступила сразу. Мотор осекся и замолчал. Самолет, точно соскальзывая с крутой горы, стремительно понесся вниз. Под самолетом переливался зелено-серыми волнами необозримый, как море, лес... «И все-таки не плен!» — успел подумать летчик, когда близкие деревья, сливаясь в продольные полосы, неслись под крыльями самолета. Когда лес, как зверь, прыгнул на него, он инстинктивным движением выключил зажигание. Раздался скрежущий треск, и все мгновенно исчезло, точно он вместе с машиной канул в темную густую воду.

Падая, самолет задел верхушки сосен. Это смягчило удар. Сломав несколько деревьев, машина развалилась на части, но мгновением раньше Алексея вырвало из сиденья, подбросило в воздух, и, упав на широкоплечую вековую ель, он соскользнул по ветвям в глубокий сугроб, наметенный ветром у ее подножия. Это спасло ему жизнь...

Сколько пролежал он без движения, без сознания, Алексей не знал. Какие-то человеческие тени, контуры зданий, невероятные машины, стремительно мелькая, проносились перед ним, и от вихревого их движения во всем его теле ощущалась тупая, скребущая боль. Потом из хаоса вышло что-то большое, горячее, неопределенных форм и задыша-

ло на него жарким смрадом. Он попробовал отстраниться, но тело его точно влипло в снег. Томимый безотчетным ужасом, он сделал рывок — и вдруг ощутил морозный воздух, ворвавшийся ему в легкие, холод снега на щеке и острую боль уже не во всем теле, а в ногах.

«Жив!» — мелькнуло в его сознании. Он сделал движение, чтобы подняться, и услышал возле себя хрустящий скрип наста под чьими-то ногами и шумное, хрипловатое дыхание. «Немцы! — тотчас же догадался он, подавляя в себе желание раскрыть глаза и вскочить защищаясь.— Плен, значит, все-таки плен!.. Что же делать?»

Он вспомнил, что его механик Юра, мастер на все руки, взялся вчера притачать к кобуре оторвавшийся ремешок, да так и не притачал; пришлось, вылетая, положить пистолет в набедренный карман комбинезона. Теперь, чтобы его достать, надо было повернуться на бок. Этого нельзя, конечно, сделать незаметно для врага. Алексей лежал ничком. Бедром он ощущал острые грани пистолета. Но лежал он неподвижно: может быть, враг примет его за мертвого и уйдет.

Немец потоптался возле, как-то странно вздохнул, снова подошел к Мересьеву; похрустел настом, наклонился, Алексей опять ощутил смрадное дыхание его глотки. Теперь он знал, что немец один, и в этом была возможность спастись: если внезапно вскочить, вцепиться ему в горло и, не дав пустить в ход оружие, завязать борьбу на равных... Но это надо сделать расчетливо и точно.

Не меняя позы, медленно, очень медленно Алексей приоткрыл глаз и сквозь опущенные ресницы увидел перед собой вместо немца бурое мохнатое пятно. Приоткрыл глаз шире и тотчас же плотно зажмурил: перед ним на задних лапах сидел большой, тощий, ободранный медведь.

3

Тихо, как умеют только звери, медведь сидел возле неподвижной человеческой фигуры, едва видневшейся из синевато сверкавшего на солнце сугроба.

Его грязные ноздри тихо подергивались. Из приоткрытого рта, в котором виднелись старые, желтые, но еще могучие клыки, свисала и покачивалась на ветру тоненькая ниточка густой слюны.

Поднятый войной из зимней берлоги, он был голоден и зол. Но медведи не едят мертвечины. Обнюхав неподвижное тело, остро пахнущее бензином, медведь лениво отошел на полянку, где в изобилии лежали такие же неподвижные, вмерзшие в наст человеческие тела. Стон и шорох вернули его обратно.

И вот он сидел около Алексея. Щемящий голод боролся в нем с отвращением к мертвому мясу. Голод стал побеждать. Зверь вздохнул, поднялся, лапой перевернул человека в сугробе и рванул когтями «чертову кожу» комбинезона. Комбинезон не поддался. Медведь глухо зарычал. Больших усилий стоило Алексею в это мгновение подавить в себе желание открыть глаза, отпрянуть, закричать, оттолкнуть эту грузную, навалившуюся ему на грудь тушу. В то время как все существо его рвалось к бурной и яростной защите, он заставил себя медленным, незаметным движением опустить руку в карман, нащупать там рубчатую рукоять пистолета, осторожно, чтобы не щелкнул, взвести большим пальцем курок и начать незаметно вынимать уже вооруженную руку.

Зверь еще сильнее рванул комбинезон. Крепкая материя затрещала, но опять выдержала. Медведь неистово заревел, схватил комбинезон зубами, защемив через мех и вату тело. Алексей последним усилием воли подавил в себе боль и в тот момент, когда зверь вырвал его из сугроба, вскинул пистолет и нажал курок.

Глухой выстрел треснул раскатисто и гулко.

Вспорхнув, проворно улетела сорока. Иней посыпался с потревоженных ветвей. Зверь медленно выпустил жертву. Алексей упал в снег, не отрывая от противника глаз. Тот сидел на задних лапах, и в черных, заросших мелкой шерстью, гноящихся его глазках застыло недоумение. Густая кровь матовой струйкой пробивалась меж его клыков и падала на снег. Он зарычал хрипло и страшно, грузно поднялся на задние лапы и, прежде чем Алексей успел выстрелить еще раз, замертво осел на снег. Голубой наст медленно заплывал красным и, подтаивая, слегка дымился у головы зверя. Медведь был мертв.

Напряжение схлынуло. Алексей снова ощутил острую, жгучую боль в ступнях и, повалившись на снег, потерял сознание...

Очнулся он, когда солнце стояло уже высоко. Лучи, пронзавшие хвою, сверкающими бликами зажигали наст. В тени снег казался даже не голубым, а синим.

«Что же, медведь померещился, что ли?» — было первой мыслью Алексея.

Бурая лохматая, неопрятная туша лежала подле на голубом снегу. Лес шумел. Звучно долбил кору дятел. Звонко цвикали, прыгая в кустах, проворные желтобрюхие синички.

«Жив, жив, жив!» — мысленно повторял Алексей. И весь он, все тело его ликовало, впитывая в себя чудесное, могучее, пьянящее ощущение жизни, которое приходит к человеку и захватывает его всякий раз после того, как он перенесет смертельную опасность.

Повинуясь этому могучему чувству, он вскочил на ноги, но тут же, застонав, присел на медвежью тушу. Боль в ступнях прожгла все его тело. В голове стоял глухой, тяжелый шум, точно вращались в ней, грохоча, сотрясая мозг, старые, щербатые жернова. Глаза ломило, будто кто-то нажимал на них поверх век пальцем. Все окружающее то виднелось четко и ярко, облитое холодными желтыми солнечными лучами, то исчезало, покрываясь серой, мерцающей искрами пеленой.

«Плохо... Должно быть, контузило при падении и с ногами что-то случилось»,— подумал Алексей.

Приподнявшись, он с удивлением разглядел за лесной опушкой широкое поле, ограниченное на горизонте сизым полукругом далекого леса.

Должно быть, осенью, а вернее всего — ранней зимой, по опушке леса через это поле проходил один из оборонительных рубежей, на котором недолго, но упорно, как говорится — насмерть, держалась красноармейская часть. Метели прикрыли раны земли слежавшейся снежной ватой. Но и под ней легко угадывались кротовые ходы окопов, холмики разбитых огневых точек, бесконечные выбоины мелких и крупных снарядных воронок, видневшихся вплоть до подножий избитых, израненных, обезглавленных или вывернутых взрывами деревьев опушки. Среди истерзанного поля в разных местах вмерзло в снег несколько танков, окрашенных в пестрый цвет щучьей чешуи. Все они — в особенности крайний, который, должно быть, взрывом гранаты или мины повалило набок, так что длинный ствол его орудия высунутым языком свисал к земле,— казались трупами неведомых чудовищ. И по всему полю —у брустверов неглубоких окопчиков, возле танков и на лесной опушке — лежали вперемешку трупы красноармейцев и немецких солдат. Было их так много, что ме-

стами громоздились они один на другой. Они лежали в тех же закрепленных морозом позах, в каких несколько месяцев назад, еще на грани зимы, застигла людей в бою смерть.

Все говорило Алексею об упорстве и ярости бушевавшего здесь боя, о том, что его боевые товарищи дрались, позабыв обо всем, кроме того, что нужно остановить, не пропустить врага. Вот недалеко, у опушки, возле обезглавленной снарядом толстой сосны, высокий, косо обломленный ствол которой истекает теперь желтой прозрачной смолой, валяются немцы с размозженными черепами, с раздробленными лицами. В центре, поперек одного из врагов, лежит навзничь тело огромного круглолицего большеголового парня без шинели, в одной гимнастерке без пояса, с разорванным воротом, и рядом винтовка со сломанным штыком и окровавленным, избитым прикладом.

А дальше у дороги, ведущей в лес, под закиданной песком молодой елочкой, наполовину в воронке, так же навзничь лежит на ее краю смуглый узбек с тонким лицом, словно выточенным из старой слоновой кости. За ним под ветвями елки виднеется аккуратная стопка еще не израсходованных гранат, и сам он держит гранату в закинутой назад мертвой руке, и как будто, перед тем как ее бросить, решил он глянуть на небо, да так и застыл.

И еще дальше, вдоль лесной дороги, возле пятнистых танковых туш, у откосов больших воронок, в окопчиках, подле старых пней — всюду мертвые фигуры в ватниках и стеганых штанах, в грязновато-зеленых френчах и рогатых пилотках, для тепла насунутых на уши; торчат из сугробов согнутые колени, запрокинутые подбородки, вытаявшие из наста восковые лица, обглоданные лисами, обклеванные сороками и вороньем.

Несколько воронов медленно кружили над поляной, и вдруг напомнила она Алексею торжественную, полную мрачной мощи картину Игоревой сечи, воспроизведенную в школьном учебнике истории с полотна великого русского художника.

«Вот и я лежал бы тут!» — подумал он, и снова все существо его наполнилось бурным ощущением жизни. Он встряхнулся. В голове еще медленно кружились щербатые жернова, ноги горели и ныли пуще прежнего, но Алексей, сидя на уже похолодевшей и посеребренной сухим снежком медвежьей туше, стал думать, что́ ему делать, куда идти, как добраться до своих передовых частей.

Планшет с картой он потерял при падении. Но и без карты Алексей ясно представлял себе сегодняшний маршрут. Немецкий полевой аэродром, на который налетали штурмовики, лежал километрах в шестидесяти на запад от линии фронта. Связав немецкие истребители воздушным боем, его летчикам удалось оттянуть их от аэродрома на восток примерно километров на двадцать, да и ему, после того как вырвался он из двойных клещей, удалось, вероятно, еще немного протянуть к востоку. Стало быть, упал он приблизительно километрах в тридцати пяти от линии фронта, далеко за спиной передовых немецких дивизий, где-то в районе огромного, так называемого Черного леса, над которым не раз приходилось ему пролетать, сопровождая бомбардировщиков и штурмовиков в их короткие рейды по ближним немецким тылам. Этот лес всегда казался ему сверху бесконечным зеленым морем. В хорошую погоду лес клубился шапками сосновых вершин, а в непогодь, подернутый серым туманом, напоминал помрачневшую водную гладь, по которой ходят мелкие волны.

То, что он рухнул в центре этого заповедного леса, было и хорошо и плохо. Хорошо потому, что вряд ли здесь, в этих девственных чащобах, можно было встретить немцев, тяготевших обычно к дорогам и жилью. Плохо же потому, что предстояло совершить хотя и не очень длинный, но тяжелый путь по лесным зарослям, где нельзя надеяться на помощь человека, на кусок хлеба, на крышу, на глоток кипятку. Ноги... Поднимут ли ноги? Пойдут ли?..

Он тихо привстал с медвежьей туши. Та же острая боль, возникавшая в ступнях, пронизала его тело снизу вверх. Он вскрикнул. Пришлось снова сесть. Попытался скинуть унт. Унт не слезал, и каждый рывок заставлял стонать. Тогда Алексей стиснул зубы, зажмурился, изо всех сил рванул унт обеими руками — и тут же потерял сознание. Очнувшись, он осторожно развернул байковую портянку. Вся ступня распухла и представляла собой сплошной сизый синяк. Она горела и ныла каждым своим суставом. Алексей поставил ногу на снег — боль стала слабее. Таким же отчаянным рывком, как будто он сам у себя вырывал зуб, снял он второй унт.

Обе ноги никуда не годились. Очевидно, когда удар самолета по верхушкам сосен выбросил его из кабины, ступни что-то прищемило и раздробило мелкие кости плюсны и пальцев. Конечно, в обычных условиях он даже и не подумал бы подняться на эти разбитые, распухшие

ноги. Но он был один в лесной чаще, в тылу врага, где встреча с человеком сулила не облегчение, а смерть. И он решил идти, идти на восток, идти через лес, не пытаясь искать удобных дорог и жилых мест, идти, чего бы это ни стоило.

Он решительно вскочил с медвежьей туши, охнул, заскрипел зубами и сделал первый шаг. Постоял, вырвал другую ногу из снега, сделал еще шаг. В голове шумело, лес и поляна покачнулись, поплыли в сторону.

Алексей чувствовал, что слабеет от напряжения и боли. Закусив губу, он продолжал идти, выбираясь к лесной дороге, что вела мимо подбитого танка, мимо узбека с гранатой, в глубь леса, на восток. По мягкому снегу идти было еще ничего, но, как только он ступил на твердый, обдутый ветрами, покрытый ледком горб дороги, боль стала такой нестерпимой, что он остановился, не решаясь сделать еще хотя бы шаг. Так стоял он, неловко расставив ноги, покачиваясь, точно от ветра. И вдруг все посерело перед глазами. Исчезла дорога, сосны, сизая хвоя, голубой продолговатый просвет над ней... Он стоял на аэродроме у самолета, и его механик, или, как он называл его, «технарь», долговязый Юра, блестя зубами и белками глаз, всегда сверкавшими на его небритом и вечно чумазом лице, приглашающим жестом показывал ему на кабину: дескать, готово, давай к полету... Алексей сделал к самолету шаг, но земля пылала, жгла ноги, точно ступал он по раскаленной плите. Он рванулся, чтобы перескочить через эту пышущую жаром землю прямо на крыло, но толкнулся о холодный фюзеляж и удивился. Фюзеляж был не гладкий, покрытый лаком, а шероховатый, облицованный сосновой корой... Никакого самолета — он на дороге и шарит рукой по стволу дерева.

«Галлюцинация? Схожу с ума от контузии,— подумал Алексей.— Идти по дороге невыносимо. Свернуть на целину? Но это намного замедлит путь...» Он сел на снег, снова теми же решительными, короткими рывками стащил унты, ногтями и зубами разорвал в подъемах, чтобы не теснили они разбитые ступни, снял с шеи большой пуховый шарф из ангорской шерсти, разодрал его пополам, обмотал ступни и снова обулся.

Теперь идти стало легче. Впрочем, идти — это неправильно сказано: не идти, а двигаться, двигаться осторожно, наступая на пятки и высоко поднимая ноги, как ходят по болоту. От боли и напряжения через несколько шагов

начинало кружить голову. Приходилось стоять, закрыв глаза, прислонившись спиной к стволу дерева, или присаживаться на сугроб и отдыхать, чувствуя острое биение пульса в венах.

Так двигался он несколько часов. Но, когда оглянулся, в конце просеки еще виднелся освещенный поворот дороги, у которого темным пятнышком выделялся на снегу мертвый узбек. Это очень огорчило Алексея. Огорчило, но не испугало. Ему захотелось идти быстрее. Он поднялся с сугроба, крепко сцепил зубы и пошел вперед, намечая перед собой маленькие цели, сосредоточивая на них внимание,— от сосны к сосне, от пенька к пеньку, от сугроба к сугробу. На девственном снегу пустынной лесной дороги вился за ним вялый, извилистый, нечеткий след, какой оставляет раненый зверь.

4

Так двигался он до вечера. Когда солнце, заходившее где-то за спиной Алексея, бросило холодное пламя заката на верхушки сосен и в лесу стали сгущаться серые сумерки, возле дороги, в поросшей можжевельником лощинке, Алексею открылась картина, при виде которой точно мокрым полотенцем провели у него вдоль спины до самой шеи и волосы шевельнулись под шлемом.

В то время как там, на поляне, шел бой, в лощине, в зарослях можжевельника, располагалась, должно быть, санитарная рота. Сюда относили раненых и тут укладывали их на подушках из хвои. Так и лежали они теперь рядами под сенью кустов, полузанесенные и вовсе засыпанные снегом. С первого взгляда стало ясно, что умерли они не от ран. Кто-то ловкими взмахами ножа перерезал им всем горло, и они лежали в одинаковых позах, откинув далеко голову, точно стараясь заглянуть, что делается у них позади. Тут же разъяснилась тайна страшной картины. Под сосной, возле занесенного снегом тела красноармейца, держа его голову у себя на коленях, сидела по пояс в снегу сестра, маленькая, хрупкая девушка в ушанке, завязанной под подбородком тесемками. Меж лопаток торчала у нее рукоять ножа, поблескивающая полировкой. А возле, вцепившись друг другу в горло в последней мертвой схватке, застыли немец в черном мундире войск СС и красноармеец с головой, забинтованной крова-

вой марлей. Алексей сразу понял, что этот в черном прикончил раненых своим ножом, заколол сестру и тут был схвачен не добитым им человеком, который все силы своей угасавшей жизни вложил в пальцы, сжавшие горло врага.

Так их и похоронила метель — хрупкую девушку в ушанке, прикрывшую своим телом раненого, и этих двоих, палача и мстителя, что вцепились друг в друга у ее ног, обутых в старенькие кирзовые сапожки с широкими голенищами.

Несколько мгновений Мересьев стоял пораженный, потом подковылял к сестре и вырвал из ее тела кинжал. Это был эсэсовский нож, сделанный в виде древнегерманского меча, с рукоятью красного дерева, в которую был врезан серебряный эсэсовский знак. На ржавом лезвии сохранилась надпись: «Alles für Deutschland». Кожаные ножны кинжала Алексей снял с эсэсовца. Нож был необходим в пути. Потом он выкопал из-под снега заскорузлую, обледенелую плащ-палатку, бережно покрыл ею труп сестры, положил сверху несколько сосновых веток...

Пока он занимался всем этим, стемнело. На западе погасли просветы между деревьями. Морозная и густая тьма обступила лощину. Тут было тихо, но ночной ветер гулял по вершинам сосен, лес шумел то убаюкивающе-певуче, то порывисто и тревожно. По лощине тянул невидимый уже глазом, тихо шуршащий и покалывающий лицо снежок.

Родившийся в Камышине, среди поволжских степей, горожанин, неопытный в лесных делах, Алексей не позаботился заблаговременно ни о ночлеге, ни о костре. Застигнутый кромешной тьмой, ощущая невыносимую боль в разбитых, натруженных ногах, он не нашел в себе сил идти за топливом, забрался в густую поросль молодого сосняка, присел под деревом, весь сжался в комок, спрятал лицо в колени, охваченные руками, и, обогреваясь своим дыханием, замер, жадно наслаждаясь наступившим покоем и неподвижностью.

Наготове был пистолет со взведенным курком, но вряд ли Алексей смог бы применить его в эту первую ночь, проведенную им в лесу. Он спал как каменный, не слыша ни ровного шума сосен, ни уханья филина, стонавшего где-то у дороги, ни далекого воя волков — ничего из тех лесных звуков, которыми была полна густая и непроницаемая, плотно обступавшая его тьма.

Зато проснулся он сразу, точно от толчка, когда чуть брезжил серенький рассвет и только ближние деревья неясными силуэтами выступали из морозной мглы. Проснулся, вспомнил, что́ с ним, где он, и задним числом испугался этой так беспечно проведенной в лесу ночи. Промозглый холод пробился сквозь «чертову кожу» и мех комбинезона и пробрал до костей. Тело била мелкая неудержимая дрожь. Но самое страшное было ноги: они болели еще острее, даже теперь, когда находились в покое. Со страхом подумал он о том, что нужно вставать. Но встал он так же решительно, рывком, как вчера срывал с себя унты. Время было дорого.

Ко всем тяготам, обрушившимся на Алексея, прибавился голод. Еще вчера, прикрывая тело сестры плащ-палаткой, он заметил возле нее брезентовую сумку с красным крестом. Какой-то зверек похозяйничал уже там, и на снегу около прогрызенных дыр валялись крошки. Вчера Алексей почти не обратил на это внимания. Сегодня он поднял сумку. В ней оказалось несколько индивидуальных пакетов, большая банка консервов, пачка чьих-то писем, зеркальце, на оборотной стороне которого была вставлена фотография худенькой старушки. Были, видно, в сумке хлеб или сухари, да птицы или звери расправились с этой едой. Алексей рассовал банку и бинты по карманам комбинезона, сказав про себя: «Спасибо, родная!», поправил сброшенную ветром с ног девушки плащ-палатку и медленно побрел на восток, который уже оранжево пламенел за сеткой древесных ветвей.

У него была теперь килограммовая банка консервов, и он решил есть раз в сутки, в полдень.

5

Чтобы заглушить боль, которую причинял ему каждый шаг, он стал отвлекать себя, обдумывая и рассчитывая свой путь. Если делать в сутки десять — двенадцать километров, он дойдет до своих за три, самое большее — за четыре дня.

Так, хорошо! Теперь: что значит пройти десять — двенадцать километров? Километр — это две тысячи шагов; стало быть, десять километров — двадцать тысяч шагов, а это много, если учесть, что после каждых пятисот — шестисот шагов приходится останавливаться и отдыхать...

Вчера Алексей, чтобы сократить путь, намечал себе какие-то зримые ориентиры: сосну, пенек, ухаб на дороге — и к ним стремился, как к месту отдыха. Теперь он перевел все это на язык цифр, переложил на число шагов. Он решил перегон между местами отдыха делать в тысячу шагов, то есть в полкилометра, и отдыхать по часам, не более пяти минут. Выходило, что с рассвета и до заката он, хотя и с трудом, пройдет километров десять.

Но как тяжело далась ему первая тысяча шагов! Он пытался переключить свое внимание на подсчет, чтобы ослабить боль, но, пройдя пятьсот шагов, начал путать, врать и уже не мог думать ни о чем другом, кроме жгучей, дергающей боли. И все же он прошел эту тысячу шагов. Не имея уже сил присесть, он упал лицом в снег и стал жадно лизать наст. Прижимался к нему лбом, висками, в которых стучала кровь, и испытывал несказанное блаженство от его леденящего прикосновения.

Он посмотрел на часы и вздрогнул. Секундная стрелка отщелкивала последние мгновенья пятой минуты. Он со страхом глядел на нее, будто, когда завершит она свой круг, должно произойти что-то ужасное; когда она коснулась цифры «шестьдесят», сразу поднялся на ноги, застонал и двинулся дальше.

К полудню лесной полумрак заискрился тонкими нитями пробившихся сквозь густую хвою солнечных лучей и в лесу крепко запахло смолой и талым снегом, а он совершил всего четыре перехода. Он сел посреди дороги на снег, не имея сил добраться до ствола большой березы, лежащей чуть ли не на расстоянии протянутой руки. Долго сидел он, опустив плечи, ни о чем не думая, ничего не видя и не слыша, не испытывая даже голода.

Вздохнул, бросил в рот несколько комочков снега и, преодолевая сковывающее тело оцепенение, достал из кармана ржавую банку, открыл ее кинжалом. Он положил в рот кусок замерзшего, безвкусного сала, хотел его проглотить, но сало растаяло. Он ощутил во рту его вкус и вдруг почувствовал такой голод, что с трудом заставил себя оторваться от него и принялся есть снег, чтобы только что-нибудь глотать.

Перед тем как двинуться снова в путь, Алексей вырезал из можжевельника палки. Он опирался на них, но идти становилось час от часу все труднее.

6

...Третий день пути по дремучему лесу, где Алексей не видел ни одного человеческого следа, ознаменовался неожиданным происшествием.

Он проснулся с первыми лучами солнца, дрожа от холода и внутреннего озноба. В кармане комбинезона нашел он зажигалку, сделанную ему на память из винтовочного патрона механиком Юрой. Он как-то совсем забыл о ней и о том, что можно и нужно разводить огонь. Наломав с ели, под которой спал, сухих мшистых веток, он покрыл их хвоей и зажег. Желтые шустрые огоньки вырвались из-под сизого дыма. Смолистое сухое дерево занялось быстро и весело. Пламя перебежало на хвою и, раздуваемое ветром, разгоралось со стонами и свистом.

Костер трещал и шипел, распространяя сухой благотворный жар. Алексею стало уютно, он опустил «молнию» комбинезона, достал из кармана гимнастерки несколько истертых писем, написанных одним и тем же круглым старательным почерком, вынул из одного фотографию тоненькой девушки в пестром, цветастом платье, сидевшей, подобрав ноги, в траве. Он долго смотрел на нее, потом снова бережно обернул в целлофан, заложил в письмо и, задумчиво подержав в руках, убрал обратно в карман.

«Ничего, ничего, все будет хорошо,— сказал он, обращаясь не то к этой девушке, не то к самому себе, и задумчиво повторил: — Н и ч е г о...»

Теперь уже привычными движениями сорвал он с ног унты, размотал куски шарфа, внимательно осмотрел ноги. Они еще больше опухли. Пальцы торчали в разные стороны, точно ступни были резиновые и их надули воздухом. Цвет у них был еще более темный, чем накануне.

Алексей вздохнул, прощаясь с затухавшим костром, и снова побрел по дороге, скрипя палками по обледеневшему снегу, кусая губы и порой теряя сознание. Вдруг среди других шумов леса, которые привыкшее ухо почти перестало улавливать, услышал он отдаленный звук работающих моторов. Сначала он подумал, что это ему мерещится от усталости, но моторы гудели все громче, то подвывая на первой скорости, то затихая. Очевидно, то были немцы, и ехали они по той же дороге. Алексей почувствовал, как сразу похолодело у него внутри.

Страх придал Алексею силы. Забыв об усталости, о боли в ногах, свернул он с дороги, добрел по целине до гу-

стого елового подлеска и тут, зайдя в чащу, опустился на снег. С дороги его трудно было заметить; ему же дорога была отчетливо видна, освещенная полуденным солнцем, уже стоявшим над зубчатым забором еловых вершин.

Шум приближался. Алексей вспомнил, что на снегу заброшенной дороги ясно виден его одинокий след. Но уходить было поздно, мотор передней машины гудел где-то совсем близко. Алексей еще крепче вжался в снег. Сначала мелькнул среди ветвей плоский, похожий на колун броневик, окрашенный известью. Покачиваясь и звеня цепями, он приближался к месту, где след Алексея свертывал в лес. Алексей затаил дыхание. Броневик не остановился. За броневиком шел маленький открытый вездеход. Кто-то в высоковерхой фуражке, уткнувшись носом в бурый меховой воротник, сидел рядом с шофером, а сзади на высокой скамейке покачивались автоматчики в серо-зеленых шинелях и касках. На некотором расстоянии, фырча и лязгая гусеницами, шел еще один, уже большой, вездеход, на котором рядами сидело человек пятнадцать немцев.

Алексей вжимался в снег. Машины были так близко, что ему в лицо пахнуло теплым смрадом газолиновой гари. Волосы шевельнулись у него на затылке, и мускулы свернулись в тугие клубки. Но машины прошли, запах развеялся, и уже откуда-то издали раздавался еле различимый шум моторов.

Дождавшись, пока все стихнет, Алексей выбрался на дорогу, на которой отчетливо отпечатались лестничные следы гусениц, и по этим следам продолжал путь. Он двигался теми же равномерными переходами, так же отдыхал, так же поел, пройдя половину дневного пути. Но теперь он шел по-звериному, осторожно. Встревоженный слух ловил каждый шорох, глаза рыскали по сторонам, как будто он знал, что где-то рядом крадется, прячется большой опасный хищник.

Летчик, привыкший воевать в воздухе, он в первый раз встретил на земле живых, неповерженных врагов. Теперь он брел по их следу, злорадно усмехаясь. Невесело же живется им здесь, неуютно, не хлебосольна оккупированная ими земля! Даже вот по девственному лесу, где за три дня не видел Алексей ни одной человеческой, живой приметки, приходится их офицеру ездить под таким конвоем.

«Ничего, ничего, все будет хорошо!» — подбадривал себя Алексей и все шагал, шагал, шагал, стараясь не замечать, что ноги его болят все острее и что он сам заметно

слабеет. Желудок уже не обманывали ни кусочки молодой еловой коры, которые он все время грыз и проглатывал, ни горьковатые березовые почки, ни нежная и клейкая, тянущаяся под зубами кашица молодой липовой коры.

До сумерек он едва прошел пять перегонов. Зато на ночь он развел костер, обложив хвоей и сушняком огромный полусгнивший березовый ствол, валявшийся на земле. Пока ствол этот тлел горячо и неярко, он спал, вытянувшись на снегу, ощущая живительное тепло то в одном, то в другом боку, инстинктивно поворачиваясь и просыпаясь, чтобы подбросить сушняку к затухавшему бревну, сипевшему в ленивом пламени.

Среди ночи разыгралась метель. Зашевелились, тревожно зашумели, застонали, заскрипели над головой сосны. Тучи колючего снега поволокло по земле. Шелестящий мрак заплясал над ухающим, искрящимся пламенем. Но снежная буря не встревожила Алексея. Он спал сладко и жадно, защищенный теплом костра.

Огонь защищал от зверей. А немцев в такую ночь можно было не бояться. Они не посмеют появиться в метель в глухом лесу. И все же, пока натруженное тело отдыхало в дымном тепле, ухо, уже приученное к звериной осторожности, ловило каждый звук. Под утро, когда буря утихла и в темноте над притихшей землей навис густой белесый туман, почудилось Алексею, что за звоном сосновых вершин, за шелестом падающего снега услышал он отдаленные звуки боя, разрывов, автоматной очереди, винтовочных выстрелов.

«Неужели линия фронта? Так скоро?»

7

Но, когда утром ветер размел туман, а лес, посеребренный за ночь, седой и веселый, засверкал на солнце иглистым инеем и, как будто радуясь этому его внезапному преображению, защебетала, запела, зачирикала птичья братия, почуявшая грядущую весну, сколько ни прислушивался Алексей, не мог он уловить шума боя — ни стрельбы, ни даже гула канонады.

Белыми дымчатыми струйками, колюче посверкивая на солнце, сыпался с деревьев снег. Кое-где на снег с легким

стуком падали тяжелые весенние капли. Весна! В это утро она впервые заявила о себе так решительно и настойчиво.

Жалкие остатки консервов — несколько волоконцев покрытого ароматным салом мяса — Алексей решил съесть утром, так как почувствовал, что иначе ему не подняться. Он тщательно выскреб банку пальцем, порезав в нескольких местах руку о ее острые края, но ему мерещилось, что еще осталось сало. Он наполнил банку снегом, разгреб седой пепел затухшего костра, поставил банку в тлевшие угли, а потом с наслаждением, маленькими глотками выпил эту горячую, чуть-чуть пахнущую мясом воду. Банку он сунул в карман, решив кипятить в ней чай. Пить горячий чай! Это было приятным открытием и немного подбодрило Алексея, когда он вновь двинулся в путь.

Но тут его ожидало большое разочарование. Ночной буран совершенно замел дорогу. Он преградил ее косыми, островерхими сугробами. Глаза резала однотонная сверкающая голубизна. Ноги вязли в пухлом, еще не улежавшемся снегу. Вырывать их приходилось с трудом. Даже палки, которые сами вязли, плохо помогали.

К полудню, когда тени под деревьями стали черными, а солнце заглянуло через вершины на просеку дороги, Алексей сумел сделать всего около тысячи пятисот шагов и устал так, что каждое новое движение доставалось ему напряжением воли. Его качало. Земля выскальзывала из-под ног. Он поминутно падал, мгновение неподвижно лежал на вершине сугроба, прижимаясь лбом к хрустящему снегу, потом поднимался и делал еще несколько шагов. Неудержимо клонило в сон. Тянуло лечь, забыться, не шевелить ни одним мускулом. Будь что будет! Он останавливался, цепенея и пошатываясь из стороны в сторону, затем, больно закусив губу, приводил себя в сознание и снова делал несколько шагов, с трудом выволакивая ноги.

Наконец он почувствовал, что больше не может, что никакая сила не сдвинет его с места и что, если теперь он сядет, ему уже больше не подняться. С тоской огляделся он кругом. Рядом, на обочине дороги, стояла курчавая молоденькая сосенка. Последним усилием шагнул к ней и повалился на нее, попав подбородком в расщелину ее раздвоенной вершины. Тяжесть, приходившаяся на разбитые ноги, несколько уменьшилась, стало легче. Он лежал на пружинящих ветках, наслаждаясь покоем. Желая улечься поудобнее, он оперся подбородком о рогатку сосенки, подтянул ноги — одну, другую, и они, не неся на себе тяжести

тела, легко освободились из сугроба. И тут у Алексея опять мелькнула мысль.

Ну да, ну да! Ведь можно же срезать вот это маленькое деревце, сделать из него длинную палку, с рогаткой наверху, выбрасывать палку вперед, упираться в рогатку подбородком, переносить на нее тяжесть тела, а потом, вот как сейчас у сосенки, переставлять ноги вперед. Медленно? Ну да, конечно, медленно, зато не так будешь уставать и можно будет продолжать путь, не ожидая, пока осядут, умнутся сугробы.

Он тут же упал на колени, срубил кинжалом деревце, отрезал ветки, обмотал рогатку носовым платком, бинтами и тотчас же попробовал двинуться в дорогу. Выбросил палку вперед, уперся в нее подбородком и руками, сделал шаг, два, снова выбросил палку, снова уперся, снова шаг, два. И пошел, считая шаги и устанавливая себе новые нормы передвижения.

Вероятно, со стороны было бы странно видеть человека, бредущего таким непонятным способом в глухом лесу, двигающегося по глубоким сугробам со скоростью гусеницы, идущего от зари до зари и проходящего за этот срок не больше пяти километров. Но лес был пуст. Никто, кроме сорок, не наблюдал за ним. Сороки же, за эти дни убедившиеся в безобидности этого странного трехногого, неповоротливого существа, при его приближении не улетали, а только неохотно соскакивали с дороги и, повернув голову набок, насмешливо смотрели на него своими любопытными черными глазами-бусинками.

8

Так брел он еще два дня по снежной дороге, выбрасывая вперед палку, ложась на нее и подтягивая к ней ноги. Ступни уже окаменели и ничего не чувствовали, но тело при каждом шаге пронзала боль. Голод перестал мучить. Судороги и резь в животе прекратились и перешли в постоянную тупую боль, как будто пустой желудок отвердел и, неловко перевернувшись, сдавил все внутренности.

Алексей питался молодой сосновой корой, которую на отдыхе сдирал кинжалом, почками берез и лип да еще зеленым мягким мхом. Он выкапывал его из-под снега и на ночлегах вываривал в кипятке. Отрадой ему был «чай» из собранных на проталинах лакированных листочков брус-

ники. Горячая вода, наполняя тело теплом, создавала даже иллюзию сытости. Прихлебывая пахнущий дымом и веником горячий взвар, Алексей как-то весь успокаивался, и не таким бесконечным и страшным казался ему путь.

На шестой ночлег он расположился опять под зеленым шатром раскидистой ели, а костер разложил рядом, вокруг старого смолистого пня, который, по его расчетам, должен был жарко тлеть всю ночь. Еще не стемнело. На вершине ели суетилась невидимая белка. Она лущила шишки и время от времени, пустые и растерзанные, бросала вниз. Алексея, у которого теперь пища не выходила из ума, заинтересовало, что же находит в шишках зверек. Он поднял одну из них, отколупнул нетронутую чешуйку и увидел под ней однокрылое семечко размером с просяное зерно. Оно напоминало крохотный кедровый орешек. Он раздавил его зубами. Во рту почувствовал приятный запах кедрового масла.

Алексей тотчас же собрал вокруг несколько нераскрывшихся сырых еловых шишек, положил их к огню, подкинул веток, а когда шишки ощетинились, стал вытряхивать из них семена и тереть между ладонями. Он сдувал крылышки, а крохотные орешки бросал в рот.

Тихо шумел лес. Тлел смолистый пень, распространяя душистый, отдающий ладаном неедкий дым. Пламя то разгоралось, то затухало, и из шумящей тьмы то выступали в освещенный круг, то отходили обратно во мрак стволы золотых сосен и серебряных берез.

Алексей подбрасывал ветки и снова принимался за еловые шишки. Запах кедрового масла будил в памяти давно позабытую картину детства... Маленькая комната, густо населенная знакомыми вещами. Стол под висячей лампой. Мать в праздничном платье, вернувшаяся от всенощной, торжественно достает из сундука бумажный фунтик и высыпает из него в миску кедровые орехи. Вся семья — мать, бабушка, два брата, он, Алексей, самый маленький,— садится вокруг стола, и начинается торжественное лущение орешков, этого праздничного лакомства. Все молчат. Бабушка выковыривает зернышки шпилькой, мать — булавкой. Она ловко надкусывает орешек, извлекает оттуда ядрышки и складывает их кучкой. А потом, собрав их в ладонь, отправляет в рот кому-нибудь из ребят, и при этом счастливчик ощущает губами жесткость ее трудовой, не знающей устали руки, пахнущей ради праздника земляничным мылом.

Камышин... детство! Уютно жилось в крохотном домике на окраинной улице!..

Шумит лес, лицу жарко, а со спины подбирается колючий холод. Гукает во тьме филин, тявкают лисицы. У костра съежился, задумчиво глядя на гаснущие, перемигивающиеся угли, голодный, больной, смертельно усталый человек, единственный в этом огромном дремучем лесу, и перед ним во тьме лежит неведомый, полный неожиданных опасностей и испытаний путь.

— Ничего, ничего, все будет хорошо! — говорит вдруг этот человек, при последних багровых отсветах костра видно, что он улыбается растрескавшимися губами каким-то своим мыслям.

9

На седьмые сутки своего похода Алексей узнал, откуда донеслись до него вьюжной ночью звуки отдаленного боя.

Совершенно уже измученный, поминутно останавливаясь, чтобы передохнуть, он тащился по оттаявшей лесной дороге. Весна теперь уже не улыбалась издали. Она вошла в этот заповедный лес со своими теплыми, порывистыми ветрами, с острыми солнечными лучами, пробивающимися сквозь ветви и смывающими снег с кочек, пригорков, с грустным вороньим граем по вечерам, с медлительными, солидными грачами на побуревшем горбе дороги, с пористым, как пчелиные соты, влажным снежком, с искристыми лужицами на проталинах, с этим могучим бражным запахом, от которого у всего живого весело кружится голова.

Алексей с детства любил эту пору, и даже теперь, волоча по лужам свои больные ноги в мокрых, раскисших унтах, голодный, теряющий сознание от боли и усталости, проклиная лужи, вязкий снег и раннюю грязь, он все же жадно вдыхал хмельной влажный аромат. Он уже не разбирал дороги, не обходил луж, спотыкался, падал, вставал, тяжело ложась на свою палку, стоял, покачиваясь и собираясь с силами, потом выбрасывал палку вперед, как можно дальше, и продолжал медленно двигаться на восток.

Вдруг у поворота лесной дороги, резко бравшей здесь влево, он остановился и застыл. Там, где дорога была особенно узка, зажатая с двух сторон частым молодым леском, он увидел немецкие машины, которые обогнали его. Путь

им преграждали две огромные сосны. Возле самых этих сосен, уткнувшись в них радиатором, стоял похожий на колун броневик. Только был он не пятнисто-белый, как раньше, а багрово-красный, и стоял он низко на железных ободьях, так как шины его сгорели. Башня валялась в стороне, на снегу под деревом, как диковинный гриб. Возле броневика лежали три трупа — его экипаж — в черных замасленных коротких тужурках и матерчатых шлемах.

Два вездехода, тоже сожженные, багровые, с черными обугленными внутренностями, стояли впритык к броневику на темном от гари, пепла и угольев обтаявшем снегу. А вокруг — на обочинах дороги, в придорожных кустах, в кюветах — валялись тела немецких солдат, и по ним было видно, что разбегались солдаты в ужасе, даже не понимая хорошенько, что же произошло, что смерть стерегла их за каждым деревцом, за каждым кустом, скрытая снежной пеленой вьюги. К дереву был привязан труп офицера в мундире, но без штанов. К зеленому его френчу с темным воротником приколота была записка: «За чем пойдешь, то и найдешь». И ниже, другим почерком, чернильным карандашом добавлено крупно выведенное слово: «собака».

Алексей долго осматривал место побоища, ища чего-нибудь съестного. Только в одном месте обнаружил он втоптанный в снег, уже поклеванный, старый, заплесневелый сухарь и поднес его ко рту, жадно вдыхая кислый запах ржаного хлеба. Хотелось втиснуть этот сухарь целиком в рот и жевать, жевать, жевать ароматную хлебную массу. Но Алексей разделил его на три части; две убрал поглубже в набедренный карман, а одну стал щипать на крошки и крошки эти сосать, как леденцы, стараясь растянуть удовольствие.

Он обошел еще раз поле боя. Тут его осенила мысль: партизаны должны быть где-то здесь, поблизости! Ведь это их ногами истоптан жухлый снег в кустах и вокруг деревьев. Может быть, его, бродящего меж трупов, уже заметил и откуда-нибудь с вершины ели, из-за кустов, из-за сугробов наблюдает за ним партизанский разведчик. Алексей приложил руки ко рту и закричал что есть мочи.

— Ого-го! Партизаны! Партизаны!

Его удивило, как вяло и тихо звучит его голос. Даже эхо, отзывавшееся ему из лесной чащи и возвращавшее его крик обратно дробно отраженным от древесных стволов, казалось громче.

— Партизаны! Партиза-ны-и-и! Эге-е-й! — звал Алексей, сидя на снегу среди черной машинной гари и молчащих вражеских тел.

Звал и напрягал слух. Он охрип, сорвал голос. Он уже понял, что партизаны, сделав свое дело, собрав трофеи, давно ушли — да и зачем им было оставаться в безлюдной лесной чаще? — но он все кричал, надеясь на чудо, на то, что сейчас вот выйдут из кустов бородатые люди, о которых он столько слышал, подберут его, унесут с собой и можно будет хоть день, хоть час отдохнуть, подчиняясь чужой доброй воле, ни о чем не заботясь, никуда не стремясь.

Только лес отвечал ему звучным и дробным эхом. И вдруг — или это, может быть, показалось от большого напряжения — Алексей услышал сквозь мелодичный, глубокий шум хвои глухие и частые, то отчетливо различимые, то совсем затухавшие удары. Он весь встрепенулся, точно издали донесся до него в лесную пустыню дружеский зов. Но он не поверил слуху и долго сидел, вытянув шею.

Нет, он не обманывался. Влажный ветер потянул с востока и опять донес отчетливо различимые теперь звуки канонады. И канонада эта была не ленивая и редкая, какая слышалась последние месяцы, когда войска, окопавшись и укрепившись на прочной линии обороны, неторопливо перебрасывались снарядами, беспокоя друг друга. Она звучала часто и напряженно, будто кто-то ворочал тяжелые булыжники или принимался часто бить кулаками в днище дубовой бочки.

Ясно! Напряженная, артиллерийская дуэль. Линия фронта, судя по звуку, была километрах в десяти, что-то на ней происходило, кто-то наступал и кто-то отчаянно отстреливался обороняясь. Радостные слезы текли по щекам Алексея.

Он смотрел на восток. Правда, в этом месте дорога круто сворачивала в противоположную сторону, а перед ним лежала снежная пелена. Но оттуда слышал он этот зовущий звук. Туда вели темневшие в снегу продолговатые ямки партизанских следов, где-то в этом лесу жили они, отважные лесные люди.

Бормоча себе под нос: «Ничего, ничего, товарищи, все будет хорошо», Алексей смело ткнул палку в снег, оперся на нее подбородком, перебросил на нее всю тяжесть тела, с трудом, но решительно переставил ноги в сугроб. Он свернул с дороги на снежную целину.

10

В этот день ему не удалось сделать по снегу и полутораста шагов. Сумерки остановили его. Он опять облюбовал старый пень, обложил его сушняком, достал заветную зажигалку, сделанную из патрона, чиркнул колесиком, чиркнул еще раз — и похолодел: в зажигалке кончился бензин. Он тряс ее, дул, стараясь выжать остатки бензиновых паров, но тщетно. Стемнело. Искры, сыпавшиеся из-под колесика, как маленькие молнии, на мгновение раздвигали мрак вокруг его лица. Камешек истерся, а огня так и не удалось добыть.

Пришлось на ощупь доползти до молоденького густого сосняка, свернуться клубком, сунуть подбородок в колени, обхватить их кольцом рук и так замереть, слушая лесные шорохи. Может быть, в эту ночь Алексея охватило бы отчаяние. Но в спящем лесу звуки канонады раздавались отчетливей, ему казалось, что он даже начал отличать короткие удары выстрелов от глухого уханья разрывов.

Проснувшись утром с ощущением безотчетной тревоги и горя, Алексей сразу подумал: «Что же случилось? Плохой сон?» Вспомнил: зажигалка. Однако, когда ласково пригревало солнце, когда все кругом — и жухлый крупитчатый снег, и стволы сосен, и самая хвоя — лоснилось и сверкало, это уже не казалось большой бедой. Хуже было другое: расцепив отекшие руки, он почувствовал, что не может встать. Сделав несколько безуспешных попыток подняться, он сломал свою палку с рогаткой и, как куль, рухнул на землю. Повернулся на спину, чтобы дать отойти затекшим членам, и стал смотреть сквозь иглистые ветви сосенок на бездонное голубое небо, по которому торопливо плыли чистенькие, пушистые, с позолоченными кудрявыми краями облака. Тело понемногу стало отходить, но что-то случилось с ногами. Они совсем не могли стоять.

Держась за сосенку, Алексей еще раз попытался встать. Это ему наконец удалось, но как только он попробовал подтянуть ноги к деревцу — тотчас же упал от слабости и от какой-то страшной, зудящей боли в ступнях.

Неужели всё? Неужели так и придется погибнуть вот здесь, под соснами, где, может быть, никто никогда не найдет и не похоронит его обглоданные зверьем кости? Слабость неодолимо прижимала к земле. Но вдали гремела канонада. Там шел бой, там были свои. Неужели он не

найдет в себе сил, чтобы одолеть эти последние восемь — десять километров?

Канонада притягивала, бодрила, настойчиво звала его, и он ответил на этот зов. Он поднялся на коленки и по-звериному пополз на восток, пополз сначала безотчетно, загипнотизированный звуками далекого боя, а потом уже сознательно, поняв, что так передвигаться по лесу проще, чем с помощью палки, что так меньше болят ступни, не несущие теперь никакой тяжести, что, ползя по-звериному, он сможет двигаться гораздо быстрее. И опять он ощутил, как от радости поднимается в груди и подкатывает к горлу клубок. Точно не себе, а убеждая кого-то другого, кто слаб духом и сомневался в успехе такого невероятного передвижения, он сказал вслух:

— Ничего, уважаемый, теперь-то все будет в порядке!

После одного из перегонов он отогрел окоченевшие кисти, зажав их под мышками, подполз к молодой ели, вырезал из нее квадратные куски коры, затем, ломая ногти, отодрал от березы несколько длинных белых лычек. Вынул из унтов куски шерстяного шарфа, обмотал ими руки, сверху, с тыльной стороны ладони, положил в виде подошвы кору, привязал ее берестой и прикрутил бинтами из индивидуальных пакетов. На правой руке получилась очень удобная и широкая култышка. На левой же, где привязывать приходилось уже зубами, сооружение оказалось менее удачным. Но руки были теперь «обуты», и Алексей пополз дальше. На следующем привале привязал по куску коры и к коленям.

К полудню, когда стало заметно пригревать, Алексей сделал уже изрядное число «шагов» ползком. Канонада, вследствие ли того, что он приблизился к ней, или в результате какого-то акустического обмана, зазвучала сильнее. Было так тепло, что ему пришлось опустить «молнию» комбинезона и расстегнуться.

Когда он переползал моховое болотце с зелеными кочками, вытаявшими из-под снега, судьба приготовила ему еще подарок: на седоватом сыром и мягком мху увидел он тоненькие ниточки стебельков с редкими, острыми, полированными листочками, и между ними, прямо на поверхности кочек, лежали багровые, чуть помятые, но все еще сочные ягоды клюквы. Алексей наклонился к кочке и прямо губами стал снимать с бархатистого, теплого, пахнущего болотной сыростью мха одну ягоду за другой.

От приятной, сладковатой кислоты подснежной клюк-

вы, от этой первой настоящей пищи, которую он ел за последние дни, в желудке у него сделались спазмы. Но не хватило силы воли переждать острую, режущую боль. Он елозил по кочкам и, уже приноровившись, как медведь, языком и губами собирал кисло-сладкие ароматные ягоды. Он очистил так несколько кочек, не чувствуя ни льдистой сырости вешней воды, хлюпавшей в унтах, ни жгучей боли в ногах, ни усталости — ничего, кроме ощущения сладковатой и терпкой кислоты во рту и приятной тяжести в желудке.

Его стошнило. Но удержаться он не мог и снова принялся за ягоды. Он снял с рук самодельную обувь, набрал ягод в банку, набил ими шлем, привязал его тесемками к ремню и пополз дальше, с трудом преодолевая тяжелую дрему, наполнившую весь его организм.

На ночь, забравшись под шатер старой ели, он поел ягод, пожевал коры и семечек из еловых шишек. Заснул он сторожким, тревожным сном. Несколько раз казалось, что кто-то в темноте бесшумно подкрадывается к нему. Он открывал глаза, настораживался так, что начинало звенеть в ушах, выхватывал пистолет и сидел, окаменев, вздрагивая от звука упавшей шишки, от шелеста подмерзавшего снега, от тихого журчанья маленьких подснежных ручейков.

Только под утро каменный сон сломил его. Когда совсем рассвело, вокруг дерева, под которым он спал, он увидел мелкие, кружевные следы лисьих лап, и меж ними виднелся на снегу продолговатый следок волочившегося хвоста.

Так вот кто не давал ему спать! По следам было видно, что лиса ходила вокруг и около, присаживалась и снова ходила. Нехорошая мысль мелькнула у Алексея. Охотники говорят, что этот хитрый зверь чувствует человечью смерть и начинает преследовать обреченного. Неужели это предчувствие и привязало к нему трусливого хищника?

«Чепуха, какая чепуха! Все будет хорошо...» — подбодрил он себя и пополз, пополз, стараясь поскорее уйти от этого места.

В тот день ему опять повезло. В пахучем кусте можжевельника, с которого он обрывал губами сизые, матовые ягоды, увидел он какой-то странный комок палого листа. Он тронул рукой — комок был тяжелый и не рассыпался. Тогда он стал обрывать листья и накололся на торчавшие сквозь них иглы. Он догадался: ежик. Большой старый

еж, забираясь в чащу куста на зимовку, для тепла накатал на себя палых осенних листьев. Безумная радость овладела Алексеем. Весь свой скорбный путь мечтал он убить зверя или птицу. Сколько раз вынимал он пистолет и прицеливался то в сороку, то в сойку, то в зайца и всякий раз с трудом превозмогал желание выстрелить. В пистолете оставалось только три патрона: два для врага, один, в случае надобности, для себя. Он заставлял себя убирать пистолет. Он не имел права рисковать.

А тут кусок мяса сам попал к нему в руки. Ни минуты не задумываясь над тем, что ежи считаются, по поверью, животными погаными, он быстро сорвал со зверька чешую листвы. Еж не просыпался, не развертывался и походил на смешной, ощетинившийся иглами огромный боб. Ударом кинжала Алексей убил ежа, развернул его, неумело содрал желтую шкурку на брюшке и иглитый панцирь, рассек на части и с наслаждением стал рвать зубами еще теплое сизое, жилистое мясо, плотно приросшее к костям. Еж был съеден сразу, без остатка. Алексей разгрыз и проглотил все мелкие кости и только после этого ощутил во рту противный запах псины. Но что значит этот запах по сравнению с полным желудком, от которого по всему организму разливались сытость, теплота и дрема!

Он еще раз осмотрел, обсосал каждую косточку и прилег на снег, наслаждаясь теплом и покоем. Он, может быть, даже заснул бы, если бы его не разбудил раздавшийся из кустов осторожный брех лисицы. Алексей насторожился, и вдруг сквозь глухой гул орудийной канонады, все время слышной с востока, различил он короткие трески пулеметных очередей.

Сразу стряхнув усталость, забыв про лису, про отдых, он снова пополз вперед, в глубь леса.

11

За болотцем, которое он переполз, открылась поляна, пересеченная старой изгородью из посеревших от ветров жердей, лыком и ивовыми вязками прикрученных к вбитым в землю кольям.

Между двумя рядами изгороди кое-где проглядывала из-под снега колея заброшенной, нехоженой дороги. Значит, где-то недалеко жилье! Сердце Алексея тревожно забилось. Вряд ли немцы заберутся в такую глушь! А если

и так, там все же есть и свои, а они, конечно, спрячут, укроют раненого и помогут ему.

Чувствуя близкий конец скитаний, Алексей пополз, не жалея сил, не отдыхая. Он полз, задыхаясь, падая лицом в снег, теряя сознание от напряжения, полз, торопясь скорее добраться до гребня пригорка, с которого, наверно, должна быть видна спасительная деревня. Стремясь из последних сил к жилью, он не замечал, что, кроме этой изгороди да колеи, все отчетливее и отчетливее проступавшей из-под талого снега, ничто не говорит о близости человека.

Вот наконец и вершина земляного горба. Алексей, еле переводя дыхание и судорожно глотая воздух, поднял глаза. Поднял и тотчас опустил — таким страшным показалось ему то, что открылось перед ним.

Несомненно, еще недавно это была небольшая лесная деревенька. Очертания ее без труда угадывались по двум неровным рядам печных труб, торчавших над заметенными снегом буграми пожарищ. Кое-где сохранились палисадники, плетни, метелки рябин, стоявших когда-то у окошек. Теперь они торчали из снега, обгорелые, убитые жаром. Это было пустое снежное поле, на котором, как пни сведенного леса, торчали трубы и посреди — совсем уже нелепый — возвышался колодезный журавль с деревянной позеленевшей, обитой по краям железом бадьей, медленно раскачиваемой ветром на ржавой цепи. Да еще на въезде в деревню около огороженного зеленым забором садика возвышалась кокетливая арочка, на которой тихо покачивалась и поскрипывала ржавыми петлями калитка.

И ни души, ни звука, ни дымка. Пустыня. Как будто и не жил здесь никогда человек. Заяц, которого Алексей спугнул в кустах, побежал от него, смешно подбрасывая зад, прямо в деревню, остановился, встал столбиком, подняв передние лапки и оттопырив ухо, постоял у калитки и, видя, что какое-то непонятное большое и странное существо продолжает ползти по его следу, поскакал дальше, вдоль обгорелых пустых палисадников.

Алексей продолжал машинально двигаться вперед. Крупные слезы ползли по его небритым щекам и падали на снег. Он остановился у калитки, где минуту назад стоял заяц. Над ней сохранился кусок доски и буквы на нем: «Детс...» Нетрудно было представить, что за этим вот зеленым заборчиком возвышалась хорошенькая постройка детского сада. Сохранились еще и маленькие скамейки, которые обстругал и выскоблил стеклышком заботливый

деревенский столяр. Алексей оттолкнул калитку, подполз к скамеечке и хотел сесть. Но тело его уже привыкло к горизонтальному положению. Когда он сел, заломило позвоночник. И, чтобы насладиться отдыхом, он лег на снегу, полусвернувшись, как это делает усталый зверь.

В сердце его накипала тоска.

У скамейки снег оттаял. Земля чернела, и над ней, заметно для глаза колеблясь и переливаясь, поднималась теплая влага. Алексей взял в горсть теплую, оттаявшую землю. Она маслянисто прожималась между пальцами, пахла навозом и сыростью, пахла коровником и жильем.

Вот жили люди... Отвоевали когда-то в стародавние времена у Черного леса этот клочок скудной серой земли. Раздирали ее сохой, царапали деревянной бороной, холили, удобряли. Жили трудно, в вечной борьбе с лесом, со зверем, с думами о том, как дотянуть до нового урожая. В советское время организовали колхоз, появилась мечта о лучшей жизни, появились машины, завелся достаток. Деревенские плотники построили детский сад. И, наблюдая через вот этот зеленый заборчик, как возится здесь румяная детвора, мужики по вечерам, может, думали уже: а не собраться ли с силами, не срубить ли читальню и клуб, где можно было бы в тепле и покое, под вой метели посидеть зимний вечерок; не засветит ли здесь, в лесной глуши, электричество... И вот — ничего, пустыня, лес, вековая, ничем не нарушаемая тишина...

Чем больше Алексей раздумывал, тем острее работала его усталая мысль. Он видел Камышин, маленький пыльный городок в сухой и плоской степи у Волги. Летом и осенью городок обдували острые степные ветры. Они несли с собой тучи пыли и песка. Он колол лица, руки, он задувал в дома, просачивался в закрытые окна, слепил глаза, хрустел на зубах. Эти тучи песка, приносимые из степи, называли «камышинский дождик», и многие поколения камышинцев жили мечтой остановить пески, вволю подышать чистым воздухом. Но только в социалистическом государстве сбылась их мечта; люди договорились и вместе начали борьбу с ветрами и песком. По субботам весь город выходил на улицу с лопатами, топорами, ломами. На пустой площади появился парк, вдоль маленьких улиц выстроились аллеи тоненьких топольков. Их бережно поливали и подстригали, как будто это были не городские деревья, а цветы на собственном подоконнике. И Алексей помнил, как весь город, от мала до велика, ликовал по вес-

нам, когда голые тонкие прутики давали молодые побеги и одевались в зелень... И вдруг он живо представил себе немцев на улицах родного Камышина. Они жгут костры из этих деревьев, с такой любовью выращенных камышинцами. Окутан дымом родной городок, и на месте, где был домик, в котором вырос Алексей, где жила его мать, торчит вот такая закоптелая и уродливая труба.

В сердце его накипала тягучая и жуткая тоска.

Не пускать, не пускать их дальше! Драться, драться с ними, пока есть силы, как тот русский солдат, что лежал на лесной поляне на грудах вражеских тел.

Солнце коснулось уже сизых зубцов леса.

Алексей полз там, где когда-то была деревенская улица. Тяжелым трупным запахом несло от пожарищ. Деревня казалась более безлюдной, чем глухая, безлюдная чаща. Вдруг какой-то посторонний шум заставил его насторожиться. У крайнего пепелища он увидел собаку. Это была дворняга, длинношерстая, вислоухая, обычный этакий Бобик или Жучка. Тихо урча, она трепала кусок вялого мяса, зажав его в лапах. При виде Алексея этот пес, которому полагалось быть добродушнейшим существом, предметом постоянной воркотни хозяек и любимцем мальчишек, вдруг зарычал и оскалил зубы. В глазах его загорелся такой свирепый огонь, что Алексей почувствовал, как шевельнулись у него волосы. Он сбросил с руки обувку и полез в карман за пистолетом. Несколько мгновений они — человек и этот пес, ставший уже зверем,— упорно вглядывались друг в друга. Потом у пса шевельнулись, должно быть, воспоминания, он опустил морду, виновато замахал хвостом, забрал свою добычу и, поджав зад, убрался за черный холмик пожарища.

Нет, прочь, скорее прочь отсюда! Используя последние минуты светлого времени, Алексей, не разбирая дороги, прямо по целине, пополз в лес, почти инстинктивно стремясь туда, где теперь уже совсем ясно были различимы звуки канонады. Она, как магнит, с нарастающей по мере приближения силой тянула его к себе.

12

Так полз он еще день, два или три... Счет времени он потерял, все слилось в одну сплошную цепь автоматических усилий. Порой не то дрема, не то забытье овладевали

им. Он засыпал на ходу, но сила, тянувшая его на восток, была так велика, что и в состоянии забытья он продолжал медленно ползти, пока не натыкался на дерево или куст или не оступалась рука и он падал лицом в талый снег. Вся его воля, все неясные его мысли, как в фокусе, были сосредоточены в одной маленькой точке: ползти, двигаться, двигаться вперед во что бы то ни стало.

На пути своем он жадно оглядывал каждый куст, но больше ежей не попадалось. Питался подснежными ягодами, сосал мох. Однажды встретилась ему большая муравьиная куча. Она возвышалась в лесу, как ровный, очесанный и омытый дождями стожок сена. Муравьи еще не проснулись, и обиталище их казалось мертвым. Но Алексей сунул руку в этот рыхлый снег, и, когда вынул ее, она была усеяна муравьиными тельцами, крепко впившимися ему в кожу. И он стал есть этих муравьев, с наслаждением ощущая в сухом, потрескавшемся рту пряный и терпкий вкус муравьиной кислоты. Он снова и снова совал руку в муравьиную кучку, пока весь муравейник не ожил, разбуженный неожиданным вторжением.

Маленькие насекомые яростно защищались. Они искусали Алексею руку, губы, язык, они забрались под комбинезон и жалили тело, но эти ожоги были ему даже приятны. Острый вкус муравьиной кислоты подбодрил его. Захотелось пить. Между кочками Алексей заметил небольшую лужицу бурой лесной воды и наклонился над ней. Наклонился — и тотчас же отпрянул: из темного водного зеркала на фоне голубого неба смотрело на него страшное, незнакомое лицо. Оно напоминало обтянутый темной кожей череп, обросший неопрятной, уже курчавившейся щетиной. Из темных впадин смотрели большие, круглые, дико блестящие глаза, свалявшиеся волосы сосульками падали на лоб.

«Неужели это я?» — подумал Алексей и, страшась снова наклониться над водой, не стал пить, поел снега и пополз прочь на восток, притягиваемый все тем же могучим магнитом.

Ночевать он забрался в большую бомбовую воронку, окруженную желтым бруствером выброшенного взрывом песка. На дне ее было тихо и уютно. Ветер не залетал сюда и только шуршал сдуваемыми вниз песчинками. Звезды же снизу казались необычайно яркими, и мнилось — висят они невысоко над головой, а мохнатая ветка сосны, покачивавшаяся под ними, казалась рукой, которая тряп-

кой все время вытирала и чистила эти сверкающие огоньки. Под утро похолодало. Сырая изморозь повисла над лесом, ветер переменил направление и потянул с севера, превращая эту изморозь в лед. Когда тусклый запоздалый рассвет пробился наконец сквозь ветви деревьев, густой туман осел и понемногу растаял, все кругом оказалось покрытым скользкой ледяной коркой, а ветка сосны над воронкой казалась уже не рукой, держащей тряпку, а причудливой хрустальной люстрой с мелкими подвесками. Подвески эти тихо и холодно звенели, когда ветер встряхивал ее.

За эту ночь Алексей как-то особенно ослаб. Он даже не стал жевать сосновую кору, запас которой нес за пазухой. С трудом оторвался он от земли, точно тело приклеилось к ней за ночь. Не стряхивая с комбинезона, с бороды и усов намерзшего на них ледка, он стал карабкаться на стенку воронки. Но руки бессильно скользили по обледеневшему за ночь песку. Снова и снова пытался он вылезть, снова и снова соскальзывал на дно воронки. Раз от разу попытки его становились слабее. Наконец он с ужасом убедился, что без посторонней помощи ему не выбраться. Эта мысль еще раз заставила его карабкаться по скользкой стенке. Он сделал только несколько движений и соскользнул, обессиленный и немощный.

«Все! Теперь все равно!»

Он свернулся на дне воронки, ощущая во всем теле тот страшный покой, который размагничивает волю и парализует ее. Вялым движением он достал из кармана гимнастерки истертые письма, но читать их не было силы. Вынул обернутую в целлофан фотографию девушки в пестром платье, сидевшей в траве цветущего луга. Серьезно и грустно улыбаясь, спросил он ее:

— Неужели прощай? — и вдруг вздрогнул и застыл с фотографией в руке: где-то высоко над лесом в холодном, промозглом воздухе померещился ему знакомый звук.

Он сразу очнулся от тягучей дремы. Ничего особенного не было в этом звуке. Он был так слаб, что даже чуткое ухо зверя не отличило бы его от ровного шороха обледенелых древесных вершин. Но Алексей слышал его все отчетливей. По особым, свистящим нотам он безошибочно угадал, что летит «ишачок», на каком летал и он.

Рокот мотора приближался, нарастал, переходя то в свист, то в стон, когда самолет поворачивался в воздухе,

и вот наконец высоко в сером небе появился крохотный, медленно движущийся крестик; то таявший, то снова выплывавший из серой дымки облаков. Вот видны уже красные звезды на его крыльях, вот над самой головой Алексея, сверкнув на солнце плоскостями, он сделал мертвую петлю и, повернув, стал уходить назад. Скоро рокот его стих, утонув в шуме обледенелого, нежно гремевшего под ветром ветками леса, но Алексею долго еще казалось, что он слышит этот свистящий, тонкий звук.

Он представил себя в кабине. За одно мгновенье, в которое человек не успел бы даже выкурить папиросу, он был бы на родном лесном аэродроме. Кто же летел? Может быть, Андрей Дегтяренко вышел на утреннюю разведку? Он любит во время разведки забираться ввысь в тайной надежде встретить противника... Дегтяренко... Машина... Ребята...

Ощутив в себе новый прилив энергии, Алексей оглядел обледеневшие стенки воронки. Ну да! Так не вылезешь. Но не лежать же на боку и ждать смерти! Он вытащил из ножен кинжал и вялыми, слабыми ударами принялся рубить ледяную корку, выгребать ногтями смерзшийся песок, делать ступеньки. Он обломал ногти, окровавил пальцы, но орудовал ножом и ногтями все упрямее. Потом, опираясь коленями и руками на эти ступеньки-ямки, он стал медленно подниматься. Ему удалось добраться до бруствера. Еще усилие — лечь на него, перевалиться. Но ноги соскользнули, и, больно ударившись лицом об лед, он покатился вниз. Он крепко ушибся. Но рокот мотора еще стоял у него в ушах. Он снова стал карабкаться и снова соскользнул. Тогда, критически осмотрев свою работу, он принялся углублять ступеньки, сделал края верхних более острыми и опять полез, осторожно напрягая силы все слабеющего тела.

С большим трудом он перевалился через песчаный бруствер, бессильно скатился с него. И пополз туда, куда ушел самолет и откуда, разгоняя туман-снегоед и сверкая в хрустале гололедицы, поднималось над лесом солнце.

13

Но ползти стало совсем трудно. Руки дрожали и, не выдерживая тяжести тела, подламывались. Несколько раз он ткнулся лицом в талый снег. Казалось, земля во много

раз увеличивала свою силу притяжения. Невозможно было преодолевать ее. Неудержимо хотелось лечь и отдохнуть хоть немного, хоть полчасика. Но сегодня Алексея неистово тянуло вперед. И, превозмогая вяжущую усталость, он все полз и полз, падал, поднимался и снова полз, не ощущая ни боли, ни голода, ничего не видя и не слыша, кроме звуков канонады и перестрелки.

Когда руки перестали держать, он попробовал ползти на локтях. Это было очень неудобно. Тогда он лег и, отталкиваясь от снега локтями, попробовал катиться. Это удалось. Перекатываться с боку на бок было легче, не требовалось больших усилий. Только очень кружилась голова, поминутно уплывало сознание и часто приходилось останавливаться и садиться на снег, выжидая, пока прекратится круговое движение земли, леса, неба.

Лес стал редким, местами просвечивал плешинами вырубок. На снегу виднелись полосы зимних дорог. Алексей уже не думал о том, удастся ли ему добраться до своих, но он знал, что будет ползти, катиться, пока тело его в состоянии двигаться. Когда от этой страшной работы всех его ослабевших мышц он на мгновение терял сознание, руки и все его тело продолжали делать те же сложные движения, и он катился по снегу — на звук канонады, на восток.

Алексей не помнил, как провел он эту ночь и много ли еще прополз утром. Все тонуло во мраке мучительного полузабытья. Смутно вспоминались только преграды, стоявшие на пути его движения: золотой ствол срубленной сосны, истекающий янтарной смолой, штабель бревен, опилки и стружки, валявшиеся повсюду, какой-то пень с отчетливыми кольцами годичных слоев на срезе...

Посторонний звук вывел его из полузабытья, вернул ему сознание, заставил сесть и оглядеться. Он увидел себя посреди большой лесной вырубки, залитой солнечными лучами, заваленной срубленными и неразработанными деревьями, бревнами, уставленной штабелями дров. Полуденное солнце стояло над головой, густо пахло смолой, разогретой хвоей, снежной сыростью, и где-то высоко над не оттаявшей еще землей звенел, заливался, захлебываясь в собственной своей немудреной песенке, жаворонок.

Полный ощущения неопределенной опасности, Алексей оглядел лесосеку. Вырубка была свежая, незапущенная, хвоя на неразделанных деревьях не успела еще повять и пожелтеть, медовая смола капала со срезов, пахло свежими щепками и сырой корой, валявшимися повсюду. Зна-

чит, лесосека жила. Может, немцы заготовляют здесь лес для блиндажей и укреплений. Тогда нужно поскорее убираться. Лесорубы могут вот-вот прийти. Но тело точно окаменело, скованное чугунной болью, и нет сил двигаться.

Продолжать ползти? Но инстинкт, выработавшийся в нем за дни лесной жизни, настораживал его. Он не видел, нет, он по-звериному чувствовал, что кто-то внимательно и неотрывно следит за ним. Кто? Лес тих, звенит над вырубкой жаворонок, глухо долбят дятлы, сердито перепискиваются синички, стремительно перепархивая в поникших ветвях рубленых сосен. И все же всем существом своим Алексей чувствовал, что за ним следят.

Треснула ветка. Он оглянулся и увидел в сизых клубах молодого частого соснячка, согласно кивавшего ветру курчавыми вершинами, несколько ветвей, которые жили какой-то особой жизнью и вздрагивали не в такт общему движению. И почудилось Алексею, что оттуда доносился тихий, взволнованный шепот — человеческий шепот. Снова, как тогда, при встрече с собакой, почувствовал Алексей, как шевельнулись волосы.

Он выхватил из-за пазухи заржавевший, запылившийся пистолет и принужден был взводить курок усилиями обеих рук. Когда курок щелкнул, в сосенках точно кто-то отпрянул. Несколько деревцев передернули вершинами, как будто за них задели, и вновь все стихло.

«Что это: зверь, человек?» — подумал Алексей, и ему показалось — в кустах кто-то тоже вопросительно сказал: «Человек?» Показалось или действительно там, в кустах, кто-то говорит по-русски? Ну да, именно по-русски. И оттого, что говорили по-русски, он почувствовал вдруг такую сумасшедшую радость, что, совершенно не задумываясь над тем, кто там — друг или враг, издал торжествующий вопль, вскочил на ноги, всем телом рванулся вперед на голос и тут же со стоном упал как подрубленный, уронив в снег пистолет...

14

Свалившись после неудачной попытки встать, Алексей на мгновение потерял сознание, но то же ощущение близкой опасности привело его в себя. Несомненно, в сосняке скрывались люди, они наблюдали за ним и о чем-то перешептывались.

Он приподнялся на руках, поднял со снега пистолет и, незаметно держа его у земли, стал наблюдать. Опасность вернула его из полузабытья. Сознание работало четко. Кто они были? Может быть, лесорубы, которых немцы гоняют сюда на заготовку дров? Может, русские, такие же, как и он, окруженцы, пробирающиеся из немецких тылов через линию фронта к своим? Или кто-нибудь из местных крестьян? Ведь слышал же он, как кто-то ясно вскрикнул: «Человек?»

Пистолет дрожал в его руке, одеревеневшей от ползанья. Но Алексей приготовился бороться и хорошо израсходовать оставшиеся три патрона...

В это время из кустов раздался взволнованный детский голос:

— Эй, ты кто? Дойч? Ферштеешь?

Эти странные слова насторожили Алексея, но кричал, несомненно, русский и, несомненно, ребенок.

— Ты что тут делаешь? — спросил другой детский голос.

— А вы кто? — ответил Алексей и смолк, пораженный тем, как немощен и тих был его голос.

За кустами его вопрос произвел переполох. Там долго шептались, жестикулируя так, что метались веточки сосняка:

— Ты нам шарики не крути, не обманешь! Я немца за пять верст по духу узнаю. Ты есть дойч?

— А вы кто?

— А тебе почто знать? Не ферштею...

— Я русский.

— Врешь... Лопни глаза, врешь: фриц!

— Я русский, русский, я летчик, меня немцы сбили.

Теперь Алексей не осторожничал. Он убедился, что за кустами — свои, русские, советские. Они не верят ему — что ж, война учит осторожности. Впервые за весь свой путь он почувствовал, что совершенно ослаб, что не может уже больше шевельнуть ни ногой, ни рукой. Слезы текли по черным впадинам его щек.

— Гляди, плачет! — раздалось за кустами.— Эй, ты, чего плачешь?

— Да русский, русский я, свой, летчик...

— А с какого аэродрома?

— Да вы-то кто?

— А тебе что? Ты отвечай!

— С Мончаловского... Помогите же мне, выходите! Какого черта...

В кустах зашептались оживленнее. Теперь Алексей отчетливо слышал фразы:

— Ишь, говорит — с Мончаловского... Может, верно... И плачет... Эй ты, летчик, брось наган-то! — крикнули ему.— Брось, говорю, а то не выйдем, убежим!

Алексей откинул в сторону пистолет. Кусты раздвинулись, и два мальчугана, настороженные, как любопытные синички, готовые каждую минуту сорваться и дать стрекача, осторожно, держась за руки, стали подходить к нему, причем старший, худенький, голубоглазый, с русыми пеньковыми волосами, держал в руке наготове топор, решив, должно быть, применить его при случае. За ним, прячась за его спину и выглядывая из-за нее полными неукротимого любопытства глазами, шел меньший, рыженький, с пятнистым от веснушек лицом, шел и шептал:

— Плачет. И верно, плачет. А тощой-то, тощой-то!

Старший, подойдя к Алексею, все еще держа наготове топор, огромным отцовским валенком отбросил подальше лежащий на снегу пистолет:

— Говоришь, летчик? А документ есть? Покажь.

— Кто тут? Наши? Немцы? — шепотом, невольно улыбаясь, спросил Алексей.

— А я знаю? Мне не докладывают. Лес тут,— дипломатично ответил старший.

Пришлось лезть в гимнастерку за удостоверением. Красная командирская книжка со звездой произвела на ребят волшебное впечатление. Точно детство, утерянное в дни оккупации, вернулось к ним разом оттого, что перед ними оказался свой, родной, Красной Армии летчик.

— Свои, свои, третий день свои!

— Дяденька, ты почему такой тощой-то?

— ...Их тут наши так тряханули, так чесанули, так бабахнули! Бой тут был, страсть! Набито их ужасть, ну ужасть сколько!

— А удирали кто на чем... Один привязал к оглоблям корыто и в корыте едет. А то двое раненые идут, за лошадиный хвост держатся, а третий на лошади верхом, как фон барон... Где же тебя, дяденька, сбили?

Пострекотав, ребята начали действовать. До жилья было от вырубки, по их словам, километров пять. Алексей, совсем ослабевший, не мог даже повернуться, чтобы удобнее лечь на спину. Санки, с которыми ребята пришли за

ветками на «немецкую вырубку», были слишком малы, да и не под силу было мальчикам тащить без дороги, по снежной целине, человека. Старший, которого звали Серёнькой, приказал брату Федьке бежать во весь дух в деревню и звать народ, а сам остался возле Алексея караулить его, как он пояснил, от немцев, втайне же не доверяя ему и думая: «А ляд его знает, фриц хитер — и помирающим прикинется и документик достанет...» А впрочем, понемногу опасения эти рассеялись, мальчуган разболтался.

Алексей дремал с полузакрытыми глазами на мягкой, пушистой хвое. Он слушал и не слушал его рассказ. Сквозь спокойную дрему, сразу вдруг сковавшую его тело, долетали до сознания только отдельные несвязные слова. Не вникая в их смысл, Алексей сквозь сон наслаждался звуками родной речи. Только потом узнал он историю злоключений жителей деревеньки Плавни.

Немцы пришли в эти лесные и озерные края еще в октябре, когда желтый лист пламенел на березах, а осины точно охвачены были тревожным красным огнем. Боев в районе Плавней не произошло. Километрах в тридцати западнее, уничтожив красноармейскую часть, которая полегла на укреплениях наспех построенной оборонительной линии, немецкие колонны, возглавляемые мощным танковым авангардом, миновали Плавни, спрятанные в стороне от дорог, у лесного озера, и прокатились на восток. Они стремились к большому железнодорожному узлу Бологое, чтобы, захватив его, разъединить Западный и Северо-Западный фронты. Здесь, на далеких подступах к этому городу, все летние месяцы и всю осень жители Калининской области — горожане, крестьяне, женщины, старики и подростки, люди всех возрастов и всех профессий,— день и ночь, в дождь и в зной, страдая от комаров, от болотной сырости, от дурной воды, копали и строили оборонительные рубежи. Укрепления протянулись с юга на север на сотни километров через леса, болота, по берегам озер, речушек и ручьев.

Немало горя хватили строители, но труды их не пропали даром. Немцы с ходу прорвали несколько оборонительных поясов, но на одном из последних рубежей их задержали. Бои стали позиционными. К городу Бологое немцам прорваться так и не удалось, и они вынуждены были перенести центр удара южнее, а тут перешли к обороне.

Крестьяне из деревни Плавни, подкреплявшие обычно скудный урожай своих супесчаных полей удачным рыба-

чеством в лесных озерах, совсем уже было обрадовались, что война миновала их. Переименовали, как этого требовали немцы, председателя колхоза в старосту и продолжали жить по-прежнему артелью, надеясь, что не вечно же оккупантам топтать советскую землю и что им, плавненским, в их глуши, может, и удастся пересидеть напасть. Но вслед за немцами в мундирах цвета болотной ряски приехали на машинах немцы в черном, с черепом и костями на пилотках. Жителям Плавней было предписано выставить через двадцать четыре часа пятнадцать добровольцев, желающих ехать на постоянные работы в Германию. В противном случае деревне сулили большие беды. Добровольцам явиться к крайней избе, где помещались артельный рыбный склад и правление, иметь с собой смену белья, ложку, вилку, нож и продуктов на десять дней. К положенному сроку никто не пришел. Впрочем, немцы в черном, уже, должно быть, наученные опытом, не очень на это и надеялись. Они схватили и расстреляли для острастки перед зданием правления председателя колхоза, то бишь старосту, пожилую воспитательницу из детского сада Веронику Григорьевну, двух колхозных бригадиров да человек десять крестьян, подвернувшихся им под руку. Тела не велели хоронить и заявили, что так будет со всей деревней, если через сутки добровольцы не явятся на место, названное в приказе.

Добровольцы опять не явились. А утром, когда немцы из зондеркоманды СС пошли по деревне, все избы оказались пустыми. В них не было ни души — ни старых, ни малых. Ночью, бросив свои дома, землю, все свое годами нажитое добро, почти всю скотину, люди под покровом густых в этих краях ночных туманов бесследно исчезли. Деревня вся как есть, до последнего человека, снялась и ушла в лесную глушь — за восемнадцать верст, на старую вырубку. Накопав землянок, мужчины ушли партизанить, а бабы с ребятишками остались бедовать в лесу до весны. Мятежную деревню зондеркоманда сожгла дотла, как и большинство деревень и сел в этом районе, названном немцами мертвой зоной.

— ...Батя у меня председателем колхоза был, старостой они его называли,— рассказывал Серёнька, и слова его долетали до сознания Алексея точно из-за стены,— так они его убили и братеньку старшего убили, инвалид он был, без руки, руку ему на гумне отрезало. Шестнадцать человек... Я сам видел, нас всех согнали смотреть. Батя все

кричал, все матерился... «Пропишут вам за нас, сукины сыны! — кричал.— Кровавой слезой,— кричал,— за нас заплачете!..»

Странное ощущение испытал летчик, слушая маленького белокурого мужичка с большими грустными, усталыми глазами. Алексей точно плавал в вязком тумане. Необоримая усталость крепко опутывала все его измотанное нечеловеческим напряжением тело. Он не мог шевельнуть даже пальцем и просто не представлял себе, как это он всего часа два тому назад еще передвигался.

— Так в лесу и живете? — еле слышно спросил мальчика Алексей, с трудом освобождаясь от пут дремы.

— А как же, так и живем. Трое нас теперь: мы с Федькой да матка. Сестренка была Нюшка — зимой померла, опухла и померла, и еще маленький помер, так что, выходит, нас трое... А что: немцы не воротятся, а? Дедя наш, маткин, значит, отец, он у нас сейчас за председателя, говорит: не воротятся, мертвого, говорят, с погоста не таскают. А матка все боится, все бежать хочет: а ну, говорит, опять вернутся... А вон и дедя с Федькой, глянь!

На опушке леса стоял рыженький Федька и показывал на Алексея пальцем высокому сутулому старику в рваном, из крашенной луком домотканины армяке, подвязанном веревкой, и высоковерхой офицерской немецкой фуражке.

Старик, дедя Михайла, как называли его ребятишки, был высок, сутул, худ. У него было доброе лицо Николы-угодника немудренного сельского письма, с чистыми, светлыми, детскими глазами и мягкой негустой бородкой, струистой и совершенно серебряной. Закутывая Алексея в старую баранью шубу, всю состоявшую из пестрых заплаток, без труда поднимая и перевертывая его легкое тело, он все приговаривал с наивным удивлением:

— Ах ты, грех-то какой, вовсе истощился человек! До чего дошел... Ах ты, боже ты мой, ну сущий шкилет! И что только война с людьми делает. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!

Осторожно, как новорожденного ребенка, опустил он Алексея на салазки, прикрутил к ним веревочной вожжой, подумал, стащил с себя армяк, свернул и подмостил ему под голову. Потом вышел вперед, впрягся в маленький хомут, сделанный из мешковины, дал по веревке мальцам, сказал: «Ну, с богом!» — и втроем они потянули салазки по талому снегу, который цеплялся за полозья, скрипел, как картофельная мука, и оседал под ногами.

15

Следующие два-три дня были окутаны для Алексея густым и жарким туманом, в котором нечетко и призрачно видел он происходящее. Действительность смешивалась с бредовыми снами, и только уже много времени спустя удалось ему восстановить истинные события во всей их последовательности.

Беглая деревня жила в вековом бору. Землянки, одетые еще не сошедшим снегом, прикрытые сверху хвоей, с первого взгляда трудно было даже заметить. Дым из них валил точно из земли. В день появления здесь Алексея было тихо и сыро, дым льнул ко мху, цеплялся за деревья, и Алексею показалось, что местность эта объята затухающим лесным пожаром.

Все население — преимущественно бабы и дети да несколько стариков,— узнав, что Михайла везет из лесу неведомо откуда взявшегося советского летчика, по рассказам Федьки похожего на «сущий шкилет», высыпало навстречу. Когда «тройка» с салазками замелькала меж древесных стволов, бабы обступили ее и, отгоняя шлепками и подзатыльниками сновавших под ногами ребятишек, так стеной и пошли, окружив сани, охая, причитая и плача. Все они были оборванны, и все казались одинаково пожилыми. Копоть землянок, топившихся по-черному, не сходила с их лиц. Только по сверканью глаз, по блеску зубов, выделявшихся своей белизной на этих коричневых лицах, можно было отличить молодуху от бабки.

— Бабы, бабы, ах, бабы! Ну что собрались, ну что? Театра это вам? Спектакля? — серчал Михайла, сноровисто нажимая на свой хомутик.— Да не снуйте вы под ногами, бога ради, овцы, прости господи, полоумные!

А из толпы до Алексея доносилось:

— Ой, какой! Верно, шкилет! Не шевелится, жив ли?

— Без памяти он... Чего же это с ним? Ой, бабоньки, уж тощ, уж тощ!

Потом волна удивления схлынула. Неизвестная, но, очевидно, страшная судьба этого летчика поразила баб, и, пока сани тащились по опушке, медленно приближаясь к подземной деревне, затеялся спор: у кого жить Алексею?

— У меня землянка суха. Песок-песочек и воздух вольный... Печура у меня,— доказывала маленькая круглолицая женщина с бойко сверкавшими, как у молодого негра, белками глаз.

— «Печура»! А живет-то вас сколько? От одного духа преставишься!.. Михайла, давай ко мне, у меня три сына в красноармейцах, и мучки малость осталось, я ему лепешки печь стану!

— Нет, нет, ко мне, у меня просторно, вдвоем живем, места хватит; лепешки тащи к нам: все равно ведь ему, где есть. Уж мы с Ксюхой его обиходим, у меня лещ мороженый есть и грибков белых нитка... Ушицу ему, суп с грибами.

— Где ж ему ушицу, он одной ногой в гробу!.. Ко мне его, дядя Миша, у нас корова, молочко!

Но Михайла подтащил сани к своей землянке, находившейся посередине подземной деревни.

...Алексей помнит: лежит он в маленькой темной земляной норе; слегка чадя, потрескивая и роняя искры, горит воткнутая в стену лучина. В свете ее видны с нар стол, сколоченный из ящика от немецких мин и утвержденный на вкопанном в землю столбе, и чурки около него вместо табуреток, и тонкая, по-старушечьи одетая женщина в черном платке, наклонившаяся к столу,— младшая сноха деда Михайлы Варвара, и голова самого старика, повитая седыми негустыми кудрями.

Алексей лежит на полосатом тюфяке, набитом соломой. Накрыт он все той же бараньей шубой, состоящей из разноцветных заплат. От шубы приятно пахнет чем-то кислым, таким обиходным и жилым. И, хотя все тело ноет, как побитое камнями, а ноги горят, точно к ступням приложены раскаленные кирпичи, приятно лежать вот так неподвижно, зная, что никто тебя не тронет, что не надо ни двигаться, ни думать, ни стеречься.

Дым от камелька, сложенного на земле в углу, стелется сизыми живыми, переливающимися слоями, и кажется Алексею, что не только этот дым, но и стол, и серебряная голова деда Михайлы, всегда чем-то занятого, что-то мастерящего, и тонкая фигура Вари — все это расплывается, колеблется, вытягивается. Алексей закрывает глаза. Открывает он их, разбуженный током холодного воздуха, пахнувшего в дверь, обитую дерюжкой с черным немецким орлом. У стола какая-то женщина. Она положила на стол мешочек и еще держит на нем руки, точно колеблясь, не взять ли его обратно, вздыхает и говорит Варваре:

— Манка это... С мирного времени для Костюньки берегли. Не надо ему теперь ничего, Костюньке-то. Возьми-

те, кашки вот постояльцу своему сварите. Она для ребятишек, кашка-то, ему как раз.

Повернувшись, она тихо уходит, овеяв всех своей печалью. Кто-то приносит мороженого леща, кто-то лепешки, испеченные на камнях камелька, распространяющие по всей землянке кислый теплый хлебный парок.

Приходит Серёнька с Федькой. С крестьянской степенностью Серёнька снимает в дверях с головы пилотку, говорит: «Здравствуйте вам»,— кладет на стол два кусочка пиленого сахара с прилипшими к ним крошками махры и отрубей.

— Мамка прислала. Он полезный, сахар-то, ешьте,— говорит он и деловито обращается к деду: — Опять на пепелище ходили. Чугунок откопали. Принесли, сгодится.

А Федька, выглядывая из-за брата, жадно смотрит на белеющие на столе кусочки сахара и с шумом втягивает слюну.

Только уже гораздо позже, обдумывая все это, Алексей сумел оценить приношения, которые делались ему в селении, где в эту зиму около трети жителей умерло от голода, где не было семьи, не похоронившей одного, а то и двух покойников.

— Эх, бабы, бабы, цены вам, бабы, нет! А? Слышь, Алеха, говорю — русской бабе, слышь, цены нет. Ее стоит за сердце тронуть, она последнее отдаст, головушку положит, баба-то наша. А? Не так? — приговаривал дед Михайла, принимая все эти дары для Алексея и снова берясь за какую-нибудь свою вечную работенку: за починку сбруи, пошивку хомутов или подшивку протоптавшихся валенок.— И в работе, брат Алеха, она, эта самая баба, нам не сдает, а то и тю-тю! — гляди, и обставит мужика-то на работе! Только язык этот бабий, ох, язык! Заморочили мне, Алеха, эти самые чертовы бабы голову, ну просто навовсе заморочили. Как Анисья-то моя померла, я, грешный человек, и подумал: «Слава те, господи, поживу в тишине-покое!» Вот меня бог и наказал. Мужики-то наши, кои остались в армию непозабратые, все при немцах в партизаны подались, и остался я за великие свои грехи бабьим командиром, как козел в овечьем стаде... Ох-хо-хо!

Много такого, что глубоко поразило его, увидел Алексей в этом лесном поселении. Немцы лишили жителей Плавней домов, добра, инвентаря, скота, обиходной рухляди, одежды — всего, что нажито было трудом поколений; жили люди теперь в лесу, терпели великие бедствия, страх

от ежеминутной угрозы, что немцы их откроют, голодали, мерли,— но колхоз, который передовикам в тридцатом году после полугодовой брани и споров еле-еле удалось организовать, не развалился. Наоборот, великие бедствия войны еще больше сплотили людей. Даже землянки рыли коллективно и расселились в них не по-старому, где кому пришлось, а по бригадам. Председательские обязанности, взамен убитого зятя, взял на себя дед Михайла. Он свято соблюдал в лесу колхозные обычаи, и вот теперь руководимая им пещерная деревня, загнанная в чащу бора, по бригадам и звеньям готовилась к весне.

Страдающие от голода крестьянки снесли и ссыпали в общую землянку до последнего зернышка всё у кого что сохранилось после бегства. За телятами от коров, заблаговременно уведенных от немцев в лес, был установлен строжайший уход. Люди голодали, но не резали общественного скота. Рискуя поплатиться жизнью, мальчишки ходили на старые пепелища и в углях пожарища выкапывали посиневшие от жара плуги. К наиболее сохранившимся из них приделали деревянные ручки. Из мешковины мастерили ярма, чтобы с весны начать пахать на коровах. Бабьи бригады ловили по нарядам в озерах рыбу, и ею всю зиму питалась деревня.

Хоть дед Михайла и ворчал на «своих баб» и зажимал уши, когда они затевали у него в землянке злые и длинные ссоры из-за каких-нибудь мало понятных Алексею хозяйственных дел, хотя и орал иной раз на них выведенный из себя дед своим фальцетом, он умел их ценить и, пользуясь покладистостью своего молчаливого слушателя, не раз принимался до небес превозносить «женское отродье»:

— Ведь ты смотри, Алеха, друг ты мой любезный, что получилось. Баба — она от веку веков за кусок обеими руками держится. А? Не так? А почему? Скупа? Нет, потому что ей дорог кусок-то, детей-то ведь она кормит, семью-то, что там ни говори, она, баба, ведет. Теперь посмотри, какое дело. Живем мы, сам видишь, как: крохи считаем. Ага, голод! А тут, значит, было это в январе, нагрянули к нам партизаны, и не наши деревенские, нет — наши-то где-то, слышь, под Оленином воюют,— а чужие, с чугунки какие-то. Ладно. Нагрянули. «С голоду помираем». И, что же думаешь, на следующий день бабешки им полные сумки напихали. А у самих-то детишки вон пухлые, на ноги не поднимаются. А? Не так?.. То-то вот и оно! Кабы я был

какой командир, я бы, как немцев мы прогоним, собрал бы лучшие свои войска и вывел бы наперед бабу и велел бы всем моим войскам, значит, перед ней, перед бабой русской, маршировать и честь ей отдавать, бабе-то!..

Алексей сладко дремал под старческую болтовню. Иногда, слушая старика, хотелось ему достать из кармана гимнастерки письма, фотографию девушки и показать их ему, да руки не поднимались, так был слаб. Но, когда дед Михайла принимался нахваливать своих баб, казалось Алексею, что чувствует он тепло этих писем через сукно гимнастерки.

Тут же, у стола, тоже вечно занятая каким-нибудь делом, ловкая и молчаливая, трудилась по вечерам сноха деда Михайлы.

Сначала Алексей принял ее за старуху, жену деда, но потом разглядел, что ей не больше двадцати — двадцати двух лет, что она легкая, стройная, миловидная и что, глядя на Алексея как-то испуганно и тревожно, она порывисто вздыхает, точно проглатывает какой-то застрявший в горле комок. Иногда по ночам, когда лучина гасла и в дымном мраке землянки начинал задумчиво попиливать сверчок, случайно отысканный дедом Михайлой на старом пепелище и принесенный сюда в рукавице «для жилого духа» вместе с обгорелой посудой, казалось Алексею, что слышит он, как кто-то тихонько плачет на нарах, хоронясь и закусив зубами подушку.

16

На третий день гостеванья Алексея у деда Михайлы старик утром решительно сказал ему:

— Обовшивел ты, Алеха,— беда: что жук навозный. А чесаться-то тебе трудно. Вот что: баньку я тебе сооружу. Что?.. Баньку. Помою тебя, косточки попарю. Оно, с трудов-то твоих, больно хорошо, банька-то. Что? Не так?

И он принялся сооружать баню. Очаг в углу натопил так, что стали с шумом лопаться камни. Где-то на улице тоже горел костер, и на нем, как сказали Алексею, калился большой валун. Варя наносила воды в старую кадку. На полу постлали золотой соломы. Потом дед Михайла разделся по пояс, остался в одних подштанниках, быстро развел в деревянной бадье щелок, надрал из рогожи пахнущего летом мочала. Когда же в землянке стало так

жарко, что с потолка начали падать тяжелые холодные капли, старик выскочил на улицу, на железном листе притащил оттуда красный от жара валун и опустил его в кадку. Целая туча пара шибанула к потолку, расползлась по нему, переходя в белые курчавые клубы. Ничего не стало видно, и Алексей почувствовал, что его раздевают ловкие стариковы руки.

Варя помогала свекру. От жара скинула она свой ватник и головной платок. Тяжелые косы, существование которых под дырявым платком трудно было даже подозревать, развернулись и упали на плечи. И вся она, худая, большеглазая, легкая, неожиданно преобразилась из старухи богомолки в молоденькую девушку. Это преображение было так неожиданно, что Алексей, первоначально не обращавший на нее внимания, застыдился своей наготы.

— Держись, Алеха! Ау, друг, держись, такое наше дело, значит, с тобой теперь! Слыхал, в Финляндии вон и вовсе, говорят, мужики с бабами в одной бане полоскаются. Что, неправда? Можа, и врут. А она, Варька-то, сейчас, значит, вроде как бы медицинская сестра при раненом воине. Да. И стыдиться ее не положено. Держи его, я рубаху сниму. Ишь попрела рубаха-то, так и ползет!

И тут увидел Алексей выражение ужаса в больших и темных глазах молодой женщины. Сквозь шевелящуюся пелену пара впервые после катастрофы увидел он свое тело. На золотой яровой соломе лежал обтянутый смуглой кожей человеческий костяк с резко выдавшимися шарами коленных чашечек, с круглым и острым тазом, с совершенно провалившимся животом, резкими полукружьями ребер.

Старик возился у шайки со щелоком. Когда же он, обмакнув мочалку в серую маслянистую жидкость, занес ее над Алексеем и разглядел его тело в жарком тумане, рука с мочалкой застыла в воздухе:

— Ах ты, беда!.. Сурьезное твое дело, брат Алеха! А? Сурьезное, говорю. От немцев-то ты, брат, значит, уполз, а от нее, косой...— И вдруг накинулся на Варю, поддерживавшую Алексея сзади: — А ты что на голого человека уставилась, срамница, ну! Что губы-то кусаешь? Ух, все вы бабы, сорочье отродье! А ты, Алексей, не думай, не думай ни о чем худом. Да мы, брат, тебя ей, косой, нипочем не отдадим. Уж мы тебя, значит, выходим, поправим, уж это верно!.. Будь здоров!

Он ловко и бережно, точно маленького, мыл Алексея

щелоком, перевертывал, обдавал горячей водой, снова тер и тер с таким азартом, что руки его, скользившие по бугоркам костей, скоро заскрипели.

Варя молча помогала ему.

Но зря накричал на нее старик. Не смотрела она на это страшное, костлявое тело, бессильно свешивавшееся с ее рук. Она старалась смотреть мимо, а когда взгляд ее невольно замечал сквозь туман пара ногу или руку Алексея, в нем загорались искры ужаса. Ей начинало казаться, что это не неизвестный ей, невесть как попавший в их семью летчик, а ее Миша, что не этого неожиданного гостя, а ее мужа, с которым прожила она всего-навсего одну весну, могучего парня с крупными и яркими веснушками на светлом безбровом лице, с огромными, сильными руками, довели немцы до такого состояния и что это его, Мишино, бессильное, порой кажущееся мертвым тело держат теперь ее руки. И ей становилось страшно, у нее начинала кружиться голова, и, только кусая губы, удерживала она себя от обморока...

...А потом Алексей лежал на полосатом тощем тюфяке в длинной, вкривь и вкось заштопанной, но чистой и мягкой рубахе деда Михайлы, с ощущением свежести и бодрости во всем теле. После баньки, когда пар вытянуло из землянки через волоковое оконце, проделанное в потолке над очагом, Варя напоила его брусничным, припахивавшим дымком чаем. Он пил его с крошками тех самых двух кусочков сахара, которые принесли ему ребятишки и которые Варя мелко-мелко накрошила для него на беленькую берестичку. Потом он заснул — в первый раз крепко, без снов.

Разбудил его громкий разговор. В землянке было почти темно, лучина еле тлела. В этом дымном мраке дребезжал резкий тенорок деда Михайлы:

— Бабий ум, где у тебя соображение? Человек одиннадцать дён во рту просяного зернышка не держал, а ты вкрутую... Да эти самые крутые яйца — ему смерть!..— Вдруг голос деда стал просительным: — Ему бы не яиц сейчас, ему бы сейчас, знаешь, что, Василиса, ему бы сейчас куриного супчику похлебать! О! Вот ему что надо. Это бы его сейчас к жизни подбодрило. Вот Партизаночку бы твою, а?..

Но старушечий голос, резкий и неприятный, с испугом перебил:

— Не дам! Не дам и не дам, и не проси, черт ты ста-

рый! Ишь! И говорить об этом не смей. Чтобы я Партизаночку мою... Супчику похлебать... Супчику! Вон и так эва сколько натащили всего, чисто на свадьбу! Придумал тоже!

— Эх, Василиса, совестно тебе, Василиса, за такие твои бабьи слова! — задребезжал тенорок старика.— У самой двое на фронте, и такие у тебя бестолковые понятия! Человек, можно сказать, за нас вовсе покалечился, кровь пролил...

— Не надо мне его крови. За меня мои проливают. И не проси, сказано — не дам, и не дам!

Темный старушечий силуэт скользнул к выходу, и в распахнувшуюся дверь ворвалась такая яркая полоса весеннего дня, что Алексей невольно зажмурился и застонал, ослепленный. Старик кинулся к нему:

— Ай ты не спал, Алеха? А? Ай слышал разговор? Слышал? Только ты ее, Алеха, не суди; не суди, друг, слова-то ее. Слова, они что шелуха, а ядрышко в ней хорошее. Думаешь, курицы она для тебя пожалела? И-и, нет, Алеша! Всю семью ихнюю — а семья была большущая, душ десять,— немец перевел. Полковником у нее старший-то. Вот дознались, что полковникова семья, всех их, окромя Василисы, в одночасье в ров. И хозяйство все порушили. И-их, большая это беда — в ее-то годы без роду-племени остаться! От хозяйства от всего оказалась у ней одна курица, значит. Хитрая курица, Алеша! Еще в первую неделю немцы всех курей-уток переловили, потому для немца птица — первое лакомство. Все — «курка, матка, курка!» Ну, а эта спаслась. Ну просто артист, а не курица! Бывало, немец — во двор, а она — на чердак и сидит там, будто ее и нет. А свой войдет — ничего, гуляет. Шут ее знает, как она узнавала. И осталась она одна, курица эта, на всю нашу деревню, и вот за хитрость за ее вот эту самую Партизанкой мы ее и окрестили.

Мересьев дремал с открытыми глазами. Так привык он в лесу. Деда Михайлу молчание его, должно быть, беспокоило. Посуетившись по землянке, что-то поделав у стола, он опять вернулся к этой теме:

— Не суди, Алеха, бабу-то! Ты, друг любезный, в то вникни: была она, как старая береза в большом лесу, на нее ниоткель не дуло, а теперь торчит, как трухлявый пень на вырубке, и одна ей утеха — эта самая курица. Чего молчишь-то, ай заснул?.. Ну, спи себе, спи.

Алексей спал и не спал. Он лежал под полушубком, ды-

шавшим на него кислым запахом хлеба, запахом старого крестьянского жилья, слушал успокаивающее пиликанье сверчка. Было похоже, что тело его лишено костей, набито теплой ватой, в которой толчками пульсирует кровь. Разбитые, распухшие ноги горели, их ломило изнутри какой-то тягостной болью, но не было сил ни повернуться, ни пошевелиться.

В этой полудреме Алексей воспринимал жизнь землянки клочками, точно это была не настоящая жизнь, а на экране мелькали перед ним одна за другой несвязные, необыкновенные картины.

Была весна. Беглая деревня переживала самые трудные дни. Доедали последние харчишки из тех, что успели в свое время позарывать и попрятать и что тайком по ночам выкапывали из ям на пепелищах и носили в лес. Оттаивала земля. Наспех нарытые норы «плакали» и оплывали. Мужики, партизанившие западнее деревни, в Оленинских лесах, и раньше нет-нет, хоть поодиночке, хоть по ночам, наведывавшиеся в подземную деревеньку, оказались теперь отрезанными линией фронта. От них не было ни слуху ни духу. Новая тягота легла на и без того измученные бабьи плечи. А тут весна, тает снег, и надо думать о посеве, об огородах.

Бабы бродили озабоченные, злые. В землянке деда Михайлы то и дело вспыхивали между ними шумные споры с взаимными попреками, с перечислением всех старых и новых, настоящих и выдуманных обид. Гомон порой стоял в ней страшный, но стоило хитроумному деду подкинуть в эту гомонящую кашу злых бабьих голосов какую-нибудь хозяйственную мыслишку — о том, не пора ли, дескать, послать ходоков на пепелище глянуть: может, уже отошла земля, или не подходящ ли ветерок, чтобы проветрить семена, проклекшие от душной земляночной сырости,— как сразу же гасли эти ссоры.

Раз дед вернулся днем довольный и озабоченный. Он принес зеленую травинку и, бережно положив ее на заскорузлую ладонь, показал Алексею:

— Видал? С поля я. Отходит земля-то, а озимь, слава тебе, господи, ничего, обозначилась. Снега обильные. Смотрел я. Если с яровыми не вывезем, озимь и то кусок даст. Пойду бабам гукну, пусть порадуются, бедолаги!

Точно стая галок весной, зашумели, закричали у землянки бабы, в которых зеленая травинка, принесенная

с поля, разбудила новую надежду. А вечером дед Михайла потирал руки:

— Ить, и ничего решили министры-то мои долговолосые. А, Алеха? Одна бригада, значит, на коровах пашет, это где ложок в низинке, где пахота тяжелая. Да много ли напашешь: всего шесть коровенок от стада-то нашего осталось! Второй бригаде поле, что повыше, посуше,— это лопатой да мотыгой. И ништо — огороды-то ведь копаем, выходит. Ну, а третья — на взгорье, там песочек, под картофель, значит, земельку готовим; этим вовсе легко: там ребятишек с лопатами копать заставим и кои бабы слабые — тех. А там, глядишь, и помощь нам будет от правительства, значит. Ну, а не будет, опять невелика беда. Уж мы и сами как-нибудь, уж мы земельку непокрытой не оставим. Спасибо, немца отсюда шугнули, а теперь жисть пойдет. У нас народ жилист, любую тяготу вытянет.

Дед долго не мог уснуть, ворочался на соломе, кряхтел, чесался, стонал: «О господи, боже ты мой!» — несколько раз сползал с нар, подходил к ведру с водой, гремел ковшом, и слышно было, как он громко, точно запаленный конь, пьет крупными, жадными глотками. Наконец он не выдержал, засветил от кресала лучину, потрогал Алексея, лежавшего с открытыми глазами в тяжелом полузабытьи:

— Спишь, Алеха? А я вот все думаю. А? Все вот думаю, знаешь. Есть у нас в деревне на старом месте дубок на площади, да... Его лет тридцать назад, как раз в николаевскую войну, молнией полосонуло — и вершина напрочь. Да, а он крепкий, дубок-то, корень у него могучий, соку много. Вверх ему ходу не стало, дал вбок росток, и сейчас, гляди, какая опять шапка кудрява... Так вот и Плавни наши... Только бы солнышко нам светило, да земелька рожала, да родная наша власть у нас, а мы, брат Алеха, лет за пяток отойдем, отстроимся! Живучие. Ох-хохо, будь здоров! Да еще — чтоб война бы поскорей кончилась! Разбить бы их, да и за дело всем, значит, миром! А, как думаешь?

В эту ночь Алексею стало плохо.

Дедова баня встряхнула его организм, вывела его из состояния медленного, оцепенелого угасания. Сразу ощутил он с небывалой еще силой и истощение, и нечеловеческую усталость, и боль в ногах. Находясь в бредовой полудреме, он метался на тюфяке, стонал, скрежетал зубами, кого-то звал, с кем-то ругался, чего-то требовал.

Варвара всю ночь просидела возле него, подобрав ноги, уткнув подбородок в колени и тоскливо глядя большими круглыми грустными глазами. Она клала ему то на голову, то на грудь тряпку, смоченную холодной водой, поправляла на нем полушубок, который он то и дело сбрасывал, и думала о своем далеком муже, неведомо где носимом военными ветрами.

Чуть свет поднялся старик. Посмотрел на Алексея, уже утихшего и задремавшего, пошептался с Варей и стал собираться в дорогу. Он напялил на валенки большие самодельные калоши из автомобильных камер, лычком крепко перепоясал армяк, взял можжевеловую палку, отполированную его руками, которая всегда сопровождала старика в дальних походах.

Он ушел, не сказав Алексею ни слова.

17

Мересьев лежал в таком состоянии, что даже и не заметил исчезновения хозяина. Весь следующий день пробыл он в забытьи и очнулся только на третий, когда солнце уже стояло высоко и от волокового оконца в потолке через всю землянку, до самых ног Алексея, не рассеивая мрака, а, наоборот, сгущая его, тянулся светлый и плотный столб солнечных лучей, пронизавший сизый, слоистый дым очага.

Землянка была пуста. Сверху сквозь дверь доносился тихий, хрипловатый голос Вари. Занятая, должно быть, каким-то делом, она пела старую, очень распространенную в этих лесных краях песню. Это была песня об одинокой печальной рябине, мечтающей о том, как бы ей перебраться к дубу, тоже одиноко стоящему поодаль от нее.

Алексею не раз и раньше доводилось слышать эту песню. Ее пели девчата, веселыми табунами приходившие из окраинных селений ровнять и расчищать аэродром. Ему нравился медленный, печальный мотив. Но раньше он как-то не вдумывался в слова песни, и в суете боевой жизни они скользили мимо сознания. А вот теперь из уст этой молодой большеглазой женщины они вылетали, окрашенные таким чувством и столько в них было большой и не песенной, а настоящей женской тоски, что сразу почувствовал Алексей всю глубину мелодии и понял, как Варя тоскует о своем муже.

...Но нельзя рябине
К дубу перебраться.
Видно, сиротине
Век одной качаться...—

пропела она, и в голосе ее почувствовалась горечь настоящих слез, а когда смолк этот голос, Алексей представил, как сидит она сейчас где-то там, под деревьями, залитыми весенним солнцем, и слезами полны ее большие круглые тоскующие глаза. Он почувствовал, что у него у самого защекотало в горле, ему захотелось поглядеть на эти старые, заученные наизусть письма, лежащие у него в кармане гимнастерки, взглянуть на фотографию тоненькой девушки, сидящей на лугу. Он сделал движение, чтобы дотянуться до гимнастерки, но рука бессильно упала на тюфяк. Снова все поплыло в сероватой, расплывавшейся светлыми радужными кругами тьме. Потом в этой тьме, тихо шелестевшей какими-то колючими звуками, услышал он два голоса — Варин и еще другой, женский, старушечий, тоже знакомый. Говорили шепотом:

— Не ест?

— Где там ест! Так, пожевал вчера лепешечки самую малость — стошнило. Разве это еда? Молочко вот тянет помаленьку. Даем.

— А я вот, гляди, супчику принесла... Может, примет душа супчик-то!

— Тетя Василиса! — вскрикнула Варя.— Неужто...

— Ну да, куриный, чего всполохнулась? Обыкновенное дело. Потрожь его, побуди — можа, поест.

И, прежде чем Алексей, слышавший все это в полузабытьи, успел открыть глаза, Варя затрясла его сильно, бесцеремонно, радостно:

— Лексей Петрович, Лексей Петрович, проснись!.. Бабка Василиса супчику куриного принесла! Проснись, говорю!

Лучина, потрескивая, горела, воткнутая в стену у входа. В неровном чадном свете ее Алексей увидел маленькую, сгорбленную старуху с морщинистым длинноносым сердитым лицом. Она возилась у большого узла, стоявшего на столе, развернула мешковину, потом старый шушун, потом бумагу, и там обнаружился чугунок; из него ударил в землянку такой вкусный и жирный дух куриного супа, что Алексей почувствовал судороги в пустом желудке.

Морщинистое лицо бабки Василисы сохраняло суровое и сердитое выражение.

— Принесла вот, не побрезгуйте, кушайте на здоровье. Может, бог даст, на пользу пойдет...

И вспомнились Алексею печальная история бабкиной семьи, рассказ о курице, носившей смешное прозвище: Партизаночка, и все — и бабка, и Варя, и вкусно дымившийся на столе котелок — расплылось в мути слез, сквозь которую сурово, с бесконечной жалостью и участием смотрели на него строгие старушечьи глаза.

— Спасибо, бабушка,— только и сумел сказать он, когда старуха пошла к выходу.

И уже от двери услышал:

— Не на чем. Что тут благодарить-то? Мои-то тоже воюют. Может, и им кто супчику даст. Кушайте себе на здоровье. Поправляйтесь.

— Бабушка, бабушка! — Алексей рванулся к ней, но руки Вари удержали его и уложили на тюфяк.

— А вы лежите, лежите! Ешьте вот лучше супчик-то.— Она поднесла ему вместо тарелки старую алюминиевую крышку от немецкого солдатского котелка, из которого валил вкусный жирный пар. Поднося ее, она отвертывалась, должно быть, для того, чтобы скрыть невольную слезу.— Ешьте вот, кушайте!

— А где дед Михайла?

— Ушел он... По делам ушел, район искать. Скоро не будет. А вы кушайте, кушайте вот.

И у самого своего лица увидел Алексей большую, почерневшую от времени, с обгрызенным деревянным краем ложку, полную янтарного бульона.

Первые же ложки супа разбудили в нем звериный аппетит — до боли, до спазм в желудке, но он позволил себе съесть только десять ложек и несколько волоконцев белого мягкого куриного мяса. Хотя желудок настойчиво требовал еще и еще, Алексей решительно отодвинул еду, зная, что в его положении излишняя пища может оказаться ядом.

Бабкин супчик имел чудодейственное свойство. Поев, Алексей заснул — не впал в забытье, а именно заснул — крепким, оздоравливающим сном. Проснулся, поел и снова заснул, и ничто — ни дым очага, ни бабий говор, ни прикосновение Вариных рук, которая, опасаясь, не умер ли он, нет-нет да и наклонялась послушать, бьется ли у него сердце,— не могло его разбудить.

Он был жив, дышал ровно, глубоко. Он проспал остаток дня, ночь и продолжал спать так, что казалось, нет в мире силы, которая могла бы нарушить его сон.

Но вот ранним утром где-то очень далеко раздался совершенно не отличимый среди других шумов, наполнявших лес, далекий, однообразно воркующий звук. Алексей встрепенулся и, весь напружившись, поднял голову с подушки.

Чувство дикой, необузданной радости поднялось в нем. Он замер, сверкая глазами. Потрескивали в очаге остывающие камни, вяло и редко пиликал уставший за ночь сверчок, слышно было, как над землянкой спокойно и ровно звенят старые сосны и даже как барабанит у входа полновесная весенняя капель. Но сквозь все это слышался ровный рокот. Алексей угадал, что это тарахтит мотор «ушки» — самолета «У-2». Звук то приближался и нарастал, то слышался глуше, но не уходил. У Алексея захватило дух. Было ясно, что самолет где-то поблизости, что он кружит над лесом, то ли что-то высматривая, то ли ища место для посадки.

— Варя! — закричал Алексей, приподнимаясь на локтях.

Вари не было. С улицы слышались возбужденные женские голоса, торопливо пробегавшие шаги. Там что-то происходило.

На мгновение приоткрылась дверь землянки, в нее сунулось пестрое лицо Федьки.

— Тетя Варя! Тетя Варя! — позвал мальчуган, потом возбужденно добавил: — Летит... Кружит... Над нами кружит...— Он исчез прежде, чем Алексей успел что-нибудь спросить.

Он сделал усилие и сел. Всем телом своим он чувствовал, как бьется сердце, как возбужденно пульсирует, отдаваясь в висках и в больных ногах, кровь. Он считал круги, совершаемые самолетом, насчитал один, другой, третий и упал на тюфяк, упал, сломленный волнением, снова стремительно и властно ввергнутый в тот же всемогущий, целительный сон.

Его разбудил звук молодого, сочного, басовито рокочущего голоса. Он отличил бы этот голос в любом хоре других голосов. Таким в истребительном полку обладал только командир эскадрильи Андрей Дегтяренко.

Алексей открыл глаза, но ему показалось, что он продолжает спать и во сне видит это широкое, скуластое,

грубое, точно сделанное столяром вчерне, но не обтертое ни шкуркой, ни стеклышком добродушное угловатое лицо друга с багровым шрамом на лбу, со светлыми глазами, опушенными такими же светлыми и бесцветными, свиными — как говорили недруги Андрея — ресницами. Голубые глаза с недоумением всматривались в дымный полумрак.

— Ну, дидусь, показуй свий трофей,— прогудел Дегтяренко.

Видение не пропадало. Это был действительно Дегтяренко, хотя казалось совершенно невероятным, как друг смог найти его тут, в подземной деревеньке, в лесной глуши. Он стоял, большой, широкоплечий, с расстегнутым, по обыкновению, воротом. В руках он держал шлем с проводками радиофона и еще какие-то кулечки и сверточки. Лучинный светец освещал его сзади. Золотой бобрик коротко остриженных волос нимбом светился над его головой.

Из-за спины Дегтяренко виднелась бледная, совершенно измученная физиономия деда Михайлы с возбужденно вытаращенными глазами, а рядом с ним стояла медсестра Леночка, курносая и озорная, смотревшая во тьму со зверюшечьим любопытством. Девушка держала под мышкой толстую брезентовую сумку с красным крестом и прижимала к груди какие-то странные цветы.

Стояли молча. Андрей Дегтяренко с недоумением оглядывался, должно быть ослепленный темнотой. Раза два взгляд его равнодушно скользнул по лицу Алексея, который тоже никак не мог освоиться с неожиданным появлением друга и все боялся, не окажется ли все это бредовым видением.

— Да вот же он, господи, вот лежит! — прошептала Варя, срывая с Мересьева шубу.

Дегтяренко еще раз недоуменно скользнул взглядом по лицу Алексея.

— Андрей! — сказал Мересьев, силясь подняться на локтях.

Летчик с недоумением, с плохо скрытым испугом смотрел на него.

— Андрей, не узнаешь? — шептал Мересьев, чувствуя, что его всего начинает трясти.

Еще мгновение летчик смотрел на живой скелет, обтянутый черной, точно обугленной, кожей, стараясь признать веселое лицо друга, и только в глазах, огромных, почти круглых, поймал он знакомое упрямое и открытое мересьевское выражение. Он протянул руки вперед. На земляной

пол упал шлем, посыпались свертки и сверточки, раскатились яблоки, апельсины, печенье.

— Лешка, ты? — Голос летчика стал влажен, бесцветные и длинные ресницы его слиплись.— Лешка, Лешка! — Он схватил с постели это больное, детски-легкое тело, прижал его к себе, как ребенка, и все твердил: — Лешка, друг, Лешка!

На секунду оторвал от себя, жадно посмотрел на него издали, точно убеждаясь, действительно ли это его друг, и снова крепко прижал к себе:

— Да то ж ты! Лешка! Бисов сын!

Варя и медсестра Лена старались вырвать из его крепких медвежьих лап полуживое тело.

— Да пустите ж его, бога ради, он еле жив! — сердилась Варя.

— Ему ж вредно ж волноваться, положите! — скороговоркой, пересыпая свою речь бесконечными «ж», твердила медсестра.

А летчик, по-настоящему поверив наконец, что этот черный, старый, невесомый человек действительно не кто иной, как Алексей Мересьев, его боевой товарищ, его друг, которого они всем полком мысленно давно уже похоронили, схватился за голову, издал дикий, торжествующий крик, схватил его за плечи и, уставившись в его черные, радостно сверкающие из глубины темных орбит глаза, заорал:

— Живый! Ах, мать честная! Живый, бис тоби в лопатку! Да где ж ты был столько дней? Как же ты так?

Но сестра — эта маленькая смешная толстушка с курносым лицом, которую все в полку звали, игнорируя ее лейтенантское звание, Леночкой или сестрой медицинских наук, как однажды она, на погибель себе, отрекомендовалась начальству, певунья и хохотушка Леночка, влюбленная во всех лейтенантов сразу,— сурово и твердо отстранила расходившегося летчика.

— Товарищ капитан, отойдите ж от больного!

Бросив на стол букет цветов, за которыми еще вчера летали в областной город, букет, оказавшийся совершенно ненужным, она раскрыла брезентовую сумку с красным крестом и деловито приступила к осмотру. Коротенькие ее пальчики ловко бегали по ногам Алексея, и она все спрашивала:

— Больно? А так? А так?

В первый раз по-настоящему Алексей обратил внима-

ние на свои ноги. Ступни чудовищно распухли, почернели. Каждое прикосновение к ним вызывало боль, точно током пронзавшую все тело. Но что особенно не нравилось, видимо, Леночке — это то, что кончики пальцев стали черными и совсем потеряли чувствительность.

За столом сидели дед Михайла и Дегтяренко. Потихоньку угостившись на радостях из фляги летчика, они вели оживленную беседу. Дробным старческим тенорком дед Михайла, по-видимому уже не в первый раз, принимался рассказывать:

— Так, значит, выходит, ребятишки наши на вырубке его и отыскали. Немцы лес на блиндажи там рубили, ну, ребятишек этих мать, то есть дочка моя, за щепой туда и погнала. Там они его и увидели. Ага, что за чудо за такое? Сперва им, значит, медведь померещился — дескать, подстреленный и катится этак-то. Они было тягу, да любопытство их повернуло: что за медведь за такой, почему катится? Ага! Не так? Смотрят, значит, катится с боку на бок, катится и стонет...

— Как это «катится»? — усомнился Дегтяренко и протянул деду портсигар: — Куришь?

Дед взял из портсигара папиросу, достал из кармана сложенный кусочек газеты, аккуратно оторвал уголок, высыпал на него табак из папиросы, свернул и, закурив, с удовольствием затянулся:

— Как не курить, курим-потягиваем. Ага! Только мы при немце не видали его, табаку-то. Мох курим, опять же сухой молочайный лист, да!.. А как он катился, ты его спроси. Я не видел. Ребята говорят, так и катился — со спины на брюхо, с брюха на спину: ползти-то ему по снегу, вишь, не под силу было,— вот он какой!

Дегтяренко все порывался вскочить, посмотреть на друга, возле которого возились женщины, укутывая его в серые, привезенные сестрой армейские одеяла.

— А ты, друг, сиди, сиди, не наше это, мужское, дело — пеленать! Ты слушай да на ус мотай, да начальству какому-нибудь там своему перескажи... Великого подвига человек этот! Вишь он какой. Полную неделю всем колхозом его отхаживаем, а он шевелиться не может. А то вот сил в себе насбирал, по лесам да по болотам нашим полз. На это, брат, мало кто способный! И святым отцам по житиям такого-то подвига совершать не приходилось. Куда там! Экое дело, подумаешь,— на столбе стоять! Что, не так? Ага, а ты, парень, слушай, слушай!..

Старик наклонился к уху Дегтяренко и защекотал его своей пушистой мягкой бороденкой:

— Только, сдается мне, он, того,— как бы не помер, а? От немца-то он, вишь, уполз, а от нее, от косой, нешто уползешь? Одни кости, и как он полз, не постигну я. Уж очень, должно быть, к своим тянуло. И бредит-то все одним: аэродром, да аэродром, да слова там разные, да Оля какая-то. Есть у вас там такая? Аль жена, может?.. Ты слышишь меня, летун, слышишь? Ау...

Дегтяренко не слышал. Он старался представить себе, как этот человек, его товарищ, казавшийся в полку таким обычным парнем, с отмороженными или перебитыми ногами день и ночь ползет по талому снегу через леса и болота, теряя силы, ползет, катится, чтобы только уйти от врага и попасть к своим. Профессия летчика-истребителя приучила Дегтяренко к опасности. Бросаясь в воздушный бой, он никогда не думал о смерти и даже чувствовал какую-то особую, радостную взволнованность. Но чтобы вот так, в лесу, одному...

— Когда вы его нашли?

— Когда? — Старик зашевелил губами, снова взял папиросу из открытой коробки, изувечил ее и принялся делать цигарку.— Когда же? Да в чистую субботу, под самое прощеное воскресенье, стало быть как раз с неделю назад.

Летчик прикинул в уме числа, и вышло, что полз Алексей Мересьев восемнадцать суток. Проползти столько времени раненому, без пищи — это казалось просто невероятным.

— Ну, спасибо тебе, дидусь! — Летчик крепко обнял и прижал к себе старика.— Спасибо, брат!

— Не на чем, не на чем, за что тут благодарить! Ишь, спасибо! Что я, чужак иностранный какой! Ага! Скажешь, нет? — И сердито крикнул невестке, стоявшей в извечной позе бабьего горького раздумья, подперев щеку ладонью: — Подбери с полу продукт-то, ворона! Ишь, разбросали такую ценность!.. «Спасибо», ишь ты!

Тем временем Леночка закончила укутывать Мересьева.

— Ничего, ничего ж, товарищ старший лейтенант,— сыпала она чистые и мелкие, как горох, словечки,— в Москве ж вас в два счета на ноги поставят. Москва ж — город же! Не таких излечивают!

По тому, что была она излишне оживлена, что без умолку твердила, как вылечат Мересьева в два счета, понял Дегтяренко: осмотр дал невеселые результаты и дела

его приятеля плохи. «И чего стрекочет, сорока!» — с неприязнью подумал он о «сестре медицинских наук». Впрочем, в полку никто не принимал эту девушку всерьез: шутили, что лечить она может только от любви,— и это несколько утешало Дегтяренко.

Завернутый в одеяла, из которых торчала только голова, Алексей напоминал Дегтяренко мумию какого-то фараона из школьного учебника древней истории. Большой рукой провел летчик по щекам друга, на которых кустилась густая и жесткая рыжеватая поросль.

— Ничего, Лешка! Вылечат! Есть приказ — тебя сегодня в Москву, в гарный госпиталек. Профессора там сплошные. А сестры,— он прищелкнул языком и подмигнул на Леночку,— мертвых на ноги подымают! Мы еще с тобой в воздухе пошумим! — Тут Дегтяренко поймал себя на том, что говорит он, как и Леночка, с таким же напускным, деревянным оживлением; руки же его, гладившие лицо друга, вдруг ощутили под пальцами влагу.— Ну, где носилки? Понесли, что ли, чего тянуть? — сердито скомандовал он.

Вместе со стариком осторожно уложили они спеленатого Алексея на носилки. Варя собрала и свернула в узелок его вещички.

— Вот что,— остановил ее Алексей, когда стала она засовывать в узелок эсэсовский кинжал, который не раз с любопытством осматривал, чистил, точил, пробовал на палец хозяйственный дед Михайла,— возьми, дедушка, на память.

— Ну, спасибо, Алеха, спасибо! Сталька знатная, гляди-ка. И написано что-то не по-нашему вроде.— Он показал кинжал Дегтяренко.

— «Алес фюр Дойчланд» — «Все для Германии»,— перевел Дегтяренко выведенную по лезвию надпись.

— «Все для Германии»,— повторил Алексей, вспомнив, как достался ему этот кинжал.

— Ну, берись, берись, старик! — крикнул Дегтяренко, впрягаясь в передок носилок.

Носилки заколыхались и с трудом, осыпая землю со стен, пролезли в узкий проход землянки.

Все, кто набился в нее провожать найденыша, хлынули наверх. Только Варя осталась дома. Не торопясь поправила она лучину в светце, подошла к полосатому тюфяку, еще хранившему вмятые в него очертания человеческой фигуры, и погладила его рукой. Взгляд ее упал на букет,

о котором впопыхах все позабыли. Это было несколько веточек оранжерейной сирени, бледной, чахлой, похожей на жителей беглой деревеньки, проведших зиму в сырых и холодных землянках. Женщина взяла букет, вдохнула хилый, еле уловимый в угарной копоти нежный весенний запах и вдруг повалилась на нары и залилась горькими бабьими слезами.

18

Провожать неожиданного своего гостя вышло все наличное население деревни Плавни. Самолет стоял за лесом на подтаявшем у краев, но еще ровном и крепком льду продолговатого лесного озерка. Дороги туда не было. По рыхлому, крупитчатому снегу, прямо по целине, вела стежка, протоптанная час назад дедом Михайлом, Дегтяренко и Леночкой. Теперь по этой стежке валила к озеру толпа, возглавляемая мальчишками со степенным Серёнькой и восторженным Федькой впереди. На правах старого друга, отыскавшего летчика в лесу, Серёнька солидно шагал перед носилками, стараясь, чтобы не застревали в снегу огромные, оставшиеся от убитого отца валенки, и властно покрикивал на чумазую, сверкавшую зубами, фантастически оборванную детвору. Дегтяренко и дед, шагая в ногу, тащили носилки, а сбоку, по целине, бежала Леночка, то подтыкая одеяло, то закутывая голову Алексея своим шарфом. Позади грудились бабы, девчонки, старухи. Толпа глухо гомонила.

Сначала яркий, отраженный снегом свет ослепил Алексея. Погожий весенний день так ударил ему в глаза, что он зажмурился и чуть не потерял сознание. Легонько приоткрыв веки, Алексей приучил глаза к свету и тогда огляделся. Перед ним открывалась картина подземной деревни.

Старый лес стоял стеной, куда ни глянь. Вершины деревьев почти смыкались над головой. Ветви их, скупо процеживая солнечные лучи, создавали внизу полумрак. Лес был смешанный. Белые колонны голых еще берез, вершины которых походили на сизые, застывшие в воздухе дымы, соседствовали с золотыми стволами сосен, а между ними то тут, то там виднелись темные треугольники елей.

Под деревьями, защищавшими от вражьих глаз и с земли и с воздуха, где снег был давно вытоптан сотнями ног, были накопаны землянки. На ветвях вековых елей сохли

детские пеленки, на сучьях сосенок проветривались опрокинутые глиняные горшки и крынки, а под старой елкой, со ствола которой свешивались бороды седого мха, у самого ее могучего комля, на земле меж жилистыми корнями, где по всем статьям полагалось бы лежать хищному зверю, сидела старая, засаленная тряпичная кукла с плоской добродушной физиономией, нарисованной чернильным карандашом.

Толпа, предшествуемая носилками, медленно двигалась по вытоптанной во мху «улице».

Очутившись на воздухе, Алексей ощутил сначала бурный прилив неосмысленной животной радости, потом на смену ей пришла сладкая и тихая грусть.

Маленьким платочком Леночка утерла с его лица слезы и, по-своему истолковав их, приказала носильщикам идти потише.

— Нет, нет, быстрее, давайте быстрее, ну! — заторопил Мересьев.

Ему и без того казалось, что его несут слишком медленно. Он начал бояться, что из-за этого можно не улететь, что вдруг самолет, посланный за ним из Москвы, уйдет, не дождавшись их, и ему не удастся сегодня попасть в спасительную клинику. Он глухо стонал от боли, причиняемой ему торопливой поступью носильщиков, но все требовал: «Скорее, пожалуйста, скорее!» Он торопил, хотя слышал, что дед Михайла задыхается, то и дело спотыкается и сбивается с ноги. Две женщины сменили старика. Дед Михайла засеменил рядом с носилками, по другую сторону от Леночки. Вытирая офицерской своей фуражкой вспотевшую лысину, побагровевшее лицо, морщинистую шею, он довольно бормотал:

— Ишь, гонит, а? Торопится!.. Правильно, Леша, истина твоя, торопись! Раз человек торопится, жизнь в нем крепка, найденыш ты наш разлюбезный. Что, скажешь — нет?.. Ты нам пиши из госпиталя-то! Адресок-то запомни: Калининская область, Бологовский район, будущая деревня Плавни, а? Будущая, а? Ничего, дойдет, не забудь, адресок-то верный!

Когда носилки поднимали в самолет и Алексей вдохнул знакомый терпкий запах авиационного бензина, он снова испытал бурный прилив радости. Над ним закрыли целлулоидную крышку. Он не видел, как махали руками провожающие, как маленькая носатая старушка, похожая в своем сером платке на сердитую ворону, преодолевая страх

и поднятый винтом ветер, прорвалась к сидевшему уже в кабине Дегтяренко и сунула ему узелок с недоеденной курятиной, как дед Михайла суетился вокруг машины, покрикивая на баб, разгоняя ребятишек, как сорвало с деда ветром фуражку и покатило по льду и как стоял он простоволосый, сверкая лысиной и серебристыми своими жиденькими сединками, развеваемыми ветром, похожий на Николу-угодника немудреного сельского письма. Стоял, махая рукой вслед убегающему самолету, единственный мужчина в пестрой бабьей толпе.

Оторвав самолет от ледяного наста, Дегтяренко прошел над головами провожавших и осторожно, почти касаясь лыжами льда, полетел вдоль озера под прикрытием высокого обрывистого берега и скрылся за лесистым островом. На этот раз полковой сорвиголова, которому на боевых разборах частенько доставалось от командира за излишнюю лихость в воздухе, летел осторожно — не летел, а крался, льнул к земле, шел по руслам ручьев, прикрываясь озерными берегами. Ничего этого Алексей не видел и не слышал. Знакомые запахи бензина, масла, радостное ощущение полета заставили его потерять сознание, и очнулся он только на аэродроме, когда его носилки вынимали из самолета, чтобы перенести на скоростную санитарную машину, уже прилетевшую из Москвы.

19

Он попал на родной аэродром в самый разгар лётного дня, загруженного до предела, как и все дни той боевой весны.

Гул моторов не затихал ни на минуту. Одну эскадрилью, севшую на дозаправку, сменяла в воздухе другая, третья. Все, от летчиков до шоферов бензоцистерн и кладовщиков, выдававших горючее, сбились в этот день с ног. Начальник штаба потерял голос и теперь исторгал какое-то пискливое сипенье.

Несмотря на всеобщую занятость и чрезвычайное напряжение, все в этот день жили ожиданием Мересьева.

— Не привезли? — кричали пилоты механикам сквозь рев мотора, еще не подрулив к своему капониру.

— А об нем не слыхать? — интересовались «бензиновые короли», когда очередной бензиновоз подруливал к закопанным в землю цистернам.

И все слушали, не трещит ли где-нибудь над леском знакомый полковой санитарный самолет...

Когда Алексей очнулся на упруго покачивающихся носилках, он увидел плотный круг знакомых лиц. Он открыл глаза. Толпа обрадованно зашумела. Возле самых носилок увидел он молодое неподвижное, сдержанно улыбающееся лицо командира полка, рядом с ним широкую красную и потную физиономию начальника штаба и даже круглое, полное и белое лицо командира БАО — батальона аэродромного обслуживания,— которого Алексей терпеть не мог за формализм и скупость. Сколько знакомых лиц! Носилки несет долговязый Юра. Он все время безуспешно старается оглянуться назад, посмотреть на Алексея и потому спотыкается на каждом шагу. Рядом бежит рыженькая девушка — сержант с метеостанции. Алексею раньше казалось, что она за что-то не любит его, старается не попадаться ему на глаза и всегда исподтишка следит за ним каким-то странным взглядом. Шутя он называл ее «метеорологическим сержантом». Возле семенит летчик Кукушкин, маленький человек с неприятным, желчным лицом, которого в эскадрилье не любят за вздорный нрав. Он тоже улыбается и старается попадать в такт огромным шагам Юры. Мересьеву вспомнилось, что перед отлетом он в большой компании зло разыграл Кукушкина за неотданный им долг и был уверен, что этот злопамятный человек никогда не простит ему обиды. А вот сейчас он бежит около его носилок, бережно поддерживает их и свирепо расталкивает локтями толпу, чтобы предохранить носилки от толчков.

Алексей никогда и не подозревал, что у него столько друзей. Вот они, люди-то, когда раскрываются! Ему стало жаль «метеорологического сержанта», который его почему-то боялся, было неловко перед командиром БАО, о скаредности которого он пустил по дивизии столько шуток и анекдотов, захотелось извиниться перед Кукушкиным и сказать ребятам, что это вовсе уж не такой неприятный и неуживчивый человек. У Алексея было ощущение, что после всех мучений он попал наконец в родную семью, где все ему искренне рады.

Его бережно несли через поле к серебристому санитарному самолету, замаскированному на опушке голого березового леска. Было видно, что техники уже запускают с помощью резинового амортизатора остывающий мотор «санитара».

— Товарищ майор...— сказал вдруг Мересьев командиру полка, стараясь говорить как можно громче и увереннее.

Командир, по обычаю своему тихо, загадочно улыбаясь, наклонился к нему.

— Товарищ майор... разрешите мне не лететь в Москву, а тут, с вами...

Командир сорвал с головы шлем, мешавший ему слушать.

— Не надо в Москву, я хочу здесь, в медсанбате.

Майор снял меховую перчатку, нащупал под одеялом руку Алексея и пожал ее:

— Чудак, вас же лечить надо серьезно, по-настоящему.

Алексей замотал головой. Ему было хорошо, покойно. Ни пережитое, ни боль в ногах не казались уже страшными.

— Чего он? — просипел начальник штаба.

— Просит оставить его тут, с нами,— ответил командир улыбаясь.

И улыбка его в этот момент была не загадочная, как всегда, а теплая, грустная.

— Дурак! Романтика, пример для «Пионерской правды»,— засипел начальник штаба.— Ему честь, за ним самолет из Москвы прислали по распоряжению самого командующего армией, а он — скажи пожалуйста!..

Мересьев хотел было ответить, что никакой он не романтик, что просто уверен он — тут, в палатке медсанбата, где он однажды провел несколько дней, залечивая вывих ноги после неудачного приземления на подбитой машине, в родной атмосфере, он поправится скорее, чем среди неведомых удобств московской клиники. Он подобрал уже слова, чтобы ответить начальнику штаба поязвительнее, но произнести их не успел.

Тоскливо завыла сирена. Лица у всех сразу стали деловыми, озабоченными. Майор отдал несколько коротких приказаний, и люди стали разбегаться, как муравьи: кто к самолетам, притаившимся на опушке леса, кто к землянке командного пункта, холмиком возвышавшейся у края поля, кто к машинам, спрятанным в леске. Алексей увидел четко вычерченный дымом на небе и медленно расплывавшийся седой след многохвостой ракеты. Он понял: «Воздух!»

Сердце его забилось, ноздри заходили, и он почувствовал во всем своем слабом теле возбуждающий холодок, что всегда бывало с ним в минуту опасности.

Леночка, механик Юра и «метеорологический сержант», которым нечего было делать в охватившей аэродром напряженной суете боевой тревоги, втроем подхватили носилки и бегом, стараясь попадать в ногу и, конечно, от волнения не попадая, понесли их к ближайшей лесной опушке.

Алексей застонал. Они перешли на шаг. А вдали уже судорожно тарахтели автоматические зенитки. Уже выползали на взлетную дорожку, мчались по ней и уходили в небо один за другим звенья самолетов, и сквозь знакомый звон своих моторов Алексей уже слышал и наплывающий из-за леса неровный качающийся гул, от которого мускулы у него как-то сами собой собирались в комки, напруживались, и он, этот немощный человек, привязанный к носилкам, почувствовал себя в кабине истребителя несущимся навстречу врагу, почувствовал себя гончей, учуявшей дичь.

Носилки не влезли в узкую «щель». Когда заботливый Юра и девушка хотели снести Алексея вниз на руках, он запротестовал и сказал, чтобы оставили носилки на опушке, в тени большой коренастой березы. Лежа под ней, он стал очевидцем событий, стремительно, как в тяжелом сне, развернувшихся в последующие минуты. Летчикам редко приходится наблюдать с земли воздушный бой. Мересьеву, летавшему в боевой авиации с первого дня войны, не доводилось видеть воздушный бой с земли ни разу. И вот он, привыкший к молниеносным скоростям воздушной схватки, с удивлением смотрел, каким медленным и нестрашным выглядит воздушный бой отсюда, как тягучи движения стареньких тупоносых «ишачков» и каким безобидным слышится сверху гром их пулеметов, напоминающий здесь что-то домашнее: не то стрекотанье швейной машины, не то хруст медленно разрываемого коленкора.

Двенадцать немецких бомбардировщиков гусиным строем обошли аэродром стороной и исчезли в ярких лучах высоко стоявшего солнца. Оттуда, из-за облаков с полыхающими от солнца краями, на которые больно было смотреть, слышался басовитый, похожий на гуденье майских жуков рев их моторов. Еще отчаяннее бесновались и лаяли в леске автоматические зенитки. Дымки разрывов расплывались в небе, похожие на летящие семена одуванчика. Но видно ничего не было, кроме редкого взблескивания крыльев истребителей.

Гуд гигантских майских жуков все чаще и чаще перебивали короткие звуки разрываемого коленкора: гррр, гррр, гррр! В сверкании солнечных лучей шел невидимый с земли бой, но был он так не похож на то, что видит участник воздушной схватки, и казался он снизу таким незначительным и неинтересным, что Алексей следил за ним совершенно спокойно.

Даже когда сверху послышался пронзительно сверлящий, нарастающий визг и, точно черные капли, стряхнутые с кисточки, понеслись вниз, стремительно увеличиваясь в объеме, серии бомб, он не испугался и слегка приподнял голову, чтобы посмотреть, куда они упадут.

Тут несказанно удивил Алексея «метеорологический сержант». Когда визг бомб поднялся до самой высокой ноты, девушка, стоявшая по пояс в щели и, как всегда, исподтишка смотревшая на него, вдруг выскочила, бросилась к носилкам, упала и всем дрожащим от волнения и страха телом закрыла его, прижимая к земле.

На мгновение рядом, возле самых глаз, увидел он ее загорелое, совсем детское, с пухлыми губами и тупым облупившимся носиком лицо. Грянул разрыв — где-то в лесу. Сразу же ближе раздался другой, третий, четвертый. Пятый грохнул так, что, подпрыгнув, загудела земля и со свистом упала обрубленная осколком широкая крона березы, под которой лежал Алексей. Еще раз мелькнуло перед глазами бледное, искаженное ужасом девичье лицо, он почувствовал на своей щеке ее прохладную щеку, и в коротком перерыве между грохотом двух бомбовых очередей губы этой девушки испуганно и неистово шепнули:

— Милый!.. Милый!

Новая бомбовая очередь потрясла землю. Над аэродромом с грохотом взметнулись к небу столбы разрывов — точно выскочила из земли шеренга деревьев, их кроны мгновенно распахнулись, потом с громом опали комья мерзлого грунта, оставив в воздухе бурый, едкий, пахнущий чесноком дым.

Когда дым осел, кругом было уже тихо. Звуки воздушного боя едва слышались из-за леса. Девушка уже вскочила на ноги, щеки ее из зеленовато-бледных стали багровыми, она покраснела до слез и, не глядя на Алексея, извинялась:

— Я не сделала вам больно? Дура я, дура, господи, извините меня!

— Что ж теперь каяться? — ворчал Юра, которому стыдно было, что не он, а эта вот девчонка с метеостанции закрыла собой его друга.

Ворча, он отряхнул свой комбинезон, почесал в затылке, покачал головой, смотря на лучистый излом обезглавленной осколком березы, ствол которой быстро заплывал прозрачным соком. Этот сок раненого дерева, сверкая, стекал по мшистой коре и капал на землю, чистый и прозрачный, как слеза.

— Глядите ж, береза плачет,— сказала Леночка, которая и в минуту опасности не потеряла своего задорно-удивленного вида.

— Заплачешь! — мрачно ответил Юра.— Ну, сеанс окончен, понесли. Цел санитар-то, не пригрело его?

— Весна! — сказал Мересьев, посмотрев на израненный ствол дерева, на прозрачный, сверкающий на солнце сок, частыми каплями падающий на землю, на курносого, в не по росту большой шинели «метеорологического сержанта», которого он не знал даже, как зовут.

Когда втроем — Юра спереди, а девушки сзади — несли его носилки к самолету через дымящиеся еще воронки, в которые натекала талая вода, он с любопытством косился на маленькую крепкую руку, высовывавшуюся из грубого обшлага шинели и цепко державшую носилки. Что с ней? Или эти слова померещились ему с испугу?

В этот знаменательный для Алексея Мересьева день ему довелось стать свидетелем еще одного события. Уже близок был серебристый самолет с красными крестами на крыльях и фюзеляже, уже видно было, как, покачивая головой, ходит вокруг него борт-механик, оглядывая, не побило ли машину осколком и взрывной волной,— когда один за другим стали садиться истребители. Они вырывались из-за леса и, скользнув вниз, не делая обычного круга, приземлялись и с ходу подруливали к лесной опушке, к своим капонирам.

Скоро небо стихло. Аэродром очистился, смолкла воркотня моторов в лесу. Но у командного пункта еще стояли люди и смотрели в небо, загораживая ладонями глаза от солнца.

— «Девятка» не пришла! Кукушкин застрял! — сообщил Юра.

Алексей вспомнил маленькое желчное личико Кукушкина, всегда сохранявшее брюзгливое выражение, и вспомнил, как этот самый Кукушкин сегодня заботливо под-

держивал его посылки. Неужели? Эта мысль, такая обычная для летчиков в горячие дни, сейчас, когда Алексей выключился из жизни аэродрома, заставила его вздрогнуть.

В это время в небе послышался рокот.

Юра радостно подскочил:

— Он!

У командного пункта произошло движение. Что-то случилось. «Девятка» не садилась, а шла над аэродромом по широкому кругу, и, когда она проходила над головой Алексея, он увидел, что часть крыла у нее отбита и — самое страшное! — из фюзеляжа виднелась только одна «нога». Воздух одна за другой пропороли красные ракеты. Кукушкин снова прошел над головами. Его самолет напоминал птицу, кружащуюся над разоренным гнездом и не знающую, куда ей сесть. Он шел уже на третий круг.

— Сейчас прыгнет, бензин на исходе, на соплях дожимает! — прошептал Юра, смотря на часы.

В таких случаях, когда посадка была уже невозможна, летчику разрешалось, набрав высоту, выбрасываться с парашютом. Вероятно, такой приказ получила уже с земли и «девятка». Но она упрямо ходила по кругу.

Юра смотрел то на самолет, то на часы. Когда ему казалось, что мотор работает тише, он приседал и отворачивался. Неужели он думает спасти машину? «Прыгай же!» — думал каждый.

С аэродрома соскользнул истребитель с единицей на хвосте; рванувшись в воздух, он с первого же круга мастерски подстроился к раненой «девятке». По спокойно-мастерскому стилю полета Алексей угадал, что это сам командир полка. Решив, очевидно, что у Кукушкина испортилось радио или что он растерялся, он пошел к нему, покачал крыльями, сигналя: «делай, что я», и стал уходить в сторону, забирая ввысь. Он приказывал ему отойти в сторону и прыгать. Как раз в это время Кукушкин сбавил газ и пошел на посадку. Раненый самолет его с поломанным крылом пронесся над самой головой Алексея, быстро приближаясь к земле. Вот где-то у самой черты земли он резко накренился влево, припав на здоровую «ногу», немного пробежал на одном колесе, сбавляя скорость, потом упал направо и, зацепив здоровым крылом за землю, стремительно повернулся вокруг своей оси, подняв целые тучи снега.

В последнее мгновение он скрылся из глаз. Когда же снежная пыль осела, стало видно — в стороне от раненой,

накренившейся набок машины что-то чернеет на снегу. И к этой черной точке бежали люди и, покрякивая сиреной, несся санитарный автомобиль.

«Спас машину! Вот так Кукушкин! Когда это он так научился?» — думал Мересьев, лежа на носилках и завидуя товарищу.

Ему самому захотелось что есть духу бежать туда, где на снегу лежал этот маленький, никем не любимый человек, оказавшийся вдруг таким стойким, таким мастером. Но Алексей был спеленат, прижат к полотну носилок, раздавлен огромной болью, которая снова со всей силой навалилась на него, как только схлынуло нервное напряжение.

Все эти происшествия заняли не больше часа, но их было так много, что Алексей не сразу разобрался в них. Только когда носилки его были закреплены в специальных гнездах санитарного самолета и он невзначай опять перехватил на себе пристальный взгляд «метеорологического сержанта», он по-настоящему понял значение слов, сорвавшихся у девушки с побелевших губ между разрывами двух бомбовых очередей. Ему стало стыдно, что он даже не знает по имени эту славную самоотверженную девушку.

— Товарищ сержант...— тихо сказал он, благодарно посмотрев на нее.

За ревом прогреваемого мотора вряд ли эти слова дошли до нее. Но она шагнула к нему и протянула небольшой сверток:

— Товарищ старший лейтенант, это ваши письма. Я берегла их, я знала, что вы живы, что вы вернетесь. Знала, чувствовала...

Она положила ему на грудь тоненькую стопку писем. Среди них он узнал треугольнички матери с выведенными нечетким старческим почерком адресами и знакомые конверты, похожие на те, что он всегда носил с собой в кармане гимнастерки. Он просиял, увидев эти конверты, и сделал движение, чтобы высвободить руку из-под одеяла.

— Это от девушки? — горестно спросил «метеорологический сержант», снова краснея до того, что длинные бронзовые ресницы слиплись от слез.

Мересьев понял, что он не ослышался тогда, во время разрыва, понял и не решился сказать правду.

— От замужней сестры. У нее другая фамилия,— сказал он, чувствуя, что сам себе противен.

Сквозь рокот прогреваемых моторов послышались голоса. Открылся боковой люк, в него влез врач в халате поверх шинели.

— Один больной уже здесь? — спросил он, посмотрев на Мересьева.— Отлично! Вносите другого, сейчас летим. А вы что тут делаете, мадам? — Он посмотрел сквозь запотевшие очки на «метеорологического сержанта», старавшегося спрятаться за спину Юры.— Прошу выйти, сейчас летим. Эй! Давайте носилки!

— Пишите, ради бога пишите, я буду ждать! — услышал Алексей шепот девушки.

Врач с помощью Юры поднимал в самолет носилки, на которых кто-то тихо и протяжно стонал. Когда их ставили в гнездо, простыня слетела, и Мересьев увидел на них искаженное страданием лицо Кукушкина. Доктор потер руки, осмотрел кабину, похлопал Мересьева по животу:

— Отлично, великолепно! Итак, молодой человек, вот вам компаньон, чтобы не скучно было лететь. А? Теперь все посторонние вон. А эта Лорелея в сержантском звании исчезла? Очень хорошо. Прошу двигаться!..

Он вытолкал замешкавшегося Юру. Двери закрыли, самолет вздрогнул, тронулся, запрыгал и потом стих и плавно поплыл в родной стихии под ровный рокот моторов. Врач, держась за стены, подошел к Мересьеву.

— Как себя чувствуем? Дайте пульс.— Он с любопытством посмотрел на Алексея и покачал головой: — М-да! Сильная личность! Про ваши приключения друзья рассказывают что-то такое совершенно невероятное, джек-лондоновское.

Он присел в свое кресло, поерзал в нем, усаживаясь поудобнее, и сразу обмяк и поник засыпая. И видно стало, как смертельно устал этот немолодой бледный человек.

«Что-то джек-лондоновское!» — подумал Мересьев, и в памяти возникло далекое воспоминание детства — рассказ о человеке, который с обмороженными ногами движется через пустыню, преследуемый больным и голодным зверем. Под убаюкивающий, ровный гул моторов все начало плыть, терять очертания, растворяться в серой мгле, и последней мыслью засыпающего Алексея была странная мысль о том, что нет ни войны, ни бомбежки, ни этой мучительной, непрерывной, ноющей боли в ногах, ни самолета, несущегося к Москве, что все это из чудесной книжки, читанной в детстве в далеком городе Камышине.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Андрей Дегтяренко и Леночка не преувеличивали, расписывая своему другу великолепие столичного госпиталя, куда по просьбе командующего армией был помещен Алексей Мересьев, а за компанию и лейтенант Константин Кукушкин, доставленный вместе с ним в Москву.

До войны это была клиника института, где известный советский ученый изыскивал новые методы быстрого восстановления человеческого организма после болезней и травм. У этого учреждения были крепко сложившиеся традиции и мировая слава.

В дни войны ученый превратил клинику своего института в офицерский госпиталь. По-прежнему больным предоставлялись тут все виды лечения, какие только знала к тому времени передовая наука. Война, бушевавшая недалеко от столицы, вызвала такой приток раненых, что госпиталю пришлось вчетверо увеличить число коек по сравнению с тем, на какое он был рассчитан. Все подсобные помещения — приемные для встреч с посетителями, комнаты для чтения и тихих игр, комнаты медицинского персонала и общие столовые для выздоравливающих — были превращены в палаты. Ученый уступил для раненых даже свой кабинет, смежный с его лабораторией, а сам вместе со своими книгами и привычными вещами перебрался в маленькую комнатку, где раньше была дежурка. И все же порой приходилось ставить койки в коридорах.

Среди сверкающих белизною стен, казалось самим архитектором предназначенных для торжественной тишины храма медицины, отовсюду слышались протяжные стоны, оханье, храп спящих, бред тяжелобольных. Прочно воцарился тут тяжкий, душный запах войны — запах окровавленных бинтов, воспаленных ран, заживо гниющего человеческого мяса, который не в силах было истребить никакое проветривание. Уже давно рядом с удобными, сделанными по чертежам самого ученого кроватями стояли походные раскладушки. Не хватало посуды. Наряду с красивым фаянсом клиники были в ходу мятые алюминиевые миски. Разорвавшаяся неподалеку бомба взрывной волной выдавила стекла огромных итальянских окон, и их при-

шлось забить фанерой. Не хватало воды, то и дело выключался газ, и инструменты приходилось кипятить на старинных спиртовках. А раненые всё поступали. Их привозили все больше и больше — на самолетах, на автомашинах, в поездах. Приток их рос по мере того, как на фронте возрастала мощь нашего наступления.

И все же персонал госпиталя — весь, начиная с его шефа, заслуженного деятеля науки и депутата Верховного Совета, и кончая любой сиделкой, гардеробщицей, швейцаршей,— все эти усталые, иногда полуголодные, сбившиеся с ног, не высыпавшиеся люди продолжали фанатически блюсти порядки своего учреждения. Сиделки, дежурившие порой по две и даже по три смены подряд, использовали любую свободную минуту, для того чтобы чистить, мыть, скрести. Сестры, похудевшие, постаревшие, шатавшиеся от усталости, по-прежнему являлись на работу в крахмальных халатах и были так же скрупулезно требовательны в исполнении врачебных назначений. Ординаторы, как и прежде, придирались к малейшему пятнышку на постельном белье и свежим носовым платком проверяли чистоту стен, лестничных перил, дверных ручек. Сам же шеф, огромный краснолицый старик с седеющей гривой над высоким лбом, усатый, с черной, густо посеребренной эспаньолкой, неистовый ругатель, дважды в день, как и до войны, в сопровождении стаи накрахмаленных ординаторов и ассистентов обходил в положенные часы палаты, смотрел диагнозы новичков, консультировал тяжелые случаи.

В те дни боевой страды у него была уйма дел и вне этого госпиталя. Но он всегда находил время для любимого детища, выкраивая часы за счет отдыха и сна. Распекая кого-нибудь из персонала за нерадивость — а он делал это шумно, страстно, обязательно на месте происшествия, в присутствии больных,— он всегда говорил, что его клиника, образцово, как и прежде, работающая в настороженной, затемненной, военной Москве,— это и есть их ответ всем этим гитлерам и герингам, что он не желает слышать никаких ссылок на трудности войны, что бездельники и лодыри могут убираться ко всем чертям и что именно сейчас-то, когда все так трудно, в госпитале должен быть особо строгий порядок. Сам он продолжал совершать свои обходы с такой точностью, что сиделки всё так же проверяли по его появлению стенные часы в палатах. Даже воздушные тревоги не нарушали точности этого человека. Должно

быть, именно это и заставляло персонал творить чудеса и в совершенно невероятных условиях поддерживать довоенные порядки.

Однажды во время утреннего обхода шеф госпиталя — назовем его Василием Васильевичем — наткнулся на две койки, стоявшие рядом на лестничной площадке третьего этажа.

— Что за выставка? — рявкнул он и метнул из-под мохнатых своих бровей в ординатора такой взгляд, что этот высокий сутулый, уже немолодой человек очень почтенной внешности вытянулся, как школьник:

— Только ночью привезли... Летчики. Вот этот с переломом бедра и правой руки. Состояние нормальное. А тот,— он показал рукой на очень худого человека неопределенных лет, неподвижно лежавшего с закрытыми глазами,— тот тяжелый. Раздроблены плюсны ног, гангрена обеих ступней, а главное — крайнее истощение. Я не верю, конечно, но сопровождавший их военврач второго ранга пишет, будто больной с раздробленными ступнями восемнадцать дней выползал из немецкого тыла. Это, конечно, преувеличение.

Не слушая ординатора, Василий Васильевич приподнял одеяло. Алексей Мересьев лежал со скрещенными на груди руками; по этим обтянутым темной кожей рукам, резко выделявшимся на белизне свежей рубашки и простыни, можно было бы изучать костное строение человека. Профессор бережно покрыл летчика одеялом и ворчливо перебил ординатора:

— Почему здесь лежат?

— В коридоре места уже нет... Вы сами...

— Что «вы сами», «вы сами»! А в сорок второй?

— Но это же полковничья.

— Полковничья? — Профессор вдруг взорвался: — Какой это болван придумал? Полковничья! Дурачье!

— Но ведь нам же сказано: оставить резерв для Героев Советского Союза.

— «Героев», «героев»! В этой войне все герои. Да что вы меня учите? Кто здесь начальник? Кому не нравятся мои распоряжения, может немедленно убираться. Сейчас же перенести летчиков в сорок вторую! Выдумываете всякие глупости: «полковничья»!

Он пошел было прочь, сопровождаемый притихшей свитой, но вдруг вернулся, наклонился над койкой Мересьева и, положив на плечо летчика свою пухлую, изъеденную

бесконечными дезинфекциями, шелушащуюся руку, спросил:

— А верно, что ты больше двух недель полз из немецкого тыла?

— Неужели у меня гангрена? — упавшим голосом проговорил Мересьев.

Профессор царапнул сердитым взглядом свою остановившуюся в дверях свиту, глянул летчику прямо в черные большие его зрачки, в которых были тоска и тревога, и вдруг сказал:

— Таких, как ты, грешно обманывать. Гангрена. Но носа не вешать. Неизлечимых болезней на свете нет, как нет и безвыходных положений. Запомнил? То-то.

И он ушел, большой, шумный, и уже откуда-то издалека, из-за стеклянной двери коридора, слышалась его басовитая воркотня.

— Забавный дядька,— сказал Мересьев, тяжело смотря ему вслед.

— Псих. Видал? Под нас подыгрывается. Знаем мы таких простеньких! — отозвался со своей койки Кукушкин, криво усмехаясь.— Значит, сподобились чести в «полковничью» попасть.

— Гангрена,— тихо произнес Мересьев и повторил с тоской: — Гангрена...

2

Так называемая «полковничья» палата помещалась во втором этаже в конце коридора. Окна ее выходили на юг и на восток, и поэтому солнце кочевало по ней весь день, постепенно перемещаясь с одних коек на другие. Это была сравнительно небольшая комната. Судя по темным пятнам, сохранившимся на паркете, стояли в ней до войны две кровати, две тумбочки и круглый стол посредине. Теперь здесь помещались четыре койки. На одной лежал весь забинтованный, похожий на запеленатого новорожденного раненый. Он лежал всегда на спине и смотрел из-под бинтов в потолок пустым, неподвижным взглядом. На другой, рядом с которой лежал Алексей, помещался подвижной человечек с морщинистым рябым солдатским лицом, с белесыми тонкими усиками, услужливый и разговорчивый.

Люди в госпитале быстро знакомятся. К вечеру Алек-

сей уже знал, что рябой — сибиряк, председатель колхоза, охотник, а по военной профессии снайпер, и снайпер удачливый. Со дня знаменитых боев под Ельней, когда он в составе своей Сибирской дивизии, в которой вместе с ним служили два его сына и зять, включился в войну, он успел, как он выражался, «нащелкать» до семидесяти немцев. Был он Герой Советского Союза, и, когда назвал Алексею свою фамилию, тот с интересом оглядел его невзрачную фигурку. Фамилия эта в те дни была широко известна в армии. Большие газеты даже посвятили снайперу передовые. Все в госпитале — и сестры, и врач-ординатор, и сам Василий Васильевич — называли его уважительно Степаном Ивановичем.

Четвертый обитатель палаты, лежавший в бинтах, за весь день ничего о себе не сказал. Он вообще не произнес ни слова, но Степан Иванович, все на свете знавший, потихоньку рассказал Мересьеву его историю. Звали того Григорий Гвоздев. Он был лейтенант танковых войск и тоже Герой Советского Союза. В армию он пришел из танкового училища и воевал с первых дней войны, приняв первый бой на границе, где-то у Брест-Литовской крепости. В известном танковом сражении под Белостоком он потерял свою машину. Тут же пересел на другой танк, командир которого был убит, и с остатками танковой дивизии стал прикрывать войска, отступавшие к Минску. В бою на Буге он потерял вторую машину, был ранен, пересел на третью и, заменив погибшего командира, принял на себя командование ротой. Потом, очутившись в немецком тылу, он создал кочующую танковую группу из трех машин и с месяц бродил с ней по глубоким немецким тылам, нападая на обозы и колонны. Он заправлялся горючим, довольствовался боеприпасами и запасными частями на полях недавних сражений. Здесь, по зеленым лощинам у большаков, в лесах и болотах, в изобилии и без всякого присмотра стояли подбитые машины любых марок.

Родом он был из-под Дорогобужа. Когда из сводок Советского Информбюро, которые аккуратно принимали на рацию командирской машины танкисты, Гвоздев узнал, что линия фронта подошла к родным его местам, он не вытерпел, взорвал три своих танка и с бойцами, которых у него уцелело восемь человек, стал пробираться лесами.

Перед самой войной ему удалось побывать дома, в маленькой деревеньке на берегу извилистой луговой речки. Мать его, сельская учительница, тяжело заболела, и отец,

старый агроном, член областного Совета депутатов трудящихся, вызвал сына из армии.

Гвоздев вспоминал деревянный приземистый домик у школы, мать, маленькую, исхудалую, беспомощно лежавшую на старом диване, отца в чесучовом, старинного покроя пиджаке, озабоченно покашливавшего и пощипывавшего седую бородку возле ложа больной, и трех сестер-подростков, маленьких, чернявых, очень похожих на мать. Вспоминал сельскую фельдшерицу Женю — тоненькую, голубоглазую, которая проводила его на подводе до самой станции и которой он обещал каждый день писать письма. Пробираясь, как зверь, по вытоптанным полям, по сожженным, пустым деревням Белоруссии, обходя города и избегая проезжих дорог, он тоскливо гадал, что увидит в маленьком родном доме, удалось ли его близким уйти и что с ними стало, если они не ушли.

То, что Гвоздев увидел на родине, оказалось страшнее самых мрачных предположений. Он не нашел ни домика, ни родных, ни Жени, ни самой деревни. От полоумной старухи, которая, приплясывая и бормоча, что-то варила в печке, стоявшей среди черных пепелищ, он узнал, что, когда подходили немцы, учительше было очень худо и что агроном с девочками не решились ни увезти, ни покинуть ее. Гитлеровцы узнали, что в деревне осталась семья члена областного Совета депутатов трудящихся. Их схватили и в ту же ночь повесили на березе возле дома, а дом сожгли. Женю, которая побежала к самому главному немецкому офицеру, просить за семью Гвоздева, будто бы долго мучили, будто домогался ее офицер, и что уж там произошло, старуха не знала, а только вынесли девушку из избы, где жил офицер, на вторые сутки, мертвую, и два дня лежало ее тело у реки. А деревня сгорела всего пять дней назад, и спалили ее немцы за то, что кто-то ночью зажег их бензоцистерны, стоявшие на колхозной конюшне.

Старуха отвела танкиста на пепелище дома и показала старую березу. На толстом суку в детстве висели его качели. Теперь береза засохла, и на убитом жаром суку ветер покачивал пять веревочных обрезков. Приплясывая и бормоча про себя молитвы, старуха повела Гвоздева на реку и показала место, где лежало тело девушки, которой он обещал писать каждый день, да так потом ни разу и не собрался. Он постоял среди шелестевшей осоки, потом повернулся и пошел к лесу, где ждали его бойцы. Он не сказал ни слова, не проронил ни одной слезы.

В конце июня, во время наступления армии генерала Конева на Западном фронте, Григорий Гвоздев вместе со своими бойцами пробился через немецкий фронт. В августе он получил первую машину, знаменитую «Т-34», и до зимы успел прослыть в батальоне человеком «без меры». Про него рассказывали, о нем писали в газетах истории, казавшиеся невероятными, но происходившие на самом деле. Однажды, посланный в разведку, он на своей машине ночью на полном газу проскочил немецкие укрепления, благополучно пересек минное поле, стреляя и сея панику, прорвался в занятый немцами городок, зажатый в полукольцо частями Красной Армии, и вырвался к своим на другом конце, наделав немцам немало переполоху. В другой раз, действуя в подвижной группе в немецком тылу, он, выскочив из засады, ринулся на немецкий гужевой обоз, давя гусеницами солдат, лошадей и подводы.

Зимой во главе небольшой танковой группы он атаковал гарнизон укрепленной деревни у Ржева, где помещался маленький оперативный штаб противника. Еще у околицы, когда танки проходили оборонительную полосу, в его машину угодила ампула с горючей жидкостью. Чадное, душное пламя окутало танк, но экипаж его продолжал бороться. Точно гигантский факел, несся танк по деревне, стреляя из всего своего бортового оружия, маневрируя, настигая и гусеницами давя бегущих немецких солдат. Гвоздев и экипаж, который он подобрал из людей, выходивших вместе с ним из окружения, знали, что они вот-вот должны погибнуть от взрыва бака или боеприпасов. Они задыхались в дыму, обжигались о накалявшуюся броню, одежда уже тлела на них, но они продолжали драться. Тяжелый снаряд, разорвавшийся под гусеницами машины, опрокинул танк, и то ли взрывной волной, то ли поднятыми песком и снегом сбило с него пламя. Гвоздева вынули из машины обгоревшим. Он сидел в башне рядом с убитым стрелком, которого заменил в бою...

Второй месяц уже находился танкист на грани жизни и смерти, без надежды поправиться, ничем не интересуясь и иной раз не произнося за сутки ни одного слова.

Мир тяжело раненных обычно ограничен стенами их госпитальной палаты. Где-то за пределами этих стен идет война, вершатся великие и малые события, бурлят страсти, и каждый день накладывает какой-то новый штришок на душу человека. В палату «тяжелых» жизнь внешнего мира не впускают, и бури за стенами госпиталя доходят сюда

только отдаленными и глухими отголосками. Палата поневоле жила своими маленькими событиями. Муха, сонная и пыльная, появившаяся неизвестно откуда на отогретом дневным солнцем стекле,— происшествие. Новые туфли с высокими каблуками, которые надела сегодня палатная сестра Клавдия Михайловна, собиравшаяся прямо из госпиталя в театр,— новость. Компот из чернослива, поданный на третье вместо всем надоевшего урюкового киселя,— тема для беседы.

И то всегдашнее, что заполняло для «тяжелого» томительно медленные госпитальные дни, что приковывало к себе его мысли, была его рана, вырвавшая его из рядов бойцов, из трудной боевой жизни и бросившая сюда, на эту вот мягкую и удобную, но сразу же опостылевшую койку. Он засыпал с мыслью об этой ране, опухоли или переломе, видел их во сне и, проснувшись, сейчас же лихорадочно старался узнать, убавилась ли опухоль, сошла ли краснота, повысилась или понизилась температура. И как в ночной тишине настороженное ухо склонно вдесятеро преувеличивать каждый шорох, так и тут эта постоянная сосредоточенность на своем недуге делала раны еще более болезненными и заставляла даже самых твердых и волевых людей, спокойно смотревших в бою в глаза смерти, пугливо улавливать оттенки в голосе профессора и с замиранием сердца угадывать по лицу Василия Васильевича его мнение о ходе болезни.

Кукушкин много и сердито брюзжал. Ему все казалось, что шины наложены не так, что они слишком зажаты и что от этого кости срастутся неправильно и их придется ломать. Гриша Гвоздев молчал, погруженный в унылое полузабытье. Но нетрудно было заметить, с каким взволнованным нетерпением осматривает он свое багрово-красное, увешанное лохмотьями обгорелой кожи тело, когда Клавдия Михайловна, меняя ему повязки, горстями бросает вазелин на его раны, и как он настораживается, когда слышит разговор врачей. Степан Иванович, единственный в палате, кто мог передвигаться, правда согнувшись кочергой и цепляясь за спинки кроватей, постоянно смешно и сердито бранил настигшую его «дуру бомбу» и вызванный контузией «растреклятый радикулит».

Мересьев тщательно скрывал свои переживания, делал вид, что его не интересуют разговоры врачей. Но всякий раз, когда ноги разбинтовывали для электризации и он видел, как медленно, но неуклонно ползет вверх по подъему

предательская багровая краснота, глаза его расширялись от ужаса.

Характер у него стал беспокойным, мрачным. Неловкая шутка товарища, складка на простыне, щетка, упавшая из рук у старой сиделки, вызывали в нем вспышки гнева, которые он с трудом подавлял. Правда, строгий, медленно увеличивающийся рацион отличной госпитальной пищи быстро восстанавливал его силы, и во время перевязок или облучения худоба его не вызывала уже больше испуганных взглядов молоденьких практиканток. Но с той же быстротой, с какой крепнул организм, становилось хуже его ногам. Краснота перевалила уже подъем и расползалась по щиколоткам. Пальцы совершенно потеряли чувствительность, их кололи булавками, и булавки эти входили в тело, не вызывая боли. Распространение опухоли удалось приостановить каким-то новым способом, носившим странное название «блокада». Но боль росла. Она становилась совершенно нестерпимой. Днем Алексей тихо лежал, уткнувшись лицом в подушку. Ночью Клавдия Михайловна впрыскивала ему морфий.

Все чаще и чаще в разговорах врачей звучало теперь страшное слово «ампутация». Василий Васильевич иногда останавливался у койки Мересьева, спрашивал:

— Ну как, ползун, мозжит? Может, отрезать, а? Чик — и к стороне.

Алексей весь холодел и сжимался. Стиснув зубы, чтобы не закричать, он только мотал головой, и профессор сердито бормотал:

— Ну, терпи, терпи — твое дело. Попробуем еще вот это,— и делал новое назначение.

Дверь за ним закрывалась, стихали в коридоре шаги обхода, а Мересьев лежал с закрытыми глазами и думал: «Ноги, ноги, ноги мои!..» Неужели остаться без ног, калекой, на деревяшках, как старый перевозчик дядя Аркаша в родном его Камышине! Чтобы при купанье так же, как тот, отстегивать и оставлять на берегу деревяшки, а самому на руках, по-обезьяньи лезть в воду...

Эти переживания усугублялись еще одним обстоятельством. В первый же день в госпитале он прочел письма из Камышина. Маленькие треугольнички матери, как и все вообще материнские письма, были коротки, наполовину состояли из родственных поклонов и успокоительных заверений в том, что дома все слава богу и что он, Алеша, о ней может не беспокоиться, а наполовину — из просьб беречь

себя, не студиться, не мочить ног, не лезть туда, где опасно, остерегаться коварства врага, о котором мать достаточно наслышана от соседок. Письма эти по содержанию были все одинаковы, и разница в них была только в том, что в одном мать сообщала, как попросила соседку помолиться за воина Алексея, хотя сама в бога не верит, но все же на всякий случай,— а вдруг что-нибудь там да есть; в другом — беспокоилась о старших братьях, сражавшихся где-то на юге и давно не писавших, а в последнем писала, что видела во сне, будто на волжское половодье съехались к ней все сыны, будто вернулись они с удачной рыбалки вместе с покойником отцом и она всех угощала любимым семейным лакомством — пирогом с визигой, и что соседки истолковали этот сон так: кто-нибудь из сыновей должен обязательно приехать домой с фронта. Старуха просила Алексея попытать начальство, не отпустят ли его домой хоть на денек.

В синих конвертах, надписанных крупным и круглым ученическим почерком, были письма от девушки, с которой Алексей вместе учился в ФЗУ. Звали ее Ольгой. Она работала теперь техником на Камышинском лесозаводе, где в отрочестве работал и он токарем по металлу. Девушка эта была не только другом детства. И письма от нее были необычные, особенные. Недаром читал он их по нескольку раз, возвращался к ним снова и снова, ища за самыми простыми строчками какой-то иной, не вполне понятный ему самому, радостный, скрытый смысл.

Писала она, что хлопот у нее полон рот, что теперь и ночевать домой она не ходит, чтобы не терять времени, а спит тут же, в конторе, что завода своего теперь Алексей, пожалуй, и не узнал бы и что поразился бы и сошел бы с ума от радости, если бы догадался, что́ они сейчас производят. Между прочим писала, что в редкие выходные, которые случаются у нее не чаще раза в месяц, бывает она у его матери, что чувствует себя старушка неважно, так как от старших братьев — ни слуху ни духу, что живется матери туго, в последнее время она стала сильно прихварывать. Девушка просила почаще и побольше писать матери и не волновать ее дурными вестями, так как он для нее теперь, может быть, единственная радость.

Читая и перечитывая письма Оли, Алексей раскусил материнскую хитрость со сном. Он понял, как ждет его мать, как надеется на него, и понял также, как страшно потрясет он их обеих, сообщив о своей катастрофе. Долго

раздумывал он, как ему быть, и не хватило духу написать домой правду. Он решил подождать и написал обеим, что живет хорошо, перевели его на тихий участок, а чтобы оправдать перемену адреса, сообщил для пущего правдоподобия, что служит теперь в тыловой части и выполняет специальное задание и что, по всему видать, проторчит он в ней еще долго.

И вот теперь, когда в беседах врачей все чаще и чаще звучало слово «ампутация», ему становилось страшно. Как он калекой приедет в Камышин? Как он покажет Оле свои культяпки? Какой страшный удар нанесет он своей матери, растерявшей на фронтах всех сыновей и ожидающей домой его, последнего! Вот о чем думал он в томительно тоскливой тишине палаты, слушая, как сердито стонут матрацные пружины под беспокойным Кукушкиным, как молча вздыхает танкист и как барабанит пальцами по стеклу согнутый в три погибели Степан Иванович, проводящий все дни у окна.

«Ампутация? Нет, только не это! Лучше смерть... Какое холодное, колючее слово! Ампутация! Да нет же, не быть тому!» — думал Алексей. Страшное слово даже снилось ему в виде какого-то стального, неопределенных форм паука, раздиравшего его острыми, коленчатыми ногами.

3

С неделю обитатели сорок второй палаты жили вчетвером. Но однажды пришла озабоченная Клавдия Михайловна с двумя санитарами и сообщила, что придется потесниться. Койку Степана Ивановича, к его великой радости, установили у самого окна. Кукушкина перенесли в угол, рядом со Степаном Ивановичем, а на освободившееся место поставили хорошую низкую кровать с мягким пружинным матрацем.

Это взорвало Кукушкина. Он побледнел, застучал кулаком по тумбочке, стал визгливо ругать и сестру, и госпиталь, и самого Василия Васильевича, грозил жаловаться кому-то, куда-то писать и так разошелся, что чуть было не запустил кружкой в бедную Клавдию Михайловну, и, может быть, даже запустил бы, если бы Алексей, бешено сверкая своими цыганскими глазами, не осадил его грозным окриком.

Как раз в этот момент и внесли пятого.

Он был, должно быть, очень тяжел, так как носилки скрипели, глубоко прогибаясь в такт шагам санитаров. На подушке бессильно покачивалась круглая, наголо выбритая голова. Широкое желтое, точно налитое воском, одутловатое лицо было безжизненно. На полных бледных губах застыло страдание.

Казалось, новичок был без сознания. Но как только носилки поставили на пол, больной сейчас же открыл глаза, приподнялся на локте, с любопытством осмотрел палату, почему-то подмигнул Степану Ивановичу — дескать, как она, жизнь-то, ничего? — басовито прокашлялся. Грузное тело его было, вероятно, тяжело контужено, и это причиняло ему острую боль. Мересьев, которому этот большой распухший человек с первого взгляда почему-то не понравился, с неприязнью следил за тем, как два санитара, две сиделки и сестра общими усилиями с трудом поднимали того на кровать. Он видел, как лицо новичка вдруг побледнело и покрылось испариной, когда неловко повернули его бревноподобную ногу, как болезненная гримаса перекосила его побелевшие губы. Но тот только скрипнул зубами.

Очутившись на койке, он сейчас же ровно выложил по краю одеяла каемку пододеяльника, стопками разложил на тумбочке принесенные за ним книжки и блокноты, аккуратно расставил на нижней полочке пасту, одеколон, бритвенный прибор, мыльницу, потом хозяйственным оком подвел итог всем этим своим делам и тотчас, точно сразу почувствовав себя дома, глубоким и раскатистым басом прогудел:

— Ну, давайте знакомиться. Полковой комиссар Семен Воробьев. Человек смирный, некурящий. Прошу принять в компанию.

Он спокойно и с интересом оглядел товарищей по палате, и Мересьев успел поймать на себе внимательно-испытующий взгляд его узеньких золотистых, очень цепких глаз.

— Я к вам ненадолго. Не знаю, кому как, а мне здесь залеживаться недосуг. Меня мои конники ждут. Вот лед пройдет, дороги подсохнут — и айда: «Мы красная кавалерия, и про нас...» А? — пророкотал он, заполняя всю комнату сочным, веселым басом.

— Все мы тут ненадолго. Лед тронется — и айда... ногами вперед в пятидесятую палату,— отозвался Кукушкин, резко отвернувшись к стене.

Пятидесятой палаты в госпитале не было. Так между собой больные называли мертвецкую. Вряд ли комиссар успел узнать об этом, но он сразу уловил мрачный смысл шутки, не обиделся и только, с удивлением глянув на Кукушкина, спросил:

— А сколько вам, дорогой друг, лет? Эх, борода, борода! Что-то вы рано состарились.

4

С появлением в сорок второй нового больного, которого все стали называть между собой Комиссаром, весь строй жизни палаты сразу переменился. Этот грузный и немощный человек на второй же день со всеми перезнакомился и, как выразился потом о нем Степан Иванович, сумел при этом к «каждому подобрать свой особый ключик».

Со Степаном Ивановичем он потолковал всласть о конях и об охоте, которую они оба очень любили, будучи большими знатоками. С Мересьевым, любившим вникать в суть войны, задорно поспорил о современных способах применения авиации, танков и кавалерии, причем не без страсти доказывал, что авиация и танки — это, конечно, славная штука, но что и конь себя не изжил и еще покажет, и если сейчас хорошо подремонтировать кавалерийские части, да подкрепить их техникой, да в помощь старым рубакам-командирам вырастить широко и смело мыслящую молодежь — наша конница еще удивит мир. Даже с молчаливым танкистом он нашел общий язык. Оказалось, дивизия, в которой он был комиссаром, воевала у Ярцева, а потом на Духовщине, участвуя в знаменитом коневском контрударе, там, где танкист со своей группой выбился из окружения. И Комиссар с увлечением перечислял знакомые им обоим названия деревень и рассказывал, как и где именно досталось там немцам. Танкист по-прежнему молчал, но не отворачивался, как бывало раньше. Лица его из-за бинтов не было видно, но он согласно покачивал головой. Кукушкин же сразу сменил гнев на милость, когда Комиссар предложил ему сыграть партию в шахматы. Доска стояла у Кукушкина на койке, а Комиссар играл «вслепую», лежа с закрытыми глазами. Он в пух и прах разбил сварливого лейтенанта и этим окончательно примирил его с собой.

С прибытием Комиссара в палате произошло что-то подобное тому, что бывало по утрам, когда сиделка открывала форточку и в нудную больничную тишину вместе с веселым шумом улиц врывался свежий и влажный воздух ранней московской весны. Комиссар не делал для этого никаких усилий. Он просто жил, жил жадно и полнокровно, забывая или заставляя себя забывать о мучивших его недугах.

Проснувшись утром, он садился на койке, разводил руки вверх, вбок, наклонялся, выпрямлялся, ритмично вращал и наклонял голову — делал гимнастику. Когда давали мыться, он требовал воду похолоднее, долго фыркал и плескался пад тазом, а потом вытирался полотенцем с таким азартом, что краснота выступала на его отекшем теле, и, глядя на него, всем невольно хотелось сделать то же. Приносили газеты. Он жадно выхватывал их у сестры и торопливо вслух читал сводку Советского Информбюро, потом уже обстоятельно, одну за другой,— корреспонденции с фронта. И читать он умел как-то по-своему — так сказать, активно: то вдруг начинал шепотом повторять понравившееся ему место и бормотать «правильно» и что-то подчеркивал, то вдруг сердито восклицал: «Врет, собака! Ставлю мою голову против пивной бутылки, что на фронте не был. Вот мерзавец! А пишет». Однажды, рассердившись на какого-то заврашегося корреспондента, он тут же написал в редакцию газеты сердитую открытку, доказывая в ней, что на войне таких вещей не бывает, быть не может, прося унять расходившегося враля. А то задумывался над газетой, откидывался на подушку и лежал так с раскрытыми глазами или начинал вдруг рассказывать интересные истории о своих конниках, которые, если судить с его слов, все были герой к герою и молодец к молодцу. А потом снова принимался за чтение. И странно, эти его замечания и лирические отступления нисколько не мешали слушателям, не отвлекали, а, наоборот, помогали постигать значение прочитанного.

Два часа в день, между обедом и лечебными процедурами, он занимался немецким языком, твердил слова, составлял фразы и иногда, вдруг задумываясь над смыслом чужого языка, говорил:

— А знаете, хлопцы, как по-немецки цыпленок? Кюхельхен. Здорово! Кюхельхен — что-то эдакое маленькое, пушистое, нежное. А колокольчик, знаете как? Глёклинг. Звонкое слово, верно?

Как-то раз Степан Иванович не утерпел:

— А на что вам, товарищ полковой комиссар, немецкий-то язык? Не зря ли себя томите? Силы бы вам поберечь...

Комиссар хитро глянул на старого солдата:

— Эх, борода, разве это для русского человека жизнь? А на каком же языке я буду с немками в Берлине разговаривать, когда туда придем? По-твоему, по-чалдонски, что ли? А?

Степан Иванович, сидевший на койке у Комиссара, хотел, должно быть, резонно возразить, что-де линия фронта идет пока близко от Москвы и что до немок далековато, но в голосе Комиссара звучала такая убежденность, что солдат только крякнул и добавил:

— Так-то так, не по-чалдонски, конечно. Однако поберечься бы вам, товарищ комиссар, после эдакой-то контузии.

— Бережен конь первым с копыт и валится. Вот так, борода!

Никто из больных бороды не носил. Комиссар же всех почему-то именовал «бородами». Получалось это у него не обидно, а весело, и у всех от этого шутливого названия легчало на душе.

Алексей целыми днями приглядывался к Комиссару, пытаясь понять секрет его неиссякаемой бодрости. Несомненно, тот сильно страдал. Стоило ему заснуть и потерять контроль над собой, как он сразу же начинал стонать, метаться, скрежетать зубами, лицо его искажалось судорогой. Вероятно, он знал это и старался не спать днем, находя для себя какое-нибудь занятие. Бодрствуя же, он был неизменно спокоен и ровен, как будто и не мучил его страшный недуг, неторопливо разговаривал с врачами, пошучивал, когда те прощупывали и осматривали у него больные места, и разве только по тому, как рука его при этом комкала простыню, да по бисеринкам пота, выступавшим на переносице, можно было угадать, до чего трудно ему было сдерживаться. Летчик не понимал, как может этот человек подавлять страшную боль, откуда у него столько энергии, бодрости, жизнерадостности. Алексею хотелось понять это, тем более что, несмотря на все увеличивавшиеся дозы наркотиков, он сам не мог уже спать по ночам и иногда до утра лежал с открытыми глазами, вцепившись зубами в одеяло, чтобы не стонать.

Все чаще, все настойчивее звучало теперь на осмотрах зловещее слово «ампутация». Чувствуя неуклонное приближение страшного дня, Алексей решил, что жить без ног не стоит.

5

И вот день настал. На обходе Василий Васильевич долго ощупывал почерневшие, уже не чувствовавшие прикосновений ступни, потом резко выпрямился и произнес, глядя прямо в глаза Мересьеву: «Резать!» Побледневший летчик ничего не успел ответить, как профессор запальчиво добавил: «Резать — и никаких разговоров, слышишь? Иначе подохнешь! Понял?»

Он вышел из комнаты, не оглянувшись на свою свиту. Палату наполнила тяжелая тишина. Мересьев лежал с окаменелым лицом, с открытыми глазами. Перед ним маячили в тумане синие безобразные култышки инвалида-перевозчика, он опять видел, как тот, раздевшись, на четвереньках, по-обезьяньи, опираясь на руки, ползет по мокрому песку к воде.

— Леша,— тихо позвал Комиссар.

— Что? — отозвался Алексей далеким, отсутствующим голосом.

— Так надо, Леша.

В это мгновение Мересьеву показалось, что это не перевозчик, а он сам ползет на культяпках и что его девушка, его Оля, стоит на песке в пестром развевающемся платье, легкая, солнечная, красивая, и, кусая губы, с напряжением смотрит на него. Так будет! И он зарыдал бесшумно и сильно, уткнувшись в подушку, весь сотрясаясь и дергаясь. Всем стало жутко. Степан Иванович, кряхтя, сполз с койки, напялил халат и, шаркая туфлями, перебирая руками по спинке кровати, кряхтя пошел к Мересьеву. Но Комиссар сделал запрещающий знак: дескать, пусть плачет, не мешай.

И действительно, Алексею стало легче. Скоро он успокоился и почувствовал даже облегчение, какое всегда ощущает человек, когда наконец решит долго мучивший его вопрос. Он молчал до самого вечера, пока за ним не пришли санитары, чтобы нести его в операционную. В этой белой, ослепительно сверкающей комнате он тоже не проронил ни слова. Даже когда ему объявили, что состояние

сердца не позволяет усыплять его и операцию придется делать под местным наркозом, он только кивнул головой. Во время операции он не издал ни стона, ни крика. Василий Васильевич, сам делавший эту несложную ампутацию и, по обыкновению своему, грозно пушивший при этом сестер и помощников, несколько раз заставлял ассистента смотреть, не умер ли больной под ножом.

Когда пилили кость, боль была страшная, но он привык переносить страдания и даже не очень понимал, что делают у его ног эти люди в белых халатах, с лицами, закрытыми марлевыми масками.

Очнулся он уже в палате, и первое, что увидел, было заботливое лицо Клавдии Михайловны. Странно, но он ничего не помнил и даже удивился, почему у этой милой, ласковой белокурой женщины такое взволнованное, вопрошающее лицо. Заметив, что он раскрыл глаза, она просияла, тихонько пожала ему руку под одеялом.

— Какой вы молодец! — И сейчас же взялась за пульс.

«Что это она?» — Алексей чувствовал, что ноги у него болят где-то выше, чем раньше, и не прежней горячей, мозжащей, дергающей болью, а как-то тупо и вяло, будто их крепко стянули выше голени веревками. И вдруг увидел по складкам одеяла, что тело его стало короче. Мгновенно вспомнилось: ослепительное сверкапье белой комнаты, свирепая воркотня Василия Васильевича, тупой стук в эмалированном ведре. «Уже?!» — как-то вяло удивился он и, силясь улыбнуться, сказал сестре:

— Я, кажется, стал короче.

Улыбка получилась нехорошая, похожая на гримасу. Клавдия Михайловна заботливо поправила ему волосы:

— Ничего, ничего, голубчик, теперь легче будет.

— Да, верно, легче. На сколько килограммов?

— Не надо, родной, не надо. А вы молодец, иные кричат, других ремнями привязывают и еще держат, а вы не пикнули... Эх, война, война!

В это время из вечерней полутьмы палаты послышался сердитый голос Комиссара:

— Вы чего там панихиду затеяли? Вот передайте ему, сестричка, письма. Везет человеку, даже меня завидки берут: столько писем сразу!

Комиссар передал Мересьеву пачку писем. Это были письма из родного полка. Датированы они были разными днями, но пришли почему-то вместе, и вот теперь, лежа с отрезанными погами, Алексей одно за другим читал эти

дружеские послания, повествующие о далекой, полной трудов, неудобств и опасностей, неудержимо тянувшей к себе жизни, которая была потеряна теперь для него безвозвратно. Он смаковал и большие новости и дорогие мелочи, о которых писали ему из полка. Было ему одинаково интересно и то, что политработник из корпуса проболтался, будто полк представлен к награждению орденом Красного Знамени, что Иванчук получил сразу две награды, и то, что Яшин на охоте убил лисицу, которая почему-то оказалась без хвоста, что у Степы Ростова из-за флюса расстроился роман с сестрой Леночкой. На миг он уносился мыслью туда, на затерянный среди лесов и озер аэродром, который летчики так часто поругивали за коварный грунт и который казался ему теперь лучшей точкой на земле.

Он так увлекся письмами, что не обратил внимания на разницу в датах и не заметил, как Комиссар подмигнул сестре, с улыбкой показывая в его сторону, и тихо шепнул ей: «Мое-то лекарство куда лучше, чем все эти ваши люминалы и вероналы». Алексей так никогда и не узнал, что, предвидя события, Комиссар прятал часть его писем, чтобы в страшный для Мересьева день, передав летчику дружеские приветы и новости с родного аэродрома, смягчить для него тяжелый удар. Комиссар был старый воин. Он знал великую силу этих небрежно и наспех исписанных клочков бумаги, которые на фронте порой бывают важнее, чем лекарства и сухари.

В письме Андрея Дегтяренко, грубоватом и простом, как и он сам, лежала маленькая бумажка, покрытая мелкими кудрявыми буковками и изобилующая восклицательными знаками:

«Товарищ старший лейтенант! Нехорошо, что вы не держите своего слова!!! В полку вас очень часто вспоминают и, я не вру, только о вас и говорят. Недавно товарищ командир полка в столовой сказал, что вот Мересьев Алексей — это да!!! Вы же знаете, что он так только о самых хороших говорит. Возвращайтесь скорей, вас тут ждут!!! Леля большая, из столовой, просит передать вам, что теперь она без прений будет давать вам по три вторых, пусть даже ее за это Военторг уволит. Только нехорошо, что вы не держите слова!!! Другим вы все-таки написали, а мне ничего не написали. Мне это очень обидно, поэтому не пишу вам отдельного письма, а вы мне напишите, пожалуйста, отдельное, как вы живете и как чувствуете!..»

Под этой забавной запиской стояла подпись: «Метеорологический сержант». Мересьев улыбнулся, но взгляд его упал на слова: «Возвращайтесь скорее, вас тут ждут», которые в письме были подчеркнуты. Алексей приподнялся на койке и с видом, с каким шарят по карманам, обнаружив, что потерян важный документ, судорожно провел рукой там, где были ноги. Рука нащупала пустоту.

Лишь в эту минуту Алексей вполне осмыслил всю тяжесть потери. Он никогда больше не вернется в полк, в авиацию, вообще на фронт. Ему никогда больше не подымать самолета в воздух и не бросаться в воздушный бой, никогда! Теперь он инвалид, лишенный любимого дела, прикованный к месту, обуза в доме, лишний в жизни. Это нельзя исправить, это до самой смерти.

6

После операции с Алексеем Мересьевым случилось самое страшное, что может произойти при подобных обстоятельствах. Он ушел в себя. Он не жаловался, не плакал, не раздражался. Он молчал.

Целые дни, неподвижный, лежал он на спине, смотря все на одну и ту же извилистую трещину на потолке. Когда товарищи заговаривали с ним, он отвечал — и часто невпопад — «да», «нет» и снова смолкал, уставившись в темную трещину штукатурки, точно это был некий иероглиф, в расшифровке которого было для него спасение. Он покорно выполнял все назначения врачей, принимал все, что ему прописывали, вяло, без аппетита съедал обед и опять ложился на спину.

— Эй, борода, о чем думаешь? — кричал ему Комиссар.

Алексей поворачивал в его сторону голову с таким выражением, точно не видел его.

— О чем, спрашиваю, думаешь?

— Ни о чем.

В палату как-то зашел Василий Васильевич.

— Ну, ползун, жив? Как дела? Герой, герой, не пикнул! Теперь, брат, верю, что ты восемнадцать дней от немцев на карачках уползал. Я на своем веку столько вашего брата видел, сколько ты картошки не съел, а таких, как ты, резать не приходилось.— Профессор потер свои шелушащиеся, красные руки с изъеденными сулемой ногтями.— Чего хмуришься? Его хвалят, а он хмурится. Я ж генерал-

лейтенант медицинской службы. Ну, приказываю улыбнуться!

С трудом растягивая губы в пустую, резиновую улыбку, Мересьев думал: «Знать бы, что все так кончится, стоило ли ползти? Ведь в пистолете оставалось три патрона».

Комиссар прочел в газете корреспонденцию об интересном воздушном бое. Шесть наших истребителей, вступив в бой с двадцатью двумя немецкими, сбили восемь, а потеряли всего один. Комиссар читал эту корреспонденцию с таким смаком, будто отличились не неведомые ему летчики, а его кавалеристы. Даже Кукушкин загорелся, когда заспорили, стараясь представить, как все это произошло. А Алексей слушал и думал: «Счастливые! Летают, дерутся, а вот мне уже никогда больше не подняться».

Сводки Советского Информбюро становились все лаконичней. По всему было видно, что где-то в тылу Красной Армии уже сжимается мощный кулак для нового удара. Комиссар со Степаном Ивановичем деятельно обсуждали, где этот удар будет нанесен и что он сулит немцам. Еще недавно Алексей был первым в таких разговорах. Теперь он старался их не слушать. Он тоже угадывал нарастание событий, чуя приближение гигантских, может быть, решающих боев. Но мысль о том, что его товарищи, даже, наверно, Кукушкин, который быстро поправляется, будут участвовать в них, а он обречен на прозябание в тылу и что ничем этого уже не исправишь, была для него так горька, что, когда теперь Комиссар читал газеты или начинался разговор о войне, Алексей закрывался с головой одеялом и двигал щекой по подушке, чтобы не видеть и не слышать. А в голове почему-то вертелась фраза: «Рожденный ползать — летать не может!»

Клавдия Михайловна принесла несколько веток вербы, неведомо как и откуда попавших в суровую, военную, перегороженную баррикадами Москву. На столик каждому она поставила в стакане по прутику. От красненьких веток с белыми пушистыми шариками веяло такой свежестью, точно сама весна вошла в сорок вторую палату. Все в этот день были радостно возбуждены. Даже молчаливый танкист пробурчал несколько слов из-под своих бинтов.

Алексей лежал и думал: в Камышине мутные ручьи бегут вдоль раскисших от грязи тротуаров по сверкающим булыжникам мостовой, пахнет отогретой землей, свежей сыростью, конским навозом. В такой вот день стояли они с Олей на крутом берегу Волги, и мимо них по необозри-

мым просторам реки в торжественной тишине, звенящей серебряными колокольчиками жаворонков, бесшумно и плавно шел лед. И казалось, что это не льдины движутся по течению, а они с Олей бесшумно плывут навстречу всклокоченной, бурной реке. Они стояли молча, и так много счастья мерещилось им впереди, что тут, над волжскими просторами, на вольном весеннем ветру, им не хватало воздуха. Ничего этого теперь не будет. Она отвернется от него, а если не отвернется, разве он может принять эту жертву, разве вправе он допустить, чтобы она, такая светлая, красивая, стройная, шла рядом с ним, ковыляющим на култышках!.. И он попросил сестру убрать со стола наивную памятку весны.

Вербу убрали, но от тяжелых мыслей трудно было избавиться: что скажет Оля, узнав, что он стал безногим? Уйдет, забудет, вычеркнет его из своей жизни? Все существо Алексея протестовало: нет, она не такая, она не бросит, не отвернется! И это даже хуже. Он представлял себе, как она из благородства выйдет за него замуж, за безногого, как из-за этого бросит она мечты о высшем техническом образовании, впряжется в служебную лямку, чтобы прокормить себя, инвалида-мужа, и кто знает, может быть, и детей.

Имеет ли он право принять эту жертву? Ведь они еще ничем не обязаны, ведь она невеста, а не жена. Он любил ее, любил хорошо и поэтому решил, что права он такого не имеет, что надо самому перерубить все связывавшие их узлы, перерубить наотмашь, сразу, чтобы избавить ее не только от тяжелого будущего, но и от мук колебания.

Но тут пришли письма со штемпелем «Камышин» и сразу перечеркнули все эти решения. Письмо Оли было полно какой-то скрытой тревоги. Словно предчувствуя несчастье, она писала, что она будет с ним всегда, что бы с ним ни случилось, что жизнь ее в нем, что она думает о нем каждую свободную минуту и что думы эти помогают ей переносить тяготы военной жизни, бессонные ночи на заводе, рытье окопов и противотанковых рвов в свободные дни и ночи и, что там таить, полуголодное существование. «Твоя последняя маленькая карточка, где ты сидишь на пеньке с собакой и улыбаешься, всегда со мной. Я вставила ее в мамин медальон и ношу на груди. Когда мне тяжело, открываю и смотрю... И знаешь, я верю: пока мы любим друг друга, нам ничего не страшно». Писала она также, что его мать последнее время очень беспокоится о

нем, и опять требовала, чтобы он писал старушке чаще и не волновал ее дурными вестями.

В первый раз письма из родного города, каждое из которых было раньше счастливым событием, надолго согревавшим душу в трудные фронтовые дни, не обрадовали Алексея. Они внесли новое смятение в его душу, и вот тут-то он и совершил ошибку, которая потом доставила ему столько мук: он не решился написать в Камышин о том, что ему отрезали ноги.

Единственно, кому он подробно написал о своем несчастье и невеселых думах, была девушка с метеостанции. Они почти не были знакомы, и поэтому с ней легко было разговаривать. Не зная даже ее имени, он так и адресовал: ППС, такая-то метеостанция, для «метеорологического сержанта». Он знал, как на фронте берегут письма, и надеялся, что рано или поздно оно даже с таким странным адресом найдет своего адресата. Да это было ему и не важно. Ему просто хотелось перед кем-нибудь высказаться.

В невеселом раздумье текли однообразные госпитальные дни Алексея Мересьева. И, хотя его железный организм легко перенес мастерски сделанную ампутацию и раны быстро затягивались, он заметно слабел и, несмотря на все меры, день ото дня худел и чахнул у всех на глазах.

7

А между тем на дворе буйствовала весна.

Она врывалась и сюда, в сорок вторую палату, в эту комнату, насыщенную запахом йодоформа. Она проникала в форточки прохладным и влажным дыханием талого снега, возбужденным чириканьем воробьев, веселым и звонким скрежетом трамваев на поворотах, гулким стуком шагов по обнажившемуся асфальту, а вечером — однообразным и мягким пиликаньем гармошки. Она заглядывала в боковое окно с освещенной солнцем веточки тополя, на которой набухали продолговатые почки, облитые желтоватым клеем. Она входила в палату золотистыми пятнышками веснушек, осыпавшими бледное доброе лицо Клавдии Михайловны и глядевшими на мир сквозь любой сорт пудры и доставлявшими сестрице немало огорчений. Весна настойчиво напоминала о себе веселым и дробным биением крупных капель о жестяные карнизы окон. Как и всегда, весна размягчала сердца, будила мечты.

— Эх, вот теперь бы с ружьишком, да куда-нибудь на вырубку! Как, Степан Иванович, а?.. В шалашике на заре посидеть бы в засаде... больно хорошо!.. Знаешь, утро розовое, ядреное да с морозцем, а ты сидишь — ухо востро, и вдруг: гл-гл-гл, и крылья — фью-фью-фью... И над тобой садится — хвост веером — и другой, и третий...

Степан Иванович с шумом втягивает в себя воздух, точно и впрямь у него потекли слюнки, а Комиссар не унимается:

— А потом у костерика плащ-палатку постелешь, чайку с дымком да хорошую чарочку, чтобы каждому мускулу тепло стало, а? После трудов-то праведных...

— Ой, и не говорите, товарищ полковой комиссар... А в наших краях об эту пору, знаете, на что бывает охота? Ну не поверите — на щуку, вот те Христос, не слыхали? Знатное дело: баловство, конечно, а не без прибытка. Щука-то, как в озерах лед треснет да речки разольются, все к берегу льнет, нерестится она. И для этого дела лезет,— ну, только что не на берег — в траву, в мох, что полой водой покрыло. Заберется туда, трется, икру сеет. Идешь бережком — и вроде поленья-кругляши потоплые. Ан это она. Из ружья вдаришь! В другой раз и в мешок всего добра не оберешь. Ей-богу! А то еще...

И начинались охотничьи воспоминания. Разговор незаметно сворачивал на фронтовые дела, принимались гадать, что делается сейчас в дивизии, в роте, не «плачут» ли построенные зимой землянки, и не «поползли» ли укрепления, и каково-то весной немцу, привыкшему на Западе шагать по асфальту.

В послеобеденный час начиналось кормление воробьев. Степан Иванович, вообще не умевший сидеть без дела и вечно что-нибудь мастеривший своими сухонькими беспокойными руками, придумал собирать оставшиеся от обеда крошки и выбрасывать их в форточку за окно птицам. Это вошло в обычай. Бросали уже не крошки, оставляли целые куски и нарочно крошили их. Таким образом, по выражению Степана Ивановича, на довольствие была поставлена целая воробьиная стая. Всей палате доставляло огромное наслаждение наблюдать, как маленькие и шумные птицы деятельно трудятся над какой-нибудь большой коркой, пищат, дерутся, а потом, очистив подоконник, отдыхают, ощипываются на ветке тополя и вдруг дружно вспархивают и улетают куда-то по своим воробьиным делам. Кормление воробьев стало любимым развлечением. Некоторых птичек

начали узнавать, наделили даже прозвищами. Особыми симпатиями палаты пользовался куцый нахальный и шустрый воробей, вероятно поплатившийся своим хвостом за дурной, драчливый нрав. Степан Иванович назвал его «Автоматчиком».

Интересно, что именно возня с этими шумными птичками окончательно вывела танкиста из его молчаливого состояния. Сначала он вяло и равнодушно следил за тем, как Степан Иванович, согнутый пополам, опираясь на костыли, долго прилаживался на батарее, чтобы подняться на подоконник и дотянуться до форточки. Но, когда на следующий день воробьи прилетели, танкист, морщась от боли, даже присел на койке, чтобы лучше видеть суматошную птичью возню. На третий день за обедом он сунул под подушку солидный кусок сладкого пирога, точно этот госпитальный деликатес должен был особенно понравиться горластым нахлебникам. Однажды «Автоматчик» не появился, и Кукушкин заявил, что его, вероятно, слопала кошка — и поделом. Молчаливый танкист вдруг взбесился и обругал Кукушкина «лязгой», а когда на следующий день куцый опять пищал и дрался на подоконнике, победно вертя головой с нагло поблескивавшими глазками, танкист засмеялся — засмеялся в первый раз за долгие месяцы.

Прошло немного времени, и Гвоздев вовсе ожил. К общему удивлению, он оказался веселым, разговорчивым и легким человеком, добился этого, конечно, Комиссар, который был действительно мастером подбирать, как говорил Степан Иванович, к каждому человеку свой ключик. И добился вот как.

Самым радостным часом в сорок второй палате было, когда в дверях с таинственным видом, держа руки за спиной, появлялась Клавдия Михайловна и, оглядев всех сияющими глазами, произносила:

— А ну, кто сегодня плясать будет?

Это значило: прибыли письма. Получивший должен был немножко попрыгать на кровати, изображая танец. Чаще всего это приходилось делать Комиссару, получавшему иногда сразу с десяток писем. Ему писали из дивизии, из тыла, писали сослуживцы, командиры и политработники, писали солдаты, писали по старой памяти командирские жены, требуя, чтобы он «приструнил» разболтавшегося мужа, писали вдовы убитых товарищей, прося житейского совета или помощи в делах, писала даже пионерка из Казахстана, дочь убитого командира полка, имени которой

Комиссар никак не мог запомнить. Все эти письма он читал с интересом, на все обязательно отвечал и тут же писал в нужное учреждение с просьбой помочь жене командира такого-то, сердито разносил «разболтавшихся» мужей, грозил управдому, что сам придет и оторвет ему голову, если он не поставит печку семье фронтовика, боевого командира такого-то, и журил девочку из Казахстана со сложным и незапоминающимся именем за двойку по русскому языку во второй четверти.

И у Степана Ивановича шла деятельная переписка и с фронтом и с тылом. Письма своих сыновей, тоже удачливых снайперов, письма дочки — колхозного бригадира — с бесконечным числом поклонов от всей родни и знакомых, с сообщениями, что, хотя колхоз снова послал людей на новостройку, такие-то хозяйственные планы перевыполнил на столько-то процентов, Степан Иванович с великой радостью оглашал немедленно вслух, и вся палата, все сиделки, сестры и даже ординатор, сухой и желчный человек, были всегда в курсе его семейных дел.

Даже нелюдим Кукушкин, который, казалось, был в ссоре с целым светом, получал письма от матери, откуда-то из Барнаула. Он выхватывал письмо у сестры, выжидал, когда народ в палате засыпал, и читал, потихоньку шепча про себя слова. В эти минуты на маленьком его лице с резкими, неприятными чертами появлялось особое, совершенно несвойственное ему, торжественное и тихое выражение. Он очень любил свою мать, старушку фельдшерицу, но почему-то стыдился этой своей любви и тщательно скрывал ее.

Только один танкист в радостные минуты, когда в палате шел оживленный обмен полученными новостями, становился еще мрачнее, отворачивался к стене и натягивал на голову одеяло: некому было ему писать. Чем больше писем получала палата, тем острее чувствовал он свое одиночество. Но вот однажды Клавдия Михайловна явилась какая-то особенно возбужденная. Стараясь не глядеть на Комиссара, она торопливо спросила:

— А ну, кто сегодня пляшет?

Она смотрела на койку танкиста, и доброе лицо ее так все и лучилось широкой улыбкой. Все почувствовали, что произошло что-то необычное. Палата насторожилась.

— Лейтенант Гвоздев, пляшите! Ну, что же вы?

Мересьев увидел, как вздрогнул Гвоздев, как резко он повернулся, как сверкнули из-под бинтов его глаза. Он тут

же сдержался и сказал дрожащим голосом, которому старался придать равнодушный оттенок:

— Ошибка. Рядом лег еще какой-нибудь Гвоздев.— Но глаза его жадно, с надеждой смотрели на три конверта, которые сестра держала высоко, как флаг.

— Нет, вам. Видите: лейтенанту Гвоздеву Г. М., и даже: палата сорок два. Ну?

Забинтованная рука жадно выбросилась из-под одеяла. Она дрожала, пока лейтенант, прихватив конверт зубами, нетерпеливыми щипками раскрывал его. Глаза Гвоздева возбужденно сверкали из-за бинтов. Странное оказалось дело. Три девушки-подруги, слушательницы одного и того же курса, одного и того же университета разными почерками и в разных словах писали примерно одно и то же. Узнав, что герой-танкист лейтенант Гвоздев лежит раненый в Москве, решили они завязать с ним переписку. Писали они, что если он, лейтенант, не обидится на их назойливость, то не напишет ли он им, как он живет и как его здоровье, а одна из них, подписавшаяся «Анюта», писала: не может ли она ему чем-нибудь помочь, не нужно ли ему хороших книжек, и, если ему что-нибудь надо, пусть, не стесняясь, он обратится к ней.

Лейтенант весь день вертел эти письма, читал адреса, рассматривал почерки. Конечно, он знал о подобного рода переписках и даже сам однажды переписывался с незнакомкой, ласковую записку которой он нашел в большом пальце шерстяных варежек, доставшихся ему в праздничном подарке. Но переписка эта сама собой увяла после того, как его корреспондентка прислала ему с шутливой надписью свою фотографию, где она, пожилая женщина, была снята в кругу своих четырех ребят. Но тут было другое дело. Смущало и удивляло Гвоздева только то, что письма эти пришли так неожиданно и сразу, и еще непонятно было, откуда студентки медфакультета вдруг узнали о его боевых делах. Недоумевала вся палата, и больше всех — Комиссар. Но Мересьев перехватил многозначительный взгляд, которым он обменялся со Степаном Ивановичем и сестрой, и понял, что и это — дело его рук.

Как бы там ни было, но на следующий день с утра Гвоздев выпросил у Комиссара бумаги и, самовольно разбинтовав кисть правой руки, до вечера писал, перечеркивал, снова писал ответы своим неизвестным корреспонденткам.

Две девушки сами собой отсеялись, зато заботливая Анюта стала писать за троих. Гвоздев был человек откры-

того нрава, и теперь вся палата знала, что делается на третьем курсе медфака, какая увлекательная наука — биология и как скучна органика, какой симпатичный голос у профессора и как он славно подает материал и, наоборот, как скучно талдычит свои лекции доцент такой-то, сколько дров навалили на грузовые трамваи на студенческом воскреснике, как сложно одновременно и учиться и работать в эвакогоспитале и как «задается» студентка такая-то, бездарная зубрила и вообще мало симпатичная особа.

Гвоздев не только заговорил. Он как-то весь развернулся. Дела его быстро пошли на поправку.

Кукушкину сняли лубки. Степан Иванович учился ходить без костылей и передвигался уже довольно прямо. Он целые дни проводил теперь на подоконнике, наблюдая за тем, что делается на «вольном свете». И только Комиссару и Мересьеву становилось с каждым днем хуже. Особенно быстро сдавал Комиссар. Он уже не мог делать по утрам свою гимнастику. Тело его все больше и больше наливалось зловещей желтоватой прозрачной припухлостью, руки сгибались с трудом и уже не могли держать ни карандаша, ни ложки за обедом.

Сиделка по утрам умывала и вытирала ему лицо, с ложки кормила его, и чувствовалось, что не тяжелые боли, а вот эта беспомощность угнетает и выводит его из себя. Впрочем, и тут он не унывал. Так же бодро рокотал днем его бас, так же жадно читал он в газетах новости и даже продолжал заниматься немецким. Только приходилось класть для него книги в специально сконструированный Степаном Ивановичем проволочный пюпитр, и старый солдат, сидя возле, перелистывал ему страницы. По утрам, пока не было еще свежих газет, Комиссар нетерпеливо выспрашивал у сестры, какова сводка, что нового передали по радио и что слышно в Москве. Он упросил Василия Васильевича провести к его кровате радиотрансляцию.

Казалось, чем слабее и немощнее становилось его тело, тем упрямее и сильнее был его дух. Он с тем же интересом читал многочисленные письма и отвечал на них, диктуя по очереди то Кукушкину, то Гвоздеву. Однажды Мересьев, задремавший после процедуры, был разбужен его громовым басом.

— Чинуши! — гремел он гневно. На проволочном пюпитре серел листок дивизионной газеты, которую, невзирая на приказ «не выносить из части», кто-то из друзей регулярно ему присылал.— Опупели они там, в обороне сидя.

Кравцов — бюрократ?! Лучший в армии ветеринар — бюрократ?! Гриша, пиши, пиши, сейчас же!

И он продиктовал Гвоздеву сердитый рапорт на имя члена Военного совета армии, прося унять «строкачей», незаслуженно обругавших хорошего, прилежного человека. Отправив с сестрой письмо, он еще долго и сочно бранил «щелкунов», и было странно слышать эти полные деловой страсти слова от человека, не могущего даже повернуть голову па подушке.

Вечером того же дня случилось еще более примечательное происшествие. В тихий час, когда света еще не зажигали и по углам палаты уже начинали сгущаться сумерки, Степан Иванович сидел на подоконнике и задумчиво смотрел на набережную. На реке рубили лед. Несколько баб в брезентовых фартуках пешнями откалывали его узкими полосками вдоль темного квадрата проруби, потом за один-два удара рубили полосы на продолговатые доли, брались за багры и по доскам вытягивали эти доли из воды. Льдины лежали рядами: снизу — зеленовато-прозрачные, сверху — желто-рыхлые. По дороге вдоль реки к месту колки тянулась вереница подвод, привязанных одна к другой. Старикашка в треухе, в стеганых штанах и ватнике, перехваченном поясом, за которым торчал топор, под уздцы подводил к вырубке коней, и женщины баграми вкатывали льдины на дровни.

Хозяйственный Степан Иванович решил, что работают они от колхоза, но что организовано дело бестолково. Уж очень много людей толкалось, мешая друг другу. В его хозяйственной голове уже составился план. Он мысленно разделил всех на группы по трое в каждой — как раз по стольку, чтобы они могли вместе без труда вытаскивать на лед глыбы. Каждой группе он мысленно отвел особый участок и платил бы им пе чохом, а каждой группе с числа добытых глыб. А вон той круглолицей румяной бабенке он посоветовал бы начать соревнование между тройками. Он до того увлекся своими хозяйственными размышлениями, что не вдруг заметил, как одна из лошадей подошла к вырубке так близко, что задние ноги ее вдруг соскользнули и она очутилась в воде. Сани поддерживали лошадь на поверхности, а течение тянуло ее под лед. Старикашка с топором бестолково засуетился возле, то хватаясь за грядки дровней, то дергая лошадь под уздцы.

— Лошадь тонет! — ахнул на всю палату Степан Иванович.

Комиссар, сделав невероятное усилие, весь позеленев от боли, привстал на локте и, опершись грудью о подоконник, потянулся к стеклу.

— Дубина!..— прошептал он.— Как он не понимает? Гужи... Надо рубить гужи, конь сам вылезет... Ах, погубит скотину!

Степан Иванович тяжело карабкался на подоконник. Лошадь тонула. Мутная волна порой уже захлестывала ее, но она еще отчаянно боролась, выскакивала из воды и начинала царапать лед подковами передних ног.

— Да руби же гужи! — во весь голос рявкнул Комиссар, как будто старик там, на реке, мог услышать его.

— Эй, дорогой, руби гужи! Топор-то за поясом, руби гужи, руби! — сложив ладони рупором, передал на улицу Степан Иванович.

Старикашка услышал этот словно с неба грянувший совет. Он выхватил топор и двумя взмахами перехватил гужи. Освобожденная от упряжки лошадь сейчас же выскочила на лед и, остановившись у проруби, тяжело поводила блестящими боками и отряхивалась, как собака.

— Это что значит? — раздалось в этот момент в палате.

Василий Васильевич в незастегнутом халате и без обычной своей белой шапочки стоял в дверях. Он принялся неистово браниться, топать ногами, не желая слушать никаких доводов. Он сулил разогнать к чертям обалдевшую палату и ушел, ругаясь и тяжело дыша, так, кажется, и не поняв смысла происшествия. Через минуту в палату вбежала Клавдия Михайловна, расстроенная, с заплаканными глазами. Ей только что была от Василия Васильевича страшная головомойка, но она увидела на подушке зеленое, безжизненное лицо Комиссара, лежавшего неподвижно, с закрытыми глазами, и рванулась к нему.

Вечером ему стало плохо. Впрыскивали камфару, давали кислород. Он долго не приходил в себя. Очнувшись, Комиссар сейчас же попытался улыбнуться Клавдии Михайловне, стоявшей над ним с кислородной подушкой в руках, и пошутить:

— Не волнуйтесь, сестренка. Я и из ада вернусь, чтобы принести вам средство, которым там черти веснушки выводят.

Было невыносимо больно наблюдать, как, яростно сопротивляясь в тяжелой борьбе с недугом, день ото дня слабеет этот большой, могучий человек.

8

Слабел с каждым днем и Алексей Мересьев. В очередном письме он сообщил «метеорологическому сержанту», кому единственно поверял свои горести, что, пожалуй, ему отсюда уже не выйти, что это и лучше, потому что летчик без ног — все равно что птица без крыльев, которая жить и клевать еще может, но летать— никогда, что не хочет он оставаться бескрылой птицей и готов спокойно встретить самый плохой исход, лишь бы скорее он наступал. Писать так было, пожалуй, жестоко: в ходе переписки девушка призналась, что давно неравнодушна к «товарищу старшему лейтенанту», но что нипочем бы ему в этом не созналась, не приключись с ним такое горе.

— Замуж хочет, наш брат нынче в цене. Ей ноги что, был бы побольше аттестат,— язвительно прокомментировал верный себе Кукушкин.

Но Алексей помнил бледное, прижавшееся к нему лицо в час, когда смерть просвистела над их головами. Он знал, что это не так. Знал он также, что девушке тяжело читать его грустные откровенности. Не узнав даже, как зовут «метеорологического сержанта», он продолжал поверять ей свои невеселые мысли.

Ко всем Комиссар умел найти ключик, а вот Алексей Мересьев не поддавался ему. В первый же день после операции Мересьева появилась в палате книжка «Как закалялась сталь». Ее начали читать вслух. Алексей понял, кому адресовано это чтение, но оно мало утешило его. Павла Корчагина он уважал с детства. Это был один из любимых его героев. «Но Корчагин ведь не был летчиком,— думал теперь Алексей.— Разве он знал, что значит «заболеть воздухом»? Ведь Островский писал в постели свои книжки не в те дни, когда все мужчины и многие женщины страны воюют, когда даже сопливые мальчишки, став на ящики, так как у них не хватает роста для работы на станке, точат снаряды».

Словом, книжка в данном случае успеха не имела. Тогда Комиссар начал обходное движение. Будто невзначай, он рассказал о другом человеке, который с парализованными ногами мог выполнять большую общественную работу. Степан Иванович, всем на свете интересовавшийся, стал удивленно охать. И сам вспомнил, что в их краях есть врач без руки, наипервейший на весь район лекарь, и на лошади он верхом ездит, и охотится, да при этом так

одной рукой с ружьем справляется, что белку дробиной в глаз сшибает. Тут Комиссар помянул покойного академика Вильямса, которого лично знал еще по эмтээсовским делам. Этот человек, наполовину парализованный, владея только одной рукой, продолжал руководить институтом и вел работы огромных масштабов.

Мересьев слушал и усмехался: думать, говорить, писать, приказывать, лечить, даже охотиться можно и вовсе без ног, но он-то летчик, летчик по призванию, летчик с детства, с того самого дня, когда мальчишкой, карауля бахчу, где среди вялой листвы на сухой, потрескавшейся земле лежали огромные полосатые шары славившихся на всю Волгу арбузов, услышал, а потом увидел маленькую серебряную стрекозу, сверкнувшую на солнце двойными крыльями и медленно проплывшую высоко над пыльной степью куда-то по направлению к Сталинграду.

С тех пор мечта стать летчиком не оставляла его. Он думал о ней на школьной парте, думал, работая потом за токарным станком. По ночам, когда все в доме засыпали, он вместе с Ляпидевским находил и спасал челюскинцев, вместе с Водопьяновым сажал тяжелые самолеты на лед среди торосов Северного полюса, вместе с Чкаловым прокладывал неизведанный человеком воздушный путь через полюс в Соединенные Штаты.

Комсомольская организация послала его на Дальний Восток. Он строил в тайге город юности — Комсомольск-на-Амуре. Но и туда, в тайгу, он привез свою мечту о полетах. Среди строителей он нашел парней и девушек, так же, как и он, мечтавших о благородной профессии летчика, и трудно поверить, что они действительно своими руками построили в этом существовавшем пока что только на планах городе свой аэроклуб. Когда смеркалось и туманы окутывали гигантскую стройку, все строители забирались в бараки, закрывали окна, а перед дверями зажигали дымные костры из сырых веток, чтобы отгонять тучи комаров и гнуса, наполнявших воздух своим тонким зловещим звоном. Вот в этот-то час, когда строители отдыхали после трудового дня, аэроклубовцы, возглавляемые Алексеем, смазав свое тело керосином, долженствующим отгонять комара и гнуса, выходили в тайгу с топорами, кирками, с пилами, заступами и толом. Они пилили, корчевали деревья, взрывали пни, ровняли землю, отвоевывая у тайги пространство для аэродрома. И они отвоевали

его, собственными руками вырвав у лесной чащи несколько километров для лётного поля.

С этого аэродрома Алексей и взмыл в первый раз в воздух на учебной машине, осуществив наконец заветную мечту детства.

Потом он учился в военном авиаучилище, сам учил в нем молодых. Здесь и застала его война, для которой он, несмотря на угрозы школьного начальства, оставил конструкторскую работу и ушел в действующую армию. Все его устремления в жизни, все его волнения, радости, все его планы на будущее и весь его настоящий жизненный успех — все было связано с авиацией...

А они толкуют ему о Вильямсе!

— Он же не летчик был, Вильямс,— сказал Алексей и отвернулся к стене.

Но Комиссар не оставил своих попыток «отомкнуть» его. Однажды, находясь в обычном состоянии равнодушного оцепенения, Алексей услышал комиссарский бас:

— Леша, глянь: тут о тебе написано.

Степан Иванович уже нес Мересьеву журнал. Небольшая статья была отчеркнута карандашом. Алексей быстро пробежал глазами отмеченное и не встретил своей фамилии. Это была статейка о русских летчиках времен первой мировой войны. Со страницы журнала глядело на Алексея незнакомое лицо молодого офицера с маленькими усиками, закрученными «шильцем», с белой кокардой на пилотке, надвинутой на самое ухо.

— Читай, читай, прямо для тебя,— настаивал Комиссар.

Мересьев прочел. Повествовалось в статье о русском военном летчике, поручике Валерьяне Аркадьевиче Карповиче. Летая над вражескими позициями, поручик Карпович был ранен в ногу немецкой разрывной пулей «дум-дум». С раздробленной ногой он сумел на своем «фармане» перетянуть через линию фронта и сесть у своих. Ступню ему отняли, но молодой офицер не пожелал увольняться из армии. Он изобрел протез собственной конструкции. Он долго и упорно занимался гимнастикой, тренировался и благодаря этому к концу войны вернулся в армию. Он служил инспектором в школе военных пилотов и даже, как говорилось в заметке, «порой рисковал подниматься в воздух на своем аэроплане». Он был награжден офицерским Георгием и успешно служил в русской военной авиации, пока не погиб в результате катастрофы.

Мересьев прочел эту заметку раз, другой, третий. Немножко напряженно, но, в общем, лихо улыбался со снимка молодой худощавый поручик с усталым волевым лицом. Вся палата безмолвно наблюдала за Алексеем. Он поерошил волосы и, не отрывая от статейки глаз, нащупал рукой на тумбочке карандаш и тщательно, аккуратно обвел ее.

— Прочел? — хитровато спросил Комиссар. (Алексей молчал, все еще бегая глазами по строчкам.) — Ну, что скажешь?

— Но у него не было только ступни.

— А ты же советский человек.

— Он летал на «фармане». Разве это самолет? Это этажерка. На нем чего не летать? Там такое управление, что ни ловкости, ни быстроты не надо.

— Но ты же советский человек! — настаивал Комиссар.

— Советский человек,— машинально повторил Алексей, все еще не отрывая глаз от заметки; потом бледное лицо его осветилось каким-то внутренним румянцем, и он обвел всех изумленно-радостным взглядом.

На ночь Алексей сунул журнал под подушку, сунул и вспомнил, что в детстве, забираясь на ночь на полати, где спал с братьями, клал он так под подушку уродливого корноухого медведя, сшитого ему матерью из старой плюшевой кофты. И он засмеялся этому своему воспоминанию, засмеялся на всю комнату.

Ночью он не сомкнул глаз. Тяжелым сном забылась палата. Скрипя пружинами, вертелся на койке Гвоздев. С присвистом, так, что, казалось, рвутся у него внутренности, храпел Степан Иванович. Изредка поворачиваясь, тихо, сквозь зубы постанывал Комиссар. Но Алексей ничего не слышал. Он то и дело доставал журнал и при свете ночника смотрел на улыбающееся лицо поручика. «Тебе было трудно, но ты все-таки сумел,— думал он.— Мне вдесятеро труднее, но вот увидишь, я тоже не отстану».

Среди ночи Комиссар вдруг стих. Алексей приподнялся и увидел, что лежит он бледный, спокойный и, кажется, уже не дышит. Летчик схватил колокольчик и бешено затряс им. Прибежала Клавдия Михайловна, простоволосая, с помятым лицом и рассыпавшейся косой. Через несколько минут вызвали ординатора. Щупали пульс, впрыскивали камфару, совали в рот шланг с кислородом. Возня эта продолжалась около часа и порой казалась безнадежной. Наконец Комиссар открыл глаза, слабо, еле за-

метно улыбнулся Клавдии Михайловне и тихонько сказал:

— Извините, взбулгачил я вас, а без толку. До ада так и не добрался и мази-то от веснушек не достал. Так что вам, родная, придется в веснушках щеголять, ничего не поделаешь.

От шутки всем стало легче на душе. Крепок же этот дуб! Может, выстоит он и такую бурю. Ушел ординатор — скрип его ботинок медленно угас в конце коридора; разошлись сиделки; и только Клавдия Михайловна осталась, усевшись бочком на кровати Комиссара. Больные уснули, но Мересьев лежал с закрытыми глазами, думая о протезах, которые можно было бы прикреплять к ножному управлению в самолете хотя бы ремнями. Вспомнил он, что когда-то, еще в аэроклубе, он слышал от инструктора, старого летчика времен гражданской войны, что один коротконогий пилот привязывал к педалям колодочки.

«Я, брат, от тебя не отстану»,— убеждал он Карповича. «Буду, буду летать!» — звенело и пело в голове Алексея, отгоняя сон. Он лежал тихо, закрыв глаза. Со стороны можно было подумать, что он крепко спит, улыбаясь во сне.

И тут услышал он разговор, который потом не раз вспоминал в трудные минуты жизни.

— Ну зачем, зачем вы так? Это же страшно — смеяться, шутить, когда такая боль. У меня сердце каменеет, когда я думаю, как вам больно. Почему вы отказались от отдельной палаты?

Казалось, что говорила это не палатная сестра Клавдия Михайловна, хорошенькая, ласковая, но какая-то бесплотная. Говорила женщина страстная и протестующая. В голосе ее звучало горе и, может быть, нечто большее. Мересьев открыл глаза. В свете затененного косынкой ночника увидел он на подушке бледное, распухшее лицо Комиссара с тихо и ласково посверкивающими глазами и мягкий, женственный профиль сестры. Свет, падавший сзади, делал ее пышные русые волосы словно сияющими, и Мересьев, сознавая, что поступает нехорошо, не мог оторвать от нее взгляда.

— Ай-яй-яй, сестреночка... Слезки, вот так раз! Может, бромчику примем? — как девочке, сказал ей Комиссар.

— Опять смеетесь. Ну что вы за человек? Ведь это же чудовищно, понимаете — чудовищно: смеяться, когда нужно плакать, успокаивать других, когда самого рвет на части. Хороший вы мой, хороший! Вы не смеете, слышите, не смеете так относиться к себе...

Она долго беззвучно плакала, опустив голову. А Комиссар смотрел на худенькие, вздрагивающие под халатом плечи грустным, ласковым взглядом:

— Поздно, поздно, родная. В личных делах я всегда безобразно опаздывал, все некогда да недосуг, а теперь, кажется, опоздал совсем.

Комиссар вздохнул. Сестра выпрямилась и полными слез глазами, с жадным ожиданием посмотрела на него. Он улыбнулся, еще вздохнул и своим обычным добрым и чуть насмешливым тоном продолжал:

— Слушайте-ка, умница, историю. Мне вдруг вспомнилось. Давно это было, еще в гражданскую войну, в Туркестане. Да... Эскадрон один увлекся погоней за басмачами да забрался в такую пустыню, что кони — а кони были российские, к пескам непривычные,— падать начали. И стали мы вдруг пехотой. Да... И вот командир принял решение: вьюки побросать и с одним оружием пешком выходить на большой город. А до него километров сто шестьдесят, да по голому песку. Чуете, умница? Идем мы день, идем второй, идем третий. Солнце палит-жарит. Нечего пить. Во рту кожа трескаться стала, а в воздухе горячий песок, под ногами песок поет, на зубах хрустит, в глазах саднит, в глотку набивается, ну — мочи нет. Упадет человек на бурун, сунется лицом в землю и лежит. А комиссаром у нас был Володин Яков Павлович. На вид хлипкий, интеллигент — историком он был... Но крепкий большевик. Ему бы как будто первому упасть, а он идет и все людей шевелит: дескать, близко, скоро — и пистолетом трясет над теми, кто ложится: вставай, пристрелю...

На четвертые сутки, когда до города всего километров пятнадцать осталось, люди вовсе из сил выбились. Шатает нас, идем, как пьяные, и след за нами неровный, как за раненым зверем. И вдруг комиссар наш песню завел. Голос у него дрянной, жидкий, и песню завел чепуховую, старую солдатскую: «Чубарики, чубчики»,— а ведь поддержали, запели! Я скомандовал: «Построиться», шаг подсчитал, и — не поверите — легче идти стало.

За этой песней оторвали другую, потом третью. Понимаете, сухими, потрескавшимися ртами да на такой жаре! Все песни по дороге перепели, какие знали, и дошли, и ни одного на песке не оставили... Видите, какая штука.

— А комиссар? — спросила Клавдия Михайловна.

— А что комиссар? Жив, здоров и теперь. Профессор он, археолог. Доисторические поселения какие-то из земли

выкапывает. Голоса он после того, верно, лишился. Хрипит. Да на что ему голос? Он же не Лемешев... А ну, хватит баек. Ступайте, умница, даю вам слово конника больше сегодня не помирать.

Мересьев наконец заснул.

Снились ему песчаная пустыня, которой он никогда не видал, окровавленные, потрескавшиеся рты, из которых вылетают звуки песни, и этот самый Володин, который во сне почему-то походил на комиссара Воробьева.

Проснулся Алексей поздно, когда солнечные зайчики лежали уже посреди палаты, что служило признаком полдня,— и проснулся с сознанием чего-то радостного. Сон? Какой сон... Взгляд его упал на журнал, который и во сне крепко сжимала его рука. Поручик Карпович все так же натянуто и лихо улыбался с помятой страницы. Мересьев бережно разгладил журнал и подмигнул ему.

Уже умытый и причесанный, Комиссар с улыбкой следил за Алексеем.

— Чего ты с ним перемигиваешься? — довольно спросил он.

— Полетим,— ответил Алексей.

— А как же? У него только одной ноги не хватало, а у тебя обеих?

— Так ведь я же советский, русский! — отозвался Мересьев.

Он произнес это слово так, как будто оно гарантировало ему, что он обязательно превзойдет поручика Карповича и будет летать.

За завтраком он съел все, что принесла сиделка, с удивлением посмотрел на пустые тарелки и попросил еще; он был в состоянии нервного возбуждения, напевал, пробовал свистеть, вслух рассуждал сам с собой. Во время профессорского обхода, пользуясь расположением Василия Васильевича, он донял его расспросами, что нужно сделать, чтобы ускорить выздоровление. Узнав, что для этого надо больше есть и спать, он потребовал за обедом два вторых и, давясь, с трудом доедал четвертую котлету. Заснуть же днем не смог, хотя и пролежал с закрытыми глазами часа полтора.

Счастье бывает эгоистично. Мучая профессора вопросами, Алексей не заметил того, на что обратила внимание вся палата. Василий Васильевич явился с обходом аккуратно, как всегда, когда солнечный луч, медленно переползавший в течение дня по полу через всю палату, кос-

нулся выщербленной паркетины. Профессор был внешне так же внимателен, но все обратили внимание на какую-то внутреннюю, совершенно несвойственную ему рассеянность. Он не бранился, не бросал своих обычных соленых словечек, и в уголках его красных, воспаленных глаз непрерывно дрожали жилки. Вечером он пришел осунувшийся, заметно постаревший. Тихим голосом сделал выговор сиделке, забывшей тряпку на дверной ручке, посмотрел температурный лист Комиссара, заменил ему назначение и молча пошел, сопровождаемый своей тоже растерянно молчавшей свитой,— пошел, споткнулся на пороге и упал бы, если бы его не подхватили под руки. Этому грузному хриплоголосому, шумному ругателю положительно не шло быть вежливым и тихим. Обитатели сорок второй проводили его недоуменными взглядами. Всем успевшим полюбить этого большого и доброго человека стало не по себе.

На следующее утро все разъяснилось: на Западном фронте был убит единственный сын Василия Васильевича, тоже Василий Васильевич, тоже медик, молодой, подававший надежды ученый, гордость и радость отца. В положенные часы весь госпиталь, затаившись, ждал, придет или не придет профессор с традиционным своим обходом. В сорок второй с напряжением следили за медленным, почти незаметным движением солнечного луча по полу. Наконец луч коснулся выщербленной паркетины — все переглянулись: не придет. Но как раз в это время раздались в коридоре знакомые тяжелые шаги и топот ног многочисленной свиты. Профессор выглядел даже несколько лучше, чем вчера. Правда, глаза его были красны, веки и нос вспухли, как это бывает при сильном насморке, а полные шелушащиеся его руки заметно дрожали, когда он брал со стола Комиссара температурный лист. Но он был по-прежнему энергичен, деловит, только шумная его бранчливость исчезла.

Точно сговорившись, раненые и больные спешили наперебой чем-нибудь его порадовать. Все в этот день чувствовали себя лучше. Даже самые тяжелые ни на что не жаловались и находили, что их дело идет на поправку. И все, может быть даже с излишним усердием, превозносили госпитальные порядки и прямо-таки волшебное действие различных лечений. Это была дружная семья, сплоченная общим большим горем.

Василий Васильевич, обходя палаты, изумлялся, почему это сегодня с утра у него такие лечебные удачи.

Изумлялся ли? Может быть, он раскрыл этот безмолвный наивный заговор, и, если раскрыл, может быть, легче стало ему нести свое большое, неизлечимое горе.

9

У окошка, выходящего на восток, ветка тополя уже выбросила бледно-желтые клейкие листочки; из-под них выбились мохнатые красные сережки, похожие на жирных гусениц. По утрам листочки эти сверкали на солнце и казались вырезанными из компрессной бумаги. Они сильно и терпко пахли солоноватым молодым запахом, и аромат их, врываясь в открытые форточки, перебивал госпитальный дух.

Воробьи, прикормленные Степаном Ивановичем, совершенно обнаглели. «Автоматчик» по случаю весны обзавелся новым хвостом и стал еще более суетлив и драчлив. По утрам птицы устраивали на карнизе столь шумные сборища, что убиравшая палату сиделка, не вытерпев, с ворчаньем лезла на окно и, высунувшись в форточку, сгоняла их тряпкой.

Лед на Москва-реке прошел. Пошумев, река успокоилась, вновь легла в берега, покорно подставив могучую спину пароходам, баржам, речным трамваям, которые в те тяжелые дни заменяли поредевший автотранспорт столицы. Вопреки мрачному предсказанию Кукушкина, никого в сорок второй не смыло половодьем. У всех, за исключением Комиссара, дела шли хорошо, и только и разговоров было что о выписке.

Первым покинул палату Степан Иванович. За день до этого он бродил по госпиталю тревожный, радостно возбужденный. Ему не сиделось на месте. Потолкавшись по коридору, он возвращался в палату, присаживался у окна, начинал что-нибудь мастерить из хлебного мякиша, но сейчас же срывался и снова убегал. Только под вечер, под самые сумерки, он стих, уселся на подоконник и глубоко задумался, вздыхая и охая. Это был час процедур, в палате оставалось трое: Комиссар, молча следивший взглядом за Степаном Ивановичем, да Мересьев, старавшийся во что бы то ни стало уснуть.

Было тихо. Вдруг Комиссар заговорил чуть слышно, повернув голову к Степану Ивановичу,— его силуэт вырисовывался на позлащенном закатом окне:

— А в деревне сейчас сумерки, тихо-тихо. Талой землей, отопревшим навозом, дымком пахнет. Корова в хлеву подстилкой шуршит, беспокоится: телиться ей время. Весна... А как они, бабы-то, успели ль по полю навоз раскинуть? А семена, а упряжь в порядке ли?

Мересьеву показалось, что Степан Иванович даже не с удивлением, а со страхом посмотрел на улыбающегося Комиссара:

— Колдун вы, товарищ полковой комиссар, что ли, чужие думки угадываете... Да-а-а, бабы, они, конечно, деловые, это верно. Однако ж бабы, черт его знает, как они там без нас... Действительно.

Помолчали. На реке гукнул пароход, и крик его весело прокатился по воде, мечась между гранитными берегами.

— А как думаешь: скоро война кончится? — спросил Степан Иванович почему-то шепотом.— К сенокосу не кончится?

— А что тебе? Год твой не воюет, ты доброволец, свое отвоевал. Вот и просись, отпустят, будешь бабами командовать, в тылу тоже деловой человек не лишний, а? Как, борода?

Комиссар с ласковой улыбкой смотрел на старого солдата. Тот спрыгнул с подоконника, взволнованный и оживленный.

— Отпустят? А? Вот я тоже располагаю, должны бы. Ведь вот думаю сейчас: нешто в комиссию заявить? И верно, три войны — империалистическую отгрохал, гражданскую всю как есть прошел, да и этой хватил. Можа, и хватит, а? Как посоветуешь, товарищ полковой комиссар?

— Так и пиши в заявлении: отпустите, мол, к бабам в тыл, а другие пускай меня от немца защищают! — не стерпев, крикнул со своей койки Мересьев.

Степан Иванович виновато посмотрел на него, а Комиссар сердито поморщился:

— Чего тебе советовать, Степан Иванович, сердца своего спроси, оно у тебя русское, оно подскажет.

На следующий день Степан Иванович выписался. Переодевшись в свое, военное, он пришел в палату прощаться. Маленький, в старой, вылинявшей, добела застиранной гимнастерке, туго перехваченной поясом и так заправленной, что не было на ней ни одной складки, он казался моложе лет на пятнадцать. На груди у него сверкали начищенные до ослепительного блеска Звезда Героя, орден

Ленина и медаль «За отвагу». Халат он набросил на плечи, как плащ-палатку. Распахиваясь, халат не скрывал его солдатского величия. И весь Степан Иванович, от кончика стареньких кирзовых сапог и до тонких усиков, которые он смочил и молодцевато, «шильцем», подкрутил вверх, смахивал на бравого российского воина с рождественской открытки времен войны 1914 года.

Солдат подходил к каждому товарищу по палате и прощался, называя его по званию и отщелкивая при этом каблуками с таким усердием, что на него было весело смотреть.

— Разрешите попрощаться, товарищ полковой комиссар! — отрубил он с особым удовольствием у крайней койки.

— До свиданья, Степа. Счастливо.— И Комиссар, преодолев боль, сделал движение ему навстречу.

Солдат упал на колени, обнял его большую голову, и они, по русскому обычаю, поцеловались трижды накрест.

— Поправляйся, Семен Васильевич, дай тебе бог здоровья и долгих лет, золотой ты человек! Отец нас так не жалел, век помнить буду...— растроганно бормотал солдат.

— Ступайте, ступайте, Степан Иванович, его вредно волновать,— твердила Клавдия Михайловна, дергая солдата за руку.

— И вам, сестрица, спасибо за ласку и заботу вашу,— торжественно обратился к ней Степан Иванович и отвесил ей полновесный земной поклон.— Ангел вы наш советский, вот вы кто...

Совершенно смущенный, не зная, что еще сказать, он стал пятиться к двери.

— А куда же писать тебе, в Сибирь, что ли? — с улыбкой спросил Комиссар.

— Да уж что там, товарищ полковой комиссар! Известно, куда солдату в войну пишут,— ответил смущенно Степан Иванович и, еще раз поклонившись земно, теперь уже всем, скрылся за дверью.

И стало в палате сразу тихо и пустовато. Потом заговорили о своих полках, о своих товарищах, о больших, ожидающих их боевых делах. Все поправлялись, и это были теперь не мечты, а деловые разговоры. Кукушкин уже ходил по коридорам, придираясь к сестрам, посмеиваясь над ранеными, уже ухитрился перессориться со многими из ходячих больных. Танкист тоже поднимался теперь с койки и, останавливаясь перед коридорным зерка-

лом, подолгу рассматривал свое лицо, шею, плечи, уже разбинтованные и заживающие. Чем оживленнее становилась его переписка с Анютой, чем глубже вникал он в ее университетские дела, тем тревожнее рассматривал он свое лицо, обезображенное ожогом. В сумерки или в полутемной комнате оно было хорошо, даже, пожалуй, красиво: тонкого рисунка, с высоким лбом, с маленьким, чуть горбатым носом, с черными короткими усиками, отпущенными в госпитале, с упрямым выражением свежих юношеских губ; но при ярком свете становилось заметным, что кожа была покрыта шрамами и стянута около них. Когда он волновался или возвращался распаренный из водолечебницы, рубцы эти безобразили его совершенно, и, посмотрев на себя в зеркало в такую минуту, Гвоздев готов был плакать.

— Ну, чего ты киснешь? В киноартисты, что ли, собрался? Коли она, эта твоя, настоящая, так ее это не испугает, а коли испугает — значит, дура, и катись она тогда к чертям собачьим! Скатертью дорога, настоящую найдешь,— утешал Мересьев.

— Все бабы такие,— вставил Кукушкин.

— И ваша мать? — спросил Комиссар; Кукушкина, единственного во всей палате, он величал на «вы».

Трудно даже передать, какое впечатление этот спокойный вопрос произвел на лейтенанта. Кукушкин вскинулся на койке, свирепо сверкнул глазами и побледнел так, что лицо его стало белее простыни.

— Ну, вот видите, значит, бывают на свете и хорошие,— примирительно сказал Комиссар.— Почему же Грише не повезет? В жизни, хлопцы, так и бывает: по что пойдешь, то и найдешь.

Словом, вся палата оживала. Только Комиссару становилось все хуже. Он жил на морфии, на камфаре, и от этого иной раз по целым суткам беспокойно дергался на койке в состоянии наркотического полузабытья. С уходом Степана Ивановича он как-то особенно подался. Мересьев попросил переставить свою койку поближе к Комиссару, чтобы помочь ему в случае надобности. Его все больше и больше тянуло к этому человеку.

Алексей понимал, что жизнь без ног будет несравнимо тяжелей и сложней, чем у остальных людей, и его инстинктивно тянуло к человеку, который, несмотря ни на что, умел по-настоящему жить и, невзирая на свою немощь, как магнит, притягивал к себе людей. Теперь

Комиссар все реже и реже выходил из состояния тяжелого полузабытья, но в моменты просветления он был прежним.

Как-то поздним вечером, когда госпиталь затих и в его помещениях воцарилась тяжелая тишина, нарушаемая лишь глухими стонами, храпом и бредом, чуть слышно доносившимися из палат, в коридоре послышались знакомые тяжелые, громкие шаги. Мересьеву сквозь стеклянную дверь был виден весь слабо освещенный затемненными лампами коридор с фигурой дежурной сестры, сидевшей в дальнем конце у столика и вязавшей нескончаемую кофту. В конце коридора показалась высокая фигура Василия Васильевича. Он медленно шел, заложив руки за спину. Сестра вскочила было при его приближении, но он досадливо отмахнулся от нее. Халат у него был не застегнут, шапочки на голове не было, пряди густых седоватых волос свешивались ему на лоб.

— Вася идет,— шепнул Мересьев Комиссару, которому он только что излагал свой проект протеза особой конструкции.

Василий Васильевич точно споткнулся и стал, опираясь рукой о стену, что-то бормоча под нос, потом оттолкнулся от стены и вошел в сорок вторую. Он остановился посреди палаты и начал тереть лоб, точно пытаясь вспомнить что-то. От него пахло спиртом.

— Присаживайтесь, Василий Васильевич, посумерничаем,— предложил Комиссар.

Нетвердым шагом, подволакивая ноги, профессор подошел к его кровати, сел так, что застонали прогнувшиеся пружины, потер руками виски. Он и раньше не раз во время обходов задерживался возле Комиссара потолковать о ходе военных дел. Он заметно отличал Комиссара среди больных, и в этом ночном визите не было, собственно, ничего странного. Но Мересьев почему-то почувствовал, что между этими людьми может произойти какой-то особый разговор, при котором не нужен третий. Закрыв глаза, он сделал вид, что спит.

— Сегодня двадцать девятое апреля, день его рождения. Ему исполнилось — нет, должно было исполниться тридцать шесть лет,— тихо сказал профессор.

С большим усилием Комиссар выпростал из-под одеяла огромную, распухшую руку и положил ее на руку Василия Васильевича. И случилось невероятное: профессор заплакал. Было невыносимо видеть, как плачет этот боль-

шой, сильный, волевой человек. Алексей невольно втянул голову в плечи и закрылся одеялом.

— Перед тем как ехать туда, он пришел ко мне. Он сказал, что записался в ополчение, и спросил, кому передать дела. Он работал тут, у меня. Я был так поражен, что даже накричал на него. Я не понимал, зачем кандидату медицины, талантливому ученому нужно было брать винтовку. Но он сказал — я помню это слово в слово,— он сказал мне: «Папа, бывает время, когда кандидат медицины должен брать винтовку». Он так сказал и опять спросил: «Кому сдавать дела?» Мне стоило только поднять телефонную трубку — и ничего, ничего бы не случилось, понимаете — ничего! Ведь он же заведовал у меня отделением, он работал в военном госпитале... Ведь так?

Василий Васильевич замолчал. Было слышно, как он тяжело и хрипло дышит.

— ...Не надо, голубчик, что вы, что вы, уберите руку, я знаю, как вам больно шевелиться... Да, и я думал всю ночь, как быть. Вы понимаете, мне было известно, что еще у одного человека — вы знаете, о ком я говорю,— был сын, офицер, и его убили в первые дни войны. И вы знаете, что сделал этот отец? Он послал на фронт второго сына, послал летчиком-истребителем — на самую опасную воинскую специальность... Я думал тогда об этом человеке, мне стало стыдно своих мыслей, и я не позвонил по телефону...

— А сейчас жалеете?

— Нет. Разве это называется сожалением? Я хожу и думаю: неужели я убийца своего единственного сына? Ведь он мог быть сейчас здесь, со мной, и мы бы оба делали с ним очень полезные для страны дела. Ведь это же был настоящий талант — живой, смелый, сверкающий. Он мог стать гордостью советской медицины... если бы мне тогда позвонить!

— Вы жалеете, что не позвонили?

— О чем вы? Ах, да... Не знаю, не знаю.

— А если бы теперь все повторилось снова, вы сделали бы иначе?

Наступило молчание. Слышалось ровное дыхание спящих. Ритмично поскрипывала кровать — очевидно, профессор в тяжелом раздумье раскачивался из стороны в сторону,— да в батареях парового отопления глухо постукивала вода.

— Так как же? — спросил Комиссар, и в голосе его чувствовалась бесконечная теплота.

— Не знаю... На ваш вопрос сразу не ответишь. Не знаю, но, кажется, повторись все сначала, я поступил бы так же. Я же не лучше, но и не хуже других отцов... Какая это страшная вещь — война...

— И поверьте, другим отцам при страшной вести было не легче вашего. Нет, не легче.

Василий Васильевич долго сидел молча. О чем он думал, какие мысли ползли в эти тягучие минуты под его высоким морщинистым лбом?

— Да, вы правы, ему было не легче, и все-таки он послал второго... Спасибо, голубчик, спасибо, родной! Эх! Что там толковать...

Он встал, постоял у койки, заботливо положил на место и закрыл руку Комиссара, подоткнул у него одеяло и молча вышел из палаты. А ночью Комиссару стало плохо. Без сознания, он то начинал метаться по койке, скрежеща зубами и громко стеная, то вдруг стихал, вытягивался, и всем казалось, что наступил конец. Он был так плох, что Василий Васильевич, который со дня смерти сына переехал из огромной пустой квартиры в госпиталь, где он спал на клеенчатой кушетке в маленьком своем кабинетике, распорядился отгородить Комиссара от остальных ширмой, что делалось обычно, как было известно, перед тем как больной отправлялся в «пятидесятую палату».

Потом, когда с помощью камфары и кислорода пульс наладился, дежурный врач и Василий Васильевич ушли досыпать остаток ночи; за ширмой осталась только Клавдия Михайловна, встревоженная и заплаканная. Мересьев тоже не спал, со страхом думая: «Неужели это конец?» А Комиссар все мучился. Он метался и в бреду вместе со стоном упрямо, хрипло выговаривал какое-то слово, и показалось Мересьеву, что он требует:

— Пить, пить, да пить же!

Клавдия Михайловна вышла из-за ширмы и дрожащими руками налила воды в стакан.

Но больной воды не принял, стакан напрасно стучал о его зубы, вода плескалась на подушку, а Комиссар упорно, то прося, то требуя, то приказывая, произносил все то же слово. И вдруг понял Мересьев, что слово это не «пить», а «жить», что в крике этом бессознательно бунтует против смерти все существо могучего человека.

Потом Комиссар стих и открыл глаза.

— Слава богу! — прошептала Клавдия Михайловна и с облегчением стала свертывать ширму.

— Не надо, оставьте,— остановил ее голос Комиссара.— Не надо, сестренка, так нам уютнее, и плакать не надо: и без вас на свете слишком сыро... Ну, что вы, советский ангел!.. Как жалко, что ангелов, даже таких, как вы, встречаешь только на пороге... туда.

10

Странное состояние переживал Алексей.

С тех пор как он поверил, что путем тренировки сможет научиться летать без ног и снова стать полноценным летчиком, им овладела жажда жизни и деятельности.

Теперь у него была цель жизни: вернуться к профессии истребителя. С тем же фанатическим упрямством, с каким он, обезножев, выползал к своим, стремился он к этой цели. Еще в ранней юности привыкший осмысливать свою жизнь, он прежде всего точно определил, что он должен сделать, чтобы достичь этого как можно скорее, не тратя попусту драгоценного времени. И вышло, что он должен, во-первых, быстрее поправиться, вернуть утраченные во время голодания здоровье и силу, а для этого больше есть и спать; во-вторых, восстановить боевые качества летчика и для этого развивать себя физически доступными ему, пока еще коечному больному, гимнастическими упражнениями; в-третьих, и это было самое важное и трудное, развивать обрубленные по голень ноги так, чтобы сохранить в них силу и ловкость, а потом, когда появятся протезы, научиться проделывать на них все необходимые для управления самолетом движения.

Даже хождение для безногого — нелегкое дело. Мересьев же намеревался управлять самолетом, и именно истребителем. А для этого, в особенности в мгновения воздушного боя, когда все рассчитано на сотые доли секунды и согласованность движений должна подниматься до степени безусловного рефлекса, ноги должны уметь проделывать не менее точную, искусную, а главное — быструю работу, чем руки. Нужно было так себя натренировать, чтобы пристегнутые к обрубкам ног куски дерева и кожи выполняли эту тонкую работу, как живой орган.

Любому человеку, знакомому с техникой пилотажа, это показалось бы невероятным. Но Алексей верил теперь, что это в пределах человеческих возможностей, а раз так, то он, Мересьев, обязательно этого достигнет. И вот Алек-

сей взялся за осуществление своего плана. С педантизмом, который поражал его самого, он взялся исполнять прописанные процедуры и принимал положенное количество лекарств. Он много ел, всегда требовал добавки, хотя иной раз у него и не было аппетита. Что бы ни случилось, он заставлял себя отсыпать положенное число часов и даже выработал привычку спать после обеда, которой долго сопротивлялась его деятельная и подвижная натура.

Заставить себя есть, спать, принимать лекарства нетрудно. С гимнастикой было хуже. Обычная система, по которой Мересьев раньше делал зарядку, человеку, лишенному ног, привязанному к койке, не годилась. Он придумал свою: по целым часам сгибался, разгибался, упершись руками в бока, крутил торс, поворачивал голову с таким азартом, что хрустели позвонки. Товарищи по палате добродушно посмеивались над ним. Кукушкин поддразнивал его, называя то братьями Знаменскими, то Лядумегом, то именами каких-то других знаменитых бегунов. Он видеть не мог этой гимнастики, которую считал образцом госпитальной дури, и обычно, как только Алексей за нее брался, убегал в коридор, брюзжа и сердясь.

Когда с ног сняли бинты и Алексей получил в пределах койки бо́льшую подвижность, он усложнил упражнения. Подсунув обрубки ног под спинку кровати, упершись руками в бока, он медленно сгибался и разгибался, с каждым разом замедляя темп и увеличивая число «поклонов». Затем он разработал серию упражнений для ног. Улегшись на спину, он по очереди то сгибал их, подтягивая к себе, то разгибал, выбрасывая вперед. Когда он в первый раз проделал это, то сразу понял, какие огромные, а может быть, непреодолимые трудности его ожидают. В обрубленных по голень ногах подтягивание вызывало острую боль. Движения были робки и неверны. Их трудно было рассчитать, как, скажем, трудно лететь на самолете с поврежденным крылом или хвостом. Невольно сравнивая себя с самолетом, Мересьев понял, что вся идеально рассчитанная конструкция человеческого тела у него нарушена и, хотя тело цело и крепко, оно никогда не достигнет прежней, с детства выработанной гармонии движений.

Гимнастика ног причиняла острую боль, но Мересьев с каждым днем отводил ей на минуту больше, чем вчера. Это были страшные минуты — минуты, когда слезы сами лились из глаз и приходилось до крови кусать губы, чтобы сдержать невольный стон. Но он заставлял себя проделы-

вать упражнение сначала один, потом два раза в день, с каждым разом увеличивая их продолжительность. После каждого такого упражнения он бессильно падал на подушку с мыслью: сумеет ли он снова возобновить их? Но приходило положенное время, и он принимался за свое. Вечером он ощупывал мускулы бедра, голени и с удовольствием чувствовал под рукой не дряблое мясо и жирок, как это было вначале, а прежний, тугой мускул.

Ноги занимали у Мересьева все мысли. Порой, забывшись, он ощущал боль в ступне, менял позу, и только тут доходило до его сознания, что ступни нет. В силу какой-то нервной аномалии отрезанные части ног еще долго как бы жили вместе с телом, вдруг начинали чесаться, ныть к сырой погоде и даже болели. Он так много думал о ногах, что часто видел себя во сне здоровым, быстрым. То по тревоге несется во весь опор к самолету, с ходу вспрыгивает на крыло, садится в кабину и пробует ногами рули, пока Юра снимает чехол с мотора. То вместе с Олей, взявшись за руки, бегут они что есть духу по цветущей степи, бегут босиком, ощущая ласковое прикосновение влажной и теплой земли. Как это хорошо и как тяжело после этого, проснувшись, увидеть себя безногим!

После таких снов Алексей впадал иногда в угнетенное состояние. Ему начинало казаться, что он зря себя мучает, что никогда ему не летать, как никогда не бегать ему босиком по степи с милой девушкой из Камышина, которая становилась ему все ближе, все желаннее, по мере того как все больше и больше времени отдаляло его от нее.

Отношения с Олей не радовали Алексея. Почти каждую неделю Клавдия Михайловна заставляла его «плясать», то есть прыгать на койке, прихлопывая в ладоши, чтобы получить от нее конверт, надписанный круглым и аккуратным ученическим почерком. Письма эти становились все пространнее, все теплее, как будто короткая, юная, прерванная войной любовь становилась для Оли все более и более зрелой. С тревожной тоской читал он эти строки, зная, что не имеет права ответить ей тем же.

Школьные товарищи, учившиеся вместе в фабзавуче при деревообделочном заводе в городе Камышине, питавшие в детстве друг к другу романтическую симпатию, которую они лишь в подражание взрослым именовали любовью, расстались потом на шесть-семь лет. Сначала девушка уехала учиться в механический техникум. Потом,

когда она вернулась и стала работать механиком на заводе, Алексея уже не было в городе. Он учился в лётной школе. Встретились снова они незадолго перед войной. Ни он, ни она не искали этой встречи и, может быть, даже не вспоминали друг друга — слишком уж много воды утекло с тех пор. Но однажды весенним вечером Алексей шел по улице городка, провожая куда-то мать, и им навстречу попалась девушка, на которую он даже не обратил внимания, заметив лишь ее стройные ноги.

«Что же ты не поздоровался? Аль забыл — ведь это же Оля»,— и мать назвала фамилию девушки.

Алексей обернулся. Девушка тоже обернулась и смотрела им вслед. Взгляды их встретились, и он почувствовал, как сразу встрепенулось сердце. Оставив мать, он бегом пустился к девушке, стоявшей на тротуаре под голым topольком.

«Ты?» — удивленно произнес он, оглядывая ее такими глазами, словно перед ним была какая-то красивая заморская диковинка, неведомо как попавшая на тихую вечернюю, полную весенней грязи улицу.

«Алеша?» — так же удивленно и даже недоверчиво спросила она.

Они смотрели друг на друга в первый раз после шестилетней или семилетней разлуки. Перед Алексеем стояла миниатюрная девушка, стройная, гибкая, с круглым и милым мальчишеским лицом, чуть побрызганным по переносице золотыми веснушками. Она смотрела на него большими серыми лучистыми глазами, слегка подняв мягко очерченные брови со щеточками на концах. В этой легкой, свежей, изящной девушке было очень мало от того круглоликого, румяного и грубоватого подростка, крепкого, как гриб боровичок, важно ходившего в засаленном отцовском рабочем пиджаке с закатанными рукавами, каким она была в год их последних встреч в фабзавуче.

Позабыв про мать, Алексей восхищенно смотрел на нее, и ему казалось, что все эти шесть или семь лет никогда ее не забывал и мечтал об этой встрече.

«Вот ты теперь какая!» — сказал он наконец.

«Какая?» — спросила она звонким, гортанным, тоже совсем другим, чем в школе, голосом.

Из-за угла вырвался ветерок, просвистел в голых прутьях тополька. Рванул юбку девушки, охватившую ее стройные ноги. Простым, естественно грациозным движением прижала она юбку и, засмеявшись, присела.

«Вот какая!» — повторил Алексей, уже не скрывая своего восхищения.

«Да какая же, какая?» — смеялась она.

Посмотрев на молодых людей, мать грустно улыбнулась и пошла своей дорогой. А они все еще стояли, любуясь друг другом, и не давали друг другу говорить, перебивая себя восклицаниями: «а помнишь», «а знаешь», «а где теперь...», «а что теперь...».

Они долго стояли так, пока Оля не показала на окна ближайших домиков, за стеклами которых среди гераней, елочек белели любопытствующие лица.

«У тебя есть время? Пойдем на Волгу»,— сказала она, и, взявшись за руки, чего не делали даже в годы отрочества, позабыв обо всем на свете, они отправились на крутоярье — высокий, обрывавшийся к реке холм, откуда открывался просторный вид на широко разлившуюся Волгу, по которой торжественно плыли льдины.

С этих пор мать редко видела дома своего любимца. Неприхотливый в одежде, он начал вдруг ежедневно гладить себе брюки, чистить мелом пуговицы форменной куртки, достал из чемодана фуражку с белым верхом и парадным лётным знаком, ежедневно брил свою жесткую щетину, а по вечерам, повертевшись около зеркала, отправлялся к заводу встречать Олю, возвращавшуюся с работы. Днем он тоже где-то пропадал, был рассеян, невпопад отвечал на вопросы. Старушка материнским чутьем все поняла. Поняла и не обиделась: старому стариться, молодому расти.

Молодые люди ни разу не говорили о своей любви. Возвращаясь после прогулки над сверкающей в вечернем солнце тихой Волгой или вдоль окружавших город бахчей, где на черной и густой, как деготь, земле уже лежали толстые плети с лапчатыми темно-зелеными листьями, считая дни таявшего отпуска, Алексей давал себе слово поговорить с Олей начистоту. Приходил новый вечер. Он встречал ее у завода, провожал до деревянного двухэтажного домика, где у нее была маленькая комната, светлая и чистая, как кабинка самолета. Терпеливо ждал, пока она переодевалась, скрывшись за дверью платяного шкафа, и старался не смотреть на мелькавшие из-за двери голые локти, плечи, ноги. Потом она шла умываться и возвращалась румяная, свежая, с мокрыми волосами, всегда в одной и той же беленькой шелковой блузке, которую она носила по будням.

И они шли в кино, в цирк или в сад. Куда — Алексею было все равно. Он не смотрел на экран, на арену, на гуляющую толпу. Он смотрел на нее, смотрел и думал: «Вот теперь обязательно, ну обязательно объяснюсь по дороге домой!» Но дорога кончалась, и у него не хватало духу.

Раз в воскресенье они с утра решили ехать в луга за Волгу. Он зашел за ней в лучших своих белых брюках и в рубашке с открытым воротом, которая, по словам матери, очень шла к его смуглому, скуластому лицу. Оля была уже готова. Сунула ему в руку какой-то узелок, завернутый в салфетку, и они пошли к реке. Старый безногий перевозчик, инвалид первой мировой войны, любимец мальчишек, учивший в свое время Алексея ловить пескарей на перекате, гремя своими деревяшками, оттолкнул тяжелую лодку и короткими рывками стал грести. Мелкими толчками, пересекая течение наискось, лодка пошла через реку навстречу пологому, ярко зеленевшему берегу. Девушка сидела на корме, задумчиво ведя рукой по воде.

«Дядя Аркаша, ты нас не помнишь?» — спросил Алексей.

Перевозчик равнодушно посмотрел на молодые лица.

«Не помню»,— сказал он.

«Ну как же, я Алеша Мересьев, ты меня на косе учил пескарей вилкой щучить».

«Ну что ж, может, и учил, много вас тут у меня озоровало, где же всех упомнить!»

Лодка прошла мостки, у которых стоял бокастый катер с гордой надписью «Аврора» на облупленном борту, и с хрустом врезалась в крупный песок берега.

«Теперь здесь мое место. Я не от горкомхоза, а от себя — частник, значит,— пояснил дядя Аркаша, слезая в воду своими деревяшками и подталкивая лодку к берегу; деревяшки тонули в песке и лодка шла туго.— Придется вам прыгать так»,— флегматично сказал перевозчик.

«Сколько тебе?» — спросил Алексей.

«А давай сколько не жаль. С вас побольше бы полагалось, вон какие счастливые! Только не припомню я вас, не припомню».

Прыгая с лодки, они промочили ноги, и Оля предложила разуться. Они разулись. От прикосновения босых ног к влажному теплому речному песку стало им так свободно и весело, что захотелось бегать, кувыркаться, кататься по траве, как козлята.

«Лови!» — крикнула Оля и, быстро-быстро перебирая

крепкими загорелыми ногами, побежала через песчаную отмель на пологий заливной берег, в изумрудную зелень цветущих лугов.

Алексей бежал за ней что есть силы, видя перед собой только пестрое пятно ее легкого цветастого платья. Он бежал, чувствуя, как цветы и султанчики щавеля больно хлещут его по босым ногам, как тепло и мягко поддается под ступнями влажная, разогретая солнцем земля. Ему казалось, что для него очень важно догнать Олю, что от этого зависит многое в их будущей жизни, что, наверно, сейчас тут, на цветущем, одуряюще пахнущем лугу, он легко скажет ей все, что до сих пор не хватало духу ей высказать. Но как только он начинал ее настигать и протягивал к ней руку, девушка делала крутой поворот, как-то по-кошачьи вывертывалась и, рассыпая звонкий смех, убегала в другом направлении.

Она была упряма. Так он ее и не догнал. Она сама свернула с луга на берег и бросилась в золотой горячий песок, вся раскрасневшаяся, с открытым ртом, высоко, часто вздымающейся грудью, жадно вдыхая воздух и смеясь. На цветущем лугу, среди белых звездочек ромашек, он сфотографировал ее. Потом они купались, и он покорно уходил в прибрежный кустарник и отворачивался, пока она переодевалась и выжимала мокрый купальный костюм.

Когда она окликнула его, он увидел ее сидящей на песке, с поджатыми под себя загорелыми ногами, в одном тонком и легком платье, с головой, обмотанной лохматым полотенцем. Расстелив на траве чистую салфетку, прижав ее по углам камешками, она раскладывала на ней содержимое узелка. Они пообедали салатом, холодной рыбой, аккуратно завернутой в промасленную бумагу; было даже самодельное печенье. Оля не позабыла даже соли, даже горчицы, которые стояли в маленьких баночках из-под кольдкрема. Было что-то очень милое и трогательное в том, как эта легкая и ясная девушка хозяйничает серьезно и умело. Алексей решил: довольно тянуть. Все. Сегодня вечером он с ней объяснится. Он убедит ее, он докажет ей, что она обязательно должна стать его женой.

Повалявшись на пляже, еще раз выкупавшись и договорившись вечером встретиться у нее, они, усталые и счастливые, медленно пошли к перевозу. Почему-то не было ни катера, ни лодки. Они долго, до хрипоты звали дядю Аркашу. Солнце ложилось уже в степь. Снопы ярко-

розовых лучей, скользнув по гребню крутоярья на той стороне, золотили крыши домов городка, пыльные притихшие деревья кроваво сверкали в стеклах окон. Летний вечер был зноен и тих. Но что-то в городке случилось. На улицах, обычно пустынных в такую пору, сновало много народу, проехали два грузовика, набитые людьми, прошла строем небольшая группа людей.

«Напился, что ли, дядя Аркаша? — предположил Алексей.— А что, если придется здесь ночевать?»

«С тобой я ничего не боюсь»,— сказала она, взглянув на него своими большими лучистыми глазами.

Он обнял ее и поцеловал, поцеловал в первый и единственный раз. На реке уже глухо постукивали уключины. С того берега двигалась переполненная народом лодка. Теперь с неприязнью посмотрели они на эту приближавшуюся к ним лодку, но почему-то покорно пошли ей навстречу, словно предчувствуя, что́ она им везет.

Люди молча спрыгивали с лодки на берег. Все были празднично одеты, но лица у них были озабоченны и хмуры. Молча проходили по кладям мимо парочки серьезные торопливые мужчины и взволнованные, заплаканные женщины. Ничего не понимая, молодые люди прыгнули в лодку, и дядя Аркаша, не глядя на их счастливые лица, сказал:

«Война... Сегодня по радио сообщили, что началась...»

«Война?.. С кем?» — Алексей даже подскочил на скамейке.

«Все с им, проклятым, с германцем, с кем же,— сердито загребая веслами и резко толкая их, ответил дядя Аркаша.— Уже народ по военкоматам пошел... Мобилизация».

Прямо с прогулки, не заходя домой, Алексей зашел в военный комиссариат. С ночным поездом, отошедшим в 0.40, он уже уехал по назначению в свою лётную часть, едва успев забежать домой за чемоданом и даже не простившись с Олей.

Они переписывались редко, но не потому, что их симпатии ослабели и они стали забывать друг друга,— нет. Ее писем, написанных круглым ученическим почерком, он ждал нетерпеливо, носил их в кармане и, оставаясь наедине, перечитывал снова и снова. Это их прижимал он к груди и на них смотрел в суровые дни лесных скитаний. Но отношения между молодыми людьми оборвались так внезапно и в такой неопределенной стадии, что в письмах этих они говорили друг с другом, как старые добрые зна-

комые, как друзья, боясь примешивать к этому что-то большее, что так и осталось невысказанным.

И вот теперь, попав в госпиталь, Алексей с недоумением, возраставшим от письма к письму, замечал, как Оля вдруг пошла сама ему навстречу, как, не стесняясь, говорила она теперь в письмах о своей тоске, жалела, что не вовремя приехал за ними дядя Аркаша, просила, что бы с ним ни случилось, пусть он знает, что есть человек, на которого он может всегда рассчитывать, и чтобы, скитаясь по чужим краям, он знал, что у него есть угол, куда он может, как свой, вернуться с войны. Казалось, писала какая-то новая, другая Оля. Когда он глядел на ее карточку, ему всегда думалось: дунь ветер, и она улетит вместе со своим цветастым платьем, как улетают парашютики семян созревших одуванчиков. Писала же эти письма женщина — хорошая, любящая, тоскующая по любимому и ожидающая его. Это радовало и смущало, радовало помимо воли, а смущало потому, что Алексей считал — он не имеет права на такую любовь и недостоин такой откровенности. Ведь он не нашел в себе силы написать в свое время, что он уже не тот цыгановатый, полный сил юноша, а безногий инвалид, похожий на дядю Аркашу. Не решившись написать правду, боясь убить больную мать, он принужден был теперь обманывать Олю в письмах, запутываясь в этом обмане с каждым днем все больше и больше.

Вот почему письма из Камышина вызывали в нем самые противоречивые чувства: радости и горя, надежды и тревоги; они одновременно и вдохновляли и мучили его. Однажды солгав, он принужден был выдумывать дальше, а врать он не умел, и поэтому его ответы Оле были коротки и сухи.

Легче было писать «метеорологическому сержанту». Это была несложная, но самоотверженная, честная душа. В минуту отчаяния, после операции, чувствуя потребность излить кому-нибудь свое горе, Алексей написал ей большое и мрачное письмо. В ответ получил вскоре тетрадный лист, исписанный витиеватыми буковками, точно бублик тмином, осыпанный восклицательными знаками и украшенный кляксами от слез. Девушка писала, что, если бы не военная дисциплина, она сейчас же все бы бросила и приехала к нему, чтобы ухаживать за ним и делить его горе. Она умоляла чаще писать. И столько было в сумбурном письме наивного, полудетского чувства, что Алексею стало грустно, и он бранил себя за то, что когда эта де-

вушка передавала ему Олины письма, он на ее вопрос назвал Олю своей замужней сестрой. Такого человека нельзя было обманывать. Он честно написал ей о невесте, живущей в Камышине, и о том, что не решился сообщить матери, Оле о своем несчастье.

Ответ «метеорологического сержанта» прибыл по тем временам неправдоподобно быстро. Девушка писала, что посылает письмо с одним заехавшим к ним в полк майором, военным корреспондентом, который ухаживал за ней и на которого она, конечно, не обратила внимания, хотя он веселый и интересный. По письму видно, что она огорчена и обижена, хочет сдержаться, хочет — и не может. Пеняя ему за то, что он не сказал ей тогда правды, она просила считать ее своим другом. В конце письма уже не чернилами, а карандашом было приписано, что пусть он, «товарищ старший лейтенант», знает, что она крепкий друг и что если та, из Камышина, ему изменит (она-де знает, как ведут себя женщины там, в тылу) или разлюбит, или убоится его увечья, то пусть он не забывает о «метеорологическом сержанте», только пусть пишет ей всегда одну правду. С письмом передали Алексею тщательно зашитую посылочку. В ней было несколько вышитых носовых платочков из парашютного шелка с его меткой, кисет, на котором был изображен летящий самолет, гребенка, одеколон «Магнолия» и кусок туалетного мыла. Алексей знал, как дороги были девушкам-солдатам все эти вещички в те трудные времена. Знал, что мыло и одеколон, попавшие к ним в каком-нибудь праздничном подарке, сохраняются ими обычно как священные амулеты, напоминающие прежнюю, гражданскую жизнь. Он знал цену этим подаркам, и ему было радостно и неловко, когда он раскладывал их на своей тумбочке.

Теперь, когда он со всей свойственной ему энергией тренировал искалеченные ноги, мечтая вернуть себе возможность летать и воевать, он чувствовал в себе неприятную раздвоенность. Его очень тяготило, что он вынужден лгать и наговаривать в письмах к Оле, чувство к которой крепло в нем с каждым днем, и откровенничать с девушкой, которую он почти не знал.

Но он дал себе торжественное слово, что, только осуществив свою мечту, вернувшись в строй, восстановив свою работоспособность, он вновь заговорит с Олей о любви. С тем большей фанатичностью стремился он к этой своей цели.

11

Комиссар умер первого мая.

Произошло это как-то незаметно. Еще утром, умытый и причесанный, он дотошно выспрашивал у брившей его парикмахерши, хороша ли погода, как выглядит праздничная Москва, порадовался, что начали разбирать на улицах баррикады, посетовал, что в этот вот сверкающий, богатый весенний день не будет демонстрации, пошутил над Клавдией Михайловной, предпринявшей по случаю праздника новую героическую попытку запудрить свои веснушки. Казалось, ему стало лучше, и у всех родилась надежда: может быть, дело пошло на поправку.

Уже давно, с тех пор как он лишился возможности читать газеты, к его койке провели наушники радиотрансляции. Гвоздев, немного смекавший в радиотехнике, что-то реконструировал в них, и теперь они орали и пели на всю палату. В девять часов диктор, голос которого в те дни слушал и знал весь мир, начал читать приказ Народного комиссара обороны. Все замерли, боясь пропустить хотя бы слово и вытянув головы к двум черным кругляшам, висевшим на стене. Уже прозвучали слова: «Под непобедимым знаменем великого Ленина — вперед к победе!» — а в палате еще царила напряженная тишина.

— Вот разъясните мне такое дело, товарищ полковой комиссар...— начал было Кукушкин и вдруг вскрикнул с ужасом: — Товарищ комиссар!

Все оглянулись. Комиссар лежал на кровати, прямой, вытянутый, строгий, с глазами, неподвижно устремленными в какую-то точку на потолке, и на лице его, осунувшемся и побелевшем, окаменело торжественное, покойное и величавое выражение.

— Умер! — вскрикнул Кукушкин, бросаясь на колени у его кровати.— У-ме-ер!

Вбегали и выбегали растерянные сиделки, металась сестра, застегивая на ходу халат, влетел ординатор. Не обращая ни на кого внимания, по-детски зарыв лицо в одеяло, шумно сопя, вздрагивая плечами и всем телом, рыдал на груди покойного лейтенант Константин Кукушкин, вздорный и неуживчивый человек...

Вечером этого дня в опустевшую сорок вторую принесли новичка. Это был летчик-истребитель майор Павел Ива-

нович Стручков по дивизии воздушного прикрытия столицы. В праздник немцы решили совершить на Москву большой налет. Их соединения, двигавшиеся несколькими эшелонами, были перехвачены и после жестокого сражения разбиты где-то в районе Подсолнечной, и только один «юнкерс» прорвался сквозь кольцо и, набирая высоту, продолжал путь к столице. Экипаж его решил, должно быть, любой ценой выполнить задание, чтобы омрачить праздник. Вот за ним-то, заметив его еще в суматохе воздушного боя, и погнался Стручков. Он летел на великолепной советской машине — из тех, какими начала тогда переоснащаться истребительная авиация. Он настиг немца высоко, в шести километрах над землей, уже над подмосковной дачной местностью, сумел ловко подобраться к его хвосту и, поймав врага в целик, нажал гашетку. Нажал и удивился, не услышав знакомого тарахтенья. Спусковой механизм отказал.

Немец шел чуть впереди. Стручков тянулся за ним, держась в мертвой зоне, прикрытый килем его хвоста от двух пулеметов, защищавших бомбардировщик сзади. В свете чистого майского утра Москва уже вырисовывалась неясно на горизонте ворохом серых громад, затянутых дымкой. И Стручков решился. Расстегнул ремни, откинул колпак и сам как-то весь поджался, напряг все мускулы, будто готовясь прыгнуть на немца. Точно приладив ход своей машины к ходу бомбардировщика, он прицелился. Мгновение они висели в воздухе рядом, один позади другого, словно близко привязанные друг к другу невидимой нитью. Стручков четко видел в прозрачном колпаке «юнкерса» глаза немецкого башенного стрелка, следившего за каждым его маневром и выжидавшего, когда хоть кусок его крыла выйдет из мертвой зоны. Он видел, как от волнения немец сорвал с себя шлем, и даже различил цвет его волос, русых и длинных, спадавших на лоб сосульками. Черные рыльца спаренного крупнокалиберного пулемета неотрывно смотрели в сторону Стручкова и пошевеливались, как живые, выжидая. На мгновение Стручков почувствовал себя безоружным, на которого вор наставил пистолет. И он сделал то, что делают в таких случаях смелые безоружные люди. Он сам бросился на врага, но с кулаками, как это сделал бы на земле,— он бросил вперед свой самолет, нацелившись сверкающим кругом своего винта в хвостовое оперение немца.

Он даже не услышал треска. В следующее мгновение,

подброшенный страшным толчком, он почувствовал, что перевертывается в воздухе. Земля пронеслась у него над головой и, став на место, со свистом ринулась ему навстречу, ярко-зеленая и сияющая. Тогда он рванул кольцо парашюта. Но, прежде чем без сознания повиснуть на стропах, краем глаза он успел заметить, что рядом, вращаясь, как кленовый лист, сорванный осенним ветром, обгоняя его, несется вниз сигарообразная туша «юнкерса» с отрубленным хвостом. Стручкова, бессильно раскачивавшегося на стропах, крепко ударило о крышу дома, и он без сознания упал на праздничную улицу московского пригорода, жители которого с земли наблюдали его великолепный таран. Они подхватили его, отнесли в ближайший дом. Прилегающие улицы сразу же заполнила такая толпа, что вызванный врач еле пробрался к крыльцу. От удара о крышу у летчика оказались поврежденными коленные чашечки.

Весть о подвиге майора Стручкова была немедленно передана по радио специальным выпуском «Последних известий». Председатель Моссовета сам провожал его в лучший госпиталь столицы. И, когда Стручкова доставили в палату, вслед за ним санитарки внесли цветы, кульки с фруктами, коробки конфет — дары благодарных москвичей.

Это был веселый, общительный человек. Чуть ли не с порога палаты он осведомился у больных, как тут в госпитале «насчет пожрать», строг ли режим, есть ли хорошенькие сестры. А пока его перебинтовывали, успел рассказать Клавдии Михайловне забавный анекдот на вечную тему о Военторге и ввернуть довольно смелый комплимент ее внешности. Когда сестра вышла, Стручков подмигнул ей вслед:

— Симпатяга. Строга? Небось держит вас в страхе божьем? Ничего, не дрейфьте. Что вас, тактике не учили, что ли? Неприступных женщин нет, как нет и неприступных укреплений! — И он расхохотался раскатисто, громко.

Он вел себя в госпитале, как старожил, как будто пролежал тут целый год. Со всеми в палате он сразу перешел на «ты» и, когда ему понадобилось высморкаться, бесцеремонно взял с тумбочки Мересьева носовой платок из парашютного шелка со старательно вышитой «метеорологическим сержантом» меткой.

— От симпатии? — Он подмигнул Алексею и спрятал платок себе под подушку.— Тебе, друг, хватит, а не хва-

тит — симпатия еще вышьет, ей это — лишнее удовольствие.

Несмотря на румянец, пробивавшийся сквозь загар его щек, был он уже не молод. На висках, у глаз, гусиными лапками лучились глубокие морщины, и во всем чувствовался старый солдат, привыкший считать домом то место, где стоит его вещевой мешок, где на рукомойнике лежат его мыльница и зубная щетка. Он внес в палату много веселого шума, и сделал это так, что никто не был на него за это в обиде и всем казалось — знают они его уже давным давно. Новый товарищ пришелся всем по сердцу, и только не понравилась Мересьеву явная склонность майора к женскому полу, которую он, впрочем, не таил и о которой охотно распространялся.

На следующий день хоронили Комиссара.

Мересьев, Кукушкин, Гвоздев сидели на подоконнике выходившего во двор окна и видели, как тяжелая упряжка артиллерийских коней вкатила во двор пушечный лафет, как, сверкая на солнце трубами, собрался военный оркестр и строем подошла воинская часть. Вошла Клавдия Михайловна и согнала больных с окна. Она была, как и всегда, тихая и энергичная, но Мересьев почувствовал, что голос у нее изменился, дрожит и срывается. Она пришла измерить новичку температуру. В это время оркестр во дворе заиграл траурный марш. Сестра побледнела, термометр выпал из ее рук, и сверкающие капельки ртути побежали по паркетному полу. Закрыв лицо руками, Клавдия Михайловна выбежала из палаты.

— Что с ней? Милого ее, что ли...— Стручков кивнул головой в сторону окна, откуда плыла тягучая музыка.

Никто ему не ответил.

Свесившись через подоконник, все смотрели на улицу, куда из ворот медленно выплывал на лафете красный гроб. В зелени, в цветах лежало тело Комиссара. За ним на подушках несли ордена — один, два, пять, восемь... Опустив головы, шли какие-то генералы. Среди них, тоже в генеральской шинели, но без фуражки, шел и Василий Васильевич. Позади, поодаль от всех, перед медленно отбивавшими шаг бойцами, простоволосая, в белом своем халатике, спотыкаясь и, должно быть, не видя ничего перед собой, шла Клавдия Михайловна. В воротах кто-то накинул ей на плечи пальто. Она продолжала идти, пальто соскользнуло с ее плеч и упало, и бойцы прошли, раскалывая шеренги пополам и обходя его.

— Хлопцы, кого хоронят? — спросил майор.

Он тоже все пытался подняться к окну, но ноги его, зажатые в лубки и залитые в гипс, мешали ему, и он не мог подтянуться.

Процессия удалилась. Уже издали глухо плыли по реке, отдаваясь от стен домов, тягучие торжественные звуки. Уже вышла из ворот хромая дворничиха и закрыла со звоном металлические ворота, а обитатели сорок второй все еще стояли у окна, провожая Комиссара в его последний путь.

— Кого же хоронят? Ну? Чего это вы все точно деревянные! — нетерпеливо спрашивал майор, все еще не оставляя своих попыток дотянуться до подоконника.

Тихо, глухо, надтреснутым и словно сырым голосом ответил ему наконец Константин Кукушкин:

— Настоящего человека хоронят... Большевика хоронят.

И Мересьев запомнил это: настоящего человека. Лучше, пожалуй, и не назовешь Комиссара. И очень захотелось Алексею стать настоящим человеком, таким же, как тот, кого сейчас увезли в последний путь.

12

Со смертью Комиссара изменился весь строй жизни сорок второй палаты.

Некому было сердечным словом нарушать мрачную тишину, которая порой наступает в палатах госпиталей, когда, не сговариваясь, все погружаются вдруг в невеселые думы и на всех нападает тоска. Некому было шуткой поддержать упавшего духом Гвоздева, дать совет Мересьеву, ловко и необидно осадить брюзгу Кукушкина. Не стало центра, стягивавшего и сплачивавшего всех этих разнохарактерных людей.

Но теперь это было не так уж и нужно. Лечение и время делали свое дело. Все быстро поправлялись, и чем ближе двигалось дело к выписке, тем меньше думали они о своих недугах. Мечтали о том, что ждет их за стенами палаты, как встретят их в родной части, какие ожидают их дела. И всем им, натосковавшимся по привычному военному быту, хотелось поспеть к новому наступлению, о котором еще не писали и даже не говорили, но которое как бы чувствовалось в воздухе и, словно надвигающаяся

гроза, угадывалось по наступившей вдруг на фронтах тишине.

Вернуться из госпиталя к боевым трудам для военного человека — дело обычное. Только для Алексея Мересьева представляло оно проблему: сумеет ли он восполнить искусством и тренировкой отсутствие ног, сядет ли он опять в кабину истребителя? Все с бóльшим и бóльшим упорством стремился он к намеченной цели. Постепенно наращивая минуты, он довел время тренировки ног и общей гимнастики до двух часов утром и вечером. Но и этого казалось ему мало. Он начал заниматься гимнастикой после обеда. Майор Стручков, искоса наблюдавший за ним веселыми, насмешливыми глазами, всякий раз объявлял:

— А теперь, граждане, вы увидите загадку природы: великий шаман Алексей Мересьев, непревзойденный в лесах Сибири, в своем репертуаре.

Действительно, в упражнениях, которые с таким упорством проводил Алексей, было что-то фанатическое, делавшее его похожим на шамана. Смотреть на его бесконечное раскачиванье, равномерные повороты, на упражнения для шеи и рук, которые он делал упорно, с методичностью раскачивающегося маятника, было трудно, и ходячие товарищи его отправлялись на это время бродить по коридору, а прикованный к койке Стручков закрывался с головой одеялом и пытался уснуть. Никто в палате, конечно, не верил в возможность летать без ног, однако упорство товарища все уважали и, скрывая это за шутками, пожалуй, даже преклонялись перед ним.

Трещины в коленных чашечках майора Стручкова оказались серьезнее, чем предполагалось сначала. Заживали они медленно, ноги были все еще в лубках, и, хотя никаких сомнений в его выздоровлении не было, майор не уставал на все лады бранить «окаянные чашечки», причинившие ему столько хлопот. Эта воркотня его стала переходить в постоянное раздражение. Из-за какой-нибудь мелочи он взрывался, начинал бранить все и вся. В такую минуту казалось — он может ударить того, кто попытался бы его урезонить. По молчаливому согласию, товарищи оставляли его тогда в покое, давая ему, как говорил он сам, «расстрелять все патроны», и дожидались, пока его природная жизнерадостность не возьмет верх над раздражением и расшатавшимися на войне нервами.

Свое все возрастающее нетерпение Стручков объяснял тем, что был лишен возможности даже потихоньку поку-

ривать в уборной, и еще тем, что нельзя было ему повидаться, хотя бы в коридоре, с рыженькой сестричкой из операционной, с которой он уже будто бы перемигнулся, когда его носили на перевязку. Может быть, это было в какой-то степени и так, но Мересьев заметил, что вспышки раздражения вздыбливали майора после того, как видел он в окне пролетавшие над Москвой самолеты или по радио и из газет узнавал о новом интересном воздушном бое, об успехе знакомого летчика. Это приводило в нетерпеливо-раздраженное состояние и самого Мересьева. Но он даже и виду не показывал и теперь, сравнивая себя со Стручковым, внутренне торжествовал. Ему казалось, что он хоть немного стал приближаться к избранному им облику «настоящего человека».

Майор Стручков оставался верен себе: много ел, сочно хохотал по всякому малейшему поводу, любил потолковать о женщинах и при этом казался одновременно и женолюбом и женоненавистником. Особенно ополчался он почему-то на женщин тыла.

Мересьев терпеть не мог этих стручковских разговоров. Слушая Стручкова, он невольно видел перед собой все время Олю или смешного солдатика с метеостанции — девушку, которая, как рассказывали в полку, прикладом винтовки выкинула из своей будки и чуть вгорячах не пристрелила чересчур предприимчивого старшину из батальона аэродромного обслуживания, и Алексею казалось, что это на них клевещет майор Стручков. Однажды хмуро выслушав очередную историю майора, которую он закончил сентенцией о том, что «все они такие» и с любой можно поладить «в два счета», Мересьев не сдержался.

— С любой? — спросил он, стиснув зубы так, что скулы побелели.

— С любой,— беспечно отозвался майор.

В палату вошла Клавдия Михайловна, вошла и удивилась тяжелому напряжению, которое она увидела на лицах больных.

— В чем дело? — спросила она, бессознательным движением заправляя под косынку локон.

— Беседуем про жизнь, сестричка! Наше дело такое, стариковское,— беседовать,— весь просияв, улыбнулся ей майор.

— И с этой? — зло спросил Мересьев, когда сестра вышла.

— А что, она из другого теста, что ли?

— Клавдию Михайловну оставьте! — строго сказал Гвоздев.— У нас один старик ее советским ангелом называл.

— Кто хочет пари, ну?

— Пари? — крикнул Мересьев, свирепо сверкая цыганскими глазами.— На что же споришь?

— Да хоть на пистолетную пулю, как спорила раньше офицерня: ты выиграешь — в меня стреляешь, я выиграю — в тебя,— смеясь и стараясь превратить все в шутку, сказал Стручков.

— Пари? На это? Ты что, забыл, что ты советский командир? Если ты прав, можешь плюнуть мне в морду! — Алексей зло покосился на Стручкова.— Но смотри, как бы я тебе не плюнул.

— Не хочешь пари — не надо. Разбушевался. Подумаешь!.. Я вам, хлопцы, и так докажу, что нечего из-за нее беситься.

С этого дня Стручков стал оказывать Клавдии Михайловне всяческое внимание, веселил ее анекдотами, рассказывать которые он был великий мастер. В нарушение неписаного правила, по какому летчики очень неохотно делятся с посторонними своими военными приключениями, рассказывал ей всяческие случаи из своей действительно большой и интересной жизни и даже, вздыхая, намекал на какие-то свои семейные неудачи, на горькое одиночество, хотя все в палате знали, что он холост и никаких особых неудач у него нет.

Клавдия Михайловна, не очень, правда, отличая его от других, иногда присаживалась к нему на койку, слушая его рассказы о боевых перелетах, причем, как бы забывшись, он брал ее руку, и она не отнимала. У Мересьева накипала тяжелая ярость. Вся палата была возмущена Стручковым. А тот вел себя так, словно с ним действительно побились об заклад. Стручкова всерьез предупредили, чтобы он бросил недостойную игру. Палата готовилась уже решительно вмешаться в это, как вдруг события приняли совершенно иной оборот.

Однажды вечером, в час своего дежурства, Клавдия Михайловна зашла в сорок вторую без дела, просто поболтать, за что особенно любили ее раненые. Майор затеял какой-то рассказ, она присела возле его койки. Что произошло, никто не видел. Все оглянулись, услышав только, как она резко вскочила. Гневно, с сомкнутыми на лбу темными бровями, с пятнистым румянцем, покрывшим

щеки, смотрела она на смущенного, даже испуганного Стручкова:

— Товарищ майор, если бы вы не были больным, а я сестрой милосердия, я дала бы вам по физиономии.

— Ну что вы, Клавдия Михайловна, я, право же, не хотел... И подумаешь, важность...

— Ах важность? — Она смотрела на него уже не с гневом, а с презрением.—Хорошо, тогда нам не о чем говорить. Слышите?! И вот перед вашими товарищами прошу вас впредь обращаться ко мне только по делу, когда вам потребуется медицинская помощь. Спокойной ночи, товарищи.

И она ушла необычной для нее тяжелой походкой, должно быть, изо всех сил стараясь казаться спокойной.

Мгновение вся палата молчала. Потом послышался торжествующий, злой смех Алексея, и все накинулись на майора:

— Что, съел?

Мересьев с сияющими глазами вежливо осведомился:

— Разрешите сейчас плевать, товарищ майор, или погодить?

Стручков сидел озадаченный. Однако он не сдался и сказал, не очень, правда, уверенно:

— М-да, атака отбита. Ну ничего, повторим.

До самой ночи лежал он молча, тихонько что-то насвистывая и иногда вслух отвечая на какие-то свои мысли: «М-да».

Вскоре после этого случая выписался Константин Кукушкин. Он выписался без всяких переживаний, заявив на прощанье, что медицина надоела ему до чертиков. Прощался он небрежно и только все наказывал Мересьеву и сестре, если ему будут письма от матери, обязательно переслать их к нему в полк и письма эти беречь и не терять.

— Ты напиши, как устроишься, как встретят,— напутствовал Мересьев.

— А что мне тебе писать? Какое тебе до меня дело? Не буду я тебе писать, бумагу изводить — все равно не ответишь.

— Ну, как знаешь.

Этой фразы Кукушкин, должно быть, не слыхал. Не оборачиваясь, выходил он уже из палаты. Так же, не оглядываясь, вышел он из дверей госпиталя, прошел по набережной, скрылся за углом, хотя отлично знал, что, по заведенному в госпитале обычаю, вся палата в эту минуту торчит в окнах, провожая товарища.

Впрочем, он все-таки написал Алексею, и написал довольно скоро. Письмо было суховатое, деловое. О себе он сообщил только, что в полку ему, кажется, обрадовались, впрочем, тут же оговорился, что в последних боях были большие потери и тут рады каждому более или менее опытному человеку. Перечислил фамилии убитых и раненых товарищей, написал, что Мересьева по-прежнему помнят, что командир полка, получивший теперь звание подполковника, узнав о гимнастических подвигах Алексея и о его намерении вернуться в авиацию, заявил: «Мересьев вернется. Раз он решил — своего добьется», и что начальник штаба ответил: нельзя, дескать, объять необъятное, а командир заявил на это, что для таких, как Мересьев, необъятного нет. К удивлению Алексея, были даже строчки и о «метеорологическом сержанте». Кукушкин писал: сей сержант так одолел его расспросами, что он, Кукушкин, принужден был скомандовать ему налево кругом марш... В конце письма писал Кукушкин, что уже в первый день пребывания в части он сделал два вылета, что ноги зажили вполне и что в ближайшие дни полк пересядет на новые самолеты, «Ла-5», которые скоро прибудут и про которые Андрей Дегтяренко, летавший на приемку, сказал, что по сравнению с ними машины немецких марок — сундуки и рухлядь.

13

Наступило раннее лето. В сорок вторую палату оно заглянуло все с той же ветки тополя, листья на которой стали жесткими и блестящими. Они порывисто шелестели, точно перешептывались, и к вечеру тускнели от налетавшей с улицы пыли. Красивые сережки на ветке этой давно уже превратились в кисточки зеленых блестящих бусинок, а теперь бусинки полопались, из них полез легкий пух. В полдень, в самую жару, этот теплый тополиный пух носило по Москве, он залетал в открытые окна палаты и пышными розоватыми валиками лежал у двери и по углам, куда сгоняли его теплые сквознячки.

Стояло прохладное, желтое и сверкающее летнее утро, когда Клавдия Михайловна торжественно привела в палату пожилого человека в железных перевязанных веревочками очках, у которого даже новый, топорщащийся от избытка крахмала халат не изменял внешности старого мастерового. Он принес что-то завернутое в белую тряпку

и, положив на полу у койки Мересьева, осторожно и важно, точно фокусник, стал развязывать узелки. Под руками у него скрипела кожа, а в палате разнесся приятный и острый, кисловатый запах дубильных веществ.

В свертке у старика оказалась пара новых желтых скрипучих протезов, очень ловко сконструированных и пригнанных по мерке. Протезы — это составляло едва ли не главную гордость мастера — были обуты в новенькие желтые, казенного образца башмаки. Башмаки сидели так ловко, что создавалось впечатление живых обутых ног.

— Калошки надеть, так хоть под венец! — сказал мастер, любуясь поверх очков изделием своих рук.— Сам Василий Васильевич наказал мне: «Сделай, говорит, Зуев, такие протезы, чтобы лучше ног были». И — нате, пожалуйте, Зуев сделал. Царские!

У Мересьева сердце тоскливо сжалось при виде своих искусственных ног, сжалось, похолодело, но жажда поскорее попробовать протезы, пойти, пойти самостоятельно победила все остальное. Он выкинул из-под одеяла свои культышки и стал торопить старика с примеркой. Но старому протезисту, делавшему, по его словам, еще в «мирное время» протезы какому-то «большому князю», сломавшему ногу на скачках, такая торопливость не нравилась. Он был очень горд изделием и хотел как можно дольше растянуть удовольствие от его вручения.

Он обтер протезы рукавом, ногтем сколупнул с кожи пятнышко, подышал на это место, обтер его полой белоснежного халата, потом поставил протезы на пол, неторопливо свернул тряпку, спрятал ее в карман.

— Ну, старина, давай, что ли,— торопил Мересьев, сидя на кровати.

Сейчас он взглянул на голые обрубленные ноги глазами постороннего и остался ими доволен. Они были крепкие, жилистые, и не жир, как это всегда бывает при вынужденной неподвижности, а тугие мускулы переливались под смуглой кожей, точно это были не обрубки, а полноценные ноги много и скоро ходящего человека.

— А что давай, что давай?.. Скоро, да не споро,— ворчал старик.— Мне Василий Васильевич говорит: «Отличись, говорит, Зуев, на этих протезах; лейтенант, говорит, без ног летать собрался». А я что, я готов, я — пожалуйте, возьмите. С такими протезами не только что ходить, а и на лисапете кататься, с барышнями польку-бабочку танцевать... Работка!

Он сунул обрубок правой ноги Алексея в шерстистое и мягкое гнездо протеза и крепко охватил ногу прикрепляющими ремнями. Отошел, полюбовался, прищелкнул языком:

— Хороша обувка!.. Не беспокоит? То-то! Лучше Зуева, почитай, и мастера в Москве нет. Зуев — золотые руки.

Он ловко надел второй протез и едва успел застегнуть ремни, как Мересьев неожиданно сильным, пружинистым движением спрыгнул с койки на пол. Раздался глухой стук, Мересьев вскрикнул от боли и тут же, около кровати, тяжело рухнул во весь рост.

У старого мастера от удивления очки полезли на лоб. Он не ожидал от своего заказчика такой прыти. Мересьев лежал на полу, беспомощный, пораженный, широко разбросав свои искусственные ноги в ботинках. В глазах его были недоумение, обида, страх. Неужели он обманулся?

Всплеснув руками, Клавдия Михайловна бросилась к нему. Вместе со старым мастером подняли они Алексея и посадили на койку. Он сидел подавленный, обмякший, с тоскливым выражением на лице.

— Э-э-э, мил человек, этак-то негоже, вовсе негоже,— ворчал мастер.— Ишь, спрыгнул, будто и верно живые ноги ему приставили. Нос-то вешать не к чему, друг милый, только теперь твое дело такое — начинать все сначала. Теперь забудь, что ты вояка, теперь ты дитя малое — по шажку, по шажку учись ходить; сначала с костыликами, потом по стеночкам, потом с палочкой. Да не вдруг, да помаленьку, а он — на-кось! Ноги-то и хорошие, да не свои. Таких, мил друг, как папа с мамой сработали, тебе уж никто не сделает.

От неудачного прыжка ноги тяжело ныли. Но Мересьев хотел сейчас же попробовать протезы. Ему принесли легкие алюминиевые костыли. Он уперся ими в пол, зажал под мышками подушки и теперь тихо, осторожно соскользнул с койки и встал на ноги. И точно: он походил теперь на младенца, не умеющего ходить, инстинктом угадывающего, что пойти он может, и боящегося оторваться от спасительной, поддерживающей его стенки. Как младенца, которого мать или бабушка выводят в первое путешествие на просунутом под мышками полотенце, Мересьева с двух сторон заботливо поддерживали Клавдия Михайловна и старый протезист. Постояв на месте, чувствуя с непривычки острую боль в местах прикрепления протезов, Мересьев неуверенно переставил сначала один, потом другой ко-

стыль, перенес на них тяжесть корпуса и подтянул сперва одну, потом другую ногу. Туго и хрустко заскрипела кожа, раздались два тяжелых удара об пол: бум, бум.

— Ну, и в добрый час, в добрый час,— забормотал старый мастер.

Мересьев сделал еще несколько осторожных шагов, и дались они ему, эти первые шаги на протезах, с таким трудом, что, дойдя до двери и обратно, он почувствовал, будто бы куль муки втащил на пятый этаж. Добравшись до койки, он повалился на нее грудью, весь мокрый от пота, не имея сил даже повернуться на спину.

— Ну, как протезы? То-то, благодари бога, что есть на свете мастер Зуев! — по-стариковски хвалился протезист, осторожно развязывая ремни, освобождая слегка уже отекшие и опухшие с непривычки ноги Алексея.— На таких не только что летать, и до самого господа бога долететь можно. Работка!

— Спасибо, спасибо, старик, работа знатная,— бормотал Алексей.

Мастер молча потоптался, будто желая и не решаясь что-то спросить или, наоборот, сам ожидая вопроса.

— Ну, прощевайте, коли так. Счастливо обносить,— сказал он, несколько разочарованно вздохнул и медленно двинулся к двери.

— Эй, мастер,— окликнул его Стручков,— на-ка вот, выпьешь по случаю «царских»-то протезов! — И он сунул в руку старику комок крупных кредиток.

— Ну, спасибо, спасибо,— оживился старик,— по такому случаю как не выпить! — Он солидно уложил деньги куда-то в задний карман, для чего загнул халат таким жестом, как будто это был фартук ремесленника.— Спасибо вам, выпьем, а уж протезы — будь здоров, на совесть. Мне Василий Васильевич говорит: «Особые нужны, Зуев, не подгадь!» Ну, а Зуев, само собой, разве подгадит! Вы ему при случае, Василь-то Васильевичу, отрапортуйте: дескать, довольны работкой.

И старик удалился, кланяясь, что-то бормоча. А Мересьев лежал, рассматривая валявшиеся подле кровати свои новые ноги, и чем больше он на них смотрел, тем больше они ему нравились и остроумностью конструкции, и мастерством работы, и легкостью: на лисапете ездить, польку-бабочку танцевать, на самолете летать аж до господа бога. «Буду, все буду, обязательно буду»,— думал он.

В этот день Оле было отправлено пространное и весе-

лое письмо, в котором он сообщал: работа его по приемке самолетов движется к концу, и надеется он, что начальство пойдет ему навстречу и, может быть, к осени, а в крайнем случае зимой направит его с нудной работы в осточертевшем тылу на фронт, в полк, где товарищи его не забыли и ждут. Это было первое радостное его письмо со дня катастрофы, первое, в котором он писал невесте, что все время думает и тоскует по ней, и — правда, очень робко — выражал заветную мысль, что, может быть, встретятся они после войны и, если она не переменит своего мнения, заживут вместе. Он несколько раз перечел письмо и потом, вздохнув, тщательно вымарал последние строки.

Зато «метеорологическому сержанту» пошло письмо задорное и веселое, с красочным описанием этого дня, с изображением протезов, каких не нашивал сам государь император, с описанием его, Мересьева, на протезах, делающего свои первые шаги, и старого болтуна-мастера, с рассказом о своих надеждах и на лисапете ездить, и польку-бабочку танцевать, и долететь до самого неба. «Так что ждите теперь меня там, в полку, не забывайте и скажите коменданту, чтобы на новом месте обязательно помещение мне оставил»,— писал Мересьев и косился вниз, на пол. Протезы валялись так, что казалось, будто кто-то спрятался под кровать и лежит там, широко разбросав ноги, обутые в новые желтые ботинки. Алексей оглянулся, убедился, что никто за ним не следит, и ласково погладил холодную скрипучую кожу.

И еще в одном месте вскоре горячо обсудили появление «царских протезов» в сорок второй палате — на третьем курсе медицинского факультета Московского государственного университета. Вся женская часть, составлявшая в те времена подавляющее большинство этого курса, со слов Анюты была отлично осведомлена о делах сорок второй палаты. Анюта очень гордилась своим корреспондентом, и, увы, письма лейтенанта Гвоздева, отнюдь не рассчитанные на широкую гласность, читались вслух в выдержках, а иногда и целиком, за исключением особо интимных мест, которых, к слову сказать, по мере роста переписки становилось все больше и больше.

Весь третий курс медиков во главе с Анютой симпатизировал героическому Грише Гвоздеву, не любил вздорного Кукушкина, находил, что советский снайпер Степан Иванович чем-то похож на толстовского Платона Каратаева, преклонялся перед несокрушимым духом Мересьева и как

свое личное несчастье воспринял смерть Комиссара, которого после восторженных отзывов Гвоздева все сумели оценить и по-настоящему полюбить. Многие не удержались от слез, когда читалось письмо о том, как ушел из жизни этот большой и шумный человек.

Все чаще и чаще ходили письма между госпиталем и университетом. Молодые люди не довольствовались почтой, которая шла в те дни слишком медленно. Гвоздев привел как-то в письме слова Комиссара о том, что письма теперь доходят до адресата, как свет далеких звезд. Корреспондент может погаснуть, а письма его будут еще долго ползти и ползти, рассказывая адресату о жизни давно умершего человека. Деятельная и предприимчивая Анюта стала искать более совершенных средств связи и нашла их в лице пожилой сестры, которая имела две службы и работала в университетской клинике и в госпитале Василия Васильевича.

С тех пор университет узнавал о происшествиях в сорок второй палате на второй, самое большее — на третий день и мог быстро на них откликаться. В связи с «царскими протезами» в столовой завязался спор, будет Мересьев летать или нет. Спор молодой, горячий, в котором обе стороны одинаково симпатизировали летчику. Учитывая большую сложность управления истребителем, пессимисты говорили: нет. Оптимисты считали, что для человека, который, уходя от врагов, полмесяца лез ползком через лесную чащобу и прополз бог знает сколько километров, нет ничего невозможного. Для подкрепления своих доводов оптимисты вспоминали примеры из истории и книг.

В этих спорах Анюта не участвовала. Протезы неизвестного ей летчика не очень ее занимали. В редкие свободные минуты она обдумывала свои отношения с Гришей Гвоздевым, которые, как ей казалось, все более и более усложнялись. Сначала, узнав о командире-герое с такой трагической биографией, она написала ему, движимая бескорыстным желанием как-то смягчить его горе. Потом, по мере того как их заочное знакомство крепло, фигура абстрактного героя Отечественной войны уступила место настоящему, живому юноше, и юноша этот все больше и больше интересовал ее. Она заметила, что беспокоится и тоскует, когда от него нет писем. Это новое радовало и пугало ее. Что это, любовь? Разве можно полюбить человека только по письмам, ни разу его не видав, не слышав даже его голоса? В письмах танкиста становилось все

больше и больше мест, которые нельзя было читать однокурсницам. После того как сам Гвоздев признался ей однажды, что то же чувство, как выразился, «заочной любви» овладело и им, Анюта убедилась, что она влюбилась, и влюбилась не по-детски, как это бывало в школе, а по-настоящему. Ей казалось, что жизнь потеряет для нее смысл, если перестанут приходить эти письма, которых она ждала теперь с таким нетерпением.

Так, не видя друг друга, объяснились они в любви. После этого с Гвоздевым стало твориться что-то странное. Письма его стали нервными, мятущимися, полными недомолвок. Потом, собравшись с духом, он написал ей, что это нехорошо, что они объяснились, не видя друг друга, что она, вероятно, не представляет себе, как сильно ожог обезобразил его, что он вовсе не похож на ту старую фотографию, которую послал ей. Он не хочет ее обманывать и просит прекратить писать о чувствах, пока она не увидит своими глазами, с кем имеет дело.

Девушка сначала возмутилась, потом испугалась. Вынула из кармана карточку. На нее смотрело тонкое юношеское лицо с упрямыми скулами, красивым носом и изящными губами. «А теперь? Какой-то ты теперь, милый ты мой, несчастный?» — шептала она, глядя на карточку. Как медик она знала, что ожоги плохо рубцуются и оставляют глубокие, незаживающие следы. Ей почему-то на миг представился муляж головы человека после волчанки, который она видела в анатомическом музее. Точно вспаханное синими бороздами и буграми лицо с неровными, изъеденными губами, с клочками бровей и красными веками без ресниц. А что, если он такой? Девушка ужаснулась, даже побледнела, но тут же мысленно накричала на себя... Ну и что, если так? Он дрался с врагами на горящем танке, он защищал ее свободу, ее право учиться, ее честь и жизнь. Он — герой, он столько раз рисковал на войне и рвется обратно, чтобы снова драться и снова рисковать жизнью. А она? Что она сделала для войны? Рыла окопы, дежурила на крыше, работает теперь в эвакогоспитале? Разве это можно сравнить с тем, что сделал он?! «Я сама недостойна его за одни эти сомнения!» — кричала она на себя, невольно отгоняя страшное видение изуродованного шрамами лица.

Она написала ему письмо, самое нежное и самое большое за всю их переписку. Об этих ее колебаниях Гвоздев, понятно, ничего не узнал. Получив в ответ на свои тревоги хорошее письмо, он долго читал и перечитывал его, пове-

дал о нем даже Стручкову, на что тот, благосклонно выслушав, ответил:

— Не дрейфь, танкист! «Нам с лица не воду пить, и с корявой можно жить». Это, брат, когда сказано? То-то. А нынче, брат, и вовсе — нынче мужчина в большом дефиците.

Откровение это, понятно, не успокоило Гвоздева. Приближался срок его выписки, он все чаще гляделся в зеркало, то рассматривая себя издали, так сказать беглым, поверхностным взглядом, то приближая свое изуродованное лицо к самому стеклу и часами разглаживая язвины и шрамы.

По его просьбе Клавдия Михайловна купила ему пудры и крема. Он сразу же убедился, что изъяны его никакой косметикой не скроешь. Однако ночью, когда все спали, он потихоньку ходил в уборную и там подолгу массировал багровые рубцы, засыпал их пудрой и снова массировал, а потом с надеждой смотрел в зеркало. Издали он выглядел хоть куда — крепкий, широкоплечий, с узким тазом, на прямых поджарых ногах. Но вблизи! Красные шрамы на щеках и подбородке, рубчатая, стянутая кожа приводили его в отчаяние. Он со страхом думал: а как-то взглянет она? Вдруг ужаснется, вдруг поглядит на него, повернется и уйдет, пожав плечами. Или, что было бы хуже всего, побеседует с ним из вежливости часок-другой, а потом скажет что-нибудь такое официальное, холодное — и до свиданья. Гвоздев волновался, бледнел от обиды, как будто все это уже совершилось.

Тогда он выхватывал из кармана халата фотографическую карточку и испытующе смотрел на полную девушку с высоким лбом, с мягкими негустыми и пышными волосами, зачесанными назад, с толстеньким вздернутым, истинно русским носиком и нежными, детскими губами. Над верхней губой темнело едва заметное родимое пятнышко. Немного выпуклые, должно быть серые или голубые, глаза смотрели на него с этого нехитрого и милого лица открыто и честно.

«Какая же ты есть? Ну, скажи: не испугаешься, не убежишь? Хватит у тебя сердца не заметить моего безобразия?» — точно спрашивал он ее, испытующе смотря на карточку.

Тем временем мимо него вдоль коридора, постукивая костылями и поскрипывая протезами, взад-вперед размеренно, неутомимо двигался старший лейтенант Мересьев.

Прошел раз, прошел два, десять, пятнадцать, двадцать раз. Он бродил — по какой-то своей программе — утром и вечером, задавая себе уроки и с каждым днем удлиняя путь.

«Славный малый! — думал про него Гвоздев.— Упорный, упрямый. Экая силища воли у человека! За неделю научился быстро и ловко ходить на костылях. А у иных на это уходят месяцы. Вчера отказался от носилок и сам пошел в процедурную по лестнице. И дошел и поднялся обратно. Слезы текут по лицу, а он поднимается. И даже накричал на санитарку, которая хотела ему помочь. А как он сиял, когда самостоятельно добрался до верхней площадки! Точно взошел на Эльбрус».

Гвоздев отошел от зеркала и посмотрел вслед Мересьеву, быстро перебиравшему ногами и костылями. Ишь, чешет! А какое у него хорошее, симпатичное лицо! Маленький шрамик, пересекающий бровь, нисколько его не портит, даже придает какую-то значительность. Вот бы ему, Гвоздеву, сейчас такое лицо. Что ноги — ног не видать! Ходить и летать он, конечно, научится. Но лицо (куда денешься с эдакой вот брюквой!), на котором точно пьяные черти ночью горох молотили...

...Алексей Мересьев, совершавший в счет вечернего урока двадцать третий рейс вдоль коридора, всем своим усталым, измученным телом чувствовал, как отекли и горят бедра, как ноют занемевшие от костылей плечи. Проходя мимо Гвоздева, он косился на танкиста, стоявшего у стенного зеркала: чудак, ну чего он терзает свою бедную физиономию! Кинозвездой ему, конечно, теперь не стать, а танкистом — за милую душу... Велика беда — лицо, была бы голова цела, да руки, да ноги. Да, да, ноги, настоящие ноги, а не эти вот обрубки, которые болят и горят, точно протезы сделаны не из кожи, а из раскаленного железа.

Тук, тук. Скрип, скрип. Тук, тук. Скрип, скрип...

Закусив губы и сдерживая слезы, которые все-таки выжимала на глаза острая боль, старший лейтенант Мересьев с трудом совершал свой двадцать девятый рейс по коридору, заканчивая суточный урок.

14

Григорий Гвоздев вышел из госпиталя в середине июня.

За день или за два перед этим они хорошо поговорили с Алексеем, и оба как-то внутренне даже порадовались,

что они товарищи по несчастью и у них обоих одинаково сложное состояние личных дел. Как бывает в таких случаях, оба без утайки рассказали друг другу свои опасения, поведали все, что каждому из них было вдвойне тяжело носить в себе, потому что гордость не позволяла ни с кем делиться своими сомнениями. Показали друг другу карточки девушек.

У Алексея была изрядно затертая и выгоревшая любительская фотография. Он сам снял Олю в тот прозрачный яркий июньский день, когда бегали они босиком по теплой траве в цветущей степи Заволжья. Худенькая, как девочка, в пестром своем платье, она сидела, поджав босые ноги, с рассыпанным букетом на коленях, в траве, среди цветущих ромашек, сама ясная, беленькая и чистая, как ромашка в утренней росе. Перебирая цветы, она задумчиво наклонила голову набок, и глаза у нее были раскрыты широко и восторженно, как будто в первый раз увидела она великолепие мира.

Посмотрев на фотографию, танкист заявил, что такая девушка в беде не бросит. Ну, а бросит — и черт с ней: значит, внешность у нее обманчивая, а тогда так и надо, даже к лучшему: значит, дрянь, а с дрянью разве можно связать свою жизнь!

Алексею лицо Анюты тоже понравилось. Сам того не заметив, он изложил Гвоздеву своими словами то же, что только что услышал от него. Немудреная эта беседа никакой ясности, понятно, в личные дела их не внесла, но обоим стало легче, словно прорвался тяжелый, затяжной нарыв.

Условились они, что Гвоздев, выйдя из госпиталя, с Анютой, которая по телефону обещала ему зайти за ним, пройдет мимо окон палаты и Алексей тотчас же изложит танкисту в письме свое о ней впечатление. Гвоздев же, со своей стороны, обещал написать приятелю, как его Анюта встретит, как отнесется к его изуродованному лицу и как пойдут у них дела. Мересьев тотчас же загадал: если у Гриши все будет хорошо, он немедленно расскажет Оле в письме все о себе, взяв с нее слово не огорчать мать, которая все еще была слаба и еле поднималась с постели.

Вот почему оба они одинаково волновались, ожидая выписки танкиста. Волновались так, что не спали ночь, и ночью оба потихоньку вылезли в коридор — Гвоздев, чтобы еще раз помассировать шрамы перед зеркалом, а Мересьев, чтобы, обмотав для тишины концы костылей тряпками, лишний раз потренироваться в ходьбе.

В десять часов Клавдия Михайловна, лукаво улыбаясь, сообщила Гвоздеву, что за ним пришли. Точно ветер сдул его с койки. Покраснев так, что рубцы на его лице стали еще заметнее, он стал быстро собирать вещи.

— Славная девушка, серьезная такая,— улыбаясь, говорила сестра, глядя на эти суматошные сборы.

Гвоздев весь так и засветился.

— Серьезно? Вам понравилась? Нет, правда хорошая? — Он так волновался, что убежал, позабыв проститься.

— Мальчишка! — буркнул майор.— Такие и на муху ловятся.

В последние дни с этим бесшабашным человеком стало твориться что-то неладное. Он стал молчалив, часто без повода раздражался и, получив теперь возможность сидеть на койке, целыми днями смотрел в окно, упершись кулаками в щеки, не отвечая на вопросы.

Вся палата: и помрачневший майор, и Мересьев, и двое новеньких высунулись в окно, ожидая появления товарища на улице. Было тепло. По небу быстро, меняя форму, ползли мягкие, пушистые облака со светящимися золотыми краями. Над рекой в этот момент торопливо проходила серенькая рыхлая тучка, рассеянно роняя по пути крупный, редкий, сверкающий на солнце дождь. Гранит набережной от этого блестел, как полированный, асфальт покрылся темными мраморными пятнами, и так славно тянуло от него парной влагой, что хотелось высунуться из окна и подставить голову под этот ласковый дождик.

— Идет! — прошептал Мересьев.

Тяжелая дубовая дверь подъезда медленно растворилась. Из нее вышли двое: полненькая девушка без шляпки, с простой прической, в белой блузке и темной юбке и молодой военный, в котором даже Алексей не сразу признал танкиста. В одной руке военный нес чемодан, на другой руке шинель, и ступал он так легко и пружинисто, прочно, что было приятно смотреть на него. Должно быть, пробуя свои силы, радуясь возможности широко двигаться, он даже не сбежал, а как-то ловко соскользнул со ступенек подъезда, взял свою спутницу под руку, и они пошли по набережной, приближаясь к окну палаты, посыпаемые редким и крупным золотым дождем.

Алексей смотрел на них, и сердце его наполнялось радостью: обошлось хорошо, недаром у нее такое открытое,

простое и милое лицо. Такая не отвернется. Ну да, такие не отворачиваются от человека в беде.

Они поравнялись с окном, остановились, подняв головы. Молодые люди стояли у отлакированного дождем гранитного парапета набережной, на фоне косых светящихся линий, оставляемых медленно летящими каплями. И тут заметил Алексей, что у танкиста на лице растерянность и напряженная тревога, что Анюта его, и в самом деле такая же славная, как на фотографии, чем-то озадачена, смущена, что рука ее нетвердо лежит на руке танкиста и поза у нее взволнованная и нерешительная, точно вот-вот сейчас она выдернет эту руку и убежит.

Помахав руками, напряженно поулыбавшись, парочка тронулась по набережной и скрылась за поворотом. В палате все молча разбрелись по своим местам.

— А дела у Гвоздича не баские,— заметил майор и, услышав в коридоре стук каблуков Клавдии Михайловны, вздрогнул и резко отвернулся к окну.

Остаток дня Алексей чувствовал себя тревожно. Вечером он даже не занимался ходьбой, раньше всех завалился спать, но еще долго после того, как уснула палата, нервно скрипели пружины его койки.

На следующее утро он еще на пороге спросил сестру, не передали ли для него письмо. Письма не было. Он вяло умылся, вяло поел. Но хождением он занимался больше, чем обычно, и, наказывая себя за вчерашнюю слабость, проделал лишних пятнадцать рейсов в счет недовыполненной вчера нормы. Это неожиданное достижение заставило его забыть все тревоги. Он доказал, что двигаться на костылях может свободно, не слишком утомляясь. Ведь если пятьдесят метров коридора помножить на сорок пять, по числу рейсов, то получалось две тысячи двести пятьдесят метров, или два с четвертью километра,— сколько было примерно от офицерской столовой до аэродрома. Он мысленно прикинул в уме этот памятный путь, который вел мимо развалин старой сельской церкви, мимо кирпичного куба спаленной школы, уныло глядевшего на дорогу черными глазницами пустых окон, через лесок, где прятались накрытые еловыми ветками бензовозы, мимо землянок командного пункта, мимо маленькой дощатой будки, где над картами и схемами священнодействовал «метеорологический сержант». Немало, ей-богу, немало!

Мересьев решил увеличить дневной урок до сорока шести рейсов, по двадцать три утром и вечером, а завтра со

свежими силами попробовать ходить без костылей. Это сразу отвлекло его от тусклых мыслей, подняло в нем дух, настроило на деловой лад. Вечером он принялся за свои путешествия с таким подъемом, что почти не заметил, как перекатил за тридцать рейсов. Вот в эту-то минуту гардеробщица с вешалки и остановила его, появившись с письмом. Он взял маленький конвертик, адресованный: «Старшему лейтенанту Мересьеву, в собственные руки». Слово «собственные» было подчеркнуто, и это не понравилось Алексею. На письме над обращением тоже стояло, опять подчеркнутое: «Только адресату».

Прислонившись к подоконнику, Алексей распечатал конверт, и по мере того как читал он это пространное послание, написанное Гвоздевым ночью на вокзале, мрачнее и мрачнее становилось его лицо. Писал Гвоздев, что Анюта оказалась именно такой, какой они ее представляли, что красивее ее, может быть, нет в Москве, что встретила она его, как родного, и еще больше ему понравилась.

«...Но то, о чем мы с тобой толковали, все так и получилось. Она хорошая. Она мне ничего не сказала и даже виду не подала. Все по-хорошему. Но ведь я-то не слепой, вижу — пугает ее моя проклятая рожа. Все как будто ничего, а вдруг оглянусь — замечу: смотрит на меня, и не то ей стыдно, не то страшно, не то жалко меня, что ли... Привела меня к себе в университет. Лучше бы мне туда не ходить. Окружили меня студентки, смотрят... Ты представляешь, они, оказывается, всех нас знают, Анюта им все про нас рассказывала... И вижу, она на них глядит как-то виновато: дескать, извините, что такое страшилище привела. А главное, Алеша, виду она не показывает, ухаживает за мной, ласковая и все говорит, говорит, словно замолчать боится. Потом пошли к ней. Живет она одна, родители в эвакуации, семья, видать, почтенная. Стала чаем угощать, а сама все в чайник на мое отражение глядит и все вздыхает. Словом, чувствую: не могу, к чертям! Я ей прямо и сказал, так, мол, и так. «Вижу, внешность моя вам не по душе. Что ж, и правильно, понимаю и не обижен». Она в слезы, а я говорю: «Не плачьте, вы девушка хорошая, вас любой полюбит, зачем себе жизнь портить». Потом я сказал ей: «Теперь вы меня видали, какой я есть красавец, и подумайте хорошенько, а я в часть поеду, адрес пришлю. Коли не передумаете, напишите»... И сказал ей: «Не невольте себя, был я — и нет меня: война». Она, конечно: «Нет, нет, что вы»,— плачет. В это время объявили

какую-то дурацкую воздушную тревогу, она вышла, а я под шумок утек — и прямо в офицерский полк. С ходу получил направление. Все хорошо, литер в кармане, еду. Только, Алеша, еще больше я в нее влюбился и уж как без нее дальше жить буду — не знаю».

Читал Алексей письмо друга, и ему казалось, что заглянул он в свое будущее. Вот именно так, наверно, произойдет и с ним. Оля не оттолкнет, не отвернется, нет, она вот так же великодушно захочет принести себя в жертву, будет улыбаться сквозь слезы, ласкать, подавляя в себе неприязнь.

— Нет, нет, не надо! Не надо! — вслух сказал Алексей.

Он быстро доковылял до палаты, сел за стол и единым духом написал Оле письмо, короткое, холодно-деловое. Он не решился написать правду — зачем? Мать больная, стоит ли обрушивать на нее еще одно горе. Он написал Оле, что много думал над их отношениями, что, наверно, ей тяжело ждать. Сколько еще времени продлится война? А годы идут, молодость уходит. Война же — такая вещь, что ожидания могут пройти впустую. А вдруг убьют его, и она овдовеет, не побыв даже женой, или того хуже: его искалечат, и ей придется выйти замуж за инвалида. Зачем? Пусть она не пропускает молодости и скорее его позабудет. Она может ему не отвечать, он не обидится. Он понимает ее, хотя это и очень тяжело. Так будет лучше.

Письмо жгло руки. Не перечитывая, запечатал он его в конверт, быстро доковылял до синего почтового ящика, висевшего в коридоре за сверкающим титаном с кипяченой водой.

Вернувшись в палату, он снова уселся за стол. Кому поведать свою тоску? Матери нельзя. Гвоздеву? Он, конечно, понял бы, да где он — ищи его теперь в бесконечной путанице множества фронтовых дорог. В полк? Но до него ли там счастливцам, занятым обычными боевыми делами! «Метеорологическому сержанту»! Вот кому. И он стал писать, и писалось легко, как легко плачется на плече друга. Но вдруг оборвал на полуфразе, задумался, с ожесточением скомкал и разорвал написанное.

— «Нет мук страшнее муки слова»,— насмешливо процитировал Стручков.

Он сидел на койке с письмом Гвоздева в руках, которое он, должно быть, по бесцеремонности своей взял с тумбочки Алексея и прочитал.

— Что это сегодня на всех напало?.. Гвоздев тоже, ой,

дуралей! Девица поморщилась, горе какое!.. Развел психологию, тоже мне брат Карамазов... Не сердишься, что прочел? Какие у нас, у фронтовиков, секреты!

Алексей не сердился. Он думал. А может быть, завтра подкараулить почтальона и взять у него письмо обратно?

Спал эту ночь Алексей тревожно, и снился ему то занесенный сугробами аэродром и неведомой конструкции самолет «Ла-5» с птичьими лапами вместо шасси; в кабину будто бы лез технарь Юра, лез и говорил, что Алексей «свое отлетал», теперь его очередь летать; то дед Михайла в белой рубахе и мокрых портках будто парил Алексея веником на соломе и все смеялся: перед свадьбой-де и запарить не грех. А потом, под самое утро, приспилась Оля. Сидела она на перевернутой лодке, опустив в воду загорелые и крепкие свои ножки, легкая, тоненькая, какая-то вся светящаяся. Будто она, загородившись ладошкой от солнца, смеясь, манила его к себе, а он будто плыл к ней, но течение, сильное и бурное, тянуло его назад от берега, от девушки. Он все сильнее работал руками, ногами, всеми мускулами и подплывал к ней все ближе, ближе и видел уже, как ветер треплет пряди ее волос, как сверкают капли воды на загорелой коже ее ног...

На этом он и проснулся, радостный, просветленный. Проснулся и долго лежал с закрытыми глазами, стараясь снова заснуть и вернуть приятный сон. Но это удается только в детстве. Образ хрупкой загорелой девушки из сна как-то сразу осветил все. Не раздумывать, не раскисать, не разводить, как говорил майор, достоевщину, а плыть к Оле навстречу, плыть против течения, плыть вперед чего бы это ни стоило, положить все силы — и доплыть! А письмо? Он хотел было идти к ящику и караулить почтальона, но махнул рукой: пусть идет своей дорогой. Настоящей любви такое письмо не спугнет. Теперь, поверив, что любовь настоящая, что его ждут веселым и печальным, здоровым и больным — всяким, он ощущал большой подъем сил.

Утром он попробовал ходить без костылей. Осторожно спустился с кровати. Встал. Постоял, расставив ноги и беспомощно разведя руки для баланса. Потом, придерживаясь за стену руками, сделал шаг. Захрустела кожа протеза. Тело понесло в сторону, но он сбалансировал рукой. Сделал второй шаг, все еще не отрываясь от стены. Он никогда не думал, что ходить так трудно. В детстве, мальчишкой, он учился ходить на ходулях. Встанет на коло-

дочки, оттолкнется спиной от стены — шаг, другой, третий, неудержимо тянет вбок, и он соскакивает, а ходули валятся в пыльную мураву, которой заросла окраинная улица. Но на ходулях легче, с них можно спрыгнуть. С протезов не спрыгнешь. И, когда его на третьем шаге бросило в сторону и подвернулась нога, он грузно, ничком грохнулся на пол.

Для учебы он выбрал процедурный час, когда население палаты уносили в лечебные кабинеты. Он никого не позвал на помощь, подполз к стене, медленно, опираясь о нее, поднялся на ноги, пощупал ушибленный бок, посмотрел на синяк на локте, уже начинавший багроветь, и, стиснув зубы, опять сделал шаг вперед, отделившись от стены. Теперь он, кажется, усвоил секрет. Его составные ноги отличались от обычных прежде всего отсутствием эластичности. Он не знал их свойств и не выработал в себе привычки, своего рода рефлекса, чтобы менять положение ног при хождении, переносить тяжесть с пятки на ступню, делая шаг, и снова перекладывать тяжесть корпуса на пятку следующей ноги. И, наконец, ставить ступни не параллельно, а под углом, носками врозь, что придает при передвижении бóльшую устойчивость.

Все это приходит к человеку в раннем детстве, когда он под надзором матери делает первые неуклюжие шажки на мягких коротеньких ножках. Эти навыки запечатлеваются на всю жизнь, становятся естественным импульсом. Когда же человек надел протезы и естественные соотношения его организма изменились, этот с детства приобретенный импульс не помогает, а, наоборот, затрудняет движения. Вырабатывая новые навыки, приходится все время этот импульс преодолевать. Многие, лишившись ног, не обладая силой воли, до старости не могут снова постигнуть так легко дающееся нам в детстве искусство ходить.

Мересьев умел добиваться своего. Учтя ошибки, он снова оттолкнулся от стены и, отворачивая носок искусственной ноги в сторону, стал на пятку, потом перенес тяжесть корпуса на носок. Сердито скрипнул протез. В момент, когда тяжесть переходила на носок, Алексей резко оторвал от пола вторую ногу и выбросил ее вперед. Пятка тяжело грохнула об пол. Теперь, балансируя руками, он стоял среди комнаты, не решаясь на следующий шаг. Стоял, шатался, все время теряя равновесие и чувствуя, как холодный пот выступает у переносицы.

В таком виде и застал его Василий Васильевич. Он по-

стоял в дверях, понаблюдал за Мересьевым, подошел и взял его под мышки:

— Браво, ползун! А почему один, без сестры, без санитара? Гордыня человеческая... Ну ничего, во всяком деле важен первый шаг, теперь самое трудное сделал.

В последнее время Василия Васильевича сделали начальником очень высокого медицинского учреждения. Дело было большое, отнимало уйму времени. С госпиталем пришлось проститься. Но по-прежнему старик числился его шефом и, хотя хозяйничали в нем уже другие, ежедневно появлялся в палатах, когда находил время, делал обход, консультировал. Только лишился он навсегда после гибели сына прежней веселой и деятельной своей ворчливости, ни на кого больше не кричал, не сквернословил, и те, кто знал его близко, видели в этом признак быстро надвигающейся старости.

— Ну, Мересьев, давайте вместе учиться... А вы идите себе, идите, тут не цирк, нечего смотреть. Ну, докончите обход без меня,— цыкнул он на сопровождающих.— А ну, голубчик, давайте, раз... Да держитесь, держитесь за меня, чего стесняться! Держитесь, я генерал, меня слушаться надо. Ну, два, так... Теперь на правую. Хорошо. Левой. Здорово!

Знаменитый медик весело потер руки, как будто, уча человека ходить, совершал бог весть какой важный медицинский эксперимент. Но такое уж было свойство его характера — увлекаться всем, за что бы он ни брался, и вкладывать в это всю свою большую, энергичную душу. Он заставил Мересьева пройти вдоль палаты, и, когда тот, совершенно измученный, брякнулся на стул, он поставил свой стул рядом с ним.

— Ну, а летать — как, будем? То-то. Ныне, батенька, война такая: люди с оторванной рукой роту в атаку ведут, смертельно раненные строчат из пулемета, доты вон грудью закрывают... Только вот мертвые не воюют...— Старик потускнел, вздохнул.— Да и те воюют, славой своей. Да... Ну-с, начнем, молодой человек.

Когда Мересьев отдыхал после второго рейса по палате, профессор вдруг показал на койку Гвоздева:

— А этот как, танкист? Ожил, выписался?

Мересьев сказал, что ожил, поехал воевать, только одна беда: лицо, в особенности нижнюю его часть, ожог изуродовал непоправимо.

— Уже написал? Уже разочарование, девушки не лю-

бят? Так посоветуйте ему усы и бороду. Серьезно. Еще прослывет оригиналом, девушкам это вполне может понравиться!

В дверь сунулась запыхавшаяся сестра и заявила, что звонят из Совнаркома. Василий Васильевич тяжело поднялся со стула, и по тому, как опирался он при этом о колени своими пухлыми синими шелушащимися руками, как тяжело разогнул он спину, стало особенно заметно, насколько сдал он за последние недели. Уже в дверях он оглянулся и весело крикнул:

— Так обязательно напишите этому... как его, вашему другу, что я ему бороду прописал. Испытанное средство! Шумный успех у дам!

А вечером старый служитель клиники принес Мересьеву палку, великолепную, старинную, черного дерева палку, с удобной ручкой из слоновой кости и с какими-то накладными монограммами.

— От профессора, от Василия Васильевича: свою собственную прислал в подарок. Вам ходить с палочкой велел.

Скучно было в госпитале в этот летний день. И в сорок вторую потянулись экскурсии. Соседи справа, слева, даже сверху приходили смотреть профессорский подарок. Палка действительно была хороша.

15

Предгрозовое затишье на фронте затянулось. В сводках отмечались бои местного значения, поиски разведчиков. Раненых было мало, начальство разгрузило сорок вторую палату, оставив в ней две койки: справа мересьевскую и слева, у окна, выходившего на набережную, майора Стручкова.

Поиски разведчиков! Мересьев и Стручков были опытные воины, и они знали: чем больше эта пауза, чем длительнее это напряженное затишье, тем крепче и сильнее грянет гроза.

Однажды в сводке промелькнуло сообщение, что где-то на южном участке фронта снайпер Герой Советского Союза Степан Ивушкин убил двадцать пять немцев, доведя общий счет уничтоженных им врагов до двухсот. Пришло письмо от Гвоздева. Он не писал, конечно, ни где он, ни что с ним, но сообщал, что снова попал в хозяйство своего прежнего командира Павла Алексеевича Ротмистрова, что

жизнью доволен, что там масса черешни, что все они объедаются ею, и просил Алексея, если он получит это письмо, черкнуть пару слов Анюте. Он тоже ей пишет, да кто знает, доходят ли до нее его письма, так как он все время на марше и местопребывание постоянно меняется.

Военному человеку даже по этим двум весточкам о друзьях стало ясно, что гром грянет где-то на юге. Конечно, Алексей и Анюте написал и Гвоздеву послал профессорский совет насчет бороды, только знал он, что тот теперь находится в состоянии той самой предбоевой военной лихорадки, которая так трудна и в то же время так дорога каждому воину, и теперь Гвоздеву не до бороды, а может быть, и не до Анюты.

Случилось в сорок второй и еще одно радостное происшествие. Был опубликован Указ, которым майору Стручкову Павлу Ивановичу присваивалось звание Героя Советского Союза. Но и эта большая радость ненадолго взбодрила майора. Он продолжал хмуриться. Угнетало его, что из-за этих «чертовых чашечек» он должен лежать в такое горячее время. Была для хандры и другая причина, которую он тщательно скрывал и которая открылась Алексею совершенно неожиданно.

Теперь, когда Мересьев всей силой своей воли устремился к одной цели — научиться ходить, он плохо замечал, что творится вокруг него. День свой он рассчитал по строгому графику. Три часа в день — по часу утром, в полдень и вечером — проводил он на протезах, расхаживая по коридору. Сначала больных раздражала фигура в синем халате, бесконечно, с методичностью маятника мелькавшая в дверях палат, и равномерный скрип протезов, тягуче разносившийся в коридорных просторах. Потом к этому так привыкли, что как-то и не мыслили определенных часов суток без этой маячащей фигуры, и, когда Мересьев однажды заболел гриппом, из соседних палат в сорок вторую пришли гонцы узнать, что случилось с безногим лейтенантом.

По утрам Алексей делал зарядку, а потом, сидя на стуле, тренировал ноги для управления самолетом. Иной раз он упражнялся до одури, до того, что начинало звенеть в ушах, перед глазами мельтешили сверкающие зеленые круги и пол начинал качаться под ногами. Тогда он шел к рукомойнику, мочил голову, потом отлеживался, чтобы прийти в себя и не пропустить часа ходьбы и гимнастики.

На этот раз, находившись до головокружения, он, не видя ничего перед собой, нащупал дверь и тихо опустился

на свою койку. Только тогда проникли в его сознание голоса: ровный, чуть-чуть насмешливый — Клавдии Михайловны и бурный, обиженный — майора Стручкова.

Оба были так увлечены разговором, что и не заметили, как вошел Мересьев.

— Да поймите же меня, я серьезно говорю! Доходит это до вас? Женщина вы или нет?

— Женщина, конечно, только ничего до меня не доходит, и серьезно на эту тему вы говорить не можете. Да и не нужна она мне, ваша серьезность.

Стручков вышел из себя. Резко, будто выкрикивая ругательство, он закричал на всю палату:

— Да люблю же я вас, черт возьми! Надо же не женщиной, а поленом осиновым быть, чтобы этого не видеть! Ну, дошло? — Он отвернулся, забарабанил пальцами по окну.

Клавдия Михайловна тихо пошла к двери — неслышной, осторожной походкой опытной медицинской сестры.

— Стойте, куда вы? Ну, что вы мне ответите?

— Здесь не время и не место об этом разговаривать. Я на работе.

— Что вы крутите? Что вы жилы из меня тянете? Отвечайте! — В голосе майора слышалась тоска.

Клавдия Михайловна остановилась в дверях. Ее стройная фигурка четко вырисовывалась на фоне темного коридора. Мересьев и не подозревал, что эта тихая и немолодая уже сестра может быть такой по-женски сильной и привлекательной. Она стояла, закинув голову, и словно с пьедестала смотрела на майора:

— Хорошо, я вам отвечу. Я не люблю вас и, вероятно, никогда не смогла бы полюбить.

Она ушла. Майор бросился на кровать и сунул голову в подушку. Мересьеву стали понятны все стручковские чудачества последних дней — его вспыльчивость, нервозность, когда в комнате появлялась сестра, резкие переходы от веселости к вспышкам бешеного гнева.

Он, должно быть, действительно страдал. Алексею было его жалко, и в то же время он был доволен. Когда майор поднялся с койки, Алексей не удержался от удовольствия пошутить:

— Что ж, разрешите плюнуть, товарищ майор?

Если бы он знал, что́ произойдет, он никогда, даже в шутку, не сказал бы этого. Майор подбежал к его койке и отчаянным каким-то голосом крикнул:

— Плюй! Ну, плюй, и будешь прав. Есть за что. Не хочешь?.. Что же теперь делать-то буду, а? Ну что, научи, скажи — ты ведь слышал...— Он сел на койку и закачался, стиснув голову руками.— Наверно, думаешь — легкое развлечение? Легкое! Я же всерьез, я же ей предложение, дуре, сделал!

Вечером Клавдия Михайловна пришла в палату с назначениями. Она была, как всегда, тихая, ласковая, терпеливая. Казалось, что вся она излучает покой. Майору она тоже улыбалась, но посматривала на него с некоторым изумлением и опаской.

Стручков сидел у окна, сердито кусая ногти. Когда шаги Клавдии Михайловны, удаляясь, застучали по коридору, он проводил ее сердитым и восхищенным взглядом:

— «Советский ангел»... И какой дурак дал ей такое прозвище! Это же черт в халате!

Вошла сестра из канцелярии, тощая пожилая женщина.

— Мересьев Алексей — ходячий? — осведомилась она.

— Бегающий,— буркнул Стручков.

— Я пришла сюда не для шуток! — строго заметила сестра.— Мересьева Алексея, старшего лейтенанта, зовут к телефону.

— Барышня? — оживился майор, подмигивая в сторону сердитой сестры.

— Я ей в паспорт не смотрела,— проскрипела та, величественно выплывая из палаты.

Мересьев соскочил с койки. Бодро постукивая палкой, он опередил сестру и действительно бежал по коридору. Он уже около месяца ждал ответа от Оли, и у него мелькнула нелепая мысль: а что, если это она? Этого не могло быть: в такое время приехать из-под Сталинграда в Москву! Да и как она могла найти его тут, в госпитале, когда он ей писал, что работает в тыловой организации, и не в Москве, а в пригороде.

Но в эту минуту Мересьев верил в чудо и, даже сам не замечая того, бежал, в первый раз по-настоящему бежал на протезах, изредка опираясь на палку, переваливаясь с боку на бок, и протезы скрипели: скрип, скрип, скрип...

В телефонной трубке звенел грудной, приятный, но совершенно незнакомый голос. Его спросили, он ли старший лейтенант Алексей Петрович Мересьев из сорок второй палаты.

Сердито и резко, как будто в вопросе этом содержалось что-то для него обидное, Мересьев крикнул в трубку:

— Да!

Голос в трубке на минуту осекся. Потом с заметным напряжением холодно извинился за беспокойство.

— Говорит Анна Грибова. Я знакомая вашего друга, лейтенанта Гвоздева, вы меня не знаете,— с некоторым усилием произнесла девушка, явно обиженная неласковым ответом.

Но Мересьев, схватившись обеими руками за трубку, уже кричал в нее что есть мочи:

— Вы Анюта? Та самая? Нет, я вас отлично знаю, отлично! Гриша мне...

— Где он, что с ним? Он сорвался так внезапно. Я вышла из комнаты по тревоге. Я санпост. Вернулась — никого нет, ни записки, ни адреса. Я ничего не понимаю, где он, почему исчез, что с ним... Алеша, дорогой, вы меня извините, что я вас так называю, я вас тоже знаю и очень волнуюсь, где он, почему так внезапно...

У Алексея стало тепло на душе. Он был рад за друга. Значит, этот чудак ошибся, переосторожничал. Вот, действительно, брат Карамазов! Значит, не пугают настоящих девушек увечья воина. Значит, и он, да, он может рассчитывать, что его вот так же взволнованно будут искать! Все это с быстротой тока неслось в его голове в то время, как он, захлебываясь, кричал в трубку:

— Анюта! Все в порядке, Анюта! Досадное недоразумение. Он жив-здоров и воюет. Ну да! Полевая почта 42531-В. Он бороду отращивает, Анюта, ей-богу, роскошная борода, как у... как у... как у... партизана. Она ему очень идет.

Бороду Анюта не одобрила. Она сочла ее лишней. Еще более обрадованный, Мересьев заявил, что, раз так, Гриша ее одним махом сбреет ко всем чертям, хотя все находят, что борода его очень красит.

В общем, они повесили трубки друзьями, сговорившись, что перед выпиской Мересьев обязательно ей позвонит.

Возвращаясь в палату, Алексей вспомнил, что к телефону он бежал, попробовал бежать — и не вышло. От резких ударов протеза об пол острая боль пронзила все его тело. Ну ничего: не сегодня-завтра, не завтра-послезавтра, а он побежит, черт возьми! Все будет хорошо! Он не сомневался, что снова станет и бегать, и летать, и воевать, и, любя зароки, дал себе зарок: после первого воздушного боя, после первого сбитого немца написать Оле обо всем. Будь что будет!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Вразгар лета 1942 года из тяжелых дубовых дверей госпиталя в Москве, опираясь на крепкую, черного дерева палку, вышел коренастый молодой человек в открытом френче военного летчика, в форменных брюках навыпуск, с тремя кубиками старшего лейтенанта на голубых петлицах. Его провожала женщина в белом халате. Косынка с красным крестом, какие носили сестры милосердия в прошлую мировую войну, придавала ее доброму, миловидному лицу немного торжественное выражение. На площадке подъезда они остановились. Летчик снял мятую, выгоревшую пилотку и неловко поднес к губам руку сестры, а та взяла ладонями его голову и поцеловала в лоб. Потом, слегка переваливаясь, он быстро спустился по ступенькам и, не оглядываясь, пошел по асфальту набережной мимо длинного здания госпиталя.

Раненые в синих, желтых, коричневых пижамах махали ему из окон руками, палками, костылями, что-то кричали, что-то советовали, напутствуя его. Он тоже махал им рукой, но видно было, что стремился он как можно скорее уйти от этого большого серого здания и отворачивался от окон, чтобы скрыть свое волнение. Он шел быстро, странной, прямой, подпрыгивающей походкой, легко опираясь на палку. Если бы не тихий скрип, отмечавший каждый его шаг, никому и в голову не пришло бы, что у этого стройного и крепко сбитого подвижного человека ампутированы ноги.

Алексея Мересьева направили после госпиталя долечиваться в санаторий Военно-Воздушных Сил, находившийся под Москвой. Туда же ехал и майор Стручков. Из санатория за ними выслали машину. Но Мересьев убедил госпитальное начальство, что в Москве у него родственники, не навестив которых он не может уехать. Он оставил вещевой мешок Стручкову и ушел из госпиталя пешком, обещав добраться до санатория вечером на электричке.

Родственников у него в Москве не было. Но уж очень хотелось ему посмотреть столицу, не терпелось попробовать свои силы в самостоятельной ходьбе, потолкаться в шумной толпе, которой до него не было никакого дела. Он

позвонил Анюте и попросил, если она сможет, встретиться с ним часов в двенадцать. Где? Ну, где же?.. Ну, у памятника Пушкину, что ли... И вот теперь он шел один по набережной величавой, закованной в гранит реки, которая сверкала на солнце чешуей мелкой ряби, и жадно вдыхал всей грудью теплый летний, пахнущий чем-то очень знакомым, приятно сладким воздух.

Как же кругом хорошо!

Все женщины казались ему красивыми, зелень деревьев поражала яркостью. Воздух был так свеж, что от него, как от хмеля, кружилась голова, и так прозрачен, что терялись перспективы, и казалось: протяни руку — и можно дотронуться до этих старых зубчатых, никогда не виданных им в натуре кремлевских стен, до купола Ивана Великого, до громадной пологой арки моста, тяжелым изгибом повисшей над водой. Томный, сладковатый запах, висевший над городом, напоминал детство. Откуда он? Почему так взволнованно бьется сердце и вспоминается мать, не теперешняя, худенькая старушка, а молодая, высокая, с пышными волосами? Ведь они же с ней ни разу не бывали в Москве.

До сих пор Мересьев знал столицу по фотографиям в журналах и газетах, по книгам, по рассказам тех, кто побывал в ней, по протяжному звону старинных курантов в полночь, проносящемуся над засыпающим миром, по пестрому и яркому шуму демонстраций, бушевавшему в радиорепродукторе. И вот она перед ним раскинулась, разомлевшая в ярком летнем зное, просторная и прекрасная.

Алексей прошел по пустынной набережной вдоль Кремля, отдохнул у прохладного гранитного парапета, глядя в серую, затянутую радужной пленкой воду, плескавшуюся у подножия каменной стены, и медленно стал подниматься на Красную площадь. Цвели липы. Среди асфальта улиц и площадей в подстриженных кронах, желтевших нехитрыми, сладко пахнущими цветами, деловито гудели пчелы, не обращая внимания ни на гудки проезжавших машин, ни на дребезжанье и скрежет трамваев, ни на жаркое, пахнущее нефтью марево, дрожащее над раскаленным асфальтом.

Так вот ты какая, Москва!

После четырехмесячного лежания в госпитале Алексей был поражен ее летним великолепием, что не сразу заметил: столица была одета в военную форму и находилась, как говорят летчики, в готовности номер один, то есть в любую минуту могла подняться на борьбу с врагом. Ши-

рокая улица у моста была преграждена большой уродливой баррикадой, сделанной из бревенчатых клеток, заполненных песком; как забытые ребенком на столе кубики, по углам моста возвышались квадраты четырехамбразурных бетонных дотов. На серой глади у Красной площади разноцветными красками намалеваны дома, газоны, аллеи. Окна магазинов на улице Горького забиты щитами, засыпаны песком. А в переулках, тоже похожие на игрушки, рассыпанные и забытые своевольным дитятей, лежали сваренные из рельсов ржавые ежи. Военному человеку, попавшему сюда с фронта, да еще не знавшему раньше Москвы, все это не очень бросалось в глаза. Изумляли только странная раскраска некоторых домов и стен, напоминавшая нелепые картины футуристов, да еще «Окна ТАСС», смотревшие на прохожих с заборов, с витрин, словно соскочившие на улицы со страниц Маяковского.

Поскрипывая протезами и уже тяжелее опираясь на палку, изрядно уставший, Мересьев шел вверх по улице Горького и с удивлением искал глазами ямы, язвины, расколотые бомбами дома, зияющие провалы, выбитые окна. Живя на одном из самых западных военных аэродромов, он почти каждую ночь слышал, как над землянкой эшелон за эшелоном плыли на восток немецкие бомбардировщики. Не успевала смолкнуть вдали одна волна, как наплывала другая, и воздух иной раз гудел всю ночь. Знали летчики: фриц идет на Москву. И представляли себе, какой там должен быть сейчас ад.

И вот теперь, рассматривая военную Москву, Мересьев искал глазами следы налетов, искал и не находил. Ровны были асфальтовые мостовые, непотревоженными шеренгами стояли дома. Даже стекла в окнах, хотя и залепленные сетками бумажных полосок, за редким исключением были целы. Но фронт был близко, и это угадывалось по озабоченным лицам жителей, из которых половина были военные, в пыльных сапогах, в мокрых от пота, липших к плечам гимнастерках, с сидорами, как тогда звали вещевые мешки, за плечами. Вот на залитую солнцем улицу вырвалась из переулка длинная колонна пыльных грузовиков с помятыми крыльями, с простреленными стеклами кабин. Запыленные бойцы в плащ-палатках, развевавшихся за плечами, сидя в расхлябанных деревянных кузовах, с интересом оглядывались кругом. Колонна двигалась, обгоняя троллейбусы, легковые машины, трамваи, как живое напоминание о том, что неприятель здесь, близко. Мересьев

проводил колонну долгим взглядом. Вот прыгнуть бы в этот пыльный грузовик, а к вечеру, глядишь, был бы уже на фронте, на родном аэродроме! Он представил себе свою землянку, в которой они жили вместе с Дегтяренко, нары, устроенные на козлах из елок, острый запах смолы, хвои и бензина от самодельной лампы, сделанной из сплющенного сверху снарядного стакана, вой прогреваемых моторов по утрам и не затихавший ни днем, ни ночью шум сосен над головой. Землянка эта представилась покойной, уютной, настоящим домом. Эх, поскорее бы туда, в эти болота, которые летчики проклинали за сырость, за топкость грунта, за непрерывный комариный звон!

До памятника Пушкину Алексей еле дошел. По пути он несколько раз отдыхал, опираясь обеими руками на палку и делая вид, что рассматривает какие-то пустячки, выставленные в запыленных витринах промтоварных магазинов. С каким удовольствием он сел... нет, не сел, а повалился на теплую, разогретую солнцем зеленую скамью недалеко от памятника, повалился и вытянул ноющие, затекшие, натертые ремнями ноги. Но радостное настроение не схлынуло, несмотря на усталость. Уж очень хорош был этот яркий день! Бездонно было небо, простиравшееся над каменной женщиной, стоящей на угловой башне крайнего дома. Мягкий, ласковый ветерок тянул вдоль бульвара свежий и сладкий запах цветущих лип. Задорно звенели и дребезжали трамваи, и славно смеялись маленькие москвичи, бледные, худенькие, сосредоточенно рывшиеся в теплом и пыльном песке у подножия памятника. Чуть поодаль, в глубине бульвара, за веревочной изгородью, под конвоем двух румяных девáх в щеголеватых гимнастерках серебрилась огромная сигара аэростата, и этот атрибут войны показался Мересьеву не ночным сторожем московского неба, а большим и добродушным зверем, бежавшим из зоопарка и дремавшим сейчас на бульваре в холодке под цветущими деревьями.

Мересьев зажмурил глаза, подставляя улыбающееся лицо солнцу.

Сначала малыши не обратили внимания на летчика. Они напоминали воробьев на подоконнике сорок второй палаты. Под веселый их щебет Алексей всем своим существом впитывал солнечное тепло и уличный шум. Но вот один босой мальчуган, удирая от приятеля, споткнулся о вытянутые ноги летчика и полетел на песок.

На мгновенье круглая рожица его исказилась плакси-

вой гримасой, потом на ней появилось озадаченное выражение, сменившееся настоящим ужасом. Мальчуган вскрикнул и, со страхом глянув на Алексея, пустился прочь. Вся ребячья стайка собралась возле него и что-то долго тревожно чирикала, искоса поглядывая на летчика. Потом медленно и опасливо она стала приближаться.

Поглощенный своими думами, Алексей не видел всего этого. Он заметил мальчуганов, смотревших на него с удивлением и страхом, и только тогда до сознания его дошел их разговор.

— И все ты, Витамин, врешь! Летчик как летчик, старший лейтенант,— серьезно заметил бледный и худой паренек лет десяти.

— И не вру. Провалиться мне, честное пионерское,— деревянные! Говорю вам: не настоящие, а деревянные,— оправдывался круглолицый Витамин.

Мересьева точно в сердце укололи. И сразу не так уж ярок и весел показался ему день. Он поднял глаза, и от взгляда его ребята попятились, продолжая смотреть ему на ноги. Задетый за живое, Витамин задорно напирал на худенького:

— Ну, хочешь, спрошу? Думаешь, струшу? Давай на спор!

Он вдруг отделился от стайки и, осторожно ступая, готовый каждую минуту сорваться, как это делал воробей «Автоматчик», стал боком приближаться к Мересьеву.

— Дяденька старший лейтенант,— сказал он, весь напрягаясь, как бегун на старте перед рывком.— Дяденька, у вас какие ноги — настоящие или деревянные? Вы инвалид?

И тут он, этот похожий на воробья мальчуган, заметил, что карие глаза летчика заплывают слезами. Если бы Мересьев вскочил, заорал на него, бросился бы за ним, размахивая своей диковинной палкой с золотыми буквами, это не произвело бы на него такого впечатления. Не умом — нет, воробьиным своим сердчишком мальчуган почувствовал, какую боль он причинил этому смуглому военному, сказав слово «инвалид». Он молча отступил в притихшую толпу приятелей, и та тихо исчезла, точно растаяла в знойном душистом воздухе, пахнущем медом и разогретым асфальтом.

Кто-то назвал его по имени. Он сразу вскочил. Перед ним была Анюта. Он сразу узнал ее, хотя в жизни она была

не такая хорошенькая, как на фотографии. У нее было бледное, усталое лицо, она была в полувоенной форме — гимнастерке и сапогах. Старенькая пилотка пирожком лежала у нее поверх прически. Но глаза, зеленоватые выпуклые глаза, смотрели на Мересьева так светло и просто, излучали такое дружелюбие, что неизвестная эта девушка показалась давно знакомой, точно выросли они с ней на одном дворе.

Мгновение они молча изучали друг друга.

— Я вас совсем другим себе представляла.

— Каким же это?..— Мересьев чувствовал, что не в силах согнать с лица не очень уместную улыбку.

— Да таким, как бы это сказать... героическим, высоким, ну, сильным, что ли, с такой вот челюстью и с трубкой, обязательно с трубкой... Мне Гриша о вас столько писал...

— Вот Гриша ваш — это действительно герой! — перебил ее Алексей и, увидев, что девушка просияла, продолжал, подчеркивая слова «у вас» «ваш»: — Он у вас настоящий человек. Я — что, а он, ваш-то Гриша, он, наверно, вам ничего о себе не рассказывал...

— Знаете что, Алеша... Вас можно называть Алешей? Я так привыкла по его письмам... У вас дел больше в Москве нет? Да? Пойдемте ко мне, я уже отдежурила, у меня целые сутки свободные. Пойдемте! У меня есть водка. Вы любите водку? Я вас угощу.

На миг откуда-то из глубины памяти глянуло на Алексея и подмигнуло ему хитрое лицо майора Стручкова: дескать, видишь, живет одна, водка, ага! Но Стручков был так посрамлен, что Алексей ему теперь ни на грош не верил. До вечера оставалось много времени, и они пошли по бульвару, весело болтая, как старые добрые друзья. Ему было приятно, что девушка эта еле сдержалась, кусая губы, когда он рассказывал о том, какая беда постигла Гвоздева в начале войны. Зеленоватые глаза ее светились, когда он описывал его военные приключения. Как она гордится им! Как, вся зардевшись, выспрашивает о нем все новые и новые подробности! Как негодует, рассказывая о том, что Гвоздев ни с того ни с сего прислал ей вдруг свой денежный аттестат! И почему он так неожиданно сорвался и уехал? Не предупредил, не оставил записки, не дал адреса. Военная тайна? Но какая же это военная тайна, когда человек уезжает, не простившись, и потом ничего не пишет?

— Кстати, почему вы мне по телефону так старательно

подчеркивали, что он отращивает бороду? — спросила Анюта, испытующе взглянув на Алексея.

— Так, сбрехнул, чепуха,— попытался уклониться Мересьев.

— Нет, нет, скажите! Я не отстану, скажите. Это тоже военная тайна?

— Какая же тут тайна! Да просто это профессор наш, Василий Васильевич, ему... прописал, чтобы он девушкам... чтобы он одной девушке больше нравился.

— Ах, вот что, теперь я все понимаю. Та-а-а-ак!

Анюта как-то сразу потускнела, стала старше, точно выключился свет в выпуклых зеленоватых глазах, вдруг стали заметнее бледность ее лица, крохотные, точно иголкой прочерченные морщинки на лбу и у глаз. И вся она, в старенькой гимнастерке, с выгоревшей пилоткой на темно-русых гладких волосах, показалась Алексею очень усталой и утомленной. Только яркий, сочный маленький ее рот с едва приметным пушком и крохотной родинкой-точкой над верхней губой говорили, что девушка совсем еще молода, что вряд ли ей стукнуло и двадцать лет.

В Москве, бывает, идешь, идешь по широкой улице, под сенью красавцев домов, а потом свернешь с этой улицы, сделаешь в сторону шагов десять — и перед тобой старый пузатый домик, вросший в землю и смотрящий тусклыми от старости стеклами маленьких окон. В таком вот домике и жила Анюта. Они поднялись по узкой, тесной лесенке, на которой пахло кошками и керосином, во второй этаж. Девушка открыла ключом дверь. Перешагнув через стоящие меж дверьми, на холодке, сумки с провизией, миски и котелки, они вошли в темную и пустую кухню, через нее — в коридорчик, заставленный и завешанный, и оказались у небольшой двери. Худенькая старушка высунулась из двери напротив.

— Анна Даниловна, там вам письмо,— сказала она и, проводив молодых людей любопытным взором, скрылась.

Отец Анюты был преподавателем. Вместе с институтом эвакуировались в тыл и родители Анюты. Две маленькие комнаты, тесно, как мебельный магазин, заставленные старинной мебелью в полотняных чехлах, остались на попечении девушки. От мебели, от старых шерстяных портьер и пожелтевших занавесей, картин, олеографий, от статуэток и вазочек, стоявших на пианино, тянуло духом сырости и запустения.

— Вы извините, я на казарменном положении: из госпиталя хожу прямо в университет, а сюда так, наведываюсь,— сказала Анюта, краснея, и поспешно вместе со скатертью стянула со стола всяческий мусор.

Она вышла, вернулась, постелила скатерть и аккуратно одернула края.

— А если домой вырвешься, так устанешь, что еле дойдешь до дивана и спишь не раздеваясь. Уж где тут убираться!

Через несколько минут уже пел электрический чайник. На столе сверкали старые, с вытертыми боками фасонистые чашки. На фаянсовой доске лежал нарезанный лепестками черный хлеб, в вазе на самом донышке виднелся мелко-мелко накрошенный сахар. Под вязаным, тоже прошлого века, чехлом с шерстяными помпонами вызревал чай, источая приятный аромат, напоминающий о довоенных временах, а посреди стола сверкала голубизной непочатая бутылка под конвоем двух тоненьких рюмок.

Мересьев был усажен в глубокое бархатное кресло. Из зеленой бархатной обивки вылезло столько мочалы, что ее не в силах были скрыть вышитые шерстью дорожки, аккуратно приколотые к сиденью и спинке. Но было оно таким уютным, так ловко и ласково обнимало оно человека со всех сторон, что Алексей тотчас же развалился на нем, блаженно вытянув затекшие, горящие ноги.

Анюта села возле него на маленькую скамеечку и, глядя снизу вверх, как девочка, снова начала расспрашивать его о Гвоздеве. Потом вдруг спохватилась, ругнула себя, захлопотала, потащила Алексея к столу.

— Может быть, выпьете, а? Гриша говорил, что танкисты, ну, конечно, и летчики...

Она придвинула к нему рюмку. Водка голубовато сверкала в ярких солнечных лучах, пересекавших комнату. Запах спирта напоминал далекий лесной аэродром, командирскую столовку, веселый гул, сопровождавший выдачу за обедом «нормы горючего». Заметив, что вторая рюмка пуста, он спросил:

— А вы?

— Я не пью,— сказала Анюта просто.

— А если за него, за Гришу?

Девушка улыбнулась, молча налила себе рюмку; держа ее за тонкую талию, задумчиво чокнулась с Алексеем.

— За его удачу! — решительно сказала она, лихо опро-

кинула рюмку в рот, но тотчас же поперхнулась, закашлялась, покраснела и еле отдышалась.

Мересьев почувствовал, как с непривычки водка ударила ему в голову, разлилась по телу теплом и покоем. Он налил еще. Анюта решительно затрясла головой:

— Нет-нет, я не пью, вы же видели.

— А за мою удачу? — сказал Алексей.— Анюта, если бы вы знали, как мне нужна удача!

Как-то очень серьезно посмотрев на него, девушка подняла рюмку, ласково кивнула ему головой, тихо пожала ему руку у локтя и снова выпила. Задохнувшись, она еле откашлялась.

— Что я делаю? После круглосуточного дежурства! Это только за вас, Алеша. Вы же... мне Гриша много о вас писал... Я очень, очень хочу вам удачи! И у вас удача будет, обязательно, слышите — обязательно! — Она рассмеялась звонким, рассыпчатым смехом.— Что же вы не кушаете? Кушайте хлеб. Не стесняйтесь, у меня еще есть. Это вчерашний, а сегодняшний я еще не получала.— Улыбаясь, она придвинула ему фаянсовую дощечку с тоненькими лепестками хлеба, нарезанного, как сыр.— Да кушайте, кушайте, чудак, а то охмелеете, что с вами будет?

Алексей отодвинул от себя дощечку с лепестками хлеба, глянул Анюте прямо в зеленоватые ее глаза и на ее маленький, пухлый, с яркими губами рот.

— А что бы вы сделали, если бы я вас сейчас поцеловал? — спросил он глухим голосом.

Она испуганно глянула на него, сразу, должно быть, отрезвев, даже не гневно, нет, а изучающе и разочарованно, как человек смотрит на осколок битого стекла, который минуту назад издали сверкал и мнился ему драгоценным камнем.

— Вероятно, выгнала бы вас и написала бы Грише, что он плохо разбирается в людях,— холодно сказала она, настойчиво придвигая ему хлеб.— Закусите, вы пьяны.

Мересьев просиял:

— Вот это правильно, вот за это спасибо вам, умница! От всей Красной Армии спасибо! Я напишу Грише, что он хорошо, он здорово разбирается в людях.

Они проболтали часов до трех, пока пыльные сверкающие столбы, пронизавшие комнату наискосок, не стали забираться на стену. Пора было на поезд. С какой-то грустью Алексей встал с удобного зеленого кресла, унося на френче обрывок мочала. Анюта пошла его провожать. Они шли

под руку, и, отдохнув, ступал он так уверенно, что девушке подумалось: полно, так ли, не шутил ли Гриша, говоря, что у приятеля нет ног? Анюта рассказывала Алексею об эвакуационном госпитале, где она вместе с другими медичками работала теперь по сортировке раненых, о том, как им сейчас трудно, потому что с юга каждый день прибывает по нескольку эшелонов, и о том, какие эти раненые чудесные люди, как стойко переносят они страдания. Вдруг на полуфразе она перебила себя и спросила:

— А вы серьезно сказали, что Гриша отращивает бороду? — Она помолчала, задумалась, потом тихо прибавила: — Я все поняла. Скажу вам честно, как папе: ведь действительно сначала тяжело смотреть на эти его шрамы. Нет, не тяжело — это не то слово, а немножко страшно, что ли... нет, и не страшно, это тоже не то... Я не знаю, как сказать. Вы меня поняли? Это, может быть, нехорошо... Что сделаешь! Но бежать, бежать от меня — чудак, господи, какой страшный чудак! Если будете ему писать, напишите, что он меня очень, ну, очень этим обидел.

Огромное помещение вокзала было почти пусто. Наполняли его военные, то деловито спешившие, то молча сидевшие у стен на скамейках, на своих мешках, на корточках и на полу, озабоченные, хмурые, точно занятые какой-то одной, общей мыслью. Когда-то по этой дороге осуществлялась основная связь с Западной Европой. Теперь путь на Запад был перерублен врагом километрах в восьмидесяти от Москвы, и по слепому короткому отростку шло пригородное сообщение. Ходили только фронтовые составы, на которых военные люди часа за два добирались из столицы прямо до вторых эшелонов своих дивизий, державших здесь оборону, да из поездов электрички каждые полчаса высыпали на платформу толпы рабочих, живших в пригородах, крестьянок с молоком, ягодами, грибами и овощами. Их шумная волна на мгновение заливала вокзальное помещение, но сейчас же выплескивалась на площадь, и вновь на вокзале оставались одни фронтовики.

В центральном зале висела большая, до самого потолка, карта советско-германского фронта. Девушка в военном, толстощекая и румяная, стоя на лесенке-стремянке, держа в руке газету со свежей сводкой Совинформбюро, перекалывала на карте булавками шнурок, отмечающий линию фронта.

В нижней части карты шнурок резко, углом перемещался вправо. Немцы наступали на юге. Они прорвались

в изюм-барвенковские ворота. Фронт их шестой армии, тупым клином вдававшийся в глубь страны, уже тянулся к голубой жиле донской излучины. Девушка переколола шнурок вплотную к Дону. Совсем рядом толстой артерией извивалась Волга с крупным кружком Сталинграда и маленькой точкой Камышина над ним. Было ясно, что вражеский клин, прилипший к Дону, тянется к этой основной водной артерии и уже близок от нее и от исторического города. Большая толпа, над которой возвышалась девушка на стремянке, в подавленном молчании смотрела на ее пухлые руки, перекалывавшие булавки.

— Прет собака... Гляди, как прет! — сокрушенно подумал вслух молодой солдат, обливавшийся потом в еще не обмявшейся новенькой шинели, угловато коробившейся на нем.

Худой седоусый железнодорожник в замасленной форменной фуражке хмуро посмотрел на бойца с высоты своего роста:

— Прет? А ты чего пускаешь? Известно, прет, коли ты от него пятишься. Вояки! Вон куда — аж на самую матушку Волгу пустили! — В тоне его слышались боль и скорбь, точно сына корил он за большой, непростительный промах.

Боец виновато огляделся и, вздернув на плечах новенькую свою шинельку, стал выбираться из толпы.

— Да, провоевали изрядно,— вздохнул кто-то и горько покачал головой.— Э-эх!

— За что его ругать?.. Он чем виноват? Мало их, что ли, полегло? Силища-то какая прет, почитай вся Европа на танках. Удержи-ка ее сразу,— заступился за бойца старый человек в брезентовом пыльнике, с виду не то сельский учитель, не то фельдшер.— Коли подумать как следует, должны мы с вами этому бойцу в ножки поклониться, что живые да свободные по Москве ходим. Какие страны немец за недели танками затаптывал! А мы год с лишним воюем — и ничего, и бьем, и сколько уже его набили. Ему, вон, бойцу-то весь мир должен в ножки кланяться, а вы — «пятишься»!

— Да знаю, знаю, не агитируй меня, бога ради! Ум-то знает, а сердце-то болит, душа-то разрывается,— хмуро отозвался железнодорожник.— Ведь по нашей земле фашист идет, наши домá терзает...

— А он там? — спросила Анюта, показывая рукой на юг.

— Там. И она там,— отвечал Алексей.

У самой голубой петли Волги, повыше Сталинграда, он видел маленький кружочек с надписью «Камышин». Для него это была не просто географическая точка. Зеленый городок, заросшие травой окраинные улицы, тополя, шелестящие глянцевитыми пыльными листьями, запах пыли, укропа, петрушки из-за огородных плетней, полосатые шары арбузов, словно разбросанные на черной и сухой глине бахчи в высохшей ботве, остро пахнущие полынью степные ветры, необозримая сверкающая гладь реки, и девушка, стройная, сероглазая, загорелая, и мать, седая, суетливо-беспомощная...

— И они там,— сказал он еще раз.

2

Поезд электрички, бойко журча колесами и сердито рявкая сиреной, резво бежал по Подмосковью. Алексей Мересьев сидел у окна, притиснутый к самой стенке бритым старичком в широкополой горьковской шляпе, в золотом пенсне на черном шнурочке. Огородная тяпка, заступ и вилы, аккуратно обернутые газетой и перевязанные шнурком, торчали у старичка меж колен. Как и все в те грозные дни, старичок жил войной. Он бойко тряс перед носом Мересьева сухой ладошкой и многозначительно шептал ему на ухо:

— Вы не смотрите, что я штатский,— я отлично понял наш план: заманить врага в приволжские степи, да-с, дать ему растянуть свои коммуникации, как говорят теперь, оторваться от баз, а потом вот отсюда, с запада и с севера, раз-раз, коммуникации перерезать и разделаться с ним. Да-с, да-с... И это очень разумно. Ведь против нас не один Гитлер. Своим кнутом он гонит на нас Европу. Ведь мы один на один против армии шести стран сражаемся. Единоборствуем. Надо амортизировать этот страшный удар хотя бы пространством, да-с. Это единственный разумный выход. Ведь, в конце концов, союзнички-с молчат... А? Как вы думаете?

— Я думаю, чепуху вы говорите. Родная земля — слишком дорогой материал для амортизаторов,— неприветливо отозвался Мересьев, вспомнив почему-то пепелище мертвой деревни, по которой он прополз зимой.

Но старичок бубнил и бубнил у самого уха, обдавая летчика запахом табака и ячменного кофе.

Алексей высунулся в окно. Подставляя лицо порывам теплого пыльного ветра, жадно смотрел он на бегущие мимо поезда платформы с полинявшими зелеными решетками, с кокетливыми ларьками, забитыми горбылем, на дачки, глядевшие из лесной зелени, на изумрудные заливные лужки у высохших русел крохотных речушек, на восковые свечи сосновых стволов, янтарно золотевшие среди хвои в лучах заката, на широкие синеющие вечерние дали, открывшиеся из-за леса.

— ...Нет, вот вы военный, вы скажите: хорошо это? Вот уже больше года мы деремся с фашизмом, один на один, а? А союзнички-с, а второй фронт? Вот вы представьте картину. Воры напали на человека, который, ничего не подозревая, работал себе в поте лица. И он не растерялся, этот человек, схватился с ними драться и дерется. Кровью истекает и дерется, бьет их чем попало. Он один, а их много, они вооружены, они его давно подстерегали. Да-с... А соседи видят эту сцену и стоят у своих хат и сочувствуют: дескать, молодец, ах, какой молодец! Так их, ворюг, и надо, бей их, бей! Да вместо того чтобы помочь от воров отбиться, камушки, железки ему протягивают: на, дескать, ударь этим крепче. А сами в сторонке. Да-с, да-с, так они и делают сейчас, союзнички... Пассажиры-с...

Мересьев с интересом оглянулся на старичка. Многие теперь смотрели в их сторону, и со всех концов переполненного вагона слышалось:

— Что ж, и правильно. Один на один воюем. Где он, второй фронт-то?

— Ничего, с работой, бог даст, и одни справимся, а к обеду, чай, и они поспеют, второй-то фронт.

Поезд притормозил около дачной платформы. В вагон вошло несколько раненых в пижамах, на костылях и с палочками, с кулечками ягод и семечек. Они ездили, должно быть, из какого-то госпитального дома для выздоравливающих на здешний базар. Старичок сейчас же сорвался с места:

— Садитесь, голубчик, садитесь,— и чуть не насильно усадил рыжего парня на костылях, с забинтованной ногой на свое место.— Ничего, ничего, сидите, не беспокойтесь, мне сейчас выходить.

Для пущего правдоподобия старичок со своими тяпками и граблями сделал даже движение к двери. Молочницы стали тесниться на скамейках, уступая раненым ме-

ста. Откуда-то сзади Алексей услышал осуждающий женский голос:

— И не стыдно человеку? Возле увечный воин стоит, мается, затолкали совсем, а он, здоровый, сидит и ухом не ведет. Словно сам от пули заговоренный. А еще командир, летчик!

Алексей вспыхнул от незаслуженной этой обиды. Бешено шевельнулись его ноздри. Но вдруг, просияв, он вскочил с места:

— Садись, браток.

Раненый смутился, отпрянул:

— Что вы, товарищ старший лейтенант! Не беспокойтесь, я постою. Тут недалеко, две остановки.

— Садись, говорят! — крикнул ему Мересьев, чувствуя прилив озорной веселости.

Он пробрался к стенке вагона и, прислонившись к ней, встал, опираясь о палку обеими руками. Стоял и улыбался. Старушка в клетчатом платке поняла, должно быть, свою оплошность.

— Вот народ!.. Ближние кто, уступите место командиру с клюшкой. И не стыдно? Вон ты, в шляпке: кому война, а тебе, знать, мать родна,— расселась!.. Товарищ командир, ступайте сюда вот, на мое местечко... Да раздайтесь вы, бога ради, дайте командиру пройти!

Алексей сделал вид, что не слышит. Нахлынувшая было радость потускнела. В это время проводница назвала нужную ему остановку, и поезд стал мягко тормозить. Пробираясь сквозь толпу, Алексей опять столкнулся у двери со старичком в пенсне. Тот подмигнул ему, как старому знакомому:

— А что, думаете, все-таки второй фронт откроют? — спросил он шепотом.

— Не откроют,— так сами справимся,— ответил Алексей, сходя на деревянный перрон.

Журча колесами, голосисто покрякивая сиреной, поезд скрылся за поворотом, оставив негустой след пыли. Платформу, на которой осталось всего несколько пассажиров, сразу обняла душистая вечерняя тишина. До войны здесь, должно быть, было очень хорошо и покойно. Сосновый лес, плотно обступивший платформу, ровно и успокаивающе звенел своими вершинами. Наверно, года два тому назад в такие вот погожие вечера по тропкам и дорожкам, ведущим через лесную сень к дачам, расходились с поездов толпы нарядных женщин в легких пестрых платьях, шум-

ные детишки, веселые загорелые мужчины, возвращавшиеся из города с кулечками снеди, бутылками вина—гостинцами дачникам. Немногие оставленные теперь поездом пассажиры с тяпками, заступами, вилами и другим огородным инвентарем быстро сошли с платформы и деловито зашагали в лес, погруженные в свои заботы. Только Мересьев со своей палкой напоминал гуляющего, любовался красотой летнего вечера, дышал полной грудью и и жмурился, ощущая на коже теплое прикосновение солнечных лучей, пробившихся сквозь ветви сосен.

В Москве ему подробно объяснили дорогу. Как истый военный, по немногим ориентирам он без труда определил путь к санаторию, находившемуся в десяти минутах ходьбы от станции, на берегу небольшого спокойного озера. Когда-то, до революции, один русский миллионер решил построить под Москвой летний дворец, да такой, чтобы подобного ни у кого не было. Он заявил архитектору, что не пожалеет денег, лишь бы дворец был совершенно оригинальным. Потрафляя вкусу патрона, архитектор построил у озера какой-то гигантский диковинный кирпичный терем с узкими решетчатыми окнами, башенками, крылечками, с ходами и переходами, с острыми коньками крыш. Аляповатым, нелепым пятном было вписано это сооружение в раздольный русский пейзаж у самого озера, заросшего осокой. А пейзаж был хорош! К воде, в тихую пору стеклянно гладкой, сбегал изящной и беспокойной стайкой молодой осинник, трепеща листьями. То там, то тут белели в пенистой зелени стволы берез. Синеватое кольцо старого бора окаймляло озеро широким зубчатым кругом. И все это повторялось в опрокинутом виде в водном зеркале, растворяясь в прохладной голубизне тихой прозрачной влаги.

Многие из знаменитых художников подолгу живали у здешнего хозяина, славившегося на всю Русь отменным хлебосольством, и этот раздольный пейзаж, и в целом и отдельными своими уголками, был навеки запечатлен на многих полотнах как образец могучей и скромной красоты великорусской природы.

Вот в этом-то дворце и помещался санаторий Военно-Воздушных Сил РККА. В мирное время летчики живали здесь с женами, порой и целыми семьями. В дни войны их направляли сюда долечиваться после госпиталя. Алексей пришел к санаторию не по широкой асфальтовой, обсаженной березами кружной дороге, а по тропе, протоpенной

прямо от станции через лес к озеру. Он зашел, так сказать, с тыла и, никем не замеченный, затерялся в большой и шумной толпе, окружившей два битком набитых автобуса, что стояли у парадного подъезда.

Из разговоров, из реплик, из напутственных выкриков и пожеланий Алексей уловил, что провожают летчиков, направляющихся из санатория прямо на фронт. Отъезжающие были веселы, возбуждены, как будто ехали они не туда, где за каждым облачком стерегла их смерть, а в родные мирные гарнизоны; на лицах провожавших отражались нетерпение, грусть. Алексей понимал это. С начала нового гигантского сражения, разыгравшегося на юге, он сам испытывал эту необоримую тягу. Она развивалась по мере того, как на фронте нарастали события и усложнялась обстановка. Когда же в военных кругах, правда еще пока тихо и осторожно, стало произноситься слово «Сталинград», эта тяга переросла в щемящую тоску, и вынужденное госпитальное безделье стало невыносимым.

Из окон щеголеватых машин выглядывали загорелые возбужденные лица. Невысокий лысоватый армянин в полосатой пижаме, хромой, один из тех общепризнанных остроумцев и добровольных комиков, какие обязательно попадаются в каждой партии отдыхающих, ковыляя, суетился около автобусов и, размахивая палкой, напутствовал кого-то из отъезжающих:

— Эй, кланяйтесь там в воздухе фрицам! Федя! Расквитайся с ними за то, что они тебе курс лунных ванн не дали закончить. Федя, Федя! Ты им там в воздухе докажи, что непорядочно с их стороны мешать советским асам принимать лунные ванны.

Федя, загорелый парень с круглой головой, с большим шрамом, пересекавшим высокий лоб, высовывался из окна и кричал, что пусть лунный комитет санатория будет покоен.

В толпе и автобусах грохнул смех, под смех этот машины тронулись и медленно поплыли к воротам.

— Ни пуха ни пера! Счастливого пути! — слышалось из толпы.

— Федя, Федя! Присылай скорее номер полевой почты! Зиночка вернет тебе твое сердце заказным пакетом...

Автобусы скрылись за поворотом аллеи. Осела позлащенная закатом пыль. Отдыхающие в халатах, в полосатых пижамах медленно разбрелись по парку. Мересьев вошел в вестибюль санатория, где на вешалках висели фу-

ражки с голубыми околышами, а на полу лежали по углам кегли, волейбольные мячи, крокетные молотки и теннисные ракетки. До канцелярии довел его давешний хромой. При ближайшем рассмотрении у него оказалось серьезное, умное лицо с большими, красивыми грустными глазами. По пути он шутливо отрекомендовался председателем санаторного лункома и заявил, что лунные ванны, как доказала медицина,— лучшее средство для лечения любого ранения, что стихии и неорганизованности в этом деле он не допускает и сам выписывает наряды на вечерние прогулки. Шутил он как-то автоматически. Глаза у него при этом сохраняли все то же серьезное выражение и зорко, с любопытством изучали собеседника.

В канцелярии Мересьева встретила девушка в белом халате, такая рыжая, что казалось — будто голова у нее охвачена буйным пламенем.

— Мересьев? — строго спросила она, откладывая книжку, которую читала.— Мересьев Алексей Петрович? — Она окинула летчика критическим взором.— Что вы меня разыгрываете! Вот у меня записано: «Мересьев, старший лейтенант, из энского госпиталя, без ног», а вы...

Только теперь Алексей рассмотрел ее круглое белое, как у всех рыжих, личико, совершенно терявшееся в ворохе медных волос. Яркий румянец проступал сквозь тонкую кожу. Она смотрела на Алексея с веселым удивлением круглыми, как у совы, светлыми нагловатыми глазами.

— И все-таки я Мересьев Алексей, и вот мое направление... А вы Леля?

— Нет, откуда вы взяли? Я Зина. У вас что, протезы, что ли, такие? — Она недоверчиво смотрела на ноги Алексея.

— Ага! Так та самая Зиночка, которой Федя отдал свое сердце?

— Это вам майор Бурназян наговорил? Успел. Ух, как я ненавижу этого Бурназяшку! Над всем, над всем смеется! Что особенного в том, что я учила Федю танцевать? Подумаешь!

— А теперь вы меня будете учить, идет? Бурназян мне обещал выписать путевку на лунные ванны.

Девушка с еще большим удивлением глянула на Алексея:

— То есть как это — танцевать? Без ног? Ну вас!.. Вы, должно быть, тоже над всем смеетесь.

В это время в комнату вбежал майор Стручков и сгреб Алексея в свои объятия:

— Зиночка, так договорились — старшего лейтенанта в мою комнату.

Люди, пролежавшие долго в одном госпитале, встречаются потом, как братья. Алексей обрадовался майору, будто несколько лет не видел его. Вещевой мешок Стручкова уже лежал в санатории, и майор чувствовал себя тут дома, всех знал, и все его знали. За сутки он успел уже кое с кем подружиться и кое с кем поссориться.

Маленькая комната, которую они заняли вдвоем, выходила окнами в парк, подступавший прямо к дому толпой стройных сосен, светло-зелеными зарослями черники и тонкой рябинкой, на которой трепетало, как на пальме, несколько изящных резных листьев-лапок и желтела одна-единственная, зато очень увесистая гроздь ягод.

Сразу же после ужина Алексей забрался в кровать, растянулся на прохладных, влажных от вечернего тумана простынях и мгновенно уснул.

И увидел он в эту ночь странные, тревожные сны. Голубой снег, луна. Лес, как мохнатая сеть, накрыл его, и надо ему из этой сети вырваться, но снег держит его за ноги. Алексей мучается, чувствуя, что настигает его неясная, но страшная беда, а ноги вмерзли в снег, и нет сил вырвать их оттуда. Он стонет, переворачивается — и перед ним уже не лес, а аэродром. Долговязый технарь Юра в кабине странного, мягкого и бескрылого самолета. Он машет рукой, смеется и вертикально взлетает в небо. Дед Михайла подхватывает Алексея на руки и говорит ему, как ребенку: «Ну и пусть его, пусть, а мы с тобой попаримся, косточки погреем, хорошо, мило-дорого!» Но кладет он его не на горячий полóк, а на снег. Алексей хочет подняться — и не может: земля прочно притягивает его. Нет, это не земля притягивает, это медведь навалился на него своей жаркой тушей, душит, ломает, храпит. Мимо едут автобусы с летчиками, но они не замечают его, эти люди, весело смотрящие из окон. Алексей хочет им крикнуть, чтобы помогли, хочет броситься к ним или хотя бы посигналить рукой, но не может. Рот открывается, но слышен лишь шепот. Алексей начинает задыхаться, он чувствует, как останавливается у него сердце, он делает последнее усилие... почему-то мелькает перед глазами смеющееся лицо Зиночки в буйном пламени рыжих волос, насмешливо светятся ее нагловатые, любопытные глаза.

Алексей просыпается с ощущением безотчетной тревоги. Тихо. Легонько посапывая носом, спит майор. Призрачный лунный столб, пересекая комнату, уперся в пол. Почему же вдруг вернулись образы этих страшных дней, которые Алексей почти никогда не вспоминал, а если и начинал вспоминать, то они ему самому казались бредовой сказкой? Ровный и тихий звон, сонный ропот вместе с душистой прохладой ночного воздуха льется в ярко освещенное луной, широко распахнутое окно. Он то взволнованно наплывает, то глохнет, удаляясь, то тревожно застывает на шипящей ноте. Это шумит за окном бор.

Усевшись на кровати, летчик долго слушает таинственный звон сосен, потом резко встряхивает головой, точно отгоняет наваждение, и снова наполняет его упрямая, веселая энергия. В санатории ему полагается прожить двадцать восемь дней. После этого решится, будет ли он воевать, летать, жить или ему будут вечно уступать место в трамвае и провожать его сочувственными взглядами. Стало быть, каждая минута этих долгих и вместе с тем коротких двадцати восьми дней должна быть борьбой за то, чтобы стать настоящим человеком.

Сидя на кровати в дымчатом свете луны, под храп майора Алексей составил план упражнений. Он включил сюда утреннюю и вечернюю зарядки, хождение, бег, специальную тренировку ног, и что особенно его увлекло, что сулило ему всесторонне развить его надставленные ноги — была идея, мелькнувшая у него во время разговора с Зиночкой.

Он решил научиться танцевать.

3

В тихий, прозрачный августовский полдень, когда все в природе сверкало и лоснилось, но по каким-то еще незаметным признакам уже чувствовалась в горячем воздухе тихая грусть увядания, на берегу крохотной речки, извивавшейся с мягким журчаньем между кустами, на маленьком песчаном пляжике, загорало несколько летчиков.

Разомлевшие от жары, они дремали, и даже неутомимый Бурназян молчал, зарывая в теплый песок свою изувеченную, неудачно сросшуюся после ранения ногу. Они лежали, скрытые от посторонних взоров серой листвой орешника, но им была видна протоптанная в зеленой тра-

ве дорожка, протянувшаяся по косогору над поймой. На этой-то дорожке Бурназян, возившийся со своей ногой, и увидел удивившее его зрелище.

Из леска в полосатых пижамных штанах и ботинках, но без рубашки вышел вчерашний новичок. Осмотрелся, никого не заметил и вдруг пустился бежать странными скачками, прижимая к бокам локти. Пробежал метров двести и перешел на шаг, тяжело дыша, весь облитый пóтом. Отдышался, снова побежал. Тело его блестело, как бока загнанной лошади. Бурназян молча показал товарищам на бегуна. Они стали следить за ним из-за кустов. От несложных этих упражнений новичок задыхался, на лице его то и дело появлялись гримасы боли, порой он постанывал, но все бегал и бегал.

— Эй, друг! Лавры Знаменских покою не дают? — не вытерпел наконец Бурназян.

Новичок остановился. Усталость и боль точно соскользнули с его лица. Он равнодушно посмотрел на кусты и, ничего не ответив, ушел в лес странной, раскачивающейся походкой.

— Это что же за циркач? Сумасшедший? — озадаченно спросил Бурназян.

Майор Стручков, только что очнувшийся от дремы, пояснил:

— У него нет ног. Он тренируется на протезах, он хочет вернуться в истребительную авиацию.

Точно холодной водой плеснули на этих разомлевших людей. Они повскакали, заговорили разом. Всех поразило, что парень, у которого они не заметили ничего, кроме странной походки, оказался без ног. Его идея летать без ног на истребителе показалась нелепой, невероятной, даже кощунственной. Вспомнили случаи, когда людей из-за пустяков, из-за потери двух пальцев на руке, из-за расшалившихся нервов или обнаруженного плоскостопия отчисляли из авиации. К здоровью пилотов всегда, даже во время войны, предъявлялись требования, неизмеримо повышенные по сравнению с требованиями в других родах войск. Наконец, казалось совершенно невозможным управлять такой тонкой и чуткой машиной, как истребитель, имея вместо ног протезы.

Конечно, все сходились на том, что мересьевская затея неосуществима. Но дерзкая, фанатическая мечта безногого их увлекла.

— Твой друг или безнадежный идиот, или великий че-

ловек,— заключил спор Бурназян,— середины для него нет.

Весть о том, что в санатории живет безногий, мечтающий летать на истребителе, мгновенно распространилась по палатам. Уже к обеду Алексей оказался в центре всеобщего внимания. Впрочем, сам он, казалось, этого внимания не замечал. И все, кто наблюдал за ним, кто видел и слышал, как он раскатисто смеялся с соседями по столу, много и с аппетитом ел, по традиции отвешивал положенное число комплиментов хорошеньким подавальщицам, как с компанией гулял он по парку, учился играть в крокет и даже побросал мяч на волейбольной площадке, не заметили в нем ничего необычного, кроме медлительной, подпрыгивающей походки. Он был слишком обыкновенен. К нему сразу привыкли и перестали обращать на него внимание.

На второй день своего пребывания в санатории Алексей появился под вечер в канцелярии у Зиночки. Он галантно вручил ей завернутое в лопушок обеденное пирожное и, бесцеремонно усевшись у стола, спросил ее, когда она собирается выполнить свое обещание.

— Какое? — спросила она, высоко подняв подрисованные дуги бровей.

— Зиночка, вы обещали научить меня танцевать.

— Но...— пыталась возразить она.

— Мне говорили, что вы такая талантливая учительница, что безногие у вас пляшут, а нормальные, наоборот, лишаются не только ног, но и голову теряют, как было с Федей. Когда начнем? Давайте не тратить времени попусту.

Нет, этот новичок ей положительно нравился. Безногий — и учи его танцевать! А почему нет? Он очень симпатичный, смуглый, с ровным румянцем, пробивающимся сквозь темную кожу щек, с красивыми волнистыми волосами. Ходит он совсем как здоровый, и глаза у него занятные, какие-то шальные и немножечко, пожалуй, грустные. Танцы в жизни Зиночки занимали немалое место. Она любила и действительно умела танцевать... Нет, а Мересьев — положительно ничего!

Словом, она согласилась. Она объявила, что училась танцам у знаменитого на все Сокольники Боба Горохова, который, в свою очередь, является лучшим учеником и последователем уже совершенно знаменитого на всю Москву Поля Судаковского, преподающего танцы где-то в военных академиях и даже в клубе Наркоминдела; что она

унаследовала от этих великих людей лучшие традиции салонных танцев и что, пожалуй, она научит танцевать и его, хотя, конечно, не очень уверена, как это можно танцевать, не имея настоящих ног. Условия же ему предъявлялись при этом суровые: он будет послушен и прилежен, постарается в нее не влюбиться — это мешает урокам,— а главное — не будет ревновать, когда ее будут приглашать танцевать другие кавалеры, так как, танцуя с одним, можно быстро дисквалифицироваться и это вообще скучно.

Мересьев безоговорочно принял условия. Зиночка тряхнула пламенем своих волос и, ловко двигая стройными маленькими ножками, тут же, в канцелярии, показала ему первое па. Когда-то Мересьев лихо плясал «русскую» и старые танцы, какие играл в камышинском городском садике оркестр пожарной команды. Он обладал чувством ритма и быстро схватывал веселую науку. Трудность заключалась для него теперь в том, что управлять, и при этом ловко, маневренно управлять, приходилось не живыми, эластичными, подвижными ногами, а кожаным приспособлением, прилаженным к голени с помощью ремней. Нужны были нечеловеческие усилия, напряжение мускулов, воли, чтобы движением голени заставлять жить тяжелые, неповоротливые протезы.

И он заставил их подчиниться. Каждое вновь разученное колено, все эти глиссады, парады, змейки, точки — вся хитрая техника салонного танца, теоретизированная знаменитым Полем Судаковским, оснащенная могучей и звучной терминологией, доставляла ему большую радость. Каждое новое па веселило его, как мальчишку. Выучив его, он поднимал и начинал кружить свою учительницу, празднуя победу над самим собой. И никто, и в первую очередь его учительница, и подозревать не мог, какую боль причиняет ему все это сложное, разнохарактерное топтанье, какой ценой дается ему эта наука. Никто не замечал, как порой он вместе с пóтом небрежным жестом, улыбаясь, смахивает с лица невольные слезы.

Однажды он приковылял в свою комнату совершенно измученный, разбитый и веселый.

— Учусь танцевать! — торжественно объявил он майору Стручкову, задумчиво стоявшему у окна, за которым тихо догорал летний день и последние лучи солнца желтовато искрились меж вершин деревьев.

Майор молчал.

— И научусь! — упрямо добавил Мересьев, с удовольствием сбрасывая с ног протезы и изо всех сил царапая ногтями затекшие от ремней ноги.

Стручков не обернулся, он издал какой-то странный звук, точно всхлипнул, и плечи его при этом вскинулись. Алексей молча полез под одеяло. Что-то странное творилось с майором. Этот немолодой человек, еще недавно потешавший и возмущавший палату своим веселым цинизмом и шутливым пренебрежением к женскому полу, вдруг влюбился, влюбился, как пятиклассник, безотчетно, безудержно и, увы, казалось, безнадежно. По нескольку раз бегал он в канцелярию санатория звонить в Москву, Клавдии Михайловне. С каждым отъезжающим слал ей цветы, ягоды, шоколадки, писал записочки и длиннейшие письма и радовался, шутил, когда ему вручали знакомый конверт.

А она его знать не хотела, не обнадеживала, даже не жалела. Она писала, что любит другого, мертвого, майору по-дружески советовала оставить и забыть ее, зря не тратиться и не терять времени. Вот этот-то деловой, сухой тон, тон дружеского участия, такой оскорбительный в делах любви, и выводил его из себя.

Алексей уже лег, укрылся одеялом и дипломатически затих, когда майор вдруг отскочил от окна, затряс его за плечи и закричал у него над ухом:

— Ну чего, чего ей надо? Что я, обсевок в поле? Урод, старик, дрянь какая-нибудь? Да другая бы на ее месте... Да что там говорить!

Он бросился в кресло, охватил голову ладонями, закачался так, что и кресло застонало.

— Ведь женщина же она! Должна же она чувствовать ко мне... ну, хоть любопытство, что ль. Ведь ее же, черта, любят, и как любят!.. Э-эх, Лешка, Лешка! Ты его знал, этого вашего... Ну скажи: ну чем он лучше меня, чем он ей в сердце вцепился? Умен, красавец? Что за герой за такой?

Алексей вспомнил комиссара Воробьева, его большое, распухшее тело, желтевшее на белых простынях, и женщину, застывшую над ним в вековечной позе женского горя, и этот неожиданный рассказ про то, как красноармейцы шли в пустыне.

— Он был настоящий человек, майор, большевик. Дай бог нам с тобой стать такими.

4

По санаторию распространилась весть, казавшаяся нелепой: безногий летчик... увлекся танцами.

Как только Зиночка кончала свои дела в конторе, в коридоре ее уже ждал ученик. Он встречал ее с букетом земляники, шоколадкой или апельсином, оставленным от обеда. Зиночка важно подавала ему руку, и они шли в пустовавший летом зал, где прилежный ученик заблаговременно сдвигал к стенам ломберные столики и стол для игры в пинг-понг. Зиночка грациозно показывала ему новую фигуру. Нахмурив брови, летчик серьезно следил за вензелями, которые вычерчивали на полу маленькие, изящные ножки. Потом девушка делалась серьезной, хлопала в ладоши и начинала отсчитывать:

— Раз-два-три, раз-два-три, глиссад направо... Раз-два-три, раз-два-три, глиссад налево... Поворот. Так. Раз-два-три, раз-два-три... Теперь змейка. Делаем вместе.

Может быть, ее увлекла задача научить танцевать безногого, какой не доводилось, вероятно, решать ни Бобу Горохову, ни даже самому Полю Судаковскому. Может быть, нравился девушке ее смуглый, черноволосый, загорелый ученик с упрямыми, «шалыми» глазами, а вернее всего — то и другое вместе, но только отдавала учебе она все свое свободное время и всю душу.

По вечерам, когда пустели пляжи, волейбольные и городошные площадки, любимым развлечением в санатории были танцы. Алексей неукоснительно участвовал в вечерах, недурно танцевал, не пропуская ни одного танца, и его учительница уже не раз жалела, что поставила ему такие суровые условия обучения. Играл баян, крутились пары. Мересьев, разгоряченный, со сверкающими от возбуждения глазами, выделывал все эти глиссады, змейки, повороты, точки, ловко и, как казалось, без труда вел свою легонькую и изящную даму с пылающими кудрями. И никому из наблюдавших за этим разудалым танцором не могло даже в голову прийти, что́ делает он, исчезая порой из зала.

С улыбкой на разгоряченном лице выходил он на улицу, небрежно обмахиваясь платком, но, как только переступал порог и вступал в полутьму ночного леса, улыбка тотчас же сменялась гримасой боли. Цепляясь за перила, шатаясь, со стоном сходил он со ступенек крыльца, бросался в мокрую росистую траву и, прижавшись всем те-

лом к влажной, еще державшей дневное тепло земле, плакал от жгучей боли в натруженных, стянутых ремнями ногах.

Он распускал ремни, давал ногам отдохнуть. Потом снова надевал колодки, вскакивал и быстро шагал к дому. Незаметно он появлялся в зале, где, обливаясь пóтом, играл неутомимый инвалид-баянист, подходил к рыженькой Зиночке, которая уже искала его в толпе глазами, широко улыбался, показывая ровные белые, точно из фарфора отлитые, зубы, и ловкая, красивая пара снова устремлялась в круг. Зиночка пеняла ему за то, что он оставил ее одну. Он весело отшучивался. Они продолжали танцевать, ничем не отличимые от других пар.

Тяжелые танцевальные упражнения уже давали свои результаты. Алексей все меньше и меньше ощущал сковывающее действие протезов. Они как бы постепенно прирастали к нему.

Алексей был доволен. Лишь одно тревожило его теперь — отсутствие писем от Оли. Больше месяца назад, в связи с неудачей Гвоздева, послал он ей свое, как ему теперь казалось, роковое и, во всяком случае, совершенно нелепое письмо. Ответа не было. Каждое утро после зарядки и бега, для которого он с каждым днем удлинял маршрут на сто шагов, он заходил в канцелярию и смотрел ящик с письмами. В ячейке «М» писем было всегда больше, чем в других. Но напрасно снова и снова перебирал он эту пачку.

Но вот однажды, когда он занимался танцами, в окне комнаты, где продолжалось обучение, показалась черная голова Бурназяна. В руках он держал свою палку и письмо. Прежде чем он успел что-нибудь сказать, Алексей выхватил конверт, надписанный крупным ученическим почерком, и выбежал, оставив в окне озадаченного Бурназяна, а посреди комнаты — рассерженную учительницу.

— Зиночка, все нынче этакие вот... современные кавалеры,— тоном тетки-сплетницы проскрипел Бурназян.— Не верьте, девушка, бойтесь их, как черт святых мощей. Ну его, поучите-ка лучше меня! — И, бросив палку в комнату, Бурназян, тяжело кряхтя, полез в окно, возле которого стояла озадаченная, грустная Зиночка.

А Алексей, держа в руке заветное письмо, быстро, точно боялся, что за ним гонятся и могут отнять его богатство, бежал к озеру. Тут, продравшись, через шелестящие камыши, сел он на мшистый камень на отмели, совершен-

но скрытый высокой травой со всех сторон, осмотрел дорогое письмо, дрожавшее в пальцах. Что в нем? Какой приговор оно в себе заключает? Конверт был потрепан и затерт. Немало побродил он, должно быть, по стране, разыскивая адресата, Алексей осторожно оторвал от него полоску и сразу глянул в конец письма. «Целую, родной. Оля» — значилось внизу. У него отлегло от сердца. Уже спокойно расправил он на колене тетрадные листы, почему-то испачканные глиной и чем-то черным, закапанные свечным салом. Что же это стало с аккуратной Оленькой? И тут прочел он такое, от чего сердце его сжалось гордостью и тревогой. Оказывается, Оля вот уже месяц как покинула завод и теперь живет где-то в степи, где камышинские девушки и женщины роют противотанковые рвы и строят обводы вокруг «одного большого города, название которого свято для всех нас»,— так писала она. Нигде ни словом не был помянут Сталинград. Но и без этого по тому, с какой заботой и любовью, с какой тревогой и надеждой писала она об этом городе, было ясно, что речь идет о нем.

Оля писала, что тысячи их, добровольцев с лопатами, с кирками, с тачками день и ночь работают в степи и роют, носят землю, бетонируют и строят. Письмо было бодрое, и лишь по отдельным строчкам, прорвавшимся в нем, можно было догадаться, как лихо приходится им там, в степи. Только рассказав о своих делах, целиком, должно быть, захвативших ее, Оля отвечала на его вопрос. Сердито писала она, что оскорблена его последним письмом, которое получила она тут, «на окопах», что, если бы он не был на войне, где так треплются нервы, она ему этого оскорбления не простила бы.

«Родной мой,— писала она,— что же это за любовь, если она боится жертв? Нет такой любви, милый, а если и есть, то, по-моему, и не любовь это вовсе. Вот я сейчас не мылась неделю, хожу в штанах, в ботинках, из которых пальцы торчат в разные стороны. Загорела так, что кожа слезает клочьями, а под ней какая-то неровная, фиолетовая. Если бы я, усталая, грязная, худая и некрасивая, пришла бы к тебе сейчас отсюда, разве ты оттолкнул бы меня или даже осудил меня? Чудачок ты, чудачок! Что бы с тобой ни случилось, приезжай и знай, что я тебя всегда и всякого жду... Я много думаю о тебе, и, пока не попала «на окопы», где все мы засыпаем каменным сном, едва добравшись до своих нар, я тебя часто видела во сне. И ты

знай: пока я жива, у тебя есть место, где тебя ждут, всегда ждут, всякого ждут... Вот ты пишешь, что с тобой что-нибудь может случиться на войне. А если бы со мной «на окопах» случилось какое-нибудь несчастье или искалечило бы меня, разве б ты от меня отступился? Помнишь, в фабзавуче мы решали алгебраические задачи способом подстановки? Вот поставь меня на свое место и подумай. Тебе стыдно станет этих твоих слов...»

Мересьев долго сидел над письмом. Палило солнце, ослепительно отражаясь в темной воде, шелестел камыш, и синенькие бархатные стрекозы бесшумно перелетали с одной шпажки осоки на другую. Шустрые жучки на длинных тонких ножках бегали по гладкой воде у корешков камыша, оставляя за собой кружевной, зыбкий след. Маленькая волна тихонько обсасывала песчаный берег.

«Что это? — думал Алексей.— Предчувствие, дар угадывать?» «Сердце — вещун»,— говорила когда-то мать. Или трудности окопной работы умудрили девушку, и она чутьем поняла то, что он не решался ей сказать? Он еще раз перечитал письмо. Да нет же, никакого предчувствия, откуда это он взял! Просто она отвечает на его слова. Но как отвечает!

Алексей вздохнул, медленно разделся, положил одежду на камень. Он всегда купался здесь, в этом известном только ему одному заливчике, у песчаной косы, закрытой шелестящей стеной камышей. Отстегнув протезы, он медленно сполз с камня, и, хотя ему было очень больно ступать обрубками ног по крупному песку, он не стал на четвереньки. Морщась от боли, вошел он в озеро и опрокинулся в холодную, плотную воду. Отплыв от берега, он лег на спину и замер. Он видел небо, голубое, бездонное. Суетливой толпой ползли, напирая друг на друга, мелкие облака. Перевернувшись, он увидел берег, опрокинутый в воду и точно повторенный на ее голубой прохладной глади, желтые кувшинки, плававшие среди круглых, лежавших на воде листьев, белые крылатые точки лилий. И вдруг представилась ему на мшистом камне Оля, какой он видел ее во сне. Она сидела в пестром платье, свесив ноги. Только ноги ее не касались воды. Два обрубка болтались, не доставая до поверхности. Алексей ударил кулаком по воде, чтобы прогнать это видение. Нет, способ подстановки, предложенный Олей, ему не помог!

5

Обстановка на юге осложнялась. Уж давно газеты не сообщали о боях на Дону. Вдруг в сводке Совинформбюро мелькнули названия задонских станиц, лежащих на пути к Волге, к Сталинграду. Тем, кто не знал тамошних краев, эти названия мало что говорили. Но Алексей, выросший в той местности, понял, что линия донских укреплений прорвана и война перекинулась к стенам Сталинграда.

Сталинград! Это слово еще не упоминалось в сводке, но оно было у всех на устах. Его произносили осенью 1942 года с тревогой, с болью, о нем говорили даже не как о городе, а как о близком человеке, находящемся в смертельной опасности. Для Мересьева эта общая тревога увеличивалась тем, что Оля находилась где-то там, в степи под городом, и кто знает, какие испытания предстояло ей пережить! Он писал ей теперь каждый день. Но что значили его письма, адресуемые на какую-то полевую почту? Найдут ли они ее в сумятице отступления, в пекле гигантской битвы, которая завязалась в приволжской степи?

Санаторий летчиков волновался, как муравейник, на который наступили ногой. Брошены были все привычные занятия: шашки, шахматы, волейбол, городки, неизменный фронтовой «козел» и «очко», в которое любители острых ощущений тайком резались раньше в приозерных кустах. Ничто не шло на ум. За час до подъема, к первой, семичасовой сводке, передаваемой по радио, сходились даже самые ленивые. Когда в эпизодах сводки упоминались подвиги летчиков, все ходили мрачные, обиженные, придирались к сестрам, ворчали на режим и на пищу, как будто администрация санатория была виновата в том, что им приходится в такое горячее время торчать здесь, на солнце, в лесной тиши у зеркального озера, а не сражаться там, над сталинградскими степями. В конце концов отдыхающие заявили, что они сыты отдыхом, и потребовали досрочной отправки в действующие части.

Под вечер прибыла комиссия отдела комплектования ВВС. Из пыльной машины вышло несколько командиров с петлицами медицинской службы. С переднего сиденья тяжело снялся, опираясь руками о спинку, известный в Военно-Воздушных Силах медик, военврач первого ранга Мировольский, грузный толстяк, любимый летчиками за отеческое к ним отношение. За ужином было объявлено, что комиссия с утра начнет отбор выздоравливающих, же-

лающих досрочно прекратить отпуск для немедленного направления в часть.

В этот день Мересьев встал с рассветом, не делал своих обычных упражнений, ушел в лес и пробродил там до завтрака. Он ничего не стал есть, нагрубил подавальщице, попенявшей ему на то, что он все оставил в тарелках, а когда Стручков заметил ему, что не за что ругать девушку, которая ничего ему, кроме добра, не желает, выскочил из-за стола и ушел из столовой. В коридоре, у сводки Совинформбюро, висевшей на стене, стояла Зина. Когда Алексей проходил мимо, она сделала вид, что не видит его, и только гневно повела плечиком. Но когда он прошел, действительно не заметив ее, девушка с обидой, чуть не плача, окликнула его. Алексей сердито оглянулся через плечо:

— Ну, что вы хотите? Чего вам?

— Товарищ старший лейтенант, за что вы...— тихо сказала девушка, краснея так, что цвет лица ее слился с медью волос.

Алексей сразу пришел в себя и весь как-то поник.

— Сегодня решается моя судьба,— глухо сказал он.— Ну, пожмите руку на счастье...

Прихрамывая больше чем всегда, он прошел к себе и заперся в комнате.

Комиссия расположилась в зале. Туда притащили всяческие приборы — спирометры, силомеры, таблицы для проверки зрения. Весь санаторий собрался в смежном помещении, и желающие досрочно уехать, то есть почти все отдыхающие, выстроились было тут в длиннейшую очередь. Но Зиночка выдала всем билеты, на которых были написаны часы и минуты явки, и попросила разойтись. После того как первые прошли комиссию, разнесся слух, что смотрят снисходительно и не очень придираются. Да и как было комиссии придираться, когда гигантская битва, разгоравшаяся на Волге, требовала новых и новых усилий! Алексей сидел на кирпичной ограде, перед затейливыми сенцами, болтал ногами и, когда кто-нибудь выходил из двери, спрашивал, будто не особенно интересуясь:

— Ну как?

— Воюем! — весело отвечал вышедший, застегивая на ходу гимнастерку или подтягивая ремень.

Перед Мересьевым пошел Бурназян. У двери он оставил свою палку и вошел, бодрясь, стараясь не болтаться из стороны в сторону и не припадать на короткую ногу. Его держали долго. Под конец из открытого окна долетели до

Алексея обрывки сердитых фраз. Потом из двери вылетел вспаренный Бурназян. Он царапнул Алексея злым взглядом и, не поворачиваясь, проковылял в парк:

— Бюрократы, тыловые крысы! Что они понимают в авиации? Это им балет, что ли?.. Короткая нога... Клистирки, шприцы проклятые!

У Алексея похолодело под ложечкой, но он вошел в комнату бодрым шагом, веселый, улыбающийся. Комиссия сидела за большим столом. Посередине мясистой глыбой возвышался военврач первого ранга Мировольский. Сбоку, за маленьким столиком со стопками личных дел, сидела Зиночка, хорошенькая, совсем игрушечная в своем белом, туго накрахмаленном халатике, с медной прядью волос, кокетливо выбившейся из-под марлевой косынки. Она протянула Алексею его «дело» и, передавая, тихонько пожала руку.

— Ну-с, молодой человек,— сказал врач, щурясь,— снимайте гимнастерку.

Недаром Мересьев столько занимался спортом и загорал. Врач залюбовался его плотным, крепко сбитым телом, под смуглой кожей которого отчетливо угадывалась каждая мышца.

— С вас Давида лепить можно,— блеснул познаниями один из членов комиссии.

Мересьев легко прошел все испытания, он выжал кистью раза в полтора больше нормы, выдохнул столько, что измерительная стрелка коснулась ограничителя. Давление крови было у него нормальное, нервы в отличном состоянии. В заключение он ухитрился рвануть стальную ручку крафт-аппарата так, что прибор испортился.

— Летчик? — с удовольствием спросил врач, разваливаясь в кресле и уже нацеливаясь писать на уголке «Личного дела старшего лейтенанта Мересьева А. П.» резолюцию.

— Летчик!

— Истребитель?

— Истребитель.

— Ну и отправляйтесь истреблять. Там сейчас ваш брат ох как нужен!.. Да вы с чем лежали в госпитале?

Алексей замялся, чувствуя, что все внезапно проваливается, но врач уже читал его личное дело, и широкое, доброе лицо его растягивалось от удивления.

— Ампутация ног. Что за чушь! Тут описка, что ли? Ну, чего вы молчите?

— Нет, не описка,— тихо и очень медленно, точно поднимаясь по ступенькам на эшафот, выговорил Алексей.

Врач и вся комиссия подозрительно уставились на этого крепкого, отлично развитого, подвижного парня, не понимая, в чем дело.

— Засучите брюки! — нетерпеливо скомандовал врач.

Алексей побледнел, беспомощно оглянулся на Зиночку, медленно поднял брюки и так и остался стоять перед столом на кожаных своих протезах, поникший, с опущенными руками.

— Так что же вы, батенька мой, нас морочите? Столько времени отняли. Не думаете же вы без ног пойти в авиацию? — сказал наконец врач.

— Я не думаю: я пойду! — тихо сказал Алексей, и его цыганские глаза сверкнули упрямым вызовом.

— Вы с ума сошли! Без ног?

— Да, без ног — и буду летать,— уже не упрямо, а очень спокойно ответил Мересьев; он полез в карман своего лётного френча старого образца и достал оттуда аккуратно свернутую вырезку из журнала.— Видите, он же летал без ноги, почему же я не могу летать без обеих?

Врач, прочтя заметку, удивленно, с уважением посмотрел на летчика:

— Но для этого нужна чертовская тренировка. Видите, он тренировался десять лет. Нужно ж научиться орудовать протезами, как ногами,— сказал он, смягчаясь.

Тут Алексей неожиданно получил подкрепление: Зиночка выпорхнула из-за своего столика, молитвенно сложила на груди ручки и, покраснев так, что на висках ее выступили бисеринки пота, залепетала:

— Товарищ военврач первого ранга, вы поглядите, как он танцует! Лучше всех здоровых. Ну честное слово!

— Как — танцует? Что за черт! — Врач пожал плечами и добродушно переглянулся с членами комиссии.

Алексей с радостью ухватился за мысль, поданную Зиночкой:

— Вы не пишите ни «да», ни «нет». Приходите сегодня вечером к нам на танцы. Вы убедитесь, что я могу летать.

Идя к двери, Мересьев видел в зеркало, как члены комиссии о чем-то оживленно переговаривались.

Перед обедом Зиночка отыскала Алексея в чаще запущенного парка. Она рассказала, что, когда он вышел, ко-

миссия еще долго толковала о нем и что врач заявил, что Мересьев — необыкновенный парень и, может быть — кто знает! — действительно будет летать. Русский человек на что только не способен! На это один из членов комиссии возразил, что история авиации таких примеров не знает. Врач же ответил ему, что история авиации много чего не знала и многому научили ее советские люди в этой войне.

В последний вечер перед отправкой в действующую армию отобранных добровольцев, а таких оказалось в санатории человек двести, танцы были устроены по расширенной программе. Из Москвы на грузовике приехал военный оркестр. Духовая музыка сотрясала решетчатые окна теремков, сенцы и переходы. Без устали, обливаясь потом, отплясывали летчики. Среди них, веселый, ловкий, подвижной, все время танцевал Мересьев со своей златокудрой дамой. Пара была хоть куда!

Военврач первого ранга Мировольский, сидевший у открытого окна с кружкой холодного пива, не сводил глаз с Мересьева и его огненноволосой партнерши. Он был медик, больше того — он был военный медик. На бесконечных примерах знал он, как отличаются протезы от живых ног.

И вот теперь, наблюдая за смуглым плотным летчиком, красиво ведущим свою маленькую, изящную даму, он никак не мог отделаться от мысли, что все это какая-то сложная мистификация. Под конец, после того как летчик лихо сплясал в центре рукоплещущего круга «барыню» — да с гиком, с прихлопываниями ладонями по бедрам, по щекам — и потом, вспотевший и оживленный, пробился к Мировольскому, тот с уважением пожал ему руку. Мересьев молчал, но глаза его, в упор смотревшие на врача, молили, требовали ответа.

— Я, как вы понимаете, не имею права направить вас прямо в часть. Но я дам вам заключение для управления кадров. Я напишу наше мнение, что при соответствующей тренировке вы будете летать. Словом, в любом случае считайте мой голос «за»,— ответил врач.

Мировольский вышел из зала под руку с начальником санатория, тоже опытным военным врачом. Оба восхищенные, сбитые с толку. Перед сном, сидя с папиросами, они еще долго рассуждали о том, на что только не способен советский человек, если он чего-нибудь как следует захочет...

В это время, когда внизу еще гремела музыка и в пря-

моугольниках оконных отсветов двигались по земле тени танцующих, Алексей Мересьев сидел наверху, в крепко запертой ванной комнате, до крови закусив губу, опустив ноги в холодную воду. Едва не теряя сознание от боли, он отмачивал синие кровавые мозоли и широкие язвы, образовавшиеся от неистового движения протезов.

Когда же через час майор Стручков вошел в комнату, Мересьев, умытый, свежий, расчесывал перед зеркалом свои мокрые волнистые волосы.

— Тебя там Зиночка ищет. Хоть погулял бы с ней на прощанье. Жалко девчонку.

— Пойдемте вместе, Павел Иванович, ну пойдем, что тебе? — стал упрашивать Мересьев.

Ему было как-то не по себе от мысли остаться наедине с этой славной смешной девушкой, так старательно учившей его танцам. После Олиного письма он чувствовал себя в ее присутствии как-то особенно тягостно. И теперь он настойчиво тащил Стручкова с собой, пока тот, ворча, не взялся наконец за фуражку.

Зиночка ждала на балконе. В руках у нее был совершенно ощипанный букет. Венчики и лепестки цветов, растерзанные и оборванные, усеивали пол у ее ног. Заслышав шаги Алексея, она вся подалась вперед, но, увидев, что он не один, поникла и сжалась.

— Пошли с лесом прощаться! — беспечным тоном предложил Алексей.

Они взялись под руки и молча двинулись по старой липовой аллее. Под ногами у них, на земле, залитой пятнами белесого лунного света, шевелились угольно-черные тени, и то здесь, то там, как разбросанные золотые монеты, сверкали первые листья осени. Кончилась аллея. Вышли из парка и по мокрой седой траве направились к озеру. Низина, точно белой бараньей шкурой, была покрыта пеленой густого клочковатого тумана. Он льнул к земле и, доходя им до пояса, таинственно сиял и дышал в холодном лунном свете. Воздух был сыр, пропитан сытными запахами осени и то прохладен и даже студен, а то тепел и душен, как будто в этом озере тумана были какие-то свои ключи, свои теплые и холодные течения...

— Похоже, что мы великаны и идем над облаками, а? — задумчиво сказал Алексей, с неловкостью ощущая, как плотно прижимается к его локтю маленькая сильная ручка девушки.

— Похоже, что мы дураки: промочим ноги и схватим

на дорогу простуду! — проворчал Стручков, погруженный в какие-то свои невеселые думы.

— У меня перед вами преимущество. Мне нечего промачивать и простужать,— усмехнулся Алексей.

Зиночка потянула их к закрытому туманом озеру:

— Идемте, идемте, там сейчас должно быть очень хорошо.

Они едва не забрели в воду и удивленно остановились, когда она вдруг зачернела сквозь пушистые пряди тумана где-то уже совсем под ногами. Возле оказались мостки, и рядом едва вырисовывался темный силуэт ялика. Зиночка упорхнула в туман и вернулась с веслами. Утвердили уключины, Алексей сел грести, Зина с майором расположились рядом на кормовом сиденье. Лодка медленно двинулась по тихой воде, то окунаясь в туман, то выскальзывая на простор, полированная чернь которого была щедро посеребрена луной. Они думали каждый о своем. Ночь была тихая, вода под веслами рассыпалась каплями ртути и казалась такой же тяжелой. Глухо стучали уключины, где-то скрипел коростель, и совсем уже издали едва доносился по воде надрывный, шалый крик филина.

— И не поверишь, что рядом воюют...— тихо сказала Зиночка.— Будете мне писать, товарищи? Вот вы, например, напишете, Алексей Петрович, хоть немножечко? Хотите, я вам открыток со своим адресом дам? Набросаете: жив, здоров, кланяюсь — и в ящик, а?..

— Нет, братцы, с каким удовольствием еду! К черту, хватит, за дело, за дело! — выкрикнул Стручков.

И снова все смолкли. Гулко булькала о борта лодки мелкая и ласковая волна, звучно и сонно журчала вода под днищем, тугими взблескивающими узлами клубилась за кормой. Туман таял, и уже видно было, как от самого берега тянулся к лодке зябкий, голубовато блестевший лунный столб и как маячили пятнышки кувшинок и лилий.

— Давайте споем, а? — предложила Зиночка и, не дожидаясь ответа, завела песню о рябине.

Она одна грустно пропела первый куплет, и тут глубоким и сильным баритоном поддержал ее майор Стручков. Он никогда раньше не пел, и Алексей даже не подозревал, что у него такой славный бархатный голос. И вот над водной гладью раздольно поплыла эта песня, задумчивая и страстная. Два свежих голоса, мужской и женский, тосковали, поддерживая друг друга. Алексею вспомнилась тонкая рябинка с одинокой гроздью, стоящая под окном его

комнаты, вспомнилась большеглазая Варя из подземной деревеньки; потом все исчезло: озеро, и этот волшебный лунный свет, и лодка, и певцы — и он увидел перед собой в серебристом тумане девушку из Камышина, но не ту Олю, что сидела на фотографии среди ромашек на цветущем лугу, а какую-то новую, незнакомую, усталую, с пятнистыми от загара щеками и потрескавшимися губами, в просоленной гимнастерке и с лопатой в руках, где-то там в степях, под Сталинградом.

Он бросил весла, и уже втроем согласно допели они последний куплет.

6

Ранним утром вереница военных автобусов выезжала со двора санатория. Еще у подъезда майор Стручков, сидевший на подножке в одном из них, завел свою любимую песню о рябине. Песня перекинулась в другие машины, и прощальные приветствия, пожелания, остроты Бурназяна, напутствия Зиночки, что-то кричавшей Алексею в автобусное окно,— все потонуло в простых и многозначительных словах этой старинной песни, много лет находившей- в забвении и снова воскресшей и овладевшей сердцами в дни Великой Отечественной войны.

Так и уехали автобусы, увозя с собой дружные, густые аккорды мелодии. Когда песня была допета, пассажиры стихли, и никто не сказал ни слова, пока не замелькали за окнами первые заводы и поселки столичного пригорода.

Майор Стручков, сидевший на подножке в расстегнутом кителе, улыбаясь, смотрел на подмосковные пейзажи. Ему было весело. Он двигался, переезжал, этот вечный военный странник, он чувствовал себя в своей стихии. Он направлялся в какую-то пока неизвестную ему лётную часть, но все равно он ехал домой. Мересьев сидел молчаливый и тревожный. Он чувствовал, что самое трудное впереди, и кто знает, удастся ли ему преодолеть эти новые препятствия.

Прямо с автобуса, никуда не заходя, не позаботившись даже о ночлеге, Мересьев пошел к Мировольскому.

И тут ждала его первая неудача. Его доброжелатель, которого он с таким трудом расположил в свою пользу, оказалось, вылетел в срочную командировку и вернется не скоро. Алексею предложили подать рапорт общим поряд-

ком. Мересьев присел тут же в коридоре на подоконнике и написал рапорт. Он отдал его командиру-интенданту, маленькому и худому, с усталыми глазами. Тот обещал сделать все, что сможет, и попросил зайти дня через два. Напрасно летчик просил, умолял, даже грозил. Прижимая к груди костлявые кулачки, интендант говорил, что таков общий порядок и нарушить его он не в силах. Должно быть, и в самом деле он ничем не мог помочь. Мересьев махнул рукой и побрел прочь.

Так начались его скитания по военным канцеляриям. Дело осложнялось тем, что в госпиталь его доставили в спешке без вещевого, продовольственного и денежного аттестатов, о возобновлении которых он своевременно не позаботился. У него не было даже командировки. И, хотя ласковый и услужливый интендант обещал ему срочно запросить по телефону из полка необходимые документы, Мересьев знал, как все это медленно делается, и понял, что ему предстоит жить некоторое время без денег, без квартиры и без пайка в суровой военной Москве, где строго считали каждый килограмм хлеба, каждый грамм сахару.

Он позвонил в госпиталь Анюте. Судя по голосу, она была чем-то озабочена или занята, но очень обрадовалась ему и потребовала, чтобы на эти дни он поселился в ее квартире, тем более что она сама находится в госпитале на казарменном положении и он никого не стеснит.

Санаторий снабдил своих питомцев на дорогу пятидневным сухим пайком, и Алексей, не раздумывая, бодро направился к знакомому ветхому домику, ютившемуся в глубине двора за могучими спинами новых огромных построек. Есть крыша, есть еда — теперь можно ждать. Он поднялся по знакомой темной витой лесенке, опять пахнувшей на него запахом кошек, керосиновой гари и сырого белья, нащупал дверь и крепко в нее постучал.

Остренькое старушечье личико высунулось в щель приоткрытой двери, придерживаемой двумя толстыми цепочками. Алексея долго рассматривали с недоверием и с любопытством, спросили, кто он, к кому и как его фамилия. Только после этого загремели цепочки, и дверь открылась.

— Анны Даниловны нет, но она звонила о вас. Входите, я вас проведу в ее комнату.

Старушка так и шарила выцветшими, тусклыми глазами по его лицу, френчу, особенно по вещевому мешку.

— Вам, может, водички согреть? Вон на печке Анечкина керосинка, я согрею...

Без всякой неловкости вошел Алексей в знакомую комнату. Должно быть, способность солдата ощущать себя везде дома, столь развитая в майоре Стручкове, стала сообщаться и ему. Почувствовав знакомый запах старого дерева, пыли, нафталина, всех этих десятилетиями верой и правдой прослуживших старых вещей, он даже заволновался, как будто после долгих скитаний попал под родную крышу.

Старушка шла за ним по пятам и все говорила, говорила про очереди у какой-то булочной, где, если повезет, по карточкам можно было получить вместо черного хлеба сдобные плюшки, про то, что намедни в трамвае она слышала от очень солидного военного, что немцам сильно досталось у Сталинграда, что Гитлер будто даже от досады спятил с ума, посажен в желтый дом, а в Германии действует его двойник, что соседка ее, Алевтина Аркадьевна, совершенно напрасно получающая рабочую карточку, взяла у нее и не отдает великолепный эмалированный бидон для молока, что Анна Даниловна дочь очень достойных людей, находящихся сейчас в эвакуации,— отличная девушка, смирная и строгая, что, не в пример некоторым, она не шляется бог знает с кем и кавалеров к себе не водит.

— А вы что, жених ее будете? Герой Советского Союза, танкист?

— Нет, я простой летчик,— ответил Мересьев и чуть не засмеялся, увидев, как при этом недоумение, обида, недоверие и гнев одновременно отразились на подвижном лице старушки.

Она подобрала губы, сердито хлопнула дверью и уже из коридора, без прежнего заботливого дружелюбия, ворчливо сказала:

— Так если вода теплая нужна, кипятите сами на синей керосинке.

Анюта была, должно быть, сильно занята у себя на эвакопункте. Сегодня, в непогожий осенний день, квартира имела совершенно заброшенный вид. На всем лежал толстый слой пыли; на окнах и на тумбочках желтели и вяли давно не поливавшиеся цветы. На столе стоял чайник, валялись корки, уже зазеленевшие по краям. Пианино тоже было одето серым и мягким чехлом пыли. И, казалось, задыхаясь в спертом, тяжелом воздухе, уныло гу-

дела большая, сильная муха, бившаяся о тусклое, желтое стекло.

Мересьев распахнул окна. Они выходили на косогор, исчерченный тесными полосками грядок. Свежий воздух рванулся в комнату, сдул улежавшуюся пыль так, что поднялся серый туман. Тут Алексею пришла в голову веселая мысль: прибрать эту запущенную комнату, удивить и порадовать Анюту, если она вечером вырвется повидаться с ним. Он выпросил у старушки ведро, тряпку, швабру и с жаром принялся за это исстари презираемое мужчинами дело. Часа полтора он тер, обметал, смахивал, мыл, радуясь нехитрой своей работе.

Вечером он сходил к мосту, где еще по пути сюда заметил девочек, торговавших яркими тяжелыми осенними астрами. Купил несколько цветков, поставил их в вазы на столе и на пианино и уселся в удобное зеленое кресло, чувствуя во всем теле приятную усталость и жадно принюхиваясь к запахам жаркого, которое старушка готовила на кухне из своих припасов.

Но Анюта пришла такая усталая, что, едва поздоровавшись с ним, сразу грохнулась на диван, даже не заметив, что вокруг нее все блестит и сверкает. Только через несколько минут, отдышавшись, выпив воды, она удивленно огляделась и, все поняв, устало улыбнулась и благодарно пожала локоть Мересьева:

— Недаром, должно быть, Гриша в вас так влюблен, что я даже немножко ревную. Алешенька, неужели это вы... все сами? Какой же вы славный! А от Гриши ничего не имеете? Он там. Третьего дня пришло письмо, коротенькое, два слова: он в Сталинграде и, чудак, пишет — отращивает бороду. Вот затеял, нашел время!.. А там ведь очень опасно? Ну скажите, Алеша, ну?.. Столько ужасного говорят про Сталинград!

— Там война.

Алексей вздохнул и нахмурился. Он завидовал всем, кто был там, на Волге, где завязалось гигантское сражение, про которое теперь столько говорили.

Они беседовали весь вечер, отлично, с аппетитом поужинали жарким из тушенки и, так как вторая комната квартиры оказалась заколоченной, по-братски разместились в одной: Анюта на кровати, а Алексей на диване, и сразу заснули крепким молодым сном.

Когда Алексей открыл глаза и сейчас же вскочил с постели, пыльные снопы солнечных лучей уже косо лежали

на полу. Анюты не было. К спинке его дивана была приколота записка: «Тороплюсь в госпиталь. Чай на столе, хлеб в буфете, сахара нет. Раньше субботы не вырваться. А.».

Все эти дни Алексей почти не выходил из дому. От нечего делать он перечинил старушке все примусы, керосинки, запаял кастрюли, поправил выключатели и штепсели и даже отремонтировал по ее просьбе кофейную меленку злодейке Алевтине Аркадьевне, так и не вернувшей, впрочем, эмалированного бидона. Всем этим он снискал прочное благорасположение старушки и ее мужа, работника Стройтреста, активиста противовоздушной обороны, тоже по суткам пропадавшего из дому. Супруги пришли к заключению, что танкисты, конечно, хорошие люди, но и летчики им нисколько не уступают и даже, если к ним приглядеться, несмотря на свою воздушную профессию,— хозяйственный, семейный, серьезный народ.

Ночь накануне явки в отдел кадров за заключением Алексей пролежал на диване с открытыми глазами. На рассвете встал, побрился, умылся и точно в час открытия учреждения первым подошел к столу майора административной службы, которому надлежало решить его судьбу. Майор ему сразу не понравился. Будто не замечая Алексея, он долго возился у стола, доставал и раскладывал перед собой папки с бумагами, кому-то звонил по телефону и обстоятельно объяснялся с секретаршей по поводу того, как надо нумеровать личные дела, потом куда-то вышел и не скоро вернулся. К этому времени Алексей успел возненавидеть его продолговатое длинноносое лицо с аккуратно выбритыми щеками, яркогубое, с покатым лбом, переходившим незаметно в сверкающую лысину. Наконец майор перевернул листок календаря и только после этого поднял глаза на посетителя.

— Вы ко мне, товарищ старший лейтенант? — солидным, самоуверенным баском спросил он.

Мересьев объяснил свое дело. Майор запросил у секретарши его бумаги и в ожидании их сидел, вытянув ноги, сосредоточенно ковыряя во рту зубочисткой, которую он при этом вежливо прикрывал ладонью левой руки. Когда бумаги принесли, он вытер зубочистку платком, завернул ее в бумажку, сунул в карман кителя и принялся читать личное дело. Должно быть, дойдя до ампутированных ног, он торопливо показал Алексею на стул: дескать, садитесь, чего ж вы стоите,— и снова углубился в бумаги. Дочитав последний листок, он спросил:

— Ну, и что вы, собственно, хотите?

— Хочу получить назначение в истребительный полк.

Майор откинулся на спинку стула, удивленно уставился на летчика, все еще стоявшего перед ним, и сам придвинул ему стул. Широкие брови еще выше всползли на гладкий и жирноватый лоб.

— Но вы же летать не можете?

— Могу, буду. Направьте меня в тренировочную школу на пробу.— Мересьев почти кричал, и столько было в его тоне неукротимого желания, что военные, сидевшие за соседними столами, подняли головы, стараясь узнать, чего так настойчиво требует этот смуглый красивый парень.

— Но слушайте, как это можно летать без ног? Смешно... Этого нигде не видано. И кто вам разрешит? — Майор понял, что перед ним какой-то фанатик, может быть сумасшедший.

Косясь на сердитое лицо Алексея, на его горячие, «шалые» глаза, он старался говорить как можно мягче.

— Этого нигде не видано, но это увидят! — упрямо твердил Мересьев; он вынул из записной книжки завернутую в целлофан журнальную вырезку и положил ее на стол перед майором.

Военные за соседними столами уже бросили работать и с интересом прислушивались к разговору. Один, будто за делом, подошел к майору, спросил спички и заглянул в лицо Мересьеву. Майор пробежал глазами статейку.

— Это для нас не документ. У нас есть инструкция. Там точно определены все степени годности в авиацию. Я не могу вас допустить к управлению машиной, даже если бы у вас не хватало двух пальцев, а не обеих ног. Забирайте ваш журнал — это не доказательство. Я уважаю ваше стремление, но...

Чувствуя, как все в нем закипает, что еще мгновение — и он запустит чернильницей в этот сверкающий голый лоб, Мересьев глухо выдавил из себя:

— А это?

Он положил на стол последний свой аргумент — бумажку за подписью военврача первого ранга.

Майор с сомнением взял записку. Она была надлежащим образом оформлена, со штампом отдела медико-санитарной службы, с печатью; под ней стояла подпись уважаемого в авиации врача. Майор прочел ее и стал более любезным. Нет, перед ним не сумасшедший. Действительно,

этот необыкновенный парень собирается летать без ног. Он даже как-то ухитрился убедить военврача, серьезного, авторитетного человека.

— И все-таки, при всем желании, не могу,— вздохнул майор, отодвигая «дело» Мересьева.— Военврач первого ранга может писать что ему угодно, у нас же инструкция ясная и определенная, не допускающая отклонений... Если я ее нарушу, в ответе кто будет: военврач?

Мересьев с ненавистью посмотрел на этого сытого, самодовольного человека, такого самоуверенного, спокойного, вежливого, на чистенький подворотничок его аккуратного кителя, на его волосатые руки с тщательно подстриженными большими и некрасивыми ногтями. Ну как ему объяснишь? Разве он поймет? Разве он знает, что такое воздушный бой? Он, может быть, выстрела не слыхал в своей жизни. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо спросил:

— А как же мне быть?

— Если непременно хотите, могу направить на комиссию в отдел формирования.— Майор пожал плечами.— Только предупреждаю: напрасно будете трудиться.

— А, черт возьми, пишите на комиссию! — прохрипел Мересьев, тяжело рухнув на стул.

Так начались его скитания по учреждениям. Усталые, по горло заваленные делами люди слушали его, удивляясь, сочувствовали, поражались и разводили руками. И действительно, что они могли сделать? Существовала инструкция, совершенно правильная инструкция, утвержденная командованием, существовали освященные многими годами традиции, и как было нарушить их, да еще в таком не вызывающем сомнений случае! Всем было искренне жаль неугомонного инвалида, мечтавшего о боевой работе, ни у кого не поворачивался язык решительно сказать ему «нет», и его направляли из отдела кадров в отдел формирования, от стола к столу, ему сочувствовали и отсылали его на комиссии.

Мересьева больше уже не выводили из себя ни отказы, ни поучающий тон, ни унизительное сочувствие и снисхождение, против чего бунтовала вся его гордая душа. Он научился держать себя в руках, усвоил тон просителя и, хотя в день получал иной раз по два-три отказа, не хотел терять надежду. Страничка из журнала и заключение военврача первого ранга настолько истрепались от частого доставания из кармана, что разлезлись на сгибах, и ему пришлось оклеить их промасленной бумагой.

Тяготы скитаний осложнялись тем, что ответа из полка еще не пришло, и он по-прежнему жил без аттестатов. Запасы, выданные в санатории, уже иссякли. Правда, супруги-соседи, с которыми он подружился, видя, что он перестал варить себе еду, усиленно зазывали его обедать. Но он знал, как бьются эти старые люди на своем крохотном огородишке, на косогоре под окнами, где были заранее учтены каждое перышко лука, каждая морковина, знал, как по-братски, с детской тщательностью делят они по утрам свой хлебный рацион,— знал и отказался, бодро заявив, что во избежание канители с готовкой он обедает теперь в командирской столовой.

Настала суббота, день, когда должна была освободиться Анюта, с которой ежевечерне он подолгу болтал по телефону, докладывая ей о невеселом ходе своих дел. И он решился. В вещевом мешке хранился у него старый серебряный отцовский портсигар с лихо несущейся тройкой, нанесенной на крышку изящной чернью, и с надписью: «От друзей в день серебряной свадьбы». Алексей не курил, но мать, провожая на фронт своего любимца, для чего-то сунула ему в карман тщательно сберегаемую в семье отцовскую реликвию, и так и возил он с собой эту массивную, неуклюжую вещь, кладя ее в карман «на счастье» при вылетах. Он отыскал в вещевом мешке портсигар и пошел с ним в «комиссионку».

Худая, пропахшая нафталином женщина повертела портсигар в руках, костлявым пальцем показала на надпись и заявила, что именных вещей на комиссию не принимают.

— Да я ж недорого, по вашей цене.

— Нет-нет! К тому же, гражданин военный, мне кажется, что вам еще рановато принимать подарки по случаю серебряной свадьбы,— ядовито заметила нафталиновая дама, посмотрев на Алексея своими недружелюбными бесцветными глазами.

Густо покраснев, летчик схватил портсигар со стойки и бросился к выходу. Кто-то остановил его за рукав, дохнув в ухо густым винным перегаром.

— Занятная вещица. И недорого? — осведомилась заросшая щетиной синеносая морда, обладатель которой протягивал к портсигару жилистую дрожащую руку.— Массивный. Из уважения к герою Отечественной войны пять серых дам.

Алексей, не торгуясь, схватил пять сотенных и выбе-

жал на свежий воздух из этого царства старой, вонючей рухляди. На ближайшем рынке купил он кусочек мяса, сала, буханку хлеба, картошки, луку. Не забыл даже несколько хвостиков петрушки. Нагруженный явился «домой», как говорил он теперь сам себе, жуя по дороге кусочек сала.

— Решил опять пайком: погано готовят,— соврал он старушке, выкладывая на кухонный стол свою добычу.

Вечером Анюту ждал роскошный ужин: картофельный суп на мясном бульоне, в янтаре которого плавали зеленые кудряшки петрушки, зажаренное с луком мясо и даже клюквенный кисель — старушка сварила его на крахмальном отваре, добытом из картофельных очисток. Девушка пришла усталая, бледная. С видимым усилием заставила она себя умыться и переодеться. Торопливо съев первое и второе, она растянулась в волшебном старом кресле, которое, казалось, обнимало усталого человека добрыми плюшевыми лапами и нашептывало ему на ухо хороший сон. Так она и задремала, не дождавшись, пока под краном в бидоне остудится изготовленный по всем правилам кисель.

Когда после короткого сна она открыла глаза, серые сумерки уже сгущались в маленькой и снова чистенькой комнате, загроможденной старыми уютными вещами. У обеденного стола под матовым абажуром старой лампы увидела она Алексея. Он сидел, охватив голову обеими руками и сжав ее так, точно хотел раздавить меж ладонями. Лица его не было видно, но во всей этой позе было такое тяжелое отчаяние, что жалость к этому сильному, упрямому человеку теплой волной подкатила к горлу девушки. Она тихо встала, подошла к нему, обняла большую его голову и стала гладить, пропуская меж пальцев жестковатые пряди его волос. Он поймал ее руку и поцеловал в ладонь, потом вдруг вскочил, веселый и улыбающийся.

— А кисель? Вот так раз! Я старался, надрывался, доводил его под краном до должной температуры — и пожалуйте, она заснула. Каково это повару переживать!

Они весело съели по тарелке этого «образцового» — уксуснокислого киселя, поболтали, словно по уговору не касаясь двух тем: о Гвоздеве и о его, Мересьева, делах. Потом стали устраивать постели, каждый на своем ложе. Анюта вышла в коридор, подождала, пока об пол не стукнули протезы Алексея, потом, потушив лампу, разделась и улеглась. Было темно, они молчали, но по тому, как иногда

шелестели простыни и скрипели пружины, она догадывалась, что он не спит.

— Алеша, не спите? — не выдержала наконец Анюта.

— Не сплю.

— Думаете?

— Думаю. А вы?

— Тоже думаю.

Помолчали. За окном проскрежетал на повороте трамвай. Синяя вспышка над его дугой на миг осветила комнату, и каждый из них на мгновение увидел лицо другого. Оба лежали с открытыми глазами.

Алексей в этот день не сказал Анюте ни слова о результатах своих хождений, и она поняла, что дела его плохи и, может быть, уже гаснет надежда в этой неукротимой душе. Женским своим чутьем она угадывала, как тяжело должно быть сейчас этому человеку, и поняла также, что, как ни лихо ему в эту минуту, высказанное участие только разбередит его боль, а сочувствие оскорбит.

Он же, лежа на спине, на заломленных за голову руках, думал о том, что вот в трех шагах от него на кровати в темноте лежит хорошенькая девушка, невеста друга, славный добрый товарищ. До нее ему сделать два-три шага по темной комнате, но никогда, ни за что на свете не сделал бы он эти три шага, точно мало знакомая, приютившая его девушка была его собственной сестрой. Он думал, что майор Стручков, вероятно, обругал бы его, может быть, даже не поверил бы ему. А впрочем, кто знает, может быть, теперь именно он-то и смог бы понять его больше, чем кто бы то ни было... А какая она славная, Анюта, и как, бедная, устает, и как вместе с этим увлекается своей тяжелой работой в эвакогоспитале!

— Алеша! — тихо позвала Анюта.

С дивана Мересьева слышалось ровное дыхание. Летчик спал. Девушка поднялась с постели, осторожно ступая босыми ногами, подошла к нему и, точно маленькому, поправила подушку и подоткнула вокруг него одеяло.

7

Мересьева вызвали на комиссию первым. Огромный, рыхлый военврач первого ранга, вернувшийся наконец из командировки, сидел на председательском месте. Он сразу узнал Алексея и даже вышел из-за стола ему навстречу.

— Что, не берут? Да, дорогой мой, сложное ваше дело. Ведь закон перешагивать приходится. А как через закон-то прыгнешь? — добродушно посочувствовал он.

Алексея не стали даже смотреть. На его бумажке военврач написал красным карандашом: «Отделу кадров. Считаю возможным направить в ТАП на испытание». С этой бумажкой Алексей отправился прямо к начальнику отдела кадров. К генералу его не пустили. Мересьев было вспылил, но у адъютанта генерала, стройного молоденького капитана с черненькими усиками, было такое веселое, добродушно-дружелюбное лицо, что Мересьев, исстари не терпевший, как он выражался, «архангелов», уселся возле его столика и неожиданно для себя обстоятельно рассказал капитану свою историю. Рассказ его часто прерывали телефонные звонки. Капитану то и дело приходилось срываться и бегать в кабинет шефа. Но, вернувшись, он сейчас же садился против Мересьева и, уставившись на него детскими, наивными глазами, в которых были одновременно и любопытство, и восхищение, даже недоверие, торопил:

— Ну, ну, ну и дальше? — Или вдруг разводил руками и недоуменно спрашивал: — Не врешь? Ей-богу, не врешь? Н-да, это н-да!

Когда Мересьев рассказал ему о своих скитаниях по канцеляриям, капитан, несмотря на свою юношескую внешность оказавшийся изрядным докой в аппаратных делах, возмущенно вскричал:

— Вот черти! Они же напрасно гоняли. Ты замечательный, ну, просто я не знаю, как сказать... ну, исключительный парень!.. Только они правы: без ног не летают.

— Летают... Вот...— И Мересьев выложил вырезку из журнала, заключение военврача и его направление.

— Да как же ты полетишь без ног? Чудак! Нет уж, брат, по пословице: «Из безногого танцора не выйдет».

На другого Мересьев наверняка обиделся бы, может быть, даже, вспылив, нагрубил бы ему. Но живое лицо капитана источало такое доброжелательство, что вместо этого Алексей вскочил и с мальчишеским задором крикнул:

— Не выйдет? — и вдруг пустился по приемной в пляс.

Капитан восхищенно следил за ним, потом, ни слова не говоря, схватил его бумаги и скрылся в кабинете.

Он долго не появлялся. Летчик, вслушиваясь в доносившиеся из-за двери глухие отзвуки двух голосов, чувствовал, как в страшном напряжении сжалось все тело, как

остро и часто бьется сердце, точно шел он на быстроходной машине в крутое пике.

Капитан вышел из кабинета, улыбающийся, довольный.

— Вот что,— сказал он,— конечно, о том, чтобы тебя в летный состав, генерал и слушать не стал. Но вот он тут написал: направить в БАО для несения службы, без снижения в окладе и в довольствии. Понял? Без снижения...

Капитан был поражен, увидев на лице Алексея вместо радости возмущение.

— В БАО? Никогда! Да поймите же вы все: не о брюхе, не об окладе я хлопочу. Я летчик, понимаете? Я летать, я воевать хочу!.. Почему этого никто не понимает?! Ведь чего проще...

Капитан был озадачен. Вот принесло посетителя! Другой бы на его месте опять в пляс пустился, а этот... Чудак какой-то! Но этот чудак капитану нравился все больше. Он проникся к нему сочувствием, он хотел во что бы то ни стало помочь ему в невероятном его предприятии. Вдруг у него мелькнула мысль. Он подмигнул Мересьеву, поманил его пальцем и зашептал, оглядываясь на кабинет шефа:

— Генерал сделал все, что мог. Больше не в его власти. Ей-богу! Его б самого за сумасшедшего приняли: безногого — в летный состав. Дуй прямо к нашему хозяину, только он может.

Через полчаса Мересьев, которому его новый знакомый исхлопотал пропуск, нервно ходил по коврам приемной большого начальника. Как он не догадался раньше! Ну да, именно сюда и надо было ему обратиться сразу, не теряя попусту столько времени. Или пан, или пропал... Говорили, что начальник и сам был асом. Он должен понять. Уж он не направит истребителя в БАО!

В приемной чинно сидели генералы, полковники. Они переговаривались вполголоса, некоторые явно волновались, много курили, и только старший лейтенант ходил по коврам взад и вперед своей странной, подпрыгивающей походкой. Когда все посетители прошли и настала очередь Мересьева, он резко подошел к столу, за которым сидел молодой майор с круглым открытым лицом.

— Вы к самому, товарищ старший лейтенант?

— Да. У меня есть лично к нему очень важное дело.

— А может быть, все-таки вы и меня могли бы познакомить с вашим делом? Да вы садитесь. Курите? — Он протянул Мересьеву раскрытый портсигар.

Алексей не курил, но почему-то взял папиросу, помял в руках и положил на стол и вдруг, так же как и капитану, разом выпалил обо всех своих злоключениях. В этот день он решительно переменил свое мнение об «архангелах», стерегущих генеральские «предбанники». Майор слушал его не то что бы учтиво, нет, а очень как-то по-дружески, участливо и внимательно. Он прочел заметку в журнале, познакомился с заключением. Воодушевленный участием, Мересьев вскочил и, позабыв, где находится, хотел было опять продемонстрировать, как он пляшет... Тут чуть было все не рухнуло. Дверь кабинета быстро открылась, оттуда вышел высокий, худой черноволосый человек, которого Алексей сразу узнал по фотографиям. На ходу он застегивал шинель и что-то говорил шедшему за ним генералу. Он был очень озабочен и даже не заметил Мересьева.

— Я в Кремль,— бросил он майору, взглянув на часы.— Закажите на шесть ночной самолет на Сталинград. Посадка в Верхней Погромной,— и ушел так же быстро, как и появился.

Майор тут же заказал самолет и, вспомнив про Мересьева, развел руками:

— Не повезло, улетаем. Придется ожидать. У вас есть где жить?

На смуглом лице необычайного посетителя, минуту тому назад казавшемся упрямым и волевым, майор увидел вдруг такое разочарование и такую усталость, что переменил решение:

— Ладно... Я знаю нашего хозяина, он поступил бы так же.

Он написал несколько слов на официальном бланке, сунул записку в конверт, надписал: «Начальнику отдела кадров» — и, передавая Мересьеву, пожал ему руку:

— Желаю от всей души удачи!

В бумажке значилось: «Лейтенант Мересьев А. был на приеме у командующего. К нему следует отнестись со всей внимательностью. Необходимо всем, чем можно, помочь ему вернуться в боевую авиацию».

Через час капитан с усиками вводил Мересьева в кабинет своего шефа. Старый генерал, грузный, с сердитыми лохматыми бровями, прочитал бумажку, поднял на летчика голубые веселые глаза и усмехнулся:

— Уже и там побывал... Скор, скор! Так это ты обиделся, что я тебя в БАО? Ха-ха-ха! — Он засмеялся рас-

катисто и шумно.— Молодец! Узнаю летуна хороших кровей. В БАО он не хочет, оскорбился... Умора!.. Что же мне с тобой делать-то, плясун, а? Разобьешься, а с меня голову снимут: зачем, старый дурак, направил! А впрочем, кто тебя знает... на этой войне наши ребята и не так мир удивляли... Давай бумаженцию.

Синим карандашом, непонятным почерком генерал небрежно, не дописывая слов, написал поперек бумажки: «Направить в школу тренировочного обучения». Мересьев схватил бумажку дрожащими руками. Он прочитал ее тут же, у стола, потом на лестничной площадке, потом внизу, возле часового, проверявшего пропуска при входе, потом в трамвае и, наконец, стоя под дождем на тротуаре. Из всех людей, населяющих земной шар, только он один мог понять, что означают и что сто́ят эти пять небрежно выведенных слов.

В этот день на радостях Алексей Мересьев продал свои часы — подарок командира дивизии,— накупил на рынке всяческой снеди и вина, по телефону умолил Анюту как-нибудь подмениться часа на два там, у себя в эвакогоспитале, пригласил чету старичков и устроил пир на весь мир по случаю своей великой победы.

8

В школе тренировочного обучения, разместившейся под Москвой, подле небольшого осоавиахимовского аэродромчика, в те тревожные дни была страдная пора.

В Сталинградском сражении авиации было много работы. Небо над волжской крепостью, вечно бурое, никогда не прояснявшееся от дыма пожарищ и разрывов, было ареной непрерывных воздушных схваток, боев, перераставших в целые битвы. Обе стороны несли весьма значительные потери. Борющийся Сталинград непрерывно требовал у тыла летчиков, летчиков, летчиков... Поэтому школа тренировочного обучения, где подучивались летчики, вышедшие из госпиталей, а приехавшие из тыла пилоты, летавшие до сих пор на гражданских самолетах, переучивались для полетов на новых боевых машинах, работала с предельной нагрузкой. Тренировочные самолеты, стрекозоподобные «ушки» и «уточки», облепляли маленький, тесный аэродром, как мухи неубранный кухонный стол. Они жужжали над ним с восхода и до заката, и, когда ни взглянешь

на исчерченное вкривь и вкось колесами поле, всегда здесь кто-нибудь взлетал или садился.

Начальник штаба школы тренировочного обучения, маленький, очень толстый краснолицый крепыш с красными от бессонницы глазами, сердито посмотрел на Мересьева, точно взглядом этим хотел сказать: «Какой черт еще тебя принес? Мало мне тут заботы!» — и вырвал у него из рук пакет с направлением и бумагами.

«Придерется к ногам и прогонит»,— подумал Мересьев, с опаской смотря на бурую щетину, курчавившуюся на широком, давно не бритом лице подполковника. Но того уже звали звонки двух телефонов сразу. Он прижимал плечом к уху одну трубку, что-то раздраженно гудел в другую и в то же время глазами бегал по мересьевским документам. Должно быть, прочел он в них только одну генеральскую резолюцию, потому что тут же, не кладя телефонной трубки, написал на ней: «Третий тренировочный отряд. Лейтенанту Наумову. Зачислить». Потом, положив обе трубки, устало спросил:

— А вещевой аттестат? А продовольственный? Нету? У всех нету. Знаю, знаю я эти песни. Госпиталь, суматоха, не до того. А я чем вас кормить буду? Пишите рапорт, без аттестата приказом не проведу.

— Есть написать рапорт! — с удовольствием отрубил Мересьев, весь подтягиваясь и козыряя.— Разрешите идти?

— Ступайте! — Подполковник махнул рукой. И вдруг раздался его свирепый окрик: — Стойте! Это что такое? — Он указал пальцем на тяжелую, покрытую золотыми монограммами палку — подарок Василия Васильевича. Мересьев, выходя из кабинета, в волнении забыл ее в углу.— Что за пижонство? Бросить палку! Не воинская часть, а цыганский табор! Горсад какой-то: палки, тросточки, стеки, хлыстики... Скоро будете на шею амулеты вешать и черных кошек в кабину брать. Чтоб я больше этой дряни не видел! Пижон!

— Есть, товарищ подполковник!

Хотя впереди было много трудностей и неудобств: надо было писать рапорт, объяснять сердитому подполковнику обстоятельства утраты аттестатов; хотя из-за неразберихи, создаваемой безостановочно проходившим через школу потоком людей, кормили в ней слабовато и, пообедав, курсанты начинали сейчас же мечтать об ужине; хотя в набитом битком здании средней школы, временно превра-

щенной в общежитие номер три для лётного состава, трубы полопались, стояла чертова померзень и всю первую ночь Алексей дрожал под одеялом и кожаным регланом,— он чувствовал себя здесь, среди этой суеты и неудобств, как чувствует себя, вероятно, рыба, которую волна слизнула в море, после того как она полежала, задыхаясь, на песке. Все тут нравилось ему, и даже самые неудобства этого бивуачного жилья напоминали ему, что он близок к осуществлению своей мечты.

Родная обстановка, родные люди в старых, шершавых и выгоревших за войну кожаных регланах и в собачьих унтах, загорелые хриплоголосые, веселые; родная атмосфера, пропахшая сладковатым и острым запахом авиационного бензина, наполненная ревом прогреваемых моторов и ровным, успокаивающим рокотом летящих самолетов; чумазые технари в замасленных комбинезонах, сбившиеся с ног; сердитые, загоревшие до бронзового цвета инструкторы; румяные девчата в метеорологической будке; сизый слоистый дым лежанки в домике командного пункта; хрипенье зуммеров и резкие телефонные звонки; недостаток ложек в столовой, забираемых «на память» отъезжающими на фронт; боевые листки, написанные цветными карандашами, с обязательными карикатурами на юнцов, мечтающих в воздухе о девушках; бурая мягкая грязь лётного поля, вкривь и вкось исчерченная колесами и костылями, веселая речь, приправленная солеными словечками и авиационными терминами,— все это было знакомое, устоявшееся.

Мересьев сразу расцвел, развернулся. Вернулись к нему, казалось прочно утраченные, жизнерадостность и некоторая веселая бесшабашность, всегда немножко свойственные истребителям. Он подтянулся, с удовольствием, ловко и красиво отвечал на приветствия младших, четко рубил шаг при встрече со старшими и, получив новую форму, сейчас же отдал ее «подгонять» пожилому сержанту, портному по своей гражданской профессии, сидевшему в БАО на выпуске продуктов. По ночам сержант подрабатывал, «пригоняя к костям» казенные размеры формы для взыскательных лейтенантов.

В первый же день Мересьев отыскал на лётном поле инструктора третьего отряда лейтенанта Наумова, под начало которого он был отдан. Наумов, маленький, очень подвижной, головастый, длиннорукий человечек, бегал в

районе «Т» и, смотря на небо, где ходила в зоне крохотная «ушка», ругательски ругал того, кто ею управлял:

— Сундук... Мешок с... золотом... «Был истребителем»! Кого обмануть хочет?

В ответ на приветствие Мересьева, по полной форме представившегося своему будущему инструктору, он только махнул рукой и показал в воздух:

— Видали? «Истребитель», гроза воздуха, болтается, как... цветок в проруби...

Инструктор понравился Алексею. Он любил вот таких немножечко сумасшедших в общежитии, по уши влюбленных в свое дело людей, с которыми способному и старательному человеку легко найти общий язык. Он сделал несколько дельных замечаний по поводу летавшего. Маленький лейтенант уже внимательно оглядел его с ног до головы:

— В мой отряд? Как фамилия? На чем летали? Были в боях? Сколько времени не поднимались?

Алексей не был уверен, что лейтенант выслушал его ответы: он опять запрокинул голову и, загородив ладошкой лицо от солнца, затряс кулачком:

— Шмаровоз!.. Смотрите, как он поворачивает! Точно бегемот в гостиной.

Он назначил Алексею явиться к началу лётного дня и обещал сейчас же «попробовать».

— А теперь ступайте отдохните. С дороги полезно. Кушали? А то у нас в сутолоке могут забыть накормить... Чертова кукла! Ну, только приземлись, я тебе покажу «истребителя»!

Мересьев не пошел отдыхать, тем более что на аэродроме, по которому ветер гонял сухую и острую песчаную пыль, казалось, было даже теплее, чем в классе «девятом А», где стоял его топчан. Он нашел в БАО сапожника, отдал ему свой недельный табачный паек и попросил сшить из командирского ремня две маленькие лямки с пряжками особой конструкции, с помощью которых он мог бы крепко пристегивать протезы к ножным рычажкам управления. За срочность и необычность заказа сапожник выговорил себе на «полмитрия» и обещал сделать лямки на совесть. Мересьев же вернулся на аэродром и дотемна, до того, как последний самолет загнали на линейку и привязали веревкой к ввинченным в землю штопорам, следил за полетами, как будто это было не обычное тренировочное «лазание» по зонам, а какое-то сверхасовское соревно-

вание. Он не вглядывался в полет. Он просто жил атмосферой аэродрома, впитывая ее деловую суету, несмолкающий рев моторов, глухое хлопанье ракетниц, запах бензина и масла. Все существо его ликовало, он даже и не думал, что завтра самолет может ослушаться, выйти из повиновения, что может случиться катастрофа.

Утром он явился на лётное поле, когда оно было еще пусто. На линейках ревели прогреваемые моторы, напряженно выдыхали огонь «полярные» печи, и механики, развертывая винты, отскакивали от них, как от змеи. Слышалась знакомая утренняя перекличка:

— К запуску!

— Контакт!

— Есть контакт!

Кто-то обругал Алексея за то, что он невесть зачем трется у самолетов в такую рань. Он отшутился и все повторял про себя веселую, засевшую почему-то в уме фразу: «Есть контакт, есть контакт, есть контакт». Наконец самолеты, подпрыгивая, неуклюже переваливаясь и подрагивая крыльями, поползли к старту, придерживаемые механиками за подкрылки. Наумов был уже здесь и курил самокрутку, такую маленькую, что казалось — он извлекает дым из сложенных в щепотку коричневых пальцев.

— Пришел? — спросил он, не ответив на сделанное по полной форме, официальное приветствие Алексея.— Ну и ладно: первым пришел — первым и полетишь. А ну, садись в заднюю кабину девятки, а я сейчас. Посмотрим, что ты за гусь.

Он стал быстрыми затяжками докуривать крохотный «чинарик», а Алексей заторопился к самолету. Ему хотелось прикрепить ноги до того, как подойдет инструктор. Славный он малый, но кто его знает: а вдруг заупрямится, откажется пробовать, поднимет шум? Мересьев карабкался по скользкому крылу, судорожно цепляясь за борт кабины. От волнения, от непривычки он все срывался и никак не мог закинуть ногу в кабину, так что узколицый, немолодой, унылого вида механик, удивленно поглядев на него, решил: «Пьян, собака».

Но вот наконец Алексею удалось закинуть в кабину свою негнущуюся ногу, с невероятными усилиями подтянул он другую и грузно плюхнулся в сиденье. Он сейчас же пристегнул кожаными хомутиками протезы к педальному управлению. Конструкция оказалась удачной, хомутики упруго и прочно прижимали протезы к рычажкам, и

он чувствовал их, как в детстве чувствовал под ногой хорошо пригнанный конек.

В кабину сунулась голова инструктора:

— А ты, друг, часом не пьян? Дыхни.

Алексей дыхнул. Не почуя знакомого запаха, инструктор погрозил механику кулаком.

— К запуску!

— Контакт!

— Есть контакт!

Мотор несколько раз пронзительно фыркнул, потом послышалось отчетливо различимое биение его поршеньков. Мересьев даже вскрикнул от радости и машинально потянул рукой рычажок газа, но тут он услышал в переговорной трубке сердитое ругательство инструктора:

— Поперед батьки в пекло не лезь!

Инструктор сам дал газ, мотор зарокотал, завыл, и самолет, подпрыгивая, взял разбег. Машинально управляя, Наумов взял ручку на себя, и маленькая эта машина, похожая на стрекозу, ласково поименованная на северных фронтах «лесником», на центральных — «капустником», на юге — «кукурузником», всюду служащая мишенью для добродушных солдатских острот и всюду уважаемая, как старый, испытанный, чудаковатый, но боевой друг, машина, на которой все летчики учились когда-то летать, — круто полезла в воздух.

В косо поставленном зеркале инструктор видел лицо нового курсанта. Сколько он наблюдал таких лиц при первом взлете после длительного перерыва! Он видел снисходительное добродушие асов, видел, как загорались глаза летчиков-энтузиастов, ощутивших родную стихию после долгого скитания по госпиталям. Он видел, как, очутившись в воздухе, бледнели, начинали нервничать, кусать губы те, кого травмировало во время тяжелой воздушной аварии. Он наблюдал задорное любопытство новичков, отрывавшихся от земли в первый раз. Но такого странного выражения, какое инструктор видел в зеркале на лице этого красивого смуглого парня, явно не новичка в лётном деле, ни разу не доводилось наблюдать Наумову за многие годы его инструкторской работы.

Сквозь смуглую кожу новичка проступил пятнистый, лихорадочный румянец. Губы у него побледнели, но не от страха, нет, а от какого-то непонятного Наумову благородного волнения. Кто он? Что с ним происходит? Почему технарь принял его за пьяного?

Когда самолет оторвался от земли и повис в воздухе, инструктор видел, как глаза курсанта, черные, упрямые, цыганские глаза, на которые тот не опустил защитных очков, вдруг заплыли слезами и как слезы поползли по щекам и были смазаны ударившей в лицо на повороте воздушной струей.

«Чудак какой-то! С ним нужно осторожно. Мало ли что!» — решил про себя Наумов. Но было в этом взволнованном лице, глядевшем на него из четырехугольника зеркала, что-то такое, что захватило и инструктора. Он с удивлением почувствовал, что и у него клубок подкатывает к горлу и приборы начинают расплываться перед глазами.

— Передаю управление,— сказал он, но не передал, а только ослабил руки и ноги, готовый в любой момент выхватить управление из рук этого непонятного чудака.

Через приборы, дублировавшие каждое движение, Наумов почувствовал уверенные, опытные руки новичка, «летчика божьей милостью», как любил говаривать начальник штаба школы, старый воздушный волк, летавший еще в гражданскую войну.

После первого круга Наумов перестал опасаться за ученика.

Машина шла уверенно, «грамотно». Только странно, пожалуй, было, что, ведя ее по плоскости, курсант все время то делал маленькие повороты вправо, влево, то бросал машину на небольшую горку, то пускал вниз. Он точно проверял свои силы. Про себя Наумов решил, что завтра же новичка можно направить одного в зону, а после двух-трех полетов пересадить на «утенка» — учебно-тренировочный самолет «УТ-2», маленькую фанерную копию истребителя.

Было холодно, термометр на стойке крыла показывал минус 12. Резкий ветер задувал в кабину, пробивался сквозь собачий мех унтов, леденил ноги инструктора. Пора было возвращаться.

Но всякий раз, когда Наумов командовал в трубку: «На посадку!», он видел в зеркале немую просьбу горячих черных глаз, даже не просьбу, а требование, и не находил в себе духа повторить приказание. Вместо десяти минут они летали около получаса.

Выскочив из кабины, Наумов запрыгал около самолета, прихлопывая рукавицами, топая ногами. Ранний морозец действительно в это утро был островат. Курсант же

что-то долго возился в кабине и вышел из нее медленно, как бы неохотно, а сойдя на землю, присел у крыла со счастливым, действительно пьяным каким-то лицом, пылавшим румянцем от мороза и возбуждения.

— Ну, замерз? Меня сквозь унты ух как прохватило! А ты, на-ка, в ботиночках. Не замерзли ноги?

— У меня нет ног,— ответил курсант, продолжая улыбаться своим мыслям.

— Что? — Подвижное лицо Наумова вытянулось.

— У меня нет ног,— повторил Мересьев отчетливо.

— То есть как это «нет ног»? Как это понимать? Больные, что ли?

— Да нет — и всё... Протезы.

Мгновение Наумов стоял, точно пригвожденный к месту ударом молотка по голове. То, что ему сказал этот странный парень, было совершенно невероятным. Как это нет ног? Но ведь он только что летал, и неплохо летал...

— Покажи,— сказал инструктор с каким-то страхом.

Алексея это любопытство не возмутило и не оскорбило. Наоборот, ему захотелось окончательно удивить смешного, веселого человека, и он движением циркового фокусника разом поднял обе штанины.

Курсант стоял на протезах из кожи и алюминия, стоял и весело смотрел на инструктора, механика и дожидавшихся очереди на полеты.

Наумов сразу понял и волнение этого человека, и необыкновенное выражение его лица, и слезы в его черных глазах, и ту жадность, с какой он хотел продлить ощущение полета. Курсант его поразил. Наумов бросился к нему и бешено затряс его руки:

— Родной, да как же?.. Да ты... ты просто даже не знаешь, какой ты есть человек!..

Теперь главное было сделано. Сердце инструктора завоевано. Вечером они встретились и вместе составили план тренировки. Сошлись на том, что положение Алексея трудное, малейшая ошибка может привести к тому, что ему навсегда запретят водить самолет, и, хотя именно теперь ему больше чем когда бы то ни было хотелось скорее пересесть на истребитель, лететь туда, куда устремлялись сейчас лучшие воины страны — к знаменитому городу на Волге,— он согласился тренироваться терпеливо, последовательно и всесторонне. Он понимал, что в его положении он может бить только «в яблочко».

9

Свыше пяти месяцев занимался Мересьев в учебно-тренировочной школе. Аэродром занесло снегом, самолеты переставили на лыжи. Уходя в зону, Алексей видел теперь под собой вместо ярких осенних красок земли только два цвета: белый и черный. Уже отшумели вести о разгроме немцев у Сталинграда, о гибели шестой немецкой армии, о пленении Паулюса. Невиданное, неудержимое наступление развертывалось на юге. Танкисты генерала Ротмистрова прорвали фронт и, предприняв смелый рейд, громили глубокие тылы противника. Кропотливо «скрипеть» в воздухе на маленьких учебных самолетах, когда на фронте вершились такие дела, а в небе над фронтом развертывались такие бои, было Алексею труднее, чем день за днем вышагивать несчетное число раз вдоль госпитального коридора или выделывать мазурки и фокстроты на вспухших, остро болящих ногах.

Но еще в госпитале он дал себе слово вернуться в авиацию. Он поставил перед собой цель и упрямо стремился к ней через горе, боль, усталость и разочарования. Как-то на его новый военный адрес пришел толстый пакет. Клавдия Михайловна пересылала письма и спрашивала, как он живет, каковы успехи, добился ли он осуществления своей мечты.

«Добился или нет?» — спросил он себя и, не ответив, принялся разбирать письма. Их было несколько — от матери, от Оли, от Гвоздева, и еще одно, очень удивившее его: адрес был написан рукой «метеорологического сержанта», а внизу стояло: «От капитана К. Кукушкина». Это письмо он прочел первым.

Кукушкин сообщал, что его снова подбили, он прыгнул с горящего самолета, прыгнул удачно, сел у своих, но вывихнул при этом руку и теперь лежит в медсанбате, «подыхая со скуки», среди, как писал он, «доблестных работников клистира», но что все это чепуха и скоро он опять будет в строю. Пишет же это письмо под диктовку известная адресату Вера Гаврилова, которую и теперь еще, с легкой руки Мересьева, в полку зовут «метеорологическим сержантом». Говорилось в письме также, что она, эта Вера, очень славный товарищ и поддерживает его, Кукушкина, в несчастье. В скобках от Веры замечено было, что Костя, конечно, преувеличивает. Из письма этого узнал Алексей, что в полку его еще помнят, что в столовой среди портре-

тов героев, воспитанных полком, повесили и его портрет и что гвардейцы не теряют надежды увидеть его снова у себя. Гвардейцы! Мересьев, усмехнувшись, покачал головой. Чем-то, должно быть, сильно были заняты головы Кукушкина и его добровольного секретаря, если позабыли они даже сообщить ему такую новость, как получение полком гвардейского знамени.

Потом Алексей распечатал письмо матери. Это было обычное старушечье, суетливое послание, полное волнений и забот о нем. Не худо ли ему, не холодно ли, хорошо ли его там кормят и тепло ли одели на зиму и не нужно ли ему, например, связать варежки? Она уже пять пар связала и отдала в подарок воинам Красной Армии. В большие пальцы положила записки с пожеланием долго носить. Хорошо бы, парочка таких попала к нему! Добрые, теплые варежки из ангорской шерсти, которую она начесала у своих кроликов. Да, она забыла сообщить: теперь у нее есть кролики — самец, самка и семеро крольчат. Только в конце, за всей этой ласковой старушечьей болтовней, было самое главное: немцев прогнали от Сталинграда и набили их там видимо-невидимо, даже, говорят, какого-то их самого главного взяли в плен. Так вот, когда их погнали, приезжала в Камышин на пять дней Оля; приезжала и жила у нее, так как Олин домик разбомбили. Работает она теперь в саперном батальоне, в звании лейтенанта, и уже ранена была в плечо, поправилась и награждена орденом — каким, старушка, понятно, не догадалась сообщить. Она добавила, что, живя у нее, Оля все спала, а когда не спала, то говорила о нем, что вместе они гадали и по картам все выходило, что у трефового короля лежит на сердце дама бубен. Мать писала, что она со своей стороны лучшей невестки, чем эта самая дама бубен, себе и не желает.

Алексей улыбнулся трогательной старушечьей дипломатии и осторожно вскрыл серенький конверт от «дамы бубен». Письмо было недлинное. Оля сообщала, что после «окопов» лучшие бойцы их рабочего батальона были зачислены в регулярную саперную часть. Она теперь техник-лейтенант. Это их часть строила под огнем укрепления у Мамаева кургана, ставшего теперь таким знаменитым, а потом укрепленное кольцо у Тракторного завода, и за это награждена была их часть орденом боевого Красного Знамени. Писала Оля, что доставалось им тут изрядно, что все — от консервов до лопат — приходилось возить из-за Волги, которая простреливалась из пулеметов. Писала, что

во всем городе не осталось теперь ни одного целого дома, а земля рябая и похожа на снимки лунного ландшафта.

Писала Оля, что после госпиталя везли их на машине через весь Сталинград. Видела она целые горы набитых немцев, собранных для погребения. А сколько их валялось по дорогам! «И захотелось мне, чтобы этот твой друг танкист, я не помню его имени, тот самый, у которого всю семью убили, попал сюда и посмотрел на это своими глазами. Честное слово, все это нужно бы снять для кино и показывать таким, как он. Пусть видят, как мы отомстили за них врагу». В конце она писала — Алексей несколько раз прочел эту непонятную ему фразу,— что теперь, после Сталинградской битвы, она чувствует себя достойной его, героя героев. Писано все это было второпях, на станции, где стоял их эшелон. Не знала она, куда их повезут и какой у нее будет новый военный адрес. До следующего ее письма Алексей был лишен возможности ответить ей, что не он, а она, эта маленькая, хрупкая девочка, тихо и кропотливо трудящаяся в самом пекле войны,— настоящий герой героев. Он еще раз со всех сторон осмотрел письмо и конверт. На обратном адресе было отчетливо подписано: гвардии младший техник-лейтенант Ольга такая-то.

Много раз в минуты отдыха на аэродроме вынимал и перечитывал Алексей это письмо. Еще долго согревало оно его на пронзительном зимнем ветру лётного поля и в промозглом, обросшем по углам курчавыми хлопьями изморози классе «девятом А», где по-прежнему он обитал.

Наконец инструктор Наумов назначил ему испытания. Летать предстояло на «утенке», и инспектировать полет должен был не инструктор, а начальник штаба, тот самый краснолицый, полнокровный толстяк подполковник, что так неласково встретил его по прибытии в школу.

Зная, что за ним внимательно следят с земли и что теперь решается его судьба, Алексей в этот день превзошел самого себя. Он бросал маленький, легонький самолет в такие рискованные фигуры, что у бывалого подполковника против воли вырывались восхищенные замечания. Когда Мересьев вылез из машины и предстал перед начальством, по возбужденному, радостному, лучащемуся всеми своими морщинками лицу Наумова понял он, что дело в шляпе.

— Отличный почерк! Да... Летчик, что называется, милостью божьей,— проворчал подполковник.— Вот что,

синьор, не останешься ли у нас инструктором? Нам таких надо.

Мересьев отказался наотрез.

— Ну, и, выходит, дурак! Эка хитрость — воевать. А тут людей бы учил.

Вдруг подполковник увидел палку, на которую опирался Мересьев, и даже побагровел:

— Опять? Дать сюда! Ты что, в пикник собрался с тросточкой? Ты где находишься, на бульваре? На губу за невыполнение приказания! Двое суток!.. Амулеты развели, асы... Шаманите. Еще бубнового туза на фюзеляже не хватает. Двое суток! Слышали?

Вырвав палку из рук Мересьева, подполковник осматривался кругом, приглядываясь, обо что бы ее сломать.

— Товарищ подполковник, разрешите доложить: он без ног,— вступился за друга инструктор Наумов.

Начальник штаба еще больше побагровел. Вытаращив глаза, тяжело задышал:

— Как так? Ты еще мне тут голову морочишь! Верно?

Мересьев утвердительно кивнул головой, взволнованно следя за своей заветной палкой, которой сейчас угрожала несомненная опасность. Он действительно не расставался теперь с подарком Василия Васильевича.

Подполковник подозрительно косился на дружков:

— Ну, коли так, батенька, знаешь... А ну, покажи ноги... Да-а-а!..

Из тренировочной школы Алексей Мересьев вышел с отличным отзывом. Сердитый подполковник, этот старый «воздушный волк», сумел больше чем кто бы то ни было оценить величие подвига летчика. Он не пожалел восторженных слов и в отзыве своем рекомендовал Мересьева для службы «в любой вид авиации как искусного, опытного и волевого летчика».

10

Остаток зимы и раннюю весну провел Мересьев в школе переподготовки. Это было старое стационарное училище военных летчиков с отличным аэродромом, великолепным общежитием, богатым клубом, на сцене которого гастрольные труппы московских театров ставили иногда выездные спектакли. Эта школа тоже была переполнена, но в ней свято сохранялись довоенные порядки, и даже за мелоча-

ми формы приходилось тщательно следить, потому что за невычищенные сапоги, за отсутствие пуговицы на реглане или за то, что лётный планшет впопыхах наденешь поверх пояса, приходилось по приказу коменданта «рубать» часа по два строевую подготовку.

Большая группа летчиков, в которую был зачислен и Алексей Мересьев, переучивалась на новый тогда советский истребитель — «Ла-5». Подготовка велась серьезно: изучали мотор, материальную часть, проходили технику. Слушая лекции, Алексей поражался, как далеко ушла советская авиация за сравнительно небольшое время, какое он провел вне армии. То, что в начале войны казалось смелым новаторством, теперь безнадежно устарело. Юркие «ласточки» и легкие «миги», приспособленные для высотных боев, казавшиеся в начале войны шедеврами, снимались с вооружения. Им на смену советские заводы выпускали рожденные уже в дни войны, освоенные в баснословно короткие сроки великолепные «яки» последних моделей, входившие в моду «Ла-5», двухместные «илы» — эти летающие танки, скользящие над самой землей и сеющие прямо на головы врага и бомбы, и пули, и снаряды, уже получившие в немецкой армии паническое прозвище «шварцер тод», то есть «черная смерть». Новая техника, рожденная гением борющегося народа, неизмеримо усложнила воздушный бой и требовала от летчика не только знания своей машины, не только дерзкой непреклонности, но и уменья быстро ориентироваться над полем боя, расчленить воздушное сражение на отдельные составные части и на свой страх и риск, часто не ожидая команды, принимать и осуществлять боевые решения.

Все это было необычайно интересно. Но на фронте шли жестокие незатухающие наступательные бои, и, сидя в высоком, светлом классе за удобным черным учебным столом, слушая лекции, Алексей Мересьев тягуче и мучительно тосковал по фронту, по боевой обстановке. Он научился подавлять в себе физическую боль. Он умел заставлять себя совершать невероятное. Но и у него не хватало воли подавлять в себе эту безотчетную тоску вынужденного безделья, и он иногда неделями бродил по школе молчаливый, рассеянный и злой.

К счастью для Алексея, в той же школе проходил переподготовку и майор Стручков. Они встретились как старые друзья. Стручков попал в школу недели на две позже, но сразу же врос в ее своеобразный деловой быт, приспо-

собился к ее необычным для военного времени строгостям, стал для всех своим человеком. Он сразу понял настроение Мересьева и, когда они после вечернего умыванья расходились по спальням, подтолкнул его в бок:

— Не горюй, парень: на наш век войны хватит! Вон еще сколько до Берлина-то: шагать да шагать! Навоюемся. Досыта навоюемся.

За два или три месяца, которые они не виделись, майор заметно, как говорят в армии, «подался» — осунулся, постарел.

В середине зимы летчики курса, на котором учились Мересьев и Стручков, начали лётную практику. Уже до этого «Ла-5», маленький короткокрылый самолет, очертаниями своими похожий на крылатую рыбку, был хорошо знаком Алексею. Частенько в перерывы он уходил на аэродром и смотрел, как с короткой пробежки взлетали и как круто уходили в небо эти машины, как вертелись они в воздухе, сверкая на солнце голубоватым брюшком. Подходил к самолету, осматривал его, гладил рукой крыло, похлопывал по бокам, точно это была не машина, а холеная и красивая породистая лошадь. Но вот группа вышла на старт. Каждый стремился скорее попробовать свои силы, и началось сдержанное препирательство. Первым инструктор вызвал Стручкова. Глаза у майора засияли, он озорновато улыбнулся и что-то возбужденно насвистывал, пока пристегивал ремни парашюта и закрывал кабину.

Потом грозно зарокотал мотор, самолет сорвался с места, и вот он уже бежал по аэродрому, оставляя за собой хвост снежной пыли, радужно переливающейся на солнце, вот повис в небе, блестя крыльями в солнечных лучах. Стручков описал над аэродромом крутую дугу, заложил несколько красивых виражей, перевернулся через крыло, проделал мастерски, с настоящим шиком весь комплекс положенных упражнений, скрылся из глаз, вдруг вынырнул из-за крыши школы и, рокоча мотором, на полной скорости пронесся над аэродромом, чуть не задев фуражек ожидавших на старте курсантов. Снова исчез, затем появился и уже солидно снизился, с тем чтобы мастерски сесть на три точки. Стручков выскочил из кабины возбужденный, ликующий, бешеный, как мальчишка, которому удалась шалость.

— Не машина — скрипка! Ей-богу, скрипка! — шумел он, перебивая инструктора, выговаривавшему ему за лихачество.— На ней Чайковского исполнять... Ей-богу. Жи-

вем, Алешка! — И он сгреб Мересьева в свои сильные объятия.

Машина действительно была хороша. На этом сходились все. Но, когда очередь дошла до Мересьева и он, прикрепив к педалям управления ремнями свои протезы, поднялся в воздух, он вдруг почувствовал, что конь этот для него, безногого, слишком резв и требует особой осторожности. Оторвавшись от земли, он не ощутил того великолепного, полного контакта с машиной, который и дает радость полета. Это была отличная конструкция. Машина чувствовала не только каждое движение, но и дрожание руки, лежащей на рулях, тотчас же фиксируя его соответствующим движением в воздухе. Своей отзывчивостью она действительно походила на хорошую скрипку. Вот тут-то и почувствовал Алексей со всей остротой непоправимость своей утраты, неповоротливость своих протезов и понял, что при управлении этой машиной протез — даже самый лучший, при самой большой тренировке — не заменит живой, чувствующей, эластичной ноги.

Самолет легко и упруго пронзал воздух, послушно отвечал на каждое движение рычагов управления. Но Алексей боялся его. Он видел, что на крутых виражах ноги запаздывают, не достигается та стройная согласованность, которая воспитывается в летчике как своего рода рефлекс. Это опаздывание могло бросить чуткую машину в штопор и стать роковым. Алексей чувствовал себя, как лошадь в путах. Он не был трусом, нет, он не дрожал за свою жизнь и вылетел, даже не проверив парашюта. Но он боялся, что малейшая его оплошность навсегда вычеркнет его из истребительной авиации, наглухо закроет перед ним путь к любимой профессии. Он осторожничал вдвойне и посадил самолет совершенно расстроенный, причем и тут из-за неповоротливости ног дал такого «козла», что машина несколько раз неуклюже подпрыгнула на снегу.

Алексей вылез из кабины молчаливый, хмурый. Товарищи и даже сам инструктор, кривя душой, принялись наперебой хвалить и поздравлять его. Такая снисходительность его только обидела. Он махнул рукой и молча заковылял через снежное поле к серому зданию школы, тяжело раскачиваясь и подволакивая ноги. Оказаться несостоятельным теперь, когда он уже сел на истребитель, было самым тяжелым крушением после того мартовского утра, когда его подбитый самолет ударился о верхушки сосен.

Алексей пропустил обед, не пришел к ужину. Вопреки правилам школы, строжайше запрещавшим пребывание в спальнях днем, он лежал в ботинках на кровати, заломив под голову руки, и никто — ни дежурный по школе, ни проходившие мимо командиры, знавшие о его горе, не решались сделать ему замечание. Зашел Стручков, попытался заговорить, но не добился ответа и ушел, сочувственно качая головой.

Вскоре после Стручкова, почти вслед за ним, в спальню, где лежал Мересьев, вошел замполит школы подполковник Капустин, коротенький и нескладный человек в толстых очках, в плохо пригнанной, мешковато сидевшей па нем военной форме. Курсанты любили слушать его лекции по международным вопросам, когда этот неуклюжий по внешности человек наполнял сердца слушателей гордостью за то, что они участвуют в великой войне. Но как с начальником с ним не очень считались, полагая его человеком гражданским, в авиации случайным, ничего не смыслящим в лётном деле. Не обращая внимания на Мересьева, Капустин осмотрел комнату, понюхал воздух и вдруг рассердился:

— Кой черт здесь накурил? Ведь есть же курилки. Товарищ старший лейтенант, что это значит?

— Я не курю,— равнодушно ответил Алексей, не меняя позы.

— А почему вы лежите на койке? Не знаете правил? Почему не встали, когда вошел старший начальник?.. Встаньте.

Это не было командой. Наоборот, это было сказано очень по-штатски, мирно, но Мересьев вяло повиновался и вытянулся около койки.

— Правильно, товарищ старший лейтенант,— поощрил Капустин.— А теперь сядьте и посоветуемся.

— О чем?

— А вот как нам с вами быть. Может быть, выйдем отсюда? Мне курить хочется, а у вас тут нельзя.

Они вышли в полутемный коридор, скупо освещенный синими огнями затемненных ламп, и стали у окна. Во рту у Капустина засопела трубка. Когда она разгоралась при затяжках, его лицо, широкое и задумчивое, на миг выступало из полутьмы.

— Я сегодня собираюсь на инструктора группы наложить взыскание.

— За что?

— За то, что он выпустил в зону, не получив разрешения командования школы... Ну да, что вы на меня уставились? Собственно, мне надо бы и на себя взыскание наложить за то, что я до сих пор с вами не потолковал. Все некогда да недосуг, а собирался... Ну ладно. Так вот, Мересьев, не такое это простое дело — вам летать, да... За то и влеплю я, кажется, инструктору.

Алексей молчал. Что за человек стоял возле него, пыхая трубкой? Бюрократ, считающий, что кто-то нарушил его полномочия, не доведя вовремя до его сведения, что в жизни школы произошло необыкновенное событие? Чинуша, нашедший в правилах отбора лётного состава статью, запрещающую выпускать в воздух людей с физическими недостатками? Или просто чудак, придравшийся к первому поводу показать власть? Что ему нужно, зачем он явился, когда и без него тошно на душе так, что хоть в петлю головой...

Мересьев внутренне весь встопорщился, с трудом сдерживая себя. Но месяцы несчастий научили его остерегаться поспешных выводов, да и в самом этом нескладном Капустине было что-то неуловимо напоминавшее комиссара Воробьева, которого Алексей мысленно называл настоящим человеком. Вспыхивал и гаснул огонек в трубке, выступало из синей мглы и вновь таяло в ней широкое толстоносое лицо с умными, проницательными глазами.

— Видите, Мересьев, я не хочу говорить вам комплимент, но, как там ни верти, ведь вы единственный в мире человек, без ног управляющий истребителем. Единственный! — Он посмотрел в дырочку мундштука на тусклый свет лампочки и озабоченно покачал головой: — Я не говорю сейчас о вашем стремлении вернуться в боевую авиацию. Это, конечно, подвиг, но в нем самом нет ничего особенного. Сейчас такое время, что каждый делает для победы все, что может... Да что же такое с проклятой трубкой содеялось?

Он снова принялся ковырять мундштук и казался весь погруженным в это дело, а Алексей, встревоженный неясным предчувствием, теперь уже нетерпеливо ждал, что ему скажут.

Не прекращая возни с трубкой, Капустин продолжал, совершенно не заботясь о том, какое впечатление производят его слова:

— Тут дело не в вас, старшем лейтенанте Алексее Мересьеве. Дело в том, что вы без ног достигли мастерства,

которое до сих пор во всем мире считается доступным только очень здоровому человеку, да и то вряд ли одному из ста. Вы не просто гражданин Мересьев, вы великий экспериментатор... Ага, продулся наконец! Чем это я его засорил?.. Так вот, и мы не можем, не имеем права — понимаете, не имеем права! — подходить к вам, как к рядовому летчику. Вы затеяли важный эксперимент, и мы обязаны вам помочь всем, чем можем. А чем? Ну-ка, скажите сами: чем вам можно помочь?

Капустин опять набил свою трубочку, закурил, и опять красный отсвет ее, то загораясь, то затухая, выхватывал из полутьмы и снова отдавал ей это широкое и толстоносое лицо.

Капустин обещал договориться с начальником школы, чтобы он увеличил Мересьеву число вылетов, и предложил Алексею самому составить себе программу тренировок.

— Так ведь сколько же на это бензину уйдет? — пожалел Алексей, удивляясь тому, как просто и деловито этот маленький, нескладный человек разрешил его сомнения.

— Бензин — продукт важный, особенно теперь. На кубики меряем. Но есть вещи подороже бензина.— И Капустин принялся старательно выколачивать о каблук теплую золу из своей кривой трубочки.

Со следующего дня Мересьев стал тренироваться отдельно. Он работал не только с упорством, как тогда, когда он учился ходить, бегать, танцевать. Его охватило настоящее вдохновение. Он старался проанализировать технику полета, обдумать все ее детали, разложить ее на мельчайшие движения и разучить каждое движение особо. Теперь он изучал, именно изучал то, что в юности постиг стихийно; умом доходил до того, что раньше брал опытом, навыком. Мысленно расчленив процесс управления самолетом на составные движения, он вырабатывал в себе особую сноровку для каждого из них, перенося все рабочие ощущения ног со ступни на голень.

Это была очень трудная, кропотливая работа. Результаты ее вначале почти не ощущались. И все же Алексей чувствовал, что с каждым разом самолет как бы больше и больше срастается с ним, становится послушней.

— Ну, как дела, маэстро? — спрашивал его при встрече Капустин.

Мересьев поднимал большой палец. Он не преувеличивал. Дела подвигались хотя и не очень ходко, но уверен-

но и твердо, и, что самое главное, в результате этих тренировок Алексей перестал ощущать себя в самолете неумелым, слабым всадником, сидящим на горячем и быстром коне. Он снова верил в свое мастерство. Это как бы передавалось самолету, и тот, как живое существо, как конь, чувствующий хорошего ездока, становился все более покорным. Машина постепенно раскрывала Алексею все свои полетные качества.

11

Когда-то, в детстве, на первом ровном, прозрачном и нетвердом льду, затянувшем волжский залив, Алексей учился кататься на коньках. Собственно, коньков у него не было. Матери коньки были не по карману, и кузнец, у которого она стирала белье, сделал по ее просьбе маленькие деревянные колодочки с металлическим полозом из толстой проволоки и дырками по бокам.

С помощью веревок и палочек Алексей прикреплял эти колодки к стареньким, подшитым валенкам. В них-то и вышел он на залив — на тонкий, прогибающийся под ногами, гулко и мелодично потрескивающий лед, по которому вдоль и поперек с криком и гамом скользила детвора камышинских окраин. Мальчишки носились как черти, гонялись друг за другом, на коньках прыгали и танцевали. Со стороны это казалось простым, легким делом. Но, как только Алексей спустился на залив, лед сейчас же выскользнул из-под него, и он пребольно упал на спину.

Мальчик тотчас же вскочил на ноги, боясь показать товарищам, что ушибся. Он остерегался падать назад и, двигая ногами, подался вперед, но тотчас же упал носом. Снова вскочил, постоял на дрожащих ногах, обдумывая, что же случилось, присматриваясь к тому, как двигались другие. Теперь он знал, что нельзя слишком наклоняться вперед, так же как нельзя и откидываться назад. Стараясь держаться прямо, он сделал несколько движений в сторону и вернулся домой с катка, к огорчению матери, весь в снегу, с подкашивающимися от усталости ногами.

На следующее утро он опять был на катке. Он уже делал довольно верные движения ногами, меньше падал, мог, разбежавшись, прокатиться с разгона несколько метров, но, как ни старался, как ни тужился, с утра и до темноты пропадая на льду, дело дальше этого не шло.

Но вот однажды — Алексей навсегда запомнил этот морозный метельный день, когда по полированному льду ветер полосками тянул сухой снег,— он сделал какое-то удачное движение и вдруг, неожиданно для себя, покатился, покатился сильно, увереннее и увереннее с каждым кругом. То, что незаметно копил он в себе, падая, разбиваясь, вновь и вновь повторяя свои попытки,— все эти маленькие привычки, приобретаемые им, точно вдруг сложились в единый навык, и он заработал ногами, чувствуя, как все тело его, все его мальчишеское, озорное, упрямое существо ликует и радуется.

Так случилось с ним и теперь. Он много, упорно летал, стремясь вновь слиться с самолетом, почувствовать его через металл и кожу протезов. Порой начинало ему казаться, что это удается. Он радовался, бросал машину в какую-нибудь замысловатую фигуру, но сразу же чувствовал, что движения ее неверны, самолет словно взбрыкивает, выходит из повиновения, и, ощутив горечь погасшей надежды, Алексей вновь принимался за скучные свои тренировки.

Но вот однажды в оттепельный мартовский день, когда аэродром за одно утро вдруг потемнел, а пористый снег осел так, что самолеты оставляли на нем глубокие борозды, Алексей поднялся на своем истребителе в зону. Ветер при подъеме был встречно-боковой, самолет сносило, и его все время приходилось подправлять. Вот тут-то, возвращая самолет на курс, ощутил вдруг Мересьев, что машина ему послушна, что он чувствует ее всем своим существом. Это ощущение мелькнуло, как молния. Алексей сперва не поверил ему. Слишком много пережил он разочарований, чтобы сразу поверить своему счастью.

Он сделал крутой и глубокий вираж вправо. Машина была покорна и точна. Алексей почувствовал то же, что мальчишкой пережил когда-то на волжском заливчике, на темном, остро похрустывавшем льду. Хмурый день точно сразу посветлел. Радостно заколотилось сердце; он почувствовал, как шея чуть оцепенела от знакомого холодка волнения.

За какой-то невидимой чертой были подведены итоги его упорных тренировок. Он перешел эту черту и теперь легко, без напряжения пожинал плоды многих и многих дней тяжелого труда. Он добился главного, что так долго ему не давалось: он слился со своей машиной, ощутил ее как продолжение собственного тела. Даже бесчувственные и неповоротливые протезы не мешали теперь этому

слиянию. Ощущая в себе волны нарастающей радости, Алексей заложил несколько глубоких виражей, сделал мертвую петлю и, едва выйдя из нее, бросил машину в штопор. Земля со свистом, бешено завертелась, и аэродром, и здание школы, и башенка метеостанции с надутым полосатым мешком — все это слилось в сплошные круги. Он уверенно вывел машину из штопора, сделал упругую петлю. Только теперь знаменитый в те дни «Ла-5» раскрыл перед летчиком все свои явные и тайные качества. Что это была за машина в опытных руках! Чутко отзываясь на каждое движение, она легко вычерчивала сложнейшие фигуры, свечой взмывала вверх, компактная, ловкая, быстрая.

Мересьев вылез из самолета, шатаясь, как пьяный, с лицом, расплывшимся в бессмысленной улыбке, не видя перед собой разъяренного инструктора, не слыша его брани. Пусть ругается! «Губа»? Хорошо, он готов отсидеть положенное на гауптвахте. Разве теперь не все равно? Ясно: он летчик, хороший летчик, не зря на его тренировки тратили сверх нормы драгоценный бензин. Уж он отработает этот бензин сторицей, только бы поскорей на фронт, в бой!

В общежитии его ждала еще радость. На подушке лежало письмо от Гвоздева. Где, сколько и в чьем кармане кочевало оно в поисках адресата, трудно было даже установить, так как конверт был измят, выпачкан, пропитан маслом. Пришло же письмо в свежем конверте, надписанном рукой Анюты.

Танкист писал Алексею, что приключилась с ним препаршивая история. Он ранен в голову — и чем? Крылом немецкого самолета. Лежит сейчас в корпусном госпитале, из которого, впрочем, на днях собирается выходить. А случилось это невероятное происшествие так. После того как шестая немецкая армия была отрезана и окружена у Сталинграда, их корпус прорвал фронт отступающих немцев и, проскочив в образовавшуюся брешь, всеми своими танками устремился по степи на немецкие тылы. Гвоздев командовал в этом рейде танковым батальоном.

Это был веселый рейд! Стальная армада вламывалась в расположения немецких тылов, в укрепленные деревни, на узловые станции, сваливаясь на них неожиданно, как снег на голову. Танки проносились по улицам, расстреливая и уничтожая все вражеское, попадавшееся на пути, и, когда остатки гарнизонов разбегались, танкисты и мото-

пехота, привезенная на броне, поджигали склады боеприпасов, рвали мосты, стрелки, поворотные круги на станциях, запирая поезда отступающих немцев. Из запасов врага заправлялись трофейным горючим, набирали продовольствие и неслись дальше, прежде чем немцы успевали опомниться, подтянуть силы для отпора или хотя бы определить направление дальнейшего движения танков.

«Погуляли мы, Алешка, по степи, как буденновцы! И боялась же нас немчура! Не поверишь — порой тройкой танков и трофейным броневичком брали целые села с базовыми складами. Паника, брат Алешка, в военном деле — великая вещь. Хорошая паника врага дороже двух полнокровных дивизий у наступающих. Только ее надо умело поддерживать, как огонь в костре, делать новые и новые неожиданные удары и не давать ей затухать. Похоже, что на фронте проткнули мы немецкую броню, а под броней-то оказалась пустота. И шли мы, как мутовка сквозь тесто...

...И вот случился со мной этот самый грех. Позвал нас хозяин. Разведсамолет сбросил ему вымпел. Там-то и там-то огромный базовый аэродром. Сотни три самолетов, горючее, грузы. Командующий себя за рыжий ус пощипал и приказывает: «Гвоздев, ночью, без шума, без выстрела, чинно, будто свои, подойди к аэродрому поближе, а потом всей оравой с пальбой налети и, прежде чем они очухаются, переверни все вверх дном, чтобы ни одна сволочь не улетела». Получили задачу мой и еще один батальон, приданный мне в подчинение. А основное «хозяйство» прежним курсом поползло на Ростов.

И вот, Алешка, попали мы на этот аэродром, как лиса в курятник. Алешенька, друг, не поверишь — до самых махальщиков до немецких доползли по дороге. На нас немцы никакого внимания — свои и свои; утро, туман, ничего не разберешь, только слышно — моторы да траки лязгают. Потом как рванулись мы да как вдарим! Ну, Лешка, потеха была! Самолеты рядами стояли, а мы по ним бронебойными, по пять, по шесть машин одним снарядом прошиваем. Потом видим — не управиться: их экипажи, что посмелей, моторы заводить стали. Ну, мы задраили люки и пошли на таран, броней бить по хвостам. Самолеты транспортные, громадные, до мотора не достанешь, так мы по хвостам. Без хвоста — все равно что и без мотора: не полетишь. Тут вот и пригрело меня. Высунулся я из

люка посмотреть обстановку, а машина как раз по самолету ударила. Осколком крыла и двинуло мне по голове. Спасибо, шлем самортизировал, а то бы конец... Но все ерунда, дело идет на выписку, и скоро опять увижу я моих танкачей. Беда в другом: сбрили мне в госпитале бороду. Копил ее, копил, широкая стала борода, а они сбрили без всякой жалости. Ну, да пес с ней, с бородой! Хотя идем мы и ходко, все же, полагаю, до конца войны другая вырастет и прикроет мое безобразие. Хотя, знаешь, Алеша, Анюта почему-то невзлюбила мою бороду и все время в письмах ее травит».

Письмо было длинное. Видно было, что Гвоздев писал его, изнывая от госпитальной скуки. Между прочим в конце сообщал, что под Сталинградом, когда его танкисты, потерявшие в бою машины и ожидавшие новой техники, вели бой в пешем строю в районе знаменитого Мамаева кургана, встретил он Степана Ивановича. Старик уж на курсах побывал и в начальство вышел. Он теперь старшина и командует взводом противотанковых ружей. Однако снайперских повадок своих он не бросил. Только, по словам его, зверь у него теперь стал посерьезнее: не фриц-ротозей, вылезший из окопа погреться на солнышке, а немецкий танк — машина хитрая и крепкая. Но по-прежнему в охоте за этим зверем старик силен сибирской своей промысловой смекалкой, каменным терпением, выдержкой и точностью боя. При встрече распили они с Гвоздевым флягу дрянного трофейного винца, отыскавшегося у запасливого Степана Ивановича, помянули всех друзей, и при этом будто бы послал старик Мересьеву нижайший свой поклон и пригласил их обоих, коли останутся живы, приехать после войны к нему в колхоз промышлять белку или баловаться охотой на чирков.

Тепло и грустно стало на душе у Мересьева от этого письма. Все друзья по сорок второй палате давно уже воюют. Где-то сейчас Гриша Гвоздев и старый Степан Иванович? Что с ними? По каким краям носят их военные ветры, живы ли они? Где Оля?..

И опять вспомнил Алексей слова комиссара Воробьева, что военные письма, как лучи угасших звезд, долго-долго идут к нам и бывает — звезда давно погасла, а луч ее, веселый и яркий, еще долго пронзает пространство, неся людям ласковое сверканье уже не существующего светила.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

В жаркий летний день 1943 года по фронтовой дороге, проторенной обозами наступавших дивизий Красной Армии, прямо через заброшенное, заросшее могучим багровым бурьяном поле, покачиваясь и подпрыгивая на ухабах, дребезжа расхлябанным деревянным кузовом, по направлению к фронту бежал старенький грузовик. На его разбитых, мохнатых от пыли бортах можно было с трудом различить белые полосы и надпись: «Полевая почта». Огромный серый хвост вставал из-под его колес и тянулся за ним, медленно расплываясь в душном, безветренном воздухе.

В кузове, набитом кулями с письмами, на пачках свежих газет, подскакивая и раскачиваясь вместе со всем грузом, сидели двое военных в летних гимнастерках и фуражках с голубыми околышами. Младший из них, судя по новеньким, необмятым погонам,— старший сержант авиации, был тонок, строен, белокур. Лицо у него было такое девически нежное, что, казалось, кровь просвечивала сквозь белую кожу. На вид ему было лет девятнадцать. Хотя изо всех сил старался он выглядеть бывалым солдатом — плевал сквозь зубы, хрипловато бранился, вертел цигарки в палец толщиной и прикидывался ко всему равнодушным,— ясно было, что на фронт он едет в первый раз и очень волнуется. Все кругом: и разбитая пушка, ткнувшаяся стволом в землю возле самой дороги, и заросший бурьяном по самую башню советский танк, и обломки немецкого танка, раскиданные, должно быть, прямым попаданием авиабомбы, и снарядные воронки, уже затянутые травой, и стопки противотанковых минтарелок, извлеченных саперами и уложенных ими на обочине у новой переправы, и мелькавшие вдали в траве березовые кресты немецкого солдатского кладбища — следы отгремевших здесь сражений, следы, которых глаз фронтовика просто не замечал,— все удивляло, поражало юношу, казалось ему значительным, важным и очень интересным.

В спутнике его, старшем лейтенанте, наоборот, можно было безошибочно угадать опытного фронтовика. На пер-

вый взгляд ему можно было дать не больше двадцати — двадцати четырех лет. Но, вглядевшись в загорелое, обветренное лицо с тонкими ниточками морщин у глаз, на лбу, у рта, в его черные задумчивые усталые глаза, можно было бы прикинуть и еще с десяток. Взгляд его равнодушно скользил вокруг. Не удивляли его ни ржавые обломки битой, искореженной взрывами военной техники, видневшиеся то тут, то там, ни мертвые улицы сгоревшей деревни, по которым прогрохотал грузовик, ни даже куски советского самолета — маленькая груда серого изувеченного алюминия с валявшейся поодаль кочерыжкой мотора и куском хвоста с красной звездой и номером, вид которых заставил юношу покраснеть и затрепетать.

Устроив себе из газетных тюков удобное кресло, офицер дремал, опираясь подбородком на странную тяжелую, черного дерева палку, украшенную накладными золотыми монограммами, и изредка, точно очнувшись от этой дремы, счастливо оглядывался кругом и жадно вдыхал всей грудью жаркий, душистый воздух. Зато, когда где-то в стороне от дороги над морем рыжего нахального бурьяна заметил он вдали две маленькие, еле видные черточки, оказавшиеся при внимательном рассмотрении двумя самолетами, которые неторопливо, точно гоняясь друг за другом, плавали в воздухе, он вдруг оживился, глаза у него загорелись, ноздри тонкого с горбинкой носа заходили, и, не отрывая глаз от этих двух еле видных черточек, он застучал ладонью о крышу кабины:

— Воздух! Сворачивай!

Он встал, опытным взглядом оценивая местность, и указал шоферу рукой на глинистую лощину ручейка, серевшую шершавыми лапками мать-и-мачехи и усеянную золотыми гвоздиками куриной слепоты.

Юноша пренебрежительно улыбнулся. Самолеты безобидно кувыркались где-то далеко; казалось, им нет никакого дела до одинокого грузовичка, поднявшего огромный хвост пыли над печальными, пустыми полями. Но, прежде чем он успел запротестовать, шофер уже свернул с дороги, и машина, тарахтя кузовом, быстро понеслась к лощине.

Старший лейтенант сейчас же вылез из кузова и присел на траве, зорко смотря на дорогу.

— Ну что вы, право...— начал было юноша, насмешливо поглядывая на него.

В это мгновение тот бросился в траву и свирепо крикнул:

— Ложись!

И сейчас же раздался напряженный рев моторов, и две огромные тени, сотрясая воздух и странно тарахтя, пронеслись над самыми их головами. И это показалось юноше не очень страшным: обычные самолеты, наверно, наши. Он осмотрелся и вдруг увидел, что валявшийся у дороги опрокинутый заржавевший грузовик дымит, быстро разгораясь.

— Ишь, зажигательными жалуют,— усмехнулся шофер, разглядывая пробитую снарядом и уже горевшую стенку.— На машины вышел.

— Охотники,— спокойно сказал старший лейтенант, удобно разваливаясь на траве.— Придется ждать, они сейчас вернутся. Дороги бреют. Отведи-ка, друг, машину подальше, вон хотя под ту березу.

Он сказал это так равнодушно и так уверенно, как будто немецкие летчики только что сообщили ему свои планы. Машину сопровождала девушка — военный почтальон. Бледная, со слабой, недоуменной улыбкой на запыленных губах, она с опаской посматривала на тихое небо, по которому, переливаясь и клубясь, торопливо плыли яркие, летние облака. Именно поэтому старший сержант, хотя и был очень смущен, небрежно бросил:

— А лучше бы ехать, к чему время терять? Кому суждено быть повешенным, тот не утонет.

Старший лейтенант, спокойно покусывавший травинку, поглядел на юношу с еле уловимым теплым смешком в черных сердитых глазах:

— Вот что, друг: пословицу эту дурацкую, пока не поздно, забудь. И еще вот что, товарищ старший сержант: положено на фронте старших слушать. Приказывают «ложись» — стало быть, ложись.

Он нашел в траве сочный стебель щавеля, ногтями содрал с него волокнистую шкурку и с аппетитным хрустом принялся его есть. Снова послышался рокот моторов, и низко над дорогой, переваливаясь с крыла на крыло, прошли давешние самолеты — и прошли так близко, что были отчетливо видны и желто-коричневая окраска их крыльев, и черно-белые кресты, и даже пиковый туз, изображенный на фюзеляже ближайшего из них. Старший лейтенант лениво сорвал себе еще несколько «петухов», посмотрел на часы и скомандовал шоферу:

— Поехали! Теперь можно. И давай, друг, скорее, чтобы от этого места подальше уйти.

Шофер загудел сиреной, из лощинки прибежала девушка-почтальон. Она принесла несколько розовых земляничин, висевших на стебельках, и протянула их старшему лейтенанту.

— Уже поспевает... Не заметили, как и лето пришло,— сказал он, понюхал ягоды и сунул, как цветы, в петлицу кармашка гимнастерки.

— Почему вы знаете, что теперь они не придут и можно ехать? — спросил юноша старшего лейтенанта, который опять замолчал, покачиваясь в такт прыгавшему по ухабам грузовику.

— Дело это нехитрое. Это «мессера», «Ме-109». У них запас горючего на сорок пять минут, они его теперь вылетали и пошли на заправку.

Он пояснил это равнодушно, словно не понимая, как это можно не знать таких простых вещей. Юноша же стал внимательно следить за воздухом. Ему захотелось первым заметить летящие «мессеры». Но воздух был чист и так густо насыщен запахом буйного цветения трав, пыли и разогретой земли, так энергично и весело трещали в траве кузнечики, так голосисто звенел жаворонок, вися где-то над этой скорбной, поросшей бурьяном землей, что он забыл и про немецкие самолеты, и про опасность и стал напевать приятным, чистым голоском очень любимую в те дни на фронте песенку о воине, тоскующем в своей землянке о далекой милой.

— А «Рябину» знаешь? — вдруг перебил его спутник.

Юноша кивнул головой и послушно завел старую песню. Усталое, запыленное лицо старшего лейтенанта подернулось грустью.

— Не так поешь, старик. Это тебе не частушка, это настоящая песня. Ее надо с сердцем петь.— И он подхватил тихонько, совсем маленьким, не громким, но верным голоском.

Машина на минуту затормозила, из кабины выскочила девушка-почтальон. Она ловко на ходу уцепилась за задний борт, подпрыгнула на руках и перевалилась в кузов, где ее подхватили сильные дружеские руки.

— Я к вам: слышу, вы поете...

Под дребезжанье грузовика, под усердное пиликанье кузнечиков они запели втроем.

Юноша разошелся. Из вещевого мешка достал он боль-

шую губную гармошку и, то дуя в нее, то подпевая и дирижируя ею, повел песню. На унылой, уже заброшенной фронтовой дороге, точно ударом кнута высеченной среди могучих пыльных, заполонивших всё бурьянов, сильно и грустно звучала песня, такая же старая и такая же юная, как эти вот изнывающие в летнем зное поля, как старательное пиликанье кузнечиков в теплой душистой траве, как звон жаворонков в ясном летнем небе и как самое это небо, высокое и бездонное.

Они так увлеклись пением, что чуть было не полетели со своих тюков, когда машина резко затормозила. Она остановилась среди дороги. Рядом, опрокинувшись боком в канаву и задрав пыльные колеса, валялась разбитая трехтонка. Юноша побледнел. А его спутник быстро перелез через борт и поспешил к опрокинутой машине. У него была странная, танцующая, с косолапинкой походка. Через минуту водитель вытащил из смятой кабины окровавленное тело капитана интендантской службы. Лицо его, все израненное и исцарапанное, должно быть, ударом о стекло, было цвета дорожной пыли.

Старший лейтенант приподнял веко его закрытого глаза.

— Этот готов,— сказал он, снимая фуражку.— Еще там есть?

— Есть. Водитель,— ответил шофер.

— Ну, чего стоите? Помогите! — цыкнул старший лейтенант на растерянно топтавшегося юношу.— Крови не видали? Привыкайте, посмотреть придется... Вот они, охотнички-то, их работа.

Водитель оказался живым. Он тихонько постанывал, не открывая глаз. Ран у него не было видно, но очевидно, когда подбитую снарядом машину с полного хода занесло в канаву, он грудью толкнулся о руль, а обломки кабины притиснули его к баранке. Старший лейтенант приказал поднять его в кузов. Он подстелил под раненого свою новую, еще не надеванную щегольскую шинель, которую вез бережно завернутой в кусок коленкора. Сам сел на дно кузова и голову раненого положил себе на колени.

— Гони что есть мочи! — скомандовал он шоферу.

Бережно поддерживая голову раненого, он заулыбался чему-то своему, далекому.

Уже вечерело, когда грузовик влетел на улицу небольшой деревеньки, где опытный глаз сразу угадал бы командный пункт небольшой авиационной части. Несколь-

ко ниток проводов тянулось по запыленным ветвям черемух, по тощим яблонькам, торчавшим в палисадниках, обвивало серые рогатки колодезных журавлей, столбы тынов. Возле домов под соломенными навесами, где обычно стоят крестьянские телеги да лежат плуги и бороны, виднелись помятые «эмочки», «виллисы». То тут, то там за тусклыми стеклами маленьких окошек мелькали военные в фуражках с голубыми околышами, трещали пишущие машинки, а в одном домике, куда стекалась вся паутина проводов, слышалось мерное потрескивание телеграфного аппарата.

Деревушка эта, лежавшая в стороне от больших и малых дорог, сохранилась в унылой, забурьяненной пустыне будто заповедник, долженствующий показывать, как хорошо и правильно жилось в этих краях до вступления немцев. Даже небольшой, заросший желтоватой ряской пруд был полон воды. Прохладным пятном сверкал он в тени старых плакучих ив, и, прокладывая себе путь в зарослях ряски, охорашиваясь и обливаясь, плавала пара белоснежных красноносых гусей.

Раненого сдали в избу, на которой висел флаг с красным крестом. Затем грузовик пробежал деревеньку и остановился около аккуратненького здания сельской школы. Тут по обилию проводов, собиравшихся в разбитое окошко, да по солдату, стоявшему в сенях с автоматом на груди, угадывался штаб.

— К командиру полка,— сказал старший лейтенант дежурному, решавшему у раскрытого окна кроссворд в журнале «Красноармеец».

Юноша, следовавший за ним, заметил, как перед входом в штаб тот механическим движением одернул на себе гимнастерку, большими пальцами расправил ее под поясом, застегнул пуговицы воротника, и тотчас сделал то же. Теперь он старался во всем походить на своего немногословного, очень понравившегося ему спутника.

— Полковник занят,— ответил дежурный.

— Доложите, что со срочным пакетом из отдела кадров штаба ВА.

— Обождите: у него на докладе экипаж воздушной разведки. Просил не мешать. Вон посидите в садике у дома.

Дежурный снова углубился в кроссворд, а приезжие вышли в садик и уселись на старенькую скамейку над заботливо обложенной кирпичом, но теперь запущенной

и заросшей травой клумбой, где перед войной в такие вот тихие летние вечера, наверно, сиживала, отдыхая от трудов, старушка учительница. Из распахнутых окон отчетливо долетали два голоса. Один, хриплый, возбужденно докладывал:

— Вот по этой и по этой дорогам, на Большое Горохово и погост Крестовоздвиженский, усиленное движение, сплошные колонны грузовиков, и заметно, все в одну сторону — к фронту. Вот тут, у самого погоста, в лощине грузовики или танки... Полагаю, сосредоточилась большая часть...

— Почему так полагаешь? — перебил тенорок.

— Очень большой заградительный огонь. Еле убрались. Вчера здесь ничего не было, какие-то кухни дымили. Я над самыми крышами проходил, пострелял по ним для острастки. А сегодня — куда там! Такой огонь... Явно тянутся к фронту.

— А в квадрате «зет»?

— Здесь тоже движение, но потише. Вот тут, у леска, большая танковая колонна на марше. Машин сто. Эшелонами растянулась километров на пять, так днем и шла, не маскируясь. Возможно, ложное движение... Вот тут, тут и потом там засекли артиллерию, у самых передовых. И склады огнеприпасов. Замаскированы в дровах. Вчера их не было... Большие склады.

— Все?

— Точно так, товарищ полковник. Прикажете писать рапорт?

— Какой тут рапорт! Сейчас же в армию. Рапорт! Знаете, что это значит?.. Эй, дежурный! «Виллис» мой! Отправите капитана в штаб ВА.

Кабинет командира полка помещался в просторном классе. В комнате с голыми бревенчатыми стенами стоял всего-навсего один стол, на котором лежали кожаные футляры телефонов, большой авиационный планшет с картой и красный карандаш. Полковник, маленький, быстрый, туго собранный человек, бегал по комнате вдоль стен, заложив руки за спину. Занятый своими мыслями, он раза два пробежался мимо стоявших навытяжку летчиков, потом резко остановился перед ними, вопросительно вскинув сухое, твердое лицо.

— Старший лейтенант Алексей Мересьев,— отрекомендовался чернявый офицер, вытягиваясь и стукнув каблуками.— Прибыл в ваше распоряжение.

— Старший сержант Александр Петров,— отрапортовал юноша, стараясь вытянуться еще прямее и еще звучнее брякая об пол каблуками солдатских кирзовых сапог.

— Командир полка полковник Иванов,— буркнул хозяин.— Пакет?

Мересьев четким жестом вырвал из планшета пакет и протянул полковнику. Тот пробежал препроводительные бумаги и быстрым глазом осмотрел прибывших.

— Хорошо, вовремя. Только что же это они мало прислали? — Потом вдруг что-то вспомнил, на лице его мелькнуло удивление: — Позвольте, это вы Мересьев? Мне о вас звонил начальник штаба ВА. Он предупредил меня, что вы...

— Это не имеет значения, товарищ полковник,— не очень вежливо перебил его Алексей.— Разрешите приступить к несению службы?

Полковник с любопытством посмотрел на старшего лейтенанта и с одобрительной усмешкой кивнул головой:

— Правильно!.. Дежурный, отведите их к начальнику штаба, распорядитесь от моего имени, чтобы их накормили и устроили на ночлег. Скажите, чтобы оформили их приказом в эскадрилью гвардии капитана Чеслова. Исполняйте.

Петрову командир полка показался слишком суетливым. Мересьеву он понравился. Алексею были по душе такие вот быстрые люди, сразу, на ходу все схватывающие, умеющие четко мыслить и твердо решать. Доклад воздушного разведчика, который они случайно слышали, ожидая в садике, не шел у него из ума. По многим приметам, понятным военному человеку: по тому, как были забиты дороги, по которым они ехали из армии, способом «голосования» пересаживаясь из машины в машину; по тому, как по ночам часовые на дорогах строго требовали соблюдать маскировку, грозя нарушителям стрелять по шинам; по тому, что в березовых рощах, в стороне от фронтовых путей, было так шумно и тесно от скопившихся там танков, грузовиков, артиллерии; по тому, что даже над пустынной полевой дорогой атаковали их сегодня немецкие «охотники»,— понимал Мересьев, что затишью на фронте настал конец, что где-то — и именно в этих краях — немцы замыслили свой новый удар, что удар этот произойдет скоро и что командование Красной Армии знает об этом и подготовило уже достойный ответ.

2

Беспокойный старший лейтенант не дал Петрову дождаться в столовой третьего блюда. Они вскочили на попутный бензовоз и поехали на аэродром, устроенный на полянке за деревней. Тут познакомились новички с командиром эскадрильи гвардии капитаном Чесловым, хмурым, молчаливым, но, должно быть, до чрезвычайности добродушным человеком. Он без долгих разговоров подвел их к травянистым подковкам земляных капониров, в которых стояли новенькие, сверкающие лаком голубые «Ла-5» с номерами «11» и «12» на вертикальном руле. На них и предстояло летать новичкам. В душистом березовом леске, где пронзительные птичьи хоры не заглушал даже рев моторов, приезжие провели возле машин остаток вечера, болтая со своими новыми механиками и входя в курс жизни полка.

Они так увлеклись, что приехали в деревеньку с последним грузовиком уже затемно и прозевали ужин. Это их не очень огорчило. В верных сидорах у них хранились остатки сухого пайка, выданного им на дорогу. Сложнее оказалось с ночлегом. Маленький оазис среди мертвой, забурьяненной пустыни оказался густо перенаселенным экипажами и персоналом штабов двух стоявших здесь авиационных полков. После долгого хождения по переполненным избам, сердитых препирательств с жильцами, не хотевшими пускать новых постояльцев, после философских рассуждений с самим собой о том, как жаль, что избы не резиновые и не растягиваются, комендант втолкнул наконец новичков в первый попавшийся дом:

— Ночуйте здесь, а завтра разберемся.

В маленькой избе уже ютилось девять жильцов. Летчики рано укладываются спать. Керосиновая, сделанная из сплющенного снарядного стакана коптилка, какие в первые годы войны именовали «катюшами», а после Сталинграда перекрестили в «сталинградки», тускло освещала неясные силуэты спавших. Они занимали кровати, лавки, рядком лежали на полу на ворохе сена, застеленного плащ-палатками. Помимо девяти постояльцев в хате жили и хозяева — старуха со взрослой дочерью, ютившиеся по случаю крайнего переуплотнения на громадной русской печи.

На мгновение новички остановились на пороге, не зная, как перебраться через все эти спящие тела. С печки кричал на них сердитый старушечий голос:

— Некуда, некуда! Вишь, набилось. На потолок, что ли?

Петров неловко затоптался в дверях, готовый идти обратно на улицу, но Мересьев уже осторожно шагал через избу к столу, стараясь не наступать на спящих.

— Нам бы вот только где поесть, мамаша, целый день не ели. Да тарелку бы, да пару чашек, а? А ночевать мы и во дворе переночуем, не стесним. Лето.

Но из глубины запечья, из-за спины ворчливой бабки уже показались чьи-то маленькие босые ноги. Тоненькая, легкая фигурка молча соскользнула с печи, ловко пробалансировала над спящими, скрылась в сенях и тотчас же вернулась, неся тарелки и разномастные чашки, надетые на тонкие пальчики. Сначала Петрову показалось, что это девочка-подросток. Когда же она подошла к столу и желтый копотный свет лампы выхватил из сумрачной мглы ее лицо, он увидел, что это девушка, и девушка хорошенькая, в расцвете лет. Только уж очень портили ее коричневая кофта, юбка из мешковины и драный платок, накрест перехватывающий грудь и по-старушечьи завязанный за спиной.

— Марина, Марина, поди сюда, подлая! — зашипела на печи старуха.

Но девушка и глазом не повела. Она ловко постелила на столе чистую газету, расставила на ней посуду, разложила вилки, искоса бросая короткие взгляды на Петрова.

— Кушайте на здоровье. Может, вам порезать что или погреть? Я мигом. Только вот комендант не велел во дворе таган разводить.

— Маринка, иди сюда! — звала старуха.

— Не обращайте на нее внимания: это она так, не в себе немножко. Немцы ее напугали. Как ночью увидит военных, все норовит меня схоронить. Вы на нее не сердитесь: это она только ночью, а днем она хорошая.

В вещевом мешке Мересьева обнаружилась колбаса, консервы, даже две сухие, с выступившей на тощих боках солью селедки и кирпич армейского хлеба. Петров оказался менее запасливым: у него были мясо и сухари. Маленькие ручки Маринки ловко нарезали все это, аппетитно разложили на тарелках. Все чаще и чаще скользил скрытый длинными ресницами взгляд ее быстрых глаз по лицу Петрова, а Петров тоже исподтишка стал посматривать

на нее. Когда же взгляды их встречались, они оба краснели, хмурились, отворачивались друг от друга, причем оба вели разговор только через Мересьева, друг к другу не обращались. Алексею было смешно следить за ними, смешно и чуть-чуть грустно: оба они были такими юнцами — по сравнению с ними он казался себе старым, усталым, много пожившим.

— Вот что, Маринушка, а огурчиков случайно нет? — спросил он.

— Случайно есть,— тихо улыбнувшись, ответила девушка.

— А картошечки вареной не найдется хоть штучки две?

— Попросите — найдется.

Она вновь исчезла из комнаты, ловко перепрыгивая через спящих, бесшумная, легкая, как мотылек.

— Товарищ старший лейтенант, как это вы можете с ней так? Незнакомая девушка, а вы с ней на «ты», огурчиков требуете и...

Мересьев раскатисто расхохотался:

— Старик, ты где находишься? Это тебе фронт или что?.. Бабка, хватит ворчать, слезай, есть будем, ну?

Бабка, кряхтя и все еще сердито бубня что-то себе под нос, полезла с печки, тотчас же пристроилась к колбасе, до которой, как выяснилось, в мирное время была великая охотница.

Вчетвером они сели за стол и под разноголосый храп и сонное бормотанье остальных жильцов с аппетитом и вкусно поужинали. Алексей болтал без умолку, трунил над бабкой, смешил Маринку. Попав наконец в родную атмосферу бивуачной жизни, он наслаждался ею вполне, чувствуя себя очутившимся в родном доме после долгого скитанья по чужим краям.

К концу ужина друзья узнали: деревня сохранилась потому, что тут стоял когда-то немецкий штаб. Когда Красная Армия стала наступать, он удрал так быстро, что не успел уничтожить деревню. Бабка повредилась в уме после того, как гитлеровцы при ней изнасиловали ее старшую дочь, которая потом утопилась в пруду. Сама Маринка восемь месяцев пребывания немцев в этих краях жила, не видя солнца, на задворках, в пустой риге, вход в которую был завален соломой и рухлядью. Мать по ночам носила ей и подавала через волоковое оконце еду и питье. Чем больше разговаривал Алексей с девушкой, тем чаще

и чаще посматривала она на Петрова, и во взглядах ее, задорных и робких, было трудно скрываемое восхищение.

Незаметно ужин был съеден. Остатки Маринка хозяйственно завернула и сунула в мешок Мересьеву: дескать, солдату все пригодится. Потом она пошепталась с бабкой и решительно сказала:

— Вот что: раз вас сюда комендант поставил, тут и живите. Лезьте на печку, а мы с мамой в каморе переспим. Отдыхайте пока с дороги. А завтра найдем вам местечко.

Так же легко ступая босыми ногами через спящих, она принесла со двора охапку яровой соломы, щедро разбросала ее по просторной печи, подмостила в изголовье какие-то одежонки, и все это быстро, ловко, бесшумно, с кошачьим изяществом.

— Хороша, старик, девушка! — заметил Мересьев, с таким удовольствием растягиваясь на соломе, что захрустели суставы.

— А, кажется, ничего,— деланно равнодушным тоном отозвался Петров.

— И как на тебя смотрела!..

— Уж и смотрела, скажете! Она все с вами разговаривала...

Через минуту уже слышалось его ровное сонное дыхание. Мересьев не спал. Он лежал, вытянувшись на прохладной, сытно пахнувшей соломе. Он видел, как из сеней вошла Марина, прошлась по комнате, что-то ища. Время от времени она украдкой посматривала на печку. Поправила на столе лампу, опять оглянулась на печь и тихо-тихо пошла через спящих к двери. Вид этой тоненькой, красивой, одетой в рубище девушки наполнил почему-то душу Алексея грустным покоем. Вот и на квартиру устроились. На утро назначен их первый боевой полет — в паре с Петровым. Он, Мересьев,— ведущий, Петров — ведомый. Как-то получится? Славный, кажется, парень! Вот и Маринка в него с первого взгляда влюбилась. Ну, спать так спать!

Мересьев повернулся на бок, повозился в соломе, закрыл глаза и тотчас же забылся каменным сном.

Проснулся с ощущением чего-то страшного. Он не сразу понял, что случилось, но военная привычка заставила его тотчас же вскочить, схватиться за пистолет. Он не помнил, ни где он, ни что с ним. Едкий, чесночного запаха дым обволакивал все, а когда порыв ветра отодвинул дымовое облако, Алексей увидел над головой странные, ярко мер-

цающие огромные звезды. Было светло как днем, и видны были разметанные, как спички, бревна избы, сшибленная набок крыша, оскалившаяся стропилами, и что-то бесформенное, загоравшееся невдалеке. Он услышал стоны, волнисто рокочущий рев над головами и знакомый противный, до самых костей пронизывающий визг падающих бомб.

— Ложись! — крикнул он Петрову, который, очумело оглядываясь, стоял на коленях на печи, возвышавшейся среди развалин.

Они бросились на кирпичи, прильнули к ним, и в это время большой осколок сшиб печную трубу, обдав их красной пылью и запахом сухой глины.

— Ни с места, лежать! — командовал Мересьев, подавляя и в себе неудержимое стремление вскочить и бежать, бежать неведомо куда, лишь бы двигаться,— стремление, какое всегда испытывает человек при ночных бомбежках.

Бомбардировщиков не было видно. Они кружили в темноте, выше подвешенных ими осветительных ракет. Зато в белесом мерцающем свете было отлично видно, как врывались в освещенную зону и неслись вниз, стремительно вырастая на глазах, черные капли бомб и как затем красные взметы полыхали во тьме летней ночи. Казалось, раскалывается на части земля и гремит протяжно: «Р-р-рыых! Р-р-рыых!»

Летчики, распластавшись, лежали на печи, качавшейся и подпрыгивающей от каждого разрыва. Они прижимались к ней всем телом, щекой, ногами, инстинктивно стремясь вмяться, врасти в кирпич. Потом рокот моторов удалился, и сразу стало слышно, как с шипеньем догорают низко опустившиеся на своих парашютиках осветительные ракеты и как гудит пламя пожара, занявшегося на развалинах по той стороне улицы.

— Ну, вот нас и освежили,— сказал Мересьев, с видимым спокойствием отряхивая с гимнастерки и брюк солому и глиняную пыль.

— А они, те, что там спали? — с ужасом воскликнул Петров, стараясь утихомирить нервно дергающуюся челюсть и подавить навязчивую икоту.— А Маринка?

Они спустились с печи; у Мересьева нашелся фонарик. Осветили заваленный досками и бревнами пол разметанной избы. На нем никого не было. Как потом оказалось, летчики, услышав звуки тревоги, успели выбежать во двор и скрыться в щели. Петров и Мересьев облазили все развалины. Маринки и бабки нигде не было. На крики

никто не откликался. Куда они делись? Убежали, успели спастись?

По улицам уже ходили комендантские патрули, наводя порядок. Саперы гасили пожар, разбирали развалины, вынося трупы и откапывая раненых. В темноте сновали посыльные, выкликая фамилии летчиков. Полк быстро перебрасывался на новое положение. Лётный состав собирали на аэродром, чтобы с рассветом сняться на своих машинах. По предварительным сведениям, потери в личном составе были, в общем, невелики. Ранило летчика, убило двух техников и несколько часовых, оставшихся во время налета на посту. Предполагалось, что погибло много местных жителей, но сколько — из-за ночной темноты и суматохи установить было трудно.

Под утро, отправляясь на аэродром, Мересьев с Петровым невольно задержались у развалин домика, где ночевали. Из хаоса бревен, теса саперы выносили носилки, на которых лежало что-то прикрытое окровавленной простыней.

— Кого несете? — спросил Петров, весь побледнев от тягостного предчувствия.

Усатый степенный сапер, напомнивший Мересьеву Степана Ивановича, неся передок носилок, обстоятельно ответил:

— Да вот бабку какую-то да девчонку откопали в подвале. Каменьями пригрело. Наповал. Девчонка то или девка, не поймешь: махонькая такая; видать, пригожая была. Камнем в грудь хватило. Дюже пригожа, точно дитя малое.

...В эту ночь немецкая армия перешла в свое последнее большое наступление и, атаковав укрепления советских войск, начала роковое для нее сражение на Курской дуге.

3

Солнце еще не поднялось, был самый темный час короткой летней ночи, а на полевом аэродроме уже ревели прогреваемые моторы. Капитан Чеслов, разложив на росистой траве карту, показывал летчикам эскадрильи маршрут и точки нового положения:

— Смотрите в оба. Зримого взаимодействия не терять. Аэродром у самых передовых.

Новая точка была действительно у линии фронта, обозначенной на карте синим карандашом, на языке, вдававшемся в расположение немецких войск. Летели не назад, а вперед. Летчики радовались: несмотря на то, что немцы снова взяли инициативу, Красная Армия не только не готовилась к отходу, а собиралась наступать.

С первыми лучами солнца, когда по полю еще тянулся волнистый розовый туман, вторая эскадрилья поднялась вслед за своим командиром, и самолеты, не теряя друг друга из виду, взяли курс на юг.

Мересьев и Петров в первом своем общем полете так и шли тесной парочкой. За те немногие минуты, что они провели в воздухе, Петров сумел оценить уверенную и поистине мастерскую манеру полета своего ведущего, а Мересьев, нарочно сделавший на пути несколько крутых и неожиданных виражей, подметил в ведомом хороший глаз, смекалку, крепкие нервы и, что было для него главным,— еще неуверенный, но хороший лётный почерк.

Новый аэродром размещался в районе тылов стрелкового полка. Если бы немцы открыли его, они могли бы обстреливать его артиллерией мелких калибров и даже крупными минометами. Но им было не до какого-то там аэродрома, появившегося у них под носом. Еще в темноте они обрушили на укрепления советских войск огонь всей своей стянутой сюда в течение весны артиллерии. Красное пульсирующее зарево поднялось высоко в небе над укрепленным районом. Разрывы сразу закрыли все, точно мгновенно поднявшийся густой лес черных деревьев. И, когда взошло солнце, на земле не стало светлей. В гудящей, ревущей, сотрясаемой мгле трудно было что-нибудь различить, и солнце висело в небе, как тусклый, грязновато-красный блин.

Но недаром советские самолеты за месяц до этого ползали в небесной вышине над немецкими позициями. Намерения немецкого командования были давно раскрыты, позиции и центры сосредоточения нанесены на карту, изучены квадрат за квадратом. Немцы думали, по обычаю своему размахнувшись в полную меру своих сил, вонзить нож под лопатку спящему предутренним сном противнику. Но противник только притворялся спящим. Он схватил нападающего за руку, держащую нож, и рука эта захрустела, сжатая стальными, богатырскими пальцами. Еще не отшумел шквал артиллерийской подготовки, бушевавший на фронте в несколько десятков километров, как немцы,

оглохшие от грома собственных батарей, ослепленные пороховым дымом, заволакивавшим их позиции, увидели огненные шары разрывов в своих траншеях. Советская артиллерия била точно, и не по площади, как немцы, а по целям, по батареям, по скоплениям танков и пехоты, уже потянувшимся к рубежам атаки, по мостам, по подземным погребам боеприпасов, по блиндажам и командным пунктам.

Артиллерийская подготовка немцев перешла в мощную огневую дуэль, в которой с обеих сторон участвовали десятки тысяч стволов самых разнообразных калибров. Когда самолеты эскадрильи капитана Чеслова коснулись аэродрома, земля дрожала под ногами летчиков, а разрывы гремели так часто, что сливались в один сплошной клокочущий шум, как будто по железному мосту тянулся гигантский поезд, шел, шел шел, гудя и гремя, шел и не мог пройти. Бурно клубящийся дым опоясал весь горизонт. Над маленьким полковым аэродромом то гусем, то журавлиными косяками, то развернутым строем плыли и плыли бомбардировщики; разрывы их бомб глухими рокочущими раскатами выделялись в равномерном грохоте артиллерийского боя.

По эскадрильям была объявлена готовность № 2. Это означало, что летчики должны были не покидать кабин своих самолетов, с тем чтобы по первой же ракете подняться в воздух. Самолеты вывели на опушку березового леска, замаскировали ветками. Из леса тянуло прохладной, душистой грибной сыростью, и неслышные за грохотом боя комары отчаянно атаковали лица, руки, шеи пилотов.

Мересьев снял шлем и, лениво отмахиваясь от комаров, сидел, задумавшись, наслаждаясь густым ароматом утреннего леса. В соседнем капонире стоял самолет его ведомого. Петров то и дело вскакивал с сиденья и даже вставал на него, чтобы поглядеть в сторону боя или проводить взглядом бомбардировщики. Ему не терпелось скорее взмыть в воздух, чтобы первый раз в жизни встретить настоящего врага, направить острые паутинки пулевых трасс не в надутый ветром полотняный пузырь, который тащиг за собой на веревке самолет «Р-5», а в настоящий вражеский самолет, живой и верткий, в котором, как улитка в раковине, сидит, может быть, тот самый, чья бомба сегодня убила эту худенькую, красивую, точно в хорошем сне приснившуюся девушку.

Мересьев смотрел, как суетится и волнуется его ведо-

мый, и думал: годами они почти ровесники — тому девятнадцать, а Мересьеву двадцать три. Что для мужчины значит разница в три-четыре года? Но рядом со своим ведомым он чувствовал себя стариком, опытным, уравновешенным, усталым. Вот и теперь Петров вертится в кабине, потирает руки, смеется, что-то кричит вслед проползающим «илам», а Алексей удобно развалился в кожаном сиденье машины. Он спокоен. У него нет ног, летать ему неизмеримо труднее, чем любому летчику на свете, но даже и это не волнует его. Он твердо знает свое мастерство и верит в свои искалеченные ноги.

Полк так и просидел до вечера в готовности № 2. Его почему-то держали в резерве. По-видимому, не хотели преждевременно раскрывать его расположение.

Под ночлег были отведены маленькие землянки, построенные еще немцами, стоявшими здесь когда-то, обжитые ими, оклеенные сверх досок картоном и желтой оберточной бумагой. Сохранились на стенах даже открытки каких-то кинокрасавиц с огромными, хищными ртами и олеографии колючих пейзажей немецких городов.

Артиллерийский бой продолжался. Земля дрожала. Сухой песок осыпался на бумагу, и вся землянка противно шуршала, как будто кишела насекомыми.

Мересьев и Петров решили лечь на воздухе, на расстеленных плащ-палатках. Приказ был: спать не раздеваясь. Мересьев только ослабил ремни протезов и, лежа на спине, смотрел на небо, которое, казалось, дрожало в красноватом мерцанье разрывов. Петров сейчас же заснул. Во сне он храпел, что-то бурчал, жевал и чмокал губами и весь поджимался в клубочек, как ребенок. Мересьев набросил на него свою шинель. Чувствуя, что ему не заснуть, он встал, поеживаясь от сырости, сделал несколько резких гимнастических упражнений, чтобы согреться, и сел на пенек.

Артиллерийский шквал уже схлынул. Только изредка то здесь, то там батареи скороговоркой возобновляли беспорядочный огонь. Несколько шальных снарядов прошелестело над головами и разорвалось где-то в районе аэродрома. Этот так называемый беспокоящий огонь на войне обычно никого не беспокоил. Алексей даже и не оглянулся на разрывы. Он смотрел на линию фронта. Она была отлично видна во тьме. Даже сейчас, в глухой час ночи, она жила напряженной, незатухающей тяжелой борьбой, отмеченная на спящей земле багровыми заревами огромных,

расплывшихся на весь горизонт пожаров. Трепетные огни ракет маячили над ней: синевато-фосфорические — немецкие и желтоватые — наши. То там, то здесь подскакивало стремительное пламя, на мгновение приподнимая над землей покров темноты, и после этого доходил до слуха тяжелый вздох разрыва.

Вот послышался гуд ночных бомбардировщиков. Вся линия фронта сразу покрылась разноцветным бисером трассирующих пуль. Как капли крови, брызнули вверх очереди скорострельных зениток. Опять задрожала, загудела, застонала земля. Но жуков, что басили в кронах берез, это не беспокоило; в глубине леса человеческим голосом, накликая беду, ухал филин; внизу, в лощине, в кустах, оправившись от дневного страха, сначала робко, точно пробуя голос или настраивая инструмент, а потом в полную силу засвистал, защелкал, запел соловей, захлебываясь в звуках своей песни. Ему ответили другие, и скоро весь этот прифронтовой лес звенел и пел, полный несшихся со всех сторон мелодичных трелей. Недаром славились на весь мир знаменитые курские соловьи!

И вот теперь они неистовствовали в лесу. Алексей, которому завтра в бою предстояло держать экзамен не перед комиссией, а перед лицом самой смерти, не мог заснуть, слушая соловьиную перекличку. И думал он не о завтрашнем дне, не о грядущем бое, не о возможной смерти, а о далеком соловье, певшем для них когда-то на камышинской окраине, об «их» соловье, об Оле, о родном городке.

Небо на востоке уже белело. Постепенно соловьиные трели вновь заглушила канонада. Солнце медленно поднималось над полем сражения, большое, багрово-красное, едва пробивая плотный дым выстрелов и разрывов.

4

Битва на Курской дуге разгоралась. Первоначальные планы немцев — коротким ударом мощных танковых сил взломав наши укрепления южнее и севернее Курска, сжать клещи и, окружив всю курскую группировку Красной Армии, устроить там «немецкий Сталинград» — были сразу спутаны стойкостью обороны. Немецкому командованию в первые же дни стало ясно, что обороны ему не прорвать и что, если бы это даже и удалось, потери его при этом были бы так велики, что не хватило бы сил сжать

клещи. Но останавливаться было поздно. Слишком много надежд — стратегических, тактических, политических — было связано у Гитлера с этой операцией. Лавина тронулась с места. Она неслась теперь под гору, все увеличиваясь в объеме, наматывая на себя и увлекая с собой все, что попадалось на пути, и у тех, кто ее стронул, не было силы ее остановить. Продвижение немцев измерялось километрами, потери — дивизиями и корпусами, сотнями танков и орудий, тысячами машин. Наступающие армии слабели, истекая кровью. Немецкий штаб отдавал себе в этом отчет, но у него уже не было возможности удержать события, и он принужден был бросать всё новые и новые резервы в пекло разгоравшейся битвы.

Советское командование парировало немецкие удары силами линейных частей, державших здесь оборону. Наблюдая нарастание немецкой ярости, оно держало свои резервы в глубине, ожидая, пока иссякнет инерция вражеского удара. Как узнал потом Мересьев, их полк должен был прикрывать армию, сосредоточенную не для обороны, а именно для контрудара. Поэтому на первом этапе и танкисты и связанные с ними летчики-истребители были лишь созерцателями великой битвы. Когда враг всеми силами втянулся в сражение, готовность № 2 на аэродроме была отменена. Экипажам разрешили спать в землянках и даже раздеваться на ночь. Мересьев и Петров переоборудовали свое жилище. Они выбросили открытки кинокрасавиц и снимки чужих пейзажей, ободрали немецкие картон и бумагу, украсили стены хвоей, свежими березками, и их земляная нора больше уже не шуршала от падающего песка.

Раз утром, когда яркие солнечные лучи уже падали через незапахнутый полог входа на устланный хвоей пол землянки, а оба друга еще потягивались на сделанных в стенах нишах-койках, наверху по дорожке торопливо протопали чьи-то шаги и послышалось магическое на фронте слово: «Почтарь!»

Оба разом сбросили одеяла, но, пока Мересьев пристегивал протезы, Петров успел догнать почтаря и вернулся, торжественно неся два письма для Алексея. Это были письма от матери и Оли. Алексей вырвал их из рук друга, но в это время на аэродроме часто забарабанили в рельс. Экипажи вызывались к машинам.

Мересьев сунул письма за пазуху и, тотчас же забыв о них, побежал вслед за Петровым по протоптанной в лесу

дорожке, ведущей к месту стоянки самолетов. Он бежал довольно быстро, опираясь на палку и лишь слегка раскачиваясь. Когда он подбежал к самолету, мотор был расчехлен, механик, рябой и смешливый парень, нетерпеливо топтался у машины.

Мотор заревел. Мересьев посмотрел на «шестерку», на которой летал командир эскадрильи. Капитан Чеслов выводил свою машину на поляну. Вот он поднял в кабине руку. Это означало: «Внимание!» Моторы ревели. От ветра белела прибитая к земле трава, зеленые космы плакучих берез стлались в воздушных вихрях и трепетали, готовые оторваться вместе с сучьями от деревьев.

Еще по дороге кто-то из обогнавших Алексея летчиков успел крикнуть ему, что «танкачи» переходят в наступление. Значит, летчикам сейчас предстояло прикрывать проход танкистов через разбитые и перепаханные артиллерией вражеские укрепления, расчищать и охранять воздух над наступающими танкистами. Стеречь воздух? Все равно. В таком напряженном сражении и это не могло быть пустым вылетом. Где-то там, в небе, рано или поздно встретится враг. Вот она, проба сил, вот где Мересьев докажет, что он не хуже любого другого летчика, что он добился своего!

Алексей волновался. Но это не был страх смерти. Это не было даже ощущением опасности, свойственным и самым храбрым, хладнокровным людям. Его заботило другое: проверили ли оружейники пулеметы и пушки; не отказал бы мегафон в новом, не опробованном шлеме; не отстал бы Петров, не зарвался бы он, если доведется ввязаться в драку; где палка — не потерялся ли подарок Василия Васильевича; и даже: не стянул бы кто-нибудь из землянки книжку — роман, дочитанный вчера до самого интересного места и впопыхах забытый на столе. Он вспомнил, что не попрощался с Петровым, и уже из кабины помахал ему рукой. Но тот не видел. Лицо ведомого в кожаной рамке шлема пылало красными пятнами. Он нетерпеливо следил за поднятой рукой командира. Вот рука опустилась. Закрылись кабины.

Тройка машин фыркнула на старте, тронулась, побежала, за ней потянулась другая, и уже приходила в движение третья. Вот первые самолеты скользнули в небо. Вслед за ними разбегается звено Мересьева. Уже внизу покачивается из стороны в сторону плоская земля. Не те-

ряя из виду первой тройки, Алексей пристраивает к ней свое звено, а сзади, впритык к ним, идет третье.

Вот и передовая. Рябая, изъязвленная снарядами земля, напоминающая сверху пыльную дорогу, на которую упали первые щедрые потоки ливня. Изрыты, вскопаны ходы траншей, маленькие прыщики блиндажей и дзотов топорщатся бревнами и кирпичом. Желтые искры вспыхивают и гаснут по всей истерзанной долине. Это и есть огонь великого сражения. Каким игрушечным, маленьким и странным кажется все это сверху! Не верится, что там, внизу, все горит, ревет, сотрясается и смерть гуляет по изувеченной земле, в дыму и копоти, собирая обильную жатву.

Они пролетели над передовой, дали полукруг над вражеским тылом, опять перемахнули линию боя. Никто не стреляет по ним. Земля слишком занята своими тяжелыми земными делами, чтобы обращать внимание на девять маленьких самолетов, змейкой летающих над ней. А где же танкисты? Ага! Вот они. Мересьев увидел, как из яркой зелени лиственного леса один за другим стали выползать на поле танки, похожие сверху на неповоротливых серыньких жучков. Через мгновение их высыпало уже много, но новые и новые лезли из пенистой зелени, тянулись по дорогам, пробирались лощинами. Вот первые уже взбежали на горку, достигли вспаханной снарядами земли. Красные искорки стали слетать с их хоботков. Даже ребенка, даже нервную женщину не испугала бы эта гигантская танковая атака, этот стремительный набег сотен машин на остатки немецких укреплений, если бы они наблюдали ее с воздуха, как наблюдал ее Мересьев. В это время сквозь шум и звон, наполнявший наушники шлема, он услышал хриплый и вялый даже сейчас голос капитана Чеслова:

— Внимание! Я — «Леопард три», я — «Леопард три». Справа «лаптежники», «лаптежники»!

Где-то впереди увидел Алексей короткую черточку командирского самолета. Черточка покачалась. Это означало: делай, что я.

Мересьев передал эту же команду назад своему звену. Он оглянулся: ведомый висел с ним рядом, почти не отрываясь. Молодец!

— Держись, старик! — крикнул ему Мересьев.

— Держусь,— отозвалось ему из хаоса, треска и шума.

— Я — «Леопард три», я — «Леопард три». За мной! — прозвенело в ларингофоне.

Враг был близко. Чуть ниже их в любимом немцами строю — двойным гусем — шли одномоторные пикировщики «Ю-87». Они имели неубирающиеся шасси. Шасси эти в полете висели под брюхом. Колеса были защищены продолговатыми обтекателями. Было похоже, что из брюха машины торчат ноги, обутые в лапти. Поэтому лётная молва на всех фронтах и окрестила их «лаптежниками». Знаменитые пикировщики, стяжавшие себе разбойничью славу в боях над Польшей, Францией, Голландией, Данией, Бельгией и Югославией, немецкая новинка, о которой в начале войны пресса всего мира рассказывала столько страшных историй,— быстро устарели над просторами Советского Союза.

Советские летчики в многочисленных боях нащупали их слабые места, и «лаптежник» стал считаться у советских асов даже не бог весть какой богатой добычей, чем-то вроде глухаря или зайца, не требующего от охотника настоящего мастерства.

Капитан Чеслов тянул свою эскадрилью не на врага, а куда-то в обход. Мересьев решил, что осторожный капитан заходит «под солнце», чтобы потом, замаскировавшись в его ослепляющих лучах, оставаясь невидимым, подкрасться к врагу вплотную и сразу обрушиться на него. Алексей усмехнулся: не много ли чести для «лаптежников» — делать такой сложный маневр? А впрочем, осторожность не вредит. Он снова оглянулся. Петров шел сзади. Его было отлично видно на фоне белого облака.

Теперь строй вражеских пикировщиков висел от них справа. Немцы шли красиво, ровно, будто связанные между собой невидимыми нитями. Плоскости их машин ослепительно сверкали, освещенные сверху солнцем.

— ...«Леопард три». Атака! — рванулся в уши Мересьева отрывок командирской фразы.

Он видел, как справа, сверху, точно бешено скользя с ледяной горы, во фланг вражескому строю неслись Чеслов и его ведомый. Нити трасс хлестнули по ближайшему «лаптежнику», тот вдруг провалился, и Чеслов с ведомым и третий из его звена проскочили в образовавшееся пространство и исчезли за немецкой шеренгой. Шеренга немецких пикировщиков тотчас же сомкнулась за ними. «Лаптежники» продолжали идти в идеальном порядке.

Сказав свой позывной, Алексей хотел крикнуть: «Атака!», но от возбуждения из горла вырвалось только свистящее: «А-а-а!» Он уже несся вниз, ничего не видя кроме

этого стройно плывущего вражеского строя. Он наметил себе того самого немца, который заступил место сбитого Чесловым. В ушах Алексея звенело, сердце готово было выпрыгнуть через горло. Он поймал самолет в паутинный крестик прицела и несся к нему, держа оба больших пальца на гашетках. Точно серые пушистые веревки мелькнули справа от него. Ага! Стреляют. Промазали. Снова и уже ближе. Цел. А Петров? Тоже цел. Он слева. Отвернул. Молодец мальчишка! Серый борт «лаптежника» увеличивается в крестике. Пальцы чувствуют холодный алюминий гашеток. Еще чуть-чуть...

Вот когда Алексей с торжеством ощутил совершенное слияние со своей машиной! Он чувствовал мотор, точно тот бился в его груди, всем существом своим он ощущал крылья, хвостовые рули, и даже неповоротливые искусственные ноги, казалось ему, обрели чувствительность и не мешали этому его соединению с машиной в бешено-стремительном движении. Выскользнула, но снова поймана в крестик прицела стройная, зализанная туша «немца». Несясь прямо на него, Мересьев нажал гашетку. Он не слышал выстрелов, не видел даже огневых трасс, но знал, что попал, и, не останавливаясь, продолжал нестись на вражеский самолет, зная, что тот провалится и он не столкнется с ним. Оторвавшись от прицела, Алексей с удивлением увидел, что рядом провалился еще и второй. Неужели он случайно сбил и его? Нет. Это Петров. Он тянул справа. Это его работа. Молодец новичок! Удаче молодого друга Алексей порадовался даже больше, чем своей.

Второе звено проскользнуло в брешь немецкого строя. А тут была уже кутерьма. Вторая волна немцев, в которой шли, по-видимому, менее опытные пилоты, уже рассыпалась и потеряла строй. Самолеты звена Чеслова носились между этими расползавшимися «лаптежниками», расчищая небо и заставляя врага второпях опорожнять бомбовые кассеты на свои же собственные окопы. В том, чтобы заставить немцев пробомбить свои укрепления, и состояла расчетливая затея капитана Чеслова. Заход под солнце играл в ней подчиненную роль.

Но строй первой шеренги немцев снова сомкнулся, и «лаптежники» продолжали тянуться к месту прорыва танков. Атака третьего звена успеха не имела. Немцы не потеряли ни одной машины, а один истребитель исчез, подбитый вражеским стрелком. Место развертывания танковой атаки было близко. Не было времени снова набирать

высоту. Чеслов решил рискнуть атаковать снизу. Алексей мысленно одобрил его. Ему самому хотелось «ткнуть» врага в брюхо, используя чудесные боевые свойства «Ла-5» на вертикальном маневре. Первое звено уже неслось вверх, и нити трасс поднимались в воздух, как острые струи фонтанов. Два немца сразу отпали от строя. Один из них, должно быть перерезанный пополам, вдруг раскололся в воздухе. Хвост его чуть было не задел мотора мересьевской машины.

— Следи! — гикнул Мересьев, скользнув глазом по силуэту ведомого, и выжал ручку на себя.

Земля опрокинулась. Точно тяжелый удар втиснул его в сиденье, прижал к нему. Он почувствовал вкус крови во рту и на губах, в глазах замельтешила красная пелена. Машина, встав почти вертикально, неслась вверх. Лежа на спинке сиденья, Алексей на мгновенье увидел в крестике пятнистое брюхо «лаптежника», смешные лапти, накрывающие толстые колеса, и даже комья аэродромной глины, прилипшие к ним.

Он нажал обе гашетки. Куда он попал: в баки ли, в мотор ли, в кассету с бомбами,— он не понял, но немец сразу исчез в буром облаке взрыва.

Машину Мересьева бросило в сторону, и она пронеслась мимо кома огня. Переводя машину в плоскостной полет, Алексей осмотрел небо. Ведомый шел за ним справа, вися в бескрайней небесной голубизне, над слоем облаков, напоминавших белую пыльную пену. Было пустынно, и только на горизонте, на фоне далеких облаков, были видны черточки расползавшихся в разные стороны «лаптежников». Алексей глянул на часы и поразился. Ему показалось, что бой продолжался по крайней мере полчаса и бензин должен быть на исходе. Часы показывали, что все заняло три с половиной минуты.

— Жив? — спросил он, оглядываясь на ведомого, который «перелез» направо и летел рядом.

Из сутолоки звуков он услышал далекий восторженный голос:

— Жив!.. Земля... На земле...

Внизу, на избитой, истерзанной холмистой долине, в нескольких местах горели чадные бензиновые костры. Тяжелый дым их столбами поднимался в безветренном воздухе. Но Алексей смотрел не на эти догоравшие трупы вражеских самолетов. Он смотрел на серо-зеленых жучков, уже широко разбежавшихся по всему полю. Двумя ло-

щинами они подползали к вражеским позициям, передние уже перевалили через траншеи. Выбрасывая из своих хоботков красные огоньки уже за линией немецких укреплений, они ползли все дальше и дальше, хотя за спиной у них еще вспыхивали выстрелы и тянулись дымки немецкой артиллерии.

Мересьев понял, что значат сотни этих жучков в глубине разбитых вражеских позиций.

Произошло то, о чем на следующий день советский народ и весь свободолюбивый мир, ликуя, читал во всех газетах. На одном из участков Курской дуги после мощной двухчасовой артиллерийской подготовки армия прорвала немецкую оборону и всеми силами вошла в прорыв, расчищая путь советским войскам, перешедшим в наступление.

Из девяти машин эскадрильи капитана Чеслова в этот день не вернулись на аэродром две. В бою было сбито девять «лаптежников». Девять — два, безусловно, хороший счет, когда речь идет о машинах. Но потеря двух товарищей омрачила радость победы. Выскакивая из самолетов, летчики не шумели, не кричали, не жестикулировали, с жаром обсуждая перипетии схватки и снова переживая минувшие опасности, как это бывало всегда после удачного боя. Хмуро подходили они к начальнику штаба, скупо и коротко докладывали о результатах и расходились, не глядя друг на друга.

Алексей был новым человеком в полку. Погибших он не знал даже в лицо. Но он поддался общему настроению. В его жизни случилось самое важное и большое событие, к которому он стремился всей своей волей, всеми силами души,— событие, решившее всю его дальнейшую жизнь, снова вернувшее его в ряды здоровых, полноценных людей. Сколько раз на госпитальной койке и потом, учась ходить, танцевать, восстанавливая упорными тренировками утерянные навыки пилотажа, мечтал он об этом дне! И вот теперь, когда этот день настал, когда им сбито два немца и он снова равноправный член в семье истребителей, он, так же как все, подошел к начальнику штаба, назвал число своих жертв, уточнил обстоятельства и, похвалив ведомого, отошел в сторону под сень берез, думая о тех, кто сегодня не вернулся.

Только Петров бегал по аэродрому без шлема, с развевающимися русыми волосами и, хватая за руки всех, кто попадался ему навстречу, принимался рассказывать:

— ...и вот вижу: они рядом, ну рукой достанешь! Ты только послушай... и вижу: старший лейтенант целит в головного. Я взял в целик соседнего. Раз!

Он подбежал к Мересьеву, бросился у его ног на мягкий травянистый мох, растянулся, но не вытерпел этой спокойной позы и сейчас же вскочил:

— А какие вы виражи сегодня закладывали! Роскошь! Аж в глазах темнело... Вы знаете, как я его сегодня долбанул? Вы только послушайте... Иду за вами и вижу: он рядом, рукой подать, вот как вы сейчас стоите...

— Погоди, старик,— перебил его Алексей и захлопал себя по карманам.— Письма, письма... куда я их дел?

Он вспомнил про письма, которые получил сегодня и не успел прочесть. Не находя их в карманах, он облился холодным потом. Потом, нащупав под рубашкой на груди хрустящие конверты, облегченно вздохнул. Достал письмо Оли, присел под березу, не слушая своего восторженного друга, и начал осторожно отрывать от конверта полоску бумаги.

В это время шумно хлопнула ракетница. Красная искристая змея обогнула небо над аэродромом и погасла, оставив серый, медленно расплывающийся след. Летчики вскочили. На ходу Алексей сунул конверт за пазуху. Он не успел прочитать ни строчки. Распечатывая письмо, он только нащупал в нем кроме почтовой бумаги что-то твердое. Летя во главе звена по уже знакомому пути, он иногда трогал рукой конверт. Что в нем?

Для гвардейского истребительного авиаполка, в котором служил теперь Алексей, день прорыва танковой армии был началом боевой страды. Над местом прорыва эскадрильи сменяли одна другую. Едва успевала выйти из боя и приземлиться одна, как ей на смену поднималась другая, а к приземлившимся уже мчались бензовозы. Бензин щедрой струей лился в опустевшие баки. Над горячими моторами, как над полем после теплого летнего дождя, колебалось студенистое марево. Летчики не вылезали из кабин. Даже обед принесли им сюда в алюминиевых котелках. Но никто не стал есть. Не этим была в этот день занята голова. Кусок застревал в горле.

Когда эскадрилья капитана Чеслова вновь приземлилась и машины, отрулив в лесок, стали заправляться, Мересьев сидел, улыбаясь, в кабине, ощущая ломоту приятной усталости, нетерпеливо поглядывая на небо и покри-

кивая на заправщиков. Его тянуло снова и снова в бой — испытывать себя. Он часто щупал за пазухой хрустящие конверты, но в такой обстановке читать письма не хотелось.

Только вечером, когда сумерки надежно прикрыли район наступления армии, экипажи отпустили по домам. Мересьев пошел не короткой лесной дорогой, какой ходил обычно, а кружной, через заросшее бурьяном поле. Ему хотелось сосредоточиться, отдохнуть от шума и грохота, от всех пестрых впечатлений этого бесконечного дня.

Вечер был ясный, душистый и такой тихий, что гул теперь уже отдаленной канонады казался не шумом боя, а громом проходящей стороной грозы. Дорога вела через бывшее ржаное поле. Все тот же унылый красноватый бурьян, который в обычном человеческом мире робко высовывает тоненькие стебли где-нибудь по глухим углам дворов да у каменных куч, сложенных на краю поля, там, куда редко заглядывает хозяйский глаз человека, стоял сплошной стеной, огромный, наглый, сильный, хороня под собой землю, оплодотворенную пóтом многих поколений тружеников. И лишь кое-где, как слабенькая травка, совершенно заглушенная им, поднимала редкие, чахлые колоски рожь-самосейка. Разросшийся бурьян тянул в себя все соки земли, пожирал все солнечные лучи; он лишил рожь пищи, света, и колоски эти засохли еще до цветения, так и не налившись зерном.

И думалось Мересьеву: вот так и фашисты хотели пустить корни на нашем поле, налиться нашими соками, подняться на наших богатствах нагло и страшно, заслонить солнце, а великий, трудолюбивый, могучий народ вытеснить с его полей, из его огородов, лишить всего, иссосать, заглушить, как бурьян заглушил эти чахлые колоски, уже потерявшие даже внешне форму сильного, красивого злака. Почувствовав прилив мальчишеского задора, Алексей колотил своей палкой по красноватым дымчатым тяжелым головкам сорных трав, радуясь, что целыми пучками ложатся подбитые наглые стебли. Пот бежал с его лица, а он все колотил и колотил по бурьяну, заглушившему рожь, с радостью чувствуя в усталом теле ощущение борьбы и движения.

Совершенно неожиданно фыркнул за спиной «виллис» и, пискнув колесами, остановился на дороге. Не оглядываясь, Мересьев догадался, что это командир полка догнал его и застал за таким детским занятием. Алексей покрас-

нел, так, что загорелись даже уши, и, делая вид, что не заметил машины, стал палкой ковырять землю.

— Рубаем? Хорошее занятие. Я весь аэродром объездил: где наш герой, куда герой делся? А он вон, пожалуйста: с бурьяном воюет.

Полковник соскочил с «виллиса». Он сам великолепно водил машину и любил в свободную минуту возиться с ней, так же как сам любил выводить свой полк на трудные задания, а потом по вечерам вместе с технарями копаться в замасленных моторах. Ходил он обычно в синем комбинезоне, и только по властным складкам его худощавого лица да новенькой, щеголеватой лётной фуражке можно было отличить его от чумазого племени механиков.

Он схватил за плечи Мересьева, все еще растерянно ковырявшего палкой землю.

— А ну, дайте на вас взглянуть. Черт вас знает: ничего особенного! Теперь можно сознаться: когда вас прислали, не верил, вопреки всему, что о вас говорили в армии, не верил, что выдержите бой, да еще как... Вот она, матушка Россия! Поздравляю. Поздравляю и преклоняюсь... Вам в кротовый городок? Садитесь, подвезу.

«Виллис» рванулся с места и помчался по полевой дороге, на полном ходу делая на поворотах сумасшедшие виражи.

— Ну, а может быть, вам чего надо? Трудности какие-нибудь? Просите, не стесняйтесь, вы имеете право,— говорил командир, ловко ведя машину прямо через перелесок, без дороги, меж холмиками землянок «кротовника», как прозвали летчики свой подземный городок.

— Ничего не надо, товарищ полковник. Я такой же, как все. Лучше бы позабыли, что у меня нет ног.

— Ну, правильно... Которая ваша? Эта?

Полковник резко затормозил у самого входа в землянку. Мересьев едва успел сойти, как «виллис», рыча и хрустя сучьями, уже исчез в лесу, вертясь между берез и дубков.

Алексей не пошел в землянку. Он лег под березой на влажный шерстистый, пахнущий грибами мох и осторожно вынул из конверта листок Олиного письма. Какая-то фотография выскользнула из рук и упала на траву. Алексей схватил ее. Сердце заколотилось резко и часто.

С фотографии смотрело знакомое и вместе с тем до неузнаваемости новое лицо. Оля снялась в военном. Гимнастерка, ремень портупеи, орден Красной Звезды, даже гвар-

дейский значок — все это очень шло к ней. Она походила на худенького хорошенького мальчика, одетого в офицерскую форму. Только у мальчика этого было усталое лицо, и глаза его, большие, круглые, лучистые, смотрели с неюношеской проницательностью.

Алексей долго глядел в эти глаза. Душа наполнилась безотчетной сладкой грустью, какую ощущаешь, слушая вечером долетающие издали звуки любимой песни. Он нашел в кармане прежнюю Олину фотографию, где она была снята в пестром платье, на цветущем лугу, в россыпи белых звездочек-ромашек. И странно: девушка в гимнастерке, с усталыми глазами, какую он никогда не видел, была ему ближе и дороже той, какую он знал. На обороте карточки было написано: «Не забывай».

Письмо было короткое и жизнерадостное. Девушка уже командовала саперным взводом. Только взвод ее сейчас не воевал. Он был занят мирной работой. Они восстанавливали Сталинград. Оля мало писала о себе, но с увлечением рассказывала о великом городе, о его оживающих руинах, о том, как сейчас съехавшиеся сюда со всей страны женщины, девушки, подростки, живя в подвалах, в дотах, в блиндажах и бункерах, оставшихся от войны, в вагонах железнодорожных составов, в фанерных бараках, в землянках, строят и восстанавливают город. Говорят, что каждый строитель, который хорошо поработает, получит потом квартиру в восстановленном Сталинграде. Что же, если так, пусть Алексей знает, что ему будет где отдыхать после войны.

По-летнему быстро стемнело. Последние строчки Алексей дочитывал, посвечивая на письмо карманным фонариком. Дочитав, он опять осветил фотографию. Строго и честно смотрели глаза мальчика-солдата. Милая, милая, нелегко тебе... Не обошла тебя война, но и не сломала! Ждешь? Жди, жди! Любишь, да? Люби, люби, родная! И вдруг Алексею стало стыдно, что вот уже полтора года он от нее, от бойца Сталинграда, скрывает свое несчастье. Он хотел было сейчас же спуститься в землянку, чтобы честно и откровенно написать ей обо всем. Пусть решает — и чем скорее, тем лучше. Обоим станет легче, когда все определится.

После сегодняшних дел он мог говорить с ней как равный. Он не только летает, он воюет. Ведь он обещал себе, дал зарок все рассказать ей или когда его надежды потерпят крушение, или когда в бою он станет равным среди

других. Теперь он этого достиг. Два сбитых им самолета упали и сгорели в кустарнике на виду у всех. Дежурный занес это сегодня в боевой журнал. Об этом пошли донесения в дивизию, в армию и в Москву.

Все это так, зарок выполнен, можно писать. Но, если строго разобраться, разве «лаптежник» для истребителя — настоящий противник? Ведь не станет же хороший охотник в доказательство своего охотничьего уменья рассказывать, что он подстрелил, ну, скажем, зайца.

Теплая, влажная ночь загустела в лесу. Теперь, когда гром боя отодвинулся на юг и зарева уже далеких пожаров были еле видны за сеткой ветвей, отчетливо слышны стали все ночные шумы летнего душистого цветущего леса: неистовый и надсадный треск кузнечиков на опушке, гортанное курлыканье сотен лягушек в соседнем болоте, резкое кряканье дергача и вот это все заглушающее, все заполняющее, царствующее во влажной полутьме соловьиное пение.

Лунные белые пятна вперемешку с черными тенями ползали по траве у ног Алексея, все еще сидевшего под березой на мягком, теперь уже сыром мху. Он опять достал из кармана фотографию, положил ее на колени и, смотря на нее, освещаемую луной, задумался. Над головой в ясном темно-синем небе один за другим тянулись на юг темные маленькие силуэты ночных бомбардировщиков. Моторы их басовито ревели, но даже этот голос войны воспринимался сейчас в лесу, полном лунного света и соловьиного пения, как мирное гуденье майских жуков. Алексей вздохнул, убрал фотокарточку в карман гимнастерки, пружинисто вскочил, стряхивая с себя колдовское очарование этой ночи, и, хрустя валежником, соскочил в свою землянку, где уже сладко и заливисто храпел его ведомый, побогатырски раскинувшись на узком солдатском ложе.

Экипажи разбудили до зари. Штаб армии получил разведсводку, в которой сообщалось, что в район прорыва советских танков вчера перелетело крупное немецкое воздушное соединение. Данные наземного наблюдения, подтвержденные агентурными сообщениями, давали возможность заключить, что немецкое командование, оценив угрозу, созданную прорывом советских танков у самого ос-

нования Курской дуги, вызвало сюда воздушную дивизию «Рихтгофен», укомплектованную лучшими асами Германии. Эта дивизия последний раз была разбита под Сталинградом и вновь возрождена где-то в глубоких немецких тылах. Полк предупредили, что предполагаемый противник многочислен, оснащен новейшими самолетами «Фокке-Вульф-190» и очень опытен. Приказано было быть начеку, прочно прикрывать вторые эшелоны подвижных частей, начавшие ночью подтягиваться вслед за прорвавшимися танками.

«Рихтгофен»! Опытные летчики хорошо знали название дивизии, находившейся под особым покровительством Германа Геринга. Немцы совали ее всюду, где им приходилось туго. Экипажи этой дивизии, часть которых пиратствовала еще над республиканской Испанией, дрались умело, яростно и слыли самым опасным противником.

— Какие-то там «рихтгофены», говорят, к нам перелетели. Вот бы встретиться! Эх, и дали бы мы чёсу этим самым «рихтгофенам»! — ораторствовал Петров в столовке, торопливо проглатывая свой завтрак и поглядывая в открытое окно, за которым официантка Рая набирала из вороха полевых цветов букеты и расставляла их в начищенные мелом стаканы от снарядов.

Эта воинственная тирада насчет «рихтгофенов» была адресована, конечно, не столько Алексею, уже допивавшему свой кофе, сколько девушке, которая, возясь с цветами, нет-нет да и бросала косые взгляды на румяного, пригожего Петрова. Мересьев с добродушной усмешкой наблюдал за ними. Но, когда речь шла о деле, он не любил шуток и пустых разговоров.

— «Рихтгофен» — не какой-то. «Рихтгофен» — это значит гляди в оба, если не хочешь сегодня гореть в бурьяне. Уши не развешивай, связи не теряй. «Рихтгофен» — это, брат, такие звери, что ты и рот раскрыть не успел, а уж у них на зубах хрустишь...

С рассветом ушла в воздух первая эскадрилья под командованием самого полковника. Пока она действовала, подготавливалась к вылету вторая группа в двенадцать истребителей. Ее должен был вести Герой Советского Союза гвардии майор Федотов, самый опытный после командира летчик в полку. Машины были готовы, летчики сидели в кабинах. Моторы тихонько работали на малом газу, и от этого по лесной опушке гулял порывистый ветерок, похожий на тот, что обметает землю и встряхивает деревья

перед грозой, когда уже шлепаются на изжаждавшуюся землю первые крупные, тяжелые капли дождя.

Сидя в кабине, Алексей следил за тем, как круто, будто соскальзывая с неба, снижались самолеты первой группы. Невольно, сам того не желая, он считал их и начинал волноваться, когда между приземлением двух машин получался интервал. Но вот села последняя. Все! У Алексея отлегло от сердца.

Не успела последняя машина отрулить в сторону, как сорвалась с места «единичка» майора Федотова. Парами подпрыгивали в небо истребители. Вот они уже построились за лесом. Покачав крыльями, Федотов лег на курс. Летели низко, осторожно держась зоны вчерашнего прорыва. Теперь уже не с большой высоты, не в дальнем плане, который придает всему ненастоящий, игрушечный вид, а близко проносилась земля под самолетом Алексея. Что вчера казалось ему сверху какой-то игрой, развернулось перед ним сегодня огромным, необозримым полем сражения. Бешено неслись под крыльями ископанные снарядами и бомбами, изрытые окопами и траншеями поля, луга, перелески. Мелькали разбросанные по полю трупы, пушки, брошенные прислугой и стоявшие в одиночку и целыми батареями, мелькали подбитые танки и длинные груды исковерканного железа и дерева там, где артиллерия накрывала колонны. Проплыл большой, но совершенно обритый канонадой лес. Сверху он походил на поле, вытоптанное огромным табуном. Все это неслось с быстротой кинематографической ленты, и казалось, что ленте этой нет конца. Все говорило об упорстве и кровопролитности сражения, о больших потерях, о величии одержанной здесь победы.

Парные следы танковых гусениц избороздили вкривь и вкось все широкое пространство. Они вели дальше и дальше, в глубь немецких позиций. Следов этих было много. Глаз видел их всюду — до самого горизонта, точно пронеслось на юг прямо по полям, не разбирая пути, огромное стадо неведомых зверей. А вслед за ушедшими танками по дорогам, оставляя за собой издали видные сизые хвосты пыли, двигались, и, как казалось с воздуха, очень медленно двигались, бесконечные колонны моторизованной артиллерии, бензоцистерн, гигантские фургоны ремонтных мастерских, влекомые тракторами, крытые брезентом грузовики, и, когда истребители набирали высоту, все это напоминало движение муравьев по весенним муравьиным тропам.

Истребители, ныряя, как в облаках, в этих высоко поднявшихся в безветрии хвостах пыли, прошли вдоль колонн до головных «виллисов», на которых двигалось, должно быть, танковое начальство. Небо над колоннами было свободно, а где-то вдали, у туманной кромки далекого горизонта, уже виднелись неровные дымки боя. Группа повернула назад и прошла змейкой, извиваясь в глубоком небе. И в это время у самой линии горизонта заметил Алексей сначала одну, потом целый рой низко висящих над землей черточек. Немцы! Они тоже шли, прижимаясь к земле, и явно нацеливались на хвосты пыли, далеко видные над красноватыми, забурьяненными полями. Алексей инстинктивно оглянулся. Его ведомый шел сзади, соблюдая кратчайшую дистанцию.

Летчик напряг слух и откуда-то издали услышал голос:

— Я — «Чайка два», Федотов; я — «Чайка два», Федотов. Внимание! За мной!

Такова уж дисциплина в воздухе, где нервы летчика напряжены до предела, что он исполняет намерения своего командира порой даже прежде, чем тот успевает окончить слова приказа. Пока где-то вдали сквозь звон и свист звучали слова новой команды, вся группа парами, но соблюдая общий сомкнутый строй, уже повернула наперехват немцам. Все обострилось до предела — зрение, слух, мысль. Алексей не видит ничего, кроме этих быстро вырастающих перед глазами чужих самолетов, но не слышит ничего, кроме звона и треска в наушниках шлема, где должен раздаться приказ. Вместо приказа он вдруг совершенно отчетливо услышал голос, возбужденно произносивший на чужом языке:

— Ахтунг! Ахтунг!.. «Ла-фюнф». Ахтунг! — кричал, должно быть, немецкий наземный наводчик, предупреждая свои самолеты об опасности.

Знаменитая немецкая авиадивизия, по своему обыкновению, старательно обставляла поле сражения сетью наводчиков и наземных наблюдателей, которых она ночью вместе с радиопередатчиками заблаговременно сбрасывала на парашютах в районе возможных воздушных схваток.

И уже менее отчетливо другой голос, хриплый и сердитый, пробасил по-немецки:

— О, доннерветтер! Линкс «Ла-фюнф»! Линкс «Ла-фюнф»!..

В голосе этом сквозь досаду слышалась плохо скрытая тревога.

— «Рихтгофен», а «лавочкиных» боишься! — злорадно сказал сквозь зубы Мересьев, смотря на приближавшийся к ним вражеский строй и чувствуя во всем собранном теле веселую невесомость, захватывающий восторг, от которого волосы шевелились на голове.

Он разглядел врага. Это были истребители-штурмовики «Фокке-Вульф-190», сильные, верткие машины, только что появившиеся тогда на вооружении и уже прозванные советскими летчиками «фоками».

Численно их было раза в два больше. Шли они тем самым строгим строем, каким отличались части дивизии «Рихтгофен»: шли лесенкой, парами, расположенными так, что каждая последующая защищала хвост предыдущей. Пользуясь превосходством в высоте, Федотов повел свою группу в атаку. Алексей мысленно уже наметил себе противника и, не теряя из виду остальных, несся на него, стараясь держать его в крестике прицела. Но кто-то опередил Федотова. Чья-то группа на «яках» зашла с другой стороны и стремительно атаковала немцев сверху — и так удачно, что сразу же разбила их строй. В воздухе началась сутолока. Оба строя распались на отдельно сражающиеся пары и четверки. Истребители старались пересечь противника линиями пулевых трасс, зайти в хвост, атаковать сбоку.

Пары кружились, гоняясь друг за другом, и в воздухе затеялся сложный хоровод.

Только опытный глаз мог разобраться в этой сутолоке, точно так же, как только опытный слух мог различить отдельные звуки, врывавшиеся через наушники в уши пилота. Что только не звучало в эту минуту в эфире: и хриплая сочная брань идущего в атаку, и вопль ужаса подбитого, и крик торжества победителя, и стон раненого, и скрежет зубов напрягающегося на крутом вираже, и хрип тяжелого дыхания... Кто-то в упоении боя орал песню на чужом языке, кто-то, ахнув по-детски, сказал «мама», кто-то, должно быть нажимая на гашетки, зло приговаривал: «На тебе, на, на, на!»

Намеченная жертва ускользнула из мересьевского прицела. Вместо нее он увидел выше себя «як», к хвосту которого прочно прицепился прямокрылый сигарообразный «фока». От крыльев «фоки» уже тянулись к «яку» две параллельные полоски трасс. Они коснулись его хвоста. Мересьев свечой бросился вверх на выручку. На какую-то долю секунды над ним мелькнула темная тень, и в эту

тень он постарался всадить длинную очередь из всего своего оружия. Он не видел, что произошло с «фокой». Он видел только, что «як» с поврежденным хвостом дальше летел уже один. Мересьев оглянулся: не потерялся ли в кутерьме ведомый? Нет, он шел почти рядом.

— Не отставай, старик,— сказал сквозь зубы Алексей.

В ушах звенело, трещало, пело, звучали на двух языках крики торжества и ужаса, хрипенье, зубовный скрежет, брань, тяжелое дыхание. Казалось по этим звукам, что борются не истребители высоко над землей,— казалось, что враги сцепились врукопашную и, хрипя и задыхаясь, напрягая все силы, катаются по земле.

Мересьев осмотрел воздух, намечая противника, и вдруг почувствовал, как у него сразу похолодела спина и волосы шевельнулись на затылке. Чуть пониже он увидел «Ла-5» и атакующего его сверху «фоку». Он не заметил номера советского самолета, но понял, почувствовал, что это Петров. «Фокке-вульф» несся прямо на него, строча из всего своего оружия. Жить Петрову оставалось доли секунды. Сражались слишком близко, и Алексей не мог броситься на помощь другу, соблюдая правила воздушной атаки. Не было ни времени, ни места, чтобы развернуться. Жизнь товарища, стоявшая на карте, заставила Мересьева идти на риск. Он бросил свою машину по вертикали вниз и прибавил газу. Самолет, увлекаемый собственной тяжестью, помноженной на инерцию и на полную мощь мотора, весь содрогаясь от необычайного напряжения, пал камнем — нет, не камнем, а ракетой — прямо на короткокрылое тело «фоки», опутывая его нитями трасс. Чувствуя, что от этой безумной скорости, от резкого снижения сознание уходит, Мересьев несся в пропасть и едва заметил помутневшими, налитыми кровью глазами, что где-то перед самым его винтом «фока» окутался дымным облаком взрыва. А Петров? Он куда-то исчез. Где он? Сбит? Спрыгнул? Ушел?

Небо кругом было чисто, и откуда-то издали, с невидимого уже самолета, в притихшем эфире гудел голос:

— Я — «Чайка два», Федотов; я — «Чайка два», Федотов. Подстраивайтесь, подстраивайтесь ко мне. Домой. Я — «Чайка два»...

Должно быть, Федотов уводил группу.

После того как Мересьев, расправившись с «фокке-вульфом», вывел свой самолет из сумасшедшего вертикального пике, он, жадно и тяжело дыша, наслаждался наступившим покоем, ощущая радость минувшей опасности, ра-

дость победы. Он взглянул на компас, чтобы определить обратный путь, и нахмурился, заметив, что бензина мало и вряд ли хватит до аэродрома. Но более страшное, чем бензомер со стрелкой, близкой к нулю, он увидел в следующее мгновение. Из мохнатых косм пушистого облака прямо на него несся бог весть откуда взявшийся «Фокке-Вульф-190». Думать было некогда, уходить некуда.

Враги стремительно понеслись друг на друга.

6

Шум воздушного боя, завязавшегося над дорогами, по которым тянулись тылы наступающей армии, слышали не только его участники, находившиеся в кабинах дерущихся самолетов.

Через сильную рацию управления слушал их на аэродроме и командир гвардейского истребительного полка полковник Иванов. Сам опытный ас, он по звукам, несущимся в эфире, понял, что бой идет жаркий, что противник силен и упорен и не хочет уступать небо. Весть о том, что Федотов ведет тяжелый бой над дорогами, быстро пронеслась по аэродрому. Все, кто мог, высыпали из леса на поляну и тревожно смотрели на юг, откуда должны были прийти самолеты.

Врачи в халатах, дожевывая что-то на ходу, выбежали из столовой. Санитарные машины со огромными красными крестами на крышах кузовов, как слоны, вылезли из кустов и изготовились, стуча работающими моторами.

Сначала из-за гряды древесных вершин вынырнула и, не давая круга, снизилась и побежала по просторному полю первая пара — «единичка» Героя Советского Союза Федотова и «двойка» его ведомого. Вслед за ними сразу же села и вторая пара. Воздух над лесом продолжал гудеть моторами возвращавшихся машин.

— Седьмая, восьмая, девятая, десятая...— считали вслух стоявшие на аэродроме и со все большим и большим напряжением смотрели в небо.

Севшие машины уходили с поля, подруливали к своим капонирам и тут стихали. Но двух машин не было.

В толпе ожидающих наступила тишина. С тягостной медлительностью прошла минута.

— Мересьев и Петров,— тихо сказал кто-то.

Вдруг чей-то женский голос радостно завизжал на все лётное поле:

— Летит!

Послышался рокот мотора. Из-за гребня берез, почти задев за них выпущенными лапами, вылетел «двенадцатый». Самолет был изранен, кусок хвоста выдран, обрубленный конец левого крыла трепетал, волочась на тросе. Машина как-то странно коснулась земли, высоко подпрыгнула, снова коснулась, снова подпрыгнула. Так прыгала она чуть не до самого края аэродрома и вдруг застыла, приподняв хвост. Санитарные машины с врачами, стоявшими на подножке, несколько «виллисов» и вся толпа ожидавших ринулись к ней. Из кабины никто не поднимался.

Открыли колпак. Втиснутое в сиденье, плавало в луже крови тело Петрова. Голова бессильно склонилась на грудь. Лицо было завешено длинными мокрыми прядями белокурых волос. Врачи и сестры расстегнули ремни, сняли окровавленную, разрубленную осколками парашютную сумку и осторожно вынули на землю неподвижное тело. У летчика были прострелены ноги, повреждена рука. Темные пятна быстро расплывались по синему комбинезону.

Петрова тут же наскоро перевязали, положили на носилки и стали уже поднимать в машину. Тут он раскрыл глаза. Он что-то шептал, но так слабо, что нельзя было расслышать. Полковник наклонился к нему.

— Где Мересьев? — спрашивал раненый.

— Еще не сел.

Носилки опять подняли, но раненый энергично замотал головой и сделал даже движение, пытаясь соскочить с них:

— Стойте, не смейте уносить, не хочу! Я буду ждать Мересьева. Он спас мне жизнь.

Летчик так энергично протестовал, грозил сорвать повязки, что полковник махнул рукой и процедил сквозь зубы, отворачиваясь:

— Ладно, поставьте. Пусть. Горючего у Мересьева осталось не больше, чем на минуту. Не умрет.

Полковник следил, как на его секундомере, пульсируя, двигалась по кругу красная секундная стрелка. Все глядели на сизый лес, из-за зубцов которого должен был появиться последний самолет. Слух был напряжен. Но, кро-

ме далекого гула канонады да ударов дятла, туго постукивающего невдалеке, ничего не было слышно.

Как долго иногда тянется минута!

7

Враги неслись навстречу друг другу на полном газу.

«Лавочкин-5» и «Фокке-Вульф-190» были быстроходными самолетами. Враги сближались со скоростью, превышающей скорость звука.

Алексей Мересьев и неизвестный ему немецкий ас из знаменитой дивизии «Рихтгофен» шли на атаку в лоб. Лобовая атака в авиации продолжается мгновения, за которые самый проворный человек не успеет закурить папиросу. Но эти мгновения требуют от летчика такого нервного напряжения, такого испытания всех духовных сил, какого в наземном бою хватило бы на целый день сражения.

Представьте себе два скоростных истребителя, несущихся прямо друг на друга на полной боевой скорости. Самолет врага растет на глазах. Вот он мелькнул во всех деталях, видны его плоскости, сверкающий круг винта, черные точки пушек. Еще мгновение — и самолеты столкнутся и разлетятся в такие клочья, по каким нельзя будет угадать ни машину, ни человека. В это мгновение испытываются не только воля пилота, но и все его духовные силы. Тот, кто малодушен, кто не выдерживает чудовищного нервного напряжения, кто не чувствует себя в силах погибнуть для победы, тот инстинктивно рванет ручку на себя, чтобы перескочить несущийся на него смертельный ураган, и в следующее мгновение его самолет полетит вниз с распоротым брюхом или отсеченной плоскостью. Спасения ему нет. Опытные летчики отлично это знают, и лишь самые храбрые из них решаются на лобовую атаку.

Враги бешено мчались друг на друга.

Алексей понимал, что навстречу ему идет не мальчишка из так называемого призыва Геринга, наскоро обученный летать по сокращенной программе и брошенный в бой, чтобы заткнуть дыру, образовавшуюся в немецкой авиации вследствие огромных потерь на Восточном фронте. Навстречу Мересьеву шел ас из дивизии «Рихтгофен», на машине которого наверняка была изображена в виде са-

молетных силуэтов не одна воздушная победа. Этот не уклонится, не удерет из схватки.

— Держись, «Рихтгофен»! — промычал сквозь зубы Алексей и, до крови закусив губу, сжавшись в комок твердых мускулов, впился в цель, всей своей волей заставляя себя не закрывать глаза перед несущейся на него вражеской машиной.

Он так напрягся, что ему показалось, будто за светлым полукружием своего винта он видит прозрачный щиток кабины противника и сквозь него — два напряженно смотрящих на него человеческих глаза. Только глаза, горящие неистовой ненавистью. Это было видение, вызванное нервным напряжением. Но Алексей ясно видел их. «Все»,— подумал он, еще плотнее стиснув в тугой комок все свои мускулы. Все! Смотря вперед, он летел навстречу нарастающему вихрю. Нет, немец тоже не отвернет. Все!

Он приготовился к мгновенной смерти. И вдруг где-то, как ему показалось — на расстоянии вытянутой руки от его самолета, немец не выдержал, скользнул вверх, и, когда впереди, как вспышка молнии, мелькнуло освещенное солнцем голубое брюхо, Алексей, нажав сразу все гашетки, распорол его тремя огненными струями. Он тотчас же сделал мертвую петлю и, когда земля проносилась у него над головой, увидел на ее фоне медленно и бессильно порхающий самолет. Неистовое торжество вспыхнуло в нем. Он закричал: «Оля!», позабыв обо всем, и стал вычерчивать в воздухе крутые круги, провожая немца в его последний путь до самой красневшей от бурьяна земли, пока немец не ударился о нее, подняв целый столб черного дыма.

Только тогда нервное напряжение Мересьева прошло, окаменевшие мускулы распустились, он почувствовал огромную усталость, и сразу же взгляд его упал на циферблат бензомера. Стрелка вздрагивала около самого нуля.

Бензину оставалось минуты на три, хорошо если на четыре. До аэродрома же надо было лететь по крайней мере десять минут. Если бы еще не тратить времени на набор высоты. Но это провожание сбитого «фоки» до земли!.. «Мальчишка, дурак!» — ругал он себя.

Мозг работал остро и ясно, как всегда бывает в минуту опасности у смелых, хладнокровных людей. Прежде всего набрать максимальную высоту. Но не кругами, нет: набирать, одновременно приближаясь к аэродрому. Хорошо.

Поставив самолет на нужный курс и видя, как земля стала отодвигаться и постепенно окутываться по горизонту дымкой, он продолжал уже спокойнее свои расчеты. На горючее надеяться нечего. Даже если бензомер слегка подвирает, бензина все-таки не хватит. Сесть на пути? Где? Он мысленно вспомнил всю короткую трассу. Лиственные леса, болотистые перелески, холмистые поля в зоне долговременных укреплений, все перекопанные вкривь и вкось, сплошь изрытые воронками, оплетенные колючей проволокой.

Нет, сесть — это смерть.

Прыгать с парашютом? Это можно. Хоть сейчас! Открыть колпак, вираж, ручку от себя, рывок — и все. Но самолет, эта чудесная, верткая, проворная птица! Ее боевые качества трижды за этот день спасли ему жизнь. Бросить ее, разбить, превратить в груду алюминиевых лохмотьев! Ответственность? Нет, ответственности он не боялся. В подобном положении даже полагалось прыгать с парашютом. Машина в это мгновение казалась ему прекрасным, сильным, великодушным и преданным живым существом, бросить которое было бы с его стороны гнусным предательством. И потом: из первых же боевых полетов вернуться без машины, околачиваться в резерве в ожидании новой, снова бездействовать в такое горячее время, когда на фронте уже рождалась наша большая победа. И в такие дни слоняться без дела!..

— Как бы не так! — вслух сказал Алексей, точно с сердцем отвергая сделанное ему кем-то предложение.

Лететь, пока не остановится мотор! А там? Там видно будет.

И он летел, с высоты трех, потом четырех тысяч метров осматривая окрестности, стараясь увидеть где-нибудь хоть небольшую полянку. На горизонте уже синел неясно лес, за которым был аэродром. До него оставалось километров пятнадцать. Стрелка бензомера уже не дрожит, она прочно лежит на винтике ограничителя. Но мотор еще работает. На чем он работает? Еще, еще выше... Так!

Вдруг равномерное гуденье, которого ухо летчика даже не замечает, как не замечает здоровый человек биения своего сердца, перешло в иной тон. Алексей сразу уловил это. Лес отчетливо виден, до него километров семь, над ним — три-четыре. Не много. Но режим мотора уже зловеще изменился. Летчик чувствует это всем телом, как будто не мотор, а сам он стал задыхаться. И вдруг это

страшное «чих, чих, чих», которое, точно острая боль, отдается во всем его теле...

Нет, ничего. Снова работает равномерно. Работает, работает, ура! Работает! А лес, вот он уже, лес: уже видны сверху вершины берез, зеленая курчавая пена, шевелящаяся под солнцем. Лес. Теперь уже совершенно невозможно сесть где-нибудь, кроме своего аэродрома. Пути отрезаны. Вперед, вперед!

«Чих, чих, чих!..»

Опять загудел. Надолго ли? Лес внизу. Дорога вьется по песку, прямая и ровная, как пробор на голове командира полка. Теперь до аэродрома километра три. Он там, за зубчатой кромкой, которую Алексей, кажется, уже видит.

«Чих, чих, чих, чих!» И вдруг стало тихо, так тихо, что слышно, как гудят снасти на ветру. Все? Мересьев почувствовал, как весь холодеет. Прыгать? Нет, еще немного... Он перевел самолет в пологое снижение и стал скользить с воздушной горы, стремясь сделать ее по возможности более отлогой и в то же время не давая машине опрокинуться в штопор.

Как страшна в воздухе эта абсолютная тишина! Такая, что слышно, как потрескивает остывающий мотор, как кровь бьется в висках и шумит в ушах от быстрой потери высоты. И как быстро несется навстречу земля, точно тянет ее к самолету огромным магнитом!

Вот она, кромка леса. Вот мелькнул вдали за ней изумрудно-зеленый лоскуток аэродрома. Поздно? Остановившись на полуобороте, висит винт. Как страшно видеть его на лету. Лес уже близко. Конец?.. Неужели она так и не узнает, что с ним случилось, какой нечеловечески трудный путь прошел он за эти восемнадцать месяцев, что он все-таки добился своего, стал настоящим... ну да, настоящим человеком, чтобы так нелепо разбиться тотчас же, как только это совершилось?

Прыгнуть? Поздно! Лес несется, и вершины его в стремительном урагане сливаются в сплошные зеленые полосы. Он где-то уже видел что-то подобное. Где? Ах, тогда весной, во время той страшной катастрофы. Тогда вот так же неслись под крыло зеленые полосы. Последнее усилие, ручку на себя...

От потери крови у Петрова шумело в ушах. Все — и аэродром, и знакомые лица, и золотые вечерние облака — вдруг начинало качаться, медленно переворачиваться, расплываться. Он повертывал простреленную ногу, и острая боль приводила его в себя.

— Не прилетел?..

— Еще нет. Не разговаривайте,— отвечали ему.

Неужели он, Алексей Мересьев, который сегодня, как крылатый бог, непостижимым образом возник вдруг перед немцем в тот самый момент, когда Петрову казалось, что все кончено, лежит теперь где-то там, на этой страшной, скальпированной и изорванной снарядами земле комком бесформенного обгорелого мяса? И никогда уже больше не увидит старший сержант Петров черных, немножко шальных, добродушно-насмешливых глаз своего ведущего. Никогда?..

Командир полка опустил рукав гимнастерки. Часы уже больше были не нужны. Разгладив обеими руками пробор на гладко причесанной голове, каким-то деревянным голосом командир сказал:

— Теперь все.

— И никакой надежды? — спросил его кто-то.

— Все. Бензин кончился. Может быть, где-нибудь сел или выпрыгнул... Эй, несите носилки!

Командир отвернулся и стал что-то насвистывать, безбожно перевирая мотив. Петров снова почувствовал у горла клокочущий клубок, такой горячий и тугой, что можно было задохнуться. Послышался странный кашляющий звук. Люди, все еще молчаливо стоявшие среди аэродрома, обернулись и тотчас же отвернулись: раненый летчик рыдал на носилках.

— Да несите же его, какого черта! — крикнул командир чужим голосом и быстро пошел прочь, отворачиваясь от толпы и щурясь, точно на резком ветру.

Люди стали медленно разбредаться по полю. И как раз в это мгновенье совершенно беззвучно, как тень, чиркнув колесами по верхушкам берез, из-за кромки леса выпрыгнул самолет. Точно привидение, скользнул он над головами, над землей и, словно притянулся ею, одновременно коснулся травы всеми тремя колесами. Послышался глухой звук, хруст гравия и шелест травы — такой необычайный, потому что летчики никогда его не слышат

из-за клекота работающего мотора. Случилось все это так неожиданно, что никто даже не понял, что́ именно произошло, хотя происшествие было само по себе обычным: сел самолет, и именно «одиннадцатый», как раз тот самый, которого все так ждали.

— Он! — заорал кто-то таким неистовым и неестественным голосом, что все сразу вышли из оцепенения.

Самолет уже закончил пробежку, пискнул тормозами и остановился у самой кромки аэродрома, перед стеной кудрявых, белевших стволами молодых берез, освещенных оранжевыми вечерними лучами.

Из кабины опять никто не поднялся. Люди бежали к машине что есть мочи, задыхаясь, предчувствуя недоброе. Командир полка добежал первым, легко вскочил на крыло и, открыв колпак, заглянул в кабину. Алексей Мересьев сидел без шлема, бледный, как облако, и улыбался бескровными, зеленоватыми губами. С нижней, прокушенной губы его текли по подбородку две струйки крови.

— Жив? Ранен?

Слабо улыбаясь, он смотрел на полковника смертельно усталыми глазами:

— Нет, цел. Перетрусил очень... Километров шесть тянул на соплях.

Летчики шумели, поздравляли, жали руки. Алексей улыбался:

— Братцы, крылья не обломайте. Разве можно? Ишь, насели... Я сейчас вылезу.

В это время он услышал откуда-то снизу, из-за этих нависших над ним голов, знакомый, но такой слабый голос, точно он доносился откуда-то очень издалека:

— Алеша, Алеша!

Мересьев сразу ожил. Он вскочил, подтянулся на руках, выбросил из кабины свои тяжелые ноги и, чуть кого-то не столкнув, очутился на земле.

Лицо Петрова сливалось с подушкой. В запавших, потемневших глазницах застыли две крупные слезы.

— Старик! Ты жив?.. Ух, ты, черт полосатый!

Летчик тяжело упал на колени перед носилками, обнял лежавшую бессильно голову товарища, заглянул в его голубые страдающие и одновременно лучащиеся счастьем глаза:

— Жив?

— Спасибо, Алеша, ты меня спас. Ты такой, Алеша, такой...

— Да несите же раненого, черт вас возьми! Разинули рты! — рванул где-то рядом голос полковника.

Командир полка стоял возле, маленький, живой, покачиваясь на крепких ногах, обутых в тугие сверкающие сапоги, видневшиеся из-под штанин синего комбинезона.

— Старший лейтенант Мересьев, доложите о полете. Сбитые есть?

— Так точно, товарищ полковник. Два «фокке-вульфа».

— Обстоятельства?

— Один — атакой на вертикали. У Петрова на хвосте висел. Второй — лобовой атакой километрах в трех севернее от места общей схватки.

— Знаю. Наземный только что докладывал... Спасибо.

— Служу...— хотел было по форме «отрубать» Алексей.

Но командир, такой всегда придирчивый, преклонявшийся перед уставом, перебил его домашним голосом:

— Ну и отлично! Завтра примете эскадрилью взамен... Командир третьей эскадрильи не вернулся сегодня на базу...

На командный пункт они отправились пешком. Так как полеты в этот день были окончены, вся толпа двинулась за ними. Зеленый холмик командного пункта был уже близко, когда оттуда выбежал им навстречу дежурный офицер. С разгона он остановился перед командиром, простоволосый, радостный, и открыл было рот, чтобы что-то крикнуть. Полковник перебил его сухим, резким голосом:

— Почему без фуражки? Вы что, школьник на перемене?

— Товарищ полковник, разрешите обратиться! — вытягиваясь и едва переводя дыхание, выпалил взволнованный лейтенант.

— Ну?

— Наш сосед, командир полка «яков», просит вас к телефону.

— Сосед? Ну и что же?..

Полковник проворно сбежал в землянку.

— Там о тебе...— начал было говорить Алексею дежурный.

Но снизу раздался голос командира:

— Мересьева ко мне!

Когда Мересьев застыл около него, вытянув руки по швам, полковник, зажав ладонью трубку, набросился на него:

— Что же вы меня подводите? Звонит сосед, спрашивает: «Кто из твоих на «одиннадцатке» летает?» Я говорю: «Мересьев, старший лейтенант». Говорит: «Ты сколько ему сегодня сбитых записал?» Отвечаю: «Два». Говорит: «Запиши ему еще одного: он сегодня от моего хвоста «фокке-вульфа» отцепил. Я,— говорит,— сам видел, как тот в землю ткнулся». Ну? А вы что молчите? — Полковник хмуро смотрел на Алексея, и трудно было понять, шутит ли он или сердится всерьез.— Было это?.. Ну, объясняйтесь сами, нате вот. Алло, слушаешь? Старший лейтенант Мересьев у телефона. Передаю трубку.

У уха зарокотал незнакомый сиплый бас:

— Ну, спасибо, старший лейтенант! Классный удар, ценю, спас меня. Да. Я до самой земли его проводил и видел, как он ткнулся... Водку пьешь? Приезжай на мой КП, за мной литр. Ну, спасибо, жму пять. Действуй!

Мересьев положил трубку. Он так устал от всего пережитого, что еле стоял на ногах. Он думал теперь только о том, как бы скорее добраться до «кротового городка», до своей землянки, сбросить протезы и вытянуться на койке. Неловко потоптавшись у телефона, он медленно двинулся к двери.

— Куда идете? — Командир полка заступил ему дорогу; он взял руку Мересьева и крепко, до боли, сжал ее сухой маленькой ручкой.— Ну, что вам сказать? Молодец! Горжусь, что у меня такие люди... Ну, что еще? Спасибо... А этот ваш дружок Петров разве плох? А остальные... Эх, с таким народом войны не проиграешь!

Он еще раз до боли стиснул руку Мересьева.

Очутившись в своей землянке уже ночью, Мересьев не мог заснуть. Он перевертывал подушку, считал до тысячи и обратно, вспоминал своих знакомых, фамилии которых начинались на букву «А», потом — на букву «Б» и так далее, неотрывно смотрел на тусклое пламя коптилки, но все эти стократ проверенные способы самоусыпления сегодня не действовали. Как только Алексей закрывал глаза, начинали мелькать перед ним то ясные, то еле выделяющиеся из мглы знакомые образы: озабоченно смотрел на него из своих серебряных косм дед Михайла; добродушно мигал «коровьими» ресницами Андрей Дегтяренко; кого-то распекая, сердито потрясал своей седеющей гривой Василий Васильевич; ухмылялся всеми своими солдатскими морщинами старый снайпер; с белого фона подушки смотрело на Алексея своими умными, проница-

тельно-насмешливыми, все понимающими глазами восковое лицо комиссара Воробьева; мелькали, развеваясь на ветру, огненные волосы Зиночки; улыбался, подмигивал сочувственно и понимающе маленький подвижной инструктор Наумов. Сколько славных дружеских лиц смотрело, улыбалось из тьмы, будя воспоминания, наполняя теплом и без того переполненное сердце! Но вот среди этих дружеских лиц возникло и сразу их заслонило лицо Оли, худощавое лицо подростка в офицерской гимнастерке, с большими усталыми глазами. Алексей увидел его так ясно и четко, будто девушка действительно встала перед ним, какой он никогда ее не видел. Это видение было настолько реальным, что он даже приподнялся.

Какой уж тут сон! Чувствуя прилив радостной энергии, Алексей вскочил с лежака, засветил «сталинградку», вырвал из тетради лист и, поточив о подошву конец карандаша, начал писать.

«Родная моя! — писал он неразборчиво, едва успевая записывать быстро летящую мысль.— Я сегодня сбил трех немцев. Но дело не в этом. Некоторые мои товарищи делают это сейчас почти ежедневно. Я не стал бы тебе об этом хвастать... Родная моя, далекая, любимая! Сегодня я хочу, я имею право сегодня рассказать тебе все, что со мной случилось восемнадцать месяцев назад и что, каюсь, и очень каюсь, я скрывал от тебя. А вот сегодня наконец решил...»

Алексей задумался. За досками, которыми была обшита землянка, осыпая сухой песок, попискивали мыши. В незакрытый ходок вместе со свежим и влажным запахом берез и цветущих трав доносились чуть приглушенные неистовые соловьиные трели. Где-то невдалеке, за оврагом, наверно у палаток офицерской столовой, мужской и женский голоса согласно и задумчиво пели «Рябину». Смягченная расстоянием мелодия ее обретала в ночи особую, нежную прелесть, будила в душе радостную грусть — грусть ожидания, грусть надежды...

Отдаленные, глухие громы канонады, теперь уже едва-едва долетавшие до полевого аэродрома, сразу очутившегося в глубоком тылу, не заглушали ни этой мелодии, ни соловьиных трелей, ни тихого, дремотного шелеста ночного леса.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В дни, когда Орловская битва близилась к своему победному концу и передовые полки, наступавшие с севера, уже сообщали, что они видят с Красногорской возвышенности горящий город, в штаб Брянского фронта поступило сообщение, что летчики гвардейского истребительного полка, действовавшего в том районе, за девять последних дней сбили сорок семь самолетов противника. Потеряли они при этом пять машин и только трех человек, так как двое из сбитых выбросились на парашютах и пешком добрались до своего полка. Даже для тех дней бурного наступления Красной Армии такая победа была необычайной. На связном самолете я вылетел в этот полк, намереваясь написать в «Правду» о подвигах летчиков-гвардейцев.

Аэродром полка оказался расположенным на обычном крестьянском выгоне, с которого кое-как были срезаны кочки и кротовые кучи. Как глухариный выводок, самолеты прятались на опушке молодого березового леска. Это был обычный полевой аэродром тех бурных военных дней.

Мы приземлились на нем под вечер, когда полк заканчивал большой страдный день. У Орла немцы особенно «активничали» в воздухе. Истребителям пришлось совершить в этот день семь боевых вылетов. Уже на закате последние звенья возвращались из восьмого. Командир полка, маленький, туго перепоясанный ремнем, загорелый быстрый человек в новеньком синем комбинезоне, с идеальным пробором, честно признался, что ничего связного рассказать мне сегодня не в состоянии, что он с шести часов утра на аэродроме, сам трижды поднимался в воздух и теперь едва стоит от усталости. Да и остальным командирам в этот день было не до газетных интервью. Я понял, что придется повременить до завтра, да и возвращаться было все равно поздно. Солнце уже легло на вершины берез, облив их расплавленным золотом своих лучей.

Садились последние машины. Не выключая моторов, с ходу подруливали они прямо к леску... Механики на руках развертывали их. Только когда самолет уже стоял в зеленой, обложенной дерном земляной подковке капонира, из кабины медленно вылезали бледные, усталые летчики.

Последним прилетел самолет командира третьей эскадрильи. Открылся прозрачный колпак кабины. Сначала оттуда вылетела и упала на траву большая, черного дерева палка, облепленная золотыми монограммами. Затем загорелый широколицый черноволосый человек быстро поднялся на крепких руках, ловко перенес свое тело через борт, опустил на крыло и потом тяжело слез на землю. Кто-то сказал мне, что это лучший летчик полка. Чтобы не терять попусту вечера, я решил сейчас же поговорить с ним. Отлично помню, как, весело глядя мне прямо в лицо живыми черными, цыганскими глазами, в которых непогашенный мальчишеский задор странно сочетался с усталой мудростью бывалого, много пережившего человека, он сказал, улыбаясь:

— Помилосердствуйте! Честное слово, с ног валюсь. В ушах гудит. Вы кушали? Нет? Ну и отлично! Пойдемте в столовку, поужинаем вместе. У нас за сбитый самолет к ужину двести граммов водки подают. Мне сегодня причитается четыреста. Как раз на двоих хватит. Ну что же, пошли? За столом и потолкуем, если вам не терпится.

Я согласился. Уж очень мне понравился этот открытый, веселый человек. Мы двинулись по тропке, протоптанной летчиками напрямик, через лес. Новый знакомый шел быстро, порой нагибался, чтобы сорвать на ходу черничину или поймать в горсть гроздь бело-розовых ягод брусники, которую он тут же бросал в рот. Должно быть, он очень устал сегодня, так как ступал тяжело. Но на странную палку свою он не опирался. Она висела у него на локте, и лишь изредка он брал ее в руку, чтобы сшибить мухомор или ударить по розовым султанчикам иван-чая. Когда мы, переходя овраг, поднимались на крутой скользкий, глинистый склон, летчик взбирался медленно, помогая себе тем, что подтягивался руками за кусты. Но на палку так и не оперся.

Впрочем, в столовой усталость с него будто ветром сдуло. Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат, по приметам летчиков предвещавший на завтра ветер; жадно, с шумом выпил большую кружку воды, пошутил с хорошенькой кудрявой официанткой о каком-то своем находящемся в госпитале приятеле, из-за которого та будто бы пересаливала всем супы. Ел он с аппетитом, много, крепкими зубами с хрустом обгладывал кости бараньего бока. Перешучивался через стол с товарищами, выспрашивал у меня московские новости, интересовался

новинками литературы и постановками в московских театрах, где он, по его словам, ни разу, увы, не бывал. Когда мы доели третье — черничный кисель, называвшийся здесь «грозовые облака»,— он спросил:

— Вы, собственно, где ночуете? Нигде? Ну и отлично, ночуйте в моей землянке! — Он на мгновенье насупился и, помолчав, глухо пояснил: — Сосед мой сегодня... не вернулся с задания... Стало быть, лежак свободен. Чистое белье найдется, идемте.

Он был, видимо, из тех, кто любит людей, кого неудержимо тянет поболтать со свежим человеком и обязательно выспросить у него все, что тот знает.

Я согласился. Мы пришли в овраг, по обоим скатам которого в пахнущих прелым листом и грибной сыростью дебрях малинника, медуницы, иван-чая были нарыты землянки.

Когда полоска копотного пламени разгорелась в самодельной лампе-«сталинградке» и осветила землянку, помещение оказалось довольно просторным, уютно обжитым. В нишах глиняных стен, на матрацах, сделанных из набитых свежим, душистым сеном плащ-палаток, были две аккуратные постели. Молодые березки с не завядшей еще листвой стояли по углам, как объяснил летчик — «для духу». Над постелями в земле были вырыты ровные уступы; там на подстилках из газет лежали стопки книг, умывальные, бритвенные принадлежности. У изголовья одной постели смутно виднелись две фотографии в самодельных затейливых рамках из прозрачного плексигласа. Такие рамки в дни затишья во множестве вытачивали от скуки из обломков вражеских самолетов разные полковые умельцы. На столе стоял прикрытый лопушком солдатский котелок, полный лесной малины. От малины, от свежих березок, от сена, от еловых веток, которыми был застлан пол, шел такой веселый, густой, жизнерадостный запах, а в землянке царила такая славная влажная прохлада, так убаюкивающе звенели в овраге кузнечики, что, сразу почувствовав во всем теле приятную усталость, мы с хозяином решили отложить до утра и разговоры и малину, за которую было принялись.

Летчик вышел наружу, и было слышно, как он шумно чистит зубы, обливается холодной водой, крякая, фыркая на весь лес. Он вернулся веселый, свежий, с каплями воды на бровях и волосах, опустил фитиль в лампе и стал раздеваться. Что-то тяжело грохнуло об пол. Я оглянулся и

увидел такое, чему сам не поверил. Он оставил на полу свои ноги. Безногий летчик? Летчик-истребитель? Летчик, только сегодня совершивший семь боевых вылетов и сбивший два самолета! Это казалось совершенно невероятным.

Но ноги его, точнее говоря — протезы, ловко обутые в ботинки военного образца, валялись на полу. Нижние концы их торчали из-под койки и были похожи на ноги прячущегося там человека. Должно быть, взгляд у меня в эту минуту был очень озадаченный, так как хозяин, посмотрев на меня, спросил с хитрой, довольной улыбкой:

— Неужели вы раньше не заметили?

— Даже в голову не пришло.

— Вот хорошо! Вот спасибо! Удивляюсь только, как вам никто не рассказал. У нас в полку столько же асов, сколько и звонарей. Как это они нового человека, да еще из «Правды», прозевали и не похвастались такой диковинкой? Это потому, что сегодня вымотались все так...

— Но ведь это небывалое дело. Это же черт знает какой подвиг: без ног сражаться на истребителе! История авиации ничего подобного еще не знает.

Летчик весело свистнул:

— Ну, история авиации!.. Она много чего не знала, да узнала от советских летчиков в эту войну. Да и что тут хорошего? Можете поверить, что я с бо́льшим бы удовольствием летал с настоящими, а не с этими вот ногами. Но что поделаешь? Так сложились обстоятельства.— Летчик вздохнул.— Впрочем, если быть точным, подобные примеры история авиации все-таки знает.

Порывшись в планшете, он вынул оттуда вырезку из какого-то журнала, совершенно истертую, расползшуюся на сгибах и бережно подклеенную к листу целлофана. В ней говорилось о летчике, который летал без ступни.

— Но ведь у него одна нога все-таки была здоровой. Потом, он не истребитель, он же летал на допотопном «фармане».

— Зато я советский летчик. Только не подумайте, что я хвастаюсь, это не мои слова. Их сказал мне однажды один хороший, настоящий,— он особенно подчеркнул слово «настоящий»,— человек... Он теперь умер.

На широком энергичном лице летчика появилось выражение ласковой, хорошей грусти, глаза засветились тепло и ясно, лицо помолодело сразу лет на десять, стало почти юношеским, и я с удивлением убедился, что хозяину

моему, казавшемуся минуту назад человеком средних лет, едва ли было и двадцать два, двадцать три года.

— Я не перевариваю, когда начинают спрашивать, что, да когда, да как... А вот сейчас все вдруг вспомнилось... Вы тут человек посторонний, завтра попрощаемся и больше не встретимся, наверно... Хотите, я расскажу вам историю с моими ногами?

Он сел на койке, натянул до подбородка одеяло и стал рассказывать. Он словно думал вслух, совершенно забыв о собеседнике, но говорил интересно, образно. Чувствовались в нем тонкий ум, острая память и большое, хорошее сердце. Сразу поняв, что услышу что-то значительное, небывалое, чего потом больше уже никогда и не узнаешь, я схватил лежавшую на столе ученическую тетрадку с надписью «Дневник боевых полетов третьей эскадрильи» и стал записывать его рассказ.

Ночь незаметно ползла над лесом. Потрескивала, сипела на столе коптилка. Уже много неосторожных ночных бабочек, опаливших крылышки, валялось вокруг нее. Сначала ночной ветерок доносил до нас пиликанье гармошки. Потом гармошка смолкла, и только шумы ночного леса: резкие вопли выпи, далекий стон филина, надсадная лягушечья колготня на соседнем болотце да пиликанье кузнечиков — сопровождали мерный звук хрипловатого задумчивого голоса.

Удивительная повесть этого человека так захватила меня, что я старался записывать ее как можно подробнее. Исписал одну тетрадку, нашел на полочке вторую, исписал и ее и не заметил, как побледнело небо в узкой прорези земляного ходка. Алексей Маресьев довел свой рассказ до того дня, когда, сбив три немецких самолета из воздушной дивизии «Рихтгофен», он снова ощутил себя полноправным и полноценным летчиком.

— Эх, проболтали мы с вами, а мне завтра с утра летать,— перебил он себя на полуфразе.— Заговорил я вас? Извините. А теперь — спать.

— Ну, а как же Оля? Что она вам ответила? — спросил я и тут же спохватился: — Впрочем, может быть, этот вопрос вам неприятен, тогда не отвечайте, пожалуйста.

— Нет, отчего же! — усмехнулся он.— Мы с ней оба большие чудаки. Видите ли, оказалось, что она все знала. Приятель мой, Андрей Дегтяренко, сразу же написал ей — сначала о катастрофе, а потом, что мне ноги отняли. Но она, видя, что я почему-то скрываю, решила, что мне тя-

жело говорить, и все время делала вид, будто ничего не знает. И вышло — обманывали мы друг друга невесть зачем. Хотите на нее взглянуть?

Он прибавил в коптилке фитиля и поднес ее к фотографиям в затейливых рамках из плексигласа, висевшим у его изголовья. На одной, любительской, почти совсем выгоревшей и затертой, можно было с трудом разобрать девушку, беззаботно улыбавшуюся в цветах летнего луга. С другой — строго смотрело худое сосредоточенное умное лицо той же девушки в форме младшего техника-лейтенанта. Была она такая маленькая, что в военной форме напоминала хорошенького мальчика-подростка, только у подростка этого были усталые, не по-юношески проницательные глаза.

— Вам она нравится?.. И мне тоже,— добродушно усмехнулся он.

— Ну, а Стручков, где он теперь?

— Не знаю. Последнее письмо от него получил зимой из-под Великих Лук. Тогда воевал...

— А танкист этот... как его?..

— Гриша Гвоздев? Он теперь майор. Участвовал в знаменитом сражении у Прохоровки, а потом в танковом прорыве тут, на Курской дуге. Рядом воюем и не встретились. Танковым полком командует. Сейчас что-то замолчал. Ну ничего, найдется, живы будем. А что нам не жить?.. Ну, спать, спать: уже утро.

Он дунул на пламя коптилки. Наступила полутьма, уже разжиженная белесым хмурым рассветом, зазвенели комары, которые составляли, пожалуй, единственное неудобство этого славного лесного жилья.

— Мне бы очень хотелось написать о вас в «Правду».

— Что же, напишите,— без особого энтузиазма согласился летчик и минуту спустя уже сонным голосом добавил: — А может, не стоит? Попадет Геббельсу, раздует он кадило: дескать, у русских безногие воюют, то, сё... Фашисты на это мастера.

Через мгновение он уже сочно похрапывал. А я спать не мог. Неожиданная исповедь потрясла меня своей простотой и величием. Все это могло бы показаться хорошей сказкой, если бы сам герой ее не спал тут вот рядом и протезы его не валялись на полу, запотевшие от росы, четко видные в белесом свете начинавшегося дня...

...С тех пор я не встречал Алексея Маресьева, но по-

всюду, куда ни бросала меня военная судьба, возил я с собой две ученические тетрадки, на которых еще под Орлом записал необыкновенную одиссею этого летчика. Сколько раз во время войны, в дни затишья и после, скитаясь по странам освобожденной Европы, принимался я за очерк о нем и каждый раз откладывал, потому что все, что удавалось написать, казалось лишь бледной тенью его жизни!

Но вот в Нюрнберге присутствовал я на заседании Международного военного трибунала. Шел к концу допрос Германа Геринга. Дрогнув под тяжестью документальных улик, прижатый к стене вопросами советского обвинителя, «второй наци Германии» неохотно, сквозь зубы, рассказывал суду о том, как в битвах на необъятных просторах моей родины под ударами Красной Армии таяла и разваливалась гигантская армия фашизма, до тех пор не знавшая поражений. Оправдываясь, Геринг поднял к небу тусклые белесые глаза: «Такова была воля провидения».

— Признаете ли вы, что, предательски напав на Советский Союз, вследствие чего Германия оказалась разгромленной, вы совершили величайшее преступление? — спросил Геринга советский обвинитель Роман Руденко.

— Это не преступление, это роковая ошибка,— глухо ответил Геринг, хмуро опуская глаза.— Я могу признать только, что мы поступили опрометчиво, потому что, как выяснилось в ходе войны, мы многого не знали, а о многом не могли и подозревать. Главное, мы не знали и не поняли советских русских. Они были и останутся загадкой. Никакая самая хорошая агентура не может раскрыть истинного военного потенциала Советов. Я говорю не о числе пушек, самолетов и танков. Это мы приблизительно знали. Я говорю не о мощи и мобильности промышленности. Я говорю о людях, а русский человек всегда был загадкой для иностранца. Наполеон тоже его не понял. Мы лишь повторили ошибку Наполеона.

Мы с гордостью услышали вынужденное «откровение» о «загадочном русском человеке», об «истинном военном потенциале» нашей родины. Можно было верить, что советский человек, способности, таланты, самоотверженность и мужество которого так поразили весь мир в дни войны, для всех этих герингов действительно был и остался роковой загадкой. Да и где было им, изобретателям жалкой «теории» о немецкой «расе господ», понять душу и мощь человека, выросшего в социалистической стране! И мне вдруг вспомнился Алексей Маресьев. Полузабытый образ

его ярко и неотвязно встал передо мной тут, в этом строгом, облицованном дубом зале. И захотелось здесь же, в Нюрнберге, в городе, который был колыбелью нацизма, рассказать об одном из миллионов простых советских людей, разбивших армии Кейтеля, воздушный флот Геринга, хоронивших на дне морском корабли Редера и своими могучими ударами разрушивших разбойничье государство Гитлера.

Ученические тетрадки в желтых обложках, на одной из которых маресьевским почерком было выведено: «Дневник боевых полетов третьей эскадрильи», прибыли со мной и в Нюрнберг.

Вернувшись с заседания трибунала, я принялся разбирать старые записи и снова засел за работу, пытаясь правдиво рассказать об Алексее Маресьеве все, что знал из рассказов его товарищей и с его слов.

Многое в свое время я не успел записать, многое за четыре года потерялось в памяти. Многое, по скромности своей, умолчал тогда Алексей Маресьев. Пришлось додумывать, дополнять. Стерлись в памяти портреты его друзей, о которых тепло и ярко рассказывал он в ту ночь. Их пришлось создавать заново. Не имея здесь возможности строго придерживаться фактов, я слегка изменил фамилию героя и дал новые имена тем, кто сопутствовал ему, кто помогал ему на трудном пути его подвига. Пусть не обидятся на меня, узнав себя в этом повествовании.

Я назвал книгу «Повесть о настоящем человеке», потому что Алексей Маресьев и есть настоящий советский человек, которого никогда не понимал, да так и не понял до самой своей позорной смерти Герман Геринг, которого не понимают до сих пор и все те, кто склонен забывать уроки истории, кто и теперь еще втайне мечтает пойти по пути Наполеона и Гитлера.

Так возникла эта «Повесть о настоящем человеке».

После того как книга эта была написана и приготовлена к печати, мне захотелось перед публикацией познакомить с ней ее главного героя. Но он бесследно затерялся для меня в путанице бесконечных фронтовых дорог, и ни наши общие друзья-летчики, ни официальные источники, к которым я обращался, не смогли мне помочь отыскать Алексея Петровича Маресьева.

Повесть уже печаталась в журнале, ее читали по радио, когда однажды утром у меня зазвонил телефон.

— Мне бы хотелось с вами встретиться,— зазвучал в

трубке хрипловатый, мужественный, как будто знакомый, но уже позабытый голос.

— А с кем я разговариваю?

— С гвардии майором Алексеем Маресьевым.

А через несколько часов, быстрый, веселый, все такой же деятельный, своей медвежеватой, чуть-чуть с развальцем походкой он уже входил ко мне. Четыре военных года почти не изменили его.

— ...Я вчера сижу дома, читаю, радио включено, но я увлекся и не слушаю, что там передают. Вдруг подходит взволнованная мама, показывает на приемник и говорит: «Послушай, сынок, это же про тебя». Прислушался — верно, про меня: передают о том, что со мной было. Я удивился: кто это мог написать? Ведь вроде бы я никому не рассказывал об этом. И вдруг вспомнилась наша встреча под Орлом и как я вам в землянке всю ночь не давал спать своими разговорами... Думаю: как же так, это ж было давно, почти пять лет назад... Но зачитали отрывок, назвали автора, и вот решил я вас разыскать...

Все это он пояснил залпом, улыбаясь своей широкой, чуть-чуть застенчивой, прежней маресьевской улыбкой.

Как всегда бывает при встрече двух давно не видевших друг друга военных, заговорили об общих знакомых офицерах, добрым словом помянули тех, кто не дожил до победы. О себе Алексей Петрович рассказывал по-прежнему неохотно, и выяснил я, что он еще много и удачно повоевал. Вместе со своим гвардейским полком проделал он боевую кампанию 1943—1945 годов. После нашей встречи он сбил под Орлом три самолета, а потом, участвуя в сражениях за Прибалтику, увеличил свой боевой счет еще на две машины. Словом, он щедро расквитался с противником за свои утраченные в бою ноги. Правительство присвоило ему звание Героя Советского Союза.

Рассказал Алексей Петрович и о своих домашних делах, и я рад, что и в этом отношении могу дописать к повести счастливый конец.

Закончив войну, он женился на любимой девушке, и у них родился сын Виктор. Из Камышина к Маресьевым приехала его старушка мать, которая живет с ними, радуясь счастью своих детей и нянча маленького Маресьева.

Так сама жизнь продолжила эту написанную мной на чужбине повесть об Алексее Маресьеве — Настоящем Советском Человеке.

Нюрнберг — Москва. 1946

КОММЕНТАРИИ

Произведения Бориса Николаевича Полевого, дважды лауреата Государственной премии, Героя Социалистического Труда, издаются в нашей стране и за рубежом постоянно. Только в Советском Союзе за период с 1927 по 1978 годы издано больше 360 книг писателя, общим тиражом свыше 24 миллионов экземпляров, на 52 языках народов СССР.

Собрание сочинений Бориса Полевого издается впервые и включает наиболее значительные произведения автора, созданные им за полвека литературной деятельности.

Творчество писателя представлено здесь в различных жанрах: повести — «Горячий цех», «Повесть о настоящем человеке», «Вернулся», «Доктор Вера», «Анюта», «Наш Ленин»; цикл рассказов «Мы — советские люди»; романы — «Золото», «Глубокий тыл», «На диком бреге»; записки военного корреспондента «Эти четыре года»; литературные портреты — «Силуэты», дневниковая проза — «Созидатели морей».

Произведения в Собрании сочинений расположены по жанрово-хронологическому принципу.

Тексты автором заново просмотрены.

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ

(Стр. 27).

Впервые — в журн. «Октябрь», 1939, № 8—11; первое отдельное издание — М., Гослитиздат, 1940.

«Горячий цех» — первая художественная повесть Б. Полевого, но, по сути, третья книга молодого писателя.

Дебютом — в полном смысле слова — явилась тоненькая, в школьную тетрадь объемом, книга публицистических новелл под названием «Мемуары вшивого человека», выпущенная Тверской ассоциацией пролетарских писателей (ТАПП, 1927).

Полевой вспоминает: «Нэп в те годы был уже на закате. И время это было отмечено ростом преступности... и всяческих иных потайных зол. Параллельно с большим миром, начинающим строить социализм, возник эдакий подпольный маленький, очень ядовитый мирок, который стал мешать миру большому делать свои

благородные дела» (см. наст. Собр. соч., т. 7, «Решение моей судьбы»).

Летом 1926 года рабкор газеты «Тверская правда», техник ситценабивной фабрики «Пролетарка», Б. Полевой получил от главного редактора газеты А. И. Капустина, которого он считает своим первым учителем в журналистике, задание. Ему надлежало в «образе» московского вора-налетчика Владимира Маховского (якобы пережидающего после крупного столичного «дела» опасный момент в тиши тверских шалманов) «опуститься на дно», войти в контакт с главарями преступного мира, активизировавшегося в Твери, а затем разоблачить их на страницах газет. Задуманная серия очерков не увидела света. Скитания по городскому «дну» вывели Бориса Полевого на связи преступников с некоторыми работниками советских учреждений. В результате появились газетные сообщения, но это были репортажи с шумного уголовного процесса.

Почти три недели, проведенные в гнезде тверских уголовников, обогатили юношу запасом впечатлений. Год спустя после «командировки на дно», следуя совету А. И. Капустина, Б. Полевой выпустил книгу «Мемуары вшивого человека». Для анализа первых шагов Полевого в литературе она интересна прежде всего тем, что уже в этой работе, написанной рукой восемнадцатилетнего юноши, проявился главный творческий принцип писателя: «Пишу без вымысла!», которому известный прозаик и публицист не изменяет и теперь. «Нет ничего в «Мемуарах...», что было бы выдумано»,— отметил в предисловии к книге тверской поэт А. Ярцев (см. в кн.: Б. Полевой. Мемуары вшивого человека, с. 3).

«Мемуары...» построены в форме новелл-воспоминаний, написанных от лица бродяги по кличке Куклим, одного из обитателей тверской «ночлежки», в прошлом — лихого и жестокого вора.

Повесть заслужила справедливые упреки критики: «Добросовестность оказалась чуть ли не единственным достоинством первой книжечки,— отмечал Б. Галанов.— Тут еще не чувствовалось ни умения мыслить и обобщить свои впечатления от знакомства с преступным миром, ни... попытки строго отобрать материал...» («Борис Полевой». М., «Советский писатель», 1957, с. 16). Однако с некоторыми судьбами, пунктирно намеченными в «откровениях» героя «Мемуаров...», писатель не расстанется и в своих последующих работах. Так, тема маленьких беспризорников с тверского «дна» снова возникает в биографии главного героя повести «Горячий цех» Женьки Сизова.

В 1930 году Полевой написал повесть «Покорение «Сибири» — о комсольцах-энтузиастах, сумевших вывести самый отстающий участок фабрики, который испокон века называли «Сибирью», в число передовых. Эту повесть он подписал своей фамилией — Кам-

пов. В издательстве «Молодая гвардия», где по просьбе калининских комсомольцев сверхсрочно набирали и печатали его книгу, в фамилии автора была допущена опечатка, и в свет вышла повесть «Покорение «Сибири» Бор. Капнова (М., 1931).

Знаменательна авторская характеристика основной идеи повести «Покорение «Сибири», сформулированная Б. Полевым много лет спустя: «...по существу, это была моя первая книга о настоящем человеке». Вот когда были заложены корни глубокого интереса писателя к образу настоящего человека. К образу, который он будет создавать, пользуясь различными литературными красками, в произведениях различных жанров, на протяжении уже более пятидесяти лет.

Не случайно эпиграфом к повести «Покорение «Сибири», заключающим в себе авторскую задачу, Полевой избрал слова из Обращения Российской ассоциации пролетарских писателей: «Мало знать их имена. Надо знать опыт их работы. Надо знать опыт их борьбы за передовую технику, за рационализацию... Надо знать их, переделывающих мир, перестраивающих самих себя, пролетариев, достойных страны, вступившей в период социализма».

К тому же времени относится и призыв А. М. Горького к молодым литераторам как можно полнее отображать реальную бурлящую стройку молодой страны, осознать значение избранного ими «глубоко важного и ответственного революционного дела»: «Читатель растет. Вся страна поднята на дыбы. Страна работает черт знает как! Никогда в мире ничего подобного не было. Создаются изумительные вещи. Это надо знать. В этих процессах надо участвовать, их надо изучать. Если мы этого не будем делать, мы ничего не напишем... такого, что бы отражало действительность так достойно, как она того заслуживает» (М. Горький. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 27. М., Гослитиздат, 1953, с. 83).

В повести «Покорение «Сибири», представлявшей, строго говоря, конспект темы, которую позже, в разные годы и на разном материале, будет исследовать Борис Полевой, проявился его писательский интерес к творческой личности, реализующей себя в деле.

Повесть «Покорение «Сибири» никогда впоследствии не переиздавалась: репортажную скороговорку в обрисовке характеров, рыхлость композиции, многочисленные огрехи стиля сознавал и сам автор, оценивший эту раннюю свою работу как «черновой набросок будущей прозы».

Однако впечатления, накопившиеся у Полевого за годы труда на фабрике «Пролетарка», пригодились ему при работе над повестью «Горячий цех».

Следуя совету А. М. Горького, критически проанализировавшего первую документально-художественную прозу Б. Полевого — «Мемуары вшивого человека» (письмо из Сорренто от 30 марта 1928 года), двадцатилетний рабкор уходит с фабрики и переходит на профессиональную журналистскую работу («Письмо Горького... не обрубив крылья, поставило, однако, на землю и заставило... серьезно взяться за работу» (см. наст. Собр. соч., т. 7, «Решение моей судьбы»).

Как и советовал А. М. Горький, Полевой в ту пору напряженно учился «технике словесного творчества» («История призвала Вас к созданию новой жизни, значит — Вы должны и литературу тоже обновить...» — из письма А. М. Горького Б. Полевому.— Там же).

В конце тридцатых годов на Калининском вагоностроительном заводе завотделом промышленности газеты «Пролетарская правда» Б. Полевой стал свидетелем очередного трудового рекорда, который, на удивление всем, поставил не известный стахановец-передовик, а молодой кузнец, человек с трудной биографией и «антиобщественным» поведением.

Задуманный для газеты очерк о творческом методе молодого новатора, ставшего впоследствии прототипом героя повести «Горячий цех» Евгения Сизова, не получился: материал явно перерастал рамки журналистского жанра. Написалась повесть. Ее одобрил и поддержал Федор Панферов, в те годы — главный редактор журнала «Октябрь».

Повесть заметили, о ней спорили, ее разносторонне и в разные годы обсуждала критика (см.: Б. Галанов. Борис Полевой. М., «Советский писатель», 1957; М. Шагинян. «Горячий цех» Б. Полевого. Заметки писателя.— «Известия», 1955, 30 марта; А. Кондратович. Поэзия труда.— «Октябрь», 1955, № 9).

«...Успех первой повести молодого писателя... был связан с изображением сложного, противоречивого характера»,— суммировал мнения критики Б. Галанов. «...Образ... неуживчивого парнишки Евгения Сизова,— писал он,— вольно или невольно, воспринимается как полемический, заостренный против тех схематичных... не ведающих трудностей образов ударников, которые в книгах оказывались элементарнее и духовно беднее своих реальных прототипов» («Борис Полевой». М., «Советский писатель», 1957).

Борис Полевой шел в работе от знания жизни и характера человека, «не абстрагированного», но дорогого и «трудного», как писал о герое-современнике А. Твардовский.

В стремлении к правдивой обрисовке характера трудового человека, мастера Полевой следовал общему направлению освоения производственной темы советскими писателями: «Цемент»

Ф. Гладкова, «Доменная печь» Н. Ляшко, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Лесозавод» А. Караваевой, «Соть» Л. Леонова, «Поднятая целина» М. Шолохова — вот писатели и книги, сам факт существования которых в литературе не мог не оказать влияния на начинающего прозаика.

После выхода первого и второго книжных изданий повести «Горячий цех» — в 1940 и 1954 годах — критика не раз проводила параллели между этой повестью Бориса Полевого и «Танкером «Дербентом» Юрия Крымова (см. подробнее об этом в статьях: А. Кондратович. Поэзия труда.— «Октябрь», 1955, № 9; Б. Галанов. Борис Полевой. М., «Советский писатель», 1957). Отмечалось, что эти писатели одними из первых отразили в прозе эпоху начала стахановского движения, когда «горячим цехом» стала вся молодая страна.

Анализируя достоинства повести «Горячий цех» и ее недостатки (слабость композиции, присутствие излишних сюжетных эпизодов, литературные штампы в обрисовке отдельных характеров), критика в целом оценила это произведение как самобытное, этапное в развитии мастерства Полевого-прозаика, в котором обрисовался характер настоящего человека.

«Это еще не Мересьев,— отмечал в своей книге Б. Галанов,— но люди такого склада, как Сизов, в трудных обстоятельствах тоже не струсят и не отступят».

Много лет спустя Б. Полевой еще раз подчеркнул: «Мне в разное время приходилось писать о настоящих людях, о людях труда. Я и начался как писатель с повести «Горячий цех» («Здравствуй, племя молодое и знакомое!» — «Комсомольская правда», 1973, 1 мая).

ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ

(Стр. 235).

Впервые — в журн. «Октябрь», 1946, № 7—11; первое отдельное издание — Изд-во «Правда», 1947.

По данным Всесоюзной книжной палаты на 1 января 1979 года «Повесть о настоящем человеке» выдержала 169 изданий в Советском Союзе и за рубежом; общий тираж книги составил 9 миллионов 183 тысячи экземпляров. На русском языке «Повесть...» выходила 81 раз, на языках народов СССР — 49 раз, за рубежом (практически на всех языках планеты) — 39 раз.

Весной 1946 года старший корреспондент «Правды» на процессе Международного военного трибунала в Нюрнберге Борис Полевой отправил в Москву телеграмму следующего содержания: «Редакция журнала «Октябрь», Федору Панферову. Окончил книгу

неясного для меня жанра. Размер — 12 печатных листов. Герой — летчик, фигура реальная. Ориентировочное название — «Повесть о настоящем человеке». Срок присылки — 1 апреля».

Начало «биографии» «Повести...» относится к лету 1943 года. В разгар битвы на Орловско-Курской дуге в штаб Брянского фронта, где находился тогда корреспондент «Правды» майор Борис Полевой, поступило сообщение о победах летчиков гвардейского полка, «расчищавших небо» над головой танковой армии генерала Ротмистрова. За девять дней боев они сбили 47 самолетов врага. «Даже для тех дней бурного наступления Красной Армии такая победа была необычайной. На связном самолете я вылетел в этот полк, намереваясь написать в «Правду» о подвигах летчиков-гвардейцев» (см. наст. Собр. соч., т. 1, с. 508).

Там майор Б. Н. Полевой встретился со старшим лейтенантом авиации Алексеем Маресьевым, командиром звена истребителей, уничтожившим в тот день два фашистских самолета.

Результатом их ночной беседы явился очерк Б. Полевого, написанный для «Правды»,— о героической «одиссее» двадцатисемилетнего летчика с поистине уникальной судьбой.

Очерк не увидел света: на верстке статьи значилось: «Печатать после конца войны».

«Не огорчайтесь... Кончится война, издадим целую книгу,— утешал Полевого главный редактор «Правды» Петр Николаевич Поспелов.— Пишите... Это стоит книги...» (см. наст. Собр. соч., т. 7). Для истории советской литературы этот разговор с редактором «Правды», равно как и судьба «непошедшего» очерка, представляет несомненный интерес; возможно, это предопределило сам факт появления будущей книги: опубликовав очерк, Полевой мог и не вернуться к «одиссее» Маресьева в жанре художественной прозы.

Ученические тетрадки, на одной из которых значилось: «Дневник боевых полетов третьей эскадрильи», куда был записан рассказ Маресьева, Полевой пронес по дорогам войны. Много раз пытался взяться за книгу об «обыкновенном и удивительном парне с Волги». Но, по признанию самого автора, «все, что удавалось написать, казалось лишь бледной тенью его жизни». А «написалась» «Повесть...» за девятнадцать дней в Нюрнберге.

«После войны я был корреспондентом на Международном Нюрнбергском процессе, очень сложном, требовавшем от журналиста внимания и полного напряжения сил. Однако именно там из меня вырвалась книга о безногом летчике, образ которого жил во мне всю войну»,— писал Б. Полевой («Вопросы литературы», 1967, № 8, с. 22).

Импульсом к началу непосредственной работы над повестью (как неоднократно отмечал сам автор) послужил «эпизод допроса

Геринга в Нюрнберге: его признание, что тысячелетняя империя пришла-де к своему концу «по воле рока», по причине «загадочного русского человека», могущество и выносливость которого не смогли вычислить военные специалисты Гитлера». «...Передо мной замаячило усталое, небритое лицо... летчика,— вспоминал впоследствии Полевой,— каким я впервые увидел его на полевом аэродроме под Орлом... Увидел его большие, черные, измученные глаза... Услышал его хрипловатый, глухой голос... Да какой же я литератор, если до сих пор не смог написать о таком человеке» (см. наст. Собр. соч., т. 7, «Лед тронулся»).

В эту ночь Полевой начал писать. Дальнейшей судьбы летчика он не знал, поэтому изменил одну букву в его фамилии.

«...К утру увидел: написано девятнадцать страниц. Так прошло еще восемнадцать дней, писал, вставая в 4 часа утра, и в часы судебных заседаний, во время допроса свидетелей, показаний обвиняемых,— не прекращая репортерской работы, «вторым» сознанием обдумывая новые главы. Писал легко, почти без помарок» (Б. Полевой. Горизонты реальной фантазии.— «Литературное обозрение», 1974, № 5).

«Дневник боевых полетов...» послужил лишь сюжетной канвой для книги. Полевой рассказывал как бы об одном летчике, но на страницы книги вышли образы многих людей различных судеб, с которыми его сводили дороги войны: конкретные, реальные характеры укрупнялись в памяти и воображении, приобретая новые обобщенные черты.

«Повесть о настоящем человеке» получила чрезвычайно широкое читательское признание и отклик в журнальной и газетной периодике, в трудах исследователей советской литературы: Ал. Исбаха, З. Кедриной, В. Озерова, Ал. Михайлова, Л. Кудреватых, Б. Галанова, А. Бочарова и других. (Подробнее об этом смотри в кн.: Н. Железнова. Настоящие люди Бориса Полевого. М., «Советский писатель», 1978, с. 93—98.)

Критика отмечала, что Полевой создал убедительно честный образ «сильной личности», ибо не скрыл от читателя, какая трудная и исключительная доля выпала его герою. Однако это «исключительное» сумел представить одной из форм проявления типического.

Целью автора было рассказать, почему победил Алексей Мересьев. «Повесть...» ответила на вопрос: чем же силен ее герой? За плечами у «конкретно сущего», реального, узнаваемого юноши стояла целая страна. Его судьба являла собой частицу судьбы народа. Он, Мересьев, похож на многих.

И потому рассказ о победе одного юного лейтенанта над смертью и недугом обрел обобщающий смысл, принял на себя но-

вую идейно-образную нагрузку, вылившись в повествование о народной победе в этой войне. Об истоках массового героизма. О потенциале его в советском народе. Назовем, к примеру, Захара Сорокина, этого «северного Маресьева», Героя Советского Союза, который после ампутации обеих ступней вернулся в авиацию, сбил десять фашистских самолетов.

Критик Ал. Михайлов отметил, что в словах «настоящий человек» «сконцентрирован целый морально-этический комплекс, включающий в себя не только отвагу в бою, но и идейную убежденность и патриотизм, человеческую порядочность, бескорыстие, благородство» («Судьба книги».— «Дружба народов», 1965, № 5).

«Реально о возвышенном» — так определил тональность «Повести...» А. Бочаров, сравнивая ее с другими книгами военной прозы 1946 года. Он пишет: «В те годы появилось много романов, в центре которых находилась фигура подлинного героя войны: «Александр Матросов» П. Журбы, «Чайка» Н. Бирюкова, где рассказывалось о партизанской разведчице Лизе Чайкиной, «Генерал Доватор» П. Федорова, где судьба прославленного кавалерийского командира рисовалась на фоне массовых героических поступков его конников и т. д. Среди этих книг повесть Б. Полевого была наиболее свободной от приукрашивания... наиболее обнажившей суть массового героизма» («Человек и война». М., «Советский писатель», 1973, с. 309).

У него высказана и такая мысль: «Благодаря... реальности возвышенного повесть вдохновила многих инвалидов встать в строй. Вряд ли какая-либо иная книга тех лет имела такой непосредственный жизненный эффект, такое непосредственное приложение к поведению массы людей».

Среди тех, кого книга Полевого поддержала в трудную минуту, можно назвать и многих героев мирных дней. Вот, к примеру, судьбы, ставшие уже историческими: Герой Социалистического Труда Прокофий Нектов, безногий тракторист Белозерской МТС; чехословацкий тракторист Ярослав Чермак, лишившийся кистей обеих рук, но освоивший управление трактором; поляк Стах Перунку, историю которого в Польше называют «второй повестью о настоящем человеке».

Мадлен Риффо — героиня французского Сопротивления, о подвиге которой (в самом центре Парижа, в дни фашистской оккупации девушка казнила офицера СС) Полевой рассказал в одной из новелл-портретов книги «Силуэты». Пример Алексея Маресьева помог и ей. Из застенков гестапо Мадлен Риффо вышла изнуренной недугами и болезнью; однако нашла в себе силы вернуться в строй, стать одним из деятельных борцов за сохранение мира на Земле.

Греческая партизанка Катика Карандепиду... Индусская учительница Сарла и московская школьница Людмила Липатова, перенесшая несколько труднейших операций, научившаяся ходить без костылей, танцевать на протезах...

В архиве Полевого хранятся сотни писем со штемпелями разных стран, авторы которых благодарят писателя за книгу — «аккумулятор энергии».

В редакцию журнала «Юность» до сих пор приходят письма, адресованные не просто «писателю Борису Полевому», но именно автору «Повести о настоящем человеке». В этих «самых правдивых рецензиях» — так назвал читательскую почту Полевого поэт Алексей Сурков — общий ключ к пониманию истоков непреходящего интереса к книге.

Генри Муталемва написал из города Каторо (Танзания): «...прочитав «Повесть о настоящем человеке», я чувствую себя в ином мире, в котором живут новые люди, чьи дела удивляют и учат... Да, именно прочитав эту книгу, я могу правильно судить о советских людях, видеть их в настоящем свете, а не в том, в каком их представляют Ян Флеминг, Касихо Рояль и другие западные писатели».

Строки из письма, кратко подписанного «Володя»: «...свою судьбу, свои успехи и достижения в жизни я связываю с именем Бориса Николаевича Полевого. Когда со мной случилось несчастье в феврале 1956 г. (потерял обе ноги, покалечил руки), я несколько раз перечитывал «Повесть о настоящем человеке». Она дала мне уверенность — надо работать и быть полезным людям, а не иждивенцем. С октября 1957 года по сей день (1976 г.) работаю на стройке экономистом-оператором: кручу арифмометр «Фелико», считаю на счетах, печатаю на пишущей машинке... Я живу, я тружусь, недавно меня приняли в ряды КПСС».

Коллективное письмо комсомольцев Калуги сообщает о социологическом анализе, проведенном редакциями двух молодежных газет — «Молодой ленинец» (г. Калуга) и «Фрайе Ворт» (ГДР). Темой исследования были «книги-чемпионы», самые популярные в среде сегодняшней молодежи. В их числе оказались: «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого.

Таковы фрагменты сегодняшней судьбы «Повести о настоящем человеке» — книги, подтверждающей общественную социальную ценность труда писателя в современном мире.

Надо сказать, что, когда «Повесть о настоящем человеке» вышла из печати (1946), в ряде рецензий прозвучал упрек писателю: говорилось, в частности, что Борис Полевой слишком увлекается подражанием Джеку Лондону; его повесть «по манере

письма... напоминает... рассказ «Любовь к жизни»,— писал В. Гольцев (журн. «Знамя», 1947, № 3, с. 180).

В некоторых первых рецензиях на книгу Полевого, датированных 1947—1948 годами, критика сочла отдельные «потрясающие детали» «совершенно неубедительными в повести, где каждый жизненно достоверный факт надо сделать еще художественно достоверным» (З. Кедрина. Преодоление.— «Октябрь», 1947, № 2).

В авторском послесловии к «Повести о настоящем человеке» имя Джека Лондона возникло не случайно. Полевой стремился своим рассказом подчеркнуть дистанцию между чисто биологическим понятием «человек» и конкретным, социальным, которое он вложил в слова «настоящий человек»: «...тема сильного человека в литературе не новая... Есть известный рассказ у Джека Лондона «Любовь к жизни». Больной, почти без сил, человек все же побеждает смерть. Но то был инстинкт самосохранения. Маресьев меня поразил не своим желанием во что бы то ни стало выжить, ведь в этом есть что-то естественно-биологическое, а желанием, страстным и необоримым, не быть в стороне от борьбы, самой главной, которой все мы тогда только и дышали. Вот почему мне так и хотелось рассказать не только то, *как*, но и *во имя чего* совершал Маресьев подвиг...» — писал Б. Полевой в статье «Современники» (журн. «Студенческий меридиан», 1975, 8 мая, с. 11).

Во имя чего писатель развертывает перед читателем путь Мересьева как череду самых трудных и будничных завоеваний? «Очень трудной, кропотливой работе» — возвращению летчика в строй — посвящены три из четырех частей книги: «Результаты ее были так малы, что почти не ощущались»,— сообщает Полевой читателю. Но «это реалистическое бытописание действует с особенной художественной силой после «неистовства» первой части» — так прочитал авторскую «сверхзадачу» критик А. Бочаров («Человек и война», с. 308).

«Повесть о настоящем человеке» удостоена Государственной премии СССР за 1948 год. По ее мотивам написана пьеса, поставлен художественный кинофильм «Повесть о настоящем человеке» (сценарий М. Смирновой, режиссер А. Столпер, «Мосфильм», 1948). В октябре 1947 — мае 1948 годов композитор С. Прокофьев создал оперу «Повесть о настоящем человеке» (опера в 3-х действиях; либретто С. Прокофьева и М. Мендельсон-Прокофьевой по мотивам повести Б. Полевого). Постановка была осуществлена на сцене Большого театра СССР в 1960 году (в роли Алексея — Е. Кибкало).

Н. Железнова

СОДЕРЖАНИЕ

Полевой Б.

П50 Собрание сочинений. В 9-ти томах.—М.: Худож. лит., 1981.

Т. 1. Горячий цех: Повесть; Повесть о настоящем человеке. /Вступ. статья В. Озерова; Коммент. Н. Железновой. 1981. 527 с.

В томе представлены повесть «Горячий цех» — о людях первых пятилеток, сумевших сделать свой труд творческим и вдохновенным, и удостоенная Государственной премии СССР «Повесть о настоящем человеке», в основе которой лежит подлинная история подвига Героя Советского Союза летчика Алексея Маресьева.

П $\frac{70302\text{-}291}{028(01)\text{-}81}$ подписное 4702010200 Р2

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

ПОЛЕВОЙ

Собрание сочинений

Том первый

Редактор З. Батурина

Художественный редактор
Е. Ененко

Технический редактор
Т. Таржанова

Корректоры
А. Влазнева и М. Макарова

ИБ № 1865

Сдано в набор 18.06.80. Подписано в печать 01.12.80. А09435. Формат 84×108[1]/[32]. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Тираж 100 000 экз. 27,72+1 вкл. = 27,772 усл. печ. л. 29,923+1 вкл.=29,966 уч.-изд. л. Изд. № III6-54. Заказ № 993. Цена 2 р. 20 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Набрано и сматрицировано в ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Москва, В-54, Валовая, 28

Отпечатано в Ленинградской типографии № 2 головном предприятии ордена Трудового Красного Знамени Ленинградского объединения «Техническая книга» им. Евгении Соколовой Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 198052, г. Ленинград, Л-52, Измайловский проспект, 29.

